This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 863,703

PROPERTY OF
University of Michigan Libraries
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

PR
Unive
Mich
Libra
1817
RTES SCIENT

Н. К. Михайловскій.

Mikhaĭlovskiĭ, Nikolaĭ Konstantinovich.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ

и

СОВРЕМЕННАЯ СМУТА.

Томъ II.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ

РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тип. Н. Н. Клобукова. Лиговская ул., д. № 34.
1905.

891.79
M637li
1900
v.2

61-300979

Содержаніе.

		стр.
I.	Оптимистическій и пессимистическій тонъ. — Максъ Нордау о вырожденіи.—Декаденты, символисты, маги и проч.	1
II.	Русское отраженіе французскаго символизма	32
III.	Еще о декадентахъ, символистахъ и магахъ	60
IV.	О разныхъ типахъ празднословія. — Объ эстетической критикѣ. — Отрывокъ изъ романа „Карьера Оладушкина“	102
V.	Основы народничества г. Юзова. — Памяти Тургенева	140
VI.	О народничествѣ г-на В. В.	163
VII.	Братство народовъ.—Переводы г. Фидлера.—Платонъ Лукашевичъ, Катрфажъ, Генъ.—99 „молодыхъ“	200
VIII.	О молодости.—О гг. П. Ковалевскомъ и Сениговѣ.—Смерть Гайдебурова.—Объ экономическомъ матеріализмѣ. — Изъ писемъ марксистовъ	232
IX.	Гегелизмъ и гальванизмъ. — О діалектическомъ развитіи и тройственныхъ формулахъ прогресса	275
X.	О разсказахъ гг. Григоровича и Мамина-Сибиряка.—О силѣ привычки вообще, у писателей въ частности.—О гр. Л. Н. Толстомъ	298
XI.	Нѣчто о бѣдствіяхъ существенныхъ и красныхъ вымыслахъ.— О гг. Маковскомъ, Рѣпинѣ, Новооскольцевѣ.—Фламаріонъ, г. Мечниковъ и Бертело о грядущихъ судьбахъ человѣчества	320
XII.	Будущія бородатыя женщины г. Брандта.—„Выдающаяся женщина“ г. Ардова и Раскольниковъ Достоевскаго . .	348

XIII. „О Литературномъ обществѣ и нашихъ литературныхъ нравахъ“.—О системахъ морали.—О Максѣ Штирнерѣ и Фридрихѣ Ничше . . . . . стр. 378
XIV. О г. Струве и его „Критическихъ замѣткахъ по вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи“ 404
XV. Еще о Фридрихѣ Ничше 443
XVI. И еще о Ничше 465

I *).

Оптимистическій и пессимистическій тонъ.—Максъ Нордау о вырожденіи.—Декаденты, символисты, маги и проч.

Въ исторіи человѣческой мысли постоянно чередуются два противоположные, если можно такъ выразиться, психологическіе тона,—оптимистическій и пессимистическій. Я говорю не о тѣхъ доктринахъ, въ центрѣ которыхъ стоитъ вопросъ о количествѣ зла на землѣ и творцы или пропагандисты которыхъ сами себя открыто величаютъ пессимистами или (несравненно рѣже) оптимистами. Я говорю именно о психологическомъ тонѣ, окрашивающемъ собою значительную часть всего умственнаго багажа даннаго общества въ данную эпоху. Затѣмъ, я употребляю столь общее и неопредѣленное выраженіе, какъ «психологическій тонъ», потому что источники этихъ колебаній мысли лежатъ не спеціально въ ней самой, а во всемъ душевномъ складѣ. Это видно уже изъ того, что одни и тѣ же данныя науки, однѣ и тѣ же группировки научныхъ данныхъ, то-есть научныя и философскія теоріи, сплошь и рядомъ сегодня окрашиваются розовымъ цвѣтомъ надежды и гордости, а по прошествіи нѣкотораго времени, нисколько не измѣняясь въ своей сущности и даже получивъ новыя подтвержденія, пріобрѣтаютъ безнадежно мрачное освѣщеніе. Отдѣльные мыслители могутъ, конечно, оставаться внѣ вліянія подобныхъ приливовъ и отливовъ, но въ массѣ, разумѣя подъ нею и ученыхъ, и неученыхъ людей, эта періодическая смѣна розоваго чернымъ и наоборотъ составляетъ очень обыкновенное явленіе.

Слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ Дарвинъ издалъ свое знаменитое сочиненіе «О происхожденіи видовъ», оканчивающееся такими торжественно-ликующими строками: «Такъ изъ вѣчной

*) 1893, январь.

борьбы, изъ голода и смерти прямо слѣдуетъ самое высокое явленіе, которое мы можемъ себѣ представить, а именно—возникновеніе высшихъ формъ жизни. Есть величіе въ этомъ воззрѣніи, по которому жизнь съ ея разнородными силами была вдохнута первоначально въ немногія формы или лишь въ одну, по которому, межъ тѣмъ какъ земля продолжаетъ кружиться по вѣчному закону тяготѣнія, изъ столь простого начала развились и до сихъ поръ развиваются безчисленныя формы дивной красоты». Книгу «Происхожденіе человѣка и половой подборъ» Дарвинъ оканчиваетъ такъ: «Человѣку можно простить, если онъ чувствуетъ нѣкоторую гордость при мысли, что онъ поднялся, хотя и не собственными усиліями, на высшую ступень органической лѣстницы, и то обстоятельство, что онъ поднялся на нее, вмѣсто того, чтобы быть поставленнымъ здѣсь съ самаго начала, можетъ внушать ему надежду на еще болѣе высокую участь въ отдаленномъ будущемъ».

На этомъ общемъ ликующемъ фонѣ рисовались соотвѣтственные мелкіе узоры. Въ животномъ мірѣ Дарвинъ предлагалъ намъ радоваться, напримѣръ, инстинктивной злобѣ пчелы-матки, истребляющей своихъ дочерей-соперницъ. Въ человѣческомъ обществѣ, утѣшалъ онъ насъ, «выпалываніе худшихъ наклонностей дѣлаетъ постоянные успѣхи». А именно вотъ какія утѣшительныя вещи происходятъ въ человѣческомъ обществѣ: «Преступниковъ убиваютъ или заключаютъ въ тюрьмы на долгое время, такъ что они не могутъ свободно передавать по наслѣдству свои дурныя качества. Меланхолики и умопомѣшанные бываютъ обыкновенно удалены отъ себѣ подобныхъ или кончаютъ жизнь самоубійствомъ. Злобные и неуживчивые люди находятъ кровавый конецъ» и т. д.

Такъ говорилъ учитель, спокойный, вдумчивый, глубокомысленный. Менѣе обстоятельные и болѣе пылкіе ученики ликовали, конечно, гораздо сильнѣе. Одинъ, правда, уже вполнѣ неосновательный и едва-ли даже здоровый разумомъ, нѣмецъ предсказывалъ, что человѣчество преобразится, путемъ борьбы за существованіе и переживанія приспособленнѣйшихъ, въ новый видъ—«ангелъ». Ликованіе шло двойною струей. Радовались, во-первыхъ, тому могучему толчку, который получило теоретическое знаніе въ самыхъ разнообразныхъ своихъ отрасляхъ. Радовались затѣмъ самому содержанію пущенной Дарвиномъ во всеобщее

обращеніе идеи: много зла на свѣтѣ дѣлается, но изъ этого зла постоянно слагается вящшее добро. Отсюда слѣдовали разные пріятные и гордые частные выводы, которые и разносились, путемъ популяризаціи, по всему цивилизованному міру. Эти двѣ струи ликованія пополняли другъ друга. Если внутреннее чувство и подсказывало иному сомнѣніе въ благотворности злотворнаго хода вещей, то сомнѣніе заглушалось убѣжденіемъ въ неизбѣжности процесса, ясно и точно формулированнаго наукой. И это величіе безстрастной, неподкупной науки давало поводъ новымъ ликованіямъ и гордостямъ. Правда, съ самаго начала этого всеобщаго возбужденія нѣкоторые теоретики утверждали, что общая идея трансформизма, столь прочно установленная Дарвиномъ, не исчерпывается указанными имъ принципами. Правда, съ другой стороны, въ подтвержденіе именно трансформистской теоріи, нѣкоторые ученые спеціалисты очень рано указывали на случаи ретроградпаго развитія подъ вліяніемъ борьбы за существованіе и переживанія приспособленнѣйшихъ. Но эти ограничительныя указанія тонули въ гордо-веселомъ хорѣ, привѣтствовавшемъ прекрасное настоящее и превосходнѣйшее будущее.

Прошли года, и что-же осталось отъ этого оптимистическаго тона? Я опять-таки говорю не объ отдѣльныхъ мыслителяхъ, а о массѣ, да и то надо сдѣлать оговорку. Въ ней, въ этой массѣ, своимъ чередомъ идетъ, подъ непосредственнымъ давленіемъ условій жизни, сложная борьба интересовъ и страстей, съ запутанными колебаніями и соотвѣтственными разсчетами шансовъ успѣха и пораженія. Франція, какъ нація, живетъ идеей «реванша» и уязвлена Панамскимъ скандаломъ, Германія выбивается изъ силъ для сохраненія за собой гегемоніи, пролетаріи всѣхъ странъ ведутъ свою кассовую борьбу, цивилизованныя націи дѣлятъ между собой черный материкъ, теоретическая наука и техника расширяютъ свои завоеванія и т. д., и т. д., и т. д. Я отнюдь не думаю подводить какіе-нибудь итоги всей этой сложной и пестрой сѣти явленій. Я говорю только, что на томъ самомъ, такъ сказать, мѣстѣ, гдѣ еще недавно раздавались единодушные клики торжества и надежды въ связи съ теоріей Дарвина, мы столь-же однообразно слышимъ и повторяемъ мрачное слово—«вырожденіе». Неудивительно, что его твердятъ невропатологи и психіатры (хотя послѣ вышеприведенныхъ наивно

утѣшительныхъ словъ Дарвина и это достойно вниманія), но дѣло въ томъ, что ихъ голосъ отдается безчисленными перекатами эхо надъ всѣмъ житейскимъ моремъ. Криминалисты, антропологи, публицисты, романисты, поэты, критики на всѣ лады говорятъ намъ о разнообразныхъ болѣзненныхъ явленіяхъ, какъ о результатахъ вырожденія. Если тридцать лѣтъ тому назадъ мы были склонны видѣть свое настоящее въ освѣщеніи румяной зари, а будущее—въ освѣщеніи полнаго дневного свѣта, то теперь мы рискуемъ признать все, окружающее насъ, сумерками, предвѣщающими темную, долгую, а, можетъ быть, и совсѣмъ безразсвѣтную ночь. И въ высшей степени любопытно, что собственно въ той области знанія, откуда почерпается теперь этотъ мрачный взглядъ, сдѣлано множество чрезвычайно важныхъ детальныхъ открытій и наблюденій, но коренные принципы нимало не поколеблены. Мы оперируемъ, въ сущности, все съ тѣми же законами наслѣдственности и приспособленія, но черпаемъ изъ нихъ не надежду, а безнадежность и даже отчаяніе, не торжество, а посрамленіе. Мы и тридцать лѣтъ тому назадъ имѣли вполнѣ удовлетворительное понятіе объ атавизмѣ, но тогда это было маленькое, никого не смущавшее облачко, даже какъ будто способствовавшее красотѣ пейзажа, а теперь это облачко разрослось въ цѣлую грозную тучу «прирожденныхъ преступниковъ». Мы и прежде знали, что среди насъ есть алкоголики, больные, безпокойные, буйные, неудобные люди, но вотъ Дарвинъ утѣшалъ насъ, что имъ такъ или иначе приходитъ скорый конецъ, а теперь ихъ судьба растягивается чуть не въ безконечность. Но самое, можетъ быть, характерное для нашего времени явленіе состоитъ въ томъ, что цѣлая поэтическая школа носитъ кличку «декадентовъ», людей упадка,—школа, полагающая, что она дальше всѣхъ ушла по тому пути, которымъ идетъ исторія человѣчества, слѣдовательно, такая, которая во всякое другое время называлась-бы «прогрессивною». Вмѣстѣ съ тѣмъ меркнетъ и то восторженное преклоненіе передъ безстрастною и неподкупною наукой, которымъ мы были полны тридцать лѣтъ тому назадъ. Все чаще и чаще, громче и громче раздаются въ этомъ направленіи ноты скептицизма, разочарованія, неудовлетворенности.

Постараемся разобраться во всемъ этомъ.

Недавно вышла книга Макса Нордау «Entartung» (пока только первый томъ). Нордау — авторъ не безъизвѣстныхъ и у насъ книгъ: «Die konventionellen Lügen der Kulturmenschheit». «Paradoxe», «Pariser Briefe», романа «Gefühlskomödie» и проч. Человѣкъ онъ остроумный, а иногда даже больше, чѣмъ остроумный, но въ большинствѣ случаевъ, поверхностный, не смотря на бойкость пера и умѣнье затрогивать дѣйствительно интересныя темы. Его новая книга: «Entartung» (*Вырожденіе*) характеризуется отчасти уже самымъ заглавіемъ и сразу-же, съ первой страницы, ясно и рѣзко выдвигаетъ точку зрѣнія автора. Книга посвящена Ломброзо. Въ посвященіи, послѣ обычныхъ почтительныхъ любезностей, приличествующихъ ученику по отношенію къ учителю, между прочимъ, говорится: «Но есть обширная и важная область, въ которую еще ни вы, ни ваши ученики не внесли свѣточа вашего метода: это — область искусства и литературы. Вырожденіе не исчерпывается преступниками, проститутками, анархистами и завѣдомыми сумасшедшими. Выродившіеся есть и между писателями и художниками. Они являютъ духовныя, а въ большинствѣ случаевъ и физическія черты, общія всему этому антропологическому семейству, но удовлетворяютъ своимъ нездоровымъ стремленіямъ при помощи пера или кисти, а не ножа или динамитнаго заряда».

Нордау не совсѣмъ правъ по отношенію къ своему учителю: Ломброзо писалъ и о «графоманахъ», и о художникахъ «маттоидахъ». Но это обстоятельство для насъ не важно. Во всякомъ случаѣ, приведенныя строки вполнѣ характеризуютъ ту точку зрѣнія, на которой стоитъ Нордау: вырожденіе, физическое и нравственное, представляется ему единственнымъ объясненіемъ цѣлаго ряда явленій общественной жизни, имѣющихъ очень сложные и разнородные корни, да и непосредственно очень различающихся между собою. Мы еще вернемся къ этой, поражающей своею узостью и односторонностью, точкѣ зрѣнія. А теперь обратимся къ тому матеріалу, который Нордау, пользуясь «свѣточемъ метода» Ломброзо, подвергаетъ анализу въ своей новой книгѣ.

Послѣ общаго введенія, озаглавленнаго «Fin de siècle», Нордау переходитъ къ «выродившимся». Тутъ подъ общею рубрикой «мистицизма», фигурируютъ англійскіе «прерафаэлиты», французскіе «символисты» или «декаденты», «толстоизмъ», культъ

Вагнера (музыкальнаго композитора) и нѣкоторыя каррикатурныя формы (Parodieformen) мистицизма. Мы остановимся преимущественно на французскихъ литературныхъ школахъ, которымъ и въ книгѣ Нордау удѣляется больше всего вниманія. Какъ истый нѣмецъ, Нордау и вообще съ особенною ядовитостью относится къ французамъ, — до такой степени, что предлагаетъ даже замѣнить выраженіе «fin de siècle» выраженіемъ «fin de race», т.-е. именно французской расы: ей, дескать, приходитъ конецъ.

Нѣсколько личныхъ словъ въ объясненіе нижеслѣдующаго. До сихъ поръ я мало интересовался такъ называемыми декадентами или символистами и лишь случайно просматривалъ кое-что изъ ихъ произведеній. Прочитавши книгу Нордау, я сперва хотѣлъ только провѣрить его цитаты, потому что многое изъ этой оригинальной литературы совершенно теряется въ переводѣ на нѣмецкій (и, конечно, на русскій) языкъ. Но, когда на столѣ у меня очутилась чуть не цѣлая декадентская библіотека, я понемногу заинтересовался ею, какъ въ высшей степени любопытнымъ не только литературнымъ, но и общественнымъ явленіемъ, и уже не могъ ограничиться простою провѣркой цитатъ Нордау. Чтеніе это стоило не малаго труда. Я совершенно свободно читаю по-французски, но тутъ мнѣ приходилось иногда по нѣскольку разъ перечитывать одну страницу, чтобы понять то, что на ней напечатано французскими буквами; приходилось обращаться и къ чужой помощи. Несмотря, однако, на всѣ эти мои старанія, я отнюдь не могу считать себя знатокомъ декадентской литературы во всей ея совокупности, а потому читатель долженъ примириться со многими пробѣлами, въ каковыхъ случаяхъ я буду слѣдовать, съ фактической стороны, Нордау и другимъ. Изъ этихъ другихъ особенно интересенъ нѣкій Жюль Гюре, авторъ книги «Enquête sur l'evolution littéraire» (1891). Гюре, сотрудникъ газеты «L'écho de Paris», задался мыслью собрать мнѣнія всѣхъ сколько-нибудь выдающихся французскихъ писателей другъ о другѣ и о школахъ, по которымъ они группируются. Онъ снялъ такимъ образомъ, шестьдесятъ четыре допроса (большею частью устныхъ), изъ которыхъ составилась чрезвычайно любопытная книга. Поучительны также показанія прикосновенныхъ къ новымъ литературнымъ теченіямъ во Франціи — Шарля Мориса (книга «La littérature de tout à l'heure», 1889) и Матьяса Мор-

гарта (статья «Les symboliqnes» въ «Nouvelle Revue» за 1892 г.).

Въ концѣ 1883 г. въ Парижѣ, въ одномъ изъ кабачковъ Латинскаго квартала, стала собираться группа молодыхъ поэтовъ, носившая кличку «гидропатовъ»; почему она такъ называлась, неизвѣстно. Они издавали маленькій журнальчикъ «Лютеція», который, впрочемъ, очень скоро прекратился, а затѣмъ прекратились и собранія «гидропатовъ». Ихъ замѣнилъ, въ другомъ уже кабачкѣ, новый кружокъ, получившій насмѣшливое прозвище «декадентовъ». Большая часть основателей этого кружка дебютировала среди «гидропатовъ». Это Жанъ Мореасъ, Лоранъ Тальядъ. Шарль Морисъ, Шарль Винье, Станиславъ Гюаита. Къ этимъ присоединялись потомъ другіе, нѣкоторые отставали, вновь прибывали. Они имѣли, а частію и до сихъ поръ имѣютъ, свои журналы, весьма, однако, кажется, мало распространенные. Но сочиненія нѣкоторыхъ изъ нихъ производятъ много шуму. Ихъ называютъ огуломъ «символистами», и сами себѣ они (отнюдь, однако, не всѣ) охотно даютъ эту кличку; называютъ они себя также «молодыми» (jeunes). Послѣднее, однако, надо понимать, кажется, въ нѣкоторомъ фигуральномъ смыслѣ. «Гидропаты» и первые «декаденты» были дѣйствительно молоды. Моргартъ говоритъ въ упомянутой статьѣ, что это были юноши, только что прибывшіе изъ провинціи или окончившіе среднее образованіе, «очень мало знавшіе не только жизнь, но и литературу». Но, какъ и всегда, недостатокъ знанія не только не мѣшалъ, а даже еще способствовалъ обилію и горячности дебатовъ. Они собирались каждый день въ своихъ излюбленныхъ кафе утромъ, просиживали до обѣда и потомъ опять сходились и бесѣдовали далеко за полночь. Занятія состояли въ чтеніи поэтическихъ произведеній, въ бесѣдахъ о нихъ и по поводу нихъ. Главнымъ образомъ, ихъ занимали вопросы о техникѣ стиха и о «суггестіи», т.-е. «навожденіи» въ искусствѣ (мы въ свое время увидимъ, въ чемъ тутъ дѣло). Кое-кто изъ посѣтителей кафе вносилъ въ кружокъ свои личные вкусы, болѣе или менѣе сильно вліявшіе и на остальныхъ. Такъ, повидимому, Мореасъ внесъ интересъ къ философіи Шопенгауера и къ старой французской литературѣ — XIV, XV и XVI вѣковъ. Кое-кто просто «благировалъ» на разныя серьезныя и якобы серьезныя темы. Все это было очень молодо. Но съ тѣхъ поръ и сами основатели

кружка успѣли вырасти, и къ нимъ примкнули люди старшаго возраста (вѣрнѣе, можетъ быть, сказать, что они пристроились къ этимъ старшимъ). Теперь самому талантливому изъ писателей, причисляемыхъ къ «символистамъ», и не только самому талантливому изъ нихъ, а и дѣйствительно талантливому, Полю Верлену,— за пятьдесятъ лѣтъ: Стефану Малларме, необыкновенно высоко цѣнимому «своими», подъ пятьдесятъ: Мореасу, тоже одному изъ орловъ изъ стаи славной, — тридцать пять. Это немножко напоминаетъ нашихъ, подвизающихся въ беллетристикѣ и поэзіи, «молодыхъ людей подъ сорокъ лѣтъ». Если, такимъ образомъ, французскіе символисты, въ особенности щеголяющіе Верленомъ, Малларме и Мореасомъ, называютъ себя «молодыми», то тутъ надо разумѣть не столько юный возрастъ, сколько молодость души и новость идей...

Оставляя пока въ сторонѣ молодость души и останавливаясь только на новости идей, надо замѣтить, что ихъ, эти идеи, отнюдь не такъ-то легко извлечь изъ-подъ словесной одежды, въ которую ихъ облекаютъ символисты, и не только нашему брату, иностранцу. Извѣстный поэтъ Леконтъ де-Лиль такъ отвѣтилъ Гюре на вопросъ о символистахъ: «Я рѣшительно не понимаю ни того, что они говорятъ, ни того, что они хотятъ сказать... Я думаю, что они тратятъ время и молодость на произведенія, которыя сами сожгутъ черезъ нѣсколько лѣтъ. Это удивительно и печально! Я вижусь кое съ кѣмъ изъ нихъ,—они говорятъ очень ясно, какъ французы и здравомыслящіе люди. Но какъ только они берутся за перо—кончено дѣло: пропалъ французскій языкъ, пропала ясность, пропалъ здравый смыслъ. Это поразительно! И что за языкъ! Вотъ возьмите шапку, набросайте туда нарѣчій, союзовъ, предлоговъ, существительныхъ, прилагательныхъ, вынимайте наудачу и складывайте,—выйдетъ символизмъ, декадентизмъ, инструментизмъ и вся прочая галиматья... Это тѣ «любители бреда», о которыхъ говоритъ Боделеръ. Онъ совѣтовалъ подбрасывать кверху типографскій шрифтъ, и когда онъ упадетъ внизъ, на бумагу, получатся стихи. Символисты повѣрили Боделеру... Они толкуютъ о музыкѣ! Да что-же можетъ быть менѣе музыкально, чѣмъ ихъ стихи? Это неслыханная какофонія! Одинъ изъ нихъ, Ренье, — очень, впрочемъ, милый молодой человѣкъ, — сказалъ мнѣ однажды: «Мы пробуемъ, дорогой учитель!» — «Да пробуйте сколько хотите, — отвѣтилъ я, — это ваше право, но сохра-

няйте свои пробы для себя, не пробуйте въ печатныхъ книгахъ!»... Это какая-то эпидемія. Стефанъ Малларме —мой старый пріятель, съ которымъ я былъ очень близокъ, когда-то я его понималъ, а теперь не понимаю».

Мнѣніе другого извѣстнаго французскаго поэта, Франсуа Коппе: «Малларме писалъ когда-то понятные стихи, но, при всемъ моемъ уваженіи къ его возвышенному уму и безупречной жизни, я долженъ признаться, что теперь я его не понимаю».

Мнѣніе еще одного признаннаго свѣтила французской поэзіи, Сюлли-Прюдома: «Я не только не чувствую музыки ихъ стиховъ, но и самый смыслъ ихъ для меня совершенно теменъ».

Леконтъ де-лиль, Коппе и Сюлли-Прюдомъ—отсталые люди, съ точки зрѣнія декадентовъ и символистовъ, отпѣтые старики, мнѣнія которыхъ нисколько неинтересны, потому что гдѣ же имъ понять «новую мозговую линію», выражаясь нашимъ нынѣшнимъ русскимъ языкомъ, новое теченіе, смывающее устарѣлый французскій Парнасъ? Но и Поль Верленъ, которому поклоняются всѣ символисты,—признается: «о, я не все у нихъ понимаю, далеко не все!»

Чтобы русскій читатель могъ хотя отчасти судить о томъ, въ какой мѣрѣ правы знаменитые французскіе поэты, я приведу въ возможно точномъ переводѣ два стихотворенія: одно Мореаса, претендующаго на титулъ главы школы, и другое—Метерлинка, правда, бельгійца, а не француза, но убѣжденнаго и выдающагося символиста. Стихотвореніе Мореаса называется «Пѣсня» и напечатано въ сборникѣ, озаглавленномъ «Le pélerin passionné»:

«Птички въ камышахъ! (Надо ли вамъ разсказывать про птичекъ въ камышахъ?) О, вы, хорошенькая фея водъ. Свинопасъ и свиньи! (Надо ли вамъ разсказывать про свинопаса и свиней?) О, вы хорошенькая фея водъ. Мое сердце въ вашихъ сѣтяхъ! (Надо ли вамъ разсказывать про мое сердце въ вашихъ сѣтяхъ?) О, вы, хорошенькая фея водъ».

Тутъ и пѣснѣ конецъ! Въ предисловіи къ сборнику Мореасъ предваряетъ, что только тотъ дѣйствительно насладится его стихами, кто «съумѣетъ понять, какимъ образомъ Сентиментальная Идеологія и Музыкальная Пластичность оживляются въ нихъ одновременнымъ дѣйствіемъ». Едва ли, однако, кто-нибудь пойметъ эту авторскую исповѣдь, не смотря на прописныя буквы,

повидимому, что-то особенно подчеркивающія, которыми всѣ символисты любятъ пестрить свои страницы.

Приведенное стихотвореніе написано опредѣленнымъ размѣромъ и риѳмованными строками: roseaux, eaux, pourceaux, eaux, réseaux, eaux. Эта музыкальная сторона, конечно, исчезаетъ въ прозаическомъ переводѣ. Но вотъ уже вполнѣ «вольные стихи Метерлинка, безъ уловимаго размѣра и риѳмы, изъ сборника, озаглавленнаго «Serres chaudes»:

О теплица среди лѣсовъ!
И твои навсегда запертыя двери!
И все, что есть подъ твоимъ куполомъ!
И подъ моей душой въ аналогіи съ тобой! *)
Мысли принцессы, которая голодна,
Тоска матроса въ пустынѣ,
Мѣдная музыка подъ окномъ неизлѣчимо-больныхъ.

—

Идите въ самые теплые углы!
Какъ будто женщина, упавшая въ обморокъ въ день жатвы,
На больничномъ дворѣ почтальоны;
Вдали проходитъ охотникъ за оленями, ставшій больничнымъ
служителемъ.

—

Разсматривайте при лунномъ свѣтѣ!
(О тогда все не на своемъ мѣстѣ!)
Какъ будто безумная передъ судьями,
Военный корабль съ распущенными парусами на каналѣ,
Ночныя птицы на лиліяхъ,
Погребальный звонъ въ полдень.
(Тамъ, подъ этими колоколами!)
Этапъ больныхъ на лугу,
Запахъ зоира въ солнечный день.
Боже мой! Боже мой! Когда будетъ у насъ дождь
И снѣгъ, и вѣтеръ въ теплицѣ!

Я старался перевести это стихотвореніе какъ можно ближе къ подлиннику, а такъ какъ оно приведено и у Нордау, то я еще свѣрялъ свой русскій переводъ съ его нѣмецкимъ и могу ручаться за точность.

А для примѣра теоретическаго изложенія, вотъ опредѣленіе идеи Бога, даваемое признаннымъ философомъ школы, Шарлемъ Морисомъ (въ книгѣ «La littèrature de tout à l'heure»): «Богъ

*) Et sous mon âme en vos analogies!

есть первая и всеобщая причина, послѣдняя и всеобщая цѣль, связь духовъ (или умовъ, esprits), точка пересѣченія двухъ параллельныхъ линій, завершеніе нашихъ стремленій, совершенство, соотвѣтствующее величію нашихъ мечтаній, абстракція конкретнаго, невидимый и неслышимый, но достовѣрный идеалъ нашихъ стремленій къ красотѣ въ истинѣ. Богъ есть по преимуществу собственное имя, то-есть то неизвѣстное и достовѣрное слово, о которомъ каждый писатель имѣетъ несомнѣнное, но неразличимое понятіе, та очевидная и скрытая цѣль, которой онъ никогда не достигаетъ и къ которой по возможности приближается». Это удивительное опредѣленіе Морисъ считаетъ «чисто-философскимъ».

Надо еще замѣтить, что символисты любятъ необычныя конструкціи фразъ и необычныя, частью давно вышедшія изъ употребленія, частью вновь выдуманныя слова. Объ одномъ изъ самыхъ видныхъ символистовъ, Мореасѣ, Гюисмансъ выразился, въ разговорѣ съ Гюре, такъ: «Представьте себѣ курицу (да еще валашскую курицу!), которая клюетъ мелочи изъ словаря средневѣковаго языка. И если бы онъ еще красивыя слова выклевывалъ,—нѣтъ, у него вкусъ караиба!... Писать «coulomb», чтобы не написать «pigeon»,—неужели это остроумно?»

Пробиться сквозь всѣ эти препятствія формы изложенія иностранцу, конечно, особенно трудно. А къ этому прибавляется еще одно важное обстоятельство. Представленіе о символистахъ, какъ о какой-то вполнѣ объединенной группѣ, совсѣмъ невѣрно. Здѣсь, напротивъ, каждый, можно сказать, кто во что гораздъ, и если не норовитъ самъ основать собственную литературную школу, то видитъ такого основателя въ комъ-нибудь изъ «своихъ». Одинъ изъ собесѣдниковъ Гюре даетъ слѣдующій курьезный списокъ «геніевъ, характеризующихъ свою эпоху»: «Моисей, Эсхилъ, Виргилій, Данте, Рабле, Шекспиръ, Гете, Флоберъ и Лафоргъ», а со смертію, дескать, Лафорга открывается вакансія. И, конечно, за претендентами дѣло не станетъ. Жюль Лафоргъ—поэтъ, умершій въ молодыхъ годахъ и, повидимому, дѣйствительно не лишенный таланта. Но, всетаки, если онъ можетъ быть поставленъ въ одинъ рядъ съ Моисеемъ, то дозволительно дерзать многимъ, а кто не дерзаетъ самъ, тотъ съ удобствомъ находитъ великаго человѣка гдѣ-нибудь по близости около себя.

Любопытна въ этомъ отношеніи судьба Стефана Малларме. По

профессіи онъ учитель англійскаго языка и человѣкъ уже далеко не первой молодости. Написалъ онъ очень немного (мы увидимъ ниже кое-что изъ его писаній), но это не мѣшаетъ, а, можетъ быть, даже способствуетъ тому, что большинство символистовъ цѣнитъ его необыкновенно высоко. Теоретикъ школы, — если можно въ данномъ случаѣ говорить о школѣ,—Шарль Морисъ, называетъ его «символическою фигурой поэта, стремящагося наиболѣе приблизиться къ абсолюту». Для другихъ поэтовъ онъ «живая совѣсть, строгій учитель, котораго мечтаютъ удовлетворить». Правда,—продолжаетъ Морисъ,—Малларме немного намъ далъ, но это потому, что онъ хотѣлъ лишь указать нѣкоторыя важныя подробности новаго пути, не имѣя пока возможности «осуществить задуманное имъ неслыханное художественное твореніе». Изъ этого, равно какъ изъ другихъ указаній, видно, что Малларме представляетъ собою центръ нѣкотораго кружка и имѣетъ дѣло, главнымъ образомъ, съ собесѣдниками, а не съ читателями. Роль сама по себѣ весьма почтенная, если вспомнить, напримѣръ, нашего Станкевича. Но Малларме, очевидно, ею не довольствуется. Въ 1875 г. онъ напечаталъ маленькую, въ четыре странички, «эклогу»—«L'après midi d'un faune», переиздалъ ее съ чрезвычайно пышнымъ послѣсловіемъ и указывалъ на нее Гюре, какъ на поворотный пунктъ во французской поэзіи. Въ томъ же разговорѣ съ Гюре онъ, въ объясненіе своего молчанія, выразилъ довольно-таки обидную для другихъ поэтовъ мысль, что современное общество не можетъ дать поэту ничего, что стояло бы въ уровень съ его идеей и съ его «тайною работой». Малларме, очевидно, хорошо умѣетъ обставить свое творческое безсиліе. Въ 1891 г. онъ разрѣшился, однако, книгой «Pages», съ которой мы еще познакомимся.

Соглашаясь принять титулъ главы школы, Малларме указываетъ, однако, на Поля Верлена, какъ на поэта, раньше его выступившаго на новый путь и, притомъ, высоко талантливаго. Верленъ, человѣкъ уже весьма не молодой, дѣйствительно недюжинный талантъ, и всѣ символисты смотрятъ на него съ величайшимъ почтеніемъ. Нельзя, однако, сказать, чтобы самъ Верленъ платилъ имъ тою же пріятною монетой. На просьбу Гюре опредѣлить, что такое, по его мнѣнію, символизмъ, Верленъ отвѣчалъ такъ: «Знаете, я человѣкъ здраваго смысла: можетъ быть, у меня другого ничего нѣтъ, но здравый смыслъ есть. Символизмъ?.. Не понимаю... Это,

должно быть, нѣмецкое слово, а? Что бы это такое значило? Мнѣ, впрочемъ, наплевать. Когда я страдаю, наслаждаюсь, плачу, я знаю, что это не символы... Они мнѣ надоѣли, всѣ эти цимбалисты! Когда въ самомъ дѣлѣ хотятъ произвести переворотъ въ искусствѣ, поступаютъ не такъ. Въ 1830 г. шли въ битву съ однимъ знаменемъ, на которомъ было написано: «Эрнани!» А теперь всякій лѣзетъ съ своимъ знаменемъ, на которомъ написано: «Реклама!» Я и самъ когда-то шалилъ, но не имѣлъ претензіи обращать свои шалости въ законы. Я не жалѣю о томъ, что писалъ четырнадцати-стопные стихи; я расширялъ дисциплину стиха, но не уничтожалъ его... Теперь пишутъ стихи въ тысячу стопъ! Это не стихи, а проза, а иногда просто ерунда». На замѣчаніе Гюре, что «молодые» ссылаются, однако, на него, Верлена, тотъ отвѣтилъ: «Пусть мнѣ докажутъ, что я тутъ при чемъ-нибудь! Читайте мои стихи».

Гемакль, основатель «Revue contemporaine», въ которой группировались люди, ставшіе потомъ «декадентами» и «символистами», говоритъ: «Символистскаго движенія нѣтъ, а есть движенія безъ общаго направленія. Это все богомольцы безъ святыхъ мѣстъ. Никогда вы не встрѣтите хотя бы двухъ изъ этихъ вмѣстѣ на дорогѣ. Шуму они дѣлаютъ много, но тутъ нѣтъ ни страсти, ни любви, ни религіи... Литература всегда была символическою, начиная съ Эсхила и раньше его. Почему же эти господа—символисты по преимуществу? Потому что они выдвигаютъ символъ? Символъ чего? Символъ долженъ облекать сущность, центральную идею; какая же центральная идея у этихъ господъ? Возрожденіе словечекъ XVI вѣка, большая или меньшая длина стиха, заимствованія у среднихъ вѣковъ и другія подробности не могутъ составить доктрину. Да они и относительно этихъ подробностей несогласны между собой».

Я выбираю не неодобрительные отзывы, а только такіе, которые свидѣтельствуютъ о крайней розни между символистами. Самою кличкою «символисты» многіе уже недовольны и стремятся образовать новыя школы, съ новыми названіями. Такъ, одинъ изъ главарей символизма, Мореасъ, толкуетъ о «романизмѣ». Нѣкій Сенъ-Поль-Ру, самъ себѣ прибавляющій прозвище «Великолѣпный» («le Magnifiqne»), въ уморительно напыщенныхъ выраженіяхъ, возвѣщаетъ грядущій «алмазный вѣкъ поэзіи»,—вѣкъ «маньифицизма»: «Маньифики, аргонавты Красоты, отправятся

за Божественнымъ Руномъ въ Колхиду Истины. Они завоюютъ его душою вещей,—душою, которую они облекутъ въ ризу, вышитую и разукрашенную ихъ ощущеніями». Въ этотъ побѣдоносный походъ маньифики отправятся, конечно, подъ предводительствомъ Saint-Pol-Roux-le-Magnifique, Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпнаго!... Рене Гиль, громя всѣхъ остальныхъ символистовъ, основываетъ свою собственную школу «эволюціоннаго инструментизма» Къ маю мѣсяцу 1891 г. онъ насчитывалъ уже двадцать шесть поэтовъ—учениковъ и послѣдователей. Правда, въ списокъ этихъ «эволюціонныхъ инструментистовъ» Гилю приходится заносить все больше такихъ, которые еще ничего не написали. Напримѣръ: «Марсель Батилья, который скоро издастъ превосходную и раціональную поэму; Александръ Бурсонъ, готовящій произведенія, проникнутыя эволюціонною идеей съ соціальной точки зрѣнія; Д. Мессонье опубликуетъ въ октябрѣ первую книгу своихъ стиховъ» и т. д., и т. д. Конечно, это немножко неудобно, но, вѣдь, и отъ Малларме все еще ждутъ великаго творенія, и это не мѣшаетъ увѣренности, что твореніе будетъ, дѣйствительно, великое.

Къ символистамъ близки «маги». Самый извѣстный изъ нихъ—Жозефенъ Пеладанъ, присвоилъ себѣ титулъ «Саръ», какъ Сенъ-Поль-Ру титулъ «Великолѣпный». Однако, и между магами единства мало. Саръ Пеладанъ объяснилъ Гюре, что настоящихъ маговъ во Франціи только пять (не считая меня, прибавилъ онъ): аббатъ Лакуріа, маркизъ де-Сантъ-Ивъ, де-Гюаита, Папю и Барле, а все остальное—просто неудачники. А на вопросъ Гюре о роли Сара Пеладана, обращенный къ другому магу, тотъ отвѣчалъ: «Каждый можетъ назвать себя Саромъ,—это халдейскій титулъ безъ всякаго значенія. Это все равно, какъ вамъ вздумалось бы величать себя викаріемъ Гюре или дьякономъ Гюре».

Спрашивается, что же связываетъ всѣхъ этихъ людей въ одно, хотя бы расплывающееся и разношерстное цѣлое? Или нѣтъ такой общей скобки, за которую можно бы было поставить ихъ всѣхъ,—талантливыхъ и бездарныхъ, убѣжденныхъ и фокусниковъ? Нордау рѣшительно утверждаетъ, что такая общая скобка есть, а именно: вырожденіе. Онъ доказываетъ это разборомъ произведеній символистовъ, въ нѣкоторыхъ, очень немногихъ случаяхъ,—біографическими данными, и подтверждаетъ свои соображенія цитатами изъ сочиненій психіатровъ и невропатологовъ. Всѣ эти символисты, декаденты и прочія примыкающія къ

нимъ группы, по мнѣнію Нордау, выродки, оскудѣлые, слабоумные, психопаты, вообще люди завѣдомо больные душевно.

Относительно нѣкоторыхъ изъ изслѣдуемыхъ Максомъ Нордау субъектовъ читатель, вѣроятно, безъ колебаній согласится съ его мнѣніемъ. Таковъ, напримѣръ, вышеупомянутый «магъ» Саръ Меродакъ Пеладанъ. Я, къ сожалѣнію, не успѣлъ познакомиться съ произведеніями этого страннаго человѣка и читалъ только письмо его къ Гюре, напечатанное въ «Enquête sur l'évolution littéraire». Нордау считаетъ его человѣкомъ талантливымъ и высоко нравственнымъ. «Въ его романахъ, — говоритъ онъ, — есть страницы, принадлежащія къ лучшимъ изъ современныхъ писаній. Его нравственный идеалъ великъ и благороденъ Онъ съ пылкою ненавистью преслѣдуетъ все низкое и пошлое, всѣ виды своекорыстія, лицемѣрія, алчности, а его герои все благороднѣйшіе люди. Тѣмъ не менѣе, онъ является однимъ изъ характернѣйшихъ выродковъ».

Въ Библіи упоминается вавилонскій царь Меродакъ Беладанъ. Читая это мѣсто, Жозефенъ Пеладанъ поражается сходствомъ своей фамиліи съ именемъ вавилонскаго царя. Къ этому прибавляется еще нѣкоторое сходство его лица съ внѣшностью ассирійскихъ царей, какими мы ихъ знаемъ по древнимъ изображеніямъ. Задумываясь надъ этими совпаденіями, онъ приходитъ къ мысли, что, можетъ быть, онъ потомокъ ассирійскихъ или вавилонскихъ царей, и въ одинъ прекрасный день прибавляетъ къ своей фамиліи титулъ «Саръ» или, кромѣ того, и имя «Меродакъ». Случайная ассоціація идей ведетъ Пеладана дальше. Ассирія, Вавилонъ, Халдея... маги... Почему-бы Сару Меродаку Пеладану не оказаться наслѣдникомъ утраченной мудрости маговъ? Онъ предается изученію такъ называемыхъ тайныхъ наукъ. Но его влечетъ къ себѣ и все другое таинственное, мистическое. Въ качествѣ любителя музыки и поклонника Вагнера, онъ ѣдетъ въ Байрейтъ, на представленія вагнеровскихъ оперъ, проникается ихъ музыкой и сюжетами, воображаетъ себя хранителемъ чаши Грааля, затѣмъ духовнымъ преемникомъ тампліеровъ и розенкрейцеровъ. Изо-всего этого получается невозможная смѣсь. Пеладанъ носитъ какіе-то особаго покроя атласные, голубые и черные камзолы, расчесываетъ себѣ волосы и бороду по ассирійскимъ образцамъ, выработалъ себѣ особенный почеркъ на старинный манеръ, любитъ писать красными и желтыми чернилами,

употребляетъ почтовую бумагу съ изображеніемъ ассирійской короны, пишетъ не письма, а «mandements», то-есть приказы или посланія. Онъ изобрѣлъ себѣ гербъ: на серебряномъ съ черными полосами щитѣ золотая чаша, надъ нею красная роза съ двумя крыльями и черный крестъ. Пишетъ онъ не романы, а «этопеи». Всѣ его сочиненія снабжены множествомъ предисловій и символическихъ виньетокъ. Такъ, напримѣръ, книга «Comment on devient Mage» имѣетъ на оберткѣ рисунки ассирійскихъ божествъ, розъ, крестовъ. Затѣмъ слѣдуетъ посвященіе «Графу Антону Ларошфуко, великому пріору Храма, архонту ордена розенкрейцеровъ». Затѣмъ латинская «молитва святому Ѳомѣ Аквинскому, могущая охранить читателя отъ возможныхъ заблужденій этой книги». Далѣе нѣчто вродѣ исповѣданія католической вѣры, «обращеніе къ предкамъ», бесѣда съ «современнымъ молодымъ человѣкомъ», и уже только послѣ всего этого начинается самое сочиненіе. Но и тутъ передъ каждою главой стоитъ длинный рядъ мистическихъ формулъ, совершенно непонятныхъ для непосвященныхъ, а можетъ быть и для посвященныхъ, и для самого автора. Романовъ или «этопей» Пеладанъ выпустилъ до сихъ поръ девять, но ихъ будетъ четырнадцать, расположенныхъ въ двѣ группы, по семи (мистическое число) въ каждой. Пеладанъ изобрѣлъ особую «schéme de Concordance», въ которой излагается краткое содержаніе и руководящія идеи каждаго романа. Вотъ, для образца, схема первой «этопеи»: «Глубочайшій порокъ. Нравственный и духовный діатезъ латинскаго упадка. Меродакъ, вершина сознательной воли, типъ безусловной сущности. Альта, прототипъ монаха въ общеніи съ міромъ» и т. д. Кончается эта схема замѣчаніемъ: «Въ каждомъ романѣ есть свой Меродакъ, то-есть абстрактный ороическій принципъ въ виду идеальной загадки». По словамъ Нордау, всѣ романы Пеладана вращаются въ трехъ группахъ представленій: высшая духовная цѣль человѣка состоитъ въ слушаніи и усвоеніи музыки Вагнера; высшее развитіе нравственности состоитъ въ уничтоженіи половыхъ влеченій и въ самопроизвольномъ превращеніи въ двуполое существо («андрогинъ» и «гинандеръ»); высшій человѣкъ можетъ по желанію удаляться изъ своего тѣла и вновь входить въ него, носиться, въ качествѣ «астральнаго существа», въ пространствѣ и подчинять себѣ весь сверхъестественный міръ духовъ, злыхъ и добрыхъ.

Ненормальное состояніе умственныхъ способностей Сара Мередака Пеладана очевидно безъ всякихъ комментаріевъ. Но мы остановимся на нѣкоторыхъ психологическихъ чертахъ Сара, присущихъ и другимъ, какъ болѣе, такъ и менѣе яркимъ продуктамъ „вырожденія". Мы видимъ, во-первыхъ, крайнюю возбудимость Пеладана. Не смотря на талантливость (она остается, конечно, на отвѣтственности Макса Нордау) и благородный образъ мыслей, духъ Пеладана до такой степени расшатанъ, что простого созвучія „Пеладанъ—Беладанъ" достаточно для возбужденія цѣлаго вихря чувствъ и мыслей совершенно фантастическаго характера. Любопытенъ затѣмъ и самый ходъ мыслей. Это нѣчто въ родѣ игры въ домино: если на кону стоитъ, положимъ, кость съ шестью и двумя очками, то изъ кучки костей играющій вынимаетъ одну за другою, пока случайно не подвернется кость съ шестью или двумя очками; она приставляется къ соотвѣтственной сторонѣ кости, стоящей на кону, то-есть шесть къ шести, два къ двумъ; потомъ опять вынимаются кости до новаго случайнаго совпаденія и т. д. Иной связи, кромѣ однозначности числа очковъ, между костями домино нѣтъ. Такъ и у оскудѣлыхъ или выродившихся. Докторъ Балле приводитъ слѣдующій примѣръ разговора одного душевно-больного: „il y a mille ans que le monde est monde. Milan, la cathédrale de Milan". У больного была какая-то неясная мысль, когда онъ началъ рѣчь о тысячелѣтнемъ существованіи міра, но слова „тысяча лѣтъ", mille ans, чисто-механически, безъ всякой логической связи, вызываютъ въ немъ по созвучію представленіе о Миланѣ и миланскомъ соборѣ. Нормальному человѣку mille ans тоже можетъ напомнить Миланъ, хотя-бы для риѳмы, но изъ множества представленій и мыслей, которыя могутъ возбудиться при словѣ „тысячелѣтіе", нормальный человѣкъ выберетъ подходящія къ данной темѣ и силою вниманія и воли подавитъ остальныя, въ томъ числѣ и Миланъ. Больной доктора Балле слишкомъ ослабленъ въ своемъ вниманіи и волѣ, чтобы сопротивляться случайной ассоціаціи идей, руководимый простымъ созвучіемъ. Въ Пеладанѣ мы имѣемъ начало этого процесса. Мысли его цѣпляются другъ за друга не логически, а по линіи наименьшаго сопротивленія, какое онъ можетъ оказывать ихъ наплыву, и оттого въ его писаніяхъ получаются такія комбинаціи словъ, которыя совершенно непонятны для посторонняго человѣка. Онѣ

ему и самому неясны, но онъ не до такой степени разстроенная машина, какъ больной, вполнѣ безмысленно повторяющій „cathédrale de Milan“ вслѣдъ за „mille ans“. Онъ, всетаки, разбирается въ волнѣ представленій и понятій, возникающихъ въ его умѣ, но, не имѣя возможности установить логическую связь между ними, склоненъ видѣть въ словахъ, ихъ выражающихъ, таинственный мистическій смыслъ. Обыкновенный опытно-наблюдательный путь пріобрѣтенія знанія и обыкновенный логическій путь мышленія онъ презираетъ, какъ нѣчто низменное и всѣмъ доступное. Онъ—„магъ“, онъ владѣетъ тайнымъ знаніемъ, столь тайнымъ и глубокимъ, что въ него нечего и думать проникнуть простому смертному. Въ письмѣ къ Гюре Пеладанъ выражаетъ недовольство другимъ магомъ, Папю, который, повидимому, любитъ дѣлать публичныя сообщенія о магизмѣ. „Папю изводитъ магизмъ, демократизуя его,—пишетъ Пеладанъ,—нельзя опрощать (vulgariser) тайну, не впадая въ богохульство“. Тайна священна и неприкосновенна для Пеладана,—не та или другая опредѣленная тайна, а самый принципъ тайны. Отсюда его пристрастіе къ символамъ, словеснымъ и живописнымъ. Символъ не изображаетъ данный предметъ или идею, а даетъ лишь болѣе или менѣе загадочный намекъ на нихъ. Въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ Тургенева поминается старинная книга какого-то Максимовича-Амбодика „Символы и эмблемы“, въ которой собрано около тысячи загадочныхъ рисунковъ съ столь-же загадочными толкованіями на пяти языкахъ. Напримѣръ, рисунокъ изображаетъ „шафранъ и радугу“, а толкованіе гласитъ: „дѣйствіе сего есть большее“; подъ рисункомъ, на которомъ изображена „цапля, летящая съ фіалковымъ цвѣткомъ во рту“, стоитъ надпись: „тебѣ всѣ они извѣстны“; „купидонъ и медвѣдь, лижущій своего медвѣженка“ означаетъ: „мало-по-малу“. И т. д. Такимъ образомъ Максимовичъ-Амбодикъ прямо даетъ толкованіе своимъ символамъ, но посредствующія логическія звенья между символомъ и толкованіемъ, между, напримѣръ, шафраномъ, радугой и мыслью: „дѣйствіе сего есть большее“ составляютъ тайну не только для насъ, а, можетъ быть, и для самого Максимовича-Амбодика. Пеладанъ, конечно, и не подозрѣваетъ, что его мистическое тяготѣніе къ тайнѣ и символу зависитъ отъ неясности его собственной мысли, отъ его неумѣнья разбираться въ своихъ впечатлѣніяхъ, представленіяхъ и понятіяхъ. Отсюда возникаетъ крайне двусмыс-

ленное положеніе. Пеладанъ — «магъ», «Саръ», онъ владѣетъ тайной. Съ другой стороны, однако, тайна должна остаться тайной, ее нельзя «опрощать», «демократизировать». Поэтому, не смотря на все могущество «магизма», Пеладанъ говоритъ: «Я вѣрю въ неизбѣжное гніеніе латинскаго міра безъ Бога и символа... я думаю, что паденіе Франціи есть вопросъ нѣсколькихъ лѣтъ». При всемъ благородствѣ своего личнаго характера, Пеладанъ этого конца предотвращать не хочетъ,—онъ презираетъ толпу и предоставляетъ ее ея собственной участи, хотя, въ то же время, пишетъ книгу, поучаетъ. Сумбуръ увеличивается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что, требуя отъ искусства религіозной окраски, Пеладанъ, для латинскаго міра вообще, для Франціи въ частности, указываетъ на католицизмъ, какъ на единственный якорь спасенія: «Высшія произведенія каждой расы суть ея религіозныя книги: достаточно вспомнить Библію, Веды, Тору, Каббалу,—для латинской расы все хаосъ внѣ католицизма». А, между тѣмъ, самъ онъ «Саръ», «магъ», то-есть нѣчто, во всякомъ случаѣ, не католическое.

Не стоило бы и заниматься такимъ завѣдомо больнымъ экземпляромъ, какъ Саръ Меродакъ Пеладанъ, если бы онъ былъ только экземпляромъ. Но, не говоря о томъ, что во Франціи существуютъ и другіе «маги» (нѣкоторые утверждаютъ, къ большому, впрочемъ, негодованію Пеладана, что ихъ въ одномъ Парижѣ десять тысячъ) и что у самого Пеладана есть послѣдователи, которыхъ онъ облекаетъ въ званія «великихъ пріоровъ», «архонтовъ«, «эстетовъ», «постулянтовъ» и «грамматиковъ»,—не говоря объ этомъ, нѣкоторыя черты духовной физіономіи Пеладана мы встрѣчаемъ и у другихъ «декадентовъ» и «символистовъ».

Манія величія, одолѣвающая бѣднаго Сара, несомнѣнна и у Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпнаго, и у основателя школы «инструментистовъ», Гиля. У Малларме, Мореаса, Мориса и другихъ едва ли можно усмотрѣть эту опредѣленную форму душевнаго разстройства. Это, повидимому, просто честолюбцы, претендующіе на первыя роли и болѣе или менѣе искусно эксплоатирующіе съ этою цѣлью всякія подходящія и неподходящія обстоятельства. Но нельзя, всетаки, не отмѣтить нѣкоторыя черты, связывающія завѣдомо больныхъ «маговъ», «маньификовъ», «инструментистовъ» съ такими декадентами и символистами, которыхъ не такъ-то

легко отдать цѣликомъ въ вѣдѣніе психіатріи, какъ это кажется Марксу Нордау.

Кличка декадентовъ имѣетъ право на болѣе глубокій смыслъ, чѣмъ простая насмѣшка. Поль Верленъ выразился на этотъ счетъ, въ разговорѣ съ Гюре, очень поэтически. Онъ сказалъ: «Намъ бросили этотъ эпитетъ, какъ оскорбленіе, я его принялъ и сдѣлалъ изъ него военный кликъ, но, сколько я знаю, онъ не означаетъ ничего спеціальнаго. Декадентъ! Да развѣ сумерки прекраснаго дня не стоятъ любой утренней зари? И потомъ, если солнце заходитъ, такъ развѣ оно не взойдетъ завтра утромъ опять?» Верленъ—совсѣмъ особая статья. Онъ имѣлъ мужество открыто принять кличку декадента, не придавая ей какого-нибудь спеціальнаго значенія, и презрительно обзываетъ, какъ мы видѣли, символистовъ «цимбалистами». Если мы обратимся къ другимъ, то увидимъ, что умами, по крайней мѣрѣ, многихъ изъ нихъ такъ или иначе владѣетъ идея упадка, близко грядущаго конца чего-то, пожалуй, вырожденія и, во всякомъ случаѣ, какой-то décadence. Мы видѣли, какъ это выходитъ во взбаломученной головѣ Пеладана. Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпный, Гиль и, вѣроятно, еще многіе другіе не сомнѣваются, конечно, въ близкомъ паденіи всего того, что жило раньше провозглашенія маньифицизма и инструментизма. Посмотримъ теперь на Малларме.

Я уже упоминалъ о послѣдней (1891 г.) его книгѣ «Pages». Это—великолѣпно изданный сборникъ не то стихотвореній въ прозѣ, не то просто отрывковъ изъ записной книжки. Написана книга тѣмъ невозможнымъ, выкрученнымъ, вымученнымъ языкомъ, котораго не понимаютъ мастера французскаго слова, не говоря уже о насъ грѣшныхъ. Книга начинается рисункомъ, изображающимъ совершенно голую женщину, которая стоитъ на какомъ-то недорисованномъ шарѣ,—должно быть, земномъ. Первая статья, озаглавленная «Будущій феноменъ», является объясненіемъ къ этой картинкѣ. Неизвѣстно, гдѣ и когда «кончается отъ дряхлости міръ»; небо блѣдное, деревья скучаютъ, листва на нихъ сѣрая, «больше отъ пыли временъ, чѣмъ отъ дорожной пыли». Является какой-то «Показыватель прошедшихъ вещей», около него—«несчастная, побѣжденная безсмертною болѣзнью и вѣковымъ грѣхомъ толпа мужчинъ и ихъ ничтожныхъ соучастницъ, беременныхъ ничтожными плодами, вмѣстѣ съ которыми погибнетъ земля» (я перевожу съ величайшею точностью). Показы-

ватель прошедшихъ вещей говоритъ толпѣ: «Надъ моимъ помѣщеніемъ нѣтъ никакой вывѣски, потому что теперь нѣтъ живописца, способнаго изобразить хотя бы слабое подобіе того, что хранится въ этомъ помѣщеніи. Я покажу вамъ женщину старыхъ временъ, живьемъ сохраненную при помощи науки. Какое-то оригинальное и наивное безуміе, золотой экстазъ, я не знаю что!— который она называетъ своими волосами, граціозно ложится вокругъ лица, освѣщаемаго кровавою обнаженностью ея губъ. Вмѣсто ничтожной одежды, у нея тѣло;—ея глаза подобны рѣдкимъ камнямъ и, всетаки, не стоятъ того взгляда, который исходитъ изъ ея счастливаго тѣла: отъ грудей, какъ бы твердыхъ вѣчнымъ молокомъ и обращенныхъ сосками къ небу, до гладкихъ ногъ». Такъ говоритъ показыватель прошедшихъ вещей, «и мужчины, вспоминая своихъ бѣдныхъ, плѣшивыхъ, болѣзненныхъ и исполненныхъ ужаса женъ, тѣснятся, да и онѣ, меланхолически настроенныя, хотятъ изъ любопытства видѣть. Когда всѣ насмотрятся на благородное созданіе, оставшееся отъ былой, уже проклятой эпохи,—одни равнодушные, потому что у нихъ не будетъ силы понять, другіе—растроганные и съ мокрыми отъ слезъ покорности глазами,—посмотрятъ другъ на друга. А поэты тѣхъ временъ, чувствуя, какъ загораются ихъ поблекшіе глаза, отправятся къ своей лампѣ, съ головой, опьяненной на мгновеніе смутною славой; ихъ посѣтитъ рифма и забвеніе о своемъ существованіи, которое въ такую эпоху пережило красоту».

Когда цитируешь, а тѣмъ болѣе, когда переводишь произведенія декадентовъ и символистовъ, поневолѣ постоянно оглядываешься и провѣряешь себя: такъ ли оно написано, дѣйствительно ли волосы названы «какимъ-то оригинальнымъ и наивнымъ безуміемъ и золотымъ экстазомъ», дѣйствительно ли у «будущаго феномена» «взглядъ исходитъ изъ счастливаго тѣла», «вмѣсто одежды тѣло» и груди «какъ-бы твердыя вѣчнымъ молокомъ»? Дѣйствительно, все такъ и есть. Конечно, все это можно бы было перевести болѣе человѣческимъ языкомъ, но надо же было сохранить хоть подобіе тѣхъ особенностей стиля, которыми такъ заняты и такъ гордятся символисты. Кромѣ этихъ вычурностей языка, въ приведенномъ отрывкѣ характерно еще то обстоятельство, что вся красота сосредоточивается въ женскомъ тѣлѣ. Но объ этомъ потомъ. Теперь я обращаю вниманіе читателя на идею упадка, составляющую основу приведенныхъ строкъ

Та же идея, но только еще явственнѣе, потому что субъективнѣе, сказывается во второй статьѣ книги «Pages». Она называется «Осенняя жалоба»: «Съ тѣхъ поръ, какъ Марія покинула меня, чтобы удалиться на другую звѣзду, — на какую? Оріонъ? Алтаиръ? или на тебя, зеленая Венера?—я всегда любилъ уединеніе. Сколько длинныхъ дней я провелъ одинъ съ своею кошкой. *Одинъ*, то-есть безъ матеріальнаго существа, а моя кошка есть мистическій товарищъ, духъ. Я могу поэтому сказать, что проводилъ длинные дни съ моею кошкой и въ одиночествѣ, съ однимъ изъ писателей временъ паденія Рима; потому что съ тѣхъ поръ, какъ бѣлаго созданія больше нѣтъ, я страннымъ образомъ полюбилъ все, что резюмируется въ словѣ: паденіе. Изъ временъ года я больше всего люблю послѣдніе, истомленные лѣтніе дни, непосредственно предшествующіе осени; изъ часовъ дня—тѣ, когда солнце отдыхаетъ передъ самымъ исчезновеніемъ... Точно также и въ литературѣ: я ищу грустнаго наслажденія въ умирающей поэзіи послѣднихъ минутъ Рима, поскольку, однако, онъ не зараженъ молодящимъ вѣяніемъ варваровъ и не бормочетъ дѣтской латыни первыхъ христіанскихъ прозаиковъ».

Принимая въ соображеніе, что Малларме есть одинъ изъ признанныхъ главарей символизма, что къ нему идутъ на судъ, жаждутъ его совѣтовъ, ждутъ отъ него великаго, «неслыханнаго» произведенія, надо думать, что мнѣнія и настроенія его раздѣляются многими декадентами и символистами. Но почему же въ такомъ случаѣ эти люди называютъ себя «молодыми» — «les jeunes»? О почтенномъ возрастѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ, въ томъ числѣ и Малларме, мы уже говорили. Что же касается молодости души, то ее довольно трудно усмотрѣть въ этомъ старчески безсильномъ отношеніи къ грядущему вырожденію человѣческой расы и къ мрачному обрыву тысячелѣтней работы человѣчества. Молодость сильна, а всякая сила стремится обнаружиться въ дѣйствіи, — въ содѣйствіи добру и противодѣйствіи злу, — хотя каждый можетъ по-своему понимать добро и зло и по-своему служить одному и бороться съ другимъ. Сила бездѣйствовать не можетъ, и въ этомъ именно состоитъ трагическое положеніе сокола, у котораго крылья связаны и которому всѣ пути заказаны. Положеніе Малларме совсѣмъ иное. Онъ, какъ рыба въ водѣ, плаваетъ въ своихъ двусмысленныхъ отношеніяхъ къ грядущему

паденію человѣчества. Съ одной стороны, онъ какъ будто и скорбитъ, и гнѣвается по этому поводу; собственно потому скорбитъ и гнѣвается, что тамъ, въ отдаленіи времени, пострадаетъ красота женскаго тѣла. Съ другой стороны, ему любъ и дорогъ упадокъ вообще, онъ и литературу предпочитаетъ временъ упадка, если не міра, такъ хоть древняго Рима, и Боже сохрани, какъ-бы тутъ не замѣшалось какое-нибудь «молодящее» вліяніе. Получается нѣкоторое «ни тпру, ни ну», очень сходное съ положеніемъ несчастнаго Сара Пеладана: какъ и тотъ, Малларме предвидитъ и предрекаетъ паденіе, вырожденіе, но не хочетъ или не можетъ ему противодѣйствовать, хотя и владѣетъ какимъ-то магическимъ «новымъ словомъ». Конечно, мотивы Сара и Малларме не совсѣмъ одинаковы, но и въ нихъ есть, всетаки, нѣчто общее. Дѣло въ томъ, что Малларме не менѣе, можетъ быть, Сара тяготѣетъ къ тайнѣ и символу, хотя и по другимъ соображеніямъ. Въ разговорѣ съ Гюре онъ, между прочимъ, замѣтилъ: «*Назвать* предметъ значитъ уничтожить три четверти наслажденія, даваемаго постепеннымъ отгадываніемъ; надо *наводить* на него, *внушать* его. Символъ и состоитъ въ такомъ употребленіи тайны. Въ поэзіи всегда должна быть загадка». Въ этихъ словахъ заключается единственная серьезная сторона символизма. Но дѣло въ томъ, что у Малларме она осложняется еще тою тайной, въ которую облекается его собственная работа. Почтительные ученики и послѣдователи говорятъ о какомъ-то великомъ произведеніи, тайно творимомъ Стефаномъ Малларме, которое, можетъ быть, навсегда останется тайной для всѣхъ, потому что не созрѣли времена, пригодныя для воспріятія этой великой тайны. И Малларме поддерживаетъ учениковъ и послѣдователей въ этой вѣрѣ, подобно Сару Пеладану, хотя можно навѣрное сказать, что онъ, подобно опять-таки Сару, никакой великой тайны въ себѣ не хранитъ. Это не мѣшаетъ ему, конечно, съ глубокимъ презрѣніемъ относиться къ толпѣ, неспособной понять неизвѣстную ему самому тайну...

Въ числѣ обрывковъ и набросковъ, составляющихъ книгу Малларме, есть одинъ, поставившій меня въ тупикъ помимо манернаго, вычурнаго, вымученнаго стиля, помимо всѣхъ выкрутасовъ словосочиненія и синтаксиса. Это именно набросокъ, оза-

главленный «L'Ecclésiastique». Я не вѣрилъ своимъ глазамъ и обращался за помощью къ нѣсколькимъ лицамъ, хорошо знающимъ французскій языкъ. Авторъ разсказываетъ, какъ однажды весной онъ засталъ въ Булонскомъ лѣсу какого то семинариста за противоестественнымъ уединеннымъ занятіемъ. На родинѣ Вольтера этотъ сюжетъ, не смотря на всю свою рискованность, не представлялъ бы ничего особенно удивительнаго, въ видѣ злобной насмѣшки надъ безбрачіемъ католическаго духовенства. Но Малларме поэтически обставляетъ его разными «весенними чувствами», хорошенькимъ пейзажемъ и т. д.

Мы уже видѣли, что отдаленное потомство получитъ въ наслѣдство отъ лучшихъ временъ только одно—голую женщину. Въ ней сосредоточится весь идеалъ, вся красота прошедшаго и весь укоръ настоящему. Французская литература, какъ и живопись, давно уже отдалась этому культу женскаго тѣла. Но теперь мы часто имѣемъ дѣло уже не съ женскимъ тѣломъ, а съ разнообразными формами половой психопатіи. Что касается собственно женскаго тѣла, то любопытно отмѣтить у многихъ нынѣшнихъ французскихъ поэтовъ частое употребленіе слова «chair» въ тѣхъ случаяхъ, когда старый поэтъ сказалъ бы «corps». Слова эти, пожалуй, однозначущи, но chair гораздо грубѣе, оно собственно значитъ «мясо»; оно соотвѣтствуетъ не столько зрительному впечатлѣнію формы, сколько впечатлѣніямъ осязательнымъ и обонятельнымъ. Обстоятельство это, какъ увидимъ, очень характерно для символизма. Далѣе, не смотря на всѣ толки о символахъ и тайнахъ, символисты очень любятъ изображать женское тѣло во всѣхъ подробностяхъ, то-есть отнюдь не символически. Въ этой области они не довольствуются намеками и загадками и охотно лишаютъ читателя тѣхъ трехъ четвертей удовольствія отгадыванія, о которыхъ теоретически такъ хлопочетъ Малларме. А затѣмъ мы имѣемъ, наконецъ, и поэтическія изображенія противоестественныхъ пороковъ. Сюда относится и «L'Ecclésiastique» Малларме, и еще многое другое. Но самое любопытное въ этомъ отношеніи явленіе представляетъ собою поэзія Поля Верлена. Это—не Малларме или Мореасу чета. Это человѣкъ несомнѣнно искренній и талантливый, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно изуродованный жизнью. Зачисляя его въ продукты вырожденія, Марсъ Нордау видитъ слѣды этого вырожденія въ самой формѣ его стихотвореній. Это несправедливо. Форма стиховъ Верлена

почти всегда безупречна, но этой стороны дѣла мы касаться не будемъ, а ограничимся только содержаніемъ его поэзіи и нѣкоторыми біографическими свѣдѣніями.

Вотъ какъ рисуетъ Гюре наружность Верлена: «Голова состарѣвшагося злого ангела, съ нечесанною, рѣдкою бородой и грубымъ носомъ; густыя щетинистыя брови, точно пучки колосьевъ прикрывающія глубокіе зеленые глаза; огромный продолговатый черепъ, совершенно голый и отмѣченный загадочными шишками, отражаютъ въ этой физіономіи странное противорѣчіе упрямаго аскетизма и циклопическихъ аппетитовъ. Его біографія есть длинная скорбная драма; его жизнь есть неслыханная смѣсь остраго скептицизма и плотскихъ грѣховъ, завершающихся то садизмомъ, то угрызеніями совѣсти и покаяніемъ, то глубокимъ паденіемъ въ искусственномъ забвеніи». Кое-кому изъ читателей не лишне, можетъ быть, пояснить, что такое «садизмъ»,—слово, нынѣ часто попадающееся во французской литературѣ. Оно происходитъ отъ имени маркиза де-Сада, писателя прошлаго столѣтія, прославившагося своими болѣзненно-грязными произведеніями и болѣзненно-грязною жизнью. За эти свои произведенія и за эту свою жизнь онъ былъ выгнанъ изъ военной службы, былъ приговоренъ къ смертной казни, не разъ сидѣлъ въ тюрьмѣ и въ домѣ умалишенныхъ. Формы его противоестественныхъ грѣховъ очень разнообразны, вплоть до отвратительнѣйшихъ сочетаній сладострастія съ убійствомъ. Надо замѣтить, что надъ новою французскою литературой носится образъ не только маркиза де-Сада, а и знаменитаго Жиля де-Ретца, маршала Франціи и соратника Орлеанской дѣвы, далеко превзошедшаго де-Сада грязью и жестокостью своихъ мерзостей, да еще вдобавокъ демономана. Герой удивительнаго произведенія Гюисманса «Là-Bas» (1891 г.) пишетъ исторію Жиля де-Ретца и, въ то же время, переживаетъ рядъ приключеній демонически-сладострастнаго характера. Если вѣрить роману Гюисманса, то во Франціи и сейчасъ есть своего рода Жили де-Ретцы, демонолатры, совершающіе, между прочимъ, и «черную мессу», эту грязную и отвратительную пародію на католическое богослуженіе, есть и инкубы, и суккубы, и вся средневѣковая чертовщина мистическаго сладострастія. Героя «Là-Bas» очень занимаютъ какъ бы провиденціальность единовременнаго существованія Жиля де-Ретца и Іоанны д'Аркъ и тѣ взрывы покаяннаго обращенія къ Богу, ко-

торымъ отдавался иногда чудовищный Ретцъ Любопытно, что, по описанію Гюре, въ квартирѣ самого Гюисманса, переполненной разными рѣдкостями, древностями и произведеніями искусства, есть, между прочимъ, и частица мощей какого-то католическаго святого, и такая, изображающая голыхъ женщинъ, картина, которую хозяинъ долженъ держать въ задней комнатѣ...

Этимъ же духомъ перемежающагося горячаго благочестія и самаго крайняго разврата характеризуется поэзія Верлена и вся его жизнь. Какіе именно изъ разнообразныхъ грѣховъ маркиза де-Сада разумѣетъ Гюре подъ словомъ «садизмъ» въ примѣненіи къ Полю Верлену, неизвѣстно. Извѣстно, однако, что Верленъ высидѣлъ въ тюрьмѣ два года за какое-то преступленіе противъ нравственности. Въ стихотвореніи «Ecrit en 1875» онъ съ благодарностью вспоминаетъ о тюрьмѣ съ ея одиночествомъ и тишиною, гдѣ онъ научился молиться и вѣрить въ Бога. Въ стихотвореніи «Un conte», посвященномъ Гюисмансу, Верленъ поетъ хвалу Богородицѣ. Онъ кается въ разнообразныхъ грѣхахъ, разсказываетъ, какой онъ былъ страшный грѣшникъ, развратникъ, пьяница и, при томъ, атеистъ. И все это кончено. Онъ теперь не хочетъ ничего знать, кромѣ «обожанія мистической мудрости, любви къ сердцу Іисуса въ глубокомъ экстазѣ и мысли о Дѣвѣ Маріи». Въ этомъ стихотвореніи Верленъ называетъ себя, между прочимъ, «истинно, но низко искреннимъ» (vraiment mais vilement sincère). Это не только красиво (по-французски, конечно) сказано, но очень вѣрно. Верленъ, дѣйствительно, искренній поэтъ, не мудрствующій лукаво о новыхъ словахъ, не вымучивающій особенности своей литературной физіономіи, а предъявляющій ее во всякую данную минуту такою, какова она на самомъ дѣлѣ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не найдется, кажется, въ сферѣ половой жизни такой извращенности, которую онъ не рѣшился бы воспѣть рядомъ съ горячею исповѣдью убѣжденнаго католика и благочестиво покаянными воплями. Есть сборникъ его стихотвореній, озаглавленный «Parallélement». Сюда вошли стихи, написанные въ тюрьмѣ и по выходѣ изъ нея. Кромѣ откровеннаго изображенія частей женскаго тѣла, здѣсь можно встрѣтить такія сравненія, заимствованныя изъ сферы половой жизни, которыя я не рѣшусь передать,—не потому, чтобы нельзя было найти подходящія благопристойныя слова для такой передачи, а потому, что самая суть этихъ картинъ и образовъ отвратительно

грязна,—грязна и въ переносномъ, и даже въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Затѣмъ въ томъ же сборникѣ есть стихотворенія, цѣликомъ посвященныя поэтической идеализаціи противоестественныхъ пороковъ Содома и Лесбоса.

Въ дополненіе къ характеристикѣ Поля Верлена, къ которому, впрочемъ, намъ еще придется вернуться въ слѣдующій разъ, слѣдуетъ обратить вниманіе на его стихотворное обращеніе къ загробной тѣни Людовика II баварскаго. Несчастный умалишенный король представляется Верлену героемъ, который своею трагическою смертью посрамилъ политику и науку, а наука, дескать, есть «убійца молитвы и пѣсни, и искусства».

Ясно, что Верленъ, дѣйствительно, имѣетъ печальное право фигурировать въ книгѣ Нордау. Но Верленъ фигура слишкомъ оригинальная; при томъ же, онъ, какъ мы видѣли, во имя здраваго смысла и настоящей поэзіи, протестуетъ противъ «цимбалистовъ» и презираетъ ихъ. Пусть же его жизнь и поэзія остаются для насъ пока, рядомъ съ Саромъ Пеладаномъ, Малларме и другими, только матеріаломъ. И прежде, чѣмъ подойти къ какимъ-нибудь общимъ заключеніямъ, обратимся еще къ одному прославленному поэту новыхъ временъ и новыхъ вѣяній,—къ Метерлинку. Мы уже имѣли образчикъ его поэзіи Приведемъ еще одинъ,—стихотвореніе «Душа».

«Моя душа! О, моя душа, поистинѣ слишкомъ укрытая! И эти стада желаній въ теплицѣ! Въ ожиданіи бури въ лугахъ! Пойдемте къ самымъ больнымъ: у нихъ странныя испаренія. Среди нихъ я прохожу по полю битвы съ моею матерью. Хоронятъ брата по оружію въ полдень, въ то время, какъ стражи обѣдаютъ. Пойдемте также къ самымъ слабымъ: у нихъ страшный потъ (sueur); вотъ больная новобрачная, измѣна въ воскресенье и маленькія дѣти въ тюрьмѣ (и дальше, сквозь паръ), это умирающая у дверей кухни? Или сестра чиститъ овощи у постели неизлѣчимо больного? Пойдемте, наконецъ, къ самымъ печальнымъ (послѣ всѣхъ, потому что у нихъ есть яды). О, мои губы принимаютъ поцѣлуи раненаго! Всѣ владѣлицы умерли съ голоду, этимъ лѣтомъ, въ башняхъ моей души! Вотъ утро входитъ въ праздникъ! Я замѣчаю овецъ на набережныхъ и есть парусъ на окнахъ больницы! Длиненъ путь отъ моего сердца къ моей душѣ! И всѣ стражи умерли на своемъ посту! Былъ нѣкогда бѣдный маленькій праздникъ въ предмѣстьяхъ моей души! Тамъ косили

ядовитую траву въ воскресенье утромъ, и всѣ монастырскія дѣвы смотрѣли, какъ плывутъ корабли по каналу въ постный солнечный день. Между тѣмъ какъ лебеди страдали подъ ядовитымъ мостомъ; подчищали деревья вокругъ тюрьмы, приносили лѣкарства въ іюнѣ, послѣ полудня, и пиршества больныхъ распространялись на весь горизонтъ! Моя душа! И печаль всего этого, моя душа! И печаль всего этого!».

Въ видахъ экономіи мѣста, я привелъ это стихотвореніе, какъ прозу, но это стихи. Странные, конечно, стихи, какъ можетъ судить читатель по слѣдующимъ пяти строчкамъ оригинала:

Il y a eu un jour une pauvre petite fête dans les faubourgs de mon âme!
On y fauchait la ciguë un dimanche matin;
Et toutes les vierges du couvent regardaient passer les vaisseaux sur le canal, un jour de jeûne et de soleil.
Tandis que les cygnes souffraient sous un pont vénéneux:
On émondait les arbres autour de la prison.

Такіе стихи разрѣшаются законами или беззаконіемъ новыхъ вѣяній въ поэзіи; и не только разрѣшаются, а поощряются, какъ новое слово. Нордау замѣчаетъ, что нѣтъ ничего легче, какъ писать подобные стихи. Напримѣръ, говоритъ онъ: «О, цвѣты! И такъ тяжело стонать подъ бременемъ старыхъ даней! Песочные часы, на которые лаетъ въ маѣ собака, и странный конвертъ негра, который не спалъ. И бабушка ѣла апельсины и не могла писать! Матросы на воздушномъ шарѣ. На мосту этотъ крокодилъ и сторожъ съ распухшей щекой, молча, киваетъ! О, два солдата въ коровьемъ хлѣву и бритва зазубрена! Но главный выигрышъ не имъ достался! И на лампѣ чернильныя пятна!» Впрочемъ, заключаетъ Нордау, стихи Метерлинка сами до такой степени похожи на пародію, что не стоитъ ихъ пародировать; надо просто пожалѣть «этого бѣднаго идіота».

Не всѣ, однако, стихотворенія Метерлинка такъ нескладны по формѣ. Есть между ними и такія, которыя подчинены обыкновеннымъ условіямъ ритма и риѳмы или, по крайней мѣрѣ, одному изъ нихъ. Но и между этими обыкновенными, съ точки зрѣнія музыки стиха, произведеніями не мало странныхъ какъ по формѣ, такъ и по содержанію. Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе «Скука»: «Беззаботные павлины, бѣлые павлины улетѣли, бѣлые павлины улетѣли отъ скуки пробужденія; я вижу бѣлыхъ

павлиновъ, сегодняшнихъ павлиновъ, павлиновъ, улетѣвшихъ во время сна, беззаботныхъ павлиновъ, сегодняшнихъ павлиновъ, безпечно долетѣвшихъ до пруда безъ солнца, я слышу бѣлыхъ павлиновъ, павлиновъ скуки, безпечно ожидающихъ временъ безъ солнца». Во французскомъ оригиналѣ это стихотвореніе, оставаясь столь же загадочнымъ по смыслу, получаетъ, благодаря обилію носовыхъ звуковъ еще болѣе скудно-монотонный характеръ. Нордау видитъ здѣсь настоящую «эхолалію», при которой больной безсмысленно повторяетъ сходно-звучащія слова, пока не устанетъ или пока вновь случайно услышанное слово не наведетъ его на другой рядъ столь же лишенныхъ смысла повтореній.

Далѣе, Нордау отмѣчаетъ узкость кругозора, изъ котораго Метерлинкъ заимствуетъ свои картины и образы. «Странный», «старый», «далекій»,—это его любимыя прилагательныя, и общаго между ними то, что они крайне неопредѣленны. Затѣмъ у Метерлинка съ болѣзненною настойчивостью, внѣ всякой логической нити, повторяются нѣкоторые образы: «каналы», «корабли», «больницы», «стада», «овцы», «принцессы» фигурируютъ постоянно. Отъ себя замѣтимъ еще одну любопытную черту стихотвореній Метерлинка: характеристику предметовъ, чувствъ и идей различными цвѣтовыми ощущеніями. У него попадаются: «бѣлая бездѣятельность» (и даже во множественномъ числѣ—blanches inactions), «лиловые сны», «голубая скука», «голубыя мечты», «голубые мечи сладострастія въ красномъ тѣлѣ гордости», «фіолетовыя змѣи мечтаній», красные стебли ненависти среди зеленаго траура любви», «бѣлая молитва», «голубой духъ», «зеленый покой», «голубые бичи воспоминаній», «желтыя стрѣлы сожалѣній», «желтыя собаки моихъ грѣховъ» и т. п. Весь этотъ списокъ, который можно бы было еще значительно продолжить, взятъ мною изъ одного маленькаго сборника стихотвореній Метерлинка, озаглавленнаго «Serres chaudes». Эта черта свойственна не одному Метерлинку.

Кромѣ стиховъ, Метерлинкъ пишетъ еще драмы. Нѣкоторыя изъ нихъ извѣстны и у насъ: «Слѣпые» и «Принцесса Малейнъ» были, если не ошибаюсь, переведены въ субботнихъ прибавленіяхъ «Новаго Времени». Въ этихъ драмахъ бросается въ глаза блѣдность, неопредѣленность образовъ, какая-то растерянность рѣчей и поступковъ дѣйствующихъ лицъ, неопредѣленность эпохи,

къ которой относится дѣйствіе, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ всего этого вѣетъ чѣмъ-то знакомымъ читателю. Это знакомое—Шекспиръ, не духъ Шекспира, а отрывки изъ его твореній, сбитые въ безпорядочные кучи. «Принцесса Малейнъ», — говоритъ Нордау,—есть «выборка изъ драмъ Шекспира для дѣтей или жителей Огненной земли; изъ образовъ Шекспира понадѣланы роли для театра обезьянъ». И дѣлалъ это, дескать, Метерлинкъ вполнѣ безсознательно, по крайнему своему слабоумію.

Въ концѣ-концовъ, Нордау признаетъ Метерлинка однимъ изъ наиболѣе яркихъ «выродковъ» и говоритъ о немъ какъ о больномъ человѣкѣ, достойномъ лишь сожалѣнія, а отнюдь не славы поэта. Читатель, на основаніи кое-чего предъидущаго, готовъ, пожалуй, согласиться съ этимъ мнѣніемъ и, можетъ быть, уже представляетъ себѣ бельгійскаго поэта блѣднымъ, худымъ человѣкомъ съ мрачными или дико сверкающими глазами и нечесаною бородой, съ рѣзкою, неправильною жестикуляціей или, напротивъ, сосредоточенно-неподвижнымъ, говорящимъ безумныя рѣчи.

Въ такомъ приблизительно родѣ воображалъ себѣ Метерлинка и Гюре, какъ онъ разсказываетъ самъ въ упомянутой уже «Enquête sur l'évolution littéraire. Онъ ошибался. Разыскавъ въ Гентѣ Метерлинка, онъ увидалъ молодого человѣка двадцати семи лѣтъ, довольно высокаго роста, широкоплечаго, съ правильными чертами юношески румянаго лица, свѣтлыми глазами и коротко подстриженными бѣлокурыми усами, — настоящій здоровый фламандскій типъ. Оказалось далѣе, что у этого мрачнаго поэта превосходный аппетитъ и что онъ любитъ физическія упражненія: греблю, коньки, велосипедъ. По профессіи онъ адвокатъ. «Интервью» сначала не удавалось: Метерлинкъ отдѣлывался короткими и неопредѣленными репликами. Пошли гулять, встрѣтили нѣкоего Дюкъ-Керси, зашли въ настоящій фламандскій кабачокъ выпить настоящаго фламандскаго пива, а тутъ Дюкъ-Керси съумѣлъ разговорить Метерлинка на темы, интересовавшія Гюре. Дюкъ-Керси доказывалъ, что литература не должна, подъ предлогомъ чистаго искусства, удаляться отъ своего времени, и что, въ частности, теперь она должна слиться съ соціалистическимъ движеніемъ. Метерлинкъ утверждалъ, напротивъ, что писатель, желающій создать нѣчто долговѣчное, долженъ, напротивъ, подняться надъ своимъ временемъ и отлучиться отъ текущей дѣйствительности. Рѣчь зашла о романѣ Эмиля Зола «Жерминаль», и Метерлинкъ

замѣтилъ, что когда планы соціалистовъ осуществятся, многія сцены, волнующія насъ въ этомъ романѣ теперь потеряютъ всякій смыслъ. По его мнѣнію, художественному воспроизведенію подлежатъ перипетіи «вѣчныхъ» чувствъ, каковы: любовь, ревность, гнѣвъ. Дюкъ-Керси возразилъ на это, что и теперь найдутся цѣлые народы, которымъ любовь Ромео или ревность Отелло совершенно чужды и непонятны. Въ концѣ-концовъ, Метерлинкъ нѣсколько смягчилъ свое мнѣніе, призналъ, что поэтъ не долженъ отлучаться отъ своего времени, вліяніе котораго онъ по необходимости на самомъ себѣ испытываетъ, но, дескать, долговѣчно, всетаки, лишь такое художественное произведеніе, которое не вдается въ подробности текущей дѣйствительности. Метерлинкъ велъ еще и другіе разговоры, не особенно мудрые, а по временамъ даже довольно запутанные, но, всетаки, это были разговоры, а не бредъ сумасшедшаго, какъ можно бы было ожидать, судя по «бѣлымъ павлинамъ» и по «сестрѣ, которая чиститъ овощи у постели неизлѣчимо-больного». Между прочимъ, выражая свой восторгъ передъ Шекспиромъ, Метерлинкъ сказалъ: «Когда я писалъ «Принцессу Малейнъ», я говорилъ себѣ: постараюсь сдѣлать пьесу, для театра маріонетокъ на манеръ Шекспира. Я это и сдѣлалъ. Но знаете ли вы, что эта пьеса написана вольными стихами, которые только написаны въ видѣ прозы?» Этотъ послѣдній вопросъ очень наивенъ. Очевидно, самъ Метерлинкъ понимаетъ, что его стихи отличаются отъ прозы только въ типографскомъ смыслѣ, — по расположенію строчекъ, а то никто бы и не догадался, что это стихи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, очевидно, что Нордау ошибался, видя въ драмахъ Метерлинка безсознательное подражаніе Шекспиру и доказательство слабоумія, чуть не идіотизма. «Принцесса Малейнъ» есть, какъ примѣрно и предполагалъ Нордау, выборка изъ драмъ Шекспира для театра маріонетокъ, но такою ее и хотѣлъ сдѣлать Метерлинкъ, таковъ былъ его обдуманный планъ. Каковъ бы ни былъ этотъ планъ и каково бы ни было его исполненіе, но уже самое его существованіе нѣсколько колеблетъ суровый діагнозъ Нордау. Да и какъ назовешь продуктомъ вырожденія этого здоровеннаго фламандца съ широкими плечами, румяными щеками, хорошимъ аппетитомъ, любящаго физическія упражненія, занимающагося адвокатурой и разговаривающаго, какъ подобаетъ хоть и не Богъ знаетъ какого ума человѣку, но, всетаки, логически мыслящему и надлежащія

слова въ надлежащихъ случаяхъ употребляющему? Припомнимъ, что говоритъ Леконтъ де-Лиль о знакомыхъ ему символистахъ: «они говорятъ очень хорошо, очень ясно, какъ французы и здравомыслящіе люди; но какъ только они возьмутся за перо, — кончено дѣло, пропалъ французскій языкъ, пропала ясность, пропалъ здравый смыслъ». Ясно, такимъ образомъ, что Нордау ошибается, когда всѣхъ символистовъ и всю новѣйшую французскую поэзію ставитъ за одну скобку вырожденія. Онъ совершенно правъ, относительно, напримѣръ, Сара Пеладана или, съ другой стороны, Поля Верлена. Но относительно, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ мы должны предположить, что они люди умные или глупые, хорошіе или дурные, но болѣе или менѣе нормальные, во всякомъ случаѣ болѣе нормальные, чѣмъ какими они являются въ своихъ писаніяхъ.

II *).

Русское отраженіе французскаго символизма.

Только что вышла любопытная книжка г. Мережковскаго «О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы». Собственно, этому заглавію соотвѣтствуетъ только первая, меньшая половина книжки. Вторая половина состоитъ изъ статей о г. Майковѣ, о Гончаровѣ и о «Преступленіи и наказаніи» Достоевскаго, кажется, уже раньше гдѣ-то напечатанныхъ и не имѣющихъ прямого отношенія ни къ причинамъ упадка литературы, ни къ ея новымъ теченіямъ. Возможно даже, что онѣ введены авторомъ въ составъ книжки единственно для пополненія ея до требуемаго цензурнымъ уставомъ десятилистнаго размѣра. Во всякомъ скучаѣ, интересъ книжки не въ нихъ. Что-же касается ея главнаго содержанія, то оно составилось изъ публичной лекціи, читанной г. Мережковскимъ въ концѣ прошлаго года. Лекцію эту онъ черезъ нѣкоторое время повторилъ и теперь напечаталъ, съ довольно, повидимому, значительными дополненіями. Передъ нами, значитъ, произведеніе обдуманное, авторъ котораго имѣлъ достаточно даже чисто внѣшнихъ поводовъ для пересмотра и провѣрки своихъ мыслей. А

*) 1893, февраль.

вѣдь есть еще поводы внутренніе, вытекающіе изъ сознанія важности предмета, о которомъ идетъ рѣчь. И г. Мережковскій вполнѣ сознаетъ эту важность. Онъ высоко цѣнитъ роль и значеніе литературы и любитъ ее настоящею, искреннею любовью. Для него, какъ онъ обнаруживается въ своей книжкѣ, литература не ремесло и не арена праздной забавы или игры самолюбій, а великое общественное дѣло, поприще служенія высшимъ человѣческимъ идеаламъ.

Тѣмъ не менѣе, нисколько не сомнѣваясь въ искренности и добрыхъ намѣреніяхъ г. Мережковскаго, можно смѣло утверждать, что онъ не воспользовался или очень мало воспользовался представлявшимися ему поводами для пересмотра и провѣрки своихъ мыслей.

Въ книжкѣ не разъ попадаются замѣчанія такого рода: «Сущность искусства нельзя выразить никакими словами, никакими опредѣленіями» (32). Или: «Идею символическихъ характеровъ никакими словами нельзя передать» (43). Безъ всякаго сомнѣнія, слово, какъ и все, что находится въ распоряженіи человѣка, ограничено извѣстными условіями. Слова суть только условные знаки идей, вещей и отношеній. Но вѣдь и мысль человѣческая поставлена въ извѣстныя рамки, за предѣлы которыхъ никакимъ образомъ не можетъ выскочить, не свихнувшись, не измѣнивъ себѣ. Правда, рамки эти несравненно шире тѣхъ, въ которыя заключено слово, почему людямъ и приходится писать иногда цѣлыя страницы для выраженія одной какой-нибудь мысли. Но весьма часто бываетъ, что мысль не потому трудно облекается въ словесную форму, что нельзя найти словъ для ея выраженія, а просто потому, что она не созрѣла для словеснаго выраженія, не выяснилась. И мнѣ кажется, что мысль г. Мережковскаго очень часто находится въ такомъ положеніи.

Книжка г. Мережковскаго начинается очень эффектно. Вотъ ея первыя строки: «Тургеневъ и Толстой—враги. Это вражда стихійная, безсознательная и глубокая. Конечно, оба писателя могли стать выше случайныхъ обстоятельствъ, благодаря которымъ вражда выяснилась. Но вмѣстѣ съ тѣмъ оба чувствовали, что они враги не по своей волѣ, а по своей природѣ. Оба, въ своемъ различіи столь близкіе и дружественные нашему сердцу, они стояли непримиримые другъ противъ друга, какъ великіе

представители двухъ первоначальныхъ, вѣчно борющихся человѣческихъ типовъ». И тѣмъ не менѣе, дескать, Тургеневъ передъ смертью написалъ Толстому свое извѣстное глубоко трогательное письмо, увѣщевавшее «великаго писателя русской земли» вернуться на путь литературной дѣятельности: «на краю гроба Тургеневъ понялъ, что сердцу его старинный врагъ—ближе всѣхъ друзей». Можно-бы было, на основаніи фактическихъ данныхъ, доказать, что собственно Тургеневъ, не смотря на ссоры съ Толстымъ и на всю свою личную непріязнь къ нему, всегда высоко цѣнилъ автора «Войны и мира», какъ писателя. Но дѣло не въ этомъ. Я прошу читателя обратить вниманіе на «стихійность», которую г. Мережковскій приписываетъ непріязненнымъ отношеніямъ Тургенева и Толстого: это — «представители двухъ *первоначальныхъ, вѣчно борющихся человѣческихъ* типовъ»; это— «враги не по своей волѣ, а по своей *природѣ*». Значитъ, гдѣ-бы и когда-бы ни столкнулись два такіе человѣка,—въ Россіи или въ Китаѣ, въ Англіи или во Франціи, въ XIX или въ любомъ другомъ вѣкѣ,—они фатально, «стихійно» станутъ во враждебныя другъ къ другу отношенія. Пусть эта мысль произвольна, бездоказательна, но, какова-бы она ни была сама по себѣ, она выражена вполнѣ ясно.

Вслѣдъ за тѣмъ г. Мережковскій старается установить разницу между поэзіей и литературой. Суть этихъ торопливыхъ и сбивчивыхъ разсужденій состоитъ въ томъ, что отдѣльныя явленія въ области поэзіи, хотя-бы и чрезвычайно свѣтлыя и далеко изъ ряда выходящія, еще не знаменуютъ собою существованія литературы даннаго народа. Начиная съ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, и кончая еще живымъ Толстымъ, мы можемъ предъявить міру гигантовъ поэзіи, но «была-ли въ Россіи истинно великая литература, достойная стать наряду съ другими всемірными литературами»? Нѣтъ,—отвѣчаетъ г. Мережковскій.—Литература невозможна безъ тѣснаго взаимодѣйствія между ея представителями, безъ сознанія общности дѣла и преемственной связи. Напримѣръ, во Франціи «стихійныя разрозненныя явленія поэзіи вотъ уже три вѣка превратились въ стройную, могучую систему, какъ нѣкогда въ Греціи, какъ живопись во Флоренціи, благодаря преемственности цѣлыхъ литературныхъ поколѣній, объединенныхъ всемірно-историческимъ началомъ» (6). А у насъ? Нашъ писатель живетъ и умираетъ въ одиночку. Если и сла-

гаются иногда литературные кружки, то, во-первыхъ, они недолговѣчны и не выдерживаютъ перваго враждебнаго дуновенія, а во-вторыхъ, они часто бываютъ еще хуже одиночества. Русскому писателю не хватаетъ «той живой, терпимой и всепримиряющей среды, того культурнаго воздуха, гдѣ противоположные оригинальные темпераменты, соприкасаясь, усиливаютъ другъ друга и возбуждаютъ къ дѣятельности». Въ видѣ иллюстрацій, г. Мережковскій напоминаетъ, между прочимъ, враждебныя отношенія Достоевскаго къ Тургеневу, Некрасова и Щедрина къ Достоевскому, Тургенева къ Некрасову, и заканчиваетъ этотъ абзатцъ такъ: «О печальной и *столь характерной для русской литературы* враждѣ Толстого и Тургенева я говорилъ уже въ началѣ статьи» (8).

Читатель знаетъ, что въ началѣ статьи г. Мережковскій говорилъ совсѣмъ не то. Тамъ враждебныя отношенія двухъ знаменитыхъ нашихъ писателей являлись продуктомъ «стихійныхъ» силъ, а не особенностью нашихъ культурныхъ условій: тамъ мы имѣли дѣло съ «представителями первоначальныхъ (?), *вѣчно* борющихся *человѣческихъ* типовъ», и, слѣдовательно, отношенія ихъ никакъ не могутъ быть «столь харатерны для русской литературы» спеціально. А между тѣмъ эти два взаимно исключающіяся положенія г. Мережковскаго отдѣлены другъ отъ друга всего семью страничками. И если первое положеніе произвольно и бездоказательно, то второе, можетъ быть, еще произвольнѣе и бездоказательнѣе.

Въ самомъ дѣлѣ, даже оставляя въ сторонѣ проблематическую вѣчную борьбу человѣческихъ типовъ, — почему-бы мы должны признать характернымъ для русской литературы явленіемъ вражду Тургенева и Толстого, а не трогательное предсмертное письмо Тургенева? Едва-ли литература всѣхъ странъ временъ и народовъ знаетъ много такихъ писемъ, а враждебныхъ отношеній между талантливыми современниками можно указать сколько хотите. Г. Мережковскому угодно, въ пику русской литературѣ, излагать въ двадцати строчкахъ исторію французской литературы, какъ стройный, спокойный, трехвѣковой процессъ. Въ двадцати строкахъ это можно сдѣлать, а, пожалуй, даже иначе и нельзя сдѣлать. Но если-бы г. Мережковскій вздумалъ отмѣчать въ исторіи французской литературы эпизоды, аналогичные непріязненнымъ отношеніямъ Толстого и Тургенева

и т. п., то двадцати строкъ оказалось-бы очень мало. Напомню, напримѣръ, общеизвѣстныя отношенія Руссо и Вольтера и энциклопедистовъ, предоставляя г. Мережковскому отнести ихъ на счетъ вѣчной борьбы противоположныхъ человѣческихъ типовъ или особенностей французской литературы, или, наконецъ. особенностей конца XVIII вѣка. О настоящемъ положеніи французской литературы г. Мережковскій говоритъ: «мы присутствуемъ при первыхъ неясныхъ усиліяхъ народнаго генія найти новые творческіе пути, новыя сочетанія жизненной правды съ величайшимъ идеализмомъ». Изъ дальнѣйшаго изложенія видно, что авторъ разумѣетъ подъ этими «усиліями народнаго генія» такъ называемое декадентское или символистское движеніе. И выходитъ такъ, какъ будто символисты и декаденты, съ одной стороны, дружно, а съ другой,—не встрѣчая противодѣйствія въ старшихъ литературныхъ поколѣніяхъ, спокойно занимаютъ свое мѣсто въ исторіи. На самомъ дѣлѣ ничего подобнаго нѣтъ Г. Мережковскій ссылается въ одномъ мѣстѣ на книгу Гюре «Enquête sur l'évolution littéraire». Эта книга составилась изъ шестидесяти слишкомъ бесѣдъ автора съ разными французскими писателями о современномъ положеніи французской литературы и о школахъ, на которыя она распадается. Не всѣ, однако, къ кому обращался Гюре, бесѣдовали съ нимъ устно. Нѣкоторые удовольствовались письменными отвѣтами на его вопросы. Въ томъ числѣ былъ и Ришпенъ. Онъ отказался высказать свое мнѣніе о различныхъ школахъ и ихъ представителяхъ, и сообщилъ только, что осуществленіе предпринятой Гюре enquête производитъ на него удручающее впечатлѣніе: точно, говоритъ, смрадное болото, въ которомъ, подъ ногами у нѣсколькихъ быковъ, множество лягушекъ надувается и квакаетъ—«moi, moi. moi»! Приговоръ суровый, но довольно близкій къ истинѣ. Никогда, можетъ быть, французская литература не была такъ раздираема разными школами, и никогда, можетъ быть, обнаженныя и взаимно враждебныя *я* не играли въ ней такой роли. Самая enquête Гюре подала поводъ къ полемическимъ схваткамъ, изъ которыхъ одна едва не окончилась дуэлью...

Эта не состоявшаяся дуэль (между Леконтъ-де-Лилемъ и Анатолемъ Франсомъ)—явленіе столь обычное во Франціи—не наводитъ г. Мережковскаго ни на соображенія о вѣчно борющихся человѣческихъ типахъ, ни на скептическія мысли о француз-

ской литературѣ; тогда какъ такая-же не состоявшаяся дуэль между Тургеневымъ и гр. Толстымъ фигурируетъ въ числѣ опоръ его тезисовъ. Конечно, и поводы, и обстановка этихъ двухъ не состоявшихся дуэлей очень различны. Но дѣло въ томъ, что, говоря о непріязненныхъ отношеніяхъ между нѣкоторыми нашими крупными писателями, г. Мережковскій или совсѣмъ не останавливается на ихъ причинахъ, или довольствуется слишкомъ простыми и голословными соображеніями. Между тѣмъ, это дѣло очень сложное. Непріязнь и вражда могутъ вытекать изъ чисто принципіальныхъ источниковъ: люди расходятся въ дорогихъ для нихъ убѣжденіяхъ, и каждый изъ нихъ столь крѣпко держится за свое, что никакое общеніе между ними невозможно. Съ другой стороны, люди вполнѣ единомыслящіе могутъ не сходиться характерами. Прибавьте сюда разныя человѣческія слабости, въ родѣ самолюбія, зависти, подозрительности, прибавьте разныя чисто житейскія столкновенія,—и вы получите пеструю картину, вполнѣ возможную и во Франціи, и въ Россіи. И какъ она не помѣшала существованію французской литературы, такъ не помѣшаетъ и русской литературѣ, хотя многія подробности ея разумѣется, очень прискорбны.

Я отнюдь не думаю защищать русскую литературу отъ нападковъ г. Мережковскаго. Напротивъ, многое я выразилъ-бы даже гораздо рѣзче, но со многимъ, конечно, согласиться не могу. Оставляя въ сторонѣ нападки автора на отдѣльныя опредѣленныя личности, представляющіяся ему зловредными, возьмемъ такое, напримѣръ, его обвиненіе общаго характера: «Литературное хищничество и продажность болѣе развиты въ Россіи, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Какія лица! Какіе нравы! И ужасно, что эти лица самыя молодыя, бодрыя, полныя надеждъ... Страшно становится, когда видишь, что литература, поэзія—самое воздушное и нѣжное изъ всѣхъ созданій человѣческаго духа, все болѣе и болѣе передается во власть этому всепожирающему Молоху, современному капитализму!»—Признаюсь, я не знаю, о комъ здѣсь идетъ рѣчь. Г. Мережковскій говоритъ такъ рѣшительно, что ему, конечно, близко знакомы какіе-нибудь яркіе случаи этой мерзости. Но какъ-бы ни былъ великъ запасъ его наблюденій въ этомъ родѣ, я не думаю, чтобы онъ имѣлъ право сказать, что «литературное хищничество и продажность болѣе развиты въ Россіи, чѣмъ *гдѣ бы то ни было*». Всякіе отдѣль-

ные случаи возможны, но какъ бы они ни были омерзительны, отъ нихъ еще далеко до той картины литературной продажности и хищничества, какая развертывается въ настоящую минуту во Франціи, въ Италіи, въ Германіи. И это не потому, чтобы русскіе писатели были какъ-нибудь по самой природѣ своей необыкновенно добродѣтельны. Можетъ быть и такъ, но существуетъ и гораздо болѣе простая причина, та именно, что русская литература не представляетъ собою такой общественной силы, которую, какъ европейскую литературу, стоитъ покупать. Давленіе, оказываемое русскою литературою на русскую жизнь, слишкомъ ничтожно. Конечно, эта гарантія не особенно лестная и не особенно прочная, но фактъ остается фактомъ: въ настоящее время упрекъ г. Мережковскаго несправедливъ, или, по крайней мѣрѣ, преувеличенъ, а будущее до извѣстной степени въ нашихъ рукахъ. Чего-нибудь да стоитъ урокъ, преподаваемый нашей литературѣ теперешними европейскими скандалами, и можемъ же мы надѣяться, что нечистыя руки никогда не захватаютъ русскую литературу въ конецъ.

Надо, однако, замѣтить, что если европейская,—скажемъ, въ частности французская литература—сильна на зло, то она сильна и на добро. Русская-же литература безсильна и въ этомъ отношеніи. И конечно, это практическое безсиліе есть одинъ изъ симптомовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ одна изъ причинъ упадка литературы, хотя г. Мережковскій ея и не понимаетъ. Онъ говоритъ о скукѣ, господствующей въ литературной средѣ. Еще-бы! Какъ тутъ не быть скукѣ и унынію, если мысль съ трудомъ находитъ себѣ словесное выраженіе, а слово отдѣлено отъ дѣла непроходимою пропастью.

Впрочемъ, хотя «Причины упадка современной русской литературы» и значатся въ заглавіи книжки г. Мережковскаго и, слѣдовательно, должны-бы составлять одинъ изъ пунктовъ его особливаго вниманія (другой такой-же пунктъ—«новыя теченія»), но довольно трудно разобраться въ его взглядахъ на этотъ предметъ. Да простится мнѣ вульгарное сравненіе,—мысль г. Мережковскаго скачетъ, какъ блоха; направленіе, быстрота и вообще характеръ этихъ скачковъ имѣютъ, можетъ быть, свои, внутренніе резоны, но, глядя со стороны, невольно поражаешься ихъ какою-то капризною неожиданностью и несуразностью.

Поговоривъ о скукѣ, господствующей въ литературныхъ круж-

кахъ и редакціяхъ, г. Мережковскій дѣлаетъ ничѣмъ не мотивированный скачокъ къ цитатѣ изъ Тургеневскихъ «стихотвореній въ прозѣ» о мощи русскаго языка, а отсюда опять скачокъ къ такому положенію: «Три главныхъ разлагающихъ силы вызываютъ упадокъ языка». Хотя, такимъ образомъ, вмѣсто разговора объ упадкѣ литературы мы имѣемъ разговоръ объ упадкѣ собственно языка, и хотя авторъ не трудится указать связь и отношеніе этихъ двухъ упадковъ, но, по крайней мѣрѣ, онъ пробуетъ говорить съ точностью, онъ выставляетъ даже цифру: *три* разлагающихъ силы. Въ добрый часъ! Но, перечисливъ свои *три* разлагающихъ силы (мы ихъ сейчасъ увидимъ), г. Мережковскій неожиданно заявляетъ: «*Другая* причина упадка литературы—система гонораровъ». Читатель съ недоумѣніемъ оглядывается: а гдѣ-же первая? или почему это не четвертая? Затѣмъ оказывается, что главная, хотя никакой цифрой не отмѣченная причина упадка литературы есть «критика», при чемъ самые сильные удары авторъ направляетъ на гг. Протопопова, Скабичевскаго, Буренина и Волынскаго. Но еще немного далѣе мы узнаемъ, что у насъ есть превосходные критики въ лицѣ гг. Андреевскаго и Спасовича, а, слѣдовательно, огульный приговоръ русской критикѣ надо взять назадъ: что навредили дурные,—исправили или исправятъ хорошіе. Вѣдь и въ беллетристикѣ у насъ не все Тургеневы и Толстые, и въ собственно поэзіи не все Пушкины и Лермонтовы.

Оказывается, однако, что и первая по счету причина упадка есть опять-таки все та-же критика. Дѣло въ томъ, что «еще Писаревъ ввелъ особый ироническій почти разговорный пріемъ». Но языкъ Писарева былъ «сжатъ» и «увлекательно силенъ», а его преемники усвоили себѣ только дурныя стороны его языка. Такимъ образомъ, причиною упадка литературнаго языка оказывается то, что литераторы стали дурно писать... Нельзя сказать, чтобы это разсужденіе было очень блистательно въ смыслѣ логики. А между тѣмъ и вторая причина упадка совершенно такова-же. Она заключается въ той «особенной сатирической манерѣ, которую Салтыковъ называлъ рабьимъ эзоповскимъ языкомъ». Словомъ, дурной языкъ есть причина дурного языка: скачокъ куда-то въ сторону и потомъ опять назадъ, на старое мѣсто... Наконецъ, третья, приводимая г. Мережковскимъ причина упадка литературы (или литературной рѣчи) состоитъ въ

невѣжествѣ, все болѣе и болѣе вторгающемся въ литературу. Съ этимъ я спорить не стану, но думаю, что у этой причины есть свои причины, которыхъ г. Мережковскій, къ сожалѣнію, не коснулся.

Къ этимъ безпорядочнымъ, капризнымъ скачкообразнымъ пріемамъ мысли г. Мережковскаго надо еще прибавить особенности его собственнаго языка. Это нѣчто бурно-пламенное, достигающее иногда высокой степени красоты и увлекательности, но иногда ставящее втупикъ своею неточностью, безсвязностью и произвольностью. Мнѣ хочется привести образчики хорошаго. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ г. Мережковскій о гр. Толстомъ:

«Художникъ тратитъ время на популярныя брошюры о пьянствѣ, съ наивнымъ жаромъ квакера составляетъ, подобно методическому и упрямому норвежцу Бьернсону, практическія руководства къ цѣломудрію молодыхъ людей, предисловія къ трактатамъ о беременности, о вегетаріанствѣ, серьезно увѣряетъ, что люди курятъ табакъ, чтобы заглушить совѣсть. Но если совѣсть людей такова, что не можетъ противостоять даже табачному дыму, стоитъ-ли такъ много хлопотать о ней? На всѣхъ этихъ практическихъ брошюрахъ лежитъ печать какого-то унылаго и ледяного педантизма. Польза! Польза! Чей свѣтлый умъ не помрачало это слово въ нашъ вѣкъ?.. Мнимое человѣколюбіе, нравственное квакерство у холостяка отнимаетъ трубку, у работника чарку вина, съуживаетъ и омрачаетъ безъ того уже достаточно узкую и мрачную жизнь человѣка, придаетъ ей характеръ какого-то филантропическаго, безотраднаго и добродѣтельнаго пріюта для калѣкъ. Не таковы истинные пророки любви».

Или вотъ еще нѣсколько строкъ о Гл. Успенскомъ:

«Муза Некрасова въ униженіи сохраняла признакъ власти, она была гордой. У Глѣба Успенскаго нѣтъ такой силы. Но за то, въ этихъ кроткихъ, какъ будто потухшихъ глазахъ, въ этомъ усталомъ лицѣ—тихая жалость къ людямъ, точно непрестанный упрекъ кому-то, точно мольба за нихъ. Холодное, безбожное поколѣніе нашихъ дней можетъ пройти мимо такого человѣка и бросить банальную укоризну: «это публицистъ, а не художникъ!» не понимая, что, наперекоръ всѣмъ рамкамъ и законамъ эстетики, въ мученической любви къ народу не можетъ не быть поэзіи, не можетъ не быть красоты».

Это превосходно: ярко, сильно, безъ тѣни какой-нибудь искус-

ственности или напыщенности, которыя такъ часто исправляютъ должность настоящей силы и яркости (грѣху этому не чуждъ въ иныхъ мѣстахъ книги и г. Мережковскій). Если читатель всмотрится въ такія хорошія мѣста книжки, то увидитъ, что всѣ они выражаютъ извѣстное настроеніе автора, при чемъ онъ не пытается аргументировать или обосновывать какую-нибудь мысль, давать какому-нибудь явленію жизни опредѣленіе, логически опровергать что-нибудь вообще, производить какую-нибудь болѣе или менѣе сложную логическую операцію. Какъ только г. Мережковскій пускается въ эту послѣднюю область, такъ получается рядъ туманностей безъ какого-бы то ни было опредѣленнаго, твердаго ядра, полная безпорядочность мысли и изложенія, путаница, противорѣчія. Въ лучшихъ подобныхъ случаяхъ авторъ или задаетъ совершенно опредѣленный вопросъ (на стр. 41: «что такое символъ?») и такъ и оставляетъ его безъ отвѣта, или, какъ мы уже видѣли, утверждаетъ, что этого, дескать, нельзя выразить словомъ и прячется за старинный афоризмъ: «мысль изреченная есть ложь». Но если это такъ, то лучше совсѣмъ не говорить, или, по крайней мѣрѣ, не писать для печати. И читая нѣкоторыя страницы г. Мережковскаго, поневолѣ думаешь: да лучше-бы этого не печатать.

Не угодно-ли, напримѣръ, оріентироваться въ слѣдующихъ разсужденіяхъ о Тургеневѣ:

«Русскіе рецензенты имѣли безтактность видѣть въ Тургеневѣ публициста и съ этой точки зрѣнія предъявляли ему требованія. Съ надлежащимъ-ли одобреніемъ или порицаніемъ изображенъ человѣкъ 30-хъ годовъ. Потомъ человѣкъ 40-хъ годовъ, потомъ нигилистъ 70-хъ годовъ и т. д. Одни защищали Тургенева, другіе утверждали, что онъ въ лицѣ Базарова оскорбилъ молодое поколѣніе. Странно теперь читать эти защиты, эти нападки! Подобное недоразумѣніе могло возникнуть только изъ коренного непониманія. Впрочемъ, и самъ Тургеневъ подалъ отчасти поводъ къ недоразумѣнію. Онъ писалъ свои большіе романы на модныя общественныя темы, на такъ называемые жгучіе вопросы дня. Въ этомъ великомъ человѣкѣ былъ всетаки литературный модникъ, то, что французы называютъ «модернистъ». Какъ почти всѣ поэты, онъ не сознавалъ, въ чемъ именно его оригинальность и сила» (43 и слѣд.). Далѣе авторъ поясняетъ, что настоящій оригинальный и сильный Тургеневъ,

«царь обаятельнаго міра» котораго просмотрѣли «наши критики-реалисты», это - «Живыя мощи», «Бѣжинъ лугъ», «Довольно», «Призраки», «Собака», «Пѣснь торжествующей любви» и «Стихотворенія въ прозѣ». А «Наканунѣ», «Отцы и дѣти», «Новь», «Вешнія воды» (и, вѣроятно, «Рудинъ» «Дымъ», «Дворянское гнѣздо», большая часть «Записокъ охотника» и еще кое-что), это—вещи неодобрительныя по самой задачѣ своей условныя, старѣющія уже теперь.

Гоголевскій почтмейстеръ разсказалъ длинную, сложную и очень занимательную исторію капитана Копѣйкина, который былъ, по его мнѣнію, никто иной, какъ Чичиковъ. Разсказъ уже приблизился къ самому концу, когда почтмейстеру напомнили, что капитанъ Копѣйкинъ былъ безрукій и безногій калѣка, а Чичиковъ вполнѣ владѣетъ руками и ногами. Почтмейстеру стало неловко... Мнѣ думается, что г. Мережковскому слѣдовало-бы, во избѣжаніе подобной-же неловкости, былъ нѣсколько точнѣе и осмотрительнѣе. Первый, писавшій о Тургеневѣ въ непріятномъ для г. Мережковскаго тонѣ, былъ Добролюбовъ, а онъ умеръ въ 1861 г. и. слѣдовательно, не дожилъ до «Живыхъ мощей», «Довольно», «Призраковъ» и т. д. Споры, отчасти, дѣйствительно, комическіе, о Базаровѣ тоже происходили задолго до такъ высоко цѣнимыхъ г. Мережковскимъ «Стихотвореній въ прозѣ» и «Пѣсни торжествующей любви». Поэтому о «безтактности» и «коренномъ непониманіи» можно-бы было говорить съ нѣсколько большею осторожностью. Но и помимо этого хронологическаго соображенія, надо разсудить еще вотъ что. Всякія могутъ быть точки зрѣнія, въ томъ числѣ и такая, съ которой «Собака» представляется болѣе цѣннымъ произведеніемъ, чѣмъ «Рудинъ» или «Отцы и дѣти» (признаться, я бы этому не повѣрилъ до прочтенія книжки г. Мережковскаго, но фактъ на лицо). Но если самъ Тургеневъ писалъ «на модныя общественныя темы, на такъ называемые жгучіе вопросы дня», то какимъ-же образомъ могла-бы обойти ихъ критика, говоря о Тургеневѣ? Она именно обнаружила-бы безтактность и коренное непониманіе, если-бы обошла то, что наиболѣе занимало самого художника. Я думаю, это ясно.

Ясно также мнѣніе г. Мережковскаго о Тургеневѣ: будучи великимъ художникомъ, онъ, однако, портилъ свое художественное дѣло чрезмѣрною отзывчивостью на жгучіе вопросы дня.

Такъ изображено на стр. 43, 44. Если-же читатель обратится къ стр. 163, то найдетъ слѣдующее: «Тургеневъ—великій художникъ по преимуществу, — въ этомъ сила его и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторая односторонность. Наслажденіе красотой слишкомъ легко примиряетъ его съ жизнью. Онъ любитъ миръ и красоту своей художнической мастерской и охотно удаляется въ созерцаніе вѣчныхъ образовъ отъ шумной и пестрой современности»...

Въ подобныхъ случаяхъ принято, кажется, говорить: комментаріи излишни...

Не менѣе трудно уловить собственную художественную profession de foi г. Мережковскаго, независимо отъ его сужденій о томъ или другомъ писателѣ. Онъ — поклонникъ красоты. Онъ говоритъ о красотѣ въ восторженныхъ выраженіяхъ, красота для него мѣрило вещей. «То же самое, великое и несказанное, что Гете называлъ красотой, — Маркъ Аврелій называлъ справедливостью; Францискъ Ассизскій и св. Тереза — любовью къ Богу, Руссо и Байронъ — человѣческою свободою» (2). «Красота образа не можетъ быть не правдивой и потому не можетъ быть безнравственной: только уродство, только пошлость въ искусствѣ — безнравственны» (29). «Мнѣ всегда казалось поучительнымъ, что поэзія одинаково недоступна вполнѣ безвкуснымъ людямъ, какъ и вполнѣ несправедливымъ» (32). «Какъ народу не любить красоты? Онъ самъ — величайшая красота!» (60). «Едва-ли не самый низменный и уродливый изъ человѣческихъ пороковъ — неблагодарность... Повторяю, въ одномъ лишь изъ всѣхъ нашихъ пороковъ—въ неблагодарности есть какое-то противоестественное, несвойственное человѣческой природѣ, — безобразіе» (72).

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что прекрасное есть естественная и совершенно законная категорія требованій человѣческой природы, но мѣрять ею другія столь-же законныя, столь-же самостоятельныя требованія — то же самое, что измѣрять пространство пудами или вѣсъ саженями. Сказать, что красота не можетъ быть неправдива, или что народъ есть величайшая красота, или что неблагодарность есть худшій изъ пороковъ, потому что она уродлива, — сказать что-нибудь подобное, значитъ ровно ничего не сказать. Это, говоря, не помню чьимъ, картиннымъ уподобленіемъ, — наводненіе словъ въ пустынѣ мысли. Изъ всѣхъ приведенныхъ странныхъ выраженій слѣдуетъ только то, что

Мережковскій чрезвычайно чтитъ категорію красоты и, не отворачиваясь ни отъ нравственности, ни отъ справедливости, ни отъ жизни во всей ея многосторонней глубинѣ, думаетъ, что служеніе красотѣ есть высшая задача, къ рѣшенію которой самособою приложится и все остальное. Поэтому-то онъ и Тургенева порицаетъ за вмѣшательство въ злобу дня. Поэтому онъ и на критиковъ-моралистовъ и публицистовъ негодуетъ, поэтому-же онъ прямо и торжественно заявляетъ: да, поэтъ долженъ творить «не для житейскаго волненья, не для корысти, не для битвъ».

Это не мѣшаетъ, однако, тому-же г. Мережковскому разразиться на стр. 113 слѣдующими пламенными строками. Послѣ соотвѣтственныхъ цитатъ изъ Пушкинскаго «Аріона» и Лермонтовскаго «Кинжала» и послѣ соотвѣтственныхъ упрековъ Фету, Майкову и Полонскому, онъ пишетъ: «Вкусы различны. Что касается меня, я предпочелъ-бы, *даже* съ чисто художественной точки зрѣнія (*а съ иной, значитъ, и подавно*), влажныя, разорванныя волнами ризы Аріона самымъ торжественнымъ ризамъ жрецовъ чистаго искусства. Есть такая красота въ страданіи, въ грозѣ, даже въ гибели, которой не могутъ дать никакое счастіе, никакое упоеніе олимпійскимъ созерцаніемъ. Да, наконецъ, и великіе люди древности, на которыхъ любятъ ссылаться наши *парнасцы* (курсивъ г. Мережковскаго), развѣ были они чужды живой современности, народныхъ страданій и «злобы дня», если только понимать ее болѣе широко? Я увѣренъ, что Эсхилъ и Софоклъ, участники великой борьбы Европы съ Азіей, предпочли-бы, не только какъ воины, но и какъ истинные поэты, мечъ, омоченный во вражеской крови, праздному мечу въ золотыхъ ножнахъ съ драгоцѣнными каменьями»!

Вкусы различны... Это хорошо. Это снимаетъ грозную опалу г. Мережковскаго съ тѣхъ поэтовъ, которые не прочь отъ «житейскихъ волненій», а стало быть, и съ тѣхъ критиковъ, которые, — пусть неумѣло, узко, грубо, — руководствуются въ своихъ сужденіяхъ этими самыми житейскими волненіями, что не мѣшаетъ имъ, конечно, и красоту цѣнить. Это хорошо. Но когда прямо противоположные вкусы совмѣщаются въ одномъ и томъже человѣкѣ, то это, можетъ быть, ужъ и не такъ хорошо. Это напоминаетъ поговорку: чего хочешь, того просишь. Что-же касается критики, то она, мнѣ кажется, должна, по отношенію къ

г. Мережковскому, руководствоваться другой французской поговоркой la plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a. Неясность, незрѣлость мысли г. Мережковскаго слишкомъ очевидна, чтобы ему можно было предъявлять какія-нибудь требованія въ этомъ отношеніи: все равно ничего не получишь. Но намѣренія его несомнѣнно добрыя, настроеніе—несомнѣнно благородное. Съ этой стороны его и брать надо. Къ сожалѣнію, эту сторону нельзя выдѣлить, не возвратившись къ страннымъ скачкамъ мысли автора.

Г. Мережковскій скорбитъ о современномъ состояніи русской литературы, но надѣется на лучшее будущее. Онъ даже видитъ около себя зачатки, проблески этого лучшаго будущаго. Это—группа, которую онъ называетъ «современнымъ поколѣніемъ русскихъ писателей-эпигоновъ». Называетъ онъ ихъ также «современными идеалистами» и еще другими именами. Сюда относятся гг. Чеховъ, Фофановъ, Минскій, Андреевскій, Спасовичъ и Вл. Соловьевъ. Въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ г. Мережковскій присоединяетъ къ этому списку еще нѣсколько именъ, и мы, можетъ быть, еще обратимся къ мотивамъ этого присоединенія: *можетъ быть*, потому что это неособенно важно, хотя и интересно. Самъ г. Мережковскій, конечно, примыкаетъ къ этой группѣ, хотя и не говоритъ о себѣ. Онъ отнюдь не преувеличиваетъ значенія и талантовъ «современныхъ идеалистовъ». Конечно, таланты есть между ними, но въ общемъ они подобны «младенчески слабымъ и безпомощнымъ побѣгамъ молодого растенія, пробивающимся изъ подъ тяжелаго камня» (36). Подобны они также Гомункулу второй части «Фауста», этому «странному существу, полудѣтскому, полустарческому» (55). И тѣмъ не менѣе, «они теперь въ Россіи—единственная живая литературная сила. У нихъ достаточно въ сердцѣ огня и мужества, чтобы среди дряхлаго міра всецѣло принадлежать «будущему». Исполненный отваги, г. Мережковскій припоминаетъ эпизодъ изъ Севастопольской кампаніи: русскіе солдаты шли на приступъ, но передъ ними былъ ровъ, и первые ряды наполнили его тѣлами мертвыхъ и раненыхъ; слѣдующіе ряды прошли по трупамъ. Такъ-то, говоритъ, и мы, «современные идеалисты», погиб-

немъ, но по нашимъ трупамъ пройдутъ слѣдующія поколѣнія и побѣдятъ.

Не смотря на нѣкоторую напыщенность паѳоса, я вѣрю искренности г. Мережковскаго, вѣрю, что онъ дѣйствительно готовъ погибнуть,—фигурально, конечно, выражаясь: не въ настоящемъ какомъ-нибудь рву передъ настоящимъ укрѣпленіемъ, а, напримѣръ, подъ бременемъ насмѣшекъ. Онъ это предвидитъ и смѣло идетъ навстрѣчу выстрѣламъ ироніи. Онъ говоритъ, что «ничего не можетъ быть легче, какъ осмѣять и отвергнуть» теченіе «современнаго идеализма». Я не думаю, однако, чтобы всѣ выше перечисленные представители этого теченія столь-же мужественно готовились къ насмѣшкамъ. Да и съ какой стати? Надъ книгой г. Минскаго «При свѣтѣ совѣсти» дѣйствительно много смѣялись, надъ книгой г. Мережковскаго, я боюсь, тоже будутъ смѣяться, хотя и не такъ сильно, ради ея искренности, которой въ произведеніи г. Минскаго нѣтъ и слѣда. Но взять, напримѣръ, г. Чехова. О немъ много говорятъ въ литературѣ: одни восхищаются его талантливыми картинками, другіе сожалѣютъ объ «изъянахъ его творчества» по выраженію нашего сотрудника, но ни единой насмѣшки по его адресу я не встрѣчалъ, да, конечно, и не встрѣчу. Или г. Спасовичъ... И на старуху бываетъ проруха, и г. Спасовичу случалось промахиваться не безъ комическаго эффекта, но чтобы этотъ маститый дѣятель профессуры, адвокатуры и литературы могъ ожидать себѣ погибели подъ бременемъ насмѣшекъ, чтобы онъ пошелъ на эту гибель,—въ этомъ позволительно, по крайней мѣрѣ, усомниться.

Но позволительно усомниться и въ гораздо большемъ, а именно въ томъ, чтобы всѣ, занесенные г. Мережковскимъ въ списокъ «современныхъ идеалистовъ», чувствовали себя въ этихъ рамкахъ и въ этомъ сосѣдствѣ, какъ въ своей тарелкѣ. Я думаю, что они попали въ списокъ потому, что пользуются благосклонностью г. Мережковскаго, и что благосклонность эта опредѣляется не тѣми или другими ихъ качествами, а исключительно настроеніемъ г. Мережковскаго. Иначе говоря, общая скобка, за которую они поставлены, совершенно произвольна. Странно, въ самомъ дѣлѣ, читать такое, напримѣръ, заявленіе г. Мережковскаго: «Такъ же, какъ и всѣ люди новаго поколѣнія, Спасовичъ—идеалистъ». Какъ извѣстно, г. Спасовичъ принадлежитъ, напротивъ, къ очень старому поколѣнію. Г. Мережковскій, правда, оговариваетъ энергію и молодость

духа г. Спасовича, но вѣдь эти качества равно доступны всѣмъ поколѣніямъ, и во всякомъ случаѣ г. Спасовичъ не есть продуктъ тѣхъ особенныхъ условій, среди которыхъ и подъ вліяніемъ которыхъ зарождается «современный идеализмъ» г. Мережковскаго. Онъ вѣдь только еще зарождается, этотъ современный идеализмъ, онъ выбивается изъ-подъ камня, какъ младенчески слабые и безпомощные побѣги молодого растенія». Какъ бы кто ни смотрѣлъ на г. Спасовича, но неужели же онъ можетъ имѣть какое-нибудь отношеніе къ этой младенческой слабости и безпомощности? Parlez pour vous, г. Мережковскій!—думалъ, вѣроятно, г. Спасовичъ, читая сравненія «новыхъ теченій» съ безпомощными росткамп и Гомункуломъ.

Г. Мережковскій заимствуетъ свой свѣтъ отъ того движенія въ современной французской литературѣ, которое извѣстно подъ именемъ символизма или декадентства, я не могу здѣсь распространяться объ этомъ обширномъ предметѣ, такъ какъ уже началъ о немъ бесѣду въ другомъ мѣстѣ. Скажу лишь слѣдующее. Движеніе это отвѣчаетъ нѣкоторыми своими сторонами на дѣйствительную и, можетъ быть, важнѣйшую верховную потребность человѣческаго духа, каковая потребность существовала, однако, всегда. Но, во-первыхъ, не одинъ символизмъ, даже во Франціи, пытается удовлетворить эту потребность, а, во-вторыхъ, изъ всѣхъ этихъ попытокъ символизмъ есть самая плоская и уродливая, не только не подвигающая къ разрѣшенію задачи, но компрометтирующая ее. Символизмъ слагается изъ умственной и нравственной дряхлости, доходящей, по мнѣнію нѣкоторыхъ, до психическаго разстройства, затѣмъ изъ шарлатанства, непомѣрныхъ претензій и того, что французы называютъ блягой.

Г. Мережковскій насчитываетъ «три главныхъ элемента новаго (то-есть символистскаго или декадентскаго) искусства: мистическое содержаніе, символы и расширеніе художественной впечатлительности». Это приблизительно вѣрная программа нѣкоторыхъ символистовъ, какъ они сами ее понимаютъ или, по крайней мѣрѣ, излагаютъ. Приблизительно вѣрно также и другое замѣчаніе г. Мережковскаго: «Непростительная ошибка — думать, что художественный идеализмъ какое-то вчерашнее изобрѣтеніе парижской моды. Это возвращеніе къ древнему, вѣчному, никогда не умиравшему». «Къ вѣчному», — это немножко сильно сказано, а возвращеніе къ тому, что никогда и не умирало—не

совсѣмъ понятно. Но во всякомъ случаѣ вѣрно, что «новое искусство» содержитъ въ себѣ мало нового, и это новое не хорошо, чего, впрочемъ, г. Мережковскій отнюдь не думаетъ.

Съ художественной стороны, символизмъ, поскольку въ немъ есть зерно правды, представляетъ собою реакцію противъ «натурализма» и «протоколизма» Эмиля Зола съ братіей. Со стороны философской, поскольку можно говорить о ней въ примѣненіи къ людямъ весьма мало свѣдущимъ и совершенно безпорядочно мыслящимъ,—онъ реагируетъ противъ послѣдней крупной философской системы, выставленной Франціей, противъ позитивизма. Идеи, вырабатываемыя, а иногда только перерабатываемыя Франціей, имѣютъ ту особенность, что онѣ быстро и шумно распространяются далеко за ея предѣлы и овладѣваютъ чуть не всѣмъ цивилизованнымъ міромъ. Такъ было и съ позитивизмомъ въ научно-философской области и потомъ съ натурализмомъ въ области художественной. Реакція противъ односторонности, сухости и узости этихъ доктринъ естественно должна была въ той же Франціи принять наиболѣе острый характеръ, и уже оттуда распространиться, какъ изъ центра, къ периферіи. Самъ Огюстъ Контъ, провозвѣстникъ позитивизма, стѣснялся узкими рамками доктрины и ея черствостью, и первый, собственно говоря, возсталъ на нее своимъ «субъективнымъ методомъ» и «религіей человѣчества». Но эта неудачная попытка ослабѣвшаго и разстроеннаго ума не привилась и не могла привиться въ сколько-нибудь широкихъ размѣрахъ. Задача состояла и по сейчасъ состоитъ для Франціи въ религіозномъ объединеніи разума, чувства и воли, въ такомъ расположеніи системы все растущихъ знаній, чтобы при этомъ получало удовлетвореніе и нравственное чувство; чтобы далѣе это нравственное чувство, въ союзѣ со знаніемъ, съ наукой, проникало человѣка до полной невозможности поступать несогласно съ указаніями нравственнаго чувства. Въ этомъ и смыслъ, и задача всякой религіи. Религіозное чувство есть тотъ великій дѣйственный элементъ, безъ котораго мертвы и наука и нравственная доктрина. Безпримѣрныя несчастія, сыпавшіяся на Францію въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ, и доселѣ ея не оставляющія, конечно, не способствовали исполненію великой задачи. Разумѣю не бурные періоды французской исторіи, а, напротивъ, періоды затишья. Страшенъ погромъ, вынесенный Франціей въ 1871 г., но это былъ въ извѣстномъ смыслѣ, благодѣтельный

эпизодъ,—онъ заставилъ встрепенуться. Г. Мережковскій, имѣя, конечно, въ виду главнымъ образомъ Францію, говоритъ: «XVIII вѣкъ и его ограниченный скептицизмъ неправы. Нѣтъ! Людямъ нужна вѣра, нуженъ экстазъ, нужно священное безуміе героевъ и мучениковъ». Ограниченный скептицизмъ всегда неправъ, но о XVIII вѣкѣ слѣдовало бы, можетъ быть, говорить осторожнѣе. Пусть г. Мережковскій припомнитъ хоть, напримѣръ, величественную смерть героя и мученика революціи—Кондорсе. Или, такъ какъ г. Мережковскій поэтъ, пусть припомнитъ судьбу братьевъ Шенье. Но бывали во Франціи и другія времена, когда она, дѣйствительно, ни во что не вѣрила, и когда кокетливая, эпикурейски-скептическая и, для меня лично, глубоко противная даже на портретѣ, улыбка Ренана была, можетъ быть, лучшимъ, что могла представить міру великая страна. Въ такое печальное время зародился и натурализмъ или протоколизмъ Эмиля Зола. Крупный художественный талантъ, но плохой мыслитель, ограниченный и самодовольный, Зола далъ толчекъ мелочной, протокольной точности описанія. Фразами, блещущими всѣми недостатками полузнанія, онъ и теоретически пытался отстоять эту незаконную форму поэзіи: протоколъ, копія съ натуры—больше ничего отъ искусства не требуется; идеалы, противополагаемые непреоборимому естественному ходу вещей, нравственный судъ надъ человѣческими мыслями, чувствами и поступками, которые столь же необходимы, какъ ростъ дерева или вращеніе земли вокругъ солнца,—все это вздоръ, ненужный балластъ, подлежащій уничтоженію.

Все это, наконецъ, надоѣло. Проснулась верховная потребность человѣческаго духа. Но проснулась, конечно, не въ однихъ символистахъ, и я даже сомнѣваюсь, чтобы она въ нихъ, въ самомъ дѣлѣ, настояще проснулась. Во всякомъ случаѣ, они противопоставили протоколу—символы, непреоборимости естественнаго хода вещей—мистицизмъ, грубымъ штрихамъ натуралистической поэзіи—разныя ухищренныя тонкости. Кстати подоспѣли новѣйшіе открытія въ области психо-физіологіи: гипнотизмъ, внушеніе, чтенія мыслей. Благодаря новизнѣ этихъ явленій, какъ объектовъ науки, и благодаря ихъ стародавности, какъ явленій жизни, практики,—мистицизмъ, пристрастіе къ символамъ собственно за ихъ загадочность и погоня за ухищренными тонкостями—нашли себѣ въ нихъ кажущуюся опору.

Но довольно о французскихъ символистахъ. Обратимся къ ихъ русскому отраженію, къ г. Мережковскому, разумѣя его, впрочемъ, исключительно, какъ теоретика, какъ автора лежащей передъ нами книги, потому что съ его стихотворными произведеніями я, признаюсь, недостаточно знакомъ.

Повторяю, я высоко цѣню благородное настроеніе души г. Мережковскаго, неудовлетворяющагося сухостью, черствостью и односторонностью доктринъ позитивизма и натурализма. Но протестовать противъ нихъ можно съ различныхъ точекъ зрѣнія, и любопытно знать, почему именно французскій символизмъ пришелся ему по душѣ? Прежде всего, одно дѣло—Франція, и другое дѣло—Россія. Во Франціи, какъ справедливо замѣчаетъ г. Мережковскій, символизмъ имѣетъ значеніе «возмущенія». Противъ чего возмущается г. Мережковскій и указываемая имъ «единственная живая въ Россіи литературная сила»—отважное войско, состоящее изъ гг. Чехова, Фофанова, Минскаго, Спасовича, Андреевскаго и Вл. Соловьева? Я, впрочемъ, не хочу ставить г. Мережковскаго въ неловкое положеніе человѣка, взявшагося говорить отъ лица людей, не давшихъ ему полномочій. Я остановлюсь только на немъ самомъ.

Позитивизмъ Огюста Конта, о которомъ, впрочемъ, г. Мережковскій прямо не упоминаетъ, имѣлъ у насъ нѣкоторое значеніе, но его односторонность и узкость были указаны въ русской литературѣ очень давно, когда г. Мережковскій еще никакими отвлеченными вопросами не занимался, а игралъ въ лошадки и вообще предавался невиннымъ забавамъ, свойственнымъ младенческому возрасту. Натуралистическимъ теоріямъ въ искусствѣ отводилъ было одно время на своихъ страницахъ мѣсто «Вѣстникъ Европы», но и этотъ почтенный журналъ отъ нихъ давно отступился, и во всякомъ случаѣ натурализмъ или золаизмъ отразился у насъ развѣ только въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ гг. Боборыкина, Ясинскаго и еще кое-кого помельче. Главное русло русской поэзіи и беллетристики никогда не совпадало съ натурализмомъ. Русская критика также никогда не вдохновлялась имъ. Правда, за этой русской критикой г. Мережковскій считаетъ другіе тяжкіе грѣхи. Но, каковы-бы они ни были, «возмущеніе» г. Мережковскаго противъ русской критики можетъ имѣть лишь частный характеръ. Гг. Андреевскій и Спасовичъ являются въ изложеніи нашего автора такими блестящими критиками, какимъ могутъ позавидовать гораздо болѣе богатыя, чѣмъ

наша, европейскія литературы, а вѣдь и тамъ, ихъ не дюжинами считаютъ. Г. Мережковскій возразитъ на это, что одна ложка дегтю портитъ бочку меду, а въ данномъ случаѣ даже наоборотъ выходитъ: бочка сквернаго, чернаго дегтя, и въ ней ложечка свѣтлаго, душистаго, сладкаго меда въ лицѣ гг. Андреевскаго и Спасовича. И именно потому г. Мережковскій направляетъ свои удары преимущественно на критику, что она была причиной упадка литературы вообще. Если, однако, это соображеніе и справедливо, то оно всетаки не рѣшаетъ вопроса, а только отодвигаетъ рѣшеніе. Критика не инородное какое-нибудь тѣло въ составѣ литературы; она — часть ея, и потому надо спросить: отчего произошелъ упадокъ критики? Иначе, вмѣсто отвѣта на вопросъ, поставленный даже въ заголовкѣ книги, получится варьяція на Мольеровскую тему: opium facit dormire quia est in eo virtus dormitiva. Далѣе, г. Мережковскій не первый ищетъ въ критикѣ причину упадка литературы. Замѣчательно, однако, что подобныя жалобы на критику раздаются только у насъ, хотя плохіе критики есть вездѣ, и вездѣ ихъ больше, чѣмъ хорошихъ. Только у насъ господа беллетристы и поэты имѣютъ двусмысленную смѣлость говорить: мы потому плохи, что критика плоха. Я не знаю, къ какому времени относитъ г. Мережковскій начало зловреднаго вліянія у насъ критики. Повидимому, къ очень давнему, и настолько во всякомъ случаѣ давнему, что это зловредное вліяніе должно-бы было отразиться и на Тургеневѣ, и на Гончаровѣ, Львѣ Толстомъ, Достоевскомъ. Однако, не помѣшала-же имъ критика. Мало того, наша критика, по мнѣнію г. Мережковскаго, все ухудшалась, а между тѣмъ, по его же мнѣнію, именно позднѣйшія произведенія Тургенева и Достоевскаго стоятъ особенно высоко...

Одна изъ главъ книжки г. Мережковскаго называется: «Начала новаго идеализма въ произведеніяхъ Тургенева, Гончарова Достоевскаго и Л. Толстого». На основаніи всего предъидущаго, слѣдуетъ, кажется, заключить, что названные четыре своего рода великана, представляютъ собою начало того, что имѣютъ повѣдать міру гг. Фофановъ, Минскій, Мережковскій, Чеховъ, Андреевскій, Спасовичъ, Соловьевъ. А, можетъ быть, уже даже повѣдали? Я думаю, что c'est trop fort. «Начало»—великаны, а конецъ или продолженіе—«Гомункулы» и «младенчески безпомощные ростки...» Тутъ что-нибудь не такъ. И дѣйствительно не

такъ. Просто путаница, отъ разбора которой я себя увольняю. Приведу только, что «Гомункулы», «младенчески безпомощные ростки» (они же «слабыя и нѣжныя дѣти вечернихъ сумерекъ») «взяли художественный импрессіонизмъ у Тургенева, языкъ философскихъ символовъ у Гончарова, глубокое мистическое содержаніе у Толстого и Достоевскаго. Всѣ эти элементы новаго идеальнаго искусства они сдѣлали болѣе сознательными, попытались ввести даже въ критику, обнажили отъ постороннихъ реалистическихъ наслоеній». Далѣе говорится, что, не смотря на всѣ эти подвиги, гомункулы всетаки очень слабы. Но гдѣ, когда, кто изъ нихъ сдѣлалъ то, что разсказываетъ г. Мережковскій? Остановлюсь на одномъ лишь примѣрѣ. Изъ живыхъ беллетристовъ новаго поколѣнія, новаго идеальнаго искусства и какъ ихъ еще тамъ г. Мережковскій называетъ, онъ беретъ цѣликомъ только г. Чехова. Пусть-же онъ укажетъ мистическое содержаніе въ произведеніяхъ этого талантливаго писателя, къ великой его чести, рѣшительно чуждаго мистицизму.

Но дѣло, пожалуй не въ этомъ. Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Толстой,—это вѣдь вчерашній, даже сегодняшній день. И если г. Мережковскій признаетъ ихъ своими духовными отцами, такъ противъ чего-же онъ «возмущается»? Изъ подражанія французскимъ символистамъ? Но вѣдь тѣ не признаютъ ни натуралистовъ, ни «психологовъ», ни «парнасцевъ»; они дѣйствительно разрываютъ со вчерашнимъ днемъ; имъ, по ихъ мнѣнію, не за что ухватиться въ ближайшемъ прошломъ. Г. Мережковскій находится въ совсѣмъ иномъ положеніи. Тѣмъ болѣе, что, кромѣ произведеній Тургенева, Гончарова, Достоевскаго и Л. Толстого, онъ знаетъ еще одно теченіе въ нашей литературѣ, противъ котораго онъ возставать не хочетъ и не можетъ.

Онъ говоритъ: «Прежде, чѣмъ я перейду къ поколѣнію современныхъ русскихъ писателей—идеалистовъ, я долженъ сказать нѣсколько словъ о другомъ могущественномъ литературномъ теченіи, также вполнѣ современномъ, имѣющемъ огромную будущность, которому лишь по недоразумѣнію большинство нашихъ критиковъ придаетъ такой рѣзкій утилитарный характеръ. Въ сущности, это теченіе очень близко къ идеализму. Я разумѣю народничество». Изъ живыхъ представителей этого направленія г. Мережковскій указываетъ на Гл. Успенскаго, В. Г. Короленко и меня... Это вынуждаетъ меня на нѣкоторыя личныя объясненія.

Лично обо мнѣ г. Мережковскій говоритъ, между прочимъ, слѣдующее.

«Многіе считаютъ Михайловскаго исключительно позитивистомъ. Правда, онъ позитивистъ, какъ и большинство русскихъ критиковъ, въ отношеніи къ искусству и красотѣ. Онъ не хочетъ примириться съ высшимъ сознательнымъ и божественнымъ идеализмомъ, который, какъ многіе люди его поколѣнія, считаетъ реакціоннымъ возрожденіемъ отжившаго и суевѣрнаго мистицизма. Но въ своихъ молодыхъ статьяхъ о Дарвинѣ, о Спенсерѣ— онъ идеалистъ». И далѣе: «Не слѣдуетъ ли лучшимъ представителямъ прошлаго, напр., Михайловскому, прислушаться къ тому, что говоритъ современное поколѣніе? Иногда не кажется ли отцамъ измѣной то, что въ дѣтяхъ только необходимый слѣдующій моментъ развитія? Кто знаетъ, можетъ быть Михайловскій нашелъ-бы не одну бездарность и самонадѣянность, а что-нибудь искреннее въ томъ, что говорятъ молодые, идущіе за нимъ. Я знаю, что Михайловскій имѣетъ полное право возразить: «Кто же эти молодые? Укажите на нихъ. Что они говорятъ? Я ихъ не слышу, я ихъ не знаю»... Да, голосъ ихъ слабъ. Но хотя-бы это былъ шопотъ, онъ есть. Мы, слабые, ничтожные люди, сегодня шопотомъ говоримъ другъ другу на ухо то, что геній будущаго заставитъ людей возвѣщать на кровляхъ и площадяхъ народныхъ. Развѣ въ первый разъ великое начинается съ малаго, съ отвергнутаго и осмѣяннаго?»

Г. Мережковскій сдѣлалъ мнѣ великую честь, поставивъ меня рядомъ съ такими писателями, какъ Гл. Успенскій и В. Г. Короленко. Я думаю, однако, что, до извѣстной степени, самымъ характеромъ моей работы, эта честь мною дѣйствительно заслужена, и считаю себя вправѣ говорить не только отъ своего имени, по крайней мѣрѣ, по одному пункту. Дѣло не въ словахъ, не въ названіи,—«что имя? звукъ пустой»,—но мы не можемъ принять кличку «народниковъ», и не по существу, а просто потому, что слово это слишкомъ захватано, и въ него нерѣдко вкладывается смыслъ, съ которымъ мы имѣемъ мало общаго. Г. Мережковскій называетъ насъ еще «идеалистами» (съ нѣкоторою непріятною для него примѣсью). Отчего-бы и нѣтъ? — но слово «идеализмъ» слишкомъ неопредѣленно; въ свою долгую исторію— оно вѣдь очень старо — оно обозначало многое разное, и я от-

нюдь не увѣренъ въ томъ, что нашъ идеализмъ совпадаетъ съ тѣмъ, который вдохновляетъ г. Мережковскаго.

Теперь о себѣ. Г. Мережковскій замѣчаетъ, что я «въ своихъ молодыхъ статьяхъ — идеалистъ». Не знаю, идеалистъ ли въ смыслѣ г. Мережковскаго, но навѣрное знаю, что я и теперь тотъ же, что былъ въ молодые годы; знаетъ это и г. Мережковскій и прямо говоритъ объ этомъ въ другомъ мѣстѣ. Что же касается адресованнаго ко мнѣ приглашенія прислушиваться къ «шопоту» «современныхъ русскихъ писателей-идеалистовъ», то я затрудняюсь. Я всячески прислушивался и прислушиваюсь къ тому, что говорятъ молодые, по закону естества, идущіе на смѣну насъ, стариковъ. Это вѣдь, опять-же по закону естества, продолженіе нашего собственнаго существованія въ обновленной формѣ. Но, къ сожалѣнію, я не могу симпатизировать произведеніямъ большинства провозвѣстниковъ новаго, молодого. И прежде всего, я не слышу «шопота». Напротивъ,—громъ и молнія; громъ не изъ тучи, конечно, а изъ среды самоувѣренныхъ до наглости, невѣжественныхъ, неискренныхъ и неблагодарныхъ людей. Я въ особенности настаиваю на неискренности, потому что — г. Мережковскій знаетъ—«не всякій говорящій: Господи! внидетъ въ царствіе небесное».

Я не хочу входить въ подробный разговоръ о разныхъ «новыхъ» теченіяхъ и ограничусь г. Мережковскимъ. Онъ—искренній человѣкъ. Онъ, дѣйствительно, проникнутъ жаждой всеохватывающей религіозной преданности идеалу, недостаткомъ которой страждетъ, конечно, не одна Франція. Теоретически онъ, по крайней мѣрѣ иногда, понимаетъ также, что удовлетвореніе этой жажды не можетъ быть достигнуто какъ-нибудь въ ущербъ наукѣ, точному знанію. Онъ говоритъ: «Великая позитивная и научная работа двухъ послѣднихъ вѣковъ, конечно, не прошла даромъ. Возрожденіе средневѣковыхъ догматическихъ формъ уже немыслимо. Потому-то стародавній, вѣчный идеализмъ въ искусствѣ мы имѣемъ право назвать новымъ, что онъ является въ сочетаніи, еще небываломъ, съ послѣдними выводами точныхъ знаній, въ свѣтѣ безгранично-свободной научной критики и научнаго натурализма, какъ неистребимая никакими сомнѣніями потребность человѣческаго сердца». Что облюбованныя г. Мережковскимъ струи современнаго искусства именно таковы, это просто неправда; но вѣрно, что такова задача, и не только ис-

кусства. Дѣйствительно, неистребима потребность въ дѣйственномъ объединеніи сущаго и долженствующаго быть. Мало знать причины и слѣдствія извѣстнаго поведенія,—оно должно получить еще нравственную оцѣнку, невозможную безъ опредѣленнаго идеала; но мало и пассивной нравственной оцѣнки, не обязывающей утвердиться въ извѣстномъ образѣ дѣйствія или измѣнить его. Мало знать, надо еще чувствовать, но мало и чувствовать, надо еще дѣйствовать. Та сила, которая направляетъ нашу волю къ дѣйствію въ соотвѣтствіи съ идеаломъ, построеннымъ совокупнымъ трудомъ разума и чувства,—эта сила и составляетъ сущность всякой религіи. Не слѣдуетъ смущаться тѣми грубыми формами, подъ которыми скрывается иногда религія. Когда дикарь мажетъ сметаной или жиромъ губы своего идола въ увѣренности, что онъ за это пошлетъ ему счастливую охоту, эта увѣренность составляетъ элементъ науки дикаря, его понятій о причинной связи явленій, а не его религіи. Лишь очень поверхностный или грубо понимающій человѣкъ можетъ сказать: этотъ дикарь религіозенъ, потому, что мажетъ идолу губы сметаной. Онъ дѣлаетъ это потому, что онъ невѣжественъ. Но это не мѣшаетъ ему быть глубоко религіознымъ, когда онъ такъ или иначе, движимый непреодолимою внутреннею силою, сознательно подвергается невзгодамъ, опасностямъ, лишеніямъ, ради чего-то, внѣ и выше его стоящаго; когда онъ, напримѣръ, умираетъ, защищая своихъ боговъ и покровительствуемую или родину или семью. Мы безконечно далеко отошли отъ дикаря въ пониманіи законовъ природы, но въ историческомъ ходѣ событій односторонняя работа разума слишкомъ часто подавляетъ область чувства и воли. Получается либо бездушная числительная машинка, вообще какой-нибудь механическій аппаратъ познанія, съ физіономіей глубокомысленной или подкрашенной скептическою улыбкой: либо разнузданный звѣрь; либо, наконецъ, жалкое существо, разъѣденное колебаніями и сомнѣніями.

Г. Мережковскій глубоко огорченъ этимъ униженіемъ человѣческой природы, этимъ ея потускнѣніемъ, и я могу только сочувствовать ему. Я увѣренъ, что и онъ, прочтя только что написанное, скажетъ: это вѣрно. Но я не въ первый разъ это говорю, а между тѣмъ г. Мережковскій утверждаетъ, что я «не хочу примириться съ высшимъ сознательнымъ и божественнымъ идеализмомъ». Я, прежде всего, не хочу путаницы и двусмыслен-

ности вообще, а въ серьезныхъ дѣлахъ въ особенности. Что это собственно значитъ — «высшій сознательный и божественный идеализмъ»? Я вынужденъ и г. Мережковскому напомнить изреченіе: «не всякій, говорящій: Господи! Господи! внидетъ въ царствіе небесное». Въ своемъ растрепанномъ мышленіи, и еще болѣе растрепанномъ изложеніи, онъ играетъ словами «религіозный», «художественный», «божественный», «мистическій», «идеалистическій», не давая себѣ труда опредѣлить, какъ онъ ихъ понимаетъ, и чаще всего употребляя ихъ, какъ синонимы. Посмотримъ, къ чему это ведетъ.

Вернемся къ мнѣніямъ г. Мережковскаго о произведеніяхъ Тургенева. Говоритъ онъ на эту тему многое разное и совершенно несогласимое, какъ мы уже видѣли. Краткости ради, я предложу читателю вдуматься лишь въ ту точку зрѣнія, по которой, между прочимъ, выходитъ, что разсказъ «Собака» долженъ быть поставленъ выше, чѣмъ «Наканунѣ» или «Отцы и дѣти». Я имѣлъ случай убѣдиться что «Собаки» многіе даже не помнятъ, а потому разскажу вкратцѣ ея содержаніе.

Въ какомъ-то обществѣ зашла рѣчь о возможности или невозможности явленій, «несообразныхъ съ законами натуры», какъ выражается одинъ изъ собесѣдниковъ. По этому поводу другой собесѣдникъ разсказалъ случай изъ своей жизни. Это былъ небогатый помѣщикъ, отставной офицеръ, проигравшійся въ карты и кое какъ пристроившійся къ маленькому мѣсту въ столицѣ. Звали его Порфирій Капитонычъ. А случай съ нимъ такой былъ. Однажды въ деревнѣ онъ ночью слышитъ, что у него подъ кроватью скребется и чешется собака, тогда какъ собакъ онъ не держалъ. Зажегъ свѣчку, посмотрѣлъ подъ кровать, — никого нѣтъ. А какъ затушилъ свѣчку, такъ опять собака возится. Лакея позвалъ, — то же самое: въ темнотѣ и лакей собаку слышитъ, а при свѣтѣ никого нѣтъ. И такъ подрядъ изъ ночи въ ночь. Сосѣдъ пріѣхалъ въ гости, ночевать остался, и при немъ все то же. Поѣхалъ Порфирій Капитонычъ въ городъ и остановился у знакомаго старичка-раскольника. Таинственная ночная собака и тамъ отъ него не отстала, къ великому негодованію хозяина-раскольника, который считалъ собакъ нечистой тварью. Узнавши однако, въ чемъ дѣло, раскольникъ смилостивился, рѣшилъ, что «это есть явленіе, а либо знаменіе», и направилъ Порфирія Капитоныча къ другому старику-раскольнику, который уже окончательно раз-

судилъ: «это вамъ не въ наказаніе наслано, а въ предостереженіе». Идите, говоритъ, на базаръ, купите щенка и держите того щенка при себѣ денно и нощно: «ваши видѣнія прекратятся, да и, кромѣ того, будетъ вамъ та собака на потребу». Купилъ Порфирій Капитонычъ щенка на базарѣ, и все произошло, какъ по писаному. Видѣнія прекратились, а когда щенокъ выросъ, то спасъ Порфирія Капитоныча отъ бѣшеной собаки, сразившись съ нею...

По формѣ разсказъ принадлежитъ къ числу слабѣйшихъ произведеній Тургенева, съ чѣмъ, я полагаю, и г. Мережковскій согласится. Какъ художественное произведеніе, со стороны формы, сравнивать «Собаку» съ «Наканунѣ» или «Отцами и дѣтьми» — даже не смѣшно. Г. Мережковскій подкупленъ самою фабулою разсказа, его «мистическимъ содержаніемъ». Содержаніе несомнѣнно мистическое. Но при чемъ тутъ прочія слова, представляющія собою, по мнѣнію г. Мережковскаго, синонимы мистицизма? Неужто, въ самомъ дѣлѣ, заслуживаетъ названія «божественнаго идеализма» исторія о томъ, какъ щенокъ и два старика-раскольника послужили орудіями спасенія проигравшагося въ карты Порфирія Капитоныча отъ бѣшеной собаки? Я отказываюсь понимать смыслъ такого произвольнаго сочетанія словъ, какъ «божественный идеализмъ». Но я достовѣрно знаю, что къ области религіи разсказанный въ «Собакѣ» анекдотъ не имѣетъ ровно никакого отношенія. Или, можетъ быть, его мѣсто въ сферѣ науки? Вѣдь г. Мережковскій обѣщалъ намъ «сочетаніе идеализма съ послѣдними выводами точныхъ знаній, въ свѣтѣ безгранично-свободной научной критики и научнаго натурализма»...

Читатель безъ труда найдетъ въ книжкѣ г. Мережковскаго другіе многочисленные слѣды безпорядочной игры словами и понятіями.

Я обращаю особенное ваше вниманіе на мотивы, по которымъ онъ считаетъ «Сонъ Макара» лучшимъ изъ произведеній В. Г. Короленко, а «Парамона юродиваго» лучшимъ изъ произведеній Гл. Успенскаго (стр. 68 и 71). Интересно также подстрочное примѣчаніе на стр. 85, гдѣ авторъ одобряетъ г. Михайлова (Шеллера) за то, что онъ «чувствуетъ потребность покинуть знакомую обстановку, изъ современнаго Петербурга перенестись ни болѣе, ни менѣе, какъ въ древнюю Персію временъ царя Арта-

ксеркса, въ міръ патріархальной фантазіи». Тутъ-же восторги передъ «мистическими легендами» г. Лѣскова. Приглядываясь къ подобнымъ страницамъ, а равно къ тѣмъ, гдѣ «статистика» и «политическая экономія» являются чуть не ругательными словами, мы можемъ придти къ окончательному заключенію относительно г. Мережковскаго.

Г. Мережковскій не пророкъ и не герой новаго теченія, а жертва недоразумѣнія. Онъ самъ страдаетъ недостаткомъ того всеохватывающаго начала, за отсутствіе котораго громитъ русскую литературу. Онъ лишь жаждетъ религіознаго объединенія своихъ понятій о причинной связи явленій и своего нравственнаго чувства, но думаетъ удовлетворить свою жажду въ безводной, давно высохшей пустынѣ и принимаетъ миражи за дѣйствительность. По странному, но довольно обыкновенному въ неустойчивыхъ, колеблющихся натурахъ противорѣчію, онъ даже не хочетъ, чтобы разстилающійся передъ нимъ красивый миражъ превратился въ настоящую дѣйствительность, гдѣ онъ въ самомъ дѣлѣ могъ-бы утолить жажду. Этотъ миражъ красивъ, именно какъ миражъ, и, слѣдовательно, представляетъ особенную цѣнность для художника и пламеннаго поклонника красоты. Но онъ, кромѣ того, не обязываетъ, даже не призываетъ къ жизни въ полномъ, глубокомъ значеніи этого слова, а г. Мережковскій и хочетъ, и въ то же время боится жить. Для человѣка жить не значитъ пить, ѣсть и спать. Многіе люди живутъ этой жизнью, но это недостойная человѣка жизнь, и г. Мережковскій ее презираетъ. Жить значитъ мыслить, чувствовать и дѣйствовать, при чемъ всѣ эти три элемента должны быть въ полномъ согласіи, ибо это равноправныя и другъ друга поддерживающія функціи или стороны жизны. Формула ихъ сочетанія мѣняется въ исторіи, но она всегда есть или составляетъ великое искомое. Благодаря безчисленнымъ противорѣчіямъ г. Мережковскаго, я не умѣю сказать, какъ понимаетъ онъ свое собственно отношеніе къ этой формулѣ: считаетъ-ли онъ себя обладателемъ ея или только ищущимъ. Во всякомъ случаѣ со стороны дѣло виднѣе, и для меня нѣтъ сомнѣнія, что онъ ищетъ, но ищетъ невѣрными пріемами и тамъ, гдѣ найти нельзя. Почему онъ такъ радуется, что г. Михайловъ въ какомъ-то своемъ произведеніи (мнѣ оно неизвѣстно) «покинулъ знакомую обстановку и перенесся изъ современнаго Петербурга ни болѣе, ни менѣе, какъ въ древнюю Персію временъ царя

Артаксерка? Готовъ вѣрить, что это прекрасное произведеніе, но г. Мережковскій ничего не говоритъ объ его красотахъ и радуется самому факту удаленія романиста ко временамъ Артаксеркса. Я и противъ этого факта ничего не имѣю. Выборъ того или другого историческаго момента для рамки поэтическаго содержанія ничего не говоритъ противъ произведенія, но самъ по себѣ ничего не говоритъ и за него, а по г. Мережковскому ужъ и то превосходно, что авторъ изъ современнаго Петербурга въ «міръ патріархальной фантазіи» удалился. Почему такая немилость къ Петербургу? Потому-же, почему «Собака» выше большихъ романовъ Тургенева. Какъ и французскихъ символистовъ, неясность собственной мысли г. Мережковскаго влечетъ его отъ настоящей жизни ко всему неясно мерцающему, таинственному, мистическому, далекому. Отсюда-же и его комическое негодованіе противъ статистики и политической экономіи. На словахъ онъ обѣщаетъ «сочетаніе идеализма съ послѣдними выводами точныхъ знаній», а на дѣлѣ даже статистики боится. «Мистицизмъ» онъ проповѣдуетъ открыто и даже съ гордостью. Это его дѣло, но напрасно онъ отождествляетъ слова «мистическій» и «религіозный». Это не только не одно и то же, а даже двѣ противоположности. Религія призвана руководить человѣка въ жизни, освѣщать ему его трудный, извилистый, полный соблазновъ путь, и потому ей нечего бояться статистики. Другое дѣло мистицизмъ. Онъ, если позволено такъ выразиться, тушитъ свѣточъ религіи и уводитъ человѣка изъ настоящей дѣйствительной жизни куда-нибудь въ туманную даль: «въ міръ патріархальной фантазіи» временъ Артаксеркса или въ ту фантастическую область, гдѣ «лѣшій бродитъ, русалка на вѣтвяхъ сидитъ» и таинственная собака спасеніемъ какого-то Порфирія Капитоныча занимается. Я не хочу сказать этимъ, что фантастическіе или отдаленно историческіе или прямо миѳологическіе сюжеты не подлежатъ художественной эксплоатаціи. Дѣло не въ сюжетѣ, а въ томъ, какъ къ нему художникъ относится; для г. же Мережковскаго сюжетъ все губитъ и все спасаетъ. Короленко въ «Снѣ Макара» рѣшительно тотъ-же, что и во всѣхъ другихъ своихъ произведеніяхъ: то же отношеніе къ жизни, тѣ же упованія и идеалы. Но фантастическій сюжетъ «Сна Макара» выдѣляетъ для г. Мережковскаго этотъ разсказъ на недосягаемую высоту надъ всѣми писаніями Короленко. То же и съ Тургеневымъ по отношенію къ «Собакѣ».

Что бы ни говорилъ г. Мережковскій, но «Собака» есть пустяковый анекдотъ по содержанію, ни мало не блистающій художественными достоинствами по формѣ. Объ ней не будетъ упоминаться даже въ очень подробныхъ исторіяхъ литературы, или развѣ въ такой формѣ, что согрѣшилъ дескать, между прочимъ, Тургеневъ и «Собакой». Что-же касается большихъ его романовъ, то, не смотря на многіе ихъ недостатки, и предвидѣть нельзя того времени, когда они перестанутъ читаться съ живымъ интересомъ. А для г. Мережковскаго мистическое содержаніе «Собаки» все выкупаетъ, а мотивы дѣйствительной жизни въ романахъ Тургенева все портятъ. Это отъ того зависитъ, что онъ боится жизни. Онъ хочетъ не пить, ѣсть и спать, а жить по человѣчески; хочетъ и не смѣетъ, потому что инстинктивно чуетъ свое безсиліе оріентироваться въ сложныхъ путяхъ жизни. При этихъ условіяхъ мистическія сферы остаются единственнымъ убѣжищемъ, куда г. Мережковскій и удаляется вслѣдъ за французскими символистами. Намъ туда не по дорогѣ. Во Франціи и вообще въ Европѣ не одни символисты вновь обращаются къ мистикѣ; тамъ есть еще «маги», «нео-буддисты», «теософы» и другіе разные. Я думаю, что мы еще слишкомъ молоды, чтобы до такой степени извѣриться въ жизнь и до такой степени ея бояться.

III *).

Еще о декадентахъ, символистахъ и магахъ.

Г. Мережковскій насчитываетъ «три главныхъ элемента новаго (символистскаго или декадентскаго) искусства: мистическое содержаніе, символы и расширеніе художественной впечатлительности».

Весьма многіе французскіе писатели, называемые или сами себя называющіе символистами, подписались бы подъ тремя пунктами г. Мережковскаго. Но они вошли-бы, вѣроятно, въ разныя подробности. Свое право на титулъ новаторовъ въ искусствѣ одни поддерживали-бы указаніемъ на «вольный стихъ», стихи безъ риѳмы и опредѣленнаго размѣра; другіе указали-бы на особенности прозаическаго стиля, имѣющія цѣлью не изобразить

*) 1893, апрѣль.

тотъ или другой предметъ, а «внушить» идею о немъ; третьи похвастали-бы открытіями въ области сочетанія различныхъ ощущеній, напримѣръ, звука и цвѣта; четвертые выставили-бы впередъ характеръ своихъ излюбленныхъ темъ, и т. д. Не всѣ эти подробности для насъ одинаково важны, а нѣкоторыя изъ нихъ мы и совсѣмъ обойдемъ.

Читатель благоволитъ припомнить, что происхожденіе «новаго искусства» относится къ началу восьмидесятыхъ годовъ, когда группа молодыхъ писателей стала собираться сперва въ одномъ, потомъ въ другомъ кабачкѣ Латинскаго квартала для обмѣна мыслей. Это были, по показанію одного изъ нихъ (Матьяса Моргардта въ «Nouvelle Revue»), очень молодые люди, только что окончившіе среднее образованіе и весьма мало свѣдующіе какъ въ жизни, такъ и въ литературѣ. Время отъ времени на эти собранія появлялись и люди постарше и позначительнѣе. Въ числѣ постоянныхъ посѣтителей былъ, между прочимъ, Лоранъ Тальядъ, долго считавшійся однимъ изъ иниціаторовъ новаго движенія. Въ 1891 г., на вопросъ Гюре («Enquête sur l'évolution littéraire») о его роли въ исторіи символизма, Тальядъ отвѣтилъ слѣдущее: «Я никогда не былъ символистомъ. Въ 1884 г. Жанъ Мореасъ, который тогда еще не былъ избранникомъ Сенскихъ нимфъ, Шарль Винье, Верленъ — гордость французской поэзіи за послѣднія двадцать пять лѣтъ, - и я, не придававшій этимъ бесѣдамъ иного значенія, кромѣ легкой забавы, пробовали мистифицировать податливые умы нѣсколькихъ дебютантовъ литературы «цвѣтными гласными», оиванскою любовью, шопенгауеризмомъ и разными другими пустяками, которые потомъ пошли въ ходъ. Я уѣхалъ изъ Парижа и долго прожилъ въ провинціи, слишкомъ занятый своими домашними огорченіями, чтобы интересоваться литературною жизнью. Лишь случайно узналъ я объ инструментизмѣ Гиля, о ересяхъ, раздирающихъ декадентскую школу, и о пререканіяхъ Верлена съ Анатолемъ Бажю».

Вѣрно-ли разсказываетъ Тальядъ о своей роли, и если вѣрно, то хорошо-ли онъ поступалъ, угощая молодежь камнемъ бляги вмѣсто хлѣба истины,—это вопросы особые, изъ которыхъ послѣдній рѣшить слишкомъ нетрудно, а первый рѣшать, пожалуй что, и не стóитъ. Но показаніе Тальяда даетъ, во всякомъ случаѣ, цѣнный намекъ на состояніе умовъ при зарожденіи школы.

все остальное, вполнѣ безсмысленное содержаніе сборника. Пусть же читатель самъ судитъ объ этомъ остальномъ.

Рембо пишетъ: «Я издавна считалъ себя обладателемъ всѣхъ возможныхъ пейзажей (Je me vantais de posséder tous les paysages possibles) и находилъ смѣшными знаменитости современной живописи и поэзіи. Я любилъ идіотскіе рисунки, декораціи, занавѣси балагановъ, раскрашенныя вывѣски, вышедшую изъ моды литературу, церковную латынь, безграмотныя эротическія книги, старинные романы, волшебныя сказки, маленькія дѣтскія книжки, старыя оперы, глупые припѣвы, наивные ритмы. Я мечталъ о крестовыхъ походахъ, о путешествіяхъ и открытіяхъ, оставшихся безъ описанія, о республикахъ, исторія которыхъ не написана, о погасшихъ религіозныхъ распряхъ, переворотахъ въ нравахъ, перемѣщеніяхъ расъ и материковъ: я вѣрилъ всѣмъ волшебствамъ. Я изобрѣлъ цвѣта гласныхъ! (восклицательный знакъ въ подлинникѣ). A—черно, E—бѣло, J—красно, O—голубое, U—зеленое. Я опредѣлилъ форму и движеніе каждой согласной и, при помощи инстинктивнаго ритма, надѣялся изобрѣсти поэтическое слово, которое рано или поздно было-бы доступно всѣмъ чувствамъ... Я привыкъ къ галлюцинаціямъ: я искренно видѣлъ мечеть на мѣстѣ фабрики, коляски на небесныхъ путяхъ, салонъ на днѣ озера; чудовища, тайны; заглавіе водевиля вызывало передо мной ужасы. Потомъ я объяснялъ мои магическіе софизмы галлюцинаціями словъ! Я кончилъ тѣмъ, что призналъ разстройство моего ума священнымъ. Я ничего не дѣлалъ, раздираемый тяжелою лихорадкой, я завидовалъ счастью животныхъ, гусеницамъ, представляющимъ невинность преддверій рая, кротамъ, сну дѣвственности! Мой характеръ портился. Я прощался съ міромъ... За всякимъ существомъ я видѣлъ другія жизни. Этотъ господинъ не знаетъ, что онъ дѣлаетъ: онъ ангелъ. Это семейство есть скопище собакъ. Въ присутствіи многихъ людей я громко разговаривалъ съ какимъ-нибудь моментомъ ихъ другой жизни. Такъ, я любилъ свинью»...

И т. д. Исповѣдь кончается словами: «Это прошло. Я умѣю теперь поклоняться красотѣ». Едва-ли, однако, «это прошло», хотя «поклоняться красотѣ» несчастный Рембо, можетъ быть, и умѣетъ. Въ приведенномъ отрывкѣ (въ подлинникѣ перемежаемомъ еще безумными стихами) я многое пропускалъ, частью для сокращенія, а частью за невозможностью сколько-нибудь

близкаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, понятнаго перевода. Но и то осталось кое-что вполнѣ несообразное. Въ томъ-же сборникѣ есть набросокъ «L'imposaible», въ которомъ, между прочимъ, авторъ выражаетъ свое недовольство Западомъ и тяготѣніе къ Востоку съ его «первоначальною и вѣчною мудростью». Писано все это еще въ 1873 году. Такъ какъ, по словамъ Верлена, Рембо уѣхалъ куда-то въ Азію и вѣстей о немъ нѣтъ, то, если онъ живъ, онъ, можетъ быть, теперь достигъ желаемаго и съ головой погрузился въ «первоначальную и вѣчную мудрость» Востока, изучая «смыслъ основныхъ свойствъ пустоты» по буддистскимъ рецептамъ или кружась и завывая съ дервишами, или главенствуя въ собственной, имъ самимъ основанной сектѣ: извѣстно, что на Востокѣ больные духомъ пользуются особеннымъ уваженіемъ, къ нимъ даже съ благоговѣніемъ относятся. Но и у себя на родинѣ Артуръ Рембо, если не основалъ секту, то поспособствовалъ движенію, имѣющему до извѣстной степени сектантскій характеръ. Его сонетъ о цвѣтѣ гласныхъ, который онъ, еще не остывъ отъ безумія или перейдя въ новую его фазу, самъ признаетъ продуктомъ безумія далъ толчекъ не только «эволюціонному инструментизму» Рене Гиля, а и многому другому, входящему въ составъ символизма. Что-же касается авторской исповѣди Артура Рембо, то, предоставляя ее въ вѣдѣніе спеціалистовъ психіатріи, мы можемъ, однако, извлечь изъ нея цѣнныя указанія на характеръ и происхожденіе символизма.

Посмотримъ теперь на судьбу еще одного изъ завсегдатаевъ собраній въ кабачкахъ Латинскаго квартала при зарожденіи символизма,—Станислава Гюаита. Теперь онъ—«магъ». Но чтобъ оцѣнить достойнымъ образомъ степень его магическихъ познаній и силъ, надо разсказать довольно длинную и сложную исторію, настолько сложную, что я даже затрудняюсь съ чего начать, тѣмъ болѣе, что и помимо Гюаита исторія очень характерна для состоянія извѣстной группы умовъ въ современной Франціи.

Я уже говорилъ о странномъ произведеніи Гюисманса «Là-bas», въ которомъ развиваются параллельно исторія знаменитаго развратника, убійцы и демонолатра маршала Жиля де-Ретца, съ одной стороны, и исторія современной парижской мистико-демонической любви — съ другой. Романъ переполненъ мистически-сладострастными отголосками среднихъ вѣковъ не только въ исторіи Жиля де-Ретца, которую изучаетъ герой романа, но

и въ его собственной современной парижской жизни. Тутъ и инкубы, и суккубы съ отвратительнѣйшими подробностями, и «черная месса», и всякая гадость и чертовщина. Между прочимъ, въ романѣ фигурируетъ каноникъ Докръ, демонопоклонникъ, магъ и волшебникъ, направляющій свои магическія силы на всякое зло. Ему противопоставленъ д-ръ Іоаннъ, разстриженный священникъ, тоже магъ и волшебникъ, но творящій добро и спеціально борющійся съ каноникомъ Докромъ. Романъ написанъ самымъ серьезнымъ тономъ. Оказывается теперь, что д-ръ Іоаннъ—подлинное лицо. Недавно въ Ліонѣ умеръ разстриженный аббатъ Булланъ, носившій прозвище д-ра Іоанна и жившій совершенно въ той самой обстановкѣ и съ тою самою репутаціей, какія ему приданы въ романѣ Гюисманса. Въ № отъ 9 января нынѣшняго года газеты «Gil Blas» Жюль Буа (тоже «магъ») разсказываетъ, какъ жилъ и умеръ этотъ человѣкъ. Но тутъ надо сдѣлать еще маленькое предисловіе или отступленіе.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ во Франціи производилъ много шуму нѣкій Вентра, прозвавшій себя, по внушенію свыше, Стратанаиломъ. Онъ былъ мастеромъ на бумажной фабрикѣ, но въ 1839 г. ему явился архангелъ Михаилъ, сообщивши, что онъ, Вентра, есть избранникъ Божій. Затѣмъ слѣдовали новыя видѣнія, откровенія, пророчества, чудеса, исцѣленія. У Вентра набралось много учениковъ, онъ замѣшался и въ политическія дѣла, принявъ подъ свое покровительство и самозванца, выдававшаго себя, подъ именемъ герцога Нормандскаго, за сына Людовика XVI. Власти, духовныя и свѣтскія, обратили вниманіе на Стратанаила, а въ 1842 году онъ былъ арестованъ, судимъ и присужденъ къ штрафу въ 1,000 фр. и пятилѣтнему тюремному заключенію. Отбывъ наказаніе, онъ удалился въ Лондонъ, но и тамъ, и въ тюрьмѣ продолжалъ свою пропаганду и наборъ учениковъ. Главныя его чудеса, кромѣ пророчествъ и исцѣленій, состояли въ появленіи, въ его присутствіи, настоящей крови на тѣлѣ Христовомъ (на причастіи). Ученики его отмѣчаютъ также быструю смерть, постигавшую всѣхъ его ретивыхъ преслѣдователей.

По словамъ Жюля Буа, аббатъ Булланъ, д-ръ Іоаннъ тожъ, былъ однимъ изъ учениковъ Стратанаила и получилъ отъ него великую тайну властнаго общенія съ невидимымъ міромъ. Буа разсказываетъ слѣдующее о посѣщеніи имъ Іоанна въ Ліонѣ,

повидимому, незадолго до смерти послѣдняго. При Іоаннѣ состояли г-жа Тибо, ясновидящая, и старикъ архитекторъ Мимъ, занятый возобновленіемъ дѣла Парацельса по части жизненнаго элексира. Явившись съ рекомендательнымъ письмомъ Гюисманса, Буа былъ принятъ очень любезно. Іоаннъ разсказывалъ о тяжелой борьбѣ, которую ему приходится выдерживать съ парижскими магами, «розенкрейцерами»,—Саромъ Пеладаномъ и Станиславомъ Гюаита. Гюаита пріѣзжалъ къ нему съ спеціальною цѣлью вынудить у него тайну его могущества и прожилъ слишкомъ двѣ недѣли, выпрашивая, становясь на колѣни передъ г-жей Тибо и умоляя просвѣтить его, жаждующаго знанія. Наконецъ, Іоаннъ сдался и вручилъ гостю рукописи подъ заглавіемъ *Жертва*, «книгу магическую по преимуществу». Гюаита уѣхалъ и вскорѣ послѣ того Іоаннъ проснулся однажды ночью, почувствовавъ какой-то ударъ въ сердце. Онъ побѣжалъ къ г-жѣ Тибо, и ясновидящая тотчасъ сообразила: «это Гюаита!» Іоаннъ прибѣгнулъ къ извѣстнымъ ему чудеснымъ средствамъ огражденія отъ злыхъ, и на этотъ разъ дѣло кончилось благополучно. Но нападенія повторялись. Іоаннъ съ горечью разсказывалъ Жюлю Буа: «Гюаита, практикуя благодарность наизнанку, самъ далъ мнѣ знать, что хотѣлъ на мнѣ же испробовать силу, отъ меня полученную. Я знаю, что онъ пользовался ею съ тѣхъ поръ съ самыми злыми цѣлями. Люди исчезали, пораженные на смерть этимъ чернымъ магомъ. Его ненависть противъ меня растетъ тѣмъ болѣе, что — онъ знаетъ только я, да еще редакторъ «Tromba Apocalyptica» въ Римѣ умѣемъ ниспровергать ихъ козни. Когда Гюисмансъ былъ у меня здѣсь, онъ присутствовалъ при борьбѣ на разстояніи, о которой, я знаю, сохранилъ самое трагическое воспоминаніе. Г-жа Тибо духовнымъ зрѣніемъ видѣла обмѣнъ ударовъ между Ліономъ и Парижемъ (Вирдъ, Гюаита, Пеладанъ рѣшили меня умертвить). Съ причастіемъ въ рукахъ, я призвалъ великихъ архангеловъ, чтобъ они уничтожили этихъ поборниковъ зла». Въ этомъ мѣстѣ разсказъ Іоанна былъ перебитъ рѣзкимъ крикомъ. «Не удивляйтесь,—пояснилъ Іоаннъ,—это птицы, сообщающія намъ небесныя вѣсти. Онѣ садятся на сосѣднюю крышу для наблюденія и предупреждаютъ насъ о козняхъ враговъ».

Жюль Буа уѣхалъ изъ Ліона въ восторгѣ отъ всего, что онъ видѣлъ и слышалъ. Когда онъ узналъ о смерти Іоанна, онъ тотчасъ отправился къ Гюисмансу, находившемуся въ перепискѣ съ

ліонскимъ чудодѣемъ. Гюисмансъ сообщилъ ему удивительныя вещи. Іоаннъ умеръ 4 января. 2 января онъ писалъ Гюисмансу объ одолѣвающихъ его дурныхъ предчувствіяхъ: онъ указывалъ именно на грозное сочетаніе цифръ 8, 9 и 3 въ начинающемся годѣ, не объясняя, впрочемъ, что именно дурного въ этомъ сочетаніи. На другой день, то-есть 3 января, наканунѣ своей смерти, Іоаннъ приписалъ къ тому же письму сообщеніе о новомъ покушеніи Гюаита, предсказанномъ г-жей Тибо, Мимомъ и вѣщими птицами. 4 января Іоанна не стало: онъ палъ подъ невидимыми ударами черныхъ маговъ, о чемъ г-жа Тибо подробно сообщила Гюисмансу письмомъ. Передъ смертью Іоаннъ чувствовалъ боли въ печени и въ сердцѣ. Письма самого Іоанна и г-жи Тибо къ Гюисмансу приведены въ статьѣ Жюля Буа. Гюисмансъ дополнилъ ихъ разсказомъ, что и его, Гюисманса, черные маги, разсерженные разоблаченіями ихъ козней и мерзостей въ романѣ «Là-bas», «бьютъ каждую ночь по черепу флюидическими ударами кулака (par des coups de poing fluidiques) и мучатъ даже его кошку». Съ своей стороны, Жюль Буа оканчиваетъ всю эту исторію такъ: «Я никого не обвиняю, я считаю только своею обязанностью установить факты: странное предчувствіе Буллана (Іоанна), пророческія видѣнія г-жи Тибо и Мима, нападенія, кажется, несомнѣнныя, розенкрейцеровъ Вирда, Пеладана, Гюаита на покойнаго. Меня увѣряли, что г. маркизъ де-Гюаита живетъ въ дикомъ одиночествѣ, что онъ съ большимъ искусствомъ и знаніемъ приготовляетъ яды, которые онъ приводитъ въ летучее состояніе и направляетъ въ пространство; что у него есть даже, — это видѣли гг. Поль Аданъ, Эдуардъ Дюбю, Гари де-Лакрозъ,—домашній духъ, запертый въ шкафу и появляющійся по его приказанію. Никого не обвиняя, я требую, чтобы былъ пролитъ свѣтъ на эту смерть. Печень и сердце,—вотъ куда былъ пораженъ Булланъ, вотъ точки, въ которыя проникаютъ астральныя силы. Теперь, когда знаменитые ученые, какъ гг. Шарко, Люи и особенно Роша, признаютъ могущество силы на разстояніи, я, адептъ магіи, требую истины, точныхъ объясненій, требую, хотя бы мнѣ самому пришлось испытать страхъ смерти, требую, какъ должны-бы требовать и гг. Жозефенъ Пеладанъ, Станиславъ де-Гюаита и Освальдъ Вирдъ для успокоенія своей совѣсти!»

Я не знаю дальнѣйшаго хода этой исторіи, которую можно бы было принять за глупый фарсъ или плохую фантастическую

сказку, если-бы не убѣжденный тонъ Жюля Буа, не его репутація серьезнаго «мага» и не свидѣтельство Гюисманса, котораго невидимые кулаки такъ жестоко бьютъ по головѣ за романъ «Là-bas». Вотъ куда шагнулъ Гюаита изъ маленькаго кабачка въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ десять лѣтъ тому назадъ зарождался символизмъ! У него теперь даже послушный его велѣніямъ «домашній духъ» въ шкафу запертъ...

Я увѣренъ, что для многихъ читателей совсѣмъ ново и неожиданно то, что я разсказываю. Мы знаемъ патріотическую Францію, мечтающую о реваншѣ и со скрежетомъ зубовнымъ поглядывающую въ сторону Рейна. Знаемъ Францію легкомысленную, изобрѣтающую моды и канканирующую, Францію буржуазную, добѣжавшую до Панамы; Францію воинствующую, Францію—лабораторію политическихъ и спеціальныхъ идей, Францію Вольтера, Францію Руссо и соціализма, Францію Пастера и Шарко и т. д. Но чтобы въ этой, такъ много мыслившей и жившей, веселившейся и страдавшей Франціи возможно было возрожденіе средневѣковаго мрака, душнаго, смраднаго, переполненнаго чудовищно-фантастическими и кроваво-грязными образами, — этому трудно вѣрится. Неужели мы, въ самомъ дѣлѣ, присутствуемъ при вырожденіи французской расы, какъ утверждаетъ Максъ Нордау? Но Нордау идетъ и дальше. Не упуская случая подчеркнуть симптомы вырожденія или то, что онъ считаетъ таковыми, во Франціи, онъ не останавливается, однако, и передъ возможностью распространить это обобщеніе на весь цивилизованный міръ. Частные поводы къ этому даютъ ему, напримѣръ, успѣхъ нѣкоторыхъ драматическихъ пьесъ Метерлинка въ Копенгагенѣ, распространеніе «толстоизма», то-есть интересъ Европы и Америки къ ученіямъ гр. Л. Тостого, нѣкоторыя явленія умственной и художественной жизни въ Англіи и Германіи (прерафаэлиты, Рёскинъ, Рихардъ Вагнеръ и проч.). Наконецъ, и общая причина всѣхъ интересующихъ Нордау явленій, какъ онъ самъ ее понимаетъ, не ограничивается одною Франціей. Опираясь на работы психофизіологовъ, невропатологовъ и психіатровъ, онъ находитъ эту причину въ усталости, переутомленіи, пониженіи жизнедѣятельности, вызванномъ требованіями непомѣрно развивающейся культуры. Нордау утверждаетъ, что никогда еще жизнь населенія Европы не под-

вергалась такимъ кореннымъ измѣненіямъ и такому напряженію, какъ въ послѣднее столѣтіе или даже только полстолѣтіе. Правда,—говоритъ онъ,—открытіе Америки, реформація въ свое время сильно потрясли умы и, безъ сомнѣнія, способствовали поврежденію многихъ недостаточно сильныхъ. Но матеріальная жизнь оставалась нетронутою, тогда какъ теперь паръ и электричество вторгаются въ ежедневный обиходъ каждаго, даже совершенно чуждаго идеямъ вѣка.

Нѣкоторыя приводимыя Нордау цифры любопытны. Въ 1840 г. во всей Европѣ было 3,000 километровъ желѣзныхъ дорогъ, въ 1891 г.—218,900. Въ 1840 г. число всѣхъ пассажировъ въ Германіи, Франціи и Англіи равнялось 2½ милліонамъ, въ 1891 г. ихъ было 614 милліоновъ. Въ 1841 г. въ Германіи приходилось среднимъ числомъ 85 писемъ на каждаго жителя, въ 1888 г.—200. Во Франціи въ 1840 г. почта разослала 94 милл., въ Англіи 277 милліоновъ писемъ, а въ 1881 г., эти цифры возросли до 595 и 1,299 милліоновъ. Въ Германіи въ 1840 г. издавалось 305 газетъ, въ 1891 г.—6,800; во Франціи этотъ ростъ выражается цифрами 776 и 5,182, въ Англіи (1846 г.) 551 и 2,255. Всемірный ввозъ и вывозъ 1840 г. равнялся 28 милліардамъ марокъ, въ 1889 г.—74 милліардамъ. Въ 1840 г. нѣмецкая книжная торговля обогатилась 1,100 новыми изданіями, въ 1891—18,700 и т. д. Эти голыя цифры говорятъ очень многое. Онѣ говорятъ именно о страшномъ нервномъ напряженіи, которое должно переживать современное цивилизованное человѣчество. Благодаря развитію науки, литературы, журналистики, техники, улучшеннымъ путямъ сообщенія, телеграфу, желѣзнымъ дорогамъ, коловращенію мірового рынка, современный человѣкъ если не непосредственно, то мыслью и чувствомъ принимаетъ участіе въ разнообразнѣйшихъ событіяхъ, совершающихся на самыхъ отдаленныхъ точкахъ земного шара. Сто лѣтъ тому назадъ первый министръ какой-нибудь маленькой или даже средней державы не имѣлъ такъ быстро и такихъ обильныхъ и точныхъ свѣдѣній о томъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, какъ теперь подписчикъ какой-нибудь дешевой газеты. Иная кухарка получаетъ и отправляетъ теперь больше писемъ, чѣмъ нѣкогда профессоръ университета, а мелкій торговецъ больше путешествуетъ и больше видитъ людей и мѣстъ, чѣмъ владѣтельный князь. Всѣ эти впечатлѣнія и дѣйствія, даже простѣйшія изъ нихъ, требуютъ извѣстнаго

расхода. Каждая прочитанная строчка, каждое встрѣченное человѣческое лицо, каждый разговоръ, каждая картина, мелькомъ увидѣнная изъ окна желѣзно-дорожнаго вагона, приводитъ въ дѣятельное состояніе наши нервы, которые, наконецъ, не выдерживаютъ. Если бы это наростаніе нервнаго расхода происходило съ извѣстною постепенностью, то люди успѣли бы къ нему приспособиться, но волна на волну набѣгаетъ, волна погоняетъ волну съ непропорціональною быстротой. Въ результатѣ получается переутомленіе, усталость, а въ слѣдующемъ поколѣніи— явственные признаки наслѣдственнаго вырожденія, «массовой истеріи». Однимъ изъ выраженій этого процесса и являются символисты, декаденты и т. п. Однимъ, но не единственнымъ, потому что рядомъ съ этими новыми школами въ искусствѣ мы видимъ возростаніе числа самоубійствъ, психическихъ болѣзней, преступленій, потребленія возбуждающихъ и наркотическихъ веществъ и т. д.

Такъ разсуждаетъ Нордау. Не смотря на краткость и бѣглость моего изложенія, я передалъ все существенное въ этой части его аргументаціи. Читатель видитъ, что дѣло идетъ далеко не объ одной Франціи, а обо всемъ цивилизованномъ мірѣ. Но многія болѣзненныя явленія, сопровождающія поступательный ходъ цивилизаціи, отмѣчены очень давно, и это обстоятельство не разъ давало поводъ къ болѣе или менѣе отрицательнымъ сужденіямъ о цивилизаціи вообще. Это вопросъ слишкомъ обширный и насъ здѣсь пока не касающійся. Съ насъ достаточно указать, что Нордау весьма далекъ отъ его разрѣшенія. Это видно уже изъ того, какъ онъ смотритъ на назначеніе такихъ историческихъ моментовъ, какъ открытіе Америки или реформація. Было бы не трудно доказать, что эти міровыя событія, въ противность поверхностному взгляду Нордау, произвели коренныя измѣненія въ матеріальномъ быту европейскаго населенія, могущественно вліяя на весь экономическій строй его жизни. Отмѣчая воздѣйствіе этихъ событій лишь непосредственно въ области духовныхъ интересовъ, Нордау, вмѣстѣ съ тѣмъ, для новаго времени, останавливается на «каждой прочитанной строчкѣ» и на «каждой картинѣ, мелькомъ увидѣнной въ окно желѣзно-дорожнаго вагона», а не удѣляетъ вниманія потрясающимъ умъ и воображеніе, вздымающимъ къ небесамъ надежды и низвергающимъ въ пропасть отчаянія или разочарованія событіямъ, какъ Напо-

леоновскія войны, бурное дыханіе 1848 года, торжество и паденіе второй имперіи, разгромъ 1871 г. Но этого мало. Всѣ нелѣпыя мысли и несуразные образы, которые Нордау встрѣчаетъ у символистовъ, равно какъ и ихъ тяготѣніе къ мистицизму, онъ ставитъ на счетъ вырожденію, что и подтверждаетъ болѣе или менѣе искусно подобранными, но отнюдь не всегда доказательными ссылками на невропатологическую и психіатрическую литературу. Между тѣмъ, совершенно подобныя же черты болѣе древнихъ временъ, о которыхъ у него по спонутности заходитъ иногда рѣчь, онъ объясняетъ невѣдѣніемъ, незнаніемъ, невѣжествомъ. Такимъ образомъ, для него существуетъ мистицизмъ невѣжества и мистицизмъ вырожденія, и именно послѣдній оказывается исключительно господствующимъ въ средѣ символистовъ, декадентовъ, инструментистовъ, маговъ и проч. Такъ ли это, однако? И не представляется ли болѣе естественнымъ поискать объясненія глупостей и вздора въ бездарности и скудости познаній всѣхъ этихъ господъ, въ ихъ невѣжествѣ и художественномъ безвкусіи? Нельзя, конечно, отрицать, что Саръ Пеладанъ или Верленъ, о которыхъ мы говорили въ прошлый разъ, равно какъ Артуръ Рембо и, по всей вѣроятности, Станиславъ Гюаита,— люди ненормальные, больные. Это слишкомъ ясно. Но больные люди всегда были и вездѣ есть, и, однако, не вездѣ и не всегда ихъ бредъ даетъ начало новымъ школамъ, которыя шумятъ, шумятъ не только у себя на родинѣ, но и откликаются даже, напримѣръ, въ Петербургѣ изъ Парижа. При томъ же, въ числѣ главарей и пророковъ этихъ новыхъ школъ фигурируютъ и люди, къ которымъ рѣшительно неприложимъ эпитетъ «выродившихся» или «истериковъ». Мы это видѣли на Метерлинкѣ, здоровомъ, физически сильномъ, уравновѣшанномъ и, внѣ своей поэзіи, здравомыслящемъ фламандцѣ, котораго Нордау, очевидно, совершенно напрасно зачислилъ въ «истерики» и даже въ «идіоты». Все это заставляетъ предполагать, что, по крайней мѣрѣ, рядомъ съ психіатрическимъ процессомъ идетъ процессъ психологическій, факторы котораго суть невѣжество, бездарность, безвкусіе, тщеславіе, самомнѣніе, желаніе играть первую скрипку въ оркестрѣ и т. п. Возможно, напримѣръ (я именно только къ примѣру и говорю), что завѣдомо больной Артуръ Рембо увлекаетъ своимъ бредомъ кружокъ совсѣмъ не больныхъ, а просто невѣжественныхъ людей, а какой-нибудь Стефанъ Маларме, человѣкъ, пови-

димому, здоровый, но тщеславный и себѣ на умѣ, глядя на успѣхъ Рембо, въ свою очередь уже сознательно выдумываетъ какую-нибудь штуку, на которую, какъ на удочку, поддѣваетъ и на свою долю учениковъ и поклонниковъ, столь же «податливаго» ума. Возможно, однако, и такъ, что эта невѣжественная, легкомысленная и податливая среда, такъ охотно поставляющая сектантовъ всякому ересіарху, отражаетъ въ себѣ настоящій запросъ жизни, на который, худо ли, хорошо ли, отвѣчаетъ ересіархъ, что не мѣшаетъ, однако, ему быть, въ то же время, сумасшедшимъ, плутомъ или невѣждой.

Естественное дѣло, что господа символисты, декаденты, инструментисты, маньифики, маги неблагосклонно относятся къ наукѣ, стѣсняющей свободный полетъ ихъ намѣреннаго или ненамѣреннаго бреда. Они много говорятъ объ Истинѣ и, въ знакъ глубокаго своего къ ней почтенія, любятъ писать ея имя съ большой буквы. Но это истина особенная, мистическая. Что же касается собственно науки и опирающихся на нее философскихъ системъ, то по ихъ адресу они говорятъ много непріятныхъ и непріязненныхъ вещей. И немудрено: ихъ требованія отъ науки рѣшительно превосходятъ ея средства. Они съ восторгомъ встрѣтили ученіе о гипнотизмѣ и доселѣ ищутъ въ немъ себѣ опоры, но лишь постольку, поскольку имъ представляется возможнымъ притянуть его къ такимъ вещамъ, какъ невидимые кулаки, дубасящіе Гюисманса по головѣ, или невидимая борьба между парижскими черными магами и д-ромъ Іоанномъ въ Ліонѣ. Характерна въ этомъ отношеніи статья Мориса Барреса «Une mode qui passe» въ «L'écho de la semaine» отъ 26 февраля нынѣшняго года. Барресъ въ свое время посѣщалъ засѣданія зарождающихся символистовъ въ кабачкахъ Латинскаго квартала. Теперь онъ депутатъ, вотирующій съ буланжистами, журналистъ съ легкимъ перомъ и легкимъ сердцемъ и отъ бурь символизма, кажется, совсѣмъ отсталъ. Это не помѣшало ему, однако, выразить въ упомянутой статьѣ интимную мысль всѣхъ ерундистовъ разныхъ толковъ. «Une mode qui passe», старѣющая мода, — это и есть гипнотизмъ, т.-е. гипнотическіе опыты. Работы Шарко, Бернгейма, Люи,—говоритъ Барресъ,—скудны, мелки, ничтожны, всѣмъ надоѣли; господа ученые, занимающіеся психофизическими изслѣдованіями, должны обратиться къ новой и болѣе цѣнной дѣятельности, а именно — воскрешать мертвыхъ и предсказывать

будущее. И если наука безсильна для этого, такъ она ничего не стоитъ. Понятно, что умы, столь свободные отъ всякаго багажа, должны съ презрѣніемъ относиться къ «наукѣ», «научному эмпиризму», «позитивизму», во всякомъ случаѣ требующимъ багажа, и искать спасенія въ складкахъ ассирійской мантіи Сара Меродака Пеладана, въ таинственной рукописи «Жертва», при помощи которой Гюаита убилъ Іоанна, и тому подобныхъ, недоступныхъ свѣту мѣстахъ. Въ этой темнотѣ ничего не видно, а потому самому можно увидѣть все, что захочешь.

Этимъ ужъ, конечно, не переутомленнымъ наукою умамъ Нордау хочетъ внушить почтеніе къ наукѣ. Онъ пытается перечислить все, достигнутое «эмпирическимъ, т.-е. научнымъ методомъ». Какъ! — восклицаетъ онъ, - намъ говорятъ о крушеніи науки (символисты дѣйствительно говорятъ это), когда въ послѣднія десятилѣтія спектральный анализъ открылъ намъ строеніе отдаленнѣйшихъ небесныхъ тѣлъ, когда мы изучили быстроту и направленіе ихъ движенія, уяснили себѣ единство силъ, отношеніе атомовъ въ молекулахъ и размѣщеніе молекулъ въ пространствѣ, когда наука бросила яркій свѣтъ на природу электричества и отдала эту силу на службу человѣку...

На этомъ мѣстѣ символисты могли бы перебить рѣчь Нордау. Они могли-бы сказать: всего, сдѣланнаго наукой, вы все равно скоро не перечислите, остановимся-же на электричествѣ. Вы только что доказывали, что электричество и паръ, въ числѣ другихъ факторовъ, повели къ нашему вырожденію и «массовой истеріи». Вы доказывали также, что къ тому-же результату повело расширеніе нашихъ свѣдѣній о томъ, что дѣлается въ отдаленнѣйшихъ точкахъ земного шара, а теперь хотите внушить намъ почтеніе къ наукѣ указаніемъ на то, что эта наука сообщаетъ намъ свѣдѣнія о еще болѣе отдаленныхъ точкахъ небеснаго пространства. Не имѣемъ-ли мы, по вашему мнѣнію, переутомленные, права спросить словами вашего нѣмецкаго поэта: ich, dich ehren?—wofür?

За что, въ самомъ дѣлѣ, символисты будутъ благословлять науку и всю эту цивилизацію, если они въ своемъ великолѣпномъ шествіи ихъ дѣйствительно раздавили? Горе побѣжденнымъ,—это вѣрно, вѣрно до плеоназма, и нельзя-же требовать, чтобы побѣжденные ликовали. Тѣмъ болѣе въ настоящемъ случаѣ, когда рѣчь идетъ не о какомъ-нибудь одинокомъ Полѣ Вер-

ленѣ или Артурѣ Рембо, а о «массовой истеріи», наслѣдственно распространяющейся по всей Европѣ. Нарисовавъ блестящую картину быстраго роста науки за послѣднія десятилѣтія, Нордау нѣсколько далѣе парируетъ упрекъ наукѣ, будто она разрушила идеалы и обезцѣнила и обезцвѣтила жизнь. Упрекъ этотъ предъявляется наукѣ частію самими символистами, а частію и нѣкоторыми сторонними людьми, пытающимися объяснить это движеніе тѣмъ, что наука не оправдала надеждъ, которыя не нее возлагались. На это Нордау отвѣчаетъ, что «вообще не можетъ быть идеала болѣе возвышеннаго, чѣмъ пріумноженіе знанія». А затѣмъ, какъ на высокіе идеалы въ частности, онъ указываетъ на «изслѣдователя, всю жизнь согбеннаго надъ микроскопомъ, почти свободнаго отъ физическихъ потребностей, немногимъ извѣстнаго, работающаго въ тиши, полагающаго все свое самолюбіе въ томъ, чтобъ установить, можетъ быть, одинъ единственный маленькій новый фактъ, которымъ болѣе счастливый преемникъ воспользуется при постройкѣ блестящаго синтеза». Слѣдуютъ другіе примѣры, въ томъ числѣ и знаменитый анекдотъ объ Архимедѣ, который заявилъ пришедшему его убить воину, чтобъ онъ не мѣшалъ ему заниматься вычисленіями. Все это, однако, едва-ли убѣдительно. Можно почтительно относиться къ ученому, всю жизнь безкорыстно согбенному надъ микроскопомъ, чтобъ установить какой-нибудь одинъ маленькій новый фактъ. Но эта почтительность обнимаетъ отнюдь не весь нравственный обликъ этого ученаго, а лишь нѣкоторыя черты его — безкорыстіе, трудолюбіе, можетъ быть, еще какія-нибудь добродѣтели, и къ почтительности естественно приплетается нѣкоторая доля сожалѣнія или ироніи. Жизнь этого ученаго, дѣйствительно, недорогого стоитъ, такъ какъ цѣлыя сферы жизни, блестящія всею радугой переливовъ радости и печали, запечатаны для него семью печатями. Глухой и слѣпой къ чужимъ радостямъ и печалямъ, ко всему, кромѣ того, что видно въ его микроскопѣ, онъ за это наказанъ скудостью собственной своей жизни. И это отнюдь не жестокое наказаніе, потому что самъ онъ, какъ Гетевскій Вагнеръ, даже не понимаетъ, что любопытнаго за предѣлами его микроскопа. Но это своего рода уродство, ни для кого, кромѣ исключительно призванныхъ, не соблазнительное. Это, можетъ быть, идеалъ ученаго, хотя позволительно и въ этомъ сомнѣваться, но это, во всякомъ случаѣ, не идеалъ чело-

вѣка. А дѣло именно во взаимныхъ отношеніяхъ этого идеала и науки.

Если символисты и переутомлены чѣмъ-нибудь, такъ ужъ, конечно, не наукой. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, эти люди отнюдь не обременены ни знаніями въ какой-нибудь спеціальной отрасли, ни привычкой къ логическимъ пріемамъ мышленія. ни пониманіемъ характера и предѣловъ самаго духа науки. Отсюда ихъ нелѣпыя требованія, въ родѣ того, чтобы наука занялась воскрешеніемъ мертвыхъ, а такъ какъ наука оказывается безсильною выполнить эти комическія требованія, то наступаетъ столь-же комическое разочарованіе или вообще недовольство, даже презрѣніе. Для разрѣшенія несуразныхъ вопросовъ и удовлетворенія неудовлетворенныхъ требованій, они обращаются къ древнему магизму, какъ Саръ Пеладанъ, къ «первоначальной и вѣчной мудрости Востока», какъ Артуръ Рембо, къ средневѣковой чертовщинѣ, какъ Гюисмансъ и Гюаита. Ихъ сумеречная мысль естественно притягивается историческими сумерками. Но у нихъ подъ руками есть и другіе источники истины или убѣжища для смятенной мысли. Въ средѣ такихъ скудныхъ знаніемъ и недисциплинированныхъ умовъ, особенно, если они группируются въ обособленный кружокъ, въ высшей степени легко возникаютъ и прививаются всякія «новыя слова», всякія открытія «новыхъ мозговыхъ линій» и «новыхъ угловъ души». Дѣйствительно-ли разстроеннаго ума человѣкъ или здравый, но одаренный извѣстною смѣлостью и дешевымъ самолюбіемъ, желающій блеснуть новою оригинальною мыслью, хотя-бы это было давно открытая Америка, или просто вздоръ, всегда могутъ разсчитывать на мѣсто въ переднемъ углу въ подобной средѣ. Мы видѣли, какъ тянуло Артура Рембо къ невиданному, небывалому, невозможному,—къ «путешествіямъ и открытіямъ, оставшимся безъ описанія», къ «республикамъ, исторія которыхъ не написана». Мы видѣли также, что Стефанъ Маларме готовится разрѣшиться «неслыханнымъ твореніемъ». Этой жаждѣ новаго, неслыханнаго, и этой вѣрѣ въ возможность добыть его какимъ-нибудь мистическимъ прыжкомъ тѣмъ легче разыграться, чѣмъ пустыннѣе умственный горизонтъ, чѣмъ меньше знаешь и понимаешь старое, установившееся

Однако, этой простой, вездѣ и всегда легко наблюдаемой механики движенія еще недостаточно для объясненія его распро-

страненія. Мало-ли провозглашается «новыхъ мозговыхъ линій», которыя, однако, такъ на ступени провозглашенія и остаются и либо никакого вниманія къ себѣ не привлекаютъ, либо вызываютъ лишь презрительныя улыбки. Не такова символистская литература. Она не только провозглашена, но составляетъ несомнѣнно существующій фактъ. Правда, она не выставила ни одного крупнаго произведенія; правда, къ тому интересу, который она возбуждаетъ, примѣшивается много ироніи, сожалѣнія и чисто-спеціальнаго вниманія съ психіатрической точки зрѣнія. Но она заставляетъ говорить о себѣ всю образованную Европу, она распространяется. растетъ, вызываетъ и сочувствіе къ себѣ, и подражателей. Это показываетъ, что въ ней есть нѣчто, поддерживаемое нѣкоторыми чертами общаго духа даннаго историческаго момента,—пусть это будетъ fin de siècle,—нѣчто отвѣчающее, хотя бы и нелѣпо, на нѣкоторый общій запросъ.

Надо помнить, что символизмъ, прежде всего, художественная школа. Экскурсіи въ теоретическія области эстетики, этики, философіи, «инструментистики», магіи предпринимаются, главнымъ образомъ, для оправданія извѣстныхъ художественныхъ пріемовъ и недовольства другими художественными пріемами. Недовольство занимаетъ очень видное мѣсто во всемъ этомъ движеніи,—недовольство, прежде всего, натурализмомъ и протоколизмомъ Эмиля Зола и его когда-то многочисленныхъ послѣдователей. Зола достаточно чутокъ для пониманія того прискорбнаго обстоятельства, что почва ускользаетъ изъ-подъ его ногъ. Онъ даже самъ готовъ посодѣйствовать разрушенію своего собственнаго зданія. Еще, кажется, въ 1889 г. онъ говорилъ корреспонденту одной американской газеты: «Послѣ того удара, которой нанесъ господствовавшему направленію натурализмъ, стала чувствоваться потребность нѣкоторой реакціи. Человѣкъ неудержимо стремится къ счастью, оно—постоянный предметъ его желаній. При помощи положительнаго научнаго метода мы заставили его увидѣть зло во-очію, посмотрѣть на жизнь, какова она есть на самомъ дѣлѣ. Но мы не дали ему утѣшенія. Онъ благодаренъ намъ за то, что мы сдѣлали въ интересахъ раскрытія правды, но онъ даетъ намъ понять, что онъ еще не удовлетворенъ». Затѣмъ Зола пояснилъ, что на будущее время онъ намѣренъ «отрѣшиться отъ того крайняго направленія, которому слѣдовалъ до сихъ поръ». Въ разговорѣ съ выше часто цитированнымъ Гюре, Зола

возвратился къ этой темѣ. Онъ полагаетъ, что къ нему и его единомышленникамъ можно бы было обратиться съ такимъ упрекомъ: «Вы злоупотребили положительнымъ фактомъ, внѣшнею дѣйствительностью вещей, осязаемымъ документомъ; въ сообществѣ съ наукой и философіей вы обѣщали людямъ счастье въ осязаемой истинѣ, въ анатоміи, въ отрицаніи идеала, и вы ихъ обманули! Смотрите, рабочій уже почти жалѣетъ о цехахъ и проклинаетъ машины, художникъ возвращается къ лепету искусства, поэтъ мечтаетъ о среднихъ вѣкахъ... Итакъ, ваше дѣло кончено, нужно что-то другое». Сдѣлавъ самому себѣ этотъ репримандъ отъ лица недовольныхъ, Зола продолжалъ: «Это нетерпѣніе законно, но наука движется медленно и, можетъ быть, слѣдовало бы оказать ей нѣкоторый кредитъ. Впрочемъ, эта реакція логична и можетъ восторжествовать черезъ десять-пятнадцать лѣтъ, если явится человѣкъ, который сосредоточитъ въ себѣ эту жалобу вѣка, эту отголчку отъ науки. Такимъ именно образомъ можетъ умереть натурализмъ». Въ дальнѣйшемъ разговорѣ Зола замѣтилъ: «Впрочемъ, если у меня хватитъ времени, я сдѣлаю то, чего они хотятъ...»

Въ этомъ разговорѣ сказался весь Зола съ его броненосною самоувѣренностью, съ его бахвальствомъ, съ его безпринципностью. Онъ гордъ, онъ почти отождествляетъ себя съ наукой и, во всякомъ случаѣ, идетъ подъ ея знаменемъ, но, если нужно перемѣнить фронтъ, чтобы стать во главѣ новаго движенія, онъ и это готовъ сдѣлать. Но уже самое это обстоятельство показываетъ, что реакція противъ натурализма и протоколизма очень сильна и отнюдь не ограничивается кучкой символистовъ. Въ другомъ мѣстѣ мнѣ уже пришлось отмѣтить нѣкоторыя черты французской беллетристики, не имѣющія ничего общаго съ символизмомъ, и, однако, явно протестующія противъ натурализма. Что касается символистовъ, то въ ихъ «возстаніи» надо различать нѣсколько сторонъ. Надо имъ, прежде всего, отдать справедливость, — они поняли или почуяли всю антихудожественность чрезмѣрной детальности протоколизма, доходящей, напримѣръ, въ «Нана», до описанія кончика рубашки, высунувшейся изъ панталонъ героини. Не только нѣтъ надобности, но нѣтъ и возможности угнаться за всѣми мелочами, какъ въ описаніи внѣшней обстановки дѣйствія, такъ и въ изображеніи душевныхъ движеній дѣйствующихъ лицъ. Картина художника тѣмъ и отличается отъ

фотографіи, что не предоставляетъ вниманію зрителя расплываться по всѣмъ подробностямъ, а сосредоточиваетъ его на выдающихся, характерныхъ моментахъ, предоставляя воображенію зрителя дополнить остальное. Практическій вопросъ рѣшается, конечно, степенью таланта, чувства мѣры и ширины горизонта художника; но символисты, несомнѣнно, правы въ той своей исходной точкѣ, что извѣстная доля работы собственнаго воображенія зрителя, слушателя, читателя составляетъ одно изъ условій эстетическаго наслажденія. Это не мѣшаетъ, разумѣется, большому таланту ставить воображенію читателя или зрителя извѣстныя границы или давать ему извѣстное направленіе, властно «наводить» его, «внушать» ему то, что онъ, большой талантъ, внушить хочетъ. Два-три штриха великаго художника могутъ оживить передъ читателемъ цѣлую картину и возбудить въ немъ соотвѣтственное настроеніе. Эти-то два-три штриха символисты и провозглашаютъ, подъ именемъ символа, своимъ девизомъ. Но дѣло въ томъ, что въ этомъ смыслѣ все искусство символично, и чѣмъ крупнѣе художникъ, тѣмъ больше его способность символизировать событія или лица, т.-е. въ немногихъ сравнительно чертахъ улавливать ихъ истинный, глубокій смыслъ. У самого Зола, какъ у даровитаго художника, хоть въ той же «Нана», напримѣръ, конецъ романа — смерть героини подъ аккомпаниментъ уличныхъ криковъ «à Berlin! à Berlin!»—можетъ быть названъ вполнѣ символическимъ. Передъ читателемъ умираетъ глупое, наивно-развратное существо, почти животное; около ея трупа болтаютъ разный вздоръ такіе же, какъ она, кокотки; съ улицы, по случаю объявленія войны, доносятся шовинистскіе, барабанно-патріотическіе крики. Только и всего. Но у этой маленькой, въ подробностяхъ, можетъ быть, нѣсколько растянутой картинки есть огромный задній планъ. Смерть Нана, ничтожной человѣчицы, игравшей, однако, благодаря извѣстнымъ общественнымъ условіямъ, первую роль на протяженіи цѣлаго романа, сопоставленная съ криками «à Berlin!»—есть настоящій символъ второй имперіи въ ея торжествѣ и паденіи. Протоколистъ Зола оказался, въ этомъ случаѣ, въ качествѣ даровитаго художника, символистомъ, если ужъ нужно это новое слово для обозначенія очень старой вещи. Символисты, конечно, хорошо сдѣлали, что напомнили эту старую вещь, потому что литература, и не только французская, уже слишкомъ переполнилась плоскодонными про-

изведеніями, въ которыхъ единичный, не обобщенный фактъ, анекдотъ, скучай, всякій житейскій пустякъ самъ себѣ довлѣетъ и заносится въ «протоколъ», безъ вниманія къ общему смыслу жизни. Съ другой стороны, однако, люди, называющіе себя или называемые символистами, не могутъ осуществить свою программу, прежде всего, за отсутствіемъ или извращенностью талантовъ. Самый талантливый изъ нихъ, Верленъ, завѣдомо ненормальный человѣкъ, да и, какъ мы видѣли, онъ открещивается отъ «цимбалистовъ», отказывается даже понимать, что значитъ «символизмъ» въ устахъ людей, избравшихъ это слово своимъ знаменемъ. И немудрено. Символисты сами извращаютъ свою программу, во-первыхъ, злоупотребляя символами, и во-вторыхъ, придавая имъ таинственный, мистическій смыслъ. Для нихъ каждое явленіе имѣетъ прообразовательное, символическое значеніе Гусеница для Артура Рембо есть не простая гусеница, а символъ «невинности преддверій рая». Отсюда получается крайняя вычурность, манерность изложенія и изображенія, достигающая часто такой степени, что передъ вами точно шифрованное письмо, ключъ къ которому надо еще подобрать. Почему гусеница есть символъ «невинности преддверій рая», это еще не трудно понять: гусеница сама не размножается (она «невинна»), а превращается въ куколку («преддверіе»), изъ которой вылетаетъ красивая, пестрая бабочка (нѣчто «райское»). Но если читатель обратится къ одному изъ стихотвореній изъ «Serres chaudes» Метерлинка, которое я привелъ въ прошлый разъ, то разгадать нагроможденные здѣсь символы будетъ ужъ гораздо труднѣе. Можно догадываться, что общій фонъ стихотворенія или даже всего сборника—serre, теплица—есть символъ особеннаго положенія и настроенія поэта, который непосредственно не ощущаетъ бурь жизни, происходящихъ за тепличными стеклами. Для образной передачи своего мучительнаго душевнаго состоянія онъ прибѣгаетъ къ «мыслямъ принцессы, которая голодна» (принцесса, конечно, рѣдко голодна и потому особенно ярко чувствуетъ голодъ), къ «тоскѣ матроса въ пустынѣ» и къ «мѣдной музыкѣ подъ окномъ неизлѣчимо-больныхъ». Все это еще болѣе или менѣе объяснимо. Но, не говоря уже о томъ, что я отнюдь не убѣжденъ въ вѣрности моего толкованія, дальнѣйшіе символы совершенно непонятны. Что изображаютъ собою «почтальоны на больничномъ дворѣ» или «охотникъ за оленями, ставшій больнич-

нымъ служителемъ», или такъ часто повторяющіеся съ стихахъ Метерлинка, при самыхъ неожиданныхъ обстоятельствахъ, «стада овецъ», «корабли», «паруса», «каналы» и разныя ихъ комбинаціи? Все это символы чего-то, но—чего? Если сами символисты и отвѣтятъ на этотъ вопросъ, то самое большее, что мы можемъ получить, это—нѣчто вродѣ упомянутой уже книги Максимовича-Амбодика «Символы и эмблемы», условную азбуку или словарь, справившись съ которымъ, мы можемъ узнать, что «шафранъ и радуга» выражаютъ мысль: «дѣйствіе сего есть большее», а «стада овецъ», «паруса», «каналы» и т. д. означаютъ то то и то-то. Мы дешифрируемъ такимъ образомъ стихотвореніе Метерлинка, но его символы, во всякомъ случаѣ, не говорятъ сами за себя и представляютъ собою продукты болѣе или менѣе исключительныхъ, случайныхъ ассоціацій идей. Если Артуръ Рембо «любилъ свинью», «видѣлъ мечеть на мѣстѣ фабрики, коляски на небесныхъ путяхъ, салонъ на днѣ озера» и проч., то можно себѣ представить, какія изумительныя ассоціаціи идей возникали въ его мозгу и каковы, значитъ, были посредствующія логическія звенья между его символами и тѣмъ, что они должны изображать. Процессъ былъ для него самого теменъ, онъ не умѣлъ бы объяснить его ни себѣ, ни людямъ, а, между тѣмъ, процессъ налицо, идетъ своимъ чередомъ и всякій разъ какъ онъ видитъ,—положимъ, къ примѣру,—стадо овецъ, онъ приходитъ въ извѣстное настроеніе духа и, наоборотъ, приходя въ это состояніе, невольно вспоминаетъ стадо овецъ. При слабости контроля разума и воли, эта неразрывность случайной ассоціаціи идей естественно должна получить таинственную, мистическую, даже магическую окраску.

Къ тому же результату влечетъ символистовъ еще и другое теченіе.

Реакція противъ протоколизма, сопровождаемая, разумѣется, другими обстоятельствами, толкнула кучку молодыхъ недисциплинированныхъ умовъ въ противоположную, еще болѣе нелѣпую и нехудожественную крайность: безъидейной, безсмысленной обнаженности и протокольной точности они противопоставили столь же безсмысленную прикровенность и символическую темноту. Но въ господствовавшей школѣ была еще сторона, тѣсно свя-

занная съ протоколизмомъ, однако, логически отличимая отъ него,—натурализмъ, который въ свою очередь вызвалъ реакцію символизма.

Блестящій успѣхъ романовъ Зола вскружилъ ему голову. Онъ вообразилъ себя не только талантливымъ беллетристомъ, каковъ онъ дѣйствительно, а и реформаторомъ, при томъ, ученымъ, и именно натуралистомъ, не въ переносномъ какомъ-нибудь, а въ самомъ прямомъ смыслѣ этого слова. Много онъ на эту тему говорилъ и писалъ смѣшныхъ пустяковъ, отъ которыхъ и до сихъ поръ не совсѣмъ отрѣшился, какъ видно изъ вышеприведенныхъ его разговоровъ съ корреспондентомъ американской газеты и съ Гюре. Но теперь онъ, всетаки, нѣсколько сбавилъ тонъ, онъ допускаетъ возможность возраженій, допускаетъ, что ему и вообще «натуралистамъ» могутъ сказать: «вы злоупотребили положительнымъ фактомъ, внѣшнею дѣйствительностью вещей, осязаемымъ документомъ; въ сообществѣ съ наукой и философіей, вы обѣщали людямъ счастье въ осязаемой истинѣ, въ анатоміи, въ отрицаніи идеала, и вы ихъ обманули!» Никто конечно, не ожидалъ, чтобы люди стали счастливѣе оттого, что г. Эмиль Зола и его послѣдователи, «въ сообществѣ съ наукой и философіей», пишутъ натуралистическіе романы,— это одна изъ обыкновенныхъ самохвальныхъ выходокъ Зола. Никто и теперь не ожидаетъ, чтобы человѣчество стало счастливо собственно отъ перемѣны фронта, на которую съ готовностью соглашается г. Эмиль Зола. Но самая эта готовность чрезвычайно характерна. Стоустая молва разсказываетъ, что Зола приготовляетъ, внѣ серіи «Ругонъ-Макаровъ», романъ, мѣстомъ дѣйствія котораго будетъ Лурдъ, а центромъ тяжести— лурдскія чудеса. Въ газетахъ пишутъ, что какой-то богатый мистикъ ассигновалъ уже крупную сумму на переводъ этого романа на всѣ языки, если лурдскія чудеса будутъ въ немъ возвеличены и оправданы. Я не удивлюсь, если романъ Зола удовлетворитъ этого чудака.

Когда художникъ начинаетъ теоретизировать на тему объ искусствѣ, то, натуральнымъ образомъ, дѣло его сводится къ подведенію теоретическаго фундамента къ его собственной практикѣ, сложившейся, можетъ быть, помимо всякой теоріи, къ оправданію его инстинктивно усвоенныхъ художественныхъ пріемовъ. Зола, прежде всего, человѣкъ, къ вопросамъ нравственно-

политическимъ вполнѣ равнодушный. Отсюда его протоколизмъ: симпатіи и антипатіи общественнаго характера, любовь и ненависть къ нравственно-политическимъ принципамъ и явленіямъ, надежды и разочарованія не даютъ ему постояннаго опредѣленнаго мѣрила для расцѣнки фактовъ, которые поэтому оказываются всѣ равноцѣнными, равно достойными воспроизведенія во всѣхъ своихъ мелочахъ и подробностяхъ, равно себѣ довлѣющими. По этой-же причинѣ онъ, дѣйствительно, «злоупотребилъ,—какъ и самъ сознается,—положительнымъ фактомъ, внѣшнею дѣйствительностью вещей, осязаемымъ документомъ». Когда онъ сталъ теоретизировать, то пожелалъ это свое равнодушіе облечь въ мантію науки, дескать, «не вѣдающей ни жалости, ни гнѣва» и безстрастно «изслѣдующей всѣхъ вещей дѣйства и причины». Отсюда—«натурализмъ». Изо всего якобы научнаго багажа, которымъ Зола уснащалъ свои теоретическіе бесѣды объ искусствѣ и критикѣ,—изъ всѣхъ этихъ «анатомій», «экспериментальныхъ методовъ» и т. п., — опредѣленный смыслъ имѣетъ только терминъ «детерминизмъ». Какъ извѣстно, детерминизмомъ называется и ученіе о неразрывной причинной связи явленій, и самый фактъ этой связи. Ученіе это вырабатывалось вѣками и, рѣшительно утвердившись, наконецъ, въ наукѣ, а отчасти и въ философіи, упразднило массу миѳовъ и предразсудковъ. Какъ-бы, однако, ни были велики заслуги этого ученія, оно недостаточно въ области нравственно-политической, гдѣ рядомъ съ нимъ должны быть поставлены иные руководящіе принципы. Детерминисты требуютъ, чтобы мы относились къ людскимъ дѣламъ съ такимъ же безстрастіемъ, какъ и къ процессамъ природы, потому что эти дѣла, какъ и все на свѣтѣ, какъ и самъ свѣтъ, подчинены закону причинной связи, и не въ нашей власти оборвать или измѣнить эту связь; достаточно усмотрѣть естественныя причины и слѣдствія даннаго нравственно-политическаго явленія, чтобы не волноваться имъ ни въ положительную, ни въ отрицательную сторону и отказаться какъ отъ восторга передъ нимъ, такъ и отъ негодованія. Эту-то точку зрѣнія Зола и излагалъ, подъ именемъ натурализма, въ своихъ теоретическихъ статьяхъ и до извѣстной, весьма значительной, степени практиковалъ въ своихъ романахъ. Очевидно, однако, что человѣчество никогда не усвоитъ себѣ этой точки зрѣнія и не можетъ этого сдѣлать по кореннымъ свойствамъ своей природы. Въ качествѣ существа,

не только мыслящаго, а и чувствующаго, и обязаннаго трудиться, бороться, вообще дѣйствовать, человѣкъ не можетъ не волноваться въ дѣлахъ, въ которыхъ онъ является активнымъ или пассивнымъ факторомъ, не можетъ отрѣшиться на практикѣ отъ убѣжденія, что ему доступно сознательное воздѣйствіе на направленіе и ходъ событій. Пусть детерминисты говорятъ о тщетѣ горя и радости, негодованія и торжества при видѣ того или другого явленія въ непреоборимомъ естественномъ ходѣ вещей, — это горе и радость, это негодованіе и торжество тоже имѣютъ свои причины и играютъ свою роль въ естественномъ ходѣ вещей. Если меня бьютъ, такъ, вѣдь, я не могу удержаться на той «научной» или натуралистической точкѣ зрѣнія, что удары, мнѣ наносимые, суть слѣдствія извѣстныхъ причинъ. Не успокоится на этомъ и никакой детерминистъ: онъ будетъ отбиваться, ругаться, убѣжитъ, закричитъ отъ боли и злобы, — и всѣ эти дѣйствія будутъ вполнѣ законными, въ смыслѣ детерминизма, звеньями естественнаго хода вещей, обусловленнаго причинною связью явленій. Ну, а если бьютъ не меня, а другого, но эхо этихъ ударовъ больно отзывается въ моемъ сердцѣ? Ну, а если извѣстный, положимъ историческій процессъ, вполнѣ, конечно, естественный, потому что ничего неестественнаго нѣтъ и быть не можетъ, — грозно надвигается на моихъ соотечественниковъ или на какую-нибудь группу ихъ, готовясь ихъ раздавить? Ну, а если сердцу моему близки всѣ труждающіеся и обремененные всѣхъ временъ, всѣхъ странъ и народовъ? Во всѣхъ этихъ, постепенно расширяющихся, по объему захватываемыхъ ими интересовъ, случаяхъ, детерминизмъ не можетъ играть руководящей роли, потому что не даетъ основаній для нравственнаго суда надъ людьми и событіями и для сознательнаго воздѣйствія на ходъ вещей. Это и не его дѣло. Онъ удовлетворяетъ совершенно опредѣленной потребности человѣческой природы, потребности познанія, и заслуги его въ этомъ отношеніи достаточно велики, чтобы была какая-нибудь надобность незаконно расширять предѣлы его компетенціи подавленіемъ другихъ потребностей, которымъ оно удовлетворить, по самому существу своему, не можетъ. Такое незаконное расширеніе имѣетъ своимъ источникомъ либо односторонность ума, либо индифферентизмъ, равнодушіе, либо, наконецъ, то и другое вмѣстѣ. Что-же касается послѣдствій, то таковыми являются или слѣпой фатализмъ, или

тѣ сложныя душевныя драмы, о которыхъ мнѣ еще сравнительно недавно пришлось говорить по поводу романа Бурже «Ученикъ» и драмы Додэ «Борьба за существованіе» и о которыхъ я, поэтому, распространяться теперь не буду. Тогда-же были указаны и причины, по которымъ, благодаря особенностямъ новѣйшей французской исторіи, именно во Франціи должны были эти драмы получить особенно острый характеръ. Понятное дѣло, что и во Франціи односторонніе умы и равнодушные люди остаются въ сторонѣ отъ подобныхъ драмъ. Мало того, благодаря все тѣмъ-же особенностямъ исторіи, во Франціи больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, опошленный неумѣстнымъ примѣненіемъ детерминизмъ могъ распространиться, получивъ такихъ, такъ сказать, уличныхъ и въ своей уличности могущественныхъ пропагандистовъ и популяризаторовъ, какъ Зола и т. п. Вся улица, всѣ бульвары и кабачки узнали, что горевать и негодовать по поводу общественныхъ, нравственно-политическихъ дѣлъ и прать противу-рожна—неразумно, ибо все совершается по естественнымъ законамъ причинной связи. «Анатомія», «позитивный методъ» и прочіе жупелы чрезвычайно помогли дѣлу. Они санкціонировали равнодушіе и склонность плыть по теченію какъ въ тѣхъ, кто иначе и не умѣлъ и не хотѣлъ плавать, такъ и въ усталыхъ. А было отчего устать во Франціи! Но не только жизни, что на улицѣ. Да и на самой улицѣ не могли не отражаться болью, обидой и стыдомъ необычайныя несчастія, поражавшія Францію за послѣдніе два-три десятка лѣтъ вплоть до позора Панамы. И Седанъ, и все, что ему предшествовало и что за нимъ слѣдовало,—все это подробности естественнаго хода вещей, управляемаго закономъ причинной связи. Но ограничиваться регистраціей этихъ причинъ и слѣдствій, прежде всего, не «натурально», не въ натурѣ человѣка.

Боюсь, что читатель припишетъ мнѣ преувеличенное мнѣніе о вліяніи Зола съ его натурализмомъ и протоколизмомъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что вліяніе это было сильно, особенно въ литературныхъ кружкахъ, которые я теперь, главнымъ образомъ, имѣю въ виду. Но Зола, конечно, не одинъ вліялъ въ эту сторону; мало того, самъ онъ былъ лишь вульгарнымъ и вульгаризирующимъ отраженіемъ чужихъ мыслей и вліяній. Не говоря о другихъ, недавно умершіе Тэнъ и Ренанъ, въ формѣ, разумѣется, несравненно болѣе тонкой, осторожной и приличной, съ каѳедръ

и въ своихъ учено-литературныхъ произведеніяхъ разливали отраву неумѣстнаго детерминизма. Но и они въ свою очередь были лишь живымъ выраженіемъ извѣстнаго историческаго момента, продуктомъ разгрома всѣхъ идеаловъ, отъ котораго уцѣлѣлъ только идеалъ человѣка науки, безстрастно изслѣдующаго естественный ходъ вещей въ его причинной связи. Въ противоположность тому безшабашному самодовольству съ которымъ Зола предъявлялъ свой «скальпель анатома» и тому подобные якобы научные пустяки, сочиненія ихъ нерѣдко освѣщаются грустною, хотя подчасъ и кокетливою улыбкой разочарованія. Были, конечно, и другіе центральные очаги разочарованія, изъ которыхъ оно распространялось къ периферіи, гдѣ о наукѣ знали болѣе или менѣе только по наслышкѣ и относились къ ней съ платонической почтительностью.

Одною изъ точекъ этой периферіи былъ кабачокъ въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ собирались символисты. Ихъ интересовали преимущественно, а сначала, кажется, даже исключительно, вопросы художественной, и именно стихотворной формы. Во всемъ остальномъ они были не только не свѣдущи, но и не заинтересованы. Но и до нихъ разными, чисто-случайными путями достигали элементы общей смутной атмосферы. Тутъ была и вѣра въ науку, хотя бы въ кривомъ зеркалѣ золаизма, и фіаско соціально-экономическихъ и нравственно-политическихъ идеаловъ, разочарованіе въ нихъ и разочарованіе, наконецъ, въ самой наукѣ. Все это было очень смутно, запутано и отнюдь не однородно, за исключеніемъ, можетъ быть, одного пункта. Я уже отмѣтилъ въ прошлый разъ тяготѣніе разныхъ «новыхъ теченій» къ пессимистической мысли объ упадкѣ (décadence) Франціи и даже всего міра. Между символистами и были и есть убѣжденные католики, для которыхъ наука, по выраженію Поля Верлена, есть «убійца молитвы и пѣсни, и искусства». Для этихъ, по крайней мѣрѣ, отчасти было ясно, въ чемъ состоитъ «упадокъ», но затѣмъ упадокъ больше чувствовался, нежели понимался. И понятное дѣло, что эта увѣренность въ какомъ-то всеобщемъ упадкѣ, не подкрѣпленная ни знаніемъ, ни яснымъ сознаніемъ, открывала широкій просторъ для самыхъ дикихъ идей и совершенно произвольныхъ фантазій. Давно извѣстно, что во времена сильныхъ политическихъ пароксизмовъ, поражающихъ воображеніе, вселяющихъ и разбивающихъ большія надежды и опасенія,

число психическихъ растройствъ, равно какъ и самоубійствъ, значительно увеличивается. И любой изъ этихъ несчастныхъ безумцевъ могъ явиться въ среду символистовъ съ болѣе или менѣе серьезными шансами на успѣхъ своей безумной проповѣди. Въ такомъ-же благопріятномъ положеніи оказывался и любой шутникъ или самолюбецъ, мечтающій о послѣдователяхъ и ученикахъ, о собственной школѣ или сектѣ. А такихъ самолюбцевъ должно было много быть, такъ какъ на фонѣ всеобщаго упадка и полнаго отсутствія признанныхъ авторитетовъ особенно соблазнительно выскочить съ «новымъ словомъ», потому что, вѣдь, въ старыя слова извѣрились, или ихъ забыли, или просто не знаютъ ихъ.

Если во всемъ этомъ искать не какую-нибудь общую опредѣленную мысль, ясно сознанную,--такой нѣтъ въ этихъ новыхъ теченіяхъ,—а ту интимную и инстинктивную подкладку, въ которой такъ или иначе смутно отразились общее недовольство и общая потребность времени, то она окажется въ слѣдующемъ.

Человѣкъ со всѣми своими помыслами, чувствами и дѣйствіями составляетъ одно изъ звеньевъ цѣпи причинъ и слѣдствій. Но онъ участвуетъ въ этой цѣпи и какъ активный факторъ: онъ сознательно (пусть это будетъ иллюзія сознанія) становится самъ причиною извѣстнаго рода явленій, для чего ставитъ себѣ извѣстныя цѣли. Ученіе объ этихъ цѣляхъ, долженствующее обнимать всю область идеаловъ, личныхъ и общественныхъ, столь же необходимо, какъ и детерминизмъ, ученіе о причинной связи, съ которымъ оно должно быть приведено въ гармоническое объединеніе. Детерминизмъ отвѣчаетъ лишь разуму, потребности познанія; поэтому, при исключительномъ его господствѣ, остальные два элемента душевной жизни—чувство и воля—остаются безъ удовлетворенія, жизнь тускнѣетъ, вянетъ, обезцвѣчивается. Такъ что *въ этомъ смыслѣ* символисты (и не одни они, конечно) совершенно правы, говоря объ изсушающемъ жизнь вліяніи науки. Но въ своемъ чистомъ видѣ это случай отвлеченно-гипотетическій. Въ дѣйствительности мы видимъ лишь бо̀льшую или меньшую односторонность. Въ дѣйствительности само изученіе причинной связи явленій можетъ стать цѣлью жизни, возбуждая своего рода радости и печали и могущественно направляя волю. Это случай весьма возможный и даже сравнительно нерѣдкій въ области естествознанія. Не то въ области вопросовъ нравственно-

политическихъ. Здѣсь чувство и воля лишь въ видѣ уродства могутъ удовлетвориться самымъ процессомъ познанія, и, пожалуй, благо такому уроду лично, ибо въ противномъ случаѣ придавленные въ немъ элементы жестоко мстятъ за себя. Этою местью окрашены иногда цѣлыя эпохи, когда, вслѣдствіе отсутствія равновѣсія между разумомъ, чувствомъ и волей, жизнь утрачиваетъ смыслъ, когда цѣлымъ обществомъ овладѣваетъ атмосфера безцѣльности существованія. Для такого удрученнаго положенія нѣтъ надобности, чтобы всѣ и каждый ясно сознавали, въ чемъ состоитъ бѣда: бѣда въ воздухѣ носится, какъ невидимая зараза, и минуетъ лишь тѣхъ, конечно, очень многочисленныхъ, кто живетъ изо дня въ день исключительно животною жизнью. Всѣми же остальными либо неисходная, хотя бы и совершенно безпредметная, тоска овладѣваетъ, либо жажда, хотя бы безсознательная, исхода. А исходъ одинъ: нужны такія цѣли, такіе идеалы, которые, возбуждая нравственное чувство, давая ему мѣрило добра и зла, направляли бы человѣка къ дѣятельному участію въ торжествѣ добра и, въ то же время, находились бы въ полномъ согласіи съ уровнемъ положительнаго знанія въ данный историческій моментъ.

Разные люди ищутъ этого выхода, въ томъ числѣ и символисты; ищутъ въ значительной степени безсознательно, легко попадая въ руки безумцевъ и простыхъ самолюбцевъ. Констатируя въ настоящемъ какой-то для нихъ самихъ неясный «упадокъ», они съ завистью обращаются къ прошлому, прежде всего къ среднимъ вѣкамъ. Я уже упоминалъ, что въ числѣ символистовъ есть не мало католиковъ и, кажется, большею частью воспитанниковъ іезуитскихъ школъ. Уже одно это обстоятельство направляетъ ихъ мысль къ эпохѣ полнаго безраздѣльнаго господства католицизма. Но и помимо заложенныхъ еще въ дѣтствѣ духовныхъ сѣмянъ, всякій постоянный наблюдатель, совершенно даже отрицательно относящійся къ средневѣковой жизни, долженъ признать за ней извѣстную полноту и цѣльность, завидную для нашихъ надломанныхъ, надтреснутыхъ современниковъ. Люди тогда не колебались жить и умирать ради того, что считали святымъ; они не сомнѣвались въ немъ мыслью, тяготѣли къ нему чувствомъ и почерпали въ немъ руководящее начало для своей дѣятельности; теоретическая истина, практическая мораль и непосредственная дѣятельность сливались въ одинъ аккордъ; человѣкъ жилъ *весь*, цѣликомъ, безъ внутренняго разлада. Нельзя ли вернуться

къ этой цѣльности съ полною неприкосновенностью ея догматовъ и формъ? Нѣкоторые думаютъ, что можно, что это только вопросъ времени и энергіи. Эти для насъ неинтересны. Не будемъ мы также разсматривать здѣсь всѣ попытки примиренія католицизма съ пріобрѣтеніями позднѣйшихъ временъ въ области науки и политической практики. Послѣдняя очень мало занимаетъ символистовъ, они больше въ высотахъ теоріи витаютъ, и здѣсь ихъ мысль выкидываетъ поистинѣ удивительные курбеты.

Отъ среднихъ вѣковъ символистовъ тянетъ еще дальше въ глубь исторіи,—кого къ «первоначальной и вѣчной мудрости Востока» вообще, кого къ древней Ассиріи, Индіи, Египту. И въ этомъ есть свои резоны. Можно, конечно, говорить въ общихъ чертахъ и въ краткой формулѣ, особенно въ стихахъ, что наука есть «убійца молитвы и пѣсни, и искусства». Но самый фанатическій католикъ не можетъ отрицать гигантскихъ пріобрѣтеній науки,—они на лицо, и связать ихъ съ устарѣлыми догматами, повидимому, нѣтъ никакой возможности. Однако, относительно, по крайней мѣрѣ, одной группы этихъ пріобрѣтеній «новыя теченія» нашли такую возможность. Это именно группа опытовъ, наблюденій и изслѣдованій по гипнотизму и связаннымъ съ нимъ психо-физіологическимъ явленіямъ. Работы эти, уже теперь многое освѣтившія, имѣютъ несомнѣнно блестящую будущность, но пока въ нихъ есть еще не мало спорнаго и непровѣреннаго. Торопливые умы не хотятъ этого знать, а умы недисциплинированные и фантастическіе мечтаютъ уже о возрожденіи магіи. Ученіе о гипнотизмѣ освѣщаетъ, между прочимъ, нѣкоторыя мрачныя страницы средневѣковой исторіи. Но, вмѣстѣ того, чтобы признать, что, напримѣръ, разныя вѣдьмы и колдуньи, сознавшіяся въ своихъ сношеніяхъ съ дьяволомъ, были истерички и жертвы внушенія, фантастическіе умы склонны, наоборотъ, въ истеріи и гипнозѣ видѣть участіе дьявола и его могущественныхъ служителей—маговъ. Въ упомянутомъ романѣ Гюисманса «Là-Bas» есть чрезвычайно интересныя въ этомъ отношеніи страницы. Но, очевидно, незачѣмъ останавливаться на среднихъ вѣкахъ: вся средневѣковая магія была, можетъ быть, только наслѣдницей и, во всякомъ случаѣ, преемницей магіи, «тайнаго знанія» древняго Востока, куда, значитъ, и слѣдуетъ обращаться, какъ къ источнику «первоначальной и вѣчной мудрости». Но это были, всетаки, знанія, хотя и тайныя, своего рода наука, которую, по крайней

мѣрѣ, избранные могутъ и теперь изучать. Отсюда двойственное отношеніе къ наукѣ: съ одной стороны презрѣніе и недовольство, а съ другой—непомѣрныя надежды на нее, образцы которыхъ мы уже видѣли.

Я приведу еще примѣръ, нѣсколько отличный. Въ 1891 г. въ Парижѣ вышла книжка, подписанная псевдонимомъ «Princesse Sapho», подъ заглавіемъ: «Le tutu. Moeurs fin de siècle. Avec une planche de musique céleste et une composition symbolique de Binet». Это настоящій бредъ безумца и, при томъ, верхъ мерзости, превосходящей всякое описаніе. Не то чтобы онъ отличался скабрезнымъ, эротическимъ характеромъ, — напротивъ, этотъ элементъ сравнительно слабъ въ книгѣ, а переполнена она разными нечистоплотностями, въ числѣ которыхъ чуть не на каждой страницѣ фигурируютъ твердыя и жидкія испражненія, рвота и т. п. Нельзя читать безъ омерзѣнія эту ерунду, но по временамъ нельзя и не улыбнуться. Вслѣдствіе разныхъ удивительныхъ обстоятельствъ, оказывается надобность, чтобы у героя разсказа появилось молоко въ грудяхъ,—онъ долженъ кормить ребенка. Операцію эту очень легко устраиваетъ знаменитый ученый Мессе-Малу, при помощи впрыскиванія млекотворныхъ вибріоновъ. Чтобы опредѣлить, куда именно должно быть произведено впрыскиваніе, Мессе-Малу внимательно разсматриваетъ большой палецъ героя, бормоча при этомъ слѣдующія якобы «латинскія и научныя слова»: «Région précordiale du molossos gringatoire... stirpfiriques golgomerps... carbonate d'amphibole... acrobate de porphyre... clitoria ternata... bismuth végétal». Потомъ великій ученый велитъ подать себѣ «наваръ децильоннаго разведенія въ 44 градуса южной долготы» и производитъ впрыскиваніе. Въ ожиданіи, пока операція окажетъ свое дѣйствіе, онъ отправляетъ паціента погулять въ саду. Въ саду этомъ много рѣдкостей, изъ которыхъ мы остановимся только на одной. Ученый Мессе-Малу, на основаніи нѣкоторыхъ теоретическихъ соображеній, выростилъ дерево «l'homme-mier»,—дерево, на которомъ растутъ люди, какъ яблоки на яблонѣ. Въ объясненіе текста приложена картинка (она-то и есть обѣщанная въ заглавіи composition symbolique). На вѣткахъ дерева висятъ прикрѣпленные особыми отростками къ темени люди; тутъ есть ребенокъ, взрослый китаецъ въ соотвѣтственномъ костюмѣ, съ длинными усами и косой, какое-то безголовое туловище молодая дѣвушка въ модномъ костюмѣ и съ вѣеромъ въ

рукахъ, молодой человѣкъ въ пиджакѣ, курящій трубку, еще какіе-то люди. Въ текстѣ поясняется, что люди эти разныхъ національностей, а для полноты коллекціи прибавлены еще слѣпой, глухонѣмой и безголовый. Всѣ эти плоды человѣчьяго дерева выращены ученымъ Мессе-Малу такимъ образомъ: онъ собралъ множество половыхъ органовъ («и Боже! какою цѣной они мнѣ достались!»—восклицаетъ великій ученый), закопалъ ихъ въ землю и погрузилъ въ нихъ корни кипариса,—и вотъ результатъ! Удерживаюсь отъ невозможныхъ для передачи подробностей...

Да не подумаетъ читатель, что это какая-нибудь пародія или вообще шутка. Нѣтъ кто прочтетъ эту невообразимо нелѣпую книжку, тотъ убѣдится, что это настоящій бредъ сумашедшаго, который отнюдь не думаетъ шутить. И какъ ни нелѣпы надежды, возлагаемыя «княгиней Сафо» на науку, онѣ, всетаки, сообразнѣе съ обликомъ науки, чѣмъ «флюидическіе кулаки», барабанящіе по головѣ Гюисманса, невидимая драка между Ліономъ и Парижемъ, «домашній духъ» Гюаиты, астральныя похожденія Пеладана и проч. Ученый Мессе-Малу предъявляетъ извѣстную теорію, на основаніи которой и дѣйствуетъ. Теорія эта нелѣпа, но она не выходитъ изъ предѣловъ естества, и всякій можетъ ее провѣрить, если бы нужна была такая провѣрка. Тѣ же господа обладаютъ какимъ-то «тайнымъ» знаніемъ, доступнымъ лишь избраннымъ, или ищутъ таковаго и желаютъ обратить въ тайну ученіе о гипнотизмѣ, когда все въ немъ явно и ни малѣйше не колеблетъ установившихся въ наукѣ понятій о законахъ природы. Реагируя противъ злоупотребленія детерминизмомъ, точнѣе говоря, противъ неумѣстнаго его примѣненія, смутная мысль представителей «новыхъ теченій», по выраженію одного изъ дѣйствующихъ лицъ Гл. Успенскаго, «не туда, не въ то мѣсто попадаетъ». Можно завидовать цѣльности и полнотѣ древней жизни, не расколотой сомнѣніями и колебаніями. Можно и должно желать такой же цѣльности и для насъ, но это можетъ быть достигнуто лишь на почвѣ объединенія нашихъ теперешнихъ знаній о природѣ вещей, нашихъ нравственныхъ идеаловъ и нашей практической дѣятельности. Мистицизмъ, тяготѣніе къ тайнѣ во что бы то ни стало, даже тамъ, гдѣ ровно никакой тайны нѣтъ, конечно, тутъ не поможетъ. Символисты поняли или почувствовали, что нельзя жить однимъ детерминизмомъ, но стали подкапываться подъ него съ такой стороны, съ которой онъ рѣшительно неуязвимъ.

Въ своихъ мало сознательныхъ поискахъ цѣльной, гармонической жизни всѣмъ существомъ, всѣми доступными человѣку сторонами жизни, символисты или вообще «новыя теченія» «невъ то мѣсто попадаютъ» еще на одномъ, крайне любопытномъ пунктѣ. Его-то, кажется, и имѣетъ въ виду г. Мережковскій, говоря о «расширеніи художественной впечатлительности», какъ объ одной изъ заслугъ символизма.

Представители новыхъ теченій очень любятъ слово «синтезъ» которое фигурируетъ въ ихъ писаніяхъ почти такъ же часто, какъ и слово «символъ». Саръ Пеладанъ писалъ Жюлю Гюре: «Вы спрашиваете, что такое магизмъ? Это—высшая культура, синтезъ, предполагающій всѣ анализы, высшій результатъ сочетанія гипотезы съ опытомъ, верховенство ума и вѣнецъ науки, соединенной съ искусствомъ». Поль Аданъ, когда-то ярый послѣдователь натурализма, за излишнюю протокольность скабрезнаго характера подвергшійся даже судебному преслѣдованію, а теперь магъ, собственными глазами видѣвшій «домашняго духа» въ шкафу у Станислава Гюаита, говорилъ тому же Гюре: «натуралисты» и «психологи» занимались анализомъ, а символистамъ предстоитъ построить синтезъ. Признанный теоретикъ новыхъ теченій, Шарль Морисъ, говоритъ въ своей книгѣ «La littérature de tout à l'heure»: «Въ глубинѣ души молодыхъ поэтовъ лежитъ жажда **всего**; эстетическій синтезъ—вотъ чего они ищутъ». И въ другомъ мѣстѣ той же книги: «современная литература синтетична; она мечтаетъ *воздѣйствовать на всего человѣка всѣмъ искусствомъ*» (и жирный шрифтъ, и курсивъ принадлежатъ Морису).

Всякій синтезъ есть соединеніе или возсоединеніе разрозненныхъ элементовъ въ одно цѣлое. И на основаніи всего вышеизложеннаго можно было бы думать, что символисты предоставляютъ искусству дѣйствительно высокую миссію. Искусство непосредственно имѣетъ дѣло съ эстетическимъ чувствомъ, и нѣкоторые думаютъ тѣмъ и ограничить его задачи. Я думаю, что такое ограниченіе не только не законно въ теоретическомъ смыслѣ, но и не возможно на практикѣ. Мы не будемъ, однако, на этомъ останавливаться, такъ какъ рѣчь у насъ идетъ о символистахъ, а они желаютъ воздѣйствовать путемъ искусства на «всего человѣка». «Весь человѣкъ»,—эта формула, вѣдь, обнимаетъ и разумъ, и нравственное чувство, и практическую дѣятельность, и, слѣдовательно, символисты желаютъ, чрезъ посред-

ство эстетической эмоціи, воздѣйствовать на всѣ эти элементы. Въ этомъ состоитъ ихъ «синтезъ». Въ смутномъ видѣ такая постановка вопроса о задачахъ искусства, дѣйствительно, пробивается кое-гдѣ въ писаніяхъ символистовъ, но именно въ очень смутномъ видѣ, въ крайне туманныхъ выраженіяхъ, которыя вообще свойственны представителямъ «новыхъ теченій». Однако, эта смутная, находящаяся, такъ сказать, въ зародышевомъ состояніи мысль неожиданно подмѣняется другою, не имѣющею съ нею ничего общаго, но чрезвычайно характерною и до извѣстной степени уже практикуемою символистами.

Читатель благоволитъ припомнить нѣкоторыя отмѣтки, мимоходомъ сдѣланныя мною еще въ прошлый разъ. Такъ, я обращалъ вниманіе читателей на пристрастіе новыхъ поэтовъ къ слову «chair» въ смыслѣ тѣла, въ тѣхъ случаяхъ, когда старый поэтъ сказалъ бы «corps». Это одинъ изъ образчиковъ «расширенія художественной впечатлительности»: слово «corps», тѣло, внушаетъ мысль только о формѣ, тогда какъ слово «chair», мясо, гораздо болѣе слабое по отношенію къ формѣ, но вызывающее, всетаки, и зрительное впечатлѣніе, говоритъ и другимъ чувствамъ. Конечно, это только мое личное объясненіе, но оно находится въ полномъ согласіи съ другими фактами, изъ которыхъ мы въ прошлый разъ отмѣтили пристрастіе Метерлинка къ характеристикѣ идей, чувствъ, отношеній эпитетами, заимствованными изъ области цвѣтовыхъ ощущеній,—«голубая бездѣятельность», «желтыя стрѣлы сожалѣнія» и проч. Согласуется оно и съ вышеприведеннымъ признаніемъ Артура Рембо въ «Алхиміи слова»: онъ надѣялся «изобрѣсти поэтическое слово, которое рано или поздно было бы доступно *всѣмъ* чувствамъ».

Къ этому можно было бы прибавить еще многое. Такъ, Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпный въ письмѣ къ Жюлю Гюре изложилъ на своемъ удивительномъ языкѣ слѣдующую теорію: «Въ поэтической религіи душа есть арфистъ, арфу котораго представляетъ собою тѣло. Это пятиструнная арфа. Щипните одну изъ струнъ и вы получите эгоистическій и односторонній голосъ въ пустынѣ; троньте всѣ пять струнъ — и вотъ экспансивная любовь, вотъ симфонія... Органически говоря, поэтъ можетъ, слѣдовательно, быть сравниваемъ съ высшею арфой, обращающеюся къ маленькимъ арфамъ народовъ... Поэзія, синтезъ различныхъ искусствъ, есть единовременно *вкусъ*, *запахъ*, *звукъ*, *свѣтъ*, *форма*.. Поэти-

ческое произведеніе есть пятигранная призма—sapide-odorante-sonore-visible-tangible». Какъ ни исключительно своеобразна на первый взглядъ теорія Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпнаго, она лишь съ наглядною грубостью излагаетъ интимную руководящую мысль большинства символистовъ, на какія бы секты и подсекты они не раздѣлялись. Всѣ символисты, маги, инструментисты, маньифики исповѣдуютъ необыкновенное почтеніе къ Рихарду Вагнеру, собственно за «синтезъ» музыки, поэзіи и сценическаго искусства. Нѣкоторые привѣтствуютъ попытки раскрашиванія статуй, опять-таки, какъ синтезъ скульптуры и живописи. Но наиболѣе распространена тенденція къ сліянію поэзіи съ звуковыми и цвѣтовыми ощущеніями. Поль Верленъ требуетъ отъ стиховъ «музыки прежде всего». Рене Гиль пишетъ: «Для выраженія извѣстнаго состоянія духа нужно заботиться не о точномъ лишь значеніи слова, о чемъ до сихъ поръ только и думали; эти слова должны выбираться съ точки зрѣнія ихъ звучности, такъ чтобы ихъ цѣлесообразное, разсчитанное сочетаніе давало математическій эквивалентъ того музыкальнаго инструмента, который былъ бы пущенъ въ ходъ въ оркестрѣ для выраженія даннаго состоянія духа». Но слова, фразы, образы, картины должны быть подчинены не звуковымъ только ощущеніямъ, а и ощущеніямъ цвѣта. Недаромъ Артуръ Рембо «изобрѣлъ» цвѣтныя гласныя, недаромъ Метерлинкъ характеризуетъ извѣстныя состоянія духа эпитетами «голубой», «бѣлый», «зеленый» и т. д. Приведенное мною въ прошлый разъ стихотвореніе Метерлинка о «бѣлыхъ павлинахъ» представляетъ собою полное осуществленіе этой двойственной программы. Тутъ и обиліе носовыхъ звуковъ, и неумѣренно повторяющееся слово «бѣлый» пущены въ ходъ съ намѣреніемъ вызвать извѣстное настроеніе при помощи звуковыхъ и цвѣтовыхъ ощущеній. Стихотвореніе не имѣетъ рѣшительно никакого смысла, но не въ смыслѣ и дѣло въ подобныхъ произведеніяхъ.

Читатель теперь видитъ, въ чемъ состоитъ «синтезъ» символистовъ и какъ они понимаютъ «воздѣйствіе *всего* искусства на *всего* человѣка». «Весь человѣкъ» для нихъ отнюдь не значитъ существо мыслящее, чувствующее и дѣйствующее, а существо слышащее, видящее, обоняющее, осязающее и вкушающее. Такимъ образомъ, дѣйствительная и настоятельная потребность въ объединеніи науки, нравственныхъ идеаловъ и практической дѣ-

ятельности подмѣнивается фантастическою задачей, касающеюся, главнымъ образомъ, если не исключительно, художественной техники. Какія слова употреблять и какъ ихъ располагать надо для надлежащаго художественнаго эффекта,—таковъ главный предметъ заботъ символистовъ. Отсюда эта утомительная вымученность языка, пріискиваніе рѣдкихъ, старинныхъ или вновь сочиненныхъ выраженій, непонятные обороты рѣчи, эквилибристика версификаціи. Но я назвалъ задачу символистовъ не только техническою, а и фантастическою, и это послѣднее можетъ показаться несправедливымъ. Въ самомъ дѣлѣ, техника искусства, вѣдь, не сказала своего послѣдняго слова, да и когда же она его скажетъ? Поэтому и задача символистовъ, при всей своей узости, можетъ имѣть свое значеніе. Это не новое міровоззрѣніе и тѣмъ паче не новая религія, какъ гордо мечтаютъ нѣкоторые символисты, не какая-нибудь новая формула, обнимающая «всего человѣка» единымъ принципомъ; но это, можетъ быть, дѣйствительно «расширеніе художественной впечатлительности» и выработка соотвѣтственныхъ техническихъ пріемовъ.

Лоранъ Тальядъ мистифицировалъ, по его словамъ, податливые умы посѣтителей кабачка въ Латинскомъ кварталѣ разными разностями, въ томъ числѣ цвѣтными гласными. Можетъ быть, дѣйствительно мистифицировалъ, но «изобрѣлъ» цвѣтныя гласныя не онъ, а Артуръ Рембо. Такъ говоритъ самъ Рембо. Можетъ быть, дѣйствительно изобрѣлъ, то-есть своимъ умомъ дошелъ, но дѣло въ томъ, что цвѣтныя гласныя представляютъ собою несомнѣнный научный фактъ, хотя и не вполнѣ разработанный.

Когда мы говоримъ: «черная неблагодарность», «розовыя надежды», «зеленая молодежь« и т. п., то вполнѣ понимаемъ другъ друга, хотя-бы и не получали при этомъ впечатлѣнія чернаго, розоваго, зеленаго цвѣта. Эти эпитеты издавна срослись въ общемъ сознаніи съ опредѣляемыми ими предметами, такъ что никому и въ голову не приходитъ спросить себя: почему собственно неблагодарность — черная, а надежда — розовая? Что касается «зеленой молодежи», то это дѣло, вѣроятно, простой аналогіи съ весеннею растительностью, но черная неблагодарность и розовая надежда имѣютъ, можетъ быть, гораздо болѣе глубокій смыслъ. Мы когда-нибудь въ другой разъ остановимся на этомъ любопытномъ предметѣ. а теперь съ насъ достаточно знать, что тщательными опытами дознано извѣстное постоянное соотношеніе между

ощущеніемъ даннаго цвѣта и общимъ душевнымъ состояніемъ. Возможно поэтому, что ассоціація идей чернаго цвѣта и неблагодарности, розоваго цвѣта и надежды — не есть что-нибудь условное, а коренится въ реальной связи представленій чернаго и розоваго цвѣта, съ одной стороны, и состоянія духа, вызываемаго неблагодарностью и надеждой — съ другой. Возможны, однако, подобныя же ассоціаціи идей и совершенно случайнаго и, такъ сказать, индивидуальнаго характера. Если, положимъ, ребенокъ былъ испуганъ собакой, сбившей его съ ногъ лицомъ въ траву, зеленый цвѣтъ которой бросился ему въ ту минуту въ глаза, то это впечатлѣніе зеленаго цвѣта можетъ прочно и навсегда ассоціироваться въ его мозгу съ представленіемъ опасности. Но мы, не пережившіе такого случая, конечно, не поймемъ его, когда онъ будетъ намъ говорить о «зеленой опасности». Подобныя же сочетанія, какъ общія для всѣхъ нормальныхъ людей, такъ и случайныя, возможны и въ области другихъ чувствъ: слуха, осязанія, обонянія, вкуса. Это отражается и въ вѣковыхъ напластованіяхъ человѣческаго языка, въ которыхъ утверждаются, кромѣ того, еще и сочетанія слова, основанныя исключительно на аналогіи и метафорѣ. Возьмемъ, напримѣръ, два общеупотребительныя шекспировскія выраженія: «мохнатое сердце» и «ревность — чудовище съ зелеными глазами». Во-первыхъ, сердце, то духовное сердце, которое тутъ подразумѣвается, находится не въ анатомическомъ сердцѣ, а въ мозгу; во-вторыхъ, и анатомическое сердце не можетъ быть мохнато. Однако, мы не только отлично понимаемъ, что значитъ мохнатое сердце, но справедливо видимъ въ этомъ выраженіи отблескъ шекспировскаго генія, метафорически перенесшаго звѣриную шкуру на сердце жестокаго человѣка; зрительное и осязательное ощущенія мохнатости тутъ совсѣмъ не при чемъ, но ассоціація идей для насъ понятна. Что же касается «чудовища съ зелеными глазами», то понять это выраженіе несравненно труднѣе. Оно, по всей вѣроятности, есть результатъ случайной, индивидуальной ассоціаціи идей, который мы принимаемъ, такъ сказать, въ кредитъ, на вѣру къ генію Шекспира. Скажи это не Шекспиръ, а Метерлинкъ или Рембо, «чудовище съ зелеными глазами», навѣрное, не вошло бы въ нашъ разговорный обиходъ. Капризность и неуловимость нѣкоторыхъ ассоціацій представленій съ цвѣтовыми и иными ощущеніями хорошо очерчена гр. Л. Н. Толстымъ въ «Войнѣ и мирѣ».

Наташа Ростова разговариваетъ съ матерью о влюбленномъ въ нее Борисѣ Друбецкомъ:

«—Онъ очень милъ, очень, очень милъ! Только не совсѣмъ въ моемъ вкусѣ,—онъ узкій такой, какъ часы столовые... Вы не понимаете?... Узкій, знаете, сѣрый, свѣтлый...

«—Что ты врешь!—сказала графиня.

«Наташа продолжала:

«—Неужели вы не понимаете? Николинька бы понялъ... Безуховъ—тотъ синій, темно-синій, съ краснымъ, и онъ четвероугольный.

«—Ты и съ нимъ кокетничаешь,—смѣясь, сказала графиня.

«—Нѣтъ, онъ франмасонъ, я узнала. Онъ славный, темно-синій съ краснымъ, какъ вамъ растолковать?...»

Читая этотъ разговоръ не въ отрывкѣ, а въ самомъ текстѣ, въ связи съ остальными чертами характера Наташи, ясно чувствуешь всю правдивость сцены: Наташѣ, дѣйствительно, Борисъ представляется чѣмъ-то сѣрымъ, свѣтлымъ и узкимъ, похожимъ на столовые часы, а Безуховъ —четвероугольнымъ и темно-синимъ съ краснымъ; Николинька, дѣйствительно, можетъ быть, понялъ бы это, но старая графиня, а вмѣстѣ съ нею и читатель, не понимаетъ, и сама Наташа имъ этого растолковать не можетъ. Изъ подобныхъ комбинацій наиболѣе изучаемы были явленія цвѣтного слуха. У нѣкоторыхъ людей всю жизнь, у нѣкоторыхъ, повидимому, въ періоды особеннаго возбужденія, извѣстные звуки, кромѣ слухового ощущенія, вызываютъ еще зрительное, при томъ всегда одно и то же, то-есть всегда соотвѣтствующее данному звуку, но у одного звукъ *а* всегда ассоціируется, положимъ, съ ощущеніемъ чернаго цвѣта, у другого же всегда вызываетъ ощущеніе голубого цвѣта. Знаменитый сонетъ Артура Рембо, можетъ быть, и очень точно передающій его собственныя ощущенія, вовсе не обязателенъ для всѣхъ, обладающихъ цвѣтнымъ слухомъ.

Всѣ эти бѣглыя замѣчанія не имѣютъ, разумѣется, ни малѣйшей претензіи исчерпать вопросъ. Но они могутъ дать нѣкоторый намекъ на крайнюю сложность и разнообразіе той области, въ которую пускаются плохо вооруженные символисты подъ знаменемъ «воздѣйствія всего искусства на всего человѣка». Они желаютъ имѣть дѣло не съ самыми явленіями, а лишь съ тѣмъ настроеніемъ, которое вызывается въ нихъ явленіями. Въ принципѣ и въ теоріи они предполагаютъ достигать этого воздѣйствіемъ на всѣ органы чувствъ единовременно. Говорю—въ прин-

ципѣ и въ теоріи, потому что на дѣлѣ они до сихъ поръ ограничиваются, главнымъ образомъ, слухомъ и затѣмъ зрѣніемъ. Точный смыслъ словъ не имѣетъ при этомъ для нихъ никакого значенія. Талантливый писатель можетъ и теперь, установившимися въ искусствѣ пріемами, изобразить, скажемъ, конюшню такъ, что воспріимчивый читатель легко представитъ себѣ и видъ конюшни, и масть, и ржаніе лошадей, и топотъ копытъ, и запахъ навоза и проч. Для символистовъ этого, съ одной стороны, слишкомъ много, а съ другой — слишкомъ мало. Для нихъ важенъ не точный смыслъ словъ,—не нужно, пожалуй, даже слова «конюшня»—а такой ихъ выборъ и расположеніе, чтобъ они обдавали читателя сразу всѣми красками, звуками, запахами конюшни. Не смотря на почтеніе всѣхъ символистовъ къ вагнеровскому «синтезу» музыки, поэзіи и сценическаго искусства, они имъ удовлетвориться не могутъ. Марсельеза, какъ литературное произведеніе, и та же марсельеза, какъ пѣсня, какъ произведеніе музыкальное, вполнѣ гармонируютъ между собой, но символистамъ нужно не такое сотрудничество поэзіи и музыки, а сліяніе различныхъ искусствъ въ составѣ самой поэзіи. И въ этомъ заключается фантастичность ихъ предпріятія.

Въ стихотвореніи Метерлинка «Скука» какіе-то «беззаботные павлины, бѣлые павлины улетѣли отъ скуки пробужденія» (les paons nonchalents, les paons blancs ont fui, les paons blancs ont fui l'ennui du réveil), а потомъ авторъ «слышитъ, какъ бѣлые павлины, павлины скуки, безпечно ожидаютъ временъ безъ солнца» (j'entends les paons blancs, les paons d'ennui, attendre indolents les temps sans soleil); тутъ же фигурируетъ «прудъ безъ солнца» (l'étang sans soleil). Въ этомъ нѣтъ никакого смысла, просто наборъ словъ, но это не бредъ сумасшедшаго, какъ думаетъ Максъ Нордау, слишкомъ обобщая нѣкоторыя несомнѣнно болѣзненныя явленія символистской литературы. Это—безсмыслица сознательная, планомѣрная. Метерлинкъ ищетъ такихъ звуковъ (даже не словъ) и такого ихъ расположенія въ ритмическихъ строчкахъ, чтобъ они внушали читателю настроеніе скуки, и достигаетъ этого однообразіемъ носовыхъ звуковъ—quasi-музыкой усиливаетъ quasi-поэзію. Стихотвореніе это непереводимо на иностранные языки, потому что въ результатѣ такого перевода останется только безсмыслица содержанія, а комбинація носовыхъ звуковъ, свойственныхъ французскому языку, пропадетъ. Но по задачѣ

своей оно и не нуждается въ переводѣ, потому что входящія въ его составъ слова и для французовъ не имѣютъ самостоятельнаго значенія. «Прудъ безъ солнца» (l'étang sans soleil) и «времена безъ солнца» (les temps sans soleil) звучатъ по-французски совершенно одинаково, ничѣмъ не отличаются на слухъ, но не имѣютъ смысла ни по-французски, ни по-русски, ни по-каковски. Авторъ «слышитъ», какъ чего-то ожидаютъ бѣлые павлины. Слышать этого нельзя, — ожиданіе можетъ сопровождаться звуками, но само по себѣ оно предполагаетъ, напротивъ, тишину; можно, пожалуй, видѣть чего-то ожидающихъ павлиновъ, но если бъ авторъ сказалъ je vois, вмѣсто j'entends, то у него пропало бы цѣлыхъ два носовыхъ звука, а онъ ихъ-то именно и набираетъ для своего словесно-музыкальнаго синтеза. Талантливые поэты всѣхъ временъ и народовъ инстинктивно выбираютъ въ своемъ родномъ языкѣ слова, звуковой составъ которыхъ болѣе или менѣе соотвѣтствуетъ характеру изображаемаго предмета или чувства. Для примѣра, который пригодится намъ еще и въ другомъ отношеніи, вспомнимъ некрасовскія строки:

«Идетъ-гудетъ зеленый шумъ,
Зеленый шумъ, весенній шумъ».

Въ самыхъ звукахъ этихъ строкъ слышится какъ бы гудѣніе просыпающагося лѣса, и понятно, что эта сторона стихотворенія, столь выразительная для русскаго уха, пропадетъ въ переводѣ. Не помню, въ какой нѣмецкой книжкѣ я читалъ забавныя соображенія о странностяхъ русскаго языка. Нѣмецъ удивлялся, что такому страшному звѣрю, какъ Bär, русскіе дали такое нѣжное названіе, какъ Medwied, а такое нѣжное чувство, какъ ich liebe, выражаютъ такимъ грубымъ словомъ, какъ liubliu. Неудивительно поэтому, что иностранцы не оцѣнятъ звуковой красоты стихотворенія Некрасова, но и для нихъ понятна будетъ красота описанія и самая мысль стихотворенія. Что же касается стихотворенія Метерлинка, то надо еще доказать, что французскому уху оно дѣйствительно внушаетъ идею или настроеніе скуки, а затѣмъ и въ этомъ случаѣ оно имѣетъ исключительно мѣстное значеніе. Если бы великіе поэты такъ писали, то Шекспиръ, Гёте, Байронъ и проч. не были бы всемірнымъ достояніемъ.

Но этого мало. Метерлинкъ пытается сказать что-то о скукѣ не только нашему уху нагроможденіемъ носовыхъ звуковъ, но и

нашему глазу образомъ бѣлыхъ павлиновъ. Подобную же попытку можно усмотрѣть, пожалуй, и въ *«зеленомъ* шумѣ» Некрасова. Но вотъ въ чемъ разница. Некрасовъ дѣлаетъ къ заглавію *Зеленый шумъ* подстрочное примѣчаніе: «Такъ народъ называетъ пробужденіе природы весной». Однако, и безъ такого поясненія вездѣ, гдѣ есть весна и лѣсъ, «зеленый шумъ» былъ бы вполнѣ понятенъ, и, при томъ, не только организаціямъ, обладающимъ цвѣтнымъ слухомъ, а всѣмъ, кто способенъ получать ощущенія зеленаго цвѣта и лѣсного шума. А что такое бѣлый павлинъ по прикосновенности къ скукѣ? Это тайна Метерлинка, для котораго, вслѣдствіе какихъ-то неизвѣстныхъ намъ личныхъ, случайныхъ обстоятельствъ, эти два представленія ассоціировались, а намъ, читателямъ, образъ бѣлаго павлина рѣшительно ничего не говоритъ о скукѣ. Такимъ образомъ, вмѣсто воздѣйствія всего искусства на всего человѣка, мы получаемъ пустое мѣсто, отсутствіе всякаго воздѣйствія: съ нами говорятъ языкомъ, претендующимъ обращаться ко всѣмъ нашимъ чувствамъ, а на дѣлѣ никому, кромѣ говорящаго, непонятнымъ, если только еще и самъ онъ его понимаетъ.

Цвѣтной слухъ, равно какъ и другія комбинаціи и трансферты нашихъ внѣшнихъ чувствъ несомнѣнно существуютъ, какъ психофизіологическій фактъ, и, въ извѣстныхъ предѣлахъ, поэзія всегда пользовалась имъ, какъ дополнительнымъ техническимъ средствомъ. Можно думать о расширеніи этихъ предѣловъ, но никоимъ образомъ нельзя согласиться на пожраніе тучныхъ коровъ тощими, на поглощеніе мысли поэтическаго произведенія звуками, красками, запахами, вкусами. Если же мы присутствуемъ при такомъ поглощеніи въ твореніяхъ символистовъ, то это не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ «расширилась художественная впечатлительность», а потому, что оскудѣла область высшихъ комбинацій — область мысли, чувства, воли. Ощущенія, даваемыя органами зрѣнія, слуха, осязанія, обонянія и вкуса, — это, вѣдь, низшія ступени душевной жизни, находящіяся на границѣ физіологіи и психологіи, и уже одно то характерно, что символисты такъ упорно засиживаются на этихъ низшихъ ступеняхъ. Это еще не значитъ, что намъ грозитъ «вырожденіе» человѣческой расы вообще или французской въ частности. Несомнѣнно, что среди представителей новыхъ теченій есть люди психически-разстроенные. Но, во-первыхъ, далеко не всѣ символисты ненор-

мальны и доказательства Макса Нордау представляютъ собою подчасъ совершенно очевидныя натяжки. А, во-вторыхъ, и завѣдомо больные символисты получаютъ такое значеніе, вызываютъ столько подражаній, производятъ вообще столько шуму только въ силу особенныхъ условій, среди которыхъ они развиваются и дѣйствуютъ. Условія эти – нѣкоторая духовная пустыня: кругомъ разгромленные или изъѣденные скептицизмомъ идеалы, и при этомъ отсутствіе знаній и сколько-нибудь дисциплинированной мысли. Послѣдствія мы уже видѣли. Теперь мнѣ хочется подчеркнуть еще только одну подробность, а именно отношеніе «расширенія художественной впечатлительности» къ мистицизму.

Артуръ Рембо «изобрѣлъ цвѣтныя гласныя, ему повѣрили. Если бъ онъ и повѣрившіе ему не имѣли несчастія жить въ духовной пустынѣ, они знали бы, что никакого изобрѣтенія тутъ нѣтъ, ибо цвѣтной слухъ есть извѣстный фактъ, подлежащій научному изслѣдованію. Рембо предоставилъ бы себя въ распоряженіе спеціалистовъ или просто близкіе къ нему люди подвергли бы наблюденію эту его способность. Но Рембо жилъ въ пустынѣ: и для него, и для близкихъ къ нему тотъ фактъ, что звукъ *а* вызываетъ въ немъ ощущеніе чернаго цвѣта, *е*—бѣлаго и т. д., оказался чѣмъ-то совершенно выходящимъ изъ рамокъ опыта, наблюденія и логическаго мышленія. Это что-то таинственное, чудесное, мистическое. И онъ, Рембо, носитель этой тайны! При этихъ условіяхъ, не надо быть психически-больнымъ (какимъ былъ Рембо), чтобы возложить на себя какую-нибудь чрезвычайную миссію. Рембо и возлагаетъ ее на себя. Онъ мечтаетъ «изобрѣсти поэтическое слово, которое было-бы доступно всѣмъ чувствамъ». Мысль подхватывается такими-же недисциплинированными умами, развивается, являются попытки осуществленія и теоретическаго оправданія. Происходятъ расколы, потому что, напримѣръ, для Рене Гиля азбука имѣетъ не тѣ цвѣта, что для Рембо, Метерлинку скука кажется бѣлой, а иному желтой и т. д. Словомъ, кто во что гораздъ, но памятуется общее положеніе, формулированное Шарлемъ Морисомъ, какъ «воздѣйствіе всего искусства на всего человѣка». Что именно должно новое поэтическое слово сказать намъ, какую мысль внушить, какое чувство возбудить, въ какую сторону направить волю, —это отступаетъ на задній планъ. Важно только сказать что-бы то ни было, но непремѣнно всѣмъ пяти чувствамъ заразъ, создать, рядъ пяти-

гранныхъ призмъ, по выраженію Сенъ-Поль-Ру-Великолѣпнаго. И все это при таинственномъ мистическомъ освѣщеніи, которое внѣдряется, наконецъ, и въ самое содержаніе, вѣрнѣе сказать, въ пустоту пятигранныхъ призмъ...

Одинъ знатокъ французской литературы, къ которому я обратился за нѣкоторыми объясненіями, очень презрительно отозвался о символистахъ и при этомъ прибавилъ: «Возьмите «Les fleurs du mal» Боделэра, прочтите тамъ стихотвореніе «Toute entière», и вы убѣдитесь, что отсюда именно произошли всѣ символисты и декаденты». Я тѣмъ охотнѣе послѣдовалъ этому совѣту, что зналъ изъ разсказа Матіаса Моргардта о томъ, какъ зачитывались Боделэромъ посѣтители кабачка въ Латинскомъ кварталѣ, образовавшіе потомъ ядро символизма и декадентства. Вотъ что я прочелъ въ указанномъ мѣстѣ:

. . . . . .

Et l'harmonie est trop exquise,
Qui gouverne tout son beau corps,
Pour que l'impuissante analyse
En note les nombreux accords.

Oh métamorphose mystique
De tous mes sens fondus en un!
Son haleine fait la musique,
Comme sa voix fait le parfum.

Я думаю, что мой почтенный совѣтникъ нѣсколько преувеличилъ значеніе этихъ восьми строкъ, выводя изъ него весь символизмъ. Но въ высшей степени вѣроятно, что онѣ съиграли немаловажную роль въ созданіи доктрины пятигранныхъ призмъ. Было-бы очень любопытно остановиться на этомъ описаніи комбинаціи и трансферта различныхъ ощущеній при экстазѣ половой любви. Это объяснило-бы намъ нѣкоторыя черты «новыхъ теченій», едва затронутыя въ настоящемъ бѣгломъ очеркѣ. Но я его кончаю.

IV *).

О разныхъ типахъ празднословія.—Объ эстетической критикѣ.—Отрывокъ изъ романа «Карьера Оладушкина».

Ахъ, какъ много празднословія на свѣтѣ вообще, въ русской литературѣ и жизни въ настоящую минуту въ особенности! Впро-

*) 1893, августъ.

чемъ, въ русской литературѣ и жизни его и всегда какъ будто немножко больше было, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Отъ бездѣлья это должно быть, а можетъ быть и отъ чего другого. Во всякомъ случаѣ та часть русской литературы, которая чутко прислушивается къ родной жизни и улавливаетъ ея характерныя черты, представила нѣсколько истинно великолѣпныхъ типовъ празднослововъ и пустослововъ. Это цѣлая коллекція, замѣчательная по количеству экземпляровъ, по ихъ разнообразію и тонкости разработки.

Рудинъ и Агаринъ (герой поэмы Некрасова «Саша»)—празднословы:

Это въ простомъ переводѣ выходитъ,
Что въ разговорахъ онъ время проводитъ,—

говоритъ поэтъ о своемъ героѣ. Но «сѣетъ онъ всетаки доброе сѣмя». Еще яснѣе это относительно Рудина. Яснѣе его празднословіе и обаятельность этого празднословія; глубокое страданіе, причиняемое имъ самому Рудину, и истекающій изъ него широкій благотворный общій свѣтъ для другихъ, не смотря на маленькія, хотя очень острыя частныя бѣды. Слово Рудина праздно только въ личномъ смыслѣ, но оно не праздно по отношенію къ Басистову, даже къ Лежневу, даже къ Натальѣ, не говоря о многихъ другихъ. При томъ же онъ искупилъ свое празднословіе годами страданія, смертью, горькимъ ядомъ самосознанія. Миръ праху его.

Занавѣсъ опускается. Занавѣсъ поднимается: новая пара празднослововъ—Ѳома Опискинъ Достоевскаго и Іудушка Головлевъ Щедрина. А! это совсѣмъ другой сортъ. Разные они во многихъ отношеніяхъ люди. Ѳома Опискинъ честолюбецъ. Когда-то, прежде, чѣмъ онъ взобрался на гору, онъ пресмыкался, льстилъ, претерпѣлъ много униженій; но теперь онъ, по милости генеральши, «вверху стоитъ, что городъ на горѣ, дабы всѣмъ видѣнъ былъ», и желаетъ этимъ всласть насладиться. Чѣмъ больше льстилъ, унижался и пресмыкался онъ самъ, тѣмъ больше онъ требуетъ теперь лести и фиміамовъ. Онъ опьяненъ своимъ положеніемъ и доходитъ до послѣднихъ предѣловъ наглости, не предвидя, что можетъ же наглость, наконецъ, получить достойное возмездіе, можетъ повернуться колесо фортуны и опять вернуть его къ пресмыканію, къ униженіямъ, къ лести даже «собакѣ дворника, чтобъ ласкова была». Ничего подобнаго нѣтъ въ Іудушкѣ Го-

ловлевѣ, — никакихъ признаковъ честолюбія; онъ готовъ всю жизнь прожить въ своей мурьѣ, невѣдомый никѣмъ: великолѣпія фразы Опискина: «я знаю Русь и Русь меня знаетъ»,— онъ даже не понялъ бы, а если бы понялъ, то испугался бы. Затѣмъ, злобность Опискина далеко превосходитъ злобность Іудушки. У послѣдняго ея, пожалуй, даже совсѣмъ нѣтъ, по крайней мѣрѣ, въ активномъ видѣ. Правда, окружающимъ плохо приходится отъ мучительскаго празднословія обоихъ, но источники ихъ словоточивости и мучительства совсѣмъ разные. Евпраксеюшка думаетъ объ Іудушкѣ, что «въ немъ это злость дѣйствуетъ; знаетъ онъ, который человѣкъ противъ него защиты не имѣетъ, ну, и вертитъ имъ, какъ ему любо». Вѣрно, что Іудушка (какъ и Ѳома Опискинъ) ищетъ общества людей, «которые противъ него защиты не имѣютъ». Но за исключеніемъ этого пункта, Евпраксеюшка ошибается, и гораздо вѣрнѣе объясненіе «племяннушки» Анненьки: «Страшно, когда человѣкъ говоритъ и не знаетъ, зачѣмъ онъ говоритъ, что говоритъ и кончитъ-ли когда-нибудь». Іудушка празднословитъ отъ пустомыслія своего, и страшно здѣсь то, что онъ своею словесною канителью, лишенною всякаго смысла, можетъ оплести всякую мысль, всякое чувство, всякій поступокъ, такъ что и не разберешь ничего. Подъ покровомъ «благонамѣренныхъ рѣчей» о Богѣ, о добродѣтели и проч. онъ можетъ совершить любую гнусность: погубить своихъ дѣтей, ограбить «племяннушку» и потомъ сдѣлать ей гнусное предложеніе, драть ростовщическіе проценты и т. д. Но и внѣ этого, просто за стаканомъ чаю или за обѣдомъ, за картами, онъ нижетъ слова на слова, поистинѣ не зная зачѣмъ и совершенно не думая объ томъ, какое впечатлѣніе производитъ его безконечное празднословіе на слушателей. Онъ празднословитъ, какъ птица поетъ, какъ роза цвѣтетъ, — для самаго празднословія. Мучить людей своей словоточивостью онъ вовсе не хочетъ. Совсѣмъ другое дѣло Ѳома Опискинъ. Это мучитель по природѣ или по обстоятельствамъ жизни, доставившей ему въ молодости столько униженій и неудачъ. Ему нужно рисоваться, величаться, нужно поклоненіе, покорность и, какъ мѣрило покорности, прежде всего подобострастное выслушиваніе всего того вздора, который онъ мелетъ. Со стороны Ѳома Опискинъ бываетъ смѣшонъ тою надутою важностью, съ которою онъ говорилъ свои якобы возвышенныя, глупыя слова и продѣлываетъ нелѣпѣйшіе поступки.

Но, благодаря пріютившей его генеральшѣ, онъ становится жестокимъ тираномъ для всего дома. Правда, сынъ генеральши, выведенный, наконецъ, изъ терпѣнія его наглостью, буквально вышвыриваетъ его за дверь, но и изъ этого некрасиваго положенія онъ сравнительно благополучно выходитъ при помощи все того же празднословія. Онъ смѣшонъ только со стороны, но за то же онъ и не уйдетъ никогда изъ-подъ крылышка генеральши, на сторону, а если бы обстоятельства заставили его уйти, онъ оказался-бы тихъ, кротокъ и даже молчаливъ...

Занавѣсъ опускается. Занавѣсъ поднимается: передъ нами гоголевскій почтмейстеръ съ безсмертною повѣстью о капитанѣ Копѣйкинѣ. Длинно, съ увлеченіемъ, съ величайшею подробностью,--не говоря уже о безчисленныхъ «относительно такъ сказать» и «можете себѣ представить»,—разсказываетъ онъ исторію, въ концѣ которой, или даже не доходя до конца, долженъ, однако, себя публично «телятиной» обозвать: въ увлеченіи своемъ и въ погонѣ за подробностями онъ упустилъ изъ виду то немаловажное обстоятельство, что капитанъ Копѣйкинъ былъ безъ руки и безъ ноги, а у Чичикова всѣ части тѣла въ порядкѣ. Почтмейстеръ пробовалъ было потомъ возобновить нить своего празднословія разсказомъ о какихъ-то механическихъ ногахъ, но слушатели нашли всетаки, что почтмейстеръ хватилъ слишкомъ далеко...

Занавѣсъ могъ бы еще не разъ опуститься и подняться. Особенно заманчиво было-бы остановиться на нѣкоторыхъ празднословахъ Глѣба Успенскаго. Наша публика высоко цѣнитъ этого писателя, но наша критика занималась имъ слишкомъ мало. Остается совсѣмъ нетронутымъ множество мастерски, хотя иногда только мелькомъ, очерченныхъ имъ житейскихъ типовъ, въ числѣ которыхъ есть великолѣпные празднословы, вполнѣ оригинальные, непохожіе на предъидущихъ. Но этакъ мы ужъ слишкомъ удалимся отъ непосредственнаго предмета сегодняшней нашей бесѣды, а предметъ этотъ—не перлы русскаго искусства, а такъ-кое-какая преходящая мелочь изъ текущей литературы; въ частности,—не художественныя воплощенія празднословія, а нѣчто изъ области этого самаго празднословія.

Въ послѣднее время въ нашей журналистикѣ—не знаю ужъ въ который разъ—поднялись разговоры о цѣли и задачахъ искусства и литературной критики, при чемъ особенно стараются защитники

такъ называемаго чистаго, самодовлѣющаго искусства. Для всѣхъ этихъ старыхъ погудокъ на старый ладъ, претендующихъ, однако, на новизну и оригинальность, есть нѣкоторые опредѣленные внѣшніе поводы, главнымъ образомъ, появленіе въ отдѣльномъ изданіи диссертаціи «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности». Но и въ общей атмосферѣ, которою мы дышемъ, есть, повидимому, что-то, приглашающее къ усиленнымъ разговорамъ о чистой красотѣ и самодовлѣющемъ искусствѣ. Такъ, напримѣръ, П. И. Вейнбергъ, въ объявленіяхъ о новой, редактируемой имъ «Театральной Газетѣ», не преминулъ пообѣщать непреоборимую вѣрность «вѣчнымъ» или «незыблемымъ» законамъ искусства. Такое маленькое дѣло и такія большія слова: «вѣчный», „незыблемый"!.. Ихъ очень легко сказать или написать, эти слова, но приложить ихъ къ дѣлу такъ трудно, такъ трудно, что даже невозможно. И не въ обиду будь сказано г. Вейнбергу, это— одно празднословіе...

Но г. Вейнбергъ только въ объявленіяхъ пообѣщалъ, и хотя это для нынѣшняго времени очень характерно, что подобнымъ празднословіемъ надо рекомендовать читателю новый органъ, но всетаки это только обѣщанія. Пойдемте куда-нибудь въ другое мѣсто, болѣе солидное. Пойдемте въ журналъ «Вопросы философіи и психологіи» (чего ужъ солиднѣе!) и обратимся въ немъ къ статьѣ г. Боборыкина «Красота, жизнь и творчество». Г. Боборыкинъ не есть, конечно, сколько-нибудь значительный авторитетъ въ теоретическихъ вопросахъ,—онъ больше извѣстенъ въ качествѣ талантливаго и плодовитаго, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ поверхностнаго и легкомысленнаго беллетриста. Но фирма спеціальнаго философскаго журнала меня нѣсколько смущаетъ, и я съ нѣкоторою робостью предупреждаю читателя, что статья г. Боборыкина есть одно сплошное празднословіе. Да не подумаетъ, однако, читатель, что въ статьѣ этой надо искать точнаго отраженія одного изъ тѣхъ художественныхъ воплощеній празднословія, съ которыхъ мы начали нашу бесѣду. Отнюдь нѣтъ. Вообще, въ дѣйствительной жизни рѣдко встрѣчаются точныя параллели истинно художественнымъ типамъ. Черты, въ одномъ художественномъ образѣ соединенныя или, наоборотъ, по нѣсколькимъ образамъ распредѣленныя, являются въ жизни сплошь и рядомъ въ совсѣмъ иныхъ комбинаціяхъ Такъ и со статьей г. Боборыкина. Въ ея празднословіи нѣтъ ничего отъ Ѳомы Опискина, но

найдутся въ немъ и Агаринскія черты, и Рудинскія и Головлевскія, и, наконецъ, нѣчто отъ Гоголевскаго почтмейстера... Скажу прямо, что именно кому можетъ быть отнесено.

Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ ему сверху и ляжетъ:
Вѣрить, не вѣрить—ему все равно,
Лишь бы доказано было умно!

То есть не то чтобы непремѣнно дѣйствительно умно, а чтобы ему казалось умнымъ. Это объ Агаринѣ сказано, но я беру на себя смѣлость сказать тоже самое о г. Боборыкинѣ, хотя въ статьѣ своей онъ и утверждаетъ, что всегда держался теперешняго своего образа мыслей.

Что касается Рудина, то его обаятельнаго краснорѣчія нѣтъ и слѣда въ статьѣ г. Боборыкина, но за то есть чисто Рудинскій призывъ къ дѣлу, котораго самъ г. Боборыкинъ никогда не сможетъ, да и не захочетъ сдѣлать.

У Іудушки Головлева г. Боборыкинъ не заимствовалъ, разумѣется, ничего гнуснаго и въ гнусности своей страшнаго. Но нѣчто скучное и вмѣстѣ съ тѣмъ смѣшное, что есть въ безсодержательномъ празднословіи Іудушки, есть и въ статьѣ г. Боборыкина.

Наконецъ, Гоголевскій почтмейстеръ... Статья г. Боборыкина пестрѣетъ именами Вундта, Брюкке, Вебера, Гельмгольца, Эттингена, Бэна, Спенсера, Гальтона и т. д., и т. д. Но все это только украшенія рѣчи, столь же по существу ненужныя, какъ «относительно такъ сказать», «сударь ты мой», «можете себѣ представить» Гоголевскаго почтмейстера. Почтенный романистъ могъ бы прибавить еще десятокъ такихъ же «сударей» или, напротивъ, выкинуть десятокъ, и доказательность статьи отъ этого ни мало не выиграла бы и не проиграла бы. Но сходство статьи г. Боборыкина съ повѣстью о капитанѣ Копѣйкинѣ не ограничивается этою внѣшнею чертою. Подобно почтмейстеру, г. Боборыкинъ, увлекаясь собственнымъ краснорѣчіемъ, обиліемъ «сударей» и подробностями, неоднократно упускаетъ изъ виду нѣкоторыя вещи, совершенно упраздняющія ту или другую часть его разговоровъ.

Я очень хорошо знаю, какъ надоѣла читателю полемика по вопросамъ о цѣляхъ и задачахъ искусства и литературной кри-

тики. Я это по себѣ знаю, потому что, вѣдь, и я читатель, и, признаюсь, когда, пробѣгая журнальную или газетную статью, я вижу слова «вѣчные законы красоты»... «тенденціозное искусство».. «утилитарное искусство»... «самодовлѣющее искусство»,— меня начинаетъ пробирать нервная дрожь. Опять!.. Диссертація объ «эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности», послужившая нынѣ однимъ изъ внѣшнихъ поводовъ для открытія фонтановъ празднословія, написана безъ малаго сорокъ лѣтъ тому назадъ. А толки о задачахъ и цѣляхъ искусства и критики начались вѣдь еще задолго до этой диссертаціи. Казалось бы, всѣ аргументы pro и contra должны быть исчерпаны. Есть, конечно, вопросы, относительно которыхъ люди не могутъ столковаться въ теченіе не то что нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, а и цѣлыхъ столѣтій, пожалуй, даже тысячелѣтій, и, можетъ быть, интересующій г. Боборыкина вопросъ принадлежитъ къ числу именно такихъ, такъ что и дѣти наши, и дѣти дѣтей нашихъ все будутъ читать слова: «тенденціозное искусство... самодовлѣющее искусство... утилитарная критика...» Ужасная перспектива!..

Разумѣется, ужасная съ нашей теперешней точки зрѣнія, съ точки зрѣнія людей, которыхъ пробираетъ нервная дрожь при видѣ словъ «тенденціозное искусство... самодовлѣющее искусство». Но дѣти наши или дѣти дѣтей нашихъ отнесутся къ этимъ словамъ, можетъ быть, совсѣмъ иначе. Было же время, когда эти самыя слова у насъ не скуку нагоняли, а трогали сердца и волновали умы. Такъ было, такъ, можетъ быть, опять будетъ. Но отчего же это такъ было и отчего теперь стало такъ тоскливо, такъ невыносимо скучно? Оттого, читатель, что когда-то это было живое дѣло, а теперь—одно празднословіе. Только это я и предполагаю доказывать въ предлагаемой замѣткѣ, а потому не бойтесь дочитать ее до конца,—можетъ быть, и не очень скучно покажется...

Г. Боборыкинъ принадлежитъ къ числу писателей, которыхъ принято называть «маститыми», хоть оно немножко не идетъ къ его легкокрылому, порхающему облику, какъ онъ рисуется въ его произведеніяхъ, несмотря на всѣхъ «сударь ты мой Гельмгольцевъ» и «можете себѣ представить Брюкке». Онъ много потрудился на нивѣ русской литературы: написалъ едва-ли исчисли-

мое количество повѣстей, разсказовъ, романовъ, драматическихъ произведеній, писалъ и, кромѣ того, о разныхъ предметахъ міра видимаго и невидимаго, издавалъ и редактировалъ журналъ («Библіотеку для чтенія»), не имѣвшій, впрочемъ, успѣха, не смотря на разныя содержавшіяся въ немъ пикантности. Писалъ онъ и въ разныхъ иностранныхъ изданіяхъ — французскихъ, итальянскихъ, англійскихъ—излагая въ нихъ свои, не совсѣмъ, впрочемъ, основательныя мысли о нѣкоторыхъ явленіяхъ русской жизни и литературы. Но, странное дѣло—ни это многолѣтнее служеніе на поприщѣ мысли не только русской, а и европейской, ни рѣдкая плодовитость, ни, наконецъ, несомнѣнная талантливость—не придали яркости литературной физіономіи г. Боборыкина. Лѣтъ сорокъ ужъ работаетъ онъ на литературномъ поприщѣ, а въ сорокъ лѣтъ такой плодовитый и талантливый писатель могъ бы, кажется, вполнѣ опредѣлиться, устояться. Этого такъ естественно ожидать, что самому г. Боборыкину кажется, что оно такъ ужъ и есть, что онъ давно опредѣлился и устоялся. Къ сожалѣнію, это совсѣмъ не вѣрно...

Простите, читатель, но теперь пойдутъ давно всѣмъ надоѣвшія, скучныя слова, совершенно обойти которыя—я не могу.

Г. Боборыкинъ говоритъ: «Русская критика, за послѣдніе сорокъ лѣтъ, все болѣе и болѣе уклонялась отъ научно-эстетической задачи, занимаясь произведеніями литературы и даже пластическаго искусства, иногда и музыки—не въ интересахъ искусства, а въ интересахъ морали и публицистики. Вся эстетическая область человѣческой души дѣлалась для нея не цѣлью. а средствомъ и лишь *показателемъ* различныхъ элементовъ общественнаго роста или попятнаго движенія. При такой преобладающей тенденціи трудно было и ждать обильнаго появленія у насъ работъ, которыя бы расчищали путь тѣмъ, кто желаетъ держаться болѣе научнаго метода и смѣло признаетъ область художественнаго творчества и наслажденія за нѣчто *довлѣющее самому себѣ* (курсивъ г. Боборыкина). Въ послѣднее время у насъ замѣчается нѣкоторый—еще слабый—поворотъ въ сторону тѣхъ научно-эстетическихъ вопросовъ, которые я лично не переставалъ ставить, въ разное время отзываясь на явленія текущей литературы, нашей и западной, и задѣвая темы по психологіи творчества и чувства прекраснаго».

Тутъ г. Боборыкинъ указываетъ на свои старыя статьи въ

«Словѣ» и въ «Вѣстникѣ Европы», которыя, говоритъ онъ, «до самаго послѣдняго времени стояли почти одиноко въ нашей критикѣ». Теперь дѣло обстоитъ гораздо благополучнѣе, и г. Боборыкинъ не до такой ужъ степени одинокъ, съ чѣмъ его, конечно, слѣдуетъ поздравить. Однако, изъ единомышленниковъ своихъ онъ называетъ только одного—кн. Волконскаго, автора напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы» статьи «Художественное наслажденіе и художественное творчество». Г. Боборыкинъ нѣсколько пренебрежительно относится къ этой «довольно еще неустойчивой работѣ молодого словесника», но одобряетъ ея «руководящій принципъ», а именно: «заявленіе необходимости изучать область психической жизни человѣка, связанную съ искусствомъ и творчествомъ, самостоятельно, научно-эстетическимъ путемъ, а не подчиненно, не въ интересахъ только морали или публицистики». Эта мысль кажется г. Боборыкину чрезвычайно смѣлою и только потому не новою, что онъ, г. Боборыкинъ, давно, еще во времена своего одиночества, развивалъ ее въ упомянутыхъ статьяхъ «Слова» и «Вѣстника Европы».

Къ стыду моему, я долженъ признаться, что не помню этихъ статей, а, можетъ быть, даже и совсѣмъ не читалъ, да и теперь, за недосугомъ, не могъ съ ними познакомиться. *Къ стыду*, потому, что статьи эти, очевидно, представляютъ собою нѣчто, какъ говорятъ нѣмцы, epochemachendes, нѣчто такое, съ чего русская критика должна вести свое лѣтосчисленіе. Но за то я помню нѣкоторыя другія старыя произведенія г. Боборыкина на тѣ же темы. И если г. Боборыкинъ «не переставалъ ставить» свои тезисы о самодовлѣніи искусства, объ его независимости отъ морали и публицистики,—такъ не все ли равно, какія именно изъ его произведеній я помню? А помню я, напримѣръ, его статьи 1876 года о «реальномъ романѣ во Франціи». Надо замѣтить, что статьи эти, напечатанныя въ «Отечественныхъ Запискахъ», были первоначально прочтены авторомъ въ видѣ публичныхъ лекцій. Слѣдовательно, авторъ какъ бы дважды писалъ ихъ, и это должно, повидимому, гарантировать особенную ихъ обдуманность, особенную точность выраженія мысли автора. И вотъ что я нахожу въ концѣ первой лекціи:

«Прочитывая «Сентиментальное воспитаніе» съ полнымъ безпристрастіемъ, нельзя не сознаться, что въ авторѣ вы не чувствуете совсѣмъ почти гражданина своей земли; почему романъ его и ли-

шенъ того одушевленія, которое заставляетъ читателя съ возрастающимъ интересомъ глотать страницу за страницей. Флоберъ, по собственному своему желанію или, лучше сказать, по наклонности своей натуры, заключилъ себя въ оболочку писателя-эрудита, ушелъ отъ волненій дѣйствительности и кончилъ, разумѣется, значительной долей гражданскаго индиферентизма и мизантропіи... Тѣ, кто его защищаютъ во что-бы то ни стало, говорятъ, что французская критика и публика не вправѣ требовать отъ него реальныхъ романовъ, гдѣ-бы чувствовалось біеніе пульса вчерашняго дня. Я уже сказалъ, что права этого ни у критики, ни у публики отнять нельзя; но можно впередъ сказать, что Флоберъ, при той жизни, которую онъ теперь ведетъ, при направленіи своихъ трудовъ и думъ, врядъ-ли способенъ на дальнѣйшее развитіе своего реализма... Но, какъ бы ни кончилъ Флоберъ, онъ остается для насъ всетаки первой силой новаго романа во Франціи. Послѣ него, уже каждый даровитый и философски развитый писатель, усвоивъ себѣ его образцовые пріемы, можетъ тѣмъ съ большею легкостью вложить въ любое свое произведеніе все то, чего лучшая доля современнаго общества требуетъ и въ художественномъ, и въ гражданско-нравственномъ отношеніи».

И это не единственная, конечно, страница, — вся статья проникнута убѣжденіемъ въ правѣ критики требовать, какъ у насъ въ старину говорилось, «гражданскихъ мотивовъ» отъ романиста. Когда я перечиталъ эту страницу теперь, послѣ статьи г. Боборыкина въ «Вопросахъ философіи и психологіи», я протеръ себѣ глаза и вновь перечиталъ... Да, это тотъ же самый П. Д. Боборыкинъ писалъ... Не въ томъ дѣло, что онъ смотритъ теперь на вещи иначе, – это со всякимъ можетъ случиться. Но едва ли всякій, написавшій нѣчто, подобное «Реальному роману во Франціи», рѣшится утверждать, что онъ «не переставалъ» и оставался до послѣдняго времени въ величавомъ одиночествѣ, а вся прочая критика морали и публицистики отъ искусства требовала. Нѣтъ, очень переставалъ, и все, что можетъ о себѣ такой человѣкъ сказать, — это:

На все отозвался ни мягко, ни рѣзко,
Воспѣлъ Гарибальди, воспѣлъ и Франческо...

Если, однако, бывали времена, когда г. Боборыкинъ грѣшилъ тѣмъ самымъ грѣхомъ, которому онъ теперь прощенія не знаетъ,

то теперь, по крайней мѣрѣ, онъ окончательно стоитъ на истинномъ и твердомъ пути.. Взглянемъ же хоть мелькомъ на характеръ его аргументаціи.

Мы видѣли, что «работа молодого словесника (кн. Волконскаго) довольно еще неустойчива», но содержитъ въ себѣ зерно истины. За это самое, по словамъ г. Боборыкина, на автора «посыпались рѣзкія нападки отъ тѣхъ рецензентовъ, кто считаетъ себя хранителями традицій шестидесятыхъ годовъ». Признаюсь, я какъ-то совсѣмъ проглядѣлъ этотъ эпизодъ, можетъ быть, безсознательно обѣжалъ его изъ инстинктивнаго страха надоѣвшихъ словъ, и не знаю поэтому, какія именно возраженія были предъявлены кн. Волконскому. Г. Боборыкинъ не приводитъ ихъ. Онъ говоритъ только, что «если бы авторъ лекціи (статья кн. Волконскаго первоначально составила предметъ публичной лекціи) хотѣлъ заставить замолчать своихъ слишкомъ строгихъ менторовъ, ему стоило бы взять книжку, изданную недавно, гдѣ собраны мысли нашихъ крупнѣйшихъ писателей за цѣлую сотню лѣтъ». Г. Боборыкинъ не называетъ этой драгоцѣнной книги, которая можетъ заставить замолчать всѣхъ противниковъ такъ называемаго чистаго искусства, авторъ «Реальнаго романа во Франціи» у compris. Это, очевидно, какое-то собраніе афоризмовъ, заимствованныхъ у разныхъ нашихъ знаменитыхъ писателей. Приведя нѣкоторые изъ этихъ афоризмовъ, г. Боборыкинъ пишетъ: «Итакъ, Гоголь, Достоевскій, Гончаровъ, Тургеневъ — цвѣтъ и краса русской художественной литературы — смотрѣли на искусство, какъ на область душевной жизни, которая *сама себѣ довлѣетъ* (курсивъ г. Боборыкина). Слѣдовательно, молодой эстетикъ, выступившій теперь съ опытомъ о художественномъ наслажденіи и творчествѣ, вѣрнѣе духу творцовъ нашей изящной литературы, чѣмъ тѣ, кто съ такой суровостью нападали на него».

Итакъ, кн. Волконскій упустилъ случай «заставить замолчать», но г. Боборыкинъ поправилъ этотъ его промахъ и заставилъ... Слышите ли вы это трепетное молчаніе пораженныхъ молніей и громомъ враговъ идеи кн. Волконскаго и г. Боборыкина? Нѣтъ, вы не слышите этого молчанія, и не только потому, что молчанія вообще слышать нельзя (декаденты и символисты, впрочемъ, ухитряются), а и потому, что аргументація почтеннаго романиста совсѣмъ не похожа на громъ и молнію. Во-первыхъ, афориз-

мамъ, приведеннымъ г. Боборыкинымъ, можно противопоставить афоризмы же и заимствовать ихъ не только изъ произведеній въ родѣ «Реальнаго романа во Франціи», а у людей, которыхъ тоже можно назвать «цвѣтомъ и красой русской художественной литературы», — у Лермонтова, гр. Л. Толстого, Некрасова, Щедрина. Во-вторыхъ, подобными афоризмами ничего доказать нельзя, ни даже того, что въ нихъ выразился «духъ» ихъ авторовъ. Въ третьихъ... Въ третьихъ, посмотримъ поближе на афоризмы, приведенные г. Боборыкинымъ.

Афоризмъ Гончарова: «Пора бы оставить въ покоѣ ничего незначущую фразу *искусство для искусства*». Слова эти взяты изъ статьи Гончарова «Лучше поздно, чѣмъ никогда». Было бы очень интересно оцѣнить эту фразу въ связи съ содержаніемъ всей статьи, но это отвлекло бы насъ очень далеко въ сторону. (Не могу, впрочемъ, воздержаться отъ замѣчанія, что фраза эта стоитъ почти непосредственно вслѣдъ за горячей хвалой Щедрину). Возьмемъ ее въ томъ изолированномъ, сиротливомъ видѣ, какъ ее приводитъ г. Боборыкинъ. Что она говоритъ въ пользу идей, развиваемыхъ въ статьѣ г. Боборыкина? Ровно ничего. Она говоритъ не за г. Боборыкина, а противъ него. Если *искусство для искусства* есть ничего незначущая фраза, которую пора бросить, такъ зачѣмъ же г. Боборыкинъ твердитъ (да еще подчеркиваетъ), что искусство «довлѣетъ себѣ»? Развѣ «искусство для искусства» и «самодовлѣющее искусство» не синонимы? И если афоризмъ Гончарова можетъ кого-нибудь заставить замолчать, такъ именно г. Боборыкина.

Афоризмъ Гоголя: «Искусство уже въ самомъ себѣ заключаетъ цѣль». Въ высшей степени удивителенъ комментарій г. Боборыкина къ этому афоризму. Онъ говоритъ: «Это слова Гоголя изъ «Развязки Ревизора», гдѣ онъ, какъ вамъ извѣстно, доходитъ до высшихъ граней морально-мистическаго толкованія своей комедіи, когда въ немъ уже сидѣлъ человѣкъ, смотрѣвшій на свою художественную дѣятельность только какъ на средство поучать ближнихъ и выполнять тѣмъ свое призваніе». Г. Боборыкинъ дѣлаетъ этотъ комментарій съ чрезвычайно побѣдоноснымъ видомъ: дескать, вотъ человѣкъ смотрѣлъ на свою художественную дѣятельность, какъ на средство, но и онъ даже говорилъ, что искусство уже въ самомъ себѣ заключаетъ цѣль! заставилъ-ли я васъ молчать? — Нѣтъ, не заставили, потому что, по здравому

смыслу, ваши два предложенія надо поставить въ обратномъ порядкѣ: вотъ человѣкъ, который на словахъ говорилъ, что искусство есть само себѣ цѣль, а на дѣлѣ пускалъ его въ ходъ какъ средство для достиженія постороннихъ цѣлей. Съ г. Боборыкинымъ можетъ согласиться только тотъ, кто слово ставитъ выше дѣла, случайную фразу выше всей ярко выраженной дѣятельности писателя...

Г. Боборыкинъ очень уважаетъ науку, и это въ немъ чрезвычайно почтенная черта. Но, къ сожалѣнію, онъ, подобно многимъ платоническимъ любовникамъ науки, слишкомъ расточителенъ на слова «наука», «научный» и т. д. Онъ принадлежитъ къ старому поколѣнію беллетристовъ, среди котораго было не мало людей, хорошо и разносторонне образованныхъ. Онъ занимался когда-то наукой въ настоящемъ смыслѣ слова, именно химіей. Это было очень давно, чуть не полвѣка прошло съ тѣхъ поръ, и отъ химіи, конечно, ничего не осталось въ его памяти. Рано опредѣлившійся беллетристическій талантъ толкнулъ его совсѣмъ въ другую сторону, но нѣкоторый общій тонъ почтительности къ наукѣ остался въ немъ навсегда. Человѣкъ онъ всегда былъ въ высшей степени воспріимчивый и сохранилъ эту воспріимчивость до сего дня На каждое сколько-нибудь замѣтное явленіе, какъ въ русской, такъ и европейской жизни, онъ торопливо откликается или въ беллетристической, или въ публицистической формѣ. Но, благодаря этой торопливости, въ связи съ отсутствіемъ всякой устойчивости и оригинальности въ складѣ его ума, какъ его беллетристика, такъ и его публицистика необыкновенно поверхностны. Въ беллетристикѣ ему некогда обдумывать, вынашивать свои образы и картины, обобщать свои бѣглыя наблюденія и складывать ихъ въ типы. Некогда это дѣлать и, напримѣръ, Глѣбу Успенскому, но его выручаютъ рѣдкіе дары природы: необыкновенно оригинальный складъ ума и чуткость, благодаря которой онъ проникаетъ сквозь внѣшнюю кору наблюденій до самой сердцевины вещей. Къ этому надо еще прибавить все извиняющую страстность, съ которою онъ относится къ явленіямъ, задѣвшимъ его вниманіе. Все это, вмѣстѣ взятое, вредитъ Успенскому только съ внѣшней, формальной стороны. Онъ создалъ множество типовъ, надъ которыми русской критикѣ еще придется работать (до сихъ поръ она занималась больше общими идеями Успенскаго), но онъ не создалъ ни

одного большого, законченнаго произведенія, въ которомъ эти типы и фигуры расположились-бы согласно условнымъ требованіямъ романа или повѣсти. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи г. Боборыкинъ, напротивъ, безупреченъ: у его романовъ и повѣстей всегда есть завязка и развязка, но дѣйствующія лица этихъ романовъ и повѣстей—случайный сырой житейскій матеріалъ, настоящіе фотографическіе портреты, чуть тронутые, а иногда и испорченные ретушью; фабула этихъ романовъ и повѣстей частью тоже въ сыромъ видѣ взята изъ дѣйствительности, а частью совершенно искусственно сочинена ad hoc, примѣнительно къ тому или другому умственному теченію, увлекающему въ данную минуту автора. А увлекается онъ разными теченіями, совершенно какъ щепка волной, что отражается и на его публицистикѣ. Мы видѣли, что въ семидесятыхъ годахъ онъ утверждалъ, что критика имѣетъ право требовать отъ художника отклика на злобу дня. Теперь онъ этого права критику лишаетъ и до такой степени отвернулся отъ своего прошлаго, что даже не помнитъ его: я, говоритъ, не переставалъ... Въ тѣхъ-же семидесятыхъ годахъ г. Боборыкинъ обнаруживалъ большую благосклонность къ такъ называемому «народничеству», какъ онъ его понималъ, конечно (см., напримѣръ, его предисловіе къ «Запискамъ дурака» въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1876 г.). А въ восьмидесятыхъ годахъ онъ напечаталъ въ одномъ итальянскомъ журналѣ громовую статью противъ «народниковъ» и «народничества»... Вообще у него необыкновенная легкость въ мысляхъ, но есть одинъ пунктъ, на которомъ онъ стоитъ и всегда стоялъ непоколебимо твердо: наука. Его слухъ, очевидно, ласкаетъ самое слово «наука», и я думаю, что даже перо его особенно тщательно и красиво выписываетъ это слово на бумагѣ. Это не значитъ, однако, чтобы онъ когда-нибудь серьезно заинтересовался какимъ-нибудь научнымъ вопросомъ и разработалъ его сколько-нибудь пристально. Нѣтъ, этого съ нимъ не случалось. Ужасно много книжекъ написано по любому научному вопросу, и гдѣ-же тамъ во всѣхъ ихъ рыться!—некогда. Многому можно и на слово повѣрить, если оно такъ или иначе знаменемъ науки прикрыто: важно именно знамя, его надо высоко держать, имъ сѣмо и овамо помахивать...

Не слѣдуетъ смущаться украшающими статью г. Боборыкина многочисленными «сударь ты мой Брюкке» и «относительно

такъ сказать Эттингенами». Всѣ эти «судари» могутъ быть раздѣлены (приблизительно, конечно) по отношенію къ нимъ г. Боборыкина на двѣ группы: во-первыхъ, французскіе словесники, Тэнъ, Сенъ Бевъ,—этихъ онъ знаетъ и въ извѣстной степени любитъ; во-вторыхъ, психофизіологи, главнымъ образомъ нѣмецкіе,—этихъ онъ больше уважаетъ, чѣмъ знаетъ, и самыя имена ихъ заимствовалъ въ большинствѣ случаевъ изъ предисловія къ «Vorschule der Aesthetik» Фехнера (объ этомъ потомъ). Но изо всѣхъ фигурирующихъ въ статьѣ «сударей» самый дорогой, самый близкій уму и сердцу автора есть человѣкъ, не имѣющій никакого отношенія къ наукѣ,—Теофиль Готье.

Въ 1834 г. въ предисловіи къ своему роману «Mademoiselle de Maupin», Готье писалъ о критикахъ:

Когда писатель бросаетъ на ихъ письменный столъ какой-нибудь томъ—романъ или стихотворное произведеніе—эти господа небрежно закидываются въ креслѣ, устанавливаютъ его на заднихъ ножкахъ (довольно неудобная позиція!) и, качаясь, съ видомъ знатока, важно изрекаютъ: «Чему служитъ эта книга? Можетъ ли она содѣйствовать морализаціи и поднятію благосостоянія самаго многочисленнаго и самаго бѣднаго класса? Какъ! Ни одного слова о нуждахъ общества, ничего цивилизующаго и прогрессивнаго! Какъ! Вмѣсто того, чтобы давать намъ великій синтезъ человѣчности или прослѣдить, на протяженіи историческихъ событій, фазисы идеи, возрождающей и указывающей на пути Провидѣнія,—они мастерятъ стихи и романы, не ведущія ни къ чему и не двигающіе нисколько впередъ наше поколѣніе? Какъ можно заниматься формой, стилемъ, риѳмой, въ виду такихъ важныхъ интересовъ? Что намъ за дѣло до стиля, до риѳмъ и до формы? Стоитъ-ли этимъ заниматься? Общество страдаетъ, оно сдѣлалось добычей великой внутренней смуты. (Это значитъ, прибавляетъ Готье въ скобкахъ: никто не хочетъ подписываться на полезные журналы). Поэтъ долженъ отыскивать причину этого недомоганія и излѣчить его. И это средство онъ найдетъ, сочувствуя сердцемъ и душой человѣчеству и т. д.

Г. Боборыкинъ называетъ предисловіе къ роману—«Mademoiselle de Maupin» — «знаменитымъ», самого Готье — «бойцомъ за свободное, довлѣющее себѣ искусство», а только что приведенныя слова—«блестящею и негодующею тирадою». Однако, и онъ замѣчаетъ, что въ тирадѣ этой Готье всетаки немножко черезъ край хватилъ. Но г. Боборыкину она всетаки кажется цѣнною, главнымъ образомъ потому, что «фразы, какія Готье влагаетъ въ уста критика съ общественно-утилитарнымъ направленіемъ, отзываются обычнымъ тономъ русскаго журнализма съ его вѣч-

ными вопросами: что авторъ хотѣлъ этимъ доказать? какая польза отъ его побасенокъ и его элегическихъ воздыханій? есть-ли въ нихъ прямое служеніе злобѣ дня или непосредственнымъ нуждамъ меньшихъ братій?».

Не будучи профессіональнымъ литературнымъ критикомъ, я могу, кажется, быть въ этомъ дѣлѣ безпристрастнымъ, и мнѣ думается, что г. Боборыкинъ сильно преувеличиваетъ, даже до извращенія. Но дѣло не въ этомъ. Дѣло въ Теофилѣ Готье, который соблазняетъ г. Боборыкина своею якобы смѣлостью Ему хочется проявить такую-же смѣлость, рѣшительность, задоръ, тѣмъ болѣе, что вотъ стяжалъ-же лавры «молодой словесникъ» кн. Волконскій, да и вообще на почвѣ защиты свободнаго искусства выростаютъ теперь цѣлые лавровые лѣса. Такой моментъ наступилъ. И г. Боборыкинъ, какъ всегда, ловитъ моментъ... И въ своемъ родѣ недурно-бы это у него, можетъ быть, вышло, если-бы онъ могъ просто взять да и повторить пріемы Теофиля Готье. Но онъ этого не можетъ. У Теофиля Готье съ наукой не было ничего общаго,—онъ ею нисколько не интересовался, а она... Не эти именно слова Готье, которыя такъ нравятся г. Боборыкину, но совершенно аналогичныя его разсужденія Максъ Нордау, стоящій во всякомъ случаѣ на научной почвѣ, называетъ—можете себѣ представить, г. Боборыкинъ!—«галиматьей»! Такъ-таки буквально Galimathias (см. Entartung II, 92; общая, очень нелестная характеристика Готье на стр. 73). Отношенія между наукой и г. Боборыкинымъ совсѣмъ иныя. Т. е. я не знаю, конечно, какъ отнесется наука къ г. Боборыкину и даже немножко боюсь думать объ этомъ, но самъ онъ относится къ наукѣ столь почтительно, столь назойливо почтительно, если можно такъ выразиться,—что и идеямъ Теофиля Готье долженъ былъ непремѣнно придать научный или якобы научный антуражъ. Но это именно только антуражъ, словесные орнаменты,—празднословіе.

«Въ русской критикѣ,—пишетъ г. Боборыкинъ,—за болѣе, чѣмъ сорокалѣтній періодъ, объектами изслѣдованія дѣлались, все сильнѣе и сильнѣе, идеи морали и общественности и онѣ заслоняли собою интересы къ научно-философской обработкѣ явленій художественнаго творчества, особенно въ области изящной литературы». И далѣе: «Не смотря на рѣзкую противоположность исходныхъ точекъ, наши воинствующіе и часто враждеб-

ные между собою лагери, вплоть до послѣдняго времени, не шли дальше приговоровъ и оцѣнокъ, лишенныхъ строго научнаго метода. Они *одобряли* и *не одобряли* на основаніи своихъ предвзятыхъ идей и сочувствій; но не занимались объективно изслѣдованіемъ развитія нашего художественнаго творчества. Только въ трудахъ нѣкоторыхъ ученыхъ, бравшихъ предметомъ своихъ работъ нашу народную поэзію и законченныя эпохи въ движеніи литературныхъ идей и образовъ, у насъ и на Западѣ, а также область психологіи, гдѣ обосновывается эстетика, находимъ мы взгляды и пріемы работы, свободные отъ стороннихъ примѣсей».

Это такое обиліе празднословія, что не знаешь даже, съ чего начать. Почему, напримѣръ, «мораль и общественность»—постороннія примѣси въ критикѣ, а наука—не посторонняя? Милый сердцу г. Боборыкина Теофиль Готье никоимъ образомъ не согласился-бы съ нимъ. Онъ нарисовалъ-бы столь-же язвительную картину, какъ и та, которая такъ нравится г. Боборыкину: «научный» критикъ раскидывается въ креслѣ, пожалуй, тоже «устанавливаетъ его на заднихъ ножкахъ», хотя это совсѣмъ неудобно и даже глупо, и тономъ знатока начинаетъ судить художественное произведеніе съ какой-то посторонней искусству, научной точки зрѣнія! Съ какой стати? Вѣдь мы—«бойцы за свободное, довлѣющее себѣ искусство»!—Очень вѣроятно, въ самомъ дѣлѣ, что Готье написалъ-бы на эту тему «блестящую негодующую тираду». Да оно ужъ и бывалое дѣло. Нашъ Баратынскій утверждалъ о поэтѣ:

Воспѣваетъ, простодушный, онъ любовь и красоту
И науки, имъ ослушной, суету и пустоту...

Г. Боборыкинъ очень почитаетъ науку и, вѣроятно, въ качествѣ беллетриста, жаждетъ подвергнуться суду по «строго научному методу». И хотя я не знаю, что останется отъ г. Боборыкина послѣ такого суда и въ какія отдаленныя или не столь отдаленныя мѣста будутъ отправлены его многочисленныя произведенія, но это ужъ его дѣло. Теофиль Готье не хочетъ, Баратынскій не хочетъ. Если г. Боборыкинъ скажетъ, что хочетъ или не хочетъ авторъ, а для публики, для третьихъ лицъ нужно объясненіе художественнаго произведенія по строго-научному методу, то я отвѣчу приглашеніемъ: пожалуйте! дѣйствуйте! Дѣй-

ствуйте вы и пусть дѣйствуютъ всѣ тѣ, кто нынче кричитъ о необходимости обновленія литературной критики эстетическимъ, философскимъ, научнымъ путемъ...

Г. Боборыкинъ сослался на статью Гончарова «Лучше поздно, чѣмъ никогда». Сошлюсь и я на нее. Сдѣлавъ нѣсколько справедливыхъ, хотя и не претендующихъ на научность замѣчаній о сознательномъ и безсознательномъ творчествѣ, онъ прибавляетъ: «художникъ часто самъ увидитъ смыслъ своей картины съ помощью тонкаго критическаго толкователя, какими. напримѣръ, были Бѣлинскій и Добролюбовъ».

Мнѣ необыкновенно пріятно напомнить эти слова знаменитаго романиста. Г. Боборыкинъ совсѣмъ не одинокъ, не былъ одинокъ и до появленія статьи «молодого словесника». Напротивъ, уже много лѣтъ, а самое послѣднее время въ особенности, разные мизинные люди стараются унизить нашу старую критику, при чемъ часто указываютъ на сплошь будто бы враждебныя отношенія между этой критикой и современной ей беллетристикой. Имя Гончарова, кажется, особенно часто при этомъ поминается всуе. Я, конечно, не стану утверждать, чтобы совсѣмъ не было конфликтовъ между этими двумя теченіями. Но вотъ Гончаровъ называетъ Бѣлинскаго и Добролюбова «тонкими критическими истолкователями», разъяснявшими иногда самимъ художникамъ плоды ихъ творчества. Мы, третьи лица, читатели, тоже получали удовлетворившія насъ разъясненія, которыя и до сихъ поръ таковыми остаются. Нынѣшнимъ критикамъ эти разъясненія кажутся неудовлетворительными, потому что, дескать, ошибочны ихъ критическіе пріемы и теоретическія исходныя точки. Хорошо, пусть невѣрны, исправляйте ихъ, но не ограничивайтесь словами, а дѣлайте дѣло. Пусть невѣрно освѣщеніе, данное Добролюбовымъ «Обломову» Гончарова, комедіямъ Островскаго и проч., но вѣдь онъ не слова только о критикѣ писалъ (собственно, онъ писалъ ихъ очень мало), а самую эту критику предъявлялъ. И вотъ почему его разсужденія о задачахъ искусства и критики, каковы бы они ни были сами по себѣ, не были празднословіемъ. А эти мизинные люди въ метафизическія трубы трубятъ, въ научные барабаны бьютъ, все въ походъ собираются, а сами ни съ мѣста. И вотъ почему все это—одно празднословіе, скучное, всѣмъ, кромѣ самихъ трубачей и барабанщиковъ, надоѣвшее. Невѣрно освѣщеніе, данное Гончарову или Островскому, и вы, ми-

зинные люди, хотите научить насъ настоящему, вѣрному пониманію по строго-научному, научно-философскому, метафизическому и какому тамъ еще методу,—ну, и пересмотрите произведенія этихъ писателей вновь, или другихъ какихъ, ну хоть того же г. Боборыкина, освѣтите, и только тогда слово ваше станетъ дѣломъ и перестанетъ быть празднословіемъ. Я заглянулъ недавно въ разборъ сочиненій В. Г. Короленко, сдѣланный однимъ изъ такихъ мизинныхъ людей, г. Ю. Николаевымъ. Я нашелъ тамъ много превосходныхъ страницъ,—а именно, чрезвычайно много выписокъ изъ Короленка, цѣлыми страницами. Затѣмъ я нашелъ тамъ фарисейскія размышленія, но все на тѣ же морально-общественныя темы, а ни науки, ни эстетики я тамъ не нашелъ. Словомъ, это все та же публицистика, но съ отрицательнымъ знакомъ—безсильная, мраколюбивая и неискренняя. Такова же и беллетристика, которую охотно берутъ подъ свое покровительство защитники «чистаго искусства». Повторяю, не одинокъ г. Боборыкинъ. Немного, можетъ быть, найдется людей, которые бы такъ легкомысленно предавались словеснымъ орнаментамъ якобы научнаго характера, но людей, негодующихъ на нашу критику во имя «чистаго, самодовлѣющаго искусства», было всегда очень много. И что же? Какъ разъ въ тѣхъ литературныхъ органахъ, гдѣ пѣлись гимны этому самому чистому искусству, печатались тенденціознѣйшіе романы, напримѣръ, Маркевича или г. Авсѣенки, г. Орловскаго. Сила нашего празднословія столь велика, что даже въ этихъ самыхъ романахъ возвеличивалось чистое искусство и унижалось искусство тенденціозное; равно какъ въ соотвѣтствующихъ критическихъ статьяхъ, ратовавшихъ противъ публицистической критики, не было ничего, кромѣ публицистики. И такъ ведется до сего дня. Г. Боборыкинъ, надо отдать ему справедливость, никогда не стоялъ въ томъ мрачномъ хорѣ, который фальшивыми голосами пѣлъ жестокія пѣсни, но его защита чистаго искусства тѣмъ не менѣе поистинѣ смѣшна. Назовите хотя одинъ романъ г. Боборыкина, который можно бы было признать жертвой на алтарь чистаго, самодовлѣющаго искусства. Нѣтъ такого романа. Объ чемъ же онъ безпокоится? чего онъ хочетъ? Ни объ чемъ въ дѣйствительности не безпокоится, а просто празднословитъ...

Вернемся къ послѣдней выпискѣ изъ статьи г. Боборыкина. Онъ тамъ указываетъ и положительныя явленія въ области кри-

тики, представляющія собою исключенія изъ общаго анти-научнаг разгула. А именно: «Только въ трудахъ нѣкоторыхъ ученыхъ бравшихъ предметомъ своихъ работъ нашу народную поэзію и законченныя эпохи въ движеніи литературныхъ идей и образовъ у насъ и на Западѣ, а также область психологіи, гдѣ обосновывается эстетика, находимъ мы взгляды и пріемы работы, свободные отъ стороннихъ примѣсей.»

Въ своемъ платоническомъ увлеченіи «строго научнымъ методомъ», г. Боборыкинъ не понимаетъ, что пріемы, пригодные для изученія народной поэзіи и «законченныхъ эпохъ», могутъ быть частію фактически непримѣнимы, а частію даже просто непристойны по отношенію къ индивидуальному творчеству и живому литературному явленію. Для краткости ограничусь однимъ примѣромъ. Въ числѣ работъ, одобряемыхъ г. Боборыкинымъ, навѣрное, находятся «Этюды о Мольерѣ» г. Веселовскаго. Это. дѣйствительно, очень почтенныя, очень тщательныя работы. Но во-первыхъ, онѣ вовсе не свободны отъ «стороннихъ примѣсей морали и общественности», да иначе и быть не можетъ. Человѣкъ науки не значитъ деревянный человѣкъ, а надо быть именно деревяннымъ человѣкомъ, чтобы, говоря, напримѣръ, о типѣ Тартюфа, признать элементъ морали сторонней примѣсью. Это значило-бы именно не понять Мольера, обойти въ критикѣ его комедіи то, что составляетъ ея смыслъ, что было дорого самому Мольеру. Да и просто это невозможно, нѣтъ людей, до такой степени деревянныхъ, и лишь празднословіе можетъ ждать и призывать ихъ. Затѣмъ, г. Веселовскій удѣляетъ не мало вниманія семейной жизни Мольера, той роли, которую играла въ его жизни и творчествѣ его легкомысленная жена. И онъ, конечно, совершенно правъ, потому что роль эта была, дѣйствительно, очень велика, и опредѣленіе ея многое объясняетъ въ литературной дѣятельности Мольера. Но эта сторона изслѣдованія только потому и возможна въ данномъ случаѣ, что мы имѣемъ дѣло съ «законченнымъ» литературнымъ явленіемъ, съ писателемъ XVII вѣка. Примѣнить этотъ пріемъ къ современному писателю, понятное дѣло, совершенно невозможно, безъ забвенія самыхъ элементарныхъ правилъ приличія и порядочности. Беллетристы-фотографы позволяютъ себѣ иногда безцеремонно залѣзать въ чужую душу и чужую семейную жизнь, но они для этого должны всетаки какъ-нибудь маскировать свое предпріятіе,

за которое всетаки иногда расплачиваются своими боками. Но никакой критикъ не можетъ себѣ позволить искать въ произведеніи современнаго романиста или драматурга слѣдовъ его семейныхъ несчастій или вообще интимныхъ обстоятельствъ его жизни. По отношенію къ писателю XVII вѣка и всякому другому, дѣйствительно, законченному литературному явленію, это—научный пріемъ, а по отношенію къ современности это—дѣяніе, подлежащее очень непріятному возмездію: могутъ и въ судъ потащить, могутъ и безъ суда обойтись. И кто отъ этого суда или отъ этой безсудности пострадаетъ, тотъ ужъ, конечно, не жертва преданности наукѣ будетъ.

Г. Боборыкинъ указываетъ еще на работы въ «области психологіи, гдѣ обосновывается эстетика». Фраза немножко неладно скроена и некрѣпко сшита, и мнѣ не совсѣмъ ясно, что именно авторъ хочетъ сказать. Если рѣчь идетъ о работахъ русскихъ ученыхъ спеціально въ области психологическаго обоснованія эстетики, то я надѣюсь, что такіе есть (только надѣюсь, потому что, признаюсь, цѣнныя русскія работы въ этомъ родѣ мнѣ неизвѣстны). Если-бы, однако, ихъ было и гораздо больше, то онѣ не имѣли-бы всетаки рѣшающаго значенія для литературной критики. Разумѣется, критику полезно, а можетъ быть, даже обязательно съ ними познакомиться, но ему полезно и обязательно познакомиться еще со многимъ другимъ, какъ изъ области науки же, такъ и изъ области житейскихъ отношеній. Художникъ вложилъ въ свое произведеніе не только свое чувство красоты, а и свои идеалы, свою мысль, вѣрованія, свои знанія. И все это хотятъ подвергнуть суду исключительно эстетическому! Это просто безсмыслица, а такъ какъ на дѣлѣ никто и никогда этой программы не исполнялъ и исполнить не можетъ, то, кромѣ того,—и празднословіе. Наука же тутъ въ особенности не при чемъ.

Но подъ психологическими работами г. Боборыкинъ разумѣетъ, можетъ быть, собственно психіатрическія, въ родѣ статьи г. Чижа о произведеніяхъ Достоевскаго или г. Сикорскаго о «Красномъ цвѣткѣ» Гаршина. Это, дѣйствительно, научная критика (вѣрная или невѣрная,—другой вопросъ). Но она, очевидно, можетъ служить только спеціальнымъ подспорьемъ для литературной критики, такъ какъ свидѣтельствуетъ только о вѣрности или невѣрности художественныхъ воспроизведеній извѣстныхъ

патологическихъ состояній. Въ «Entartung» Макса Нордау мы имѣемъ уже настоящую литературную критику, построенную на научныхъ, и именно, главнымъ образомъ, психіатрическихъ основаніяхъ (вѣрную или невѣрную, это—опять вопросъ особый). Но за то же посмотрите—сколько въ ней «стороннихъ примѣсей морали и общественности»! Г. Боборыкинъ долженъ придти въ ужасъ, тѣмъ болѣе, что «науки» тутъ во всякомъ случаѣ несравненно больше, чѣмъ въ его «одинокихъ» трудахъ...

Скучно, читатель? Мнѣ и самому становится скучно, но надо еще немножко потерпѣть. Мнѣ бы не хотѣлось нанести г. Боборыкину незаслуженную обиду, то есть обиду больше той, которая сама собой вытекаетъ изъ его легкомыслія и празднословія. Въ этихъ видахъ было-бы, можетъ, правильно представить здѣсь же образцы другихъ празднословій на ту же тему и остановиться на нихъ нѣсколько дольше, чѣмъ это сдѣлано выше, въ нѣсколькихъ словахъ о хорѣ, поющемъ фальшивыми голосами жестокія пѣсни. Голосъ у нашего почтеннаго романиста фальшивый, но жестокихъ пѣсенъ онъ не поетъ. И хотя по временамъ, читая его статью, нельзя не возмущаться, но въ общемъ въ ней преобладаетъ комическій элементъ. Далеко не таковы другіе празднословящіе во славу чистаго искусства и независимости его отъ «стороннихъ примѣсей морали и общественности». Тутъ есть и мрачною злобою и уязвленнымъ самолюбіемъ Ѳомы Опискина пропитанные; и точныя копіи словоточивости Іудушки Головлева,— не той его безпредметной словоточивости, которой не чуждъ и г. Боборыкинъ, а той презрѣнной, которая опутываетъ благонамѣренными рѣчами гнусныя дѣла и помыслы. Однако, на этотъ, по крайней мѣрѣ, разъ, я долженъ ограничиться указаніемъ на существованіе этихъ фигуръ и на то общее, что у нихъ есть съ г. Боборыкинымъ. Это именно—празднословіе. Они поютъ гимны въ прозѣ чистой красотѣ и чистому искусству и пишутъ хоть и не «блестящія», но весьма «негодующія тирады» противъ публицистической критики; но въ то же время, если они беллетристы, то даютъ тенденціознѣйшіе романы и повѣсти, а если критики, то—всетаки публицистическую критику, отличающуюся отъ гонимой ими критики не пріемами, а содержаніемъ идей. Я очень прошу читателя замѣтить и запомнить эту общую черту. Она объяснитъ ему многое даже въ его собственной, читательской душѣ; объяснитъ, между прочимъ, и ту скуку, которую мы

испытываемъ при чтеніи большинства статей въ защиту чистаго искусства. Зависитъ она не только отъ малоталантливости авторовъ и не только отъ безнадежности темы, а и отъ внутренняго противорѣчія, проникающаго всѣ эти писанія и выражающагося празднословіемъ. Исходныя точки и пріемы критики Бѣлинскаго мѣнялись, но въ нихъ никогда не было розни между словомъ и дѣломъ. Пусть будетъ доказана полная неосновательность взглядовъ Добролюбова на задачи и цѣли искусства, но онъ во всякомъ случаѣ примѣнялъ свою точку зрѣнія на дѣлѣ, и уже одна эта цѣльность, искренность его работы гарантируетъ ему многая лѣта вниманія читателей. Но мы видѣли, что, по признанію такого художника, какъ Гончаровъ, Добролюбовъ самимъ художникамъ разъяснялъ смыслъ ихъ образовъ и картинъ. Гораздо легче было-бы доказать неосновательность многихъ теоретическихъ воззрѣній Писарева. Но и этотъ увлекающійся и много пустяковъ говорившій юноша не празднословилъ и потому никогда не возбуждалъ въ читателѣ скуки. О г. Боборыкинѣ этого, къ сожалѣнію, сказать нельзя...

Сдѣланное выше предположеніе, что г. Боборыкинъ подъ «работами въ области психологіи, гдѣ обосновывается эстетика» разумѣетъ нѣкоторыя примѣненія психіатріи къ литературной критикѣ,—чисто гадательно. Я высказалъ его только въ виду неясности фразы г. Боборыкина, а также въ виду того, что это несомнѣнныя попытки приложенія научныхъ истинъ въ области критики. Весьма вѣроятно, что г. Боборыкинъ былъ далекъ отъ этой мысли. Весьма вѣроятно, что онъ и теперь возразитъ, что, распространяясь о наукѣ, онъ разумѣлъ не науку вообще и не иную какую-нибудь ея отрасль, а именно только научную эстетику. И политическая экономія со статистикой—науки, и этика и политика, по крайней мѣрѣ, стремятся стать научными дисциплинами, но ихъ вмѣшательства въ область литературной критики нашъ авторъ не признаетъ: тутъ должна царить одна эстетика. Но гдѣ она, эта эстетика? Я сначала подумалъ было, что она у П. И. Вейнберга въ карманѣ, откуда онъ ее вынетъ и изложитъ на страницахъ «Театральной Газеты» въ видѣ трактата о вѣчныхъ или незыблемыхъ законахъ искусства и красоты. Но вотъ въ одномъ мѣстѣ статьи г Боборыкина я, нѣсколько неожиданно, нахожу слѣдующія слова: «Напрасно кн. Волконскій ретируется за общее мѣсто объ отвлеченной вѣчной красотѣ. Въ

научной эстетикѣ давно уже объ ней никто не говоритъ». Каково положеніе! Но дѣлать нечего: г. Боборыкинъ говоритъ такимъ авторитетнымъ тономъ, что надо ему вѣрить, хотя, съ другой стороны, г. Вейнбергъ говоритъ еще, пожалуй, авторитетнѣе: онъ прямо знаетъ и обѣщаетъ показать ту вѣчную красоту, объ которой, по словамъ г. Боборыкина, люди науки давно перестали говорить. Колебанія мои еще усилились, когда я прочиталъ примѣчаніе редакціи «Вопросовъ философіи и психологіи» къ приведеннымъ словамъ г. Боборыкина. Г. Вейнбергъ не отъ лица науки говоритъ поэтому намъ съ г. Боборыкинымъ онъ не указъ и смутить насъ не можетъ. А вотъ что смутительно—мнѣніе ученой редакціи философско-психологическаго журнала: «Редакція позволяетъ себѣ не согласиться въ этомъ пунктѣ съ почтеннымъ беллетристомъ. Наука, отрицающая «вѣчное», сама себя отрицаетъ». Вотъ тутъ и разбирайся, какъ знаешь... У кого же, наконецъ. учиться бѣдной литературной критикѣ?!

Въ области эстетики есть одинъ безпокойный элементъ, чрезвычайно затрудняющій всякія объективныя теоретическія построенія. Это—вкусъ. Какъ-бы мнѣ ни доказывали, что законы вѣчной или невѣчной красоты предписываютъ мнѣ восторгаться такимъ-то художественнымъ произведеніемъ, или, напротивъ, ощущать непріятность отъ такого-то другого произведенія,—лично для меня рѣшитъ дѣло мой вкусъ. Это обстоятельство привело Писарева къ положенію: «Прекрасно только то, что нравится намъ; всѣ разнообразнѣйшія понятія о красотѣ одинаково законны—этимъ эстетика разсыпается въ прахъ». Г. Боборыкинъ приводитъ эти слова Писарева и, конечно, не одобряетъ ихъ. Да и нельзя одобрить: эстетика не разсыпается въ прахъ отъ разнообразія вкусовъ, какъ не разсыпается этика отъ разноголосицы такого же безпокойнаго и затрудняющаго элемента—совѣсти. Этика именно и строится на фактѣ существованія совѣсти, а эстетика—на фактѣ существованія вкуса. Но вопросъ о разнообразіи вкусовъ всетаки остается, и я, опять-таки нѣсколько неожиданно, читаю въ статьѣ г. Боборыкина: «Вы не можете принудить себя наслаждаться картиной, романомъ или симфоніей; это будетъ зависѣть и отъ того, подѣйствуетъ-ли произведеніе на ваше чувство красоты, и отъ того, въ какомъ вы находитесь личномъ настроеніи». Не усомниться ли намъ, наконецъ, въ научномъ авторитетѣ г. Боборыкина и не обратить-

ся-ли за разрѣшеніемъ нашихъ сомнѣній въ другія инстанціи? Но куда? Въ видахъ безпристрастія слѣдовало-бы обратиться въ такую инстанцію, которую и самъ г. Боборыкинъ признаетъ.

Г. Боборыкинъ хорошъ тѣмъ, что въ его беллетристикѣ вы сейчасъ видите «съ кого онъ портреты пишетъ и гдѣ разговоры эти слышитъ», а въ его философско-публицистическихъ трудахъ— какія онъ наканунѣ книжки читалъ, а иногда даже до какой страницы онъ ихъ дочиталъ. Онъ сыплетъ Гельмгольцами и Брюкке, Веберами и Эттингенами, но цитируетъ изъ людей науки только Фехнера, а именно его Vorschule der Aesthetik, въ которой поминаются и Гельмгольцъ, и Брюкке, и Веберъ, и Эттингенъ. Сочиненіе это не представляетъ собою чего-нибудь рѣшающаго въ области эстетики, но самъ Фехнеръ, конечно, очень большой человѣкъ въ наукѣ, хотя и пропущенный въ «Книгѣ о книгахъ» г. Янжула, а потому всякое его мнѣніе заслуживаетъ серьезнаго вниманія; гораздо болѣе серьезнаго, чѣмъ то, какое ему оказалъ г. Боборыкинъ.

Указавъ на разнообразіе вкусовъ и на крайнюю сложность причинъ этого разнообразія, Фехнеръ пишетъ:

„Что касается рѣшенія споровъ между различными вкусами, то спрашивается прежде всего—кто долженъ быть судьей? Чувство? Но споръ вкусовъ и есть именно споръ чувствъ, а потому не можетъ быть рѣшенъ чувствомъ. Разсудокъ? Если ему удастся установить критеріи, по которымъ нѣчто прекрасно, то это будетъ просто признаніемъ или отверженіемъ вкуса... Но, къ сожалѣнію, эти критеріи такъ спорны между эстетиками, такъ колеблются, такъ неопредѣленны или парятъ на такой философской высотѣ что съ ихъ точки зрѣнія парики и шлейфы могутъ быть такъ же оправданы, какъ и греческая одежда... Я не эстетическій спаситель, призванный измѣнить это положеніе вещей. Я самъ того мнѣнія, что нельзя установить критерій, способный рѣшить споръ вкусовъ во всѣхъ случаяхъ. Есть только одинъ принципъ, достаточно ясно указывающій точку зрѣнія, съ которой можетъ быть введенъ и, по крайней мѣрѣ, въ не очень сложныхъ случаяхъ, дѣйствительно, рѣшенъ споръ... Сама по себѣ эта точка зрѣнія очень проста, но трудно ея примѣненіе... Дѣло здѣсь идетъ не только объ томъ, что нравится или не нравится непосредственно... но и объ томъ— хорошо ли, что это нравится, а то не нравится, выигрываетъ или проигрываетъ отъ такихъ вкусовъ благоденствіе, счастіе, благо всего человѣчества въ цѣломъ... Принципъ этотъ зависитъ отъ общаго отношенія красоты къ добру и гласитъ кратко: лучшій вкусъ тотъ, изъ котораго истекаетъ лучшее для человѣчества; лучшее же для человѣчества есть то, что болѣе согласуется съ его современнымъ, а предположительно и будущимъ благоденствіемъ". (Vorschule der Aesthetik. Erster Theil, 246, 256, 264).

Какъ видите, Фехнеръ не оправдываетъ надеждъ и ссылокъ на него г. Боборыкина. Какъ видите, большой человѣкъ науки, при томъ въ сочиненіи, спеціально посвященномъ эстетикѣ, въ сочиненіи, самимъ г. Боборыкинымъ почтительно цитируемомъ, несовсѣмъ согласенъ съ Теофилемъ Готье, котораго тотъ же г. Боборыкинъ цитируетъ уже не съ почтеніемъ, а съ восторгомъ... И далась же ему эта наука! зачѣмъ? То ли дѣло французская беллетристика...

Г. Боборыкинъ оканчиваетъ статью двумя эстетическими тезисами, объ которыхъ скромно говоритъ, что они «не исчерпываютъ всего содержанія эстетики», но даютъ «указаніе на то, что добыто наукой». Послѣ всего вышесказаннаго, я могу избавить себя отъ разбора этихъ тезисовъ, тѣмъ болѣе, что они представляютъ собою простые антитезисы двумъ же тезисамъ кн. Волконскаго. Если въ нихъ и есть что отъ науки, то это—указаніе на участіе безсознательнаго начала въ творчествѣ.

Въ томъ, что роль безсознательныхъ процессовъ въ художественномъ творчествѣ вообще весьма значительна,—никто давно уже не сомнѣвается. Но, во-первыхъ, пропорцію сознательнаго и безсознательнаго элементовъ не такъ-то легко опредѣлить: она сильно колеблется не только у разныхъ художниковъ, но и въ разныхъ областяхъ искусства и даже въ разныхъ отдѣлахъ одной и той же области (напр., не только въ музыкѣ и живописи, но и въ лирическомъ произведеніи и романѣ). А во-вторыхъ, хотя опредѣленіе пропорціи сознательнаго и безсознательнаго элементовъ въ данномъ произведеніи и можетъ составить одну изъ задачъ критики, но это еще ничего не говоритъ противъ «стороннихъ примѣсей».

Я хотѣлъ кончить настоящую замѣтку разборомъ какого-нибудь произведенія г. Боборыкина, напримѣръ, «Дѣльцовъ» или «Жертвы вечерней». Я хотѣлъ совершить это пріемами, которыми долженъ бы былъ остаться доволенъ самъ авторъ разбираемыхъ произведеній, то есть «по строго-научному методу». Но увы! я такъ и до сихъ поръ не знаю, въ чемъ этотъ методъ состоитъ,—не научилъ меня г. Боборыкинъ этому дѣлу своей статьей. Тогда я рѣшилъ попробовать критику эстетическую, хотя бы и безъ научнаго критерія. Отрицательная часть программы такой кри-

тики совершенно ясна: не надо вводить «стороннія примѣси морали и общественности». Я приготовился благоговѣть передъ чистой красотой, разлитой въ произведеніяхъ г. Боборыкина. Но опять увы! Я не нашелъ тамъ чистой красоты. Извѣстно, что въ романахъ г. Боборыкина всегда есть опредѣленная тенденція, заданная себѣ авторомъ морально-общественная тема (въ «Жертвѣ вечерней» эту тему составляетъ лицемѣріе служителей чистаго искусства; помните Домбровича?) и затѣмъ рядъ фотографическихъ портретовъ, оригиналы которыхъ легко узнаются. Что же тутъ дѣлать эстетической критикѣ? Опредѣлять долю участія сознательнаго и безсознательнаго элемента въ творчествѣ г. Боборыкина? Промахнуться можно, да и игра не стоитъ свѣчъ. Я это сдѣлаю лучше на другомъ примѣрѣ.

Я сдѣлаю это на самомъ себѣ. Я уже говорилъ какъ-то въ своихъ воспоминаніяхъ о своихъ беллетристическихъ попыткахъ, оканчивавшихся тѣмъ, что я ихъ бросалъ, сознавая отсутствіе во мнѣ художественнаго таланта. Изъ того, однако, что меня тянуло къ беллетристикѣ и что я бросалъ работу, потому что былъ недоволенъ ею, изъ этого, говорю, видно, что если я не великій художникъ, то и не жалкій ремесленникъ. Слѣдовательно, характеръ моего «творчества», надо думать, не очень отличается отъ характера творчества средняго русскаго беллетриста. Нижеслѣдующія мои признанія посвящаю поэтому г. Боборыкину въ качествѣ матеріаловъ для его будущихъ «этюдовъ по психологіи творчества».

Въ началѣ 80-хъ годовъ я задумалъ романъ подъ заглавіемъ «Карьера Оладушкина» (два отрывка изъ него были напечатаны). Происхожденіе этого романа такое. Мнѣ часто случалось упрекать Г. И. Успенскаго за то, что онъ не пишетъ романа изъ современной русской жизни, представлявшей въ ту пору, въ разныхъ слояхъ общества, цѣлый рядъ необыкновенно интересныхъ положительныхъ и отрицательныхъ типовъ. Г. И. Успенскій съ особеннымъ, свойственнымъ ему юморомъ отвѣтилъ однажды: «не могу; романъ,—вѣдь это значитъ надо начинать: «Марья Ивановна полулежала на кушеткѣ»,—гдѣ же мнѣ этакое написать? не мое это дѣло». Я возражалъ, что именно его дѣло, что нѣтъ надобности въ такомъ именно началѣ, но не бѣда, если-бы и въ самомъ дѣлѣ «Марья Ивановна полулежала на кушеткѣ». Мы посмѣялись, но потомъ я не разъ возвращался къ этой темѣ и

однажды, шутя, сказалъ: «смотрите, Г. И., если вы не возьметесь за романъ, такъ я начну, и вамъ стыдно будетъ, что такой матеріалъ мнѣ уступили, потому что ужъ, конечно, это не мое дѣло».—И что же? такъ и будетъ: «Марья Ивановна полулежала на кушеткѣ»? -- Непремѣнно. — Мы опять посмѣялись, но мысль о романѣ въ самомъ дѣлѣ стала меня преслѣдовать. Какъ она складывалась въ опредѣленные образы и картины, что тутъ было сознательнаго и что — безсознательнаго, я частью не помню, а изъ того, что помню, кое-что разскажу сейчасъ. Первыя же строки романа, послѣ окончательной обработки, оказались такими:

«— Ты вотъ что мнѣ скажи, Женевьева, вотъ ты больна теперь, — ну, какъ же онъ ходитъ: на цыпочкахъ или всей ступней?

«Такъ съ чрезвычайно серьезнымъ видомъ спрашивалъ Евгеній Павловичъ Суровской свою сестру, Евгенію Павловну Зимогорову, сидя въ большомъ креслѣ возлѣ кушетки, на которой полулежала его собесѣдница. Онъ звалъ ее Женевьевой отчасти въ видахъ того веселаго остроумія, которое называетъ старуху «старушенціей», шляпу—«шляпенціей» и пики—«пикендрясами». а отчасти потому, что неудобно было называть ее употребительнымъ уменьшительнымъ именемъ «Женя», — она сама его такъ называла. Родителямъ пришла въ голову игривая мысль дать имъ одинаковыя имена: Евгеній и Евгенія».

Какъ видите, героиня въ первыхъ же строкахъ романа таки полулежала на кушеткѣ. Это было сдѣлано намѣренно, вполнѣ сознательно, такъ сказать, въ пику Г. И. Успенскому. Первоначально, такъ именно романъ и начинался: «Марья Ивановна полулежала на кушеткѣ». Но почему потомъ имя перемѣнилось, я бы не могъ сказать (въ смыслѣ моихъ личныхъ отношеній и моихъ понятій о красивости, эти имена были совершенно безразличны), какъ не могъ бы сказать, почему у брата и сестры оказались одинаковыя имена. Это вышло вполнѣ безсознательно, хотя, можетъ быть, потомъ, въ теченіе повѣствованія, я на этомъ случайномъ обстоятельствѣ построилъ бы что-нибудь сознательно, — какую-нибудь мелочь, конечно. Но разъ ужъ такъ вышло, я остался доволенъ совпаденіемъ именъ: мнѣ казалось и, я думаю, не безъ основанія, что эта случайная мелочь способствуетъ индивидуализаціи и живости дѣйствующихъ лицъ, выдѣляетъ ихъ изъ множества фигурирующихъ въ романахъ братьевъ

и сестеръ. Меня занимали нѣкоторыя явленія тогдашней нашей общественной жизни, которыя я именно и рекомендовалъ настойчиво Г. И. Успенскому для художественной обработки. Тутъ были факты и типы весьма различной цѣнности съ точки зрѣнія «стороннихъ примѣсей морали и общественности». И занимали они меня, мою мысль и воображеніе, если не исключительно, то, главнымъ образомъ, съ этой стороны. Я испытывалъ, правда, нѣкоторое особое, отличное отъ нравственнаго, чувство, когда сырой матеріалъ наблюденій перегоралъ въ фантазіи и группировался въ картины по постепенно вырабатывавшемуся плану; и, можетъ быть, это чувство заслуживаетъ названія «эстетической эмоціи». Но не только тогда, когда романъ обдумывался и писался, а и теперь, издали, я бы не могъ отдѣлить это чувство отъ любви и ненависти, жалости и презрѣнія къ своимъ дѣйствующимъ лицамъ. Кромѣ того, я зорко, чисто разсудочнымъ путемъ слѣдилъ за тѣмъ, чтобы не впасть въ обычные промахи беллетристовъ средняго и малаго роста.

Главный изъ этихъ промаховъ состоитъ въ пересолѣ: положительные типы бываютъ слишкомъ обременены физическими, нравственными и умственными достоинствами, изъ подъ груды которыхъ еле выглядываетъ живое лицо; типы отрицательные, напротивъ, нелюбимыя дѣтища творческой фантазіи,—слишкомъ ужъ замазаны грязью. Большіе художники избѣгаютъ этихъ промаховъ, благодаря прирожденному такту, чувству мѣры, но и они, я думаю, вносятъ сюда извѣстную долю чисто сознательной работы. Центральной фигурой моего романа былъ ничтожный негодяй, и это былъ вполнѣ сознательный выборъ. Положительные типы должны были фигурировать въ романѣ, и даже въ довольно большомъ количествѣ, но, помимо затрудненій внѣшняго, посторонняго характера, я чувствовалъ, что не справлюсь съ положительнымъ типомъ, поставленнымъ въ центрѣ романа. Однако, и ничтожный негодяй причинялъ мнѣ не мало заботы: пересолъ и тутъ былъ очень возможенъ. Надо было строго очертить предѣлы негодяйства, что я и сдѣлалъ умственно, рѣшивъ предоставить безсознательному процессу лишь второстепенныя подробности. Ибо, какъ только я началъ романъ, такъ уже и не сомнѣвался, что этотъ безсознательный процессъ своевременно выставитъ что нужно изъ пережитаго, но хранящагося въ запасной кладовой по ту сторону порога сознанія. Оладушкинъ (такъ

звали моего негодяя) долженъ былъ, по плану романа, торжествовать. Задача въ томъ именно и состояла, чтобы показать тѣ условія, при которыхъ можетъ торжествовать такой человѣкъ. Но оставить его вполнѣ безнаказаннымъ мнѣ было-бы тяжело, какъ-то оскорбительно, хотя, съ другой стороны, я понималъ прѣсноту обычнаго торжества добродѣтели и казни порока. Я выбралъ нѣчто среднее. Въ заключительной сценѣ дѣвушка, которую Оладушкинъ не то, чтобы любитъ, но которой онъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ добивается, отталкиваетъ его еще разъ. Она оскорблена тупой самоувѣренностью Оладушкина, думающаго, что послѣ всего, имъ совершеннаго, она можетъ отвѣтить благосклонно на его признанія и предложенія. Въ горячей, раздраженной рѣчи она перечисляетъ ему всѣ его мерзости (эту рѣчь говорилъ-бы я, авторъ, насколько съумѣлъ-бы преобразиться въ дѣвушку). Одушевленіе придаетъ необыкновенную красоту и безъ того красивой дѣвушкѣ. Въ Оладушкинѣ борются разныя чувства, въ числѣ которыхъ есть и прямо злоба, но, будучи актерскою натурой, онъ быстро приспособляется къ данному положенію и спрашиваетъ, — что онъ долженъ сдѣлать, чтобы искупить свои вины. Дѣвушка, взволнованная и раздраженная, убѣгаетъ въ другую комнату и высылаетъ ему оттуда Евангеліе, перегнутое на 27-й главѣ Евангелія отъ Матвѣя съ подчеркнутыми словами: «И, бросивъ сребренники въ храмѣ, онъ вышелъ; пошелъ, и удавился».

Это послѣднія строки романа. Читателю предоставлялось самому рѣшить,—что было или могло быть дальше, потому что, признаюсь, я и самъ этого не зналъ.

Хотя многое въ романѣ было взято изъ дѣйствительной жизни, въ томъ числѣ нѣкоторыя даже общеизвѣстныя событія, но я прилагалъ всѣ старанія, чтобы въ немъ не было фотографическихъ портретовъ, за однимъ, однако, исключеніемъ. Романъ предполагался въ двухъ частяхъ. Дѣйствіе первой части происходитъ въ провинціи, въ средѣ гимназическихъ учителей, средней руки чиновниковъ и помѣщиковъ. Вторая часть въ Петербургѣ — Оладушкинъ устраиваетъ свои дѣла и для этого является къ разнымъ лицамъ, въ числѣ которыхъ есть нѣсколько писателей. Одного изъ нихъ, но только одного, я и думалъ сфотографировать съ дѣйствительности. И вотъ почему: этотъ писатель едва-ли не первый ввелъ у насъ въ беллетристику

пріемъ самаго точнаго описанія наружности, обстановки, всей вообще внѣшности извѣстнаго лица, такъ что его всякій узнать можетъ, при чемъ, однако, авторъ приписывалъ ему иногда некрасивые поступки, которыхъ на совѣсти того лица никогда не бывало. Я не знаю, какое мѣсто занимаетъ этотъ пріемъ въ области «прекраснаго» и въ «психологіи творчества», но знаю, что имъ очень легко пользоваться. И я воспользовался, съ тою, однако, разницею, что усвоилъ своему дѣйствующему лицу не дрянность какую-нибудь а, напротивъ, благородный поступокъ. Я приведу отрывокъ одной изъ главъ романа. Глава эта называется:

Матье Латошъ.

Матье Латошъ нервной походкой разгуливалъ по своей «рабочей комнатѣ», какъ онъ обыкновенно называлъ свой кабинетъ. Онъ то засовывалъ руки въ карманы, то быстро и сильно скребъ ими свою стриженую голову, то взглядывалъ на свою фигуру въ простѣночное зеркало, то переставлялъ и перекладывалъ съ мѣста на мѣсто мебель, книги, разныя мелочи, то окидывалъ взглядомъ «ансамбль» рабочей комнаты, которою очень гордился. По серединѣ комнаты стоялъ большой письменный столъ подъ черное дерево, покрытый синимъ сукномъ и установленный множествомъ бронзовыхъ принадлежностей письменной работы, а также фотографическими карточками болѣе или менѣе красивыхъ дамъ. Передъ столомъ стояло кресло въ «русскомъ стилѣ»: спинка представляла ямщицкую дугу, а на одномъ изъ краевъ сидѣнья была какъ-бы брошена довольно аляповато вырѣзанная рукавица. Вдоль одной изъ стѣнъ протянулся турецкій диванъ, по сторонамъ котораго прислонились къ стѣнѣ два маленькіе книжные шкафа, тоже подъ черное дерево, затянутые синей тафтой вмѣсто стеколъ. На небольшомъ кругломъ столѣ въ углу комнаты были съ чрезвычайною аккуратностью звѣздообразно разложены книги и журналы. На другомъ столѣ, въ противоположномъ углу, были съ такою-же тщательностью уложены альбомы и éditions de luxe, красивые переплеты которыхъ были точно вчера сдѣланы. На каминѣ стояли бюстики Вольтера и Руссо изъ терракоты. На стѣнахъ висѣли: большой портретъ Эмиля Зола, нѣсколько фотографій вродѣ «Истины» (голая женщина на днѣ колодца съ факеломъ въ высоко поднятой кверху рукѣ) и

«Поэзіи» (голая женщина, бряцающая на лирѣ) и одна довольно большая картина масляными красками въ слишкомъ широкой и слишкомъ изукрашенной лѣпкою золотой рамѣ. Картина изображала стараго усатаго человѣка въ военномъ сюртукѣ безъ эполетъ и погонъ, вытянувшаго одну руку впередъ; на этой рукѣ сидитъ комаръ нѣсколько преувеличенныхъ размѣровъ; усатый человѣкъ пристально смотритъ на налившагося кровью комара и уже занесъ свободную руку, чтобы вотъ сейчасъ прихлопнуть кровопійцу.

Всѣмъ этимъ Матвѣй Ивановичъ былъ очень доволенъ, все это казалось ему особенно хорошо подходящимъ для «рабочей комнаты» извѣстнаго литератора. Но съ наибольшею любовью останавливался онъ на картинѣ масляными красками. Во-первыхъ, это была обновка: она всего нѣсколько дней, какъ украсила собою рабочую комнату, а до нея надъ турецкимъ диваномъ висѣли «Истина» и «Поэзія». Во-вторыхъ, Латошу нравился «натурализмъ» картины. Въ-третьихъ, онъ радовался, что въ его рабочей комнатѣ висѣлъ, наконецъ, «оригиналъ», «уника». Это была давнишняя мечта Матвѣя Ивановича и вотъ только съ недѣлю тому назадъ мечта осуществилась. Латошъ писалъ много и быстро, зарабатывалъ очень хорошія деньги, но всетаки не могъ тратиться на такія дорогія вещи, какъ оригинальныя картины, да и скуповатъ былъ. На его счастье одинъ пріятель художникъ изъ «реалистовъ», отъѣзжая на долгій срокъ за-границу, вздумалъ раздарить свои непродававшіеся этюды. Этюдъ человѣка съ комаромъ достался Матвѣю Ивановичу, и онъ вставилъ его въ широкую золотую раму и повѣсилъ его надъ турецкимъ диваномъ.

Матвѣй Ивановичъ видимо волновался и ждалъ. Ждалъ онъ новую «сотрудницу». Работая, какъ уже сказано, много и быстро, Латошниковъ обыкновенно диктовалъ свои произведенія и всегда пріискивалъ для этой работы женщинъ, которыхъ галантно величалъ своими сотрудницами. Сегодня должна была придти новая такая сотрудница. Онъ уже сговорился съ ней и теперь вспоминалъ ея красивое лицо и своеобразное изящество всей ея фигуры. «Иностранецъ изъ донскихъ казаковъ» былъ очень чувствителенъ къ женской красотѣ.

Матвѣй Ивановичъ уже въ десятый разъ взглянулъ на часы, въ пятый разъ полюбовался на человѣка съ комаромъ, въ третій

разъ переложилъ Fortnightly Review на мѣсто Revue des deux Mondes и бронзовый бюваръ на мѣсто бронзоваго преспапье. Наконецъ, позвонилъ. На звонокъ явился бѣлобрысый мальчикъ лѣтъ пятнадцати съ плутоватой физіономіей, одѣтый въ темную куртку съ нашитыми на груди красными шнурами на манеръ венгерки или гусарки. Костюмъ этотъ Латошъ скопировалъ съ костюма лакея одного знаменитаго французскаго писателя.

— Барыня дома?—сурово спросилъ Латошъ.

— Никакъ нѣтъ.

— А это что?

Лакейчикъ посмотрѣлъ по направленію простертой руки барина, но не понялъ. Простертая рука указывала на подсвѣчникъ, розетка котораго была закапана стеариномъ.

— Это что?—повторилъ Латошъ. Но лакейчикъ не успѣлъ ничего сообразить, потому что въ передней раздался звонокъ, и онъ опрометью бросился отворять. Матвѣй Ивановичъ быстро обдернулъ свой кургузый пиджачекъ, звонко шлепнулъ себя неизвѣстно для чего по ляшкѣ и посмотрѣлся въ зеркало.

— Марья Гавриловна Дунина! — доложилъ лакейчикъ, распахивая дверь и пропуская въ рабочую комнату нашу старую знакомую.

Марья Гавриловна мало измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ мы ея не видали: та же прическа, тѣ же какъ-бы удивленные, недоумѣвающіе, широко раздвинутые глаза, та же стройная фигура, то же черное платье, тотъ-же черный кружевной шарфикъ, высоко, почти до ушей закрывающій шею. Латошниковъ быстро оглядѣлъ ее съ головы до ногъ и почти машинально записалъ у себя въ памяти всѣ эти подробности. Это была его всегдашняя привычка: онъ набиралъ такимъ образомъ матеріалъ для своихъ многочисленнымъ романовъ и повѣстей.

— Вы очень аккуратны,—заговорилъ онъ, обѣими руками здороваясь съ гостьей.—Вамъ время дорого, мнѣ тоже. Мы сейчасъ-же примемся за работу, но сначала позвольте мнѣ нѣсколько словъ... Пожалуйте сюда, садитесь...

Латошъ указалъ на турецкій диванъ, но въ ту же секунду передумалъ и, быстро повернувъ стоявшее у письменнаго стола кресло «русскаго стиля», усадилъ Дунину такъ, что человѣкъ съ комаромъ пришелся прямо передъ ея глазами, а самъ, стоя, продолжалъ, сильно и размашисто жестикулируя:

— Когда я имѣлъ честь съ вами познакомиться, я не успѣлъ высказать вамъ нѣкоторые свои взгляды. Я слишкомъ мало знаю вашъ образъ мыслей и, во избѣжаніе недоразумѣній, хотѣлъ бы предварить васъ, что именно вамъ придется писать...

— Матвѣй Ивановичъ...—начала было Дунина, но Латошниковъ не далъ ей договорить.

— Pardon, я понимаю, что вы хотите сказать, но, видите ли, нынѣшняя молодежь такъ странно смотритъ иногда на вещи. Сотрудница, бывшая у меня до васъ, прямо отказалась писать подъ мою диктовку, на основаніи какого-то дикаго пуризма, какихъ-то морально-цивическихъ мотивовъ, совсѣмъ неумѣстныхъ въ искусствѣ... Да вотъ, позвольте васъ попросить взглянуть на эту картину. Это—Карамышева картина...

Латошъ шагнулъ къ человѣку съ комаромъ, щелкнулъ пальцемъ по полотну и потомъ отскочилъ на старое мѣсто. Дунина съ любопытствомъ слѣдила за нимъ своими черными, широко раскрытыми глазами.

— Почему, спрошу я васъ, это недостойный сюжетъ для искусства? Почему вамъ непремѣнно нужно Муція Сцеволу и чтобы рука у него жарилась на огнѣ? Подвигъ самъ по себѣ, а искусство само по себѣ, не такъ ли? Эстетическая эмоція вполнѣ самостоятельна, и человѣкъ, подставляющій руку комару, такъ же законенъ, такъ же интересенъ съ точки зрѣнія жизненной правды, какъ и Муцій Сцевола! Этого мало-съ!.. Болѣе законенъ, да съ! Это вамъ, конечно, кажется парадоксомъ?

Задавъ этотъ вопросъ, Латошниковъ весь согнулся въ таліи впередъ и такъ близко наклонилъ лицо къ лицу собесѣдницы, что та инстинктивно отшатнулась.

— Мнѣ и въ правду это кажется парадоксомъ,—отвѣтила она, улыбаясь,—но я не знаю, почему вы говорите, что мнѣ непремѣнно нуженъ Муцій Сцевола. Мы еще такъ мало знакомы...

— Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше, если я ошибаюсь. Но я привыкъ видѣть, что нынѣшніе молодые люди заражены самыми невозможными понятіями объ искуствѣ. Это все наша несчастная критика надѣлала! Такъ ужъ съ Добролюбова повелось, но у того были, по крайней мѣрѣ, тактъ, чутье, а это... помилуйте! Я вполнѣ раздѣляю прогрессивные взгляды нашей передовой журналистики, но, je vous demande bien pardon, я эстетикъ! (Латошниковъ отступилъ шагъ назадъ, поднялъ кверху плечи, потомъ выхватилъ изъ бокового

кармана носовой платокъ, но не высморкался, а только помахалъ платкомъ въ воздухѣ и опять сунулъ его въ карманъ). Знаю, что «эстетикъ» ругательное слово, знаю-съ! Знаю, что, объявляя себя таковымъ, я самъ заграждаю себѣ доступъ въ нѣкоторыя изданія, даже симпатичныя мнѣ... Да вотъ, потрудитесь посмотрѣть...

Матвѣй Ивановичъ быстрымъ и рѣзкимъ жестомъ выдвинулъ одинъ изъ ящиковъ письменнаго стола, вытащилъ оттуда нѣсколько листковъ корректуры, протянулъ ихъ къ самому носу Дуниной, какъ бы давая понюхать, потомъ положилъ на столъ и похлопалъ по нимъ ладонью. Дунина взглянула на часы. Не смотря на все увлеченіе своей рѣчью, Латошниковъ отмѣтилъ про себя, что часы открытые, серебряные, мужскіе, и висятъ на черномъ шнуркѣ.

— Я сейчасъ кончу и мы примемся за работу,—замѣтилъ онъ, комментируя жестъ съ часами.

— Да я хочу вамъ сказать, Матвѣй Ивановичъ...

— Знаю, знаю, сейчасъ вы увидите... Исторія вотъ какого рода. Я давно помѣщаю свои романы въ «Прогрессѣ», а теперь предложилъ имъ рядъ небольшихъ очерковъ подъ названіемъ «Картинки». Тутъ будутъ и чисто, знаете, бытовые очерки (Латошъ погрозилъ кому-то въ пространство кулакомъ), будетъ и настоящая жизненная драма (онъ отступилъ шагъ назадъ, скрестилъ на груди руки по наполеоновски и изобразилъ на своемъ лицѣ жизненную драму), но, понимаете ли, дѣйствующія лица будутъ переходить изъ одного очерка въ другой (онъ мгновенно раскрестилъ руки и сдѣлалъ скачекъ впередъ, показывая, какъ дѣйствующія лица будутъ переходить). Въ этомъ будетъ заключаться единство «Картинокъ», которыя вамъ именно и придется писать. Но первые три очерка уже написаны, и представьте себѣ, что редакція «Прогресса» ихъ забраковала! да-съ! На какомъ основаніи? (Латошъ откинулся всѣмъ корпусомъ назадъ). А потому, извольте видѣть, что тамъ изображена красивая молодая дѣвушка, принимающая касторовое масло! Это все содержаніе первой «картинки», ни больше, ни меньше. И замѣтьте отсталость господъ либераловъ (Латошъ перегнулся впередъ и опять такъ приблизилъ лицо къ лицу Дуниной, что она отшатнулась): реалисты во всемъ, а сами сознаются, что это для нихъ слишкомъ реально! Нельзя. видите ли, описывать, какъ въ углахъ губъ красивой дѣвушки осталось нѣсколько касторового масла

и какъ она отъ этого морщится! Нельзя сдѣлать изъ этого отдѣльную, самостоятельную картину! Да, вѣдь, это натура, это жизнь! Вся моя задача въ томъ и состоитъ, чтобы показать, что эстетическая эмоція независима отъ сюжета. Англійская психологія...

Дунина, едва сдерживавшая улыбку во время монолога Латоша, опять посмотрѣла на часы и рѣшительно встала, къ чему ее побудило отчасти и упоминаніе о касторовомъ маслѣ, котораго она не выносила.

— Извините, что я васъ перебиваю,—сколько она,—я сегодня не могу у васъ писать; затѣмъ именно и зашла къ вамъ, сказать это. Я сейчасъ должна быть у одного пріѣзжаго, очень мнѣ близкаго человѣка...

— А!—удивленно и явно недовольно отозвался Латошъ.—Жаль! Такъ когда же мы начнемъ?

Дунина говорила правду: она, дѣйствительно, зашла къ Матвѣю Ивановичу затѣмъ, чтобы извиниться, только онъ по стремительности своей не далъ ей до сихъ поръ слова сказать. Но недовольный тонъ Матвѣя Ивановича подсказывалъ ея совѣсти еще другую причину ея ухода. Ей казалось, что Латошъ думаетъ, будто она отъ касторового масла и эстетической эмоціи уходитъ, чего тотъ вовсе не думалъ: иностранецъ изъ донскихъ казаковъ былъ вполнѣ доволенъ собой. Но Дуниной всетаки казалось необходимымъ какъ-нибудь удостовѣрить его.

— Въ другой разъ буду аккуратна,—сказала она.—А это пріѣхалъ мой старинный пріятель. Можетъ, слыхали, Таволгинъ?

— Таволгинъ! вскричалъ Латошъ, почти съ ужасомъ отскакивая назадъ.—Mais ce n'est pas un homme de votre bord!

— А вы почемъ знаете мой bord, Матвѣй Ивановичъ?—строго спросила Дунина.

— Виноватъ, простите... Я лично не имѣю чести знать господина Таволгина. Слышалъ, что онъ человѣкъ оригинальный и талантливый, но нѣсколько... безпорядочный... Извините, я слухъ передаю, довольно, впрочемъ, распространенный и, кажется, достовѣрный слухъ.

— Таволгинъ несчастный человѣкъ, но лучше его я никого не знаю.

— Вы такъ горячо говорите, что я готовъ ему завидовать. Да я и вообще противъ него ничего не имѣю, даже никогда съ нимъ не встрѣчался. Готовъ даже помочь ему...

— Чѣмъ вы ему можете помочь?

— Онъ теперь, я знаю, безъ работы, а я имѣю кое-какія литературныя связи и могъ бы поговорить объ немъ.

— Вотъ это будетъ мило. Только не знаю, согласится ли... Онъ вѣдь и въ самомъ дѣлѣ чудакъ Но всетаки запишите его адресъ: Выборгская сторона, Вознесенская улица, домъ № 107, меблированныя комнаты, Владиміръ Александровичъ Таволгинъ.

Латошниковъ записалъ.

— Такъ когда же мы начнемъ?

— Когда хотите, хоть завтра.

— Буду ждать, буду ждать. Я хотѣлъ познакомить васъ съ женой и вообще надѣюсь, что отношенія наши не ограничатся условнымъ сотрудничествомъ...

Латошниковъ проводилъ Дунину въ переднюю, оттолкнулъ лакейчика, самъ надѣлъ на «сотрудницу» пальто и, выпустивъ ее на лѣстницу, крикнулъ:

— Sans rancune за господина Иволгина!

—Таволгина, а не Иволгина. Таволгинъ, Владиміръ Александровичъ, у васъ записано.

Сходя по лѣстницѣ и припоминая фигуру Латошникова, его жестикуляцію, его разсужденія о касторовомъ маслѣ и Муціи Сцеволѣ, Дунина не могла удержаться отъ смѣха вслухъ, который, однако, тотчасъ же оборвала, потому что снизу, навстрѣчу ей, поднимался какой-то мужчина. Это былъ Оладушкинъ, но она его не узнала и отвѣтила едва замѣтнымъ кивкомъ головы на преувеличенно почтительный жестъ, съ которымъ онъ снялъ передъ ней свою новенькую, блестящую цилиндрическую шляпу. Она подумала, что этотъ щеголеватый господинъ обознался, принялъ ее за другую. Оладушкинъ же, пропустивъ ее, остановился, подумалъ и вдругъ повернулъ назадъ, внизъ по лѣстницѣ...

— Сейчасъ тутъ вышла дама; въ которую сторону она пошла?— спросилъ онъ у швейцара.

Швейцаръ, здоровый, усатый отставной гвардеецъ, у котораго Оладушкинъ только что освѣдомлялся о номерѣ квартиры Латошникова, съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него.

— Налѣво, кажись, взяли.

Оладушкинъ тоже взялъ налѣво и, сдѣлавъ нѣсколько уторопленныхъ шаговъ, увидѣлъ, что Дунина садится на извозчика. Въ то же время другой извозчикъ, согласно извѣстной примѣтѣ, при-

ворачивалъ свою лошадь къ тому счастливому мѣсту, на которомъ его собратъ получилъ сѣдока.

— Видишь, вонъ барыня ѣдетъ, поѣзжай за ней слѣдомъ, догоняй,—сказалъ Оладушкинъ, торопливо усаживаясь на дрожки второго извозчика. Тотъ задергалъ возжами и зачмокалъ, но извозчикъ Дуниной былъ гораздо лучше, и какъ ни понукалъ Оладушкинъ своего возницу, разстояніе между ними все увеличивалось. Наконецъ, когда Оладушкинъ увидѣлъ издали, что Дунина въѣзжаетъ на Литейный мостъ, онъ махнулъ рукой:

— Ну, чортъ съ ней, найду!—сказалъ онъ вслухъ и прибавилъ, обращаясь къ извозчику: поѣзжай назадъ, ворона!.. Тебѣ только покойниковъ возить!

Извозчикъ опять зачмокалъ и задергалъ возжами, и черезъ нѣсколько минутъ Оладушкинъ входилъ въ рабочую комнату Латоша.

Здѣсь-то, въ разговорѣ съ Оладушкинымъ, Латошниковъ и совершаетъ свой, не героическій какой-нибудь, но всетаки свидѣтельствующій о нравственной порядочности, поступокъ. Я его приводить, однако, не буду. Долженъ еще прибавить, что картины, изображающей человѣка съ комаромъ, я никогда и ни у кого не видалъ; равнымъ образомъ никогда не слыхалъ о разсказѣ про дѣвушку, принимающую касторовое масло. Это—плоды моей творческой фантазіи. А теперь, когда я раскрылъ всѣ секреты своего «творчества» и тѣмъ облегчилъ задачу критики, остаюсь въ ожиданіи критики строго-научной, или, по крайней мѣрѣ, просто эстетической, только, пожалуйста, не публицистической. Въ качествѣ беллетриста, хотя бы и неудачнаго, я гордо повторяю гордыя заключительныя слова статьи г. Боборыкина:

«Критики-моралисты, защитники соціальныхъ и утилитарныхъ идеаловъ могутъ служить своимъ задачамъ въ другихъ отдѣлахъ литературы и прессы, но имъ пора прекратить свою, хотя бы и невольную, оккупацію эстетической области и уступить мѣсто тѣмъ, для кого искусство не средство, а цѣль».

V *).

Основы народничества Юзова.—Памяти Тургенева.

Недавно мнѣ пришлось на этихъ самыхъ страницахъ отклонить отъ себя и еще отъ нѣкоторыхъ писателей титулъ «народниковъ», поднесенный намъ г. Мережковскимъ. Въ самомъ непродолжительномъ времени послѣ этого вышелъ второй томъ «Основъ народничества» г. Юзова, гдѣ, между прочимъ, читаемъ:

«Въ настоящее время народничество находится въ большой опасности, вслѣдствіе стремленій многихъ смѣшать, такъ сказать, шашки и прикрыть знаменемъ народничества интеллигентно-бюрократическое народолюбіе. Благодаря многочисленности защитниковъ этого послѣдняго направленія, ихъ грабительскія попытки на терминъ «народничество» могутъ быть успѣшны, и тогда народники окажутся вытѣсненными изъ собственнаго дома. Мы считаемъ себя въ правѣ протестовать противъ этихъ хищническихъ поползновеній, такъ какъ для народничества весьма важно не быть смѣшиваемымъ съ интеллигентно-бюрократическимъ народолюбіемъ, отъ котораго оно отдѣлено, можно сказать, цѣлою пропастью» (стр. 504).

Если прибавить къ этому, что изъ числа «интеллигентно-бюрократическихъ народолюбцевъ» (вѣдь выдумаетъ же человѣкъ этакое трехэтажное слово!) г. Юзовъ съ особенной яростью преслѣдуетъ меня, то получается замѣчательно комическій эффектъ. «Народничество въ опасности!» въ ужасѣ восклицаетъ г. Юзовъ. И не потому оно въ опасности, что встрѣчаетъ на своемъ пути какія-нибудь непреодолимыя или трудно преодолимыя практическія препятствія; и не потому, что у него плохіе защитники, которые, подобно г. Юзову, могутъ только компрометтировать защищаемое ими дѣло. Нѣтъ, г. Юзовъ вполнѣ доволенъ собой, своими единомышленниками, если таковые есть, и своимъ положеніемъ въ практическомъ отношеніи. Все было бы превосходно, если бы не эти «интеллигентно-бюрократическіе народолюбцы», отъ нихъ же первый есмь азъ,—«извѣстный Н. К. Михайловскій», совершившій такія-то и такія-то преступленія противъ народничества. И самое важное изъ этихъ преступленій состоитъ въ томъ, что я, не будучи вовсе на-

*) 1893, октябрь.

родникомъ, притворяюсь имъ, «стремлюсь смѣшать, такъ сказать, шашки и прикрыть знаменемъ народничества свое интеллигентно-бюрократическое народолюбіе» и вытѣснить г. Юзова изъ его «собственнаго дома», «ограбить» его. Вотъ гдѣ настоящая опасность, вотъ противъ чего горячо и смѣло протестуетъ г. Юзовъ... Но надо же было быть такому счастливому, какъ для меня, такъ и для г. Юзова, случаю, что, вѣроятно, какъ разъ въ то время, когда онъ читалъ корректуру своихъ протестовъ, опасеній и ужасовъ, я на страницахъ «Русскаго Богатства» отклонялъ отъ себя честь именоваться «народникомъ». Я, впрочемъ, и раньше никогда такъ себя не называлъ, а потому и раньше г. Юзовъ могъ быть совершенно спокоенъ за свой собственный домъ, которому, по крайней мѣрѣ, съ моей стороны никогда никакія покушенія не грозили. Грабить г. Юзова! Нѣтъ, я не такой злодѣй, да и не такъ бѣденъ, чтобы позариться на имущество г. Юзова... Я не знаю, почему «терминъ народничество» составляетъ его собственность, но знаю, что ни на какую его собственность я никогда не покушался и съ Божіей помощью надѣюсь и впредь не дойти до такой крайности.

Когда мнѣ случалось попадать лѣтомъ куда-нибудь на югъ, я очень любилъ наблюдать работу одного жука изъ Coprophaga. Жуки эти всю свою жизнь проводятъ въ томъ, что накатываютъ изъ навоза шарики, въ которые самка предварительно кладетъ яичко. Накатавъ одинъ шарикъ, они зарываютъ его въ землю и принимаются за новый. Они очень неуклюжи, и чрезвычайно интересно видѣть неловкость, но и упорство, съ которыми они катаютъ свои шарики, постепенно увеличивая ихъ размѣръ и подвигая къ назначенному мѣсту: благодаря неровностямъ почвы, шарикъ иногда опрокидываетъ ихъ самихъ, они кувыркаются, смѣшно и безпомощно дрыгаютъ лапками, съ трудомъ поднимаются и опять принимаются за дѣло. Что у нихъ при этомъ въ головѣ дѣлается,—неизвѣстно, конечно, но мнѣ всегда казалось, что ихъ настроеніе должно быть мрачно и озлобленно. Своей неуклюжести и безпомощности они, безъ сомнѣнія, не сознаютъ, а вину своихъ курбетовъ приписываютъ, вѣроятно, исключительно неровностямъ почвы, камешкамъ и вѣткамъ, попадающимся на ихъ пути, вообще врагамъ, и сердятся.

«Основы народничества» г. Юзова представляются мнѣ именно такимъ шарикомъ, сооруженнымъ съ великимъ трудомъ, неуклюже, упорно, мрачно и сердито. И я понимаю, что доставшееся такою

цѣною твореніе, авторъ охраняетъ съ излишне подозрительною ревностью, что ему мерещатся небывалые грабители, что онъ трепещетъ и протестуетъ безо всякаго смысла и повода. Успокоивъ его на этотъ счетъ, посмотримъ нѣсколько ближе на трудный процессъ его работы.

Еще въ первомъ томѣ своихъ «Основъ народничества» г. Юзовъ чрезвычайно безпокоился насчетъ «ума и чувства, какъ факторовъ прогресса». Учинивъ распрю между этими двумя факторами, г. Юзовъ рѣшаетъ ее въ пользу чувства, которому отдаетъ преимущество передъ умомъ и въ особенности передъ книжнымъ знаніемъ: послѣднее онъ преслѣдуетъ чрезвычайно жестокими и ядовитыми сарказмами. Эта война со знаніемъ у насъ въ Россіи не дѣлаетъ, конечно, чести ни уму, ни чувству автора, но ведется она столь очевидно ребяческимъ способомъ, что мы можемъ оставить побѣды г. Юзова безъ разсмотрѣнія. Любопытно для характеристики шарика г. Юзова только слѣдующее. Если умъ и чувство находятся въ состояніи распри и г. Юзовъ принимаетъ сторону чувства, то естественно ожидать, что онъ на чувство же и будетъ опираться и къ нему обращаться: будетъ собственнымъ «глаголомъ жечь сердца людей», воспламенять читателя лирикой. Ничуть не бывало. Свою войну онъ ведетъ исключительно отъ разума, при томъ отъ чужого разума: цитатами изъ Спенсера, Лекки, Рибо, Канта, Вундта, Маудсли и т. д. Презрѣніе къ книжному знанію, опирающееся на книжное знаніе, производитъ опять-таки очень комическій эффектъ, совершенно подобный тому безпомощному дрыганію лапками, которое можно наблюдать у трудолюбиваго копрофага. Надо еще замѣтить, что г. Юзовъ набираетъ свои многочисленныя цитаты часто ни къ селу, ни къ городу, съ единственною, повидимому, цѣлью показать, что вотъ онъ еще и такую-то книжку прочиталъ. Онъ дѣлаетъ это съ комически серьезною добросовѣстностью истаго копрофага. Особенно нравиться мнѣ его блистательная побѣда надъ Монтескье, при чемъ онъ указываетъ въ подстрочномъ примѣчаніи: «О существѣ законовъ. Твореніе г. Монтескье. Изданіе Василія Сопикова. Москва 1810 г. Часть II. Стр. 255—257». Съ г. «Монтескье» онъ, по крайней мѣрѣ, полемизируетъ, но и вообще по всякому удобному и неудобному поводу онъ щеголяетъ «книжнымъ знаніемъ». Такъ что я не удивился бы, если бы послѣ, напримѣръ, словъ: «яйца курицу не учатъ» я встрѣтилъ у него ссылку:

«см. Руководство къ куроводству», съ точнымъ обозначеніемъ имени автора и переводчика, года и мѣста изданія, тома, части и страницы. Казалось бы, зачѣмъ это человѣку, презирающему «кладовыя чужихъ умственныхъ продуктовъ» и «обиліе запаса чужихъ мыслей»? А вотъ подите же! Оба тома «Основъ народничества» представляютъ собою обширную «кладовую чужихъ умственныхъ продуктовъ», собранныхъ съ величайшимъ трудомъ и упорствомъ, въ которыхъ г. Юзовъ копошится съ самою комическою неуклюжестью.

Такова общая физіономія «Основъ народничества». Возьмемъ теперь какой-нибудь частный вопросъ, имѣющій непосредственную связь съ основными мыслями автора.

На стр. 101 —115 второго тома находимъ любопытное и характерное для г. Юзова разсужденіе о колдовствѣ и народной медицинѣ. Мы не войдемъ, впрочемъ, во всѣ удивительныя подробности этого разсужденія. Начинается оно такъ: «Какой-нибудь фактъ, вродѣ сожженія колдуньи или убійства колдуна, радостно подхватывается («интеллигенціей») и съ нимъ носятся по истинѣ, какъ дурни съ писанной торбой. Никто не хочетъ изслѣдовать вблизи это явленіе, оно осуждается, какъ народный предразсудокъ, просто на основаніи невозможности существованія факта «колдовства». Только въ послѣднее время эта сторона народной жизни хотя нѣсколько разъяснилась русской интеллигенціи. Оказалось, что колдуны очень сильно смахиваютъ на отравителей... Прикрывшись «колдовствомъ», какъ надежнымъ щитомъ, отъ кары закона, они отравляютъ кого хотятъ. Вздумай крестьяне жаловаться,—интеллигенція только обхохочетъ ихъ и станетъ доказывать, что никакого колдовства не можетъ быть».

Уже въ этихъ строкахъ есть нѣчто истинно поразительное. Много грѣховъ на русской интеллигенціи, но чтобы она «радостно» подхватывала факты вродѣ сожженія колдуньи или убійства колдуна... Много мрачныхъ пятенъ и на общей картинѣ русской жизни, но чтобы колдуны у насъ «отравляли кого хотятъ» и чтобы колдовство было у насъ «надежнымъ щитомъ отъ кары закона»... Нѣтъ, это, какъ хотите, фантазія. И дѣйствительно, г. Юзовъ не приводитъ отъ себя ни единаго подтверждающаго факта, а приводимая имъ въ подтвержденіе цитата изъ статьи Пономарева, будучи гораздо менѣе яркою по кра-

скамъ, ни мало не касается «интеллигенціи». «Зачастую,—говоритъ Пономаревъ,—колдунъ пользуется къ своей выгодѣ своимъ званіемъ и не старается опровергать слуховъ о себѣ; иной лѣчитъ, ворожитъ и вдобавокъ для большей популярности мистифицируетъ. Колдунъ въ обществѣ громадная сила: въ Карачевскомъ уѣздѣ Орловской губ. на колдуновъ никто не рѣшается жаловаться, а тѣмъ болѣе заводить съ ними судебныя тяжбы изъ опасенія, что послѣ судьбища будетъ и того хуже». Все это, конечно, очень печально, но далеко всетаки не то, что утверждаетъ г. Юзовъ, не повсемѣстное отравленіе колдунами «кого они захотятъ», и не «радость» интеллигенціи по случаю варварской расправы крестьянъ съ колдуномъ или колдуньей.

А между тѣмъ г. Юзовъ идетъ и еще дальше по фантастическому пути. Разъяснивъ, что колдуны суть отравители, онъ прибавляетъ: «Какъ же было нашей интеллигенціи не взять подъ свое покровительство подобнаго рода людей, составляющихъ, такъ сказать, ея первообразъ?»... Какъ такъ? Отравители—первообразъ интеллигенціи? интеллигенція беретъ подъ свое покровительство колдуновъ? та самая интеллигенція, которая «радостно подхватываетъ факты вродѣ сожженія колдуньи или убійства колдуна»?..

Когда, бывало, трудолюбивый копрофагъ опрокидывался на спинку и безпомощно болталъ своими цѣпкими, но неуклюжими лапками, мнѣ становилось его жалко, и я его переворачивалъ на брюшко...

Я бы радъ былъ помочь и г. Юзову, но, къ сожалѣнію, это совершенно невозможно. То, что онъ говоритъ,—лишено всякаго смысла, а то что онъ хочетъ сказать, было бы возмутительно, если бы не смягчающія обстоятельства его безпомощности. Онъ хочетъ сказать, что интеллигенція, въ своемъ надменномъ презрѣніи къ народу, рада всякому случаю указать на народное невѣжество и дикость, а потому хватается и за факты вродѣ сожженія колдуній и убійства колдуновъ. Интеллигенція беретъ колдуновъ и колдуній подъ свое покровительство, то есть возмущается фактомъ сожженія живого человѣка, «носится съ нимъ, какъ дурень съ писанной торбой», и г. Юзовъ этимъ недоволенъ, потому что, дескать, эти сожженныя колдуньи и убитые колдуны были отравители, и именно поэтому интеллигенція за нихъ и заступается...

Я не знаю, чему приписать это разсужденіе — обширности ли и проницательности ума г. Юзова или горячей гуманности его чувства... Да, къ счастью, давно прошли тѣ времена, когда интеллигенція не только не возмущалась сожженіемъ колдуновъ и колдуній, а требовала его. Но, къ счастію, и народныя массы совсѣмъ не такъ часто совершаютъ это злодѣйство, какъ можно бы было заключить изъ словъ г. Юзова; и вообще не такое это заурядное явленіе, чтобы толки объ немъ можно было уподобить болтовнѣ дурня съ писаной торбой. Но что дѣйствительно есть дурни, которые носятся съ писаной торбой и компрометтируютъ защищаемое ими дѣло, это, я думаю, г. Юзовъ доказалъ...

Исторія съ колдунами еще не кончена.

Г. Юзовъ, въ пику все той же несчастной интеллигенціи, замѣчаетъ, что колдовство совсѣмъ не смѣшной вздоръ, а нѣчто реальное, и ссылается при этомъ на «Физіологію ума» Карпентера. Дѣло идетъ о такъ называемыхъ психическихъ вліяніяхъ, о выжидательномъ вниманіи о вѣрѣ, существенно способствующихъ выздоровленію или заболѣванію. Послѣ Карпентера по этому вопросу выросла цѣлая огромная литература. Но это все равно: примѣры, взятые г. Юзовымъ у Карпентера, достаточно выразительны. Хотя за колдовствомъ остается всетаки много смѣшного вздора, но, несомнѣнно, есть въ немъ извѣстная сила, и силу эту составляетъ вѣра въ силу колдуна или знахаря, напряженность опасеній и надеждъ, на него возлагаемыхъ невѣжественными людьми. Отсюда г. Юзовъ заключаетъ: «Такимъ образомъ, оказывается, что твердая увѣренность народа въ силѣ колдуна дѣйствительно даетъ ему могущественное средство вредить или быть полезнымъ народу. Эксплоатируя народное невѣжество, онъ живетъ на счетъ трудовой массы, припѣваючи, и если попадаетъ въ бѣду, то только благодаря тому, что самъ же увѣрилъ окружающихъ въ своей колдунской силѣ». Затѣмъ слѣдуютъ приведенная уже выписка изъ статьи Пономарева и сверкающее умомъ и чувствомъ замѣчаніе: «какъ же» было нашей интеллигенціи не взять подъ свое покровительство подобнаго рода людей». Итакъ, существуетъ народное невѣжество; существуютъ въ самой народной средѣ эксплоататоры этого невѣжества, отравители и шарлатаны, сильные довѣріемъ къ нимъ массы; существуетъ, наконецъ, интеллигенція, покровительствующая этимъ эксплоататорамъ. Кажется ясно.

Перевернувъ, однако, нѣсколько страницъ, встрѣчаемъ горячую защиту знахарей и знахарокъ и новую филиппику противъ интеллигенціи, но уже не за покровительство знахарямъ, а за вражду къ нимъ. Между прочимъ: «Всякій врачъ знаетъ, насколько сильно вліяетъ на ходъ болѣзни довѣріе или недовѣріе больного къ врачу; этимъ вліяніемъ, нужно предположить, сильно пользуются народные врачи, и вырывать насильно у народа это могущественное психическое средство къ выздоровленію, не замѣняя его другимъ вліяніемъ, было бы жестоко и глупо... Дипломные врачи стараются выставлять народу этихъ знахарей и знахарокъ злокозненными шарлатанами; но шаманъ-бурятъ, напримѣръ, при посвященіи своемъ, клянется, что, «если позовутъ его вмѣстѣ богатый и бѣдный, то онъ пойдетъ сперва къ бѣдному, а потомъ къ богатому, и будетъ брать съ нихъ что дадутъ» (Э. Ю. Петри, Антропологія. Стр. 517 и 518). Необходимо признать, что люди вездѣ люди и что шарлатановъ между дипломными врачами не меньше, чѣмъ между знахарями и знахарками».

Что вѣрно, то вѣрно: шарлатаны вездѣ есть и на всѣхъ поприщахъ, хотя, я думаю, въ средѣ знахарей ихъ должно быть несравненно больше, чѣмъ въ средѣ врачей. Но... мнѣ очень нравится это «но», которое г. Юзовъ ставитъ между предложеніями: «дипломные врачи считаютъ знахарей шарлатанами» и—«шаманъ даетъ клятву отдавать предпочтеніе бѣдному передъ богатымъ». Знаменитое изреченіе «въ огородѣ лебеда, а въ Кіевѣ дядька» блѣднѣетъ передъ этимъ сочетаніемъ двухъ предложеній, не имѣющихъ между собой никакой связи. Дипломные врачи тоже даютъ присягу, въ которой содержится много хорошихъ обѣщаній, не всегда, однако, выполняемыхъ, «но» шаманы наполовину дѣйствительно шарлатаны, наполовину нервно-больные люди. Что же касается ихъ русскихъ родичей по духу, то они никакихъ клятвъ не даютъ, и хотя г. Юзовъ хватилъ немножко черезъ край, утверждая, что они отравляютъ «кого хотятъ», но въ большинствѣ случаевъ они дѣйствительно суть «эксплоататоры народнаго невѣжества» и шарлатаны. Вотъ только не знаю, какъ должна относиться къ нимъ интеллигенція. Если напримѣръ, такого шамана живьемъ сожгутъ, то возмущаться этимъ значитъ «носиться съ писаной торбой» и «брать подъ покровительство» негодяя, составляющаго, впромъ, «первообразъ» интеллигенціи; съ другой стороны, однако,

называть его «злокозненнымъ шарлатаномъ» г. Юзовъ тоже не позволяетъ и обращается по этому поводу съ громовыми рѣчами къ интеллигенціи вообще, къ «дипломнымъ врачамъ» въ особенности...

Читатель видитъ, съ какими великими трудами накатываетъ свой навозный шарикъ г. Юзовъ, какъ опрокидываетъ этотъ шарикъ его самого и какъ онъ сердится, усиливаясь подняться на ноги, чтобы вновь приняться за тотъ же шарикъ. При такой безпомощности, ему, конечно, лучше бы совсѣмъ не браться за сложные вопросы философіи общественной жизни, но разъ ужъ у него такая «охота смертная»,—очень естественно, что онъ, кувыркаясь и стараясь подняться, цѣпляется за слова. И надо ему отдать справедливость, онъ необыкновенно цѣпокъ въ этомъ отношеніи. Ужъ если ему какое слово попадется, такъ онъ такъ въ него вцѣпится, что и живымъ не оставитъ, — всякій смыслъ изъ него вытравитъ. Мы видѣли, какъ свирѣпо ухватился онъ за «терминъ народничества», то есть за слово, а вмѣстѣ съ тѣмъ никто такъ не скомпрометтировалъ народничества, какъ онъ. Даже г. В. В., самъ называющій себя народникомъ и, повидимому, признаваемый за таковаго г. Юзовымъ, заявилъ, что по «Основамъ народничества» «врядъ ли можно судить о разсматриваемомъ направленіи вообще», и счелъ нужнымъ, хоть и нѣсколько поздно, отгородить себя отъ г. Юзова.

Распутывать всю путаницу, которая заключается въ обширной «кладовой чужихъ умственныхъ продуктовъ», претенціозно озаглавленной «Основы народничества»,—дѣло, во-первыхъ, крайне трудное, а во-вторыхъ и не стоющее, особенно послѣ заявленія г. В. В. Я остановлюсь только еще на одномъ пунктѣ, которому г. Юзовъ придаетъ чрезвычайно важное значеніе и по которому онъ возлагаетъ особливую отвѣтственность лично на меня.

«Интеллигентно-бюрократическіе народолюбцы», «величаемые также «бюрократическими индивидуалистами», «проповѣдниками героическаго бюрократизма», «интеллигентными или просвѣщенными бюрократами» и т. д., обвиняются прежде всего въ томъ, что, уважая «интересы» народа, они не хотятъ знать его «мнѣній». Со свойственною ему цѣпкостью, г. Юзовъ долбитъ это обвиненіе на стр. 24 — 25, 69, 83, 96, 116 и т. д., почти вездѣ въ связи съ моимъ именемъ. На стр. 504 онъ окончательно разъясняетъ дѣло, истолковывая мое преступное поведеніе ни болѣе,

ни менѣе, какъ «нравственною тупостью». C'est fort! Я долженъ привести это разъясненіе цѣликомъ.

Въ 1886 г. одинъ писатель обратился ко мнѣ въ печати съ открытымъ письмомъ, въ которомъ была, между прочимъ, такая фраза: «вы полагаете, что нужно дѣйствовать въ интересахъ народа, а согласно ли это будетъ съ его мнѣніями, или нѣтъ, это ужъ второстепенный вопросъ». Дальше пусть разсказываетъ г. Юзовъ:

«На это нашъ народолюбивый интеллигентный бюрократъ «ничто же сумняшеся» отвѣчалъ: «не то, чтобы второстепенный, но во всякомъ случаѣ второй, да, я такъ полагаю». При этомъ онъ обстоятельно объяснилъ, что съ мнѣніемъ народа всетаки приходится считаться, какъ считаются, прибавимъ для ясности отъ себя, кузнецы со свойствомъ металла, столяры—дерева и т. п. По нашему глубокому убѣжденію, смѣлость и прямота этого отвѣта могли быть внушены только нравственной тупостью, благодаря которой г. Михайловскій готовъ лишить народъ лучшаго изъ благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ.

У меня нѣтъ подъ руками документовъ того полемическаго эпизода, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, но я помню и признаю, что, за исключеніемъ собственныхъ размышленій о кузнецѣ и металлѣ, столярѣ и деревѣ, г. Юзовъ передаетъ его фактически вѣрно, только ужъ слишкомъ сокращенно. И чтобы уразумѣть всю глубину моей нравственной тупости, надо войти въ нѣкоторыя подробности. Начнемъ съ примѣра, взявъ факты у самого г. Юзова. Представимъ себѣ, что вы, читатель, присутствуете при той «эксплоатаціи народнаго невѣжества» какимъ-нибудь колдуномъ, которую г. Юзовъ расписалъ даже черезчуръ яркими красками: не то, чтобы колдунъ такъ ужъ кого захочетъ отравлялъ, но, положимъ, онъ держитъ въ страхѣ все окрестное населеніе, вѣрующее въ его сверхъестественную силу, и беретъ съ него всякаго рода дани. Въ интересахъ населенія, если вы таковые признаете достойными вашего вниманія, вы постараетесь упразднить вліяніе колдуна, и именно для этого должны будете встать въ оппозицію къ мнѣнію о его могуществѣ. Представимъ себѣ далѣе, что, по мнѣнію выведеннаго, наконецъ, изъ терпѣнія народа, колдуна надо сжечь. Я надѣюсь, что вы не испугаетесь громовъ г. Юзова насчетъ «покровительства» и «писаной торбы» и рѣшительно не согласитесь съ этимъ мнѣніемъ народа; и при этомъ, препятствуя всѣми доступными вамъ средствами совершенію варварскаго преступленія, вы будете дѣйствовать въ интересахъ народа. Въ по-

слѣдніе холерные безпорядки мнѣніе народа состояло въ томъ, что холеру пускаютъ господа въ подзорную трубу, а хлѣбъ раздаютъ голоднымъ слуги антихриста. Вы можете какъ вамъ угодно думать о происхожденіи подобныхъ мнѣній, винить въ ихъ существованіи самихъ «господъ», скорбѣть объ общемъ порядкѣ вещей, порождающемъ такія отношенія, но съ самыми мнѣніями согласиться не можете. Именно не можете, хотя сообразоваться съ ними, т. е. имѣть ихъ въ виду и поступать съ соотвѣтственною осмотрительностью вамъ, конечно, придется. И это будетъ въ интересахъ народа. Не можете вы согласиться и съ тѣмъ, напримѣръ, очень распространеннымъ въ народѣ мнѣніемъ, что мужъ имѣетъ право «учить» жену, то есть чуть не на смерть ее заколачивать, и т. п. Это не значитъ, чтобы народъ не имѣлъ иныхъ мнѣній, кромѣ нелѣпыхъ и безобразныхъ. Это значитъ только, что, разбираясь въ мнѣніяхъ народа, вы по необходимости одни изъ нихъ признаете правильными, а другія отвергаете, какъ неправильныя, и иного критерія, какъ ваше собственное, личное мнѣніе не имѣете и имѣть не можете при этой разработкѣ. Ваше мнѣніе можетъ, конечно, оказаться ошибочнымъ, но признаете его таковымъ вы только тогда, когда вамъ это докажутъ, а не тогда, когда укажутъ на разногласіе вашего мнѣнія съ чьимъ бы то ни было, въ томъ числѣ и съ мнѣніемъ народа. Поступаться своими интересами ради интересовъ народа или вообще кого бы то ни было — возможно, и при извѣстныхъ обстоятельствахъ на этой почвѣ произрастаютъ цвѣты и плоды великодушныхъ подвиговъ. Поступаться же своими мнѣніями — фактически нельзя; можно лишь подчиниться чужимъ мнѣніямъ и затаить свои собственныя «страха ради іудейска» или по инымъ побочнымъ соображеніямъ, при чемъ очень часто это не только не подвигъ какой-нибудь, а дрянная трусость или лицемѣріе. Поэтому человѣкъ, для котораго интересы народа священны, совсѣмъ не обязанъ признавать таковыми же и его мнѣнія. Великое для него счастіе, если его мнѣнія совпадаютъ съ мнѣніями народа, и великое несчастіе, если они расходятся, но измѣною своимъ мнѣніямъ эта трагедія не разрѣшается, потому что верховнымъ судіей конфликта остается всетаки наше собственное сознаніе и наша собственная совѣсть. И это фатально, никакими изворотами мысли, а тѣмъ болѣе слова—неотвратимо.

Простите, читатель, что я занимаю васъ такой азбукой, но со-

гласитесь, что желаніе разъяснить, въ чемъ именно состоитъ моя нравственная тупость, — довольно законно. Я только разъясняю, а тамъ судите, какъ хотите.

Но скажутъ, можетъ быть, что г. Юзовъ приписываетъ мнѣ нѣчто гораздо большее, чѣмъ простое желаніе оставаться при своемъ собственномъ, хотя бы и совершенно особомъ мнѣніи объ интересахъ народа, равно какъ и обо всемъ остальномъ видимомъ и невидимомъ мірѣ. Онъ вѣдь утверждаетъ, что я «готовъ лишить народъ лучшаго изъ благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ». Да, онъ утверждаетъ это, но я то ничего подобнаго не говорилъ въ инкриминированномъ отвѣтѣ на открытое письмо. Я, однако, остановлюсь всетаки на этомъ обвиненіи. потому что къ нему примыкаютъ два недоразумѣнія, свойственныя писаніямъ не одного г. Юзова.

Если подъ однимъ изъ «благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ», разумѣть вышеупомянутое право мужа «учить» жену, то я, конечно, «готовъ лишить народъ» этого блага. И я не знаю, какъ отнесется къ этой моей готовности г. Юзовъ. Онъ, разумѣется, наговоритъ съ три короба на ту тему, что я «радостно» хватаюсь за печальныя и мрачныя явленія народной жизни и т. д. Но эти пустяки неинтересны, тѣмъ болѣе, что они и на вопросъ не отвѣчаютъ. Вопросъ не въ томъ, почему я остановился на такомъ-то именно явленіи, — конечно, я въ данномъ случаѣ намѣренно выбралъ явленіе печальное,—а въ томъ, какъ относится г. Юзовъ къ моей готовности способствовать прекращенію этого явленія. «Мнѣніе» народа состоитъ въ томъ, что бабу «учить» можно, нужно и должно,—съ этимъ сами бабы согласны, конечно, не тогда, когда сынъ бьетъ мать, а и это бываетъ. Что я не обязанъ соглашаться съ такимъ «мнѣніемъ» народа или почтительно относиться къ нему, объ этомъ уже было говорено. Но этого мало. Въ составъ «благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ», входятъ и искони самостоятельно выработанные семейные распорядки, въ томъ числѣ и право мужа бить жену. Я «готовъ лишить народъ этого блага», и г. Юзовъ долженъ меня осудить за это, да онъ уже и осудилъ implicite, говоря о моей «нравственной тупости». Но вѣдь этакое легко сказать, оставаясь въ предѣлахъ общаго мѣста о «благахъ жизни», а кто имѣлъ несчастіе видѣть звѣрскую расправу или обладаетъ достаточно сильнымъ воображеніемъ, чтобы представить

себѣ такую картину, при помощи, напримѣръ, статьи г. Лудмера «Бабьи стоны», напечатанной въ 1884 г. въ «Юридическомъ Вѣстникѣ»,—тотъ, я думаю, обвинитъ въ нравственной тупости не меня, а доктринера «народныхъ мнѣній». Я думаю, впрочемъ, что такая степень нравственной тупости рѣшительно невозможна. И я, въ свою очередь, обвиняю г. Юзова (на этотъ разъ не одного его) не въ нравственной тупости, а въ доктринерской трусости, намѣренно обѣгающей явленія, которыя въ доктрину не укладываются. Я убѣжденъ, что на дѣлѣ, если г. Юзову случится присутствовать при истязаніи бабы мужикомъ, онъ забудетъ свое теоретическое уваженіе къ мнѣнію народа и употребитъ всѣ возможныя по обстоятельствамъ средства, чтобы это мнѣніе не получило простора, вплоть до прямого насилія, если физическая сила окажется на его сторонѣ, то есть, если онъ въ силахъ будетъ оттащить мужика отъ бабы и связать ему руки. Но въ доктринерскомъ туманѣ общихъ мѣстъ объ «альтруизмѣ», вырабатываемомъ «строемъ народной жизни», кроваво-грязныя пятна, вродѣ «бабьихъ стоновъ» очень удобно стушевываются. И г. Юзовъ (не онъ одинъ) ихъ намѣренно затушевываетъ, ибо труситъ за свою доктрину и оберегаетъ ее вмѣсто того, чтобы исправить согласно указаніямъ жизни. Въ данномъ случаѣ, по отношенію къ «бабьимъ стонамъ», г. Юзовъ говоритъ слѣдующее: «Ненавистники народа стараются распространить мнѣніе о жестокомъ обращеніи крестьянъ съ женами. Не отрицая отдѣльныхъ фактовъ такого обращенія, являющихся въ глазахъ крестьянъ преступленіемъ, мы утверждаемъ, что вообще отношенія русскаго крестьянина къ женѣ болѣе человѣчны, нежели у другихъ народовъ... У насъ есть и прямыя свидѣтельства о лживомъ раздуваніи отдѣльныхъ фактовъ жестокаго обращенія нашихъ крестьянъ съ женами, такъ напр., профессоръ Петри говоритъ, что у современныхъ малороссовъ «жена — совѣтница, вѣрный другъ, помощница; въ домѣ она полная хозяйка: всѣми предметами домашняго хозяйства она распоряжается по своему усмотрѣнію, тогда какъ мужъ не вправѣ вмѣшиваться» (Э. Ю. Петри. Антропологія, стр. 459)».

Въ этихъ нѣсколькихъ строкахъ отразились всѣ курьезныя особенности г. Юзова. Всѣ наблюдатели народной жизни знаютъ ту мрачную черту, объ которой идетъ рѣчь, и за это г. Юзовъ обзываетъ ихъ «ненавистниками народа» (хотя въ числѣ ихъ

есть, вѣроятно, и «народолюбцы»). Далѣе, столь презирающій «книжное знаніе» и «дипломныхъ» ученыхъ г. Юзовъ живымъ наблюденіемъ противопоставляетъ, въ качествѣ «прямого свидѣтельства», нѣсколько общихъ словъ «профессора» Петри... Онъ можетъ, конечно, и еще отмахиваться и сводить разговоръ на постороннія вещи—набрать десятки цитатъ о достоинствахъ русскаго мужика и о дрянности русской интеллигенціи, повторять общія мѣста. Какъ бы, однако, цѣнны и убѣдительны эти цитаты ни были, и какую бы долю истины общія мѣста въ себѣ ни заключали, они къ дѣлу не идутъ. Пусть во всѣхъ другихъ отношеніяхъ альтруизмъ царитъ въ деревнѣ (чего, конечно, нѣтъ на самомъ дѣлѣ), а интеллигенція пусть сплошь эгоистична и безнравственна (чего, конечно, тоже нѣтъ), но если въ деревенской Аркадіи раздаются «бабьи стоны», и раздаются не въ видѣ случайныхъ исключеній, а въ силу исконнаго обычнаго права,—вся бочка меду испорчена этой ложкой дегтя. Подъ медовой бочкой разумѣю ученіе о святости и неприкосновенности народныхъ мнѣній, какъ таковыхъ. Я не говорю, чтобы въ неписанномъ народномъ моральномъ кодексѣ не было ничего святого и неприкосновеннаго: напротивъ, къ счастью, очень много, и, припоминая свою слишкомъ тридцатилѣтнюю литературную дѣятельность, я осмѣливаюсь утверждать, что не г. Юзову учить меня въ этомъ отношеніи. Но святое и неприкосновенное живетъ рядомъ съ позорнымъ и нелѣпымъ. Разобраться въ этомъ сложномъ переплетѣ, образовавшемся путемъ цѣлаго ряда историческихъ наслоеній, разобраться, говорю, въ немъ, апеллируя лишь въ инстанцію «благъ жизни, какъ ихъ представляетъ себѣ самъ народъ»,—очевидно, невозможно, и самая фраза о «благахъ жизни», неопредѣленная и внутренно противорѣчивая, теряетъ всякій смыслъ. Нужна иная точка зрѣнія для распредѣленія свѣта и тѣни въ народной жизни, и я думаю, что такая точка зрѣнія дается идеей интересовъ народа. Выгода такой точки зрѣнія состоитъ въ томъ, что, принявъ ее, намъ нѣтъ надобности трусливо закрывать глаза на ту или другую непривлекательную черту народнаго быта,—мы можемъ называть черное чернымъ, бѣлое бѣлымъ и вообще всѣ вещи ихъ собственными именами, поскольку это вообще при данныхъ условіяхъ возможно; можемъ свободнѣе и, прямо скажу, честнѣе, добросовѣстнѣе относиться къ вопросамъ великой важности. И понятно, что съ такой позиціи несравненно большій

вѣсъ получатъ наши возраженія противъ, напримѣръ, тѣхъ огульныхъ обвиненій мужика въ лѣности и пьянствѣ, которыя раздавались въ прошломъ и третьемъ году.

Понятно, однако, также, что формула «интересы народа» не есть магическое слово, разрѣшающее всѣ недоумѣнія и недоразумѣнія, разомъ и настежь отворяющее двери въ хранилище истины и справедливости. Она не упраздняетъ работу мысли, а напротивъ, призываетъ къ ней. Прежде всего возможны, иногда даже вполнѣ искренніе, то есть не злонамѣренные или своекорыстные, а наивные подмѣны формулы другими, близкими по формѣ и рѣзко отличными по существу (мы увидимъ образцы такихъ подмѣновъ). Разъясненіе вытекающихъ отсюда недоразумѣній можетъ потребовать значительной теоретической работы, а затѣмъ передъ нами разстилается обширная область фактическаго изученія. При этомъ, разумѣется, должны быть изучаемы и «мнѣнія» народа, и не ради одной любознательности, а въ видахъ практическихъ.

Г. Юзовъ желаетъ рѣшать чрезвычайно сложныя задачи и думаетъ, что, дѣйствительно, рѣшаетъ ихъ. Онъ не замѣчаетъ, что, вопреки своимъ «думамъ», руководимый безсознательнымъ чувствомъ безпомощности, онъ рѣшаетъ свои задачи, предварительно упростивъ ихъ до послѣдней степени. Представьте себѣ стрѣлка, который желаетъ попасть на двадцати шагахъ въ бубноваго туза, но стрѣляетъ при этомъ не въ обыкновенную игральную карту, а въ самодѣльную саженную мишень, имѣющую видъ бубноваго туза. Онъ по всей вѣроятности попадетъ въ цѣль, но только потому, что слишкомъ уже облегчилъ свою задачу. Или представьте себѣ охотника на тигра, мужественно подступающаго не къ живому, однако, тигру, а къ живописному изображенію тигра собственной работы. Или, наконецъ, представьте себѣ еще человѣка, съ страшнымъ усиліемъ направляющаго таранъ въ настежь отворенныя ворота. Такъ именно поступаетъ г. Юзовъ. Онъ мужественно сражается съ произведеніями собственной фантазіи и, конечно, побѣждаетъ ихъ, преодолѣваетъ несуществующія препятствія, увѣряя при этомъ и себя, и другихъ, что его саженная мишень есть настоящій бубновый тузъ, намалеванный имъ самимъ тигръ—живой, а настежь отворенныя ворота—наглухо заколочены. Понятное дѣло, что въ этомъ фантастическомъ мірѣ у него своя рука владыка, но понятно также, что дѣйствительный

міръ остается внѣ его операцій. Мы видѣли, съ какимъ азартомъ протестуетъ онъ противъ «грабителей» его, г. Юзова, достоянія, когда живые люди, переименованные имъ въ грабителей, отъ этого достоянія брезгливо сторонятся: не трудно, конечно, отгонять отъ себя людей, которые и не думаютъ подходить, а г. Юзовъ думаетъ, что онъ совершаетъ трудный, но необходимый гражданскій подвигъ. Мы видѣли также, какъ колдуны отравляютъ, «кого хотятъ», а интеллигенція радуется сожженію колдуна. Фантазія г. Юзова до такой степени сильна, что онъ можетъ себѣ представить «натуралиста», который ставитъ себѣ такую цѣль жизни: «хочу, чтобы ни одного вида клоповъ не осталось на землѣ, всю жизнь употреблю на борьбу съ ними и постараюсь истребить до единаго» (стр. 17). Видите, какія обширныя задачи занимаютъ г. Юзова: шутка сказать! истребить всѣ виды клоповъ,—и тотъ видъ, представитель котораго безпокоитъ г. Юзова по ночамъ, и тотъ, который, плавая въ прудахъ и рѣкахъ, нисколько его не безпокоитъ, и тотъ, который употребляется въ Мексикѣ въ пищу, и всѣ прочіе, летающіе, плавающіе и ползающіе, которымъ и счетъ неизвѣстенъ. И г. Юзовъ увѣренъ, что человѣкъ, поставившій себѣ такую цѣль жизни, будетъ не сумасшедшій, а—*«натуралистъ»*. Понятно, что такого фантастическаго натуралиста куда хочешь поверни. А фантастическій онъ не только потому, что лишь въ воображеніи г. Юзова мелькаетъ, да развѣ еще гдѣ-нибудь въ сумасшедшемъ домѣ на излѣченіи находится, а и потому, что онъ ни въ какомъ случаѣ не натуралистъ: это его только фантазія г. Юзова произвела въ натуралисты.

Столь же фантастичны и особенно ненавистные г. Юзову «интеллигентно-бюрократическіе народолюбцы», отъ нихъ же первый есмь азъ. Минуя разный противорѣчивый вздоръ, излагаемый имъ на эту тему, ограничимся тремя цитатами, содержащими въ себѣ, по крайней мѣрѣ, опредѣленную мысль.

„Мы должны особенно подчеркнуть то, что въ разногласіи между интеллигентнымъ бюрократизмомъ и народничествомъ по вопросу о вліяніи интеллигенціи на народъ рѣчь идетъ не о духовномъ вліяніи и воздѣйствіи, а о насильственномъ устройствѣ общественнаго управленія съ игнорированіемъ «мнѣній» народа. Народничество отнюдь не стоитъ за воздержаніе отъ духовнаго вліянія интеллигенціи; оно требуетъ только, чтобы права личности крестьянина были вполнѣ обезпечены отъ насильственныхъ вліяній интеллигенціи. Что же касается умственнаго и нравственнаго вліянія этой послѣдней, то никто изъ народниковъ и не спо-

рить, что лучшая часть интеллигенціи могла бы многому научить крестьянина. Но пусть она подходитъ къ нему *не съ палкой*, а съ уваженіемъ къ его человѣческимъ правамъ, памятуя, что эти права народу дороже, нежели что-нибудь другое» (116).

«Пока дѣло идетъ о вліяніи интеллигенціи естественнымъ путемъ проявленія силы знанія, до тѣхъ поръ никто не вправѣ ничего сказать противъ этого вліянія. Но вооружать знаніе юридическими привилегіями, это значитъ ослаблять нравственное вліяніе знанія и возбуждать въ людяхъ вражду къ нему, какъ вторгающемуся въ жизнь *съ палкою въ рукахъ*» (304).

«Защитники интеллигентнаго бюрократизма»... «вопятъ: народъ невѣжественъ, народъ дикъ, народъ такой-сякой; а вы, народники, еще хотите, чтобы онъ самъ опредѣлялъ тѣ общественныя формы, въ которыхъ ему приходится жить! Нѣтъ, не бывать этому! Мы, во имя народныхъ же интересовъ, устроимъ все по своимъ просвѣщеннымъ воззрѣніямъ; мы естественные опекуны и радѣтели народа (196)».

Если бы эти цитаты перевести какому-нибудь иностранцу, не имѣющему понятія о Россіи, онъ долженъ бы былъ придти къ тому фантастическому заключенію, что у насъ пользуется большимъ практическимъ вліяніемъ на ходъ политической жизни и даже властью партія, во главѣ которой стоитъ, повидимому, monsieur N. Michailovsky; или, по крайней мѣрѣ, этотъ господинъ является литературнымъ представителемъ, какъ бы оффиціозомъ означенной могущественной партіи; что эта «бюрократическая» партія, заручившись «юридическими привилегіями», «съ палкой въ рукахъ» вводитъ свои распорядки въ народную жизнь... Иностранецъ оцѣнилъ бы, разумѣется, мужество г. Юзова, открыто возстающаго противъ людей, огражденныхъ юридическими привилегіями и владѣющихъ «палкой». Есть доблестные граждане въ Россіи, граждане-герои, проницательные и мужественные, знающіе, откуда грозитъ бѣда народу, и смѣло охраняющіе его отъ этой бѣды, презирая опасности, угрожающія имъ самимъ со стороны могущественной «бюрократической» партіи; честь и слава г. Юзову! Такъ сказалъ бы иностранецъ, не имѣющій понятія о Россіи. Но мы-то никоимъ образомъ не можемъ воздать хвалу г. Юзову, ибо онъ въ данномъ случаѣ уподобляется именно тому охотнику, который отважно стрѣляетъ въ нарисованнаго имъ самимъ тигра. Назвался груздемъ, полѣзай въ кузовъ, и взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ. Мнѣ немножко стыдно публично бесѣдовать съ г. Юзовымъ и такимъ образомъ хотя бы отрицательно соприкасаться съ тѣмъ фантастическимъ міромъ, гдѣ онъ одерживаетъ

свои фиктивныя побѣды надъ имъ самимъ созданными фикціями. Безтактность, обнаруживаемая при этомъ г. Юзовымъ, бросаетъ нѣкоторую тѣнь и на тѣхъ, кто считаетъ нужнымъ ему возражать,—слишкомъ ужъ дѣтскія вещи приходится разъяснять. Но, во-первыхъ, эта безтактность, хотя, конечно, не въ такой степени, свойственна не одному г. Юзову, а во-вторыхъ... во-вторыхъ, взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ. Я долженъ поэтому напомнить г. Юзову, что я—писатель и только писатель, не имѣющій въ своемъ распоряженіи никакого иного вліянія, кромѣ «духовнаго» и то весьма ограниченнаго; никакой власти, никакой «палки» у меня въ рукахъ нѣтъ; въ качествѣ писателя, я никакими юридическими привилегіями не пользуюсь, кромѣ той благосклонной терпимости власти, которая выражается словами «дозволено цензурой», печатающимися на обложкѣ «Русскаго Богатства». Такъ что, если бы у меня и очень чесались руки пустить въ ходъ палку для водворенія въ народной жизни любезныхъ мнѣ порядковъ,—я не имѣю для этого никакихъ средствъ. Воинственный жаръ и подсказанныя благороднымъ «альтруизмомъ» опасенія г. Юзова такъ же поэтому неумѣстны, какъ и въ томъ случаѣ, когда онъ кричалъ объ опасности, угрожающей «термину народничества» со стороны «грабителей».

Но этого мало. У меня не только нѣтъ въ рукахъ никакой «палки», но я никогда и не домогался ея и другимъ употребленіе ея не рекомендовалъ. И того мало. Я—журналистъ, при томъ имѣвшій счастіе многіе годы работать съ людьми, за малыми и рѣдкими исключеніями, солидарными вообще и по вопросамъ, безпокоящимъ г. Юзова, въ особенности. И ни въ моихъ статьяхъ, ни въ статьяхъ моихъ товарищей онъ не можетъ найти и слѣдовъ какой-нибудь жажды «юридическихъ привилегій» и права насильственнаго вторженія въ народную жизнь. Но за то онъ найдетъ тамъ много прямо противоположнаго. Я думаю, увѣренъ даже, что г. Юзовъ именно у насъ, «грабителей», научился той крупицѣ истины, которая есть въ его книгѣ, но которую онъ закаталъ въ свой шарикъ до неузнаваемости. Я не могу на этомъ останавливаться, да собственно въ полемическомъ смыслѣ въ этомъ и надобности нѣтъ; безъ устали, чуть не на каждой страницѣ негодуя на различіе «интересовъ» и «мнѣній» народа, г. Юзовъ, при всей своей любви къ цитатамъ, только въ одномъ мѣстѣ цитируетъ мои подлинныя слова, да и то не полно. Я при-

велъ эту цитату выше и прошу читателя замѣтить, что даже въ этомъ единственномъ случаѣ г. Юзовъ вынужденъ признать: «при этомъ онъ (то есть я) *обстоятельно объяснилъ*, что съ «мнѣніемъ» народа всетаки приходится считаться, какъ считаются, *прибавимъ для ясности отъ себя*, кузнецы со свойствомъ металла, столяры—дерева и т. п.» Я полагаю, что г. Юзовъ поступилъ бы несравненно добросовѣстнѣе, если-бы, не прибавляя ничего «отъ себя», просто привелъ мое собственное «обстоятельное объясненіе» или хоть разсказалъ, въ чемъ оно состоитъ. Но тогда, чего добраго, дѣло, дѣйствительно, стало бы «ясно», ну, а въ потемкахъ гораздо удобнѣе воевать съ призраками и порожденіями собственной фантазіи.

Но г. Юзовъ, съ свойственною ему цѣпкостью непониманія, ухватится за вышеизложенныя соображенія объ отношеніяхъ мужей къ женамъ въ народномъ быту: а это молъ что? не проповѣдь насильственнаго вмѣшательства? Собственно относительно этого частнаго случая дѣло стоитъ такъ, что иное вмѣшательство, кромѣ «духовнаго», фактически невозможно, даже для людей, облеченныхъ властью, если они стоятъ на легальной точкѣ зрѣнія. Авторъ статьи «Бабьи стоны», г. Лудмеръ—мировой судья, и статья его производитъ удручающееее впечатлѣніе не только множествомъ содержащихся въ ней картинъ страшныхъ истязаній, но и тѣмъ общимъ фактомъ, что «ни одно судебное учрежденіе не можетъ, въ предѣлахъ нашего законодательства, оградить женщину отъ дурного и жестокаго обращенія съ нею». Такова въ данномъ случаѣ сила обычнаго права, и г. Юзовъ долженъ быть доволенъ. Тѣмъ не менѣе, я продолжаю утверждать, что если ему случится быть свидѣтелемъ истязаній, онъ, руководимый «факторомъ чувства», не остановится передъ всѣми способами защиты истязуемой, не справляясь съ «мнѣніемъ» народа и прямо вопреки ему. И онъ будетъ, конечно, правъ. Благоразумные юристы и просто наблюдатели народной жизни давно уже говорятъ о необходимости не только теоретическаго вниманія къ обычному праву, но и о великомъ практическомъ значеніи послѣдняго. Народное правосознаніе растетъ и развивается своими особыми путями, вырабатывая иногда при этомъ нормы, совпадающія съ результатами мысли наиболѣе свѣтлыхъ теоретическихъ умовъ, какъ у насъ, такъ и въ Западной Европѣ. (Въ другомъ мѣстѣ я приводилъ образцы такихъ совпаденій, да и всякому

интересовавшемуся обычнымъ правомъ, это извѣстно). Но и помимо того, самоувѣренное вмѣшательство въ этотъ міръ мало изученныхъ, а въ подробностяхъ и мало понятныхъ для посторонняго человѣка отношеній, вообще говоря, до добра не доводитъ. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы обычное право представляло собою исключительно кладезь мудрости. Прежде всего, воды этого кладезя помутнены суевѣріемъ, правильная, цѣлесообразная борьба съ которымъ возможна только на почвѣ духовнаго вліянія, до тѣхъ поръ, разумѣется, пока дѣло не доходитъ до чего-нибудь вродѣ сожженія колдуна. Въ такихъ случаяхъ духовное вліяніе столь же недостаточно относительно «народа», какъ было бы недостаточно и относительно «интеллигенціи», если бы она вздумала жечь своихъ шарлатановъ. А затѣмъ и всякое издѣвательство сильнаго надъ слабымъ, всякая обида и притѣсненіе (частный случай чего представляетъ «ученіе» жены мужемъ), въ какой бы сферѣ отношеній они ни происходили и какою бы группою «мнѣній» они ни санктировались,—подлежатъ противодѣйствію. Тутъ нѣтъ мѣста никакимъ теоретическимъ сомнѣніямъ, и можно колебаться лишь относительно формы и способовъ противодѣйствія, что составляетъ уже вопросъ практическаго такта. Безспорно, что этого практическаго такта часто у людей не хватаетъ, даже при наличности добрыхъ намѣреній, не говоря о намѣреніяхъ злыхъ. Но я то тутъ при чемъ же? Г. Юзовъ ошибается адресомъ...

Я не вижу надобности дольше распространяться о г. Юзовѣ, но это не значитъ, что я кончилъ о народничествѣ. Даже и г. Юзова мнѣ придется еще, хотя и мимоходомъ, и не ради него самого, коснуться, говоря о недавно вышедшей книжкѣ г. В. В. «Наши направленія». Тогда же мнѣ придется говорить и о такъ называемомъ «западничествѣ». Когда то этотъ терминъ незачѣмъ было ставить въ ковычки и незачѣмъ было прибавлять къ нему слово «такъ называемое». Тогда оно противополагалась славянофильству, съ которымъ и дѣлило власть надъ русскими умами и сердцами. Съ тѣхъ поръ много воды утекло, и для нашего времени характерно въ этомъ отношеніи уже то, что «западничеству» противополагаютъ себя не славянофилы, которыхъ нѣтъ на лицо, а, съ одной стороны, такіе органы печати, какъ «Московскія Вѣдомости», а съ другой—«народники», или тѣ, кто себя такъ на-

зываетъ. Славянофильство, значитъ, вывѣтрилось или, если угодно, дифференцировалось, и противоположеніе чего-то единаго и цѣльнаго «самобытнаго» чему-то единому и цѣльному «западному» потеряло свой raison d'être. Но въ то же время и западничество вывѣтрилось или дифференцировалось, сообразно выяснившейся разнородности европейскихъ теченій мысли и жизни. «Западниковъ» въ настоящемъ, старомъ смыслѣ этого слова нынѣ нѣтъ и быть не можетъ, какъ нѣтъ и не можетъ быть славянофиловъ; есть только головы, нафаршированныя (я постараюсь оправдать это слово) тѣмъ или другимъ отдѣльнымъ продуктомъ европейской жизни. Но объ этомъ рѣчь впереди. А теперь мнѣ хочется помянуть человѣка, который до конца дней своихъ самъ называлъ себя западникомъ.

Читатель понимаетъ, что я говорю о Тургеневѣ, умершемъ ровно десять лѣтъ тому назадъ 22 августа. Талантъ перворазрядный, хотя и не столь могучій и оригинальный, какъ талантъ гр. Л. Толстого и Достоевскаго, но за то гораздо болѣе уравновѣшенный, Тургеневъ никогда не мечталъ о выработкѣ лично ему принадлежащаго міросозерцанія, объ основаніи своей собственной секты или школы. Онъ, примкнувъ еще въ молодости къ группѣ западниковъ, которая въ то время представляла собою нѣчто живое и цѣльное, остался западникомъ до самой смерти. Но западникомъ въ первоначальномъ, старомъ смыслѣ, въ смыслѣ общаго уваженія къ европейской культурѣ, независимо отъ происходящихъ внутри ея жестокихъ и часто кровавыхъ распрей религіозныхъ, международныхъ, сословныхъ, партійныхъ. На той возвышенной, но и вполнѣ неопредѣленной точкѣ зрѣнія, съ которой исчезаютъ эти распри и виденъ лишь общій абрисъ европейской цивилизаціи, Тургеневъ могъ оставаться, только благодаря своему постоянному пребыванію за границей. На первый взглядъ это можетъ показаться страннымъ или даже прямо невѣрнымъ, потому что гдѣ же могутъ яснѣе чувствоваться внутреннія противорѣчія западной жизни, острая борьба ея элементовъ, какъ не среди нея самой? Именно вѣдь поэтому и невозможенъ никакой западникъ на самомъ западѣ. Я рѣшаюсь, однако, утверждать, что, кромѣ, конечно, личныхъ и вообще интимныхъ обстоятельствъ, тянувшихъ Тургенева во Францію, его влекло туда, почти безсознательно, еще и потому, что тамъ именно онъ могъ сохранить свое широкое, но неопредѣленное западничество, съ которымъ

онъ сжился съ-молоду и разстаться съ которымъ ему было труднѣе, чѣмъ кому-нибудь.

Если читатель припомнитъ весь длинный рядъ созданныхъ Тургеневымъ образовъ, онъ увидитъ, что, помимо ихъ индивидуальныхъ особенностей, всегда мастерски разработанныхъ и рѣзко выдѣляющихъ данное лицо, они распадаются на двѣ большія психологическія группы. Въ одной стоятъ натуры активныя, не боящіяся отвѣтственности, рѣшительныя, жаждущія борьбы и твердо идущія къ разъ поставленной цѣли; въ другой—натуры пассивныя, мягкія, колеблющіяся, неохотно или съ сердечною болью берущія на себя отвѣтственность, увлекаемыя какою-нибудь волною помимо или противъ ихъ воли. Послѣднія суть любимцы автора, между тѣмъ какъ первыхъ онъ иногда уважаетъ (далеко не всегда), иногда даже любуется, какъ художникъ, твердою законченностью ихъ физіономій, но никогда не окружаетъ тѣмъ любовнымъ поэтическимъ ореоломъ, которымъ надѣляетъ мягкихъ, практически слабыхъ, нерѣшительныхъ. Какъ умный человѣкъ и первоклассный художникъ, онъ не скрывалъ достоинствъ своихъ пасынковъ и слабостей своихъ родныхъ дѣтищъ, но не трудно всетаки разобрать, кто изъ его героевъ—пасынокъ и кто родной, близкій по крови. Я не могу входить здѣсь въ подробности, и замѣчу только, что все, извѣстное намъ о личности самого Тургенева, вполнѣ подтверждаетъ сказанное. Это отнюдь не былъ человѣкъ твердыхъ рѣшеній, борьбы, дѣйствія, но онъ не былъ и созерцательной натурой. Онъ любилъ жизнь, любилъ вращаться среди ея разнообразныхъ красокъ и звуковъ, искалъ общенія съ нею для своего большого ума и высокаго художественнаго дарованія, но по возможности безъ активнаго, отвѣтственнаго вмѣшательства въ нее. Это онъ и получалъ за границей, гдѣ сложная общественно-политическая жизнь оставалась ему всетаки настолько чужою, что никакого активнаго вмѣшательства съ его стороны не требовала и даже не допускала. Онъ могъ дышать тамъ уже готовою общею атмосферою свободы и просвѣщенія, которая составляла идеалъ западничества, вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно устраняясь отъ борьбы частныхъ элементовъ. Относительно житейской практики, его мнѣній никто не спрашивалъ, его рѣшеній никто не ждалъ. Иное положеніе его было въ Россіи. Общая атмосфера была здѣсь совсѣмъ другая, а вмѣстѣ съ тѣмъ процессъ вывѣтриванія или дифференцированія западничества уже далеко подви-

нулся впередъ: напримѣръ, ультра-консервативная «Вѣсть» могла съ такимъ же правомъ считаться отрогомъ западничества, какъ и нигилистическое «Русское Слово». Человѣку съ именемъ и значеніемъ Тургенева непремѣнно пришлось бы занять то или другое воинствующее положеніе въ этихъ сложныхъ обстоятельствахъ, что мы и видѣли на Пушкинскомъ праздникѣ и непосредственно вслѣдъ за этимъ, когда Тургеневу навязывали роль чуть не политическаго вождя. Это было совсѣмъ не по немъ, и онъ не пошелъ на ту блестящую удочку, на которую такъ охотно кинулся его соперникъ въ «Пушкинскіе дни»—Достоевскій.

Проживая за границей, Тургеневъ оставался, однако, русскимъ, интересовался всѣмъ, что дѣлается на родинѣ, и не разъ откликался на наши злобы дня. Немудрено, что, наблюдая русскую жизнь издалека, онъ впадалъ въ ошибки, объ которыхъ было бы, разумѣется, неумѣстно распространяться теперь, когда мы отмѣчаемъ десятилѣтіе кончины этой гордости русской литературы. Каковы бы ни были эти ошибки въ публицистическомъ смыслѣ, сочиненія Тургенева остаются неизсякаемымъ источникомъ художественнаго наслажденія и собраніемъ тончайшихъ наблюденій и изслѣдованій въ области движеній человѣческой души. Тургеневу навязывали роль ловца новыхъ моментовъ въ исторіи нашего развитія, точнѣе,—разныхъ «новыхъ людей». На этой именно почвѣ и происходили, напримѣръ, извѣстные горячіе споры о Базаровѣ. Можетъ быть, въ глубинѣ души и самому Тургеневу хотѣлось занять роль такого ловца моментовъ. Но на дѣлѣ онъ во всякомъ случаѣ бралъ изъ этихъ смѣняющихся моментовъ только среду, обстановку, а главными дѣйствующими лицами оказываются вездѣ представители все тѣхъ же вышеупомянутыхъ двухъ психологическихъ типовъ. Во всѣхъ своихъ романахъ и повѣстяхъ Тургеневъ рѣшаетъ художественную задачу: какъ будутъ себя вести и что будутъ чувствовать его два типа въ данной обстановкѣ? при чемъ обстановка иногда берется изъ «момента», а иногда дѣло обходится и безъ него. Напримѣръ, Неждановъ (въ «Нови») и Санинъ (въ «Вешнихъ водахъ»)—одинъ и тотъ же психологическій типъ изъ любимцевъ Тургенева, со всею ихъ безвольностью, слабостью, колебаніями, но и съ тѣмъ поэтическимъ вѣнкомъ красиваго страданія, который Тургеневъ неизмѣнно кладетъ на головы своихъ любимцевъ; только въ первомъ случаѣ обстановка взята изъ «момента», а во второмъ нѣтъ намека на какой бы то

ни было опредѣленный моментъ. Каковы бы поэтому ни были ошибки автора въ пониманіи и изображеніи обстановки, ими не наносится ущерба собственно психологіи безвольныхъ, слабыхъ, колеблющихся героевъ. То же нужно сказать и о психологіи противоположнаго типа въ тѣхъ предѣлахъ, которые устанавливаются безпристрастіемъ автора и его чувствомъ художественной мѣры. Можно утверждать, что рѣшительные люди, люди борьбы и твердаго преслѣдованія разъ поставленной цѣли, не необходимо такъ сухи, жестки, такъ обдѣлены въ поэтическомъ смыслѣ, какъ всѣ подобные герои Тургенева. Напримѣръ, патріотическій энтузіазмъ Инсарова могъ бы быть цвѣтнѣе, ярче: Инсаровъ могъ бы обладать увлекательнымъ краснорѣчіемъ оратора или поэтическимъ талантомъ, который онъ посвятилъ бы тому же дѣлу служенія родинѣ. Но Тургеневъ не любилъ раздавать эти поэтическіе цвѣты людямъ борьбы и дѣйствія,—онъ приберегалъ ихъ для своихъ любимцевъ, людей слабой воли, сомнѣній и колебаній. Если, однако, мы возьмемъ Инсарова, какъ онъ есть, любящимъ Болгарію и ненавидящимъ турецкое иго, но сдержаннымъ, умнымъ, но узкимъ и недаровитымъ,—то каждый его шагъ окажется психологически вѣренъ. И по истинѣ удивительно то разнообразіе, съ которымъ Тургеневъ умѣлъ индивидуализировать свои два типа, всякій разъ открывая въ нихъ новыя стороны, новыя подробности, новыя комбинаціи мыслей, чувствъ, темпераментовъ. Это какъ бы двѣ галлереи фамильныхъ портретовъ: фамильное сходство есть во всѣхъ портретахъ каждой изъ галлерей, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый изъ нихъ имѣетъ особую физіономію; до такой степени особую, что различіе аксессуаровъ—высокій пудренный парикъ и гладкая прическа, блуза художника, вицъ-мундиръ чиновника, модный фракъ и проч.—является дѣломъ второстепеннымъ. Но къ этому надо еще прибавить богатую галлерею женскихъ портретовъ, частію распредѣляющихся по тѣмъ же двумъ типамъ, а частію составляющихъ особый міръ, въ изображеніи котораго Тургеневъ вкладывалъ всю гибкость, все изящество и тонкость своего таланта. Это—міръ впервые полюбившихъ дѣвушекъ. Въ этомъ отношеніи съ Тургеневымъ не можетъ соперничать не только Достоевскій, которому женскіе образы рѣшительно не давались, но и гр. Л. Толстой. Особенность Тургенева состоитъ во-первыхъ въ томъ, что его полюбившія дѣвушки оказываются въ большинствѣ случаевъ выше мужчинъ, а во-вторыхъ въ томъ, что утрен-

няя заря любви сопровождается въ нихъ порывомъ къ чему-то неопредѣленному, но высокому и широкому; онѣ чувствуютъ въ себѣ подъемъ силъ, не только дающій имъ самимъ великое счастіе, но и способный осчастливить и любимаго человѣка и еще много, много людей... Не смотря на постоянное повтореніе этого основного мотива, Тургеневъ и здѣсь былъ неистощимъ въ варіаціяхъ. Но какъ только этотъ порывъ такъ или иначе кончался въ дѣвушкѣ—разочарованіемъ ли, какъ въ «Затишьѣ» и въ «Рудинѣ», смертью ли любимаго человѣка, какъ въ «Наканунѣ», обыкновенной ли прозой семейной жизни—она переставала интересовать Тургенева: онъ ставилъ точку. Дѣло въ томъ, что этотъ порывъ былъ сродни его западничеству, тому первоначальному, настоящему западничеству, въ основѣ котораго былъ свѣтлый, широкій, но неопредѣленный идеалъ и которому Тургеневъ оставался вѣренъ всю жизнь..

VI. *)

О народничествѣ, г-на В. В.

Г. В. В., авторъ книгъ: «Судьбы капитализма въ Россіи», «Крестьянская община» (въ 1-мъ томѣ «Итоговъ экономическаго изслѣдованія въ Россіи по данныхъ земской статистики»), «Прогрессивныя теченія въ крестьянскомъ хозяйствѣ», «Очерки кустарной промышленности», «Наши направленія»,—называетъ себя, подобно г. Юзову, народникомъ. Взаимныя отношенія этихъ двухъ, такъ сказать, оффиціальныхъ представителей народничества для меня не совсѣмъ ясны, не смотря на то, что, по названію, они—едино суть. Какъ бы, однако, они сами другъ къ другу ни относились, я чувствую себя немножко неловко, сопоставляя ихъ: за г. В. В. неловко. Въ числѣ произведеній этого писателя есть въ высшей степени почтенныя и серьезныя, самостоятельныя работы, съ которыми придется считаться, какъ теперь, такъ и въ будущемъ, всякому изслѣдователю экономической жизни Россіи. Это—работникъ въ настоящемъ и почетномъ смыслѣ этого слова, тогда какъ г. Юзовъ, не смотря на все свое трудолюбіе... мы въ прошлый разъ видѣли, что такое г. Юзовъ.

Есть, однако, одна сторона, по отношенію къ которой писанія

*) 1893, октябрь.

г. Юзова, при всемъ ихъ ничтожествѣ, должны быть поставлены выше писаній г. В. В., взятыхъ во всей ихъ совокупности.

Въ статьѣ «Печать и міросозерцаніе общества», напечатанной въ сборникѣ «Путь—дорога», г. В. В. обращается къ нашей журналистикѣ съ весьма суровыми упреками: она гонится только за «разнообразіемъ» и «удобочитаемостью» матеріала; ея органы или лишены всякаго опредѣленнаго направленія и стремятся угодить «и вашимъ, и нашимъ», или занимаются «повтореніемъ избитыхъ фразъ и прикидываніемъ извѣстнаго шаблона къ тѣмъ или другимъ явленіямъ жизни и слова, но не защитою основныхъ воззрѣній, не разработкою вопросовъ, требующихъ уясненія». Въ этихъ упрекахъ есть кое-что вѣрное, но кое-что уже слишкомъ строго и составляетъ, повидимому, плодъ недоразумѣнія. Безъ всякаго сомнѣнія, журналистика оставляетъ безъ разработки многіе вопросы, «требующіе уясненія», и на это есть и причины многія. Но, независимо отъ этой многочисленности, какъ причинъ, такъ и слѣдствій, для уразумѣнія истиннаго смысла упрековъ г. В. В. надо бы знать, какіе именно вопросы «требуютъ уясненія». Г. Боборыкинъ, напримѣръ, находитъ, что необходимо уяснить вопросъ объ эстетической критикѣ, и весьма многіе съ нимъ согласны. Г. Волынскій полагаетъ требующимъ уясненія вопросъ объ томъ, почему онъ чувствуетъ «острую боль», когда его «какимъ-нибудь предметомъ» по головѣ бьютъ, и можетъ быть другіе многіе тоже очень заинтересованы этимъ вопросомъ; даже навѣрное заинтересованы, если, конечно, имѣть въ виду не спеціально удары по головѣ г. Волынскаго, а метафизику вообще. Г-на В. В. эти вопросы, повидимому, совсѣмъ не занимаютъ. По крайней мѣрѣ, онъ ихъ въ печати никогда даже отдаленнымъ и какимъ-нибудь косвеннымъ образомъ не касался. Это было бы, пожалуй, и неумѣстно въ большинствѣ работъ г. В. В., въ виду ихъ спеціально экономическаго характера. Но въ произведеніяхъ, озаглавленныхъ «Наши направленія» или «Печать и міросозерцаніе общества», можно бы было съ увѣренностью ожидать встрѣтить хоть какіе-нибудь отклики на эстетическія и философскія теченія въ литературѣ,—я беру два первыя попавшіяся теченія, двѣ первыя попавшіяся группы вопросовъ, игнорируемыхъ г-мъ В. В., но ихъ можно бы было указать и больше. И не только они не занимаютъ самого г. В. В., но онъ даже не думаетъ объ томъ, что они могутъ другихъ занимать, Останав-

ливаясь на тѣхъ же двухъ случайно взятыхъ примѣрахъ, мы видимъ, что и г. Боборыкинъ, и г. Волынскій дѣлаютъ (хорошо или дурно—другой вопросъ) какъ разъ то, чего требуетъ г. В. В., «защищаютъ основныя воззрѣнія, разработываютъ вопросы, требующіе уясненія», по ихъ, гг. Боборыкина и Волынскаго, мнѣнію. Но они какъ бы не существуютъ для г. В. В. Онъ ихъ не видитъ; ни ихъ самихъ, ни ихъ противниковъ. Самое большое,—онъ зачисляетъ всѣ эти препирательства въ составъ того «удобочитаемаго разнообразія», которое онъ такъ рѣшительно ставитъ въ упрекъ нашей журналистикѣ, прибавляя еще упрекъ въ отсутствіи направленія и въ желаніи угодить и нашимъ, и вашимъ. Я отнюдь не думаю защищать нашу журналистику отъ упрековъ г. В. В. по существу, я хочу только указать на односторонность его точки зрѣнія. Многое изъ того, что ему, благодаря этой односторонности, кажется только удобочитаемымъ разнообразіемъ, на самомъ дѣлѣ проникнуто очень опредѣленнымъ направленіемъ и можетъ придтись по вкусу либо только «нашимъ», либо только «вашимъ». Естественно, что человѣкъ, несвѣдущій въ какой-нибудь области или не интересующійся ею, не различаетъ и направленій, въ которыхъ въ этой области сходятся, расходятся и перекрещиваются различныя движенія. Но въ сужденіяхъ объ этой области и въ общихъ выводахъ, ее захватывающихъ, ему подобаетъ нѣкоторая осторожность. Тому или другому писателю, по его неподготовленности, по складу его ума, или, наконецъ, просто по его склонностямъ, вкусамъ, извѣстная часть умственныхъ интересовъ общества можетъ оказаться совершенно чужою,—чужою въ томъ смыслѣ, что онъ не различаетъ здѣсь ни добра, ни зла, ни бѣлаго, ни чернаго, ни правой, ни лѣвой стороны. Это его дѣло. Но ему слѣдуетъ въ такомъ случаѣ воздерживаться отъ широкихъ всеобъемлющихъ темъ, въ родѣ «Наши направленія» или «Печать и міросозерцаніе общества». Быть можетъ ему даже совсѣмъ не слѣдуетъ касаться такого по существу энциклопедическаго дѣла, какъ журналистика. Какими бы широкими задачами такой писатель ни задавался, на дѣлѣ онъ по необходимости сузитъ ихъ до предѣловъ своихъ личныхъ умственныхъ интересовъ, при чемъ иногда даже эти собственные его умственные интересы терпятъ болѣе или менѣе значительный ущербъ. Дѣло въ томъ, что и для излюбленныхъ темъ г-на В. В. совсѣмъ уже не такъ безразлично существованіе г. Волынскаго или г. Бобо-

рыкина; разумѣю, конечно, не личное ихъ существованіе, а ихъ литературную дѣятельность: все связано въ мірѣ мысли. Вотъ въ этомъ-то отношеніи писанія г. Юзова и надо поставить выше писаній г. В. В. Послѣдовательности ради, г. В. В. долженъ признать значительную часть содержанія «Основъ народничества» — не болѣе, какъ «удобочитаемымъ (?) разнообразіемъ». Тутъ есть и «умъ, и чувство, какъ факторы прогресса», и «объективная философія», и «абсолютная этика», и «свобода воли», и «личность и законы исторіи», и «современные моралисты», и «еврейскій вопросъ», и «буддійское отношеніе къ животнымъ», не говоря уже объ «интеллигентномъ бюрократизмѣ и народничествѣ», «капитализмѣ и мірскомъ владѣніи», «правовыхъ воззрѣніяхъ народа» и проч. Словомъ, въ распоряженіи г. Юзова есть цѣлая маленькая энциклопедія, правда, никуда не годная и понадерганная откуда попало, но свидѣтельствующая во всякомъ случаѣ объ томъ, что авторъ желалъ бы себѣ уяснить многое, на первый взглядъ очень отдаленное отъ «народничества». Поэтому, какъ ни плохъ г. Юзовъ, а онъ можетъ усмотрѣть совершенно опредѣленныя направленія тамъ, гдѣ умственный взоръ г. В. В. видитъ только безформенное и безразличное разнообразіе Мало того: для нѣкоторыхъ общихъ г. Юзову и г-ну В. В. тезисовъ, первый имѣетъ возможность предъявить аргументацію, болѣе разностороннюю и, по крайней мѣрѣ, формально, болѣе основательную, чѣмъ послѣдній. Я не говорю, что г. В. В. долженъ, въ какомъ бы то ни было отношеніи», руководствоваться примѣромъ г. Юзова. Но если онъ желаетъ говорить о «нашихъ направленіяхъ» и о «міросозерцаніи» общества, то ему надлежитъ обзавестись умственными горизонтами, нѣсколько болѣе широкими, чѣмъ тѣ, которыми онъ нынѣ располагаетъ.

Войдемъ въ нѣкоторыя подробности.

Разнообразные вопросы, занимающіе журналистику, не нуждаются въ выясненіи. Какіе же, по мнѣнію г. В. В., нуждаются? Уже изъ общаго характера его работъ видно, что таковыми онъ считаетъ вопросы практической жизни. Онъ говоритъ, однако, (въ статьѣ «Печать и міросозерцаніе общества»), что непосредственныя практическія злобы дня въ настоящее время не совсѣмъ удобны для литературной разработки, и потому прощаетъ журналистикѣ ея умолчанія или недостатокъ яркости. Это прощеніе было бы можетъ быть великодушно, если-бы въ немъ дѣйстви-

тельно нуждалась вся «печать», всѣ «наши направленія». Изъ самой постановки дѣла видно, что и здѣсь г. В. В. отметаетъ, игнорируетъ всѣ тѣ органы печати и всѣ тѣ направленія, которыя не стѣсняются въ обсужденіи практическихъ злобъ дня. Это—новая односторонность. Какъ бы то ни было, г. В. В. прощаетъ. «Но,—продолжаетъ онъ,—вѣдь эти вопросы суть непосредственныя практическія формулы, а за ними лежитъ область идей болѣе общихъ, основаній болѣе глубокихъ, которыми опредѣляются и тѣ или другія конкретныя и практическія приложенія». Къ этой-то области и слѣдуетъ обратиться журналистикѣ, ибо тамъ она можетъ расположиться съ полнымъ комфортомъ. Что разумѣетъ г. В. В. подъ «областью идей болѣе общихъ» и для разработки удобныхъ, видно изъ слѣдующаго его ироническаго обращенія къ журналистикѣ: «Или, можетъ быть, теоретическіе вопросы порѣшены, конкретныя формулы построены, дѣло только въ практическомъ ихъ осуществленіи? Но въ такомъ случаѣ, какія это формулы? гдѣ ихъ философское обоснованіе? Что такое современный либерализмъ, каковы его основныя воззрѣнія, отличіе отъ европейскаго либерализма и нашего прежняго западничества? Гдѣ философское обоснованіе народничества въ его разнообразныхъ теченіяхъ? Ихъ нѣтъ». Ихъ нѣтъ, но, по мнѣнію г. В. В., ихъ не трудно добыть, это—«работа, естественная по условіямъ мѣста и времени», и если журналистика ею не занимается, то лишь вслѣдствіе своей «апатіи и индифферентизма». Я этого не думаю; до такой степени не думаю, что не считаю даже нужнымъ останавливаться на этомъ пунктѣ и обращу вниманіе читателя на другую сторону дѣла. Можетъ показаться, что г. В. В. только для образчика указалъ на «либерализмъ» и «народничество», какъ на пункты, требующіе уясненія и вмѣстѣ съ тѣмъ представляющіе особливыя удобства для такого выясненія, но ими не исчерпываются «наши направленія» и «міросозерцаніе» нашего общества. Однако, для г. В. В., повидимому, исчерпываются.

Въ книжкѣ «Наши направленія» на стр. 108 читаемъ: «Мы познакомились съ двумя главными теченіями нашей общественной мысли—западническимъ и народническимъ,—беря для характеристики крайніе фланги обоихъ, обращая преимущественное вниманіе на пункты ихъ различія и игнорируя сходныя черты, а также,—въ виду поставленной себѣ цѣли оцѣнки основныхъ

принциповъ направленій,—устраняясь отъ характеристики промежуточныхъ между крайними теченій». Что значитъ противопоставленіе «западничества» и «народничества», мы еще увидимъ. Замѣтимъ только пока, что «западничество» и «либерализмъ» часто замѣщаютъ другъ друга въ рѣчи г. В. В. Итакъ, западничество (или либерализмъ) и народничество,—вотъ къ чему сводятся «наши направленія». Я уже не говорю объ томъ, что г. В. В. и въ этихъ предѣлахъ сознательно устраняетъ «промежуточныя теченія», что онъ «игнорируетъ сходныя черты», что, наконецъ, онъ, по его собственнымъ словамъ, «не обладаетъ достаточными свѣдѣніями» для сужденія объ «историческомъ развитіи въ русскомъ обществѣ идеи «народа» и «народнаго» (стр. 71). Сопоставляя все это съ вышеприведеннымъ мѣстомъ изъ статьи «Печать и міросозерцаніе общества», мы видимъ, какъ узко поле зрѣнія г. В. В., какъ на многое онъ частію сознательно, частію безсознательно закрываетъ глаза: ничего, кромѣ «либерализма» и «народничества» онъ не видитъ или не хочетъ видѣть; никакіе иные вопросы не требуютъ уясненія, никакія иныя сферы мысли не входятъ или не должны входить въ задачи печати и въ составъ міросозерцанія общества. Что извѣстная часть этого процесса закрыванія глазъ происходитъ совершенно сознательно, видно изъ того, что г. В. В. пытается защищать свою позицію. Но такъ какъ односторонность и узкость сами по себѣ незащитимы, то неудивительно, что и защита г. В. В. носитъ на себѣ печать нѣкоторой спутанности мысли.

Книжка «Наши направленія» оканчивается слѣдующими словами: «Современные писатели вообще гораздо больше интересуются тѣмъ, что думаютъ отживающіе отцы, а не развивающіяся дѣти. Вслѣдствіе этого они тщательно слѣдятъ за всякою потугой реакціонной мысли и не отвѣчаютъ на запросы со стороны формирующейся интеллигенціи, не оказываютъ пособія молодой мысли разработкой вопросовъ, имѣющихъ важное принципіальное значеніе, чѣмъ отчасти и объясняется господствующій у насъ разбродъ общественнаго мнѣнія. При такомъ отношеніи литературы къ запросамъ со стороны формирующейся интеллигенціи нѣтъ ничего удивительнаго, если вновь складывающіяся жизненныя теченія принимаютъ не совсѣмъ раціональныя формы и въ практическомъ примѣненіи, и въ теоретическомъ ихъ обоснованіи; если молодежь легко поддается проповѣди малоосновательнаго

ныхъ, но представляющихъ извѣстную цѣльность настроенія и отвѣчающихъ нѣкоторымъ ея запросамъ воззрѣній... Дѣятели литературы» должны «памятовать, что воспособленіе росту молодой поросли составляетъ гораздо болѣе важную и плодотворную задачу, чѣмъ малопроизводительныя попытки исправленія кривыхъ вѣтвей и стволовъ».

Здѣсь очень много недоразумѣній. Къ «либерализму» и «народничеству» г. В. В. прибавляетъ здѣсь еще одно направленіе—«реакціонную печать», но только затѣмъ, чтобы скинуть ее со счетовъ, не давая ей при этомъ никакого опредѣленія и весьма странно мотивируя свое презрительное къ ней отношеніе. Единственнымъ ея признакомъ и единственнымъ мотивомъ для ея устраненія изъ счета «нашихъ направленій» оказывается принадлежность къ ней «отживающихъ отцовъ» или «кривыхъ вѣтвей и стволовъ». Это прежде всего фактически невѣрно. Только что получено печальное извѣстіе о смерти А. Н. Плещеева. Это былъ отживающій отецъ, но ни его, ни многихъ недавно отжившихъ, ни многихъ стоящихъ на этой мрачной очереди, г. В. В. не отнесетъ къ «реакціонной печати», хотя я и не знаю, какъ онъ ихъ распредѣлитъ по двумъ остальнымъ своимъ рубрикамъ. Съ другой стороны, г-ну В. В. стоитъ только оглянуться, чтобы увидать цѣлый рядъ молодыхъ или такъ называемыхъ молодыхъ дѣятелей литературы, съ «новымъ словомъ» на устахъ, стоящихъ въ прямой оппозиціи къ тѣмъ отживающимъ или уже отжившимъ отцамъ. Вообще составъ литературы, какъ личный. такъ и идейный, гораздо сложнѣе, чѣмъ онъ представляется г. В. В. Прискорбно, разумѣется, если молодежь легко поддается проповѣди малоосновательныхъ воззрѣній, но изъ этого не слѣдуетъ ни того, что реакціонная печать и отживающіе отцы — тождественны, ни того, что мнѣнія ихъ можно сбросить со счетовъ нашихъ направленій. Да чего лучше! Самъ г. В. В. удѣляетъ очень много вниманія г. Пыпину, который не есть представитель «реакціонной печати», но вѣдь и не «молодая поросль», не «развивающееся дитя». Съ точки зрѣнія г. В. В., г. Пыпинъ есть именно одинъ изъ тѣхъ, какъ онъ выражается, «кривыхъ стволовъ», попытки исправленія которыхъ онъ считаетъ непроизводительными. Самъ г. В. В. достаточно не «дитя», чтобы мечтать о возможности переубѣдить столь окрѣпшаго писателя, какъ г. Пыпинъ, котораго мнѣ только потому не хочется называть отживающимъ

отцомъ, что я искренно желаю ему долголѣтія. Однако, г. В. В. считаетъ нужнымъ и, вѣроятно, производительнымъ полемизировать съ г. Пыпинымъ; полемизировать такъ много, такъ долго и цѣпко, что становится, наконецъ, даже скучно присутствовать при этой полемикѣ; а все дѣло именно въ присутствующихъ. Если бы г. В. В. и г. Пыпинъ, считая взаимно другъ друга «кривыми стволами», жаждали исправить одинъ другого, то ничто не мѣшало бы имъ устроить приватное свиданіе, на которомъ они и свели бы, такъ или иначе, свои счеты. Но они имѣютъ въ виду присутствующихъ, извѣстную аудиторію, въ составѣ которой есть и «молодая поросль». Поэтому полемика и критика, вполнѣ безнадежная въ смыслѣ исправленія кривыхъ стволовъ можетъ, однако, быть очень производительною. Это очевидно, и если отъ г. В. В. такая очевидность ускользнула, то лишь благодаря односторонности всей его постановки вопроса о нашихъ направленіяхъ и о задачахъ печати въ связи съ міросозерцаніемъ общества.

Г. В. В. правъ, говоря объ апатіи и индиферентизмѣ, какъ объ общемъ фонѣ современной русской жизни и литературы. Но на этомъ фонѣ мѣстами вырисовываются болѣе или менѣе яркіе узоры духовной смуты, естественно болѣе всего отражающейся на «молодыхъ поросляхъ». Но для сужденія объ этой смутѣ г. В. В. одинъ изъ самыхъ неподходящихъ людей. Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ вполнѣ добросовѣстныхъ, но узкихъ и одностороннихъ работниковъ, которые склонны сомнѣваться даже въ существованіи чего-нибудь за предѣлами ихъ лично занимающихъ идей и вещей: тамъ—пустыня, не стоющая вниманія. Но, къ счастію или къ несчастію, не пустыня тамъ. Либерализмъ и народничество составляютъ не только предѣлы, а и все содержаніе умственнаго кругозора г. В. В. Говоря объ нашихъ направленіяхъ и о міросозерцаніи общества, онъ не обращаетъ вниманія даже на такой крупный элементъ смуты, какъ «толстовство», потому что его нельзя вдвинуть цѣликомъ ни въ либерализмъ, ни въ народничество. А между тѣмъ гр. Толстой, преимущественно именно среди молодой поросли, много душъ погубилъ, по мнѣнію однихъ, много душъ спасъ, по мнѣнію другихъ. Въ дѣйствительности, дѣло стоитъ, надо думать, не такъ ужъ круто, но во всякомъ случаѣ «толстовство» — фактъ, съ которымъ надо считаться. И не «разнообразія» ради старалась

журналистика разобраться въ этомъ сложномъ явленіи, и не для исправленія «кривого ствола», а ради все той же молодой поросли, среди которой, по свидѣтельству г. В. В., малоосновательныя воззрѣнія пользуются, при извѣстныхъ условіяхъ, легкимъ успѣхомъ. Г. В. В. этого не видитъ и не чувствуетъ, потому что его самого мало занимаютъ вопросы, связанные съ толстовствомъ, но нельзя же за это привлекать къ отвѣтственности тѣхъ, кто видитъ и чувствуетъ.

Книжка «Наши направленія», равно какъ и статья «Печать и міросозерцаніе общества» появились, когда только что улеглись непосредственные результаты тяжелыхъ несчастій, постигшихъ Россію, но они ничѣмъ не отразились ни въ книжкѣ, ни въ статьѣ. Голодный годъ и холерные безпорядки вызвали цѣлую литературу, конечно, недостаточную по отношенію къ огромной важности и поучительности событій, но достаточную для того, чтобы хоть лишнюю страничку прибавить къ характеристикѣ нашихъ направленій. Но должно быть и эта литература есть только «удобочитаемое разнообразіе» съ преобладающимъ стремленіемъ угодить и нашимъ, и вашимъ. Вѣрнѣе же сказать, разнообразныя наблюденія, выводы и обобщенія, доставленныя великимъ бѣдствіемъ, не укладываются въ слишкомъ короткую и узкую формулу противоположенія западничеству народничества.

Тѣмъ паче нѣтъ г-ну В. В. дѣла, напримѣръ, до проникающихъ къ намъ символистскихъ и декадентскихъ вліяній, до возрожденія мистицизма и метафизики и проч. Все это, какъ не имѣющее непосредственнаго отношенія къ либерализму и народничеству, не входитъ въ его разсчеты и соображенія ни съ плюсомъ, ни съ минусомъ. Но молодыя поросли, умственные интересы которыхъ отстаиваетъ г. В. В., не слѣдуютъ въ этомъ отношеніи его примѣру; они не остаются безразличными къ упомянутымъ теченіямъ и выбираютъ себѣ въ нихъ то или другое направленіе, не справляясь объ томъ, различаетъ ли эти направленія съ своей точки зрѣнія г. В. В. Нѣтъ резона и журналистикѣ сообразоваться съ этою точкою зрѣнія. Нехорошо, если журналъ печатаетъ сегодня статью, скажемъ, противъ метафизики въ философіи или противъ символизма въ искусствѣ или противъ морали гр. Толстого и т. д., а черезъ мѣсяцъ выступаетъ съ защитой этихъ только что отвергнутыхъ вещей. Это нехорошо, потому что сбиваетъ съ толку читателя, лишаетъ его опредѣлен-

ной руководящей нити и въ самомъ дѣлѣ свидѣтельствуетъ объ отсутствіи направленія. Но если журналъ ищетъ такой руководящей нити не только въ области, отмѣченной пограничными столбами «западничества» или «либерализма» и «народничества», а и повсюду, гдѣ могутъ торжествовать «малоосновательныя воззрѣнія»—онъ дѣлаетъ именно то, что долженъ дѣлать. Такое разнообразіе, разнообразіе сюжетовъ, а не совмѣщеніе разныхъ направленій, не только желательно, но и обязательно. «Удобочитаемость» тоже дѣло не худое...

Все это, кажется, такъ ясно и просто, что и доказательству не подлежитъ. Но суровость г. В. В. показываетъ, что это не для всѣхъ ясно и просто, и мы еще увидимъ, какъ обезоруживаетъ себя своею односторонностью самъ г. В. В., даже въ тѣхъ случаяхъ, когда по существу онъ правъ.

«Итакъ,—интересы народа, какъ цѣль, формы, вырабатываемыя его коллективною мыслью, или другія, соотвѣтствующія его желаніямъ, какъ средство, и самодѣятельность населенія, какъ рычагъ общественной эволюціи, — таковы три положенія, характеризующія народничество, какимъ оно опредѣлилось въ пореформенную эпоху нашей исторіи. Практическое осуществленіе этихъ pia desideria требуетъ умственнаго подъема массы, который поэтому и поставленъ, какъ главная задача переживаемаго момента».

Это говоритъ г. В. В. на стр. 7. Признаюсь, меня очень смущаетъ слово «итакъ», которымъ начинается эта цитата. Всякая формула, подобная приведенной, по необходимости краткая и сама по себѣ слишкомъ общая, должна быть поставлена либо во главѣ изслѣдованія, безъ всякаго «итакъ», въ качествѣ тезиса, подлежащаго развитію и доказательству; либо, напротивъ, въ концѣ изслѣдованія, какъ резюме обнимаемыхъ ею фактовъ и выводовъ. Въ данномъ же случаѣ выходитъ ни то, ни се. Надо замѣтить, что еще на 3-й стр. г. В. В. говоритъ о «крайней затруднительности изученія народничества, какъ особой струйки въ общемъ руслѣ общественной мысли». «Трудность вопроса — продолжаетъ онъ — заключается не въ одной лишь спутанности понятій, вслѣдствіе которой терминъ «народничество» прилагается къ оттѣнкамъ общественной мысли, ничего общаго съ нимъ

не имѣющимъ. Нужно еще въ самомъ народничествѣ отдѣлить главное теченіе отъ второстепенныхъ его рукавовъ, уловить самую сущность вопроса въ разнообразіи формъ... Трудность вопроса усиливается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что» и т. д. Намъ теперь все равно какое это обстоятельство: трудностей во всякомъ случаѣ много и очень серьезныхъ. И всѣ эти трудности, еще на 3-й страницѣ столь многочисленныя и серьезныя,—на 7-й стр. оказываются разрѣшенными, и авторъ получаетъ возможность сказать: «итакъ» вотъ что такое народничество. Можетъ быть, это «итакъ» лично для г. В. В. имѣетъ свое оправданіе, можетъ быть, онъ мысленно дѣйствительно преодолѣлъ всѣ указанныя имъ самимъ трудности и только не счелъ нужнымъ полностью вскрыть эту, такъ сказать, подземную работу передъ читателемъ. Позволительно, однако, и въ этомъ сомнѣваться въ виду категорическаго заявленія г. В. В., что онъ «не обладаетъ достаточными свѣдѣніями» для сужденія объ «историческомъ развитіи въ русскомъ обществѣ идеи «народа» и «народнаго».

Подозрительна затѣмъ и самая конструкція формулы народничества, представленная г-мъ В. В. Мы знаемъ, что такое цѣль и что такое средство, знаемъ взаимное отношеніе этихъ двухъ категорій, но что такое «рычагъ», особое, независимое отъ цѣли и средства понятіе, дающее основаніе третьему члену формулы? Рычагъ,—вѣдь это машина, орудіе, то есть средство. Далѣе, хотя самъ г. В. В. называетъ свою формулу трехчленною, но въ ней, собственно говоря, четыре члена: кромѣ цѣли, средства и рычага, мы имѣемъ еще «требованіе практическаго осуществленія этихъ pia desideria» или «главную задачу переживаемаго момента», и это опять таки отдѣльная, особая категорія, хотя она похожа и на «средство», и на «рычагъ», а, пожалуй, и съ «цѣлью» можетъ слиться. Изъ всего этого слѣдуетъ, мнѣ кажется, только то, что для г. В. В. дороги: 1) интересы народа, 2) формы, «вырабатываемыя его коллективною мыслью или другія, соотвѣтствующія его желаніямъ», 3) самодѣятельность населенія, 4) умственный подъемъ массы. Но какъ слагаются эти четыре элемента въ одно цѣлое, каковы ихъ взаимныя отношенія, что на какомъ мѣстѣ должно быть поставлено,—это неясно самому г. В. В. Элементы какой-то системы или теоріи—на лицо, но ихъ комбинація, то есть сама система или теорія остается загадочной. Элементы эти за исключеніемъ второго, недостаточно ясно

и какъ-то уклончиво выраженнаго, могутъ быть сложены въ такую комбинацію, которую примутъ и люди, никѣмъ не называемые и сами себя не называющіе народниками.

На неясности или уклончивости редакціи второго пункта формулы г. В. В. стоитъ нѣсколько остановиться. Какія это «формы, вырабатываемыя коллективною мыслью народа или другія, соотвѣтствующія его желаніямъ»? Какія онѣ и въ чемъ заключается ихъ цѣнность? Формы эти поставлены на ступени «средства», то есть предполагается или утверждается, что при помощи ихъ наилучше достигается цѣль—«интересы народа». Формы эти, далѣе, вырабатываются коллективною мыслью народа, но могутъ быть выработаны и не ею, а кѣмъ-то другимъ, лишь бы онѣ соотвѣтствовали желаніямъ народа. Эта оговорка не получаетъ никакого разъясненія въ дальнѣйшемъ изложеніи.

Затѣмъ, разсказывая очень бѣгло и смутно исторію идеи «народа» и «народнаго» въ русской литературѣ (для чего, какъ мы видѣли, онъ не имѣетъ достаточныхъ свѣдѣній), г. В. В. замѣчаетъ, между прочимъ: «Изученіе обнаружило въ народной средѣ наличность такихъ формъ быта и такихъ воззрѣній, которыя лучше другихъ, доселѣ осуществлявшихся въ жизни, соотвѣтствуютъ требованіямъ, какія можно предъявить обществу съ точки зрѣнія идеальныхъ представленій о правдѣ и справедливости». Изъ этого слѣдуетъ заключить, что «формы, вырабатываемыя коллективною мыслью народа», цѣнны, главнымъ образомъ, потому, что онѣ соотвѣтствуютъ «идеальнымъ представленіямъ о правдѣ и справедливости». Не будь этого счастливаго совпаденія, народничество приняло бы совершенно иной обликъ или даже, можетъ быть, вовсе не существовало-бы. Спрашивается, однако, чьи же и какіе идеалы правды и справедливости являются здѣсь столь рѣшающимъ моментомъ?— потому что, вѣдь, эти идеалы очень разнородны во времени и пространствѣ. То, что мы, русскіе образованные люди конца XIX вѣка, считаемъ идеалами правды и справедливости, выработано жизнью всего человѣчества всѣхъ предъидущихъ вѣковъ, страданіями и радостями, сознаніемъ и совѣстью востока и запада, сѣвера и юга. И тѣмъ не менѣе, въ нашей средѣ обращаются *идеалы* правды и справедливости, а не единый какой-нибудь безспорный, общепризнанный идеалъ. Одинъ изъ этихъ идеаловъ г. В. В. и беретъ мѣрою для оцѣнки «формъ, выработанныхъ коллективною мыслью на-

рода». И какъ бы ни былъ возвышенъ этотъ избранный имъ идеалъ, онъ всетаки есть его, г-на В. В., личный идеалъ, въ томъ смыслѣ, что удовлетворяетъ его, г-на В. В., сознаніе и совѣсть. И если я, напримѣръ, признаю его высокое достоинство, то это только и значитъ, что мой идеалъ правды и справедливости совпадаетъ съ идеаломъ г. В. В.

Такимъ образомъ, любая «форма, выработанная коллективною мыслью народа», есть прежде всего средство для достиженія извѣстной цѣли и, слѣдовательно, какъ и всякое средство, играетъ подчиненную роль: она не сама по себѣ цѣнится, а лишь поскольку ею достигается или обезпечивается цѣль («интересы народа»). Если будетъ доказана неудовлетворительность ея въ этомъ отношеніи, она можетъ быть въ программѣ народничества замѣнена «другою». Эта «другая» должна соотвѣтствовать «желаніямъ» народа, но собственно рѣшающимъ моментомъ въ этомъ случаѣ являются «идеальныя представленія о правдѣ и справедливости», какъ ихъ понимаетъ г. В. В.,—онъ и его единомышленники.

Все это представляетъ собою, какъ видитъ читатель, простой пересказъ собственныхъ словъ г. В. В.—я ничего не убавилъ и ничего не прибавилъ отъ себя и только предложилъ читателю съ нѣкоторымъ вниманіемъ остановиться на отдѣльныхъ составныхъ частяхъ «формулы народничества» устанавливаемой г. В. В. Однако уже этой простой остановки вниманія оказалось достаточно, чтобы открыть неясность и противорѣчивость формулы. Безъ сомнѣнія, это зависитъ отъ недостаточной внимательности самого г. В. В. На-черно и наскоро продѣлавъ извѣстный логическій процессъ надъ недостаточнымъ количествомъ фактовъ, онъ приходитъ къ нѣкоторому «итакъ», чѣмъ и себя, и, можетъ быть, многихъ читателей вводитъ въ заблужденіе, будто и въ самомъ дѣлѣ полученъ точный итогъ всѣхъ нужныхъ для даннаго случая слагаемыхъ. Онъ не замѣчаетъ при этомъ, что никакого итога нѣтъ, что слагаемыя чисто механически связаны приставками словъ «цѣль», «средство», «рычагъ», «главная задача», безъ внутренняго логическаго согласованія. Въ результатѣ неясность и противорѣчивость неизбѣжны.

Разговоръ о народничествѣ и народникахъ представляетъ, между прочимъ, то важное неудобство, что вы собственно никогда не знаете, съ кѣмъ именно имѣете дѣло. Когда вы, напри-

мѣръ, въ «Очеркахъ новѣйшей русской литературы» г. Скабичевскаго читаете главы о «беллетристахъ-народникахъ», вы видите, что авторъ разумѣетъ подъ «народничествомъ» совсѣмъ не то, что гг. В. В. или Юзовъ. Эти послѣдніе очень властно говорятъ отъ имени народничества, но хотя они въ весьма многомъ сходятся, однако г. В. В. подвергъ еще недавно весьма строгой критикѣ «Основы народничества« г. Юзова, а г. Юзовъ, очень почтительно относясь къ г. В. В. вообще, тѣмъ не менѣе даже не упоминаетъ объ его формулѣ народничества. Во всемъ этомъ очень трудно оріентироваться. Попробуемъ устранить наиболѣе общее и наименѣе опредѣленное понятіе о народникахъ, какъ о группѣ писателей—беллетристовъ и не-беллетристовъ—берущихъ свои темы изъ жизни народа и относящихся съ сочувствіемъ къ его судьбамъ. Это, дѣйствительно, слишкомъ широкая рамка, вмѣщающая иногда даже просто пріятности деревенской жизни вообще. Вслѣдствіе этого въ «Очеркахъ» г. Скабичевскаго даже г. Евгеній Марковъ, хотя и не зачисленъ въ группу «беллетристовъ-народниковъ», но всетаки «смотритъ на русскую жизнь съ народнической точки зрѣнія» (стр. 296),—тотъ самый г. Евгеній Марковъ, который написалъ громовую, хотя, къ счастью, никого не убившую, статью «Мужиковствующіе писатели», который не находилъ достаточно сильныхъ словъ для протеста противъ вторженія мужика въ литературу! Можно бы, повидимому, объединить народниковъ на первомъ и верховномъ членѣ формулы г. В. В.—на «интересахъ народа, какъ цѣли общественной эволюціи». Но я уже слышу отчаянный крикъ «караулъ! грабятъ!» Это кричитъ г. Юзовъ, защищающій свой собственный домъ отъ интеллигентно-либерально-бюрократо-народолюбивыхъ иновѣрцевъ. Ему мало признанія интересовъ народа цѣлью общественной эволюціи, онъ требуетъ еще безусловнаго уваженія къ «мнѣніямъ» народа. То же самое имѣетъ въ виду г. В. В., говоря о «формахъ, выработанныхъ коллективною мыслью народа или другихъ, соотвѣтствующихъ его желаніямъ». Мы видѣли, однако, что такое довѣріе къ коллективной мысли и желаніямъ народа основано лишь на предполагаемомъ совпаденіи ихъ съ идеалами г. В. В. Ну, а если бы оказалось, что этого совпаденія нѣтъ совсѣмъ или хотя бы по нѣкоторымъ только пунктамъ?

Утверждая, что г. В. В. въ концѣ-концовъ мѣряетъ вещи на свой аршинъ, оцѣниваетъ явленія жизни съ точки зрѣнія своего

собственнаго идеала, я отнюдь не хочу сказать что-нибудь обидное. Совершенно даже напротивъ, ибо иначе можетъ поступать только человѣкъ, лишенный идеала и нравственной мѣры вещей. Если я вижу въ данной «формѣ» зло или добро, то мнѣнія или желанія хотя бы милліоновъ людей, трудящихся надъ ея созиданіемъ или разрушеніемъ, сами по себѣ не въ силахъ измѣнить мое убѣжденіе, хотя бы такое разногласіе и ставило меня въ самыя трагическія положенія. Я могу сдаться, струсить, примириться, притвориться, но искренно признать зло добромъ или наоборотъ—не могу, если только вообще способенъ имѣть собственное мнѣніе о добрѣ и злѣ Возможны, однако, разные самообманы и самоутѣшенія, въ связи частію со слабою воспріимчивостью, а частію съ односторонностью и неясностью мысли. Человѣкъ можетъ, напримѣръ, въ интересахъ излюбленной доктрины, отчасти сознательно, отчасти безсознательно закрывать глаза на неукладывающіяся въ доктрину, но несомнѣнно существующія комбинаціи добра и зла, индѣ сгущая краски, индѣ смягчая ихъ, обходя или перескакивая черезъ нѣкоторыя логическія препятствія. Въ такого рода самообманахъ и самоутѣшеніяхъ очень повинны люди, называющіе себя народниками. Они не обезпокоиваютъ себя вышепоставленнымъ вопросомъ: ну, а если-бы оказалось, что идеалы г. В. В. не совпадаютъ совсѣмъ или на нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, пунктахъ съ коллективною мыслью и желаніями народа? Совпадаютъ—и баста! И такое совпаденіе даетъ этимъ счастливцамъ чрезвычайныя права и полномочія. Они упрекаютъ въ гордынѣ насъ, простыхъ смертныхъ, обсуждающихъ явленія общественной жизни съ точки зрѣнія нашихъ собственныхъ идеаловъ правды и справедливости. Сами они, однако, дѣлаютъ рѣшительно то же самое, да и не могутъ поступать иначе, но предполагаемое совпаденіе уполномочиваетъ ихъ, подъ видомъ смиреннаго преклоненія передъ коллективною мыслью, говорить не отъ собственнаго разума и совѣсти, а отъ этой самой «коллективной мысли народа». Я думаю, что это-то и есть настоящая гордыня.

Совпаденіе собственныхъ идеаловъ общественнаго дѣятеля съ коллективною мыслью народа есть, конечно, огромное, трудно даже оцѣнимое счастье. Но именно потому, что оно такъ огромно,—непозволительна торопливость заключеній въ этомъ отношеніи. Да и отчего бы не задать себѣ вышепоставленный во-

просъ хотя бы просто такъ, на всякій случай, въ часы, напримѣръ, отдыха отъ рыцарской борьбы съ интеллигентно-бюрократическими народолюбцами? При томъ же эта маленькая работа немного и времени отнимаетъ. Дѣло вѣдь очень просто. Если г. В. В. усмотритъ на какомъ-нибудь пунктѣ разногласіе между своими идеалами правды и справедливости съ одной стороны и коллективною мыслью народа - съ другой, то это обстоятельство побудитъ его предполагаю я, еще и еще разъ пересмотрѣть свой идейный багажъ; если же и послѣ такого пересмотра онъ останется при своемъ мнѣніи, то онъ всячески постарается послужить дѣлу правды и справедливости, какъ онъ его понимаетъ,—между прочимъ, постарается повліять въ этомъ смыслѣ и на самую коллективную мысль, и на ея результаты, то есть на выработанныя ею формы. Какіе пути онъ для этого выберетъ, какіе признаетъ удобными и позволительными,—это вопросъ особый, но во всякомъ случаѣ онъ воспользуется всѣми тѣми пунктами, на которыхъ его идеалы, дѣйствительно совпадаютъ съ коллективною мыслью. Я вѣрю, и не только вѣрю, а знаю, что такіе пункты совпаденія существуютъ, что они очень важны и существенны, но именно поэтому не вижу надобности закрывать глаза на пункты разногласія. Г. В. В. не скажетъ, я полагаю, что такихъ пунктовъ совсѣмъ нѣтъ, но въ писаніяхъ его они остаются неизвѣстными, и самое существованіе ихъ остается укрытымъ подъ общею фразою: «изученіе обнаружило въ народной средѣ наличность такихъ формъ быта и такихъ воззрѣній, которыя лучше другихъ, доселѣ осуществлявшихся въ жизни, соотвѣтствуютъ требованіямъ, какія можно предъявить обществу съ точки зрѣнія идеальныхъ представленій о правдѣ и справедливости» Изученіе, дѣйствительно, обнаружило это, но не только это.

Какъ ни недостаточны, даже въ фактическомъ отношеніи, разсужденія г. В. В. о «нашихъ направленіяхъ», но всетаки о нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ говоритъ, выражая свое съ ними согласіе или несогласіе. Послѣдуемъ за нимъ.

Въ предисловіи къ «Нашимъ направленіямъ» г. В. В. указываетъ книгу г. Николая—она «Очерки пореформеннаго хозяйства Россіи», въ которой, - говоритъ г. В. В., - «экономическая сторона развиваемой нами теоріи, по крайней мѣрѣ, въ ея отри-

цательной части, получила новое освѣщеніе». Г. В. В. поступаетъ совершенно правильно, выдѣляя въ данномъ случаѣ экономическую сторону развиваемой имъ теоріи: г. Николай—онъ стоитъ въ своей книгѣ исключительно на экономической точкѣ зрѣнія и уже по одному этому не можетъ быть привлеченъ къ отвѣтственности за политическія или этическія соображенія г. В. В. Но и относительно экономической стороны между трудами г. В. В. и г. Николая—она есть весьма существенныя различія. Такъ, напримѣръ, на стр. 113 г. В. В. говоритъ, что въ «явленіяхъ земледѣльческой области еще даже теоретически не рѣшенъ вопросъ, крупное (батрачное) или мелкое (самостоятельное) производство выгоднѣе для страны». И вездѣ въ «Нашихъ направленіяхъ», равно какъ и въ другихъ своихъ работахъ, г. В. В. имѣетъ въ виду только эти два вида земледѣльческаго хозяйства, тогда какъ для г. Николая—она обѣ эти формы должны уступить мѣсто третьей — крупному самостоятельному хозяйству. Въ связи съ этимъ находится существенное различіе въ самомъ тонѣ и характерѣ работъ обоихъ названныхъ писателей. Г. В. В. интересуется «прогрессивными явленіями въ крестьянскомъ хозяйствѣ», тогда какъ г. Николай—онъ слѣдилъ преимущественно за процессомъ разложенія крестьянскаго хозяйства. Мы увидимъ, какъ важно это обстоятельство для оцѣнки и не-экономическихъ соображеній г. В. В.

Обращаясь къ г. Пыпину, едва ли не самому усердному антагонисту г. В. В., которому и онъ въ свою очередь удѣляетъ едва ли не наибольшее вниманіе, я долженъ сказать, что весь ихъ длинный, уже не одинъ годъ продолжающійся и горячій споръ представляется мнѣ рядомъ недоразумѣній, въ которыхъ повинны обѣ стороны. Кромѣ частныхъ ошибокъ, возможныхъ въ каждомъ спорѣ, гг. Пыпинъ и В. В. повинны въ томъ, что, говоря на разныхъ языкахъ, они не замѣчаютъ этого въ теченіе уже нѣсколькихъ лѣтъ. Имъ надлежало бы или давно прекратить эту странную бесѣду, или усвоить себѣ общій языкъ. Ядро всѣхъ писаній г. В. В. составляютъ факты и выводы экономическаго характера, и они не затрогиваются критикою г. Пыпина, какъ спеціалиста по исторіи литературы и этнографіи, хотя эта критика долженствуетъ обнять все «народничество». Въ свою очередь г. В. В. не ограничивается своимъ ядромъ, а принимаетъ вызовъ въ сферы историко-литературныхъ и этнографическихъ со-

ображеній, для свободнаго обращенія въ которыхъ онъ, по его собственнымъ, какъ мы видѣли, словамъ, не имѣетъ достаточныхъ свѣдѣній. Столь почтенные писатели, какъ гг. Пыпинъ и В. В., никогда не встали бы въ такое ложное положеніе, если бы слово «народъ», надъ которымъ они, главнымъ образомъ, оперируютъ, не имѣло въ нашемъ разговорномъ обиходѣ столь неопредѣленнаго смысла, допускающаго самыя разнообразныя толкованія. Избѣжать этой неопредѣленности въ обыкновенномъ разговорѣ едва ли даже возможно, но въ научномъ спорѣ не только возможно, а и обязательно.

Въ 1877 г., разбирая программы собиранія уголовно-юридическихъ обычаевъ, представленныя въ этнографическое отдѣленіе Географическаго Общества, г. Фойницкій замѣтилъ, между прочимъ: «Проф. Кистяковскій и В. Н. Майновъ, требуя отъ собирателя отвѣтовъ объ обычаяхъ и воззрѣніяхъ «народа», не говорятъ, въ какомъ именно смыслѣ употребляется ими это выраженіе. Г. Ефименко замѣняетъ его другимъ, онъ интересуется не народомъ вообще, а только однимъ классомъ народа, крестьянствомъ» Съ такой постановкой вопроса г. Фойницкій рѣшительно не соглашается. Вполнѣ признавая первенствующую роль крестьянства въ дѣлѣ развитія и сохраненія обычнаго права, онъ отказывается признать за нимъ роль исключительную. «Мѣщанство,—говоритъ онъ,—не смотря на принадлежность свою къ городу, легче разрывающему связи съ прошлымъ. чѣмъ село; духовное сословіе, не смотря на нивелирующее значеніе консисторій и высшаго духовнаго начальства; даже купечество и мелкопомѣстное, но не чиновное дворянство,—всѣ эти классы въ большей или меньшей степени служатъ дѣлу развитія обычнаго права и свято оберегаютъ многія начала его; исключивъ ихъ изъ области изслѣдованія, мы вводимъ въ разработку обычнаго права совершенно произвольныя ограниченія, непонятныя тѣмъ болѣе, что тѣ же изслѣдователи находятъ нужнымъ останавливаться на обычаяхъ инородцевъ, связь которыхъ съ русскимъ обычнымъ правомъ и съ процессомъ историческаго развитія русскаго правосознанія во всякомъ случаѣ несравненно меньше, чѣмъ связь послѣдняго съ обычаями не крестьянскихъ классовъ русскаго же общества». Далѣе, если стать на точку зрѣнія тѣхъ изслѣдователей, которые въ данномъ случаѣ разумѣютъ подъ «народомъ» крестьянство, то возникаетъ рядъ вопросовъ: «Всѣхъ ли крестьянъ

слѣдуетъ относить къ понятію «народъ»? Не нужно ли выдѣлить отсюда классъ фабричныхъ рабочихъ, какъ порвавшій уже связи съ селомъ и испорченный вліяніемъ города? Не слѣдуетъ ли выдѣлить изъ изслѣдованія всѣ мѣстности, изрѣзанныя желѣзными дорогами, которыя отрываютъ народъ отъ прежняго цикла понятій? Можно ли относить къ народу крестьянъ, занимающихся отхожими промыслами и потому приходящихъ въ частыя столкновенія съ посторонними элементами? Этимъ вопросамъ,—заключаетъ г. Фойницкій, при принятіи оспариваемой мною редакціи, не было бы конца; и потому, высказываясь противъ нея, я понимаю подъ выраженіемъ «народъ» всѣ вообще классы общества, уголовно-юридическая жизнь которыхъ опредѣляется не только постановленіями закона, но и правилами дѣйствующаго среди нихъ обычая». («Записки Географическаго Общества по отдѣленію этнографіи» Т. VIII).

Г. Фойницкій поступилъ въ данномъ случаѣ такъ, какъ долженъ поступать каждый, желающій говорить о «народѣ» серьезно и не плодя недоразумѣній, иногда очень прискорбныхъ по своимъ послѣдствіямъ. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы понятіе «народа», установленное г. Фойницкимъ для изслѣдованій въ области обычнаго права, было пригодно для всякихъ другихъ изслѣдованій. Оно, очевидно, не годится для различныхъ отраслей государствовѣдѣнія, имѣющихъ дѣло съ совокупностью населенія Россійской имперіи, независимо отъ того — обычаемъ или писанымъ закономъ опредѣляются его юридическія отношенія. Въ свою очередь и эта точка зрѣнія не совпадаетъ съ другими возможными понятіями о народѣ. Французскія и русскія газеты переполнены въ настоящую минуту ликованіями на тему о братствѣ обоихъ народовъ, при чемъ подъ народами разумѣются двѣ могущественныя государственныя единицы. Германскій «народъ», въ смыслѣ такой же государственной единицы, недоволенъ этимъ братствомъ, но внутри его есть населеніе Эльзаса и Лотарингіи, отнюдь не питающее враждебныхъ чувствъ къ Франціи. Далѣе, такая государственная единица, какъ Австро-Венгрія, не можетъ уже даже условно называться «народомъ», потому что въ ней слишкомъ ярко выступаютъ «народы» въ другомъ, національномъ смыслѣ. Экономистъ, оперирующій при помощи своихъ спеціальныхъ категорій—производства, распредѣленія, потребленія, труда, капитала, ренты, прибыли, заработной платы — опять такъ по

своему разумѣетъ «народъ», при чемъ «народъ», какъ государственная единица, и «народъ», какъ нація, естественно отступаютъ на задній планъ, хотя отецъ политической экономіи и назвалъ свое сочиненіе—«Изслѣдованіемъ природы и причинъ богатства народовъ». Затѣмъ существуютъ еще разныя представленія о народѣ, внѣ какихъ бы то ни было научныхъ дисциплинъ. Вотъ, напримѣръ, г. Юзовъ, защищая народную медицину, спрашиваетъ, «развѣ хина и кокаинъ не заимствованы изъ народной медицины американскихъ индѣйцевъ?» Хина была извѣстна въ царствѣ Инковъ - государствѣ съ очень высокою культурою, а въ общественномъ отношеніи представлявшемъ своеобразное сочетаніе теократическаго деспотизма съ рѣзко выраженнымъ кастовымъ строемъ. Возможно поэтому, что цѣлебныя свойства хинной коры были открыты какимъ-нибудь древне-перувіанскимъ врачомъ, имя котораго затерялось въ общемъ крушеніи перувіанской цивилизаціи, и въ такомъ случаѣ для самихъ перувіанцевъ хина не была «народнымъ» средствомъ, какъ мы это понимаемъ. Вѣроятнѣе, однако, что они сами не могли бы указать благодѣтеля, да и былъ онъ, вѣроятно, не одинъ, такъ какъ въ разныхъ мѣстахъ и разные люди могли случайно натолкнуться на противолихорадочныя свойства хины; ближайшія округи знали и нѣкоторое время помнили ихъ имена, но они быстро расплывались въ общей безъимянной массѣ. Вотъ эта-то безъимянная масса, въ которой утонули и расплылись личности иниціаторовъ, и называется народомъ, когда мы говоримъ о народной литературѣ, народной медицинѣ и т. п.

Какое же изъ этихъ разнообразныхъ понятій «народа» имѣютъ въ виду гг. Пыпинъ и В. В., препираясь о «народничествѣ»? Я не знаю, да и едва ли кто-нибудь знаетъ, потому что сами полемизирующіе, повидимому, не задавали себѣ этого вопроса.

Въ статьѣ, напечатанной въ 1881 г. въ «Вѣстникѣ Европы», г. Пыпинъ говоритъ: «Если желать, чтобы народъ былъ рѣшающимъ принципомъ, онъ долженъ сначала выйти изъ покрывающей его темноты, и путь къ этому—не мистика и высокомѣрное отношеніе къ народу, а общественная свобода и просвѣщеніе». Не имѣя подъ руками статьи г. Пыпина, я беру эту цитату изъ «Основъ народничества» г. Юзова, который сопровождаетъ ее совершенно безсмысленными замѣчаніями. Намъ до нихъ дѣла нѣтъ. Въ цитатѣ выражена во всякомъ случаѣ излюбленная

мысль г. Пыпина, постоянно и энергически протестующаго противъ «высокомѣрнаго отношенія къ народу» съ одной стороны, и противъ «мистическаго» его превозвышенія съ другой. Подъ «мистикой» онъ разумѣваетъ въ данномъ случаѣ увѣренность въ таинственныхъ великихъ силахъ, заложенныхъ въ «народѣ», въ «русскомъ народѣ» особенно. Казалось бы, позиція г. Пыпина чрезвычайно удобна, представляя собою нѣкоторую золотую середину между двумя крайностями. И спокойный, обстоятельный, увѣренный тонъ статей г. Пыпина свидѣтельствуетъ, что онъ, дѣйствительно, чувствуетъ себя очень удобно: онъ, не волнуясь и не спѣша, воздаетъ коемуждо должное. Приглядываясь, однако, къ дѣлу ближе, мы убѣдимся, что спокойствіе и увѣренность г. Пыпина не вполнѣ основательны. Онъ принадлежитъ къ числу немногихъ сохранившихся у насъ чистыхъ «западниковъ», вѣрующихъ въ единство европейской цивилизаціи и отточившихъ ножъ своего анализа, главнымъ образомъ, на критикѣ націоналистическихъ ученій, преимущественно славянофильства. Благодаря большой спеціальной эрудиціи г. Пыпина и выработанности его критическихъ пріемовъ, въ его статьяхъ всегда можно найти, кромѣ хорошо сгруппированнаго фактическаго матеріала, нѣчто поучительное на излюбленныя темы автора о пользѣ просвѣщенія и общественной самодѣятельности, и о вредѣ узко-націоналистическихъ тенденцій. Надо радоваться, что человѣкъ съ такими познаніями и талантомъ, какъ г. Пыпинъ, не устаетъ въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ развивать эти, казалось-бы, азбучныя темы. Одно время можно было думать, что онъ даже съ излишнимъ трудолюбіемъ отдается развитію и доказательству истинъ, уже усвоенныхъ обществомъ и не признаваемыхъ развѣ лишь нѣсколькими неисправимыми «кривыми стволами и вѣтвями», по выраженію г. В. В Но дальнѣйшее теченіе нашей жизни показало, что г. Пыпинъ былъ и остается правъ въ своей настойчивости. Съ полнымъ уваженіемъ относясь къ дѣятельности г. Пыпина въ этомъ смыслѣ, можно, однако, замѣтить, что онъ немножко застылъ въ своей историко-литературной спеціальности и въ своей «западнической» точкѣ зрѣнія. Поминая въ прошлой книжкѣ «Русскаго Богатства» Тургенева, я говорилъ о той общей атмосферѣ свободы и просвѣщенія, которая была такъ дорога въ европейской цивилизаціи нашимъ первоначальнымъ западникамъ, прямой и вѣрный наслѣдникъ которыхъ есть г. Пыпинъ.

Но это столь ясное и чистое для первоначальныхъ западниковъ небо давно уже заволоклось облаками. «Европейская цивилизація» развернула всѣ содержащіяся въ ней противорѣчія; развернула фактически, въ безпощадной борьбѣ составляющихъ ее элементовъ, развернула и теоретически – устами своихъ собственныхъ мыслителей, отъ которыхъ многому научились и мы, до сихъ поръ почти посторонніе свидѣтели европейской исторіи. Общіе принципы, обнимаемые точкою зрѣнія г. Пыпина, и тѣ не разъ подвергались, да и теперь подвергаются сомнѣніямъ, но можно сказать, что въ общемъ они всетаки выдержали искусъ. Этого отнюдь нельзя сказать о принципахъ болѣе частныхъ и о разнообразныхъ формахъ, въ которыя въ дѣйствительности отливалась европейская жизнь, хотя бы уже именно потому, что онѣ такъ разнообразны, противорѣчивы и враждебны другъ другу. Не такъ же ужъ утѣшительно зрѣлище современной Европы, и, каково бы ни было зрѣлище нашей собственной жизни, русскому человѣку естественно задать себѣ вопросъ: нѣтъ ли въ нашей жизни условій, опираясь на которыя, можно избѣжать явныхъ, самою Европою признанныхъ изъяновъ европейской цивилизаціи? Г. Пыпинъ, конечно, все это знаетъ, но его мысль скользитъ по этой сторонѣ дѣла, чтобы при всякомъ удобномъ, а иногда и неудобномъ случаѣ, исходя изъ упомянутой общей атмосферы, нанести ударъ узкому и самодовольному націонализму.

Alter ego г. Пыпина, г. А. В—нъ, возражая г-ну В. В. въ октябрьской книжкѣ «Вѣстника Европы» за прошлый годъ, между прочимъ, пишетъ: «Что касается этическаго вопроса, извѣстно, что именно на этомъ давно настаивала славянофильская школа, утверждавшая, что русскій народъ носитъ въ себѣ высшія нравственныя начала, неизвѣстныя европейскому Западу, даже, что онъ есть единственный истинный христіанскій народъ. Рискованно также сказать, будто бы до народниковъ у нашихъ экономистовъ и публицистовъ не было представленія объ особыхъ условіяхъ экономической жизни русскаго земледѣльческаго народа. Въ обоихъ случаяхъ вѣрнѣе бы было просто сказать, что экономисты, называющіе себя народниками, только дальше ведутъ дѣло изслѣдованія, начатое ихъ предшественниками».

Въ этомъ замѣчаніи много справедливаго. Люди, именующіе себя народниками, слишкомъ склонны забывать своихъ предшественниковъ, частію по малому знакомству съ исторіей литера-

туры, частію по легкомысленному желанію сказать свое «новое слово». Это послѣднее не можетъ, конечно, относиться къ г. В. В., но вполнѣ относится, напримѣръ, къ «Недѣлѣ», когда она въ семидесятыхъ годахъ напропалую «народничала», главнымъ образомъ, устами г. П. Ч., и, можетъ быть, къ покойному Юзову...

Да, онъ надняхъ упокоился... Я не раскаиваюсь, что писалъ объ немъ въ прошлой книжкѣ «Русскаго Богатства» въ такомъ рѣзкомъ тонѣ—я не для него писалъ, а для читателя, для неумирающаго собирательнаго существа. Я не вычеркну и того, что написано выше, до полученія извѣстія о смерти Юзова, да и дальше мнѣ придется сказать еще два-три слова о покойникѣ. Но онъ покойникъ, онъ безоруженъ, при томъ изъ тѣхъ обезоруженныхъ смертью, за которыхъ едва-ли вступятся сколько-нибудь громкіе голоса. Мнѣ хотѣлось бы, поэтому, помянуть его возможно добрымъ словомъ. Но, увы! это доброе слово можетъ относиться только къ той основной тенденціи писаній Юзова, которую онъ же загромоздилъ посторонними вещами и компрометтировалъ. Г. Пыпинъ и его alter ego нерѣдко благосклонно говорятъ о «любви къ народу», проникающей литературныя произведенія «народниковъ». Я этого съ достовѣрностью не знаю, особенно относительно теоретиковъ, которые, въ противоположность практикамъ съ одной стороны и художникамъ съ другой, вращаются преимущественно въ сферѣ логическихъ операцій. Во всякомъ случаѣ любезности г. Пыпина равносильны извѣстной похвалѣ: «они немножко и дерутъ, но въ ротъ хмѣльнаго не берутъ». Бываютъ, безспорно, люди, вполнѣ заслуживающіе этой обидной похвалы. Но мнѣ кажется, что въ писаніяхъ Юзова есть доля не только хорошаго общественнаго чувства, испорченнаго самолюбивой претензіей на «новое слово» и обидой на непризнаніе таковаго, но и доля истины, хотя и загроможденной, и компрометтированной. На эти-то компрометтирующія загроможденія г. Пыпинъ и его alter ego и обращаютъ, главнымъ образомъ, свое вниманіе.

Перечитайте только что сдѣланную цитату. Авторъ однимъ и тѣмъ же тономъ и за общей скобкой говоритъ и о націоналистической похвальбѣ особенными этическими качествами русскаго народа, и объ указаніяхъ на «особыя условія экономической жизни русскаго земледѣльческаго народа». Правда, у «народниковъ», какъ и у славянофиловъ, можно найти и то, и другое. Но это не есть принципіально необходимое сочетаніе, и г. Пыпину,

какъ историку литературы, хорошо извѣстны литературныя теченія, въ которыхъ признаніе особенности условій экономической жизни русскаго народа отнюдь не шло рука объ руку съ какой нибудь націоналистической «мистикой». Они ему, конечно, хорошо извѣстны, но онъ ихъ обходитъ и даетъ такой итогъ: «*въ обоихъ случаяхъ экономисты*, называющіе себя народниками» и т. д. Обратите вниманіе на подчеркнутыя слова. Выходитъ, что экономисты, въ качествѣ экономистовъ же, разсуждаютъ не только объ экономическихъ условіяхъ, но и объ этикѣ. Конечно, ничто не мѣшаетъ экономисту быть компетентнымъ и въ другихъ сферахъ мысли, въ томъ числѣ и въ области этики, и давать цѣнныя работы и по этой части. Блистательный примѣръ—Адамъ Смитъ, написавшій, кромѣ «Разсужденія о богатствѣ народовъ», еще «Теорію нравственныхъ чувствъ». Можно даже сочинить прямо «Экономическую мораль», какъ это не очень давно, но очень плохо сдѣлалъ Молинари. Но всетаки г. А. В.—ну представлялся случай выдѣлить экономическія и этическія соображенія «народниковъ». Юзовъ и г. В. В. не только не Адамы Смиты, но и вообще не спеціалисты по политической экономіи. Называя ихъ экономистами, г. А. В—нъ разумѣетъ нѣкоторую основную складку ихъ писаній, каковая складка можетъ являться, и въ нашей литературѣ, дѣйствительно, являлась, въ сочетаніи съ этико-политическими принципами, весьма отличными отъ «народническихъ». Г. Пыпинъ или г. А. В—нъ можетъ возразить, что онъ имѣетъ въ виду именно «народничество», а, слѣдовательно, вовсе не обязанъ слѣдить за другими теченіями, хотя бы они и были въ какомъ-нибудь отношеніи близки къ народничеству. Я думаю, однако, что, во-первыхъ, задача историка литературы и критика нѣсколько сложнѣе, и что, во-вторыхъ, дѣло совсѣмъ не въ строгомъ ограниченіи плана критики г. Пыпина. Дѣло въ «благородномъ идеализмѣ сороковыхъ годовъ», какъ выразился г. Пыпинъ въ одномъ мѣстѣ своей «Исторіи русской этнографіи», — трудѣ въ высшей степени почтенномъ и свѣтящемся именно этимъ благороднымъ идеализмомъ Почтительно снимая шляпу передъ этимъ, дѣйствительно, благороднымъ идеализмомъ, заслуги котораго въ русской жизни и литературѣ нельзя достаточно оцѣнить, надо, однако, помнить, что ему минуло уже полвѣка,—и какіе полвѣка! Въ то время лишь немногимъ (я не считаю славянофиловъ) были ясны нѣкоторыя стороны европейской

цивилизаціи, теперь понятныя каждому, даже не особенно вдумчивому человѣку и всетаки неясныя г. Пыпину, человѣку большого ума и знаній, но остающемуся подъ сѣнію «благороднаго идеализма сороковыхъ годовъ».

Г. В. В. говоритъ въ одномъ мѣстѣ, что въ извѣстныхъ обществахъ въ извѣстномъ періодѣ ихъ развитія «главною цѣлью дѣятельности выставляется не удовлетвореніе потребностей массы, какъ совокупности живыхъ, чувствующихъ и мыслящихъ индивидовъ, а—благо страны, интересы государства и т. п.» Г. А. В—нъ возражаетъ на это: «Но развѣ благо страны и интересы государства, въ здравомъ пониманіи, составляютъ что либо различное съ благомъ и интересами народа?» Это возраженіе почти наивно. Г. В. В. именно и желаетъ доказать, что «въ здравомъ пониманіи» интересы и благо государства или страны должны совпадать съ интересами и благомъ «живыхъ, чувствующихъ и мыслящихъ индивидовъ», и что условія русской жизни въ этомъ отношеніи особенно благопріятны. Можно не соглашаться съ обоими этими тезисами, но ссылка на «здравое пониманіе», хотя бы съ точки зрѣнія «благороднаго идеализма сороковыхъ годовъ», не можетъ ни подтвердить, ни опровергнуть факты, на которыхъ строитъ свое зданіе г. В. В. Фактически достовѣрно, что въ общей европейской атмосферѣ свободы и просвѣщенія, столь дорогой нашимъ первоначальнымъ западникамъ, существуютъ весьма либеральныя теоріи, доказывающія, что благо цѣлаго не совпадаетъ и не должно совпадать съ благомъ индивида. Напомню г. Пыпину хоть Ренана, облекшаго эту мысль въ чудовищно фантастическую форму, не лишенную своеобразно жестокаго поэтическаго колорита. Фактически достовѣрно, что экономическія условія европейской жизни, главнымъ образомъ, англійской, создали устами ея же экономистовъ формулу: «національное богатство есть нищета народа». У насъ, - говоритъ г. В. В.,—этого нѣтъ, не должно быть и не можетъ быть, въ томъ смыслѣ, что на нищетѣ народа не можетъ быть построено національное богатство. Если г. Пыпину угодно опровергать этотъ тезисъ, то ему надлежитъ обратиться къ фактамъ, а не къ здравому пониманію. «Всероссійское купечество», о домогательствахъ котораго въ прямой вредъ дѣйствительно всероссійскимъ интересамъ, недавно было столько разговоровъ въ литературѣ, — оно тоже на «здравое пониманіе» опиралось.

Я не буду приводить другіе образчики наивностей—къ сожалѣнію, я не могу иначе ихъ назвать — гг. Пыпина и А. В—на. Да и не въ частностяхъ здѣсь дѣло, а въ общей точкѣ зрѣнія, которая состоитъ въ вѣрѣ въ единую и единоспасающую европейскую цивилизацію. Отсюда же, въ связи съ недостаточнымъ интересомъ къ вопросамъ экономическимъ, вытекаетъ склонность г. Пыпина хвататься за полемическій мечъ всякій разъ, какъ онъ услышитъ слово «народъ»; склонность разумѣть это слово преимущественно въ національномъ и даже чуть не въ этнографическомъ смыслѣ, безъ оговорки относительно всякихъ другихъ смысловъ. Не даромъ критика «народничества» попала въ «Исторіи русской этнографіи»...

Надо, однако, замѣтить, что въ этомъ не мало виноваты и сами «народники». Г. В. В. началъ съ анализа экономическихъ фактовъ, который привелъ его къ убѣжденію, или подтвердилъ ранѣе существовавшее въ немъ убѣжденіе, a priori составленное,— что для Россіи не обязателенъ тотъ путь экономическаго развитія, которымъ шла и идетъ Западная Европа. На этомъ стояли и славянофилы, а впослѣдствіи и группа писателей, не имѣющихъ съ славянофильствомъ, за исключеніемъ этого пункта, ничего общаго. Г. В. В. съ теченіемъ времени не ограничился своей вполнѣ опредѣленной и, конечно, достойной разработки первоначальной темой, а пожелалъ возвести ее на степень цѣлой соціологической доктрины. Къ несчастію, первый шагъ его въ этомъ смыслѣ попалъ на стезю славянофильства, а тамъ естественно послѣдовали и дальнѣйшіе шаги въ ту же сторону, безъ возможности, однако, дойти по этому пути до его логическаго конца. Не то, чтобы г. В. В. шелъ прямо по слѣдамъ славянофиловъ. Нѣтъ, и до сихъ поръ мало знакомый съ исторіей русской литературы, онъ вынужденъ былъ доходить до многаго, что называется, своимъ умомъ. При этихъ условіяхъ какая-нибудь случайность могла съ одинаковою вѣроятностью опредѣлить его первый шагъ по одному изъ тѣхъ двухъ направленій, которыя уже существовали въ литературѣ. Этотъ шагъ, какъ уже сказано, былъ сдѣланъ въ сторону славянофильства. Но дѣло въ томъ, что для славянофиловъ особенность русской экономики составляли одну изъ частностей въ обширной, хорошо разработанной и во всѣхъ своихъ частяхъ со-

гласованной системѣ. Ихъ занимали вопросы богословскіе, философскіе, историческіе, политическіе, нравственные, художественные, соотношеніе вѣры и разума, нѣмецкая философія, законность или незаконность чистаго искусства и эстетической критики, судьбы славянскихъ народовъ, судьбы русскаго раскола, удѣльная и московская Русь, Петровская реформа и проч. Это все болѣе или менѣе открыто обсуждавшіеся вопросы, а затѣмъ шла своимъ чередомъ работа по вопросамъ практическимъ, не подлежавшимъ въ то время гласному обсужденію. Эта обширность умственнаго горизонта давала возможность провѣрить основныя воззрѣнія школы на множествѣ разнообразныхъ явленій и, такъ сказать, оттачивать ихъ. Г. В. В. не только лично не интересуется многими изъ этихъ предметовъ, но даже, какъ мы видѣли, игнорируетъ различныя направленія во всемъ, что не соприкасается непосредственно, вплотную, съ противоположеніемъ либерализма и народничества. Правда, и славянофилы старались свести весь міръ Божій къ двумъ струямъ—восточной и западной, но ихъ выручали обширная эрудиція, изощренная на нѣмецкой философіи, логика и, наконецъ, та цѣльность, опять таки, наивности, которая почти невозможна въ наше многотрудное время. Нельзя, разумѣется, и требовать, чтобы одинъ человѣкъ сдѣлалъ то, что сдѣлала въ свое время группа высокообразованныхъ и талантливыхъ людей. Но г. В. В. былъ не одинъ: на его точкѣ зрѣнія стоялъ Юзовъ, стояла «Недѣля» въ періодъ своего народничества и другіе. Конечно, это не Кирѣевскіе, не Аксаковы, не Хомяковы. Но въ этомъ-то, между прочимъ, и дѣло, что народничество, какъ теорія, не выставило крупныхъ литературныхъ силъ, не смотря на то, что нѣкоторыми своими сторонами оно привлекало много симпатій. Лично г. В. В., обращая свой чисто экономическій тезисъ въ соціологическую доктрину, обнимающую и этику, и политику, на дѣлѣ не расширилъ свои умственные горизонты и при томъ впалъ въ роковую ошибку, допустивъ большую или меньшую неясность въ пониманіи слова «народъ». Достойно вниманія, что и теперь, стараясь, какъ мы видѣли, согласно требованіямъ научнаго анализа, отдѣлить понятіе народа отъ близкихъ, но несовпадающихъ съ нимъ понятій страны, государства, онъ прибавляетъ: «и т. п.», избѣгая упомянуть «націю», какъ особое, самостоятельное понятіе. А между тѣмъ на этой именно почвѣ чаще всего происходятъ прискорбныя недоразумѣнія, объ чемъ, между прочимъ,

свидѣтельствуетъ и безплодность многолѣтняго препирательства гг. Пыпина и В. В.

Оставаясь на экономической почвѣ, — г. В. В. долженъ бы былъ держаться стараго опредѣленія, по которому народъ есть совокупность трудящихся классовъ общества. Съ этой точки зрѣнія, всѣ, живущіе трудомъ, то есть не только мужикъ, а и чиновникъ, и писатель и т. д., входятъ въ составъ народа; и именно постольку, поскольку трудъ—чисто экономическая категорія — составляетъ источникъ ихъ существованія. Если кто нибудь изъ нихъ — опять таки безразлично: мужикъ, врачъ, чиновникъ, учитель — существуетъ, кромѣ труда, еще и другими средствами, то этою стороною своей жизни онъ входитъ уже въ другія экономическія группы, оставаясь, однако, вмѣстѣ съ чистыми представителями труда, въ составѣ болѣе общихъ единицъ, въ томъ числѣ и націи. Какъ видитъ читатель, это тотъ же пріемъ опредѣленія, который въ виду другихъ цѣлей употребилъ г. Фойницкій. Человѣкъ, непривычный къ отвлеченному анализу вообще, и въ частности привыкшій къ ходячему смутному смыслу слова «народъ», можетъ быть, съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ остановится передъ опредѣленіемъ г. Фойницкаго, который включаетъ въ понятіе народа весьма различные классы общества и выключаетъ изъ него всѣхъ живущихъ подъ сѣнію писанаго закона. Но онъ правъ съ своей спеціальной точки зрѣнія, какъ былъ бы правъ и г. В. В., если бы, строго держась экономической точки зрѣнія, включилъ въ составъ «народа» чиновника или профессора и выключилъ изъ него какого-нибудь деревенскаго кулака, хотя послѣдній есть такой же русскій и, можетъ быть, даже болѣе русскій человѣкъ по національности и такой же подданный Россійской имперіи.

Г. В. В. соскользнулъ съ этой точки зрѣнія; соскользнулъ и покатился въ сторону ошибокъ, сдѣланныхъ уже славянофилами. То же самое случилось и съ Юзовымъ, и съ П. Ч. въ «Недѣлѣ», и со многими другими. Дѣло въ томъ, что если каждый трудящійся человѣкъ, въ силу этого самаго обстоятельства, есть представитель народа, то нашъ, хотя бы и необходимый, и очень цѣнный трудъ писателя, врача, профессора и т. д. количественно совершенно тонетъ въ трудѣ многомилліонной массы крестьянскаго населенія. Естественно поэтому, что экономистъ сосредототочиваетъ свое вниманіе преимущественно на этой многомилліонной

массѣ. Такъ и должно быть, въ силу еще разныхъ другихъ обстоятельствъ, объ которыхъ мы теперь распространяться не будемъ. Главное дѣло сейчасъ въ томъ, что та многомилліонная масса, объ которой рѣчь идетъ, кромѣ экономическихъ признаковъ, имѣетъ еще и другіе, до которыхъ экономисту нѣтъ никакого дѣла и которые, при извѣстной логической неосмотрительности, легко могутъ повести къ смѣшенію «народнаго» съ «національнымъ». Экономистъ, напримѣръ, можетъ, съ своей точки зрѣнія, интересоваться матеріаломъ, изъ котораго сдѣлана одежда мужика, мѣстомъ и способомъ его производства, его стоимостью, но до «національнаго» покроя одежды, въ которой ходитъ мужикъ,—ему дѣла нѣтъ. Допустивъ это смѣшеніе точекъ зрѣнія, изслѣдователь, бывшій въ своей исходной точкѣ, какъ г. В. В. (хотя на Юзовѣ и другихъ этотъ процессъ замѣтнѣе), защитникомъ интересовъ труда, начинаетъ говорить на совсѣмъ другомъ языкѣ и становится защитникомъ мужика, какъ конкретнаго явленія, со всѣми разнородными осадками, которые оставилъ на немъ историческій ходъ вещей. А вѣдь эта исторія не исчерпывается «трудомъ». Были и другія вліянія, ну, хоть татарское иго, наслѣдство котораго, ну, хоть въ видѣ подлаго ругательства матернымъ словомъ, доселѣ не изжито мужикомъ. Да и мало ли бѣдъ претерпѣлъ въ свою тысячелѣтнюю исторію русскій народъ, мало ли было пертурбаціонныхъ вліяній, результаты которыхъ мудрено защищать. «Народники», конечно, сами понимаютъ это, но, разъ ступивши на наклонную плоскость, они катятся по ней почти незамѣтно для себя и почти противъ своей воли. А для этого приходится закрывать глаза на многое дурное и давать многому хорошему невѣрное, да и ненужное освѣщеніе. Такъ и случилось съ славянофилами. Но, повторяю, для нихъ особенность русской экономики составляла одинъ изъ частныхъ выводовъ, тогда какъ для «народниковъ» это исходная точка, и потому съ нихъ можно больше требовать въ смыслѣ выдержки извѣстной, отсюда вытекающей точки зрѣнія.

Одинъ изъ пунктовъ, наиболѣе защищаемыхъ народниками, составляетъ наше великорусское общинное землевладѣніе. Въ виду ихъ исходной точки, вся ихъ задача—весьма большая—сводится въ этомъ отношеніи къ изученію этой формы, къ доказательствамъ, что она ограждаетъ интересы народа, въ экономическомъ смыслѣ слова, къ выясненію пертурбаціонныхъ вліяній, мѣ-

шающихъ этому огражденію. Попутно они могли бы опереться еще и на то обстоятельство, что эта форма исторически выработалась и что народъ съ ней вполнѣ освоился. Но народники частію не исполняютъ этой программы, а частію осложняютъ ее посторонними и компрометтирующими соображеніями. Не исполняютъ, потому что слишкомъ мало обращаютъ вниманія на пертурбаціонныя вліянія и на ихъ источники; осложняютъ посторонними и компрометтирующими соображеніями, потому что впадаютъ въ грѣхъ, который г. Пыпинъ называетъ «мистикой». Нынѣ мудрено уже видѣть въ общинѣ нашу національную форму, такъ какъ дознано, что она существовала когда-то въ разныхъ варьяціяхъ во всей Европѣ, гдѣ даже и до сихъ поръ кое-гдѣ кое-какіе слѣды оставила. Тѣмъ не менѣе въ писаніяхъ народниковъ нѣтъ, нѣтъ, да и проскользнетъ націоналистическій комментарій къ факту существованія у насъ общины; комментарій фальшивый и для дѣла совершенно ненужный, но побуждающій, напримѣръ, г. Пыпина ли и г. А. В.—не хвататься за полемическій мечъ, и тоже безъ пользы для дѣла, потому что оно оставляется при этомъ въ сторонѣ. Затѣмъ народники желаютъ придать общинѣ, при томъ, не идеальной какой-нибудь, а общинѣ въ теперешнихъ условіяхъ ея существованія, еще одну, не-экономическую заслугу. Они утверждаютъ, что община есть нѣкоторый очагъ добродѣтели, высокихъ этическихъ началъ альтруизма. Утверждаютъ они это чисто голословно. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что русскій народъ обладаетъ многими прекрасными качествами. Но нѣтъ также изслѣдованія, которое показало бы господство «альтруизма» въ населеніи съ общиннымъ землевладѣніемъ по сравненію съ населеніемъ, владѣющимъ землею подворно. А пока такого изслѣдованія нѣтъ, нельзя видѣть именно въ общинѣ источникъ добрыхъ свойствъ русскаго крестьянства. Съ другой стороны, всякому слишкомъ извѣстно, что община, по крайней мѣрѣ, какъ она есть сейчасъ, не мѣшаетъ существованію женобойства, жестокаго кулачества и другихъ мерзостей, всего менѣе похожихъ на альтруизмъ. Это до такой степени извѣстно, что становится даже неловко за г. В. В., когда онъ свои благожелательныя фантазіи подставляетъ на мѣсто суровой и неприглядной дѣйствительности. И понятно, что такіе пріемы могутъ только компрометтировать защищаемое народниками дѣло.

Дальше въ лѣсъ, больше дровъ. Русскому народу въ смыслѣ

націи ставится огромный плюсъ по сравненію съ другими національными единицами, и затѣмъ уже почти только темпераментъ опредѣляетъ конечный пунктъ этого теченія, ибо логика оставила изслѣдователя въ самомъ началѣ пути. Народу въ смыслѣ мужика ставится огромный плюсъ по сравненію съ «интеллигенціей», и опять начинается дѣло темперамента. Въ этомъ второмъ случаѣ можно бы было, однако, ожидать нѣсколько болѣе плодотворныхъ результатовъ, чѣмъ въ первомъ. Въ исторіи всемірной литературы не новость ни національная гордыня и самохвальство, ни противоположеніе добродѣтелей низшихъ классовъ, мало или вовсе не захваченныхъ цивилизаціей, порокамъ высшихъ. Но, что касается національнаго самохвальства, то каждый говоритъ за себя: французъ за французовъ, нѣмецъ за нѣмцевъ, еврей за евреевъ и т. д. Эта въ своемъ родѣ очень интересная разноязычная литература, если и имѣетъ международное обращеніе, то во всякомъ случаѣ усвояется только соотечественниками. Жители Небесной Имперіи никогда не повѣрятъ, чтобы потомки Арминія или сыны Израиля были первымъ народомъ въ мірѣ; и не только не повѣрятъ, но, даже въ силу особенностей своей національной исторіи, не могутъ даже примѣнить къ ней аргументацію своихъ соперниковъ, а должны изобрѣтать ее сами. Совсѣмъ иное дѣло — противоположеніе высшихъ и низшихъ классовъ. По этому предмету, если начать хоть съ Руссо, имѣется обширная и настоящая международная литература, представляющая въ распоряженіе каждаго русскаго, шведа, нѣмца, еврея, поляка и т. д. запасъ готовыхъ уже фактовъ и аргументовъ. Поэтому-то и можно бы было ожидать, что наши народники, обогащенные этою преемственностью, придутъ къ вполнѣ солиднымъ результатамъ. Каковы же эти результаты?

Мысль о нравственныхъ преимуществахъ низшихъ классовъ общества сравнительно съ высшими естественно связывается съ критикою цивилизаціи, которая, охвативъ высшіе классы, не тронула или почти не тронула низшіе. И вотъ что по этому поводу, между прочимъ, пишетъ г. В. В.:

„Давно уже замѣчено, что массамъ народа въ давно прошедшемъ рисуется золотой вѣкъ, и новѣйшія соціологическія изслѣдованія подтверждаютъ мысль, что такое преданіе не можетъ считаться совершенно неосновательнымъ. Пытаясь воспроизвести по даннымъ археологіи тотъ общественный строй, какой существовалъ на зарѣ исторіи, и наблюдая многія первобытныя общества, до сихъ поръ не вступившія въ историческій періодъ своего существованія, наука, дѣйствительно, готова признать, что исходной

точкой длиннаго пути, пройденнаго человѣчествомъ, были формы общежитія, обезпечивающія индивиду тѣ условія существованія, какихъ оно тщетно добивается въ настоящее время, — экономическое равенство и свободу, — отчего и личныя отношенія членовъ общества отличались большею доброжелательностью, а средній индивидъ тогда (въ границахъ своего общаго развитія) нравственно былъ чище, нежели въ настоящее время". („Наши направленія", стр. 71—72).

Изъ «новѣйшихъ соціологическихъ изслѣдованій», подтверждающихъ эту мысль, г. В. В. ссылается, между прочимъ, на второй томъ «Основъ народничества» покойнаго Юзова, не указывая, къ сожалѣнію, страницъ. Я довольно долго перелистывалъ книгу Юзова, пока нашелъ, наконецъ, слѣдующее, относящееся къ данному вопросу, мѣсто:

„Нравственный и умственный прогрессъ человѣчества несомнѣненъ. Исторія нашей нравственности начинается не великими образцами добродѣтелей, которыя постепенно понижаются и падаютъ, доходя, наконецъ, до насъ, „дрянныхъ и пошлыхъ людишекъ", а наоборотъ, начали мы съ животнаго эгоизма и мало-по-малу, работой многихъ тысячелѣтій достигли той ступени нравственнаго развитія, на которой находимся теперь и которую осуждаемъ во имя стремленія къ дальнѣйшему усовершенствованію. Если наши предки были убѣждены, что человѣчество начало свое существованіе съ золотого вѣка, — счастья и довольства, — потомъ перешло въ вѣкъ мѣдный и, наконецъ, теперь находится въ вѣкѣ желѣзномъ, полномъ печали, горестей и воздыханій, то мы, наоборотъ, достовѣрно знаемъ, что назади у Европы была только кровавая эпопея человѣческихъ несчастій и страданій, кровожадная борьба за блага жизни, и что эта борьба мало-по-малу смягчалась, принимала все болѣе и болѣе мягкія формы и, наконецъ, явилась намъ въ той формѣ, которою недовольны наши моралисты". (Стр. 451—452 второго изданія).

Недоумѣніе при чтеніи этихъ двухъ цитатъ—естественно. Я не буду доискиваться, отчего это такъ неудобно для г. В. В. вышло: оттого ли, что онъ сослался на Юзова, не справившись съ подлинникомъ, а по памяти, или оттого, что въ «Основахъ народничества», вообще не бѣдныхъ противорѣчіями, есть противоположныя мысли, или, наконецъ, оттого, что, можетъ быть, въ первомъ изданіи книги Юзова, которое имѣлъ въ виду г. В. В., приведеннаго мѣста не было. Не буду распространяться и о томъ, что приведенныя слова Юзова совсѣмъ не вяжутся съ значительною частію содержанія его книги. Я останавливаюсь на двухъ цитатахъ, какъ онѣ есть, безъ всякихъ стороннихъ соображеній, и вижу, что народники, прямо говорящіе отъ лица народничества, какъ

установившейся теоріи, не пришли къ соглашенію по весьма важному для нихъ пункту и, слѣдовательно, не воспользовались всей той огромной литературой, которая выставила цѣлый арсеналъ фактовъ и аргументовъ за и противъ «золотого вѣка». Они, повидимому, даже не призадумались надъ причинами той точно невозможности придти къ соглашенію, объ которой свидѣтельствуетъ самое богатство этого арсенала. Дѣйствительно, даже оставляя древнихъ, начиная съ Руссо и кончая «новѣйшими соціологическими изслѣдованіями», мы слышимъ постоянныя пререканія о «золотомъ вѣкѣ», хотя въ нихъ принимаютъ участіе и люди съ большой эрудиціей и сильной мыслью. Зависитъ это, конечно, прежде всего отъ того же, отчего, по выраженію Гоббса, и геометрическія истины не были бы до сихъ поръ установлены, если бы ими затрогивались человѣческіе интересы. И пока людскіе интересы не солидарны и именно поскольку они не солидарны,—съ этимъ ничего не подѣлаешь. Вопросъ о золотомъ вѣкѣ, самъ по себѣ, можетъ быть, и академическій, чреватъ разными практическими выводами, въ которыхъ замѣшаны интересы. Однако, это не только не мѣшало бы, но должно бы, повидимому, помочь, напримѣръ, гг. В. В. и Юзову и вообще людямъ въ практическихъ вопросахъ единомыслящимъ, придти и къ теоретическому единомыслію. А затѣмъ извѣстная доля хоть фактическаго-то матеріала, нужнаго для рѣшенія вопроса, можетъ же быть достаточно установлена, чтобы и разномыслящіе согласились. Но тутъ выступаетъ такое же смѣшеніе языковъ, какъ и то, которое господствуетъ въ полемикѣ г. В. В. съ г. Пыпинымъ.

Усматривая въ прошломъ свѣтлую исходную точку, постепенно въ теченіе исторіи затемнявшуюся или блѣднѣвшую, или, наоборотъ, темное пятно, постепенно загоравшееся свѣтомъ, спорящіе очень часто разумѣютъ совсѣмъ разные историческіе моменты. Этому много способствуютъ неопредѣленныя выраженія въ родѣ: «заря исторіи», «первобытныя времена», «доброе старое время», «древность». Далѣе идетъ другой рядъ неопредѣленныхъ словъ въ родѣ: «добродѣтель», «порокъ», «нравственная чистота». Обойтись безъ такихъ выраженій нельзя, но когда идетъ споръ о какомъ-нибудь сложномъ вопросѣ, надо знать, что именно подъ ними разумѣется. Добродѣтель, конечно, почтенна, но наши понятія объ ней очень отличаются отъ понятій, напримѣръ, тѣхъ дикарей или «первобытныхъ людей», которые убиваютъ своихъ

стариковъ на томъ основаніи, что это лишніе рты. Наконецъ, въ той въ высшей степени сложной и пестрой картинѣ, которая называется исторіей человѣчества, отъ ея смутнаго начала, только гипотетически, гадательно различимаго глазомъ историка, до сегодня, — всегда можно найти въ любомъ количествѣ и положительныя, и отрицательныя черты; да и самые эти плюсы и минусы, приставляемые историкомъ къ явленіямъ жизни, всецѣло зависятъ отъ его точки зрѣнія. Можно поэтому предвидѣть еще многая лѣта споровъ на тему, объ которой идетъ рѣчь, но надо, чтобы спорящіе, по крайней мѣрѣ, понимали другъ друга, чтобы они говорили на одномъ и томъ же языкѣ. Какъ видно изъ сопоставленія цитатъ изъ Юзова и г. В. В., этого общаго языка люди, называющіе себя народниками, не выработали даже для собственнаго обихода. Если бы меня спросили, кто же, однако, правъ изъ двухъ цитированныхъ народниковъ, я бы на сей разъ ограничился отвѣтомъ, что оба правы и оба не правы, и что для того, чтобы разобраться въ сложной и пестрой сѣти историческихъ явленій, нужна точка зрѣнія болѣе опредѣленная и болѣе широкая, чѣмъ какая имѣется въ распоряженіи народниковъ.

«Народничество»—русское слово, но едва ли оно для русскихъ читателей яснѣе, чѣмъ нѣкоторые соотвѣтственные термины, вошедшіе въ общеевропейское употребленіе. Явилось и распространилось оно однако же не по тѣмъ соображеніямъ, по которымъ одно время у насъ предлагалось замѣнить галоши «мокроступами», бильярдъ «шарокатомъ» и т. п., не въ видахъ простой замѣны иностраннаго слова русскимъ, а для выраженія извѣстнаго особеннаго оттѣнка мысли, настроенія, міросозерцанія. Въ спеціально экономической области этотъ оттѣнокъ можно считать достаточно яснымъ и мотивированнымъ, но совершенно неясны причины враждебнаго отношенія народничества къ «интеллигенціи». Въ европейскихъ ученіяхъ, которыя можно, по ихъ общему духу, поставить рядомъ съ нашимъ народничествомъ, встрѣчаются горячіе и рѣзкіе нападки на представителей высшихъ классовъ, но отнюдь не на «интеллигенцію», какъ таковую. Да вѣдь такого общественнаго класса и нѣтъ, въ особенности у насъ, если не разумѣть подъ нею горсть профессоровъ, студентовъ, ученыхъ, литераторовъ и художниковъ. Интеллигенція—это отвлеченный признакъ, объединяющій черты образованности и умственнаго труда въ весьма различныхъ общественныхъ классахъ, и враждебное отно-

шеніе къ этому общему признаку составляетъ характеристическую особенность русскаго народничества. Г. В. В. и Юзовъ на словахъ иногда открещиваются отъ этой враждебности, горячо доказывая, что ихъ не поняли, оклеветали, но и за всѣмъ тѣмъ ихъ отношеніе къ интеллигенціи остается невыясненнымъ. Я ни малѣйше не сомнѣваюсь, что г. В. В. ничего не имѣетъ противъ знанія и работы мысли. Онъ даже съ излишнею обстоятельностью доказываетъ, напримѣръ, слѣдующее: такіе-то, и такіе-то, и такіе-то люди—«всѣ должны одинаково стремиться къ тому, чтобы плоды работы мысли не оставались въ узкомъ кругѣ привилегированнаго меньшинства, а распространялись въ массѣ населенія». «Такую задачу» г. В. В. предлагаетъ «выставить на знамени нашей интеллигенціи». Это прекрасно, но кто же въ этомъ сомнѣвается, кромѣ, можетъ быть, какихъ-нибудь «кривыхъ стволовъ и вѣтвей», исправленіемъ которыхъ г. В. В. не хочетъ заниматься? Но, доказывая эту азбучную истину, нисколько не мѣшающую существованію другихъ. болѣе сложныхъ и спорныхъ истинъ, г. В. В. очень мало способствуетъ выясненію этихъ послѣднихъ. Зависитъ это опять-таки все отъ того же смѣшенія понятій. Г. В. В. безразлично говоритъ объ «русской интеллигенціи», «русскомъ обществѣ», «культурныхъ слояхъ», «привилегированныхъ классахъ», «правящихъ классахъ» и т. п. Поставивъ все это за одну скобку, г. В. В. попадаетъ въ кругъ весьма странныхъ недоразумѣній. Желая, напримѣръ, доказать слабость, ничтожество, вообще дурныя свойства нашей интеллигенціи, онъ указываетъ, между прочимъ, на слѣдующій фактъ: «На протяженіи ста лѣтъ мы имѣли четырехъ первоклассныхъ сатириковъ: Фонвизина, Грибоѣдова, Гоголя и Салтыкова. Но и остальная наша беллетристика въ сущности есть та же сатира: изъ нея вы прежде всего познаете ту же культурную скудость русскаго привилегированнаго общества, которая составляетъ прямой объектъ воспроизведенія для сатирика». Прекрасно, но при чемъ же тутъ интеллигенція? Интеллигенція, въ лицѣ «четырехъ первоклассныхъ сатириковъ» и «остальной нашей беллетристики», предъявила извѣстную, конечно, не малую силу таланта, пустила въ обращеніе рядъ высокихъ мыслей, возбуждала благородныя чувства и своимъ рѣзкимъ словомъ, кажется, достаточно отдѣлила себя отъ тѣхъ, кого этимъ словомъ казнила. Развѣ Фонвизинскій Митрофанъ, не умѣющій отличить прилагательное отъ существительнаго, и г-жа Простакова, отрицающая

географію, Грибоѣдовскіе Скалозубъ, предлагающій «фельдфебеля въ Вольтеры» и Фамусовъ, совѣтующій «забрать всѣ книги-бы, да сжечь», Гоголевскіе Сквозники-Дмухановскіе и Собакевичи, Щедринскіе Угрюмъ-Бурчеевы и проч., и проч.,—развѣ это «интеллигенція»? Г. В. В. самъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ, что «главная сила интеллигенціи, какъ показываетъ и буквальный смыслъ этого слова, заключается въ ея критической мысли, въ идеяхъ, вырабатываемыхъ ею, въ знаніи, источникомъ котораго она служитъ». Само собою разумѣется, что въ дѣйствительности г. В. В. не считаетъ Митрофана, Фамусова, Сквозника-Дмухановскаго, Угрюмъ-Бурчеева и т. д. представителями интеллигенціи, но и тѣхъ и другихъ онъ топитъ въ какомъ-то слишкомъ общемъ понятіи «культурныхъ, высшихъ, правящихъ, привилегированныхъ слоевъ». Я не буду слѣдить за всѣми проистекающими отсюда недоразумѣніями. Въ большинствѣ случаевъ они сводятся къ полной неизвѣстности, неясности или невѣрности адреса, по которому авторъ обращается съ своими упреками, опасеніями, требованіями, надеждами. На одномъ изъ недоразумѣній намъ, однако, надо нѣсколько остановиться.

Наша интеллигенція совершенно ничтожна: у нея не силы, а «силенки». Тѣмъ не менѣе г. В. В. опасается ея. Нѣкоторая часть нашей интеллигенціи, по его словамъ, «вмѣсто главной своей задачи—внесенія свѣта просвѣщенія въ темныя массы народа—думаетъ о совершеніи еще какихъ-то прогрессивныхъ подвиговъ исключительно силою культурнаго общества; хочетъ и впредь служить народу архаическимъ, сословнымъ способомъ презентованія сюрпризовъ».

Довольно трудно понять, объ комъ и объ чемъ тутъ рѣчь идетъ. Если-бы не слово «прогрессивный», достаточно, впрочемъ, двусмысленное, то можно бы было подумать, что г. В. В. разумѣетъ кого-нибудь въ родѣ издателя «Гражданина», кн. Мещерскаго. Тотъ, дѣйствительно, не хочетъ «внесенія свѣта просвѣщенія въ темныя массы народа», а вмѣсто этого время отъ времени публикуетъ проекты устройства, переустройства и разстройства, дѣйствительно, заслуживающіе названія сюрпризовъ. Я не знаю людей, которые вмѣсто просвѣщенія жаждутъ «какихъ-то прогрессивныхъ подвиговъ». Я не знаю, слѣдуетъ или не слѣдуетъ интеллигенціи совершать «какіе-то прогрессивные подвиги», потому что для этого надо бы знать, въ чемъ они состоятъ. Надо

догадываться. Изъ дальнѣйшаго изложенія видно, что эти предполагаемые «подвиги» угрожаютъ русской «экономической организаціи, обезпечивающей трудящемуся самостоятельное положеніе въ производствѣ». Подвиги эти,—если ужъ держаться выраженія г. В. В.—повидимому, двухъ различныхъ родовъ, хотя г. В. В. усугубляетъ неясность эпитета «какихъ-то» еще смѣшеніемъ этихъ двухъ родовъ. Сюда относится, во-первыхъ, полемика съ нашими такъ называемыми «марксистами», или «соціалъ-демократами». Объ этой полемикѣ, по обширности предмета, я сегодня не успѣю говорить. Замѣчу лишь, во избѣжаніе недоразумѣній, что въ общемъ я совершенно раздѣляю мнѣнія г. В. В. на этотъ счетъ. Я думаю, однако, что отвергнуть русскій марксизмъ еще не значитъ объявить себя «народникомъ», что для насъ вовсе не обязательно выбирать между этими двумя доктринами Марксисты прямо настаиваютъ на необходимости разрушить нашу «экономическую организацію, обезпечивающую трудящемуся самостоятельное положеніе въ производствѣ», и г. В. В. протестуетъ противъ «подвиговъ» такого прямого воздѣйствія на существующій экономическій строй. Но, судя по нѣкоторымъ мѣстамъ его книжки (см., напр., стр. 104), тѣ же результаты должны получиться, по его мнѣнію, косвеннымъ путемъ, при измѣненіи не экономическихъ, а другихъ, политическихъ и юридическихъ условій жизни. Очевидно, здѣсь имѣются въ виду уже другого рода подвиги, для оцѣнки которыхъ, равно какъ для оцѣнки неподвижности интеллигенціи въ этомъ отношеніи, не безполезно обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Наша экономическая организація,—говоритъ г. В. В.,—обезпечиваетъ трудящемуся самостоятельное положеніе въ производствѣ. Въ принципѣ это такъ. Оно такъ и въ дѣйствительности, если имѣть въ виду только «прогрессивныя теченія въ крестьянскомъ хозяйствѣ». Но—чтобы сослаться на человѣка, котораго г. В. В. считаетъ своимъ единомышленникомъ—изслѣдованіе г. Николая—она, подтверждаемое въ этомъ отношеніи всѣми добросовѣстными изслѣдователями, безъ различія какихъ бы то ни было партій, показало, что крестьянское хозяйство уже въ теченіе многихъ лѣтъ падаетъ; что деревня раскалывается на два слоя, выдѣляя богатыхъ кулаковъ, держащихъ подъ своей грубой пятой остальное населеніе деревни; что это послѣднее утрачиваетъ «самостоятельное положеніе въ производ-

ствѣ». Все это подтверждается и частными изслѣдованіями, и оффиціальными статистическими данными. Такимъ образомъ, процессъ, котораго г. В. В. ждетъ въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, въ зависимости отъ «какихъ-то прогрессивныхъ подвиговъ интеллигенціи», происходитъ сейчасъ, передъ его глазами.. Выводъ изъ этого, мнѣ кажется, все тотъ же: г-ну В. В. слѣдовало бы или ограничиться изслѣдованіемъ экономическихъ фактовъ, предоставивъ не-экономическіе выводы другимъ, или расширить свой горизонтъ...

VII. *)

Братство народовъ.—Переводы г. Фиддера.—Платонъ Лукашевичъ, Катрфажъ, Генъ.—99 «молодыхъ .

Вотъ и къ концу приходятъ дни веселья
Въ Аранжуэцѣ...

Они уже, впрочемъ, давно пришли къ концу, и только изрѣдка слышатся поздніе отзвуки франко-русскихъ объятій, овацій, подарковъ, виватовъ. И теперь, когда все это отодвинулось въ даль прошедшаго, можно вспомнить, что есть и иные пути для торжества идеи братства народовъ, что есть у насъ въ Россіи кое-что достойное вниманія Европы и кромѣ государственнаго могущества, которое, главнымъ образомъ, чествовалось во Франціи во время пребыванія тамъ русской эскадры. Конечно, вѣра въ русскую государственную мощь до извѣстной степени осложнилась у французовъ энтузіазмомъ массового увлеченія, безкорыстнымъ, какъ и всякое подобное увлеченіе. Но и за всѣмъ тѣмъ, собственно о братствѣ народовъ не совсѣмъ даже удобно говорить по поводу франко-русскихъ торжествъ. Идиллія братства народовъ у французовъ получаетъ изъянъ со стороны ненависти къ нѣмцамъ и мечты о реваншѣ, а у насъ не ненависти какой-нибудь, а всетаки таможенной войны съ Германіей. Очевидно, до братства народовъ еще далеко, и во всякомъ случаѣ не франко-русскій союзъ можетъ служить признакомъ его осуществленія. Союзъ этотъ, какъ противовѣсъ тройственному союзу, есть одна изъ политическихъ комбинацій, какія и прежде бывали, какія и опять возможны, съ совсѣмъ инымъ расположеніемъ элементовъ. Натурально, что теперь какъ русскія, такъ и француз-

*) 1893, декабрь.

скія газеты старательно ищутъ въ прошедшемъ случаевъ сближенія Франціи и Россіи. Ищутъ и, разумѣется, находятъ. Но если понадобится, то найдутся и факты противоположнаго характера, и факты русской дружбы съ другими «народами». Въ моментъ франко-русскихъ торжествъ было бы неудобно вспоминать Суворовскія побѣды надъ французами или нашествіе Наполеона съ пожаромъ Москвы. Эти и тому подобныя историческія воспоминанія утонули на время въ морѣ забвенія и взаимнаго прощенія, но, при другихъ условіяхъ, они вынырнутъ. Равнымъ образомъ всплывутъ, при другихъ условіяхъ, факты нашей особенной, постоянной дружбы съ Германіей. Мнѣ почему-то какъ разъ во время франко-русскихъ торжествъ вспомнилась одна слышанная мною въ дѣтствѣ солдатская пѣсня, собственно начало пѣсни, но такъ вспомнилась, что и напѣвъ ея точно сейчасъ слышу:

Не съ врагомъ идемъ мы драться,
Не крамольныхъ усмирять,
Но съ друзьями повидаться—
Пруссаковъ спѣшимъ обнять.

Я не знаю, къ какому именно историческому эпизоду относятся ти слова,—эпизодовъ дружбы съ Германіей было во всякомъ случаѣ не мало, и какъ бы эта дружба пламенно или нѣжно ни выражалась, она могла быть въ свое время дѣломъ мудрой или ошибочной международной политики, но не знаменовала собою братства народовъ.

Въ той массѣ взаимныхъ любезностей, которыми осыпали другъ друга французы и русскіе на парижскихъ, тулонскихъ, марсельскихъ празднествахъ и по поводу ихъ, было удѣлено очень мало вниманія общенію въ духовныхъ сферахъ — литературы, науки, искусства. Я не говорю, чтобы эти сферы совсѣмъ не были затронуты, не забываю и тѣхъ спеціальныхъ любезностей, которыми обмѣнивались представители печати обѣихъ странъ. Но въ большинствѣ случаевъ это были либо общія мѣста, ничего собственно не выражающія, либо, напротивъ, слишкомъ уже спеціальныя, почти интимныя указанія на то, что въ жилахъ дѣтей Мельхіора де-Вогюэ течетъ русская кровь, потому что онъ женатъ на русской, или что русская журналистика, въ лицѣ «Вѣстника Европы», оказала гостепріимство Эмилю Зола въ трудныя минуты его жизни. Не помню, чтобы кто-нибудь изъ русскихъ любезниковъ попытался набросать хотя бы въ общихъ, но сколько-нибудь опредѣленныхъ чертахъ

картину того вліянія, которое имѣлъ на насъ французскій геній еще съ тѣхъ поръ, какъ Екатерина II вела переписку съ энциклопедистами и составляла свой знаменитый «Наказъ», и потомъ въ 30-хъ, въ 40-хъ годахъ. Чего-нибудь равноцѣннаго французы сказать намъ не могли, при всемъ ихъ желаніи быть любезными. Но они знаютъ всетаки Тургенева, Достоевскаго, Толстого, а между тѣмъ эти великія русскія имена, не говоря о другихъ, французамъ менѣе извѣстныхъ, едва ли чаще поминались на празднествахъ, чѣмъ даже caviar russ и samovar russ. Икра и самоваръ—прекрасныя вещи, но мы можемъ пустить въ международное обращеніе, а частію уже и пустили, кое что получше икры и самовара. Порукой въ томъ не только большія русскія имена, всетаки изрѣдка мелькавшія среди франко-русскихъ объятій и тостовъ. Едва смолкли эти тосты, какъ мы похоронили Чайковскаго, котораго называютъ великимъ музыкантомъ и который во всякомъ случаѣ извѣстенъ цивилизованному міру; и отпраздновали столѣтіе со дня рожденія Лобачевскаго, которому одинъ американскій ученый отводитъ въ «родословной человѣческой мысли» мѣсто рядомъ съ Коперникомъ и Дарвиномъ. Правда, намъ должно быть немножко стыдно, что мы не умѣли оцѣнить и удержать у себя такихъ ученыхъ, напримѣръ, какъ И. И. Мечниковъ или С. В. Ковалевская. Но и вообще Боже насъ сохрани отъ національнаго хвастовства,—у насъ его и безъ того много. Позволительно, однако, желать, хотя бы во имя правды, а не національнаго самолюбія, чтобы насъ не считали только физической силой, неспособной принять участіе въ международномъ обмѣнѣ духовными цѣнностями и отблагодарить нашихъ старшихъ историческихъ братьевъ за то, что мы отъ нихъ получили; позволительно желать, чтобы иностранцы различали въ нашей жизни свѣтлое и темное, и чтобы наше свѣтлое слилось со всемірнымъ свѣтомъ, который и озаритъ собою настоящее братство народовъ.

Передо мною лежитъ маленькая книжечка, изданная въ Лейпцигѣ: «Gedichte von M. I. Lermontof. Im Versmass des Originals von Driedrich Fidler». Г. Фидлеръ не въ первый разъ знакомитъ нѣмецкую публику съ русской литературой. Имъ переведены: «Недоросль» Фонвизина, стихотворенія Кольцова, «Борисъ Годуновъ», «Скупой рыцарь», «Моцартъ и Сальери», «Каменный гость», «Русалка» Пушкина, рядъ стихотвореній разныхъ поэтовъ подъ общимъ заглавіемъ: «Der russische Parnass». Большинство

этихъ переводовъ истинно превосходны, а нѣкоторые переводы Кольцовскихъ пѣсенъ можно бы было назвать просто фокусами, въ смыслѣ преодолѣнія трудностей языка, размѣра и духа поэзіи Кольцова, если бы фокусы не были дѣломъ чисто механической ловкости; но чтобы такъ переводить, надо самому быть недюжиннымъ поэтомъ. Новое изданіе г. Фидлера — 117 стихотвореній Лермонтова—отличается тѣми же достоинствами, что и прежніе его переводы (нѣкоторыя изъ этихъ стихотвореній вошли уже въ «Русскій Парнассъ»). Г. Фидлеръ отнесся къ своему дѣлу такъ внимательно и любовно, что даже нѣсколько пристыжаетъ русскихъ издателей и редакторовъ сочиненій Лермонтова: онъ отмѣчаетъ, что знаменитый «Воздушный корабль» есть совсѣмъ не переводъ изъ Цедлица, какъ это значится во всѣхъ русскихъ изданіяхъ. Чтобы читатель могъ судить о необыкновенной точности и вмѣстѣ поэтичности переводовъ г. Фидлера, я приведу начало перевода стихотворенія «Выхожу одинъ я на дорогу», уже переведеннаго Боденштедтомъ. Вотъ переводъ Боденштедта, само по себѣ недурной:

Wandr'ich in der stillen Nacht alleine,
Durch den Nebel blitzt der Steinweg fern—
Redet Stern zum Stern im hellen Scheine,
Und die Wildniss lauscht dem Wort des Herrn
Golden schimmernd, hinterm Felsenhange,
Dehnt des Himmels Blau sich endlos weit—
Was ist mir die Brust so schwer, so bange?
Hoff ich etwas—thut mir Etwas leid?

А вотъ переводъ г. Фидлера:

Einsam tret'ich in die Wegesöde;
Neblich glänzt der Kieselpfad von fern;
Still die Nacht; das All lauscht Gottes Rede
Und der Stern spricht leise mit dem Stern.
Feierherrlich ist des Himmels Höhe,
Schlummernd ruht die Welt im blauen Schein...
Doch was schlägt mein Herz so bang, so wehe—
Ist's Erwartung, ist's der Reue Pein?

Мнѣ хочется еще привести двѣ послѣднія строки изъ стихотво-

ренія «На смерть Пушкина» («И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь»):

Den nimmer sühnet ihr mit eurem schwarzen Blute
Des Dichters heilig reines Blut!

Г. Фидлеръ, который, повидимому, не думаетъ останавливаться на избранномъ имъ пути (въ газетахъ было какъ-то извѣстіе, что онъ перевелъ «Грозу» Островскаго). служитъ хорошую службу братству народовъ. Это путь медленный, но за то вѣрный. Какъ бы ни было лестно все, чего мы наслушались на франко-русскихъ празднествахъ, но всего нужнѣе намъ справедливость, а ее мы получимъ только при ближайшемъ ознакомленіи иностранцевъ со свѣтлыми и темными сторонами русской жизни. И тогда мы перестанемъ быть въ ихъ глазахъ тѣмъ огромнымъ, сплошнымъ, то страшнымъ, то ничтожнымъ «Nitschewo», которое такъ вдохновило Поля Деруледа, а когда-то соблазнило и Бисмарка.

Нѣтъ ничего прискорбнѣе въ общественныхъ отношеніяхъ, какъ національное самохвальство и національная вражда и ненависть. Въ нихъ есть нѣчто стихійное, неразумное, почти животное, и да будетъ благословенно все, что способствуетъ устраненію ихъ. Но существуетъ нѣсколько градацій или нѣсколько типовъ этой обоюдоострой черты. Взглянемъ на нѣкоторые изъ нихъ. Предваряю читателя, что это именно только типы, образчики, и я отнюдь не думаю исчерпать эту, къ стыду человѣчества, слишкомъ богатую литературу.

Дѣло это такое печальное и мрачное. что для начала, по крайней мѣрѣ, мы можемъ взять увеселительный матеріалъ.

Въ 1877 г., во время русско-турецкой войны или передъ самой войной, но уже во время турецкихъ звѣрствъ въ Болгаріи, нѣкто Платонъ Лукашевичъ издалъ въ Кіевѣ брошюру «Причина ненависти англичанъ къ славянскимъ народамъ». Справедливо возмущенный отношеніемъ англійскаго кабинета къ кровавымъ событіямъ на Балканскомъ полуостровѣ, г. Лукашевичъ приписалъ, однако, это отношеніе не данному составу англійскаго правительства, не извѣстной политической системѣ, опирающейся на извѣстные экономическіе интересы, а англійской націи, какъ таковой, и во всемъ ея составѣ, въ самомъ корнѣ ея. До этого корня г. Лукашевичъ добирается чрезвычайно быстро. Дѣло въ томъ, что англичане «относительно своего языка и происхожденія

ровно ничего не знаютъ, хотя въ итогѣ не жалѣютъ затрачивать на этотъ предметъ громадныя деньги, и сколько у нихъ историковъ и изслѣдователей объ этомъ предметѣ, столько выходитъ изъ-подъ ихъ пера сущихъ пустяковъ, достойныхъ сожалѣнія». Присрамивъ такимъ образомъ «просвѣщенныхъ мореплавателей», г Лукашевичъ тутъ же, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, разъясняетъ тайну ихъ происхожденія. «Первобытные жители Англіи были славяне, изъ нихъ господствовавшее тамъ племя называлось Бритами или Бритянами, потому что они брили свои бороды, оставляя усы, и какъ ни искажались римскими писателями славянскія имена, которыя и безъ того весьма трудно и несовершенно передаются латинскими письменами, но всетаки славянинъ весьма легко ихъ понимаетъ, особенно тотъ, кто проникъ въ свойства первобытнаго славянскаго языка, который чѣмъ древнѣе, тѣмъ больше выявляетъ обработанность и точность своихъ выраженій. Вотъ нѣкоторыя имена этихъ первобытныхъ народовъ Англіи: 1) Carnovancae—чарно-или царно-ванцы, черноусцы: здѣсь въ слогѣ «ан» находимъ ѳракійскій выговоръ гласной буквы «юсъ», которая у поляковъ выговаривается, какъ «он», а иногда какъ «ен»: вонсъ—усъ, по-польски... 1б) Brigantes—въ семъ имени въ слогѣ «ан» имѣется ѳракійскій «юсъ», который у насъ замѣняется черезъ класную «у»—бриганты, бригуты, брегуты: брига—попеченіе, раченіе, стараніе, по-иллирійски и словенски; берегтися, беречься, предохранять себя по малороссійски. Бреганты есть то сословіе людей, которое печется объ общественной безопасности, порядники, полицейскіе или же самая стража, для сего предмета устроенная».

Мы удовольствуемся этими двумя образцами филологическихъ изслѣдованій Платона Лукашевича, каковыя изслѣдованія онъ «произвелъ безъ помощи англійскихъ филологовъ и ученыхъ». А затѣмъ онъ задалъ себѣ вопросъ: что за народъ англичане? Его поразило то, что въ Германіи его признали англичаниномъ, а, приглядываясь къ путешествующимъ по Германіи англичанамъ, онъ убѣдился, что у нихъ русскія или вообще славянскія лица, только съ какою-то постороннею примѣсью. Онъ разсказываетъ: «Я прямо тогда сказалъ, что вижу въ ихъ чертахъ смѣсь монголовъ съ славянами; что въ крови этого народа бушуютъ двѣ противоположныя, враждебныя стихіи». Новыя филологическія изслѣдованія убѣдили Платона Лукашевича, что англійскій языкъ

есть одно изъ монгольскихъ нарѣчій. Въ концѣ концовъ древняя исторія Англіи представляется въ такомъ видѣ: «Байдары, нагруженныя тунгузами и ламутами, обогнувъ Сѣверную Азію и Европу, очутились въ Ютландіи, гдѣ нашли звѣрообразныхъ звѣролововъ Монголіи». А затѣмъ эти смѣшанныя орды устремились въ Англію, гдѣ частію перерѣзали коренныхъ жителей, бритыхъ бритовъ, прекрасныхъ черноусцевъ, полицейскихъ бригантовъ и проч., частію смѣшались съ ними. Тутъ нѣсколько неожиданно узнаемъ, что «такого точно происхожденія всѣ народы Западной Европы и, къ стыду ихъ, они питаютъ (сами не зная того, по какой причинѣ) неопредолимую ненависть къ славянскимъ народамъ, которая у нихъ обратилась въ инстинктъ и, конечно, потому только, что они отъ славянъ наслѣдовали земли и большее или меньшее человѣческое благообразіе и даже замѣтное смягченіе нравовъ сравнительно съ монголами, манчжурами и китайцами; сія то смягченность и повела ихъ къ высшему образованію и просвѣщенію». Само собою разумѣется, что въ англичанахъ сохранилось много монгольскаго и кромѣ языка и наружности: «наприм., они кушаютъ полусырое мясо, еще совершенно красное, изъ котораго даже истекаетъ иногда кровь; приготовленіе дичины, чтобы она была съ духомъ, тоже отвратительно; кушаніе лягушекъ и черепахъ не менѣе того, а иногда и собакъ». Монгольское происхожденіе сказалось и истребленіемъ краснокожихъ въ Америкѣ. «Взгляните теперь на нашихъ инородныхъ сибирскихъ народовъ: всѣ они цѣлы и невредимы, сохранили совершенно свои языки, вѣру и обычаи, и только по доброй волѣ, по убѣжденію совѣсти, принимаютъ отъ насъ христіанскую вѣру и, можно сказать, ни одинъ изъ нихъ не былъ убитъ русскими ни по разсчету, ни по ненависти: вотъ различіе между владычествомъ славянскимъ и...» Этимъ многоточіемъ Платонъ Лукашевичъ обрываетъ свою рѣчь, не знаю почему, во всякомъ случаѣ не потому, чтобы на него нашло сомнѣніе въ монгольскомъ происхожденіи англичанъ. Напротивъ, онъ ставитъ даже «психологическій вопросъ великой важности»: «манчжуро-монгольскія орды» прошли потоками крови черезъ всю Азію и Европу, нѣсколько переродились, благодаря смѣшенію со славянами, прошли такимъ же порядкомъ Америку, «но уже отчасти во имя просвѣщенія и проповѣдываемаго ими человѣколюбія, и очутились лицомъ къ странамъ Приамурскимъ,

первобытнымъ своимъ жилищамъ». Не пройдутъ ли они опять по всему міру, вторично поглощая славянъ?

Г. Платонъ Лукашевичъ можетъ вызвать своими изслѣдованіями, открытіями и гипотезами только смѣхъ какъ въ русскихъ читателяхъ, такъ и въ англичанахъ, если бы они когда-нибудь ознакомились съ открытою въ 1877 г. въ Кіевѣ тайною ихъ происхожденія. Но это потому, что слишкомъ ужъ нелѣпа якобы научная одежда, въ которую г. Лукашевичъ облекаетъ свои въ существѣ совсѣмъ не смѣшныя мысли. Смѣшны бритые черноусцы, полицейскіе бриганты, прибывающіе черезъ Ледовитый океанъ въ Ютландію тунгузы и ламуты и проч.; но совсѣмъ не смѣшна основная тенденція—заклеймить позоромъ цѣлую націю «не разбираючи лица» и не обращая вниманія на политическія условія, въ которыхъ эта нація находится въ данную минуту. Въ менѣе шутовскомъ облаченіи, тенденція эта вызываетъ не смѣхъ, а горькія и тяжелыя мысли.

Въ 1871 г., подъ впечатлѣніемъ ужасовъ франко-прусской войны, Катрфажъ издалъ небольшую книжку «La race prussienne». Въ ней покойный ученый, при помощи извѣстнаго научнаго аппарата, который, конечно, не Лукашевичеву чета, доказывалъ существованіе особой «прусской расы», совершенно отличной отъ германской. Ядро этой расы составляютъ, дескать, финно-славянскіе элементы, которымъ германскіе пришельцы-завоеватели сообщили свой языкъ, но этнически не германизировали ихъ, а напротивъ, сами распустились въ коренномъ населеніи. Эта «прусская раса», грубая и воинственная, какъ бы поклялась въ непримиримой враждѣ къ латинской расѣ, и въ особенности къ ея высшему цвѣту—французамъ. Ей удалось, наконецъ, пользуясь общностью языка, собрать подъ своимъ главенствомъ германскіе элементы, имѣющіе совершенно другое происхожденіе, и бросить всю эту массу людей на Францію, и раздавить ее. Отсюда варварскій, безпощадный характеръ прусской войны. Въ качествѣ ученаго и патріота, Катрфажъ съ особенною подробностью останавливается на томъ, что онъ называетъ «бомбардировкой Музея» (Jardin des plantes). Онъ увѣренъ, что прусскія ядра намѣренно направлялись въ это научное учрежденіе, съ цѣлью лишить Францію собранныхъ тамъ безцѣнныхъ коллекцій... Катрфажъ оканчиваетъ вопросомъ: что же будетъ дальше? Въ сердцѣ французовъ осталась неизлѣчимая рана. Германскія племена все больше подпа-

даютъ подъ супрематію чуждой имъ прусской расы, но долго-ли они согласятся терпѣть эту чуждую власть? Будетъ-ли Россія спокойно смотрѣть на это торжество искусственнаго пангерманизма и не противопоставитъ-ли ему дѣйственный панславизмъ? И не соединится-ли тогда Пруссія съ своей болѣе ей родственной по крови восточной сосѣдкой; и не кончится-ли дѣло торжествомъ финно-славянскихъ началъ надъ германскими и латинскими, и признаетъ ли міръ такое господство молчаливо?

Катрфажъ отказался впослѣдствіи отъ этого своего перваго и послѣдняго шага въ области политической литературы. Онъ, вѣроятно, даже стыдился своего памфлета—потому что это настоящій памфлетъ, хотя и прошпигованный научнымъ матеріаломъ И въ качествѣ человѣка науки, онъ могъ стыдиться. Но въ качествѣ француза, писавшаго въ моментъ страшнаго униженія родины и дѣйствительно варварскаго прусскаго нашествія, онъ заслуживаетъ, по крайней мѣрѣ, снисхожденія. Нѣмцы вообще и пруссаки въ частности слишкомъ хорошо на себѣ чувствуютъ тяжесть того порядка вещей, который, по выраженію Катрфажа, «основанъ желѣзомъ и кровью, закрѣпленъ войной и увѣнчанъ споліаціей» (Эльзаса и Лотарингіи). Nemesis divina—божественная Немезида, къ которой взываетъ Катрфажъ, уже и теперь совершаетъ свое дѣло мести и печали. Французскіе милліарды не пошли въ прокъ Германіи и, если, благодаря капризу Вильгельма II, Германія нѣсколько отдохнула отъ нѣкоторыхъ пріятностей Бисмарковскаго режима, то отторженныя отъ Франціи провинціи требуютъ для своей охраны страшнаго напряженія силъ не только Пруссіи и Германіи, а и всей Средней Европы. Расходившаяся рука Немезиды прихватываетъ и невинныхъ. Въ своихъ гаданіяхъ о будущемъ, Катрфажъ не предвидѣлъ, что одинъ изъ членовъ латинской семьи—Италія войдетъ въ составъ противу-французскаго союза подъ главенствомъ все той же «прусской расы». Эта честь или это безчестіе дорого обходится Италіи, но не итальянцы, какъ нація, какъ «раса», виноваты въ этомъ, а извѣстный политическій строй, порождающій извѣстныя политическія комбинаціи. «Нѣмецъ» еще на нашей памяти было браннымъ словомъ въ Италіи, «не искупленная Италія» посейчасъ больное мѣсто. «Италія есть только географическое понятіе»,—говорилъ австрійскій дипломатъ, нѣмецъ Меттернихъ,—и если Италія перестала быть только географическимъ понятіемъ, то это совершилось

благодаря Франціи. И если мы теперь видимъ ее въ союзѣ съ Австріей и Германіей противъ Франціи, то при чемъ же тутъ борьба расъ, роковая, въ самой крови народовъ заложенная вражда? Собственно о *расовой* борьбѣ не можетъ быть и рѣчи по отношенію къ европейскимъ народамъ. Можно говорить только о *національной* враждѣ, возникающей на почвѣ національныхъ особенностей, благодаря науськиваніямъ съ одной стороны и массовымъ увлеченіямъ — съ другой. Исторія каждаго народа накладываетъ на него извѣстный отпечатокъ, выражающійся въ его рѣчи, складѣ ума и характера, костюмѣ, физическомъ обликѣ, и вся эта совокупность особенныхъ, національныхъ чертъ можетъ быть болѣе или менѣе чужда, непонятна или непріятна другому народу. Но отсюда еще далеко до вражды, и, благодаря мирнымъ международнымъ сношеніямъ, стираются не только эти чувства отчужденности и непріятности, но до извѣстной степени и самыя національныя особенности, входя въ составъ общечеловѣческаго типа. Нетрудно, однако, и раздуть эту тлѣющую искру отчужденности и непріятности въ настоящій пожаръ національной вражды. Дѣлается это обыкновенно въ видахъ той или другой политической системы и, конечно, Катрфажъ, неправый относительно «прусской расы», совершенно правъ относительно руководителей прусской политики. Если, однако, они раздули pour le roi de Prusse тлѣющіе «пангерманскіе» и германофобскіе инстинкты и обратили всю Европу въ огромный военный лагерь, то и Катрфажъ съ своей стороны и въ мѣру своего вліянія дѣйствуетъ въ томъ же направленіи, разыскивая въ самой крови народовъ источникъ фатальной, неугасимой ненависти. Извиненіемъ ему можетъ служить только горе патріота при видѣ униженной и оскорбленной родины. При томъ же Катрфажъ все-таки старается быть справедливымъ. Онъ признаетъ за пруссаками извѣстныя достоинства и не скрываетъ историческихъ грѣховъ Франціи. Съ особенною горечью вспоминаетъ онъ жестокія преслѣдованія гугенотовъ, которые, эмигрировавъ, между прочимъ, въ Пруссію, способствовали ея промышленному развитію и въ то же время водворили въ ней еще одинъ элементъ вражды къ католической Франціи. Катрфажъ и здѣсь видитъ дѣйствіе «божественной Немезиды»...

Если Платонъ Лукашевичъ только смѣшонъ съ своимъ изслѣдованіемъ о причинахъ ненависти англичанъ къ славянамъ;

если увлеченія Катрфажа, прискорбныя и несправедливыя, до извѣстной степени извиняются страшнымъ униженіемъ его родины,—то ни того, ни другого нельзя сказать о Викторѣ Генѣ, посмертное сочиненіе котораго вышло въ прошломъ году въ Штутгартѣ подъ заглавіемъ: «De moribus Ruthenorum. Zur Charakteristik der russischen Volksseele». Этотъ Генъ, нѣкоторыя сочиненія котораго имѣются и въ русскомъ переводѣ («Италія. Взгляды и бѣглыя замѣтки», «Культурныя растенія и домашнія животныя въ ихъ переходѣ изъ Азіи въ Грецію и въ Италію. Историко-лингвистическіе эскизы»), долго жилъ въ Россіи, служилъ, если не ошибаюсь, въ Императорской публичной библіотекѣ и, конечно, книга его будетъ признана въ Германіи достовѣрнѣйшимъ источникомъ для сужденій о нашемъ отечествѣ, о нашей „народной“ душѣ. Книга представляетъ собою отрывочныя записи о видѣнномъ и слышанномъ, нѣчто въ родѣ дневника, веденнаго съ 1857 по 1873 годъ. Какъ видно изъ предисловія, былъ еще дневникъ съ 1831 по 1851 годъ (съ перерывами), но не сохранился. Во всякомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ результатами очень продолжительныхъ наблюденій на мѣстѣ.

Когда какой-нибудь иностранецъ, побывавшій въ Россіи, добросовѣстно отмѣчаетъ темныя стороны нашей жизни и нашихъ порядковъ, противъ этого ничего нельзя возразить; мы, напротивъ, должны быть благодарны такому иностранцу. Но Викторъ Генъ не принадлежитъ къ числу этихъ добросовѣстныхъ иностранцевъ. Помимо нашихъ учрежденій и порядковъ, онъ желаетъ оплевать самую «русскую народную душу», и поистинѣ изумителенъ тотъ громадный запасъ національной ненависти, который онъ много лѣтъ сдерживалъ, лишь для потомства записывая свои наблюденія и выводы. Собственно къ нашимъ порядкамъ Генъ еще довольно снисходителенъ. Онъ говоритъ, напримѣръ: «Уже болѣе полутора столѣтія открыта Россія для европейской культуры и испробовала себя на всѣхъ поприщахъ, но что она возвратила Европѣ въ обмѣнъ изъ своей національной природы? Америка въ короткое время своего существованія создала уже многое новое съ геніальной силой, какъ въ области идей, такъ и въ области техники; даже турки при своемъ появленіи въ Европѣ научили насъ своей военной музыкѣ, пѣхотному строю и т. д.; Россію же можно безъ малѣйшаго ущерба для цивилизаціи совсѣмъ вычеркнуть изъ списка народовъ. Со времени Петра Великаго каждый всплывающій талантъ встрѣчаетъ

здѣсь множество учрежденій, готовыхъ его принять, благожелательныхъ защитниковъ и цѣнителей, деньги и поддержку, но не обнаружилось ни одного геніальнаго задатка. Здѣсь есть академія художествъ, академія наукъ, всякаго рода спеціальныя школы; но за полтора вѣка эти учрежденія не дали ни одного ученаго, проложившаго новый путь наукѣ (или это были иностранцы), ни одного художника, который своимъ индивидуальнымъ характеромъ завоевалъ бы себѣ прочное самостоятельное мѣсто въ искусствѣ» (стр. 7). Дѣло, значитъ, не въ учрежденіяхъ и вообще не въ обстановкѣ умственнаго труда, которая болѣе, чѣмъ удовлетворительна, а въ совершенной бездарности русской натуры. Однако не всѣми и учрежденіями нашими Генъ доволенъ. Онъ не одобряетъ ни освобожденія крестьянъ, ни судебной реформы; а подъ 25 ноября 1869 г. у него записано слѣдующее: «Отмѣна тѣлеснаго наказанія есть, можетъ быть, худшая изъ реформъ послѣдняго времени. Кромѣ тѣлеснаго наказанія, на русскихъ ничто, рѣшительно ничто (nichts, gar nichts) не дѣйствуетъ. Примѣняйте всѣ нравственныя и полу-нравственныя (?) мѣры,—лѣность, ложь, пьянство, воровство продолжаются. За то розги преобразуютъ русскаго человѣка. Въ городахъ ремесла находятся въ полномъ разложеніи, благодаря строгому запрещенію мастерамъ бить учениковъ. Законъ относится къ этимъ полу-звѣрямъ, на которыхъ ничто иное не производитъ впечатлѣнія, съ незрѣлой, слишкомъ общей филантропіей: бранное слово мастера наказывается штрафомъ, пощечина—арестомъ» (171). Это ужасно! особенно, если принять въ соображеніе, какъ видно изъ дальнѣйшаго, что рѣчь идетъ, главнымъ образомъ, о мастерахъ-нѣмцахъ,—нѣмецъ не смѣетъ дать русскому «полу-звѣрю» пощечину! Русскихъ мастеровъ, конечно, слѣдуетъ тоже «бить и драть», какъ говорится въ опереткѣ «Чайный цвѣтокъ». Но не только мастеровъ, а и вообще всѣхъ русскихъ людей, потому что всѣ они этого равно достойны. Вотъ, напримѣръ, какова наша учащаяся молодежь: «Ни у одного (bei keinem) изъ этихъ юношей нѣтъ мечтаній, надеждъ, ожиданій отъ жизни, идеаловъ, хотя бы и незрѣлыхъ. Они ото всего отошли, все испробовали, во всемъ сомнѣваются, вездѣ видятъ оборотную сторону... Любовь, великая волшебница молодости и вѣнецъ жизни, имъ неизвѣстна. За то имъ извѣстны сифилисъ и кое что другое, чего я не рѣшаюсь написать. При томъ они грязны, лѣнивы, съ поверхностнымъ взглядомъ и пошлыми, невыразительными чертами лица. Отсутствіе фантазіи—ихъ общая

черта. Имъ даютъ слишкомъ много воли, къ саморазвитію у нихъ нѣтъ никакой склонности, никакихъ задатковъ. Строгость, произволъ и удары (Strenge, Willkür, auch Hiebe) здѣсь вполнѣ умѣстны» (234).

Какъ ни противно выписывать всѣ эти гнусности, но я чувствую при этомъ нѣкоторое нравственное удовлетвореніе. Пусть наши защитники розги знаютъ, что они солидарны съ человѣкомъ, который дышетъ прямо дьявольскою злобою противъ всего русскаго, противъ самой «народной души русской», съ человѣкомъ который не постыдился написать такія слова: «они гибнутъ отъ водки, которая, такимъ образомъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, можетъ оказаться благодѣтельницею человѣчества» (125). Весь народъ русскій—народъ не въ томъ смыслѣ, который мы старались установить, говоря о народникахъ, а вся нація, всѣ слои общества во всѣхъ отношеніяхъ никуда не годятся: физически безсильны и уродливы, умственно и эстетически бездарны, нравственно развращены до мозга костей. «Лирическія стихотворенія Пушкина—смѣсь всякаго рода подражаній. Ему недостаетъ глубины мысли, и въ особенности души и чувства. Его горести и радости не изъ глубины души идутъ, онѣ условны и поверхностны... При чтеніи его вѣетъ зловонное дыханіе фривольности или, вѣрнѣе, пустоты и пошлости» (160). Гоголь—«ограниченная голова» (210). Въ его произведеніяхъ—«отсутствіе какой бы то ни было цѣли, высшаго пониманія, идеальной точки зрѣнія; его задача состоитъ въ воспроизведеніи пошлости. Ему недостаетъ паренія вверхъ и вмѣстѣ настоящаго юмора, благородства души» (177). «Стыдъ и честь въ Россіи вполнѣ неизвѣстны» (207), благодарность—тоже, любовь къ родинѣ—тоже. Сильныхъ, здоровыхъ, красивыхъ людей въ Россіи нѣтъ. Исполненіе на русской сценѣ «Лоэнгрина» наводитъ Гена на такое соображеніе: «Странное впечатлѣніе получается, когда романтическіе рыцари снимаютъ шлемы и обнаруживаютъ свои грубыя азіатскія лица съ маленькими сѣрыми глазами, пошлыми чертами и кожей, омертвѣлой отъ холоднаго климата, степныхъ вѣтровъ и бань (русскія бани вообще почему-то приводятъ въ негодованіе Гена). И при этомъ голоса, которыхъ никакія итальянскія консерваторіи не могутъ очистить отъ грубости» (тамъ же). Гену смѣшно, что въ Россіи бываютъ съѣзды естествоиспытателей: «Какое этому народу дѣло до науки!» (125). Съ злобною радостью отмѣчаетъ онъ, что въ романѣ «Марево», напечатанномъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», дѣйствуютъ «ничтожества, мошенники

пьяницы, воры,—все это взято изъ жизни!» (90). Петербургскіе нѣмцы «основательно презираютъ грубую, низко стоящую, плохо одаренную, въ нравственномъ, религіозномъ и практическомъ отношеніи подчиненную расу», въ средѣ которой имъ приходится жить (79). Нѣтъ отрицательнаго качества, котораго Генъ не приписалъ бы русскимъ, нѣтъ свѣтлой точки, которую бы онъ отмѣтилъ. Въ своей ненависти онъ доходитъ даже до комизма, утверждая, напримѣръ, что «нездорово выглядящіе экскременты составляютъ общее правило для всей Россіи!» (60). Самъ ли онъ изслѣдовалъ въ этомъ отношеніи «всю Россію» или имѣлъ въ разныхъ ея концахъ достовѣрныхъ корреспондентовъ - неизвѣстно. Но достойно вниманія, что онъ, филологъ по образованію и призванію, прожившій въ Россіи десятки лѣтъ, дѣлаетъ такого рода замѣчанія: «Извѣстно, что буквы «ф» нѣтъ во всей восточной Европѣ; малороссы, выговаривая ее, прибавляютъ звукъ «х»: kochfii—кофе». Стихъ «Жомини да Жомини, а объ водкѣ ни полслова», онъ переводитъ такъ: «Жомини, все Жомини, *и ни капли* водки». Слова «колдунъ», «кудесникъ», «гадатель», «ворожея», «ворожба», «ворожить» (woroshat) для него однозначущи и именно всѣ значатъ «волшебникъ или предсказатель». Или еще замѣтка: «Различаютъ gudka и gusli. Одинъ запѣваетъ, другой пристаетъ, продолжаетъ тему: это называется podtjägiwat schinkar».

Изъ этого видно, что, не смотря на свое долголѣтнее пребываніе въ Россіи, Генъ вовсе не такой знатокъ русской жизни, какимъ онъ представляется нѣмцамъ. (См. предисловіе Шлиманна). Для насъ, однако, важны не тѣ или другія частныя, фактическія его ошибки, а тотъ общій злобный тонъ, которымъ проникнута вся его книга отъ первой до послѣдней строчки. Явныя фактическія ошибки даже въ предѣлахъ своей филологической спеціальности любопытны лишь въ смыслѣ указанія, что Генъ не потрудился даже узнать то, къ чему относится съ такою дикою, слѣпою ненавистью. Откуда же эта злоба? Какъ видно изъ предисловія, въ 1851 г. Генъ претерпѣлъ въ Петербургѣ крупную непріятность. Какъ бы, однако, тяжела эта непріятность ни была, дѣло не въ ней очевидно, потому что Гену ненавистна не та или другая лично его прищемившая складка русской жизни, а все руское—отъ вершинъ поэзіи до экскрементовъ «по всей Россіи», отъ оперныхъ пѣвцовъ до учениковъ ремесленниковъ, отъ мужика до свѣтскаго общества, отъ учащейся молодежи до казаковъ. Предисловіе Шли-

манна желаетъ придать этой ненависти характеръ не только справедливой оцѣнки, но и патріотически-нѣмецкаго реванша (намеки на него имѣются и въ самомъ текстѣ книги). Ссылаясь на устныя бесѣды съ Геномъ, Шлиманнъ говоритъ: «Съ глубокою горестью смотрѣлъ онъ на усиливающееся разложеніе всего нѣмецкаго въ Россіи—какъ въ колоніяхъ въ Малороссіи и на Волгѣ, такъ и въ Остзейскихъ провинціяхъ. Но онъ понималъ, что новая Германская имперія должна прежде всего отвѣчать сама за себя и не подвергать себя риску изъ за своихъ несчастныхъ соплеменниковъ. Но онъ видѣлъ приближающуюся Немезиду». Опять Немезида! На этотъ разъ оно является, однако, между прочимъ, въ не совсѣмъ божественномъ видѣ водки, долженствующей облагодѣтельствовать человѣчество истребленіемъ «русской расы»... Мы не будемъ касаться ни остзейскихъ дѣлъ, ни положенія нѣмецкихъ колонистовъ въ Новороссійскомъ краѣ и на Волгѣ. Каковы бы ни были эти дѣла и это положеніе,—при чемъ тутъ die russische Volksseele, «русская народная душа»?

Европейская литература очень богата разоблаченіями темныхъ сторонъ русской жизни. Много тутъ вранья, но много и правды, которую мы и сами бы сказали. И когда это вранье или эта правда касается совершенно опредѣленныхъ явленій, наличность которыхъ можетъ быть провѣрена и причины которыхъ могутъ быть изслѣдованы, когда указывается при этомъ свѣтъ, который и во тьмѣ свѣтится,—въ насъ молчитъ (по крайней мѣрѣ, долженъ молчать) демонъ оскорбленнаго національнаго самолюбія; этотъ ужасный демонъ, принесшій уже человѣчеству неисчислимыя бѣдствія. Но его-то именно и вызываетъ Генъ, пророкъ грядущей Немезиды. Нельзя читать безъ негодованія это злобное обливаніе помоями правыхъ и виноватыхъ, потому что всякій русскій уже тѣмъ виноватъ, что онъ русскій, какъ всякій нѣмецъ уже тѣмъ правъ, что онъ нѣмецъ. Нельзя безъ негодующаго изумленія думать о состояніи души самого Гена. Это не Платонъ Лукашевичъ, комическій человѣкъ, открывающій англичанамъ тайну ихъ происхожденія отъ славянъ и монголовъ. Это не Катрфажъ, вспыхнувшій во время бомбардировки Парижа и отторженія Эльзаса и Лотарингіи, и потомъ устыдившійся, но и въ самой вспышкѣ своей старавшійся быть справедливымъ. Это—нѣмецъ, многіе годы добровольно живущій въ Россіи и изо дня въ день, шипя и злобствуя, записывающій что-нибудь пакостное

про что-нибудь русское, хотя за эти многіе годы въ Россіи очень разное происходило. Если-бы Картфажъ узналъ о тѣхъ, нынѣ всемірно извѣстныхъ, утонченныхъ звѣрствахъ, которыя продѣлываются германскими офицерами и унтеръ-офицерами надъ солдатами, онъ и въ этомъ увидѣлъ бы, вѣроятно, карающую руку Немезиды; допускаю даже, что въ минуту раздраженія онъ злорадно пожелалъ бы, чтобы это, дескать, столь свойственное грубой «прусской расѣ» безобразіе, продолжалось. Но годы и годы лелѣять такую варварскую мысль... Какъ дѣйствительно цивилизованный человѣкъ, дѣйствительно умѣющій цѣнить человѣческое достоинство, Картфажъ на это не былъ способенъ. Да и много ли найдется вообще способныхъ? Я думаю, что и благомыслящіе нѣмцы должны чураться книги Гена. Мы, конечно, не вѣримъ, чтобы петербургскіе нѣмцы «презирали грубую, низко стоящую, плохо одаренную въ нравственномъ, религіозномъ и практическомъ отношеніи подчиненную расу», въ средѣ которой имъ приходится жить. Вездѣ есть глупые люди, но вѣдь, напримѣръ, и вышеупомянутый г. Фидлеръ петербургскій нѣмецъ. Можно, однако, по поводу книги Гена, призадуматься не только надъ русской, а и надъ нѣмецкой цивилизаціей: высокопросвѣщенный нѣмецъ жалѣетъ, что и пощечина не безнаказанна, что студентовъ не бьютъ, что тѣлесное наказаніе отмѣнено! И у насъ есть защитники розги и вообще физическаго воздѣйствія на неблагородный духъ въ видахъ его облагороженія, при томъ серьезно, кажется, думающіе, что они-то и суть настоящіе патріоты. Но, напримѣръ, князь Мещерскій, такъ онъ князь Мещерскій и есть, а не высокопросвѣщенный представитель націи. И какъ бы ни обставлялъ Генъ свою вѣру въ благодѣтельность розги и зуботычины соображеніями о невозможности иначе дѣйствовать на русскихъ людей, мы можемъ ему напомнить, что германскія военныя власти публично объясняли свои звѣрскія не наказанія, а прямо истязанія—такою же невозможностью иначе поддерживать дисциплину въ нѣмецкихъ войскахъ...

Но мы не послѣдуемъ за Геномъ по пути недостойныхъ обобщеній. Извѣстно, что въ Спартѣ напаивали илотовъ до животнаго состоянія, дабы молодые спартанцы видѣли порокъ во всемъ его безобразіи. Пусть же Генъ будетъ для насъ такимъ же илотомъ, до пьяна напоеннымъ демономъ національной вражды и національнаго самолюбія. И пусть наши демонопоклонники, которые не всегда

только смѣшны, какъ Платонъ Лукашевичъ, полюбуются на себя въ этомъ зеркалѣ...

Генъ боится, что русскіе, если ихъ не истребитъ своевременно «для блага человѣчества» водка, пройдутъ разрушительнымъ потокомъ черезъ всю Европу до самаго Атлантическаго океана. Поводомъ для этого, думаетъ онъ, будутъ распри между европейскими народами, изъ которыхъ тотъ или другой призоветъ, наконецъ, Россію въ качествѣ союзника или миротворца. Катрфажъ тоже гадаетъ о новыхъ великихъ столкновеніяхъ между финно-славянами, со включеніемъ «прусской расы», и, можетъ быть, германцами, съ одной стороны, и латинской и, можетъ быть, германской расой—съ другой. Платонъ Лукашевичъ ожидаетъ, что монголы-англичане вторично пройдутъ по всей Азіи и Европѣ, поглощая и истребляя славянъ... Какъ бы ни были призрачны эти страшныя видѣнія далекаго или близкаго будущаго, но самый фактъ ихъ существованія свидѣтельствуетъ о живучести демона, объ чемъ, какъ мы въ свое время увидимъ, слишкомъ часто забываютъ нѣкоторые новѣйшіе теоретики...

Въ іюлѣ мѣсяцѣ я получилъ изъ Парижа письмо за подписью совершенно мнѣ неизвѣстныхъ и вообще едва ли многимъ извѣстныхъ господъ Henri Mazel, René Boylesve и Stuart Merrill. Письмо предлагало мнѣ отвѣтить на одинъ вопросъ, съ которымъ редактируемый означенными господами журналъ «l'Ermitage» уже обращался къ «главнымъ писателямъ молодого литературнаго поколѣнія (не достигшаго еще тридцати пяти лѣтъ)». Напечатавъ уже 98 отвѣтовъ этихъ молодыхъ людей, редакція «l'Ermitage» рѣшила обратиться съ тѣмъ же вопросомъ къ писателямъ стараго поколѣнія, въ томъ числѣ и ко мнѣ. Въ виду малыхъ размѣровъ журнала, редакція просила ограничить отвѣтъ «пятнадцатью строками, и даже менѣе», а если мнѣ угодно познакомиться съ напечатаннымъ уже «художественнымъ и соціологическимъ референдумомъ», то есть съ упомянутыми 98 отвѣтами, то редакція вышлетъ мнѣ экземпляръ.

Вопросъ, на который я долженъ былъ отвѣтить, слѣдующій,— я привожу его въ оригиналѣ, чтобы не испортить переводомъ его странной смутности: Quelle est la meilleure condition du Bien social, une organisation libre et spontanée ou bien une organi-

sation disciplinée et méthodique? Vers laquelle de ces conceptions sociales doivent aller les préférences de l'artiste?» Я очень заинтересовался тѣми 98-ю отвѣтами въ пятнадцать строкъ и даже менѣе, которые редакція «l'Ermitage» получила уже отъ какихъ-то отважныхъ представителей литературнаго поколѣнія, не достигшаго тридцати пяти лѣтъ. Но воспользоваться любезнымъ предложеніемъ редакціи и получить отъ нея экземпляръ этого любопытнаго «референдума»—значило, казалось мнѣ, косвеннымъ образомъ обѣщать свое участіе въ дѣлѣ, явно либо шутовскомъ, либо ребяческомъ. Я воздержался поэтому отъ какого бы то ни было отвѣта, а обратился въ петербургскую «Agence de la presse parisienne» съ просьбой выписать мнѣ «l'Ermitage». Но 1-го сентября отъ агентства пришло извѣщеніе, что журналъ этотъ прекратился.. Я вздохнулъ о бренности всего земного и все-таки досталъ себѣ знаменитый номеръ съ 98-ю отвѣтами. Ихъ оказалось, впрочемъ, 99. Еще бы одна единица, и была бы цѣлая сотня...

«L'Ermitage» оказался маленькимъ ежемѣсячнымъ журналомъ декадентскаго, какъ и слѣдовало ожидать, характера. Слѣдовало этого ожидать, какъ по характеру самого вопроса, съ которымъ редакція обратилась къ цѣлому ряду европейскихъ писателей, такъ и по возрастному дѣленію этихъ писателей. Французскіе декаденты любятъ называть себя молодымъ поколѣніемъ или просто «молодыми», «jeunes». Но для оправданія этого названія имъ приходится болѣе или менѣе отодвигать предѣлъ молодого возраста. 35 лѣтъ, конечно, хорошій возрастъ, а для нашего брата, старика, даже завидный; не такой все-таки, однако, чтобы 35-ти лѣтній писатель могъ, не конфузясь, именно своею молодостью опредѣлять въ какомъ бы то ни было отношеніи, свое положеніе въ литературѣ. Оставимъ Лермонтова и Шелли, не достигшихъ предѣла декадентской молодости, Байрона и Пушкина, умершихъ, только что перешагнувъ этотъ предѣлъ, Гейне, который 26—27 лѣтъ былъ уже авторомъ «Reisebilder» и «Buch der Lieder», Виктора Гюго, 28 лѣтъ совершившаго литературную революцію своимъ «Эрнани», Шиллера, къ 23 годамъ бывшаго уже авторомъ «Разбойниковъ» и «Коварства и любви», Гете—къ 25 годамъ автора «Геца» и «Вертера», и т. д. Ничего еще нѣтъ удивительнаго въ томъ, что между декадентами не имѣется людей такого исключительнаго роста,—ихъ вездѣ и всегда мало.

Извѣстны, съ другой стороны, случаи и очень поздняго расцвѣта литературныхъ силъ. Достаточно вспомнить, что «Донъ-Кихотъ» появился, когда автору его было уже шестьдесятъ лѣтъ. Но въ большинствѣ такихъ случаевъ писателей задерживали постороннія занятія,—хоть бы того же Сервантеса военная служба, годы плѣна у мавровъ и проч. Относительно декадентовъ (а они очень охотно сообщаютъ біографическія свѣдѣнія о себѣ) ничего подобнаго неизвѣстно. Большею частію они очень рано прилѣпились къ литературѣ, и хотя въ результатѣ получились многія великія, по ихъ мнѣнію, произведенія, но, кромѣ ихъ самихъ, никто почему-то не признаетъ этого величія. Въ глубинѣ души они и сами, повидимому, колеблются относительно значенія своихъ твореній и потому желаютъ возможно дольше оставаться на положеніи «молодыхъ», подающихъ надежды.

Печатая 99 отвѣтовъ писателей разныхъ странъ и національностей, редакція «Эрмитажа» какъ бы устроила для читателей смотръ «молодыхъ» силъ всей Европы. Конечно, это дѣло лишь условное: на этомъ Олимпѣ нѣтъ тѣхъ, къ кому редакція «Эрмитажа» не обращалась, нѣтъ и тѣхъ, къ кому она обратилась, но отвѣта отъ которыхъ не получила. Но тѣмъ, можетъ быть, интереснѣе 98 отвѣтовъ: авторы этихъ отвѣтовъ въ своемъ родѣ избраннѣйшіе изъ избранныхъ. Кто же эти избранные? Среди французовъ еще мелькаютъ болѣе или менѣе извѣстныя имена, хотя извѣстность эта довольно двусмысленна. Тутъ встрѣчаются Морисъ Барресъ, «маги» Поль Аданъ, Жюль Буа, «инструментистъ» Рене Гиль и еще, можетъ быть, нѣсколько человѣкъ, надѣлавшихъ нѣкоторый шумъ своими экстравагантностями. Но вотъ, напримѣръ, итальянцы: Антона-Траверси, Аванчиніо Аванчини, Бермани, Бутти, Ферреро, Ферріери, Мартинелли, Маццони, Олива, Пика, Риччіери, Рондани, Сормани. Или нѣмцы: Бирбаумъ, Демель, Детлевъ фонъ-Лиліенкронъ, Жерарди, Гартъ, Вейгандъ. Я привожу только тѣ имена, при которыхъ обозначено мѣсто жительства корреспондентовъ «Эрмитажа». Можетъ быть, нѣмцы есть и еще, но во всякомъ случаѣ они столь же замѣчательны. Изъ русскихъ избраннѣйшими изъ избранныхъ оказались гг. Минскій (неужели этому почтенному поэту все еще нѣтъ 35 лѣтъ?) и Волынскій...

Послѣднихъ двухъ писателей мы, конечно, хорошо знаемъ. Но чтобы получить нѣкоторое понятіе о менѣе намъ извѣстныхъ

элементахъ компаніи, собравшейся на зовъ «Эрмитажа», мы остановимся на одной статейкѣ, напечатанной въ томъ же номерѣ, который содержитъ въ себѣ 99 отвѣтовъ. Повидимому, въ «Эрмитажѣ» есть, или былъ, постоянный отдѣлъ подъ названіемъ «Musée de l'Ermitage», гдѣ читателямъ предлагаются характеристики современныхъ писателей. Въ томъ единственномъ номерѣ, который я знаю, помѣщена характеристика нѣкоего Гюга Ребелля, сотрудника «Эрмитажа» и одного «изъ стаи славной» 99 Описывается его наружность, «которую, разъ увидѣвъ, нельзя забыть». Мы узнаемъ, что Гюгъ Ребелль высокаго роста, что у него «слегка округленныя плечи» и т. д. Узнаемъ его характеръ и образъ мыслей. Послѣднее въ писателѣ, конечно, самое интересное. Гюгъ Ребелль—сообщаетъ авторъ характеристики, Фра Эремитано,—есть отъявленный врагъ христіанства и—соціализма. «Онъ еще прощаетъ католицизму ради его литургическаго великолѣпія, интимной поэзіи и, какъ я думаю, его разумной общественной организаціи, но онъ трепещетъ отъ ярости противъ всего, что ему кажется обузданіемъ страстей, жертвоприношеніемъ личности, отказомъ отъ свободнаго самопроявленія. Его спинозизмъ (?) свирѣпъ на этомъ пунктѣ, и я пожалѣлъ бы оптическія стекла, если бы ему пришлось ихъ шлифовать... Но если пуритане (les puritains) ему досаждаютъ, то коллективисты приводятъ его въ раздраженіе. Онъ требовалъ только свистковъ для сенатора Беранже, вмѣшавшагося, во имя публичной нравственности, въ дѣло о балѣ des Quatz'arts, тогда какъ противъ рабочихъ соціалистовъ бельгійскихъ и англійскихъ онъ собирался выступить съ оружіемъ въ рукахъ. Къ счастію, благодаря его природной нерѣшительности, онъ удовольствовался отдыхомъ отъ столькихъ волненій въ гротѣ Позилиппо, гдѣ онъ, по крайней мѣрѣ, можетъ вызывать гигантскія грезы оргіастической наготы и бурныхъ вакханалій (de gigantesques rêves de nudités orgiaques et de bacchanales tourbillonnantes). Вмѣстѣ съ René Boylesve онъ образуетъ крайнее крыло анти-мистическаго и гиперэротическаго «Эрмитажа».—У Гюга Ребелля есть свой гербъ, любопытный въ томъ отношеніи, что щитодержателями въ немъ являются Фрина и Венера Каллипига.

Таковъ портретъ. Но хорошъ и портретистъ. Изъ всего «спинозизма» онъ, повидимому, только и знаетъ, что Спиноза занимался шлифованіемъ оптическихъ стеколъ, но это не мѣ-

маетъ ему ни совать эти стекла ни къ селу, ни къ городу, ни ставить знаменитаго мыслителя за одну скобку съ какимъ-то распутнымъ декадентомъ. Читатель слыхалъ, вѣроятно, что если декаденты всѣ болѣе или менѣе склонны къ «гиперэротизму» въ разныхъ формахъ, то столь же склонны они и къ мистицизму, а, между тѣмъ, авторъ характеристики Ребелля говоритъ о какомъ-то «анти-мистическомъ» крайнемъ крылѣ. Дѣло въ томъ, что крыльевъ у декадентовъ или символистовъ много; можно даже сказать, что у нихъ ничего, кромѣ крыльевъ, нѣтъ. И размахиваютъ эти крылья въ разныя стороны, которое во что гораздо, не для того, чтобы понести какое-нибудь тѣло въ какомъ-нибудь направленіи, а просто, чтобы произвести побольше шуму. За противорѣчіями въ этомъ странномъ мірѣ не угоняешься. Все въ томъ же номерѣ «Эрмитажа», въ которомъ любезно отворены двери для охочихъ иностранцевъ и опубликованы результаты международнаго плебисцита, напечатано горячее предложеніе основать «ландлигу для защиты литературной территоріи» отъ вторженія иностранцевъ. Авторъ сердится на «эти диѳирамбы бельгійскимъ, шведскимъ, норвежскимъ геніямъ, когда у насъ есть столько своихъ талантовъ, презираемыхъ или осмѣиваемыхъ». Его возмущаетъ слабость французовъ и наглость иностранцевъ: «стоитъ намъ представить Достоевскаго, — говоритъ онъ,—какъ уже мы принимаемъ и Толстого, Стриндбергъ убѣждаетъ насъ въ геніальности Ибсена, Ничше дѣлаетъ насъ снисходительными къ Метерлинку. Чортъ возьми, друзья, будемъ свирѣпыми прогибиціонистами!»

Обратимся къ вопросу, заданному редакціей «Эрмитажа». Попробуемъ сначала перевести его съ возможною точностію по русски: «Каково лучшее условіе общественнаго блага,—самопроизвольная и свободная или же дисциплинированная и методическая организація? Къ которому изъ этихъ двухъ понятій должны склоняться предпочтенія художника?» Если по русски это выходитъ немножко неуклюже и не совсѣмъ ясно, то не болѣе ясно вышло оно и по французски. Объ этомъ говоритъ сама редакція «Эрмитажа». Она разсказываетъ: «Такъ какъ для писателей, занимающихся искусствомъ (les écrivains d'art—какъ видно, художники и художественные критики), соціологія представляетъ второстепенный интересъ, то желательно было избѣжать въ формулѣ слово «соціализмъ», источникъ двусмысленности, и слово

«принужденіе» (contrainte) въ виду его слишкомъ неблагопріятнаго оттѣнка. Поэтому выбрана была болѣе точная перифраза: «дисциплинированная и методическая организація». Но нѣкоторые (корреспонденты) отождествили дисциплину съ полиціей или же поняли методу внѣ всякаго принужденія (coaction), иные, напротивъ, увидѣли противорѣчіе въ словахъ «свободная организація», полагая, что организація можетъ быть только причиной, а не слѣдствіемъ».

Не думаю, чтобы это объясненіе редакціи что-нибудь, дѣйствительно, объясняло читателю. Повидимому, сама редакція не понимала, объ чемъ она спрашивала, а корреспонденты не понимали, на что они отвѣчали. Нѣкоторые изъ отвѣтовъ во всякомъ случаѣ изумительны.

Небезъизвѣстный англійскій декадентъ Оскаръ Уальдъ не воспользовался предоставленными ему 15-ю строками и изъяснился кратко: «Нѣкогда я былъ поэтъ и тиранъ. Теперь я артистъ и анархистъ». Я охотно привелъ бы болѣе пространный отвѣтъ «эволюціоннаго инструментиста» Рене Гиля, но это такая чепуха, которую рѣшительно невозможно перевести. Англичанинъ Добсонъ не счелъ нужнымъ распространяться: «Я съ своей стороны склоняюсь къ дисциплинированной и методической организаціи». Итальянецъ Ферръери скромно оповѣстилъ: «Присоединяюсь къ мнѣніямъ Жозефа Декларейля и Альберта Сормани». Но попробуемъ разобраться въ тѣхъ отвѣтахъ, которые сколько-нибудь понятны и что-нибудь говорятъ. Редакція «Эрмитажа» тоже пробовала разобраться и сгруппировала полученные ею отвѣты въ три отдѣла, распадающіеся на десять оттѣнковъ, но и то ей пришлось оговариваться словами «повидимому», «кажется». Мы не погонимся, конечно, за точной и подробной классификаціей.

Наши соотечественники, гг. Минскій и Волынскій, высказались въ томъ смыслѣ, что заданный вопросъ для нихъ безразличенъ, ибо «грязь и кровь», которыми подобные вопросы пачкаются въ отвѣтахъ жизни, «годятся для публицистовъ и политиковъ, а поэту тутъ не мѣсто» (г. Минскій); что «художникъ живетъ внутреннею творческою жизнью, которая выше всѣхъ формъ жизни внѣшней, общественной» и что поэтому «искусство не боится никакой исторической революціи: оно выше жизни, всегда впереди дѣйствительной жизни» (г. Волынскій). Какъ ни великолѣпны эти отвѣты, но не нашимъ соотечественникамъ при-

надлежитъ пальма первенства въ этомъ направленіи. Андре де Гашонъ пишетъ,—и я стараюсь въ точности сохранить его гордый лапидарный слогъ:

«Подъ разноцвѣтнымъ балдахиномъ, съ развѣвающимися флагами эстрада артистовъ съ цвѣтами и женщинами.

«Тамъ внизу ревущая сшибка аппетитовъ, ревностей, гнѣвовъ, желаній.

«Буря должна наступить, наступитъ.

«И поэты будутъ смотрѣть, какъ она придетъ, пройдетъ.

«Ее смѣнятъ спокойныя времена.

«И поэты все будутъ смотрѣть».

Въ томъ же родѣ, но замысловатѣе отвѣчаетъ Рашильдъ:

«Прежде всего надо все уничтожить. Потомъ, когда все будетъ ниспровергнуто, люди *самопроизвольно* соберутся на площади (если таковая останется) и подумаютъ о средствахъ для возстановленія всего. Но такъ какъ невозможно сговориться *на свободѣ*, ибо каждый желаетъ перекричать другого, то воздвигнутъ тумбу, отберутъ людей, которые должны будутъ влѣзать на нее и инстинктивно выберутъ для этого голосистыхъ, то есть глупыхъ.

«Это будутъ депутаты.

«Потомъ пойдетъ дождь (дѣло всегда кончается дождемъ). Явится *методическая* идея прикрыть ораторовъ зонтикомъ. Отъ зонтика къ греческому фронтону всего одинъ шагъ... назадъ. Его сдѣлаютъ, а шаги назадъ составляютъ принципъ *дисциплины*.

«Это будетъ палата.

«А потомъ? Потомъ, такъ какъ *самопроизвольная и свободная* организація фатально ведетъ къ организаціи *дисциплинированной и методической*, художникъ долженъ признать, что внѣ вопросовъ искусства для него нѣтъ предпочтеній».

Читатель, знакомый непосредственно съ самими декадентами и символистами или хоть съ моими статьями о нихъ, или съ книгой Макса Нордау о «Вырожденіи», не заподозритъ меня въ произвольности или неправильности перевода. Этотъ наполовину шутовской, наполовину торжественный и вообще всячески вычурный языкъ составляетъ одну изъ особенностей декадентовъ, независимо отъ того, что они этимъ языкомъ хотятъ выразить. Что же касается ихъ образа мыслей, то онъ довольно

разнороденъ, а иногда его и совсѣмъ нѣтъ, въ особенности по отношенію къ общественнымъ дѣламъ. Это для нихъ, какъ мы видѣли, по выраженію одного нашего соотечественника, «внѣшняя жизнь», низшая и вниманія не стоющая. Но именно потому, что они ее такъ презираютъ, ее и чернь, дѣлающую исторію, они склоняются къ мысли о необходимости общественной все-таки организаціей отгородить себя отъ черни, себя или вообще «лучшихъ». Въ этомъ смыслѣ есть нѣсколько любопытныхъ отвѣтовъ. Итальянецъ Сормани пишетъ: «Общественная организація, совмѣщающая свободу и верховенство лучшихъ съ повиновеніемъ и подчиненіемъ низшихъ, была бы лучшимъ условіемъ общественнаго блага, которое состоитъ не въ настоящемъ счастіи презрѣннаго большинства людей, а въ будущемъ прогрессѣ вида». Мнѣніе Жозефа Декларейля: «Всякое общество состоитъ изъ 1) избранныхъ, т. е. извѣстнаго числа автономныхъ личностей, 2) массы, имѣющей только коллективную цѣнность. Утопія состоитъ: 1) въ абсолютной свободѣ избранныхъ, 2) въ разумной организаціи массы, въ видахъ извлеченія изъ нея наибольшей пользы для избранныхъ и предоставленія самой массѣ возможнаго благополучія». Гюгъ Ребелль, тотъ самый, который хотѣлъ было стрѣлять въ бельгійскихъ и англійскихъ рабочихъ-соціалистовъ, но удовольствовался «гигантскими грезами оргіастической наготы и бурныхъ вакханалій», отвѣтилъ съ большею обстоятельностью: «Соціалистическій строй, къ которому устремляются нынѣ взоры толпы, осуществитъ, подъ лицемѣрнымъ знаменемъ свободы, самую страшную изъ всѣхъ когда-либо бывшихъ тираній: слѣпую тиранію машины, которая не разсуждаетъ и измалываетъ личность прежде, чѣмъ она успѣетъ крикнуть. Съ другой стороны, неограниченная свобода имѣла бы слѣдствіемъ власть черни, то есть подавленіе разумныхъ большинствомъ, и, во имя общаго блага, крушеніе всякой жизни, посвященной красотѣ. Поэтому художникъ предпочтетъ деспотизмъ одного человѣка или аристократіи. Произволъ такого рода абсолютныхъ правительствъ можетъ стать справедливостью, если освободитъ исключительныхъ людей отъ законовъ, писанныхъ для стада».

Французы, откликнувшіеся на зовъ редакціи «Эрмитажа«, всѣ болѣе или менѣе прикосновенны къ декадентству, но собственно на поставленный вопросъ они отвѣчаютъ очень разнообразно, хотя и сходятся на пунктѣ чрезвычайнаго уваженія къ искус-

ству и къ роли художника. Во имя этого уваженія одни, вульгарно выражаясь, плевать хотятъ на всѣ общественные вопросы, какъ на нѣчто «внѣшнее» и низшее, а слѣдовательно, и на вопросъ, предложенный редакціей «Эрмитажа». Другіе, сколько ихъ понимать можно, рѣшаютъ вопросъ въ смыслѣ «свободы» и «самопроизвольности», потому что, дескать, такова стихія искусства. Третьи требуютъ, напротивъ, «дисциплины» и «методы», потому что такой порядокъ вещей гарантируетъ художнику спокойное, безмятежное существованіе, необходимое для творчества. Четвертые желаютъ очень много свободы «избраннымъ» и очень много «дисциплины» прочему человѣчеству. Разнообразіе это еще увеличивается отвѣтами иностранцевъ, объ которыхъ мы ровно ничего не знаемъ, кромѣ того, что имъ меньше 35-ти лѣтъ, а, слѣдовательно, не знаемъ и объ ихъ прикосновенности или неприкосновенности къ декадентству. Вотъ, напримѣръ, два испанца: Бюрель изъ Мадрида и Костинейра изъ Кордовы. Первый пишетъ: «Въ виду всѣхъ современныхъ подлостей я кричу: да здравствуетъ анархія! а это для меня значитъ: да здравствуетъ будущее!» Второй: «Я утверждаю, что организація, созданная подъ наитіемъ идей Маркса и его учениковъ, организація à l'allemande можетъ служить для всякаго истиннаго поэта только предметомъ отвращенія и ненависти. При настоящемъ порядкѣ всѣ мы немножко каторжники, но, по крайней мѣрѣ, каторжники, имѣющіе право на лѣность».

Приведемъ еще два-три мнѣнія, уклоняющіяся отъ прямого отвѣта по мотивамъ, болѣе оригинальнымъ, чѣмъ презрѣніе къ вопросамъ общественной жизни.

Морисъ Барресъ: «Наша бѣда заключается въ томъ, что, при всѣхъ различіяхъ между нами, мы живемъ въ общественномъ строѣ, не нами выбранномъ, а навязанномъ намъ покойниками. Сочинять лишнюю систему незачѣмъ, намъ не системы не хватаетъ, а энергіи,—энергіи сообразовать наши нравы съ требованіями нашего чувства». Ту же мысль обстоятельнѣе высказываетъ англичанинъ Госбордъ Горнъ: «Невозможно представить себѣ, а тѣмъ болѣе создать вполнѣ самопроизвольный общественный строй. Нами управляютъ покойники, а не мы сами. Не только наши законы, но и нашъ языкъ, наши искусства, нравы, словомъ, всякое проявленіе человѣческаго разума создано и завѣщано намъ покойниками, нашими предками. Нѣтъ ничего

новаго подъ луной, кромѣ повторенія прошлаго въ новыхъ комбинаціяхъ. Поэтому лучшій общественный строй тотъ, въ которыхъ художникъ и поэтъ свободны подчиняться (?) этой тираніи прошлаго и приходить къ сознанію своихъ силъ, которое позволяетъ имъ утверждать ихъ собственную свободу (?). Такъ называемые правящіе суть не болѣе какъ маріонетки въ рукахъ покойниковъ».

Особо надо поставить еще мнѣніе де-Гашона, не Андре де-Гашона, вычурный отвѣтъ котораго былъ уже приведенъ выше, а другого, Жака: «Не объ обществѣ и его гигіенѣ слѣдуетъ заботиться, надо желать усовершенствованія личности. Наилучшій порядокъ наступитъ тогда, когда въ подобномъ опросѣ (то есть подобномъ предпринятому «Эрмитажемъ») всѣ мнѣнія окажутся тождественными. Этотъ день не завтра наступитъ. А когда онъ наступитъ, мучающій насъ вопросъ не будетъ поставленъ. Никто, впрочемъ, въ настоящее время и не станетъ имъ мучиться. Одни будутъ смотрѣть дальше его, другіе—ближе, большинство—ближе».

Быть можетъ, читатель скажетъ что не стоило тратить столько времени на ознакомленіе съ мнѣніями какой-то разношерстной сотни безъ одного. Въ самомъ дѣлѣ, это вѣдь не представители какихъ-нибудь опредѣленныхъ партій, за которыми стоятъ густые ряды единомыслящихъ и сочувствующихъ,—по крайней мѣрѣ, мы этого не знаемъ. Это и не выдающіеся, хотя бы одиноко стоящіе умы и таланты, которымъ въ будущемъ предстоитъ вліять на развитіе европейской мысли,—опять-таки мы, по крайней мѣрѣ, не знаемъ этого. Это поэты и «эстеты», «писатели, занимающіеся искусствомъ», ècrivains d'art, которымъ меньше 35 лѣтъ отъ роду, которые извѣстны никому неизвѣстной редакціи «Эрмитажа» и которые сочли нужнымъ откликнуться на ея приглашеніе. Что же любопытнаго въ этомъ чисто случайномъ скопищѣ?

Мы, однако, думаемъ, что любопытное есть.

Не смотря на приведенные въ началѣ предлагаемой статьи образчики служенія демону національной ненависти, не смотря на то, что ощетинившаяся штыками Европа ежеминутно готовится къ небывалой въ исторіи, по кровопролитію, всеобщей схваткѣ,

передъ которой сама же съ ужасомъ отступаетъ; не смотря, говорю, на это, никогда еще мирныя международныя отношенія въ духовной сферѣ не достигали такого развитія, какъ именно въ настоящее время. Не будемъ распространяться о международныхъ научныхъ съѣздахъ, совершенно незнакомыхъ еще очень недавнему времени, и о другихъ формахъ все усиливающагося обмѣна между представителями разныхъ спеціальныхъ научныхъ дисциплинъ. Обратимъ вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Въ исторіи не разъ бывало, что какая-нибудь нація или страна становилась центральнымъ духовнымъ очагомъ, распространявшимъ свѣтъ и тепло по всему цивилизованному міру. Положеніе такой привилегированной націи, очень блестящее, чревато, однако, многими опастностями. Одна изъ излюбленныхъ мыслей Ренана, которую онъ развивалъ еще въ шестидесятыхъ годахъ и потомъ неоднократно повторялъ, состоитъ въ томъ, что такимъ націямъ грозятъ вѣковыя страданія и даже смерть. «Почти всегда,—говоритъ онъ,—націи, имѣющія въ своей исторіи какой-нибудь исключительный фактъ, искупаютъ этотъ фактъ долгими страданіями и часто платятся за него національнымъ существованіемъ. Такъ было съ Іудеей, Греціей, Италіей. За то, что они создали единственныя въ своемъ родѣ вещи, которыми живетъ и пользуется міръ, эти страны подвергались вѣкамъ униженія и національной смерти. Національная жизнь есть нѣчто ограниченное, посредственное, узкое. Чтобы сдѣлать что-нибудь необыкновенное, всеобщее, нужно разорвать эту тѣсную сѣть; но съ тѣмъ вмѣстѣ мы раздираемъ отечество, такъ какъ отечество есть совокупность предразсудковъ и установившихся идей, которыхъ не можетъ принять все человѣчество. Націи, создавшія религію, искусство, науку, имперію, церковь, папство (все вещи всеобщія, а не національныя), были больше, чѣмъ націями; но вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ были меньше, чѣмъ націями, въ томъ смыслѣ, что онѣ были жертвами своего дѣла. Я думаю, что революція будетъ имѣть для Франціи подобныя же послѣдствія, но менѣе продолжительныя, потому что и дѣло Франціи было менѣе велико и всеобще, чѣмъ Іудеи, Греціи, Италіи».

Строки эти я заимствую изъ Сборника «La réforme intellectuelle et morale», а первоначально онѣ были напечатаны въ статьѣ «La monarchie constitutionnelle en France» въ «Revue des Deux Mondes» отъ 1 ноября 1869 г. Если принять во вниманіе эту

дату, то окажется, что фактически мысль Ренана оказалась пророчествомъ, что онъ съ необыкновенною ясностью предвидѣлъ тѣ страшныя и позорныя для Франціи событія, которыя слишкомъ скоро внушили ему, холодному и манерному скептику, многія превосходныя лирическія страницы. Такое быстрое фактическое подтвержденіе естественно подкупаетъ насъ и въ пользу самой мысли, какъ логическаго построенія. Естественно также, что во время и послѣ войны 1870—71 гг. Ренанъ не разъ развивалъ эту мысль, эксплоатируя ее въ пользу своихъ либерально-аристократическихъ теорій. Намъ до нихъ дѣла нѣтъ. Что же касается самой мысли о какой-то фатальной необходимости искупленія націями ихъ привилегированнаго положенія, то въ ней позволительно сомнѣваться. Изъ собственнаго Ренанова анализа, когда онъ отъ общаго положенія переходитъ къ подробностямъ, вытекаетъ совсѣмъ другое. Дѣло не въ томъ, что Франція сообщила нѣчто, ею выработанное, другимъ націямъ, а въ односторонности развитія самой Франціи. И можно доказывать, что привилегированныя націи, въ противность взгляду Ренана, съ теченіемъ времени слишкомъ замыкаются въ свою національную «совокупность предразсудковъ и установившихся идей», слишкомъ презираютъ все чужое, становятся слишкомъ самоувѣренными, за что имъ и приходится дорого расплачиваться. Нѣтъ надобности доказывать, что и націи, никогда не занимавшія привилегированнаго, въ нашемъ условномъ смыслѣ слова, положенія, даже никогда ничего не вносившія въ международное обращеніе духовныхъ цѣнностей, могутъ быть столь же самоувѣренными и столь же дорого за это расплачиваться. Какъ бы то ни было, но теперь въ Европѣ нѣтъ такого центральнаго очага, какимъ была Франція въ концѣ прошлаго вѣка, а частію и позже. Въ тѣ времена Франція снабжала идеями весь цивилизованный міръ, не получая, или вѣрнѣе, не принимая ничего въ обмѣнъ, а если что и заимствовала, напримѣръ, отъ Англіи, то такъ ассимилировала это заимствованіе и клала на него свою печать, что во всеобщее обращеніе оно поступало уже съ этой французской печатью. Теперь мы видимъ совсѣмъ иное. Какъ бы ни проповѣдывалъ «Эрмитажъ» протекціонистскую и даже прогибиціонистскую политику по отношенію къ литературѣ, но «Эрмитажъ» же желаетъ выслушать мнѣнія испанцевъ и англичанъ, русскихъ и итальянцевъ, нѣмцевъ и бельгійцевъ. Оставляя въ сторонѣ раз-

ныя спеціальныя отрасли науки, гдѣ международный обмѣнъ идей и матеріаловъ есть дѣло уже давнишнее, мы увидимъ во французской литературѣ, обращающейся къ массѣ, множество иноземныхъ вѣяній—нѣмецкихъ въ лицѣ философіи Шопенгауера, Ничше, «научнаго соціализма», итальянскихъ — черезъ такъ называемую уголовно-антропологическую школу, скандинавскихъ — черезъ Ибсена, Бьернстерна и другихъ, русскихъ—въ лицѣ главнымъ образомъ Достоевскаго и Толстого, англійскихъ — Дарвина и Спенсера, даже, наконецъ, индусскихъ въ лицѣ буддизма. То же происходитъ и въ другихъ странахъ, но во Франціи это замѣтнѣе, потому что тамъ дѣло началось, можно сказать, на нашихъ глазахъ—послѣ войны 1870—71 гг. и паденія второй имперіи.

Одинъ остроумный французскій писатель, Викторъ Менье, говоритъ: «Теперь французскій ученый можетъ, не рискуя своей репутаціей, открыто признавать измѣняемость видовъ, восхищаться Ламаркомъ, слѣдовать Жоффруа, Сентъ-Илеру, вѣрить Дарвину, но почему? Потому что иностранная наука высказалась въ пользу этихъ великихъ людой и ихъ великихъ идей; своею свободою мы обязаны иностранному вмѣшательству» (Scènes et types du monde savant). Еще въ 1870 г. кандидатура Дарвина во французскую академію провалилась, и Бланшаръ могъ публично говорить: «Дарвинъ умный диллетантъ, а не ученый. Его столь восхваляемыя изслѣдованія о голубяхъ показываютъ, что онъ лишенъ истинно научнаго духа». Незадолго передъ тѣмъ одинъ французскій прокуроръ громилъ въ своей обвинительной рѣчи дарвинизмъ, не имѣя, какъ оказалось, ни малѣйшаго понятія даже о существованіи Чарльза Дарвина, — онъ приписалъ это ученіе дѣду Чарльза, Эразму Дарвину, объ которомъ справился въ какомъ-то біографическомъ или энциклопедическомъ словарѣ. Правда, и теперь французы настолько еще несвѣдущи относительно всего, что дѣлается за предѣлами ихъ отечества, что могли въ самый жаркій моментъ франко-русскихъ объятій говоритъ объ извѣстныхъ русскихъ писателяхъ—Иргинзонѣ, Поздышевѣ младшемъ и Цюкѣ. Припомнимъ кстати предисловіе Додэ къ драмѣ «Борьба за существованіе». Характеризуя своего героя, Поля Астье, объявляющаго себя дарвинистомъ, онъ, между прочимъ, пишетъ: «Читалъ ли онъ Дарвина? Я въ этомъ сомнѣваюсь, я даже увѣренъ, что нѣтъ, но того немногаго, что онъ изъ него знаетъ и охотно цитируетъ, нѣсколько схваченныхъ на

лету дарвинитсткихъ формулъ, достаточно въ его собственныхъ глазахъ и даже въ глазахъ общества для научнаго объясненія его преступнаго существованія». Но я и не утверждаю, чтобы всякій французскій негодяй, называющій себя дарвинистомъ, дѣйствительно читалъ Дарвина, или чтобы всякій французскій любитель русской литературы дѣйствительно зналъ предметъ своей любви. Я говорю только, что со времени франко прусской войны французская литература подверглась многоразличнымъ иноземнымъ вліяніямъ, дотолѣ ей очень мало извѣстнымъ или совсѣмъ неизвѣстнымъ. Если «не добро быти человѣку едину», то не добро это и для націи, потому что «совокупность предразсудковъ и установившихся идей» при этомъ замораживается въ своей односторонности. И съ этой точки зрѣнія, вообще говоря, чѣмъ разностороннѣе притокъ чужихъ вліяній, тѣмъ лучше. Но лучшее не всегда бываетъ легчайшимъ. Чтобы оріентироваться въ сѣти чужихъ вліяній, во многомъ противорѣчивыхъ и въ свою очередь одностороннихъ, нужна достаточно развитая критическая мысль. И у кого она оказалась во Франціи, тотъ спасенъ и съ теченіемъ времени поспособствуетъ спасенію другихъ. Но неудивительно, что въ массѣ писателей и читателей ея не оказалось. Неудивительно, во-первыхъ, потому, что и это вообще не изъ тѣхъ вещей, которыя на каждой улицѣ валяются. Неудивительно еще и потому, что внезапно нахлынувшія разнородныя вліянія столкнулись въ нѣкоторой пустотѣ, образовавшейся отъ крушенія всяческихъ идеаловъ, расшатанныхъ чрезвычайными событіями новой и новѣйшей исторіи Франціи. Отсюда смута умовъ, въ такой острой формѣ, конечно, недолговѣчная. Рони утверждалъ, что буддійское теченіе «приведетъ насъ къ изумительнымъ событіямъ» и что даже черезъ какихъ-нибудь, можетъ быть, полгода не только Франціи, но и всей Европѣ придется съ этимъ теченіемъ считаться. Съ тѣхъ поръ прошло пять-шесть полугодій, а считаться, съ буддизмомъ все еще не приходится, какъ съ значительнымъ живымъ факторомъ, да, надо думать, и никогда не придется. Я, по крайней мѣрѣ, даже въ отдаленнѣйшемъ будущемъ не могу себѣ представить такого историческаго момента. Тѣмъ не менѣе, буддизмъ, въ сочетаніи съ другими чужими вліяніями, до извѣстной степени отразился всетаки во французской литературѣ. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что острая болѣзнь современной французской литературы — всѣ эти декаденты, символисты,

маги, инструментисты, маньифики – въ значительной степени обязана своимъ происхожденіемъ комбинаціи плохо переваренныхъ, плохо понятыхъ или совсѣмъ непонятыхъ, во всякомъ случаѣ не согласованныхъ чужихъ вліяній. Я не говорю, разумѣется, что это единственная или даже главная причина декаденства и т. п. явленій, имѣющихъ и свои собственные корни, объ которыхъ я говорилъ въ другомъ мѣстѣ. Тутъ есть и протестъ противъ всѣмъ надоѣвшаго натурализма и узкаго позитивизма, и жажда какого-нибудь идеала, въ который можно бы было повѣрить и во имя котораго можно бы было дѣйствовать и, пожалуй, отчасти «вырожденіе», которому, однако, Максъ Нордау приписываетъ несообразно большую роль, и чисто личные мотивы въ родѣ самолюбія, тщеславія и проч. Но для происходящей отсюда смуты разностороннія, но критически не продуманныя и не согласованныя чужія вліянія представляютъ превосходную пищу.

Перемелется—мука будетъ. Будемъ надѣяться, что мы переживаемъ переходное время, предѣлъ которому наступитъ тогда, когда всѣ несущіяся теперь съ сѣвера, юга, востока и запада теченія, взаимно обуздавъ другъ друга, сольются въ желанное единовѣріе, небывалое по своей многосторонности и цѣльности. Несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что нынѣ нѣтъ страны или націи, которая бы задавала тонъ въ умственной жизни всѣмъ остальнымъ, отчего, на долго ли, на коротко ли, въ умственной и вообще духовной жизни Европы происходитъ нѣкоторая смута. Она всего яснѣе во Франціи, но сильно даетъ себя чувствовать и въ другихъ странахъ, при чемъ опять-таки въ каждой странѣ есть и свои особыя, коренныя причины смуты. Мы остановимся только на нашемъ отечествѣ и то очень бѣгло, потому что впослѣдствіи еще вернемся къ этому сюжету. Нечего и говорить о концѣ прошлаго столѣтія, когда французскія идеи были единственнымъ иноземнымъ вліяніемъ на нашу «совокупность предразсудковъ и установившихся идей». Но и въ позднѣйшія времена такого, какъ нынѣ, разнообразія иностранныхъ вліяній читающая Россія никогда не испытывала. Укажутъ, можетъ быть, на конецъ пятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ годовъ, когда переводная литература достигла у насъ размѣровъ небывалыхъ дотолѣ и едва ли превзойденныхъ теперь (по нѣкоторымъ отраслямъ навѣрно не превзойденныхъ), и когда для осуществленія общественныхъ реформъ необходимо было справляться съ иностранными образцами. Но

если имѣть въ виду разнообразіе вліяній,—что для насъ теперь именно и важно—то, конечно, 50—60 годы нельзя и сравнивать съ нашимъ временемъ. Дѣло въ томъ, что тогда въ нашей жизни происходило такое великое дѣло внутренняго преобразованія и въ такомъ опредѣленномъ направленіи, другими словами, общество и литература были такъ опредѣленно настроены, что лишь сколько-нибудь подходящія къ этому настроенію иноземныя вліянія и могли къ намъ проникать. Мыслимо ли у насъ тогда было, напримѣръ, сколько-нибудь значительное вліяніе пессимизма Шопенгауера? Конечно, нѣтъ: мы были слишкомъ жизнерадостны, чтобы даже только заинтересоваться этимъ мракомъ, а не то что увлечься имъ. Точно также, по характеру господствовавшаго настроенія, немыслимо было распространеніе какихъ бы то ни было ученій, отрицающихъ опытъ и наблюденіе или ищущихъ опоры внѣ ихъ — мистики, спиритизма, идеалистической метафизики. Вообще не смотря на кажущееся усиленіе иноземныхъ вліяній, они пропускались черезъ нѣкоторый, такъ сказать, фильтръ, вполнѣ опредѣленный, по ту сторону котораго оставалось многое, что нынѣ имѣетъ вполнѣ свободный къ намъ доступъ. А и сами по себѣ европейскія теченія мысли теперь крайне усложнились и развѣтвились. И, между прочимъ, къ намъ проникаютъ идеи, системы идей, настроенія, составляющія продукты чисто мѣстныхъ, спеціально въ той или другой европейской странѣ выросшихъ и окрѣпшихъ разочарованій, или, напротивъ, очарованій и надеждъ. И не смотря на это ихъ спеціально происхожденіе и несоотвѣтствіе съ условіями нашей жизни, мы не въ состояніи оказать имъ достаточное критическое сопротивленіе. Смута усиливается разнообразіемъ вліяній.

Въ большей или меньшей степени происходитъ нынѣ то же и въ другихъ европейскихъ странахъ. Вездѣ, разумѣется, есть люди ищущіе или имѣющіе опредѣленно-цѣльное міросозерцаніе, въ составѣ котораго самостоятельно перерабатываются свои и чужіе элементы—свой и чужой опытъ, свои и чужія идеи. Равнымъ образомъ вездѣ есть люди, живущіе изо дня въ день и ни объ какомъ міросозерцаніи не безпокоящіеся. Но большинство такъ называемыхъ мыслящихъ людей, не оригинальное и не самостоятельное, раздирается въ разныя стороны наплывомъ разнородныхъ вліяній, и многіе подвергаются этому процессу съ страннымъ веселіемъ и гордостью. Въ этомъ именно смыслѣ любо-

пытны отвѣты 99-и на вопросъ редакціи «Эрмитажа». Надо только замѣтить, что всеевропейская смута въ нихъ далеко не полно представлена, и въ особенности русская.

VIII *).

О молодости.—О гг. П. Ковалевскомъ и Сениговѣ.—Смерть Гайдебурова.—Объ экономическомъ матеріализмѣ.—Изъ писемъ марксистовъ.

Мы получили письмо за подписью «Московскій студентъ», протестующее противъ послѣднихъ строкъ статьи г. Обнинскаго «Изъ области современной этики», напечатанной въ ноябрьской книжкѣ «Русскаго Богатства». На вѣнкѣ, возложенномъ московскимъ студенчествомъ на гробъ Плещеева, были написаны четыре строки изъ одного стихотворенія покойнаго поэта:

Друзья, дадимъ другъ другу руки
И смѣло двинемся впередъ.
И пусть подъ знаменемъ науки
Союзъ нашъ крѣпнетъ и растетъ.

Вполнѣ сочувствуя этому прекрасному девизу, г. Обнинскій высказываетъ, однако, слѣдующее опасеніе: «послѣ всего того, что пишется о современномъ, господствующемъ студенческомъ типѣ,—«уравновѣшенномъ», смѣющемся надъ отцовскими идеалами, солидно винтящемъ по вечерамъ и пылкомъ лишь въ ресторанныхъ кабинетахъ, врядъ-ли представится основательнымъ опасеніе въ томъ, что надпись эта пойдетъ куда-нибудь дальше похороннаго декорума; скорѣе всего, она останется въ могилѣ, пока блюдущій за порядокъ кладбища сторожъ не выброситъ засохшаго вѣнка».

Авторъ письма, говоря, повидимому, не лично только отъ своего имени, видитъ въ этихъ словахъ незаслуженное оскорбленіе московскому студенчеству. Онъ не отрицаетъ справедливости характеристики г. Обнинскаго для извѣстной части учащейся молодежи вообще и московскаго студенчества въ частности, но,—пишетъ онъ,—„рядомъ съ нею есть другая, работающая, живущая высокими идеалами, проводящая время за чтеніемъ, за горячей

*) 1894, январь.

дружеской бесѣдой, рвущаяся къ живой и плодотворной дѣятельности на благе родины». Эта-то, дескать, часть студенчества и возложила вѣнокъ на гробъ Плещеева, а потому «упрекъ» г. Обнинскаго несправедливъ, незаслуженъ.

Я думаю, что г. Обнинскій не сомнѣвается въ существованіи мыслящей, чувствующей и работающей молодежи, какъ не сомнѣваемся въ этомъ и мы, и нѣтъ, разумѣется, повода подозрѣвать искренность московскихъ студентовъ, возложившихъ вѣнокъ на гробъ Плещеева. Но авторъ письма напрасно видитъ центръ тяжести заключительныхъ словъ статьи г. Обнинскаго въ «упрекѣ»: центръ этотъ лежитъ не въ «упрекѣ», а въ «опасеніи». Опасеніе же основывается не только на существованіи «современнаго господствующаго студенческаго типа», котораго и авторъ письма не отрицаетъ, а также и на всемъ складѣ современной русской жизни, какъ онъ г. Обнинскому представляется. Заключительныя слова его статьи представляютъ собою только маленькую подробность, маленькій уголокъ картины. Вопросъ не въ томъ—существуетъ-ли мыслящая и работающая молодежь и искренни-ли были возложившіе вѣнокъ на гробъ Плещеева. Вопросъ въ томъ—какъ велики ихъ шансы въ жизни...

Я готовъ идти дальше г. Обнинскаго по пути опасеній, не касаясь, разумѣется, ни автора письма изъ Москвы, ни его единомышленниковъ. Охотно вѣрю, что ихъ «союзъ подъ знаменемъ науки» окрѣпнетъ, выростетъ, и что они осуществятъ свои нелицемѣрныя мечты о «живой и плодотворной дѣятельности на благо родины». Но «знамя науки» вообще... Великое это знамя, и нынѣ, когда изо всѣхъ щелей полѣзли мошки мистицизма и букашки метафизики, съ одной стороны, а всяческіе практическіе дѣльцы—съ другой, чтобы сорвать и растоптать это знамя, болѣе чѣмъ когда-нибудь нуженъ союзъ для охраненія его. Не надо, однако, забывать, что, кромѣ открытыхъ враговъ науки, есть люди, съ особеннымъ азартомъ или апломбомъ берущіе на себя роль ея знаменосцевъ и компрометирующіе хуже всякихъ враговъ. Наука великое дѣло, но это еще не оправдываетъ той надменности, которую слишкомъ часто обнаруживаютъ какъ оффиціальные жрецы науки, такъ и приватъ-звонари ея храма. Надменность эта бываетъ двоякая: одна—чисто внѣшняя и болѣе забавная, чѣмъ вредная, величающаяся передъ профанами, другая—оскорбляющая человѣческую совѣсть. Я очень желалъ-бы, чтобы молодые люди,

чтущіе знамя науки, никогда не впадали въ этотъ грѣхъ, но имѣю многія основанія опасаться...

Что касается перваго вида надменности, то за примѣрами ходить недалеко. Въ октябрьской книжкѣ «Сѣвернаго Вѣстника» напечатана статья харьковскаго профессора г. П. Ковалевскаго «Современныя нервныя болѣзни нашего общества», начинающаяся такъ: «У меня нерѣдко возникалъ вопросъ – долженъ-ли представитель науки, представитель отвлеченной спеціальности, по временамъ покидать чертоги своей небесной науки и отъ времени до времени нисходить на землю, къ простымъ смертнымъ, дабы и имъ повѣдать слово правды? На этотъ счетъ существуетъ два отвѣта». Одни ученые люди полагаютъ, что не слѣдуетъ, такъ сказать, метать бисеръ передъ свиньями, другіе же думаютъ, что, напротивъ, они обязаны дѣлиться своимъ знаніемъ съ толпой. «Грѣшный человѣкъ, — продолжаетъ г. Ковалевскій, — я держусь послѣдняго мнѣнія, но съ нѣкоторыми ограниченіями. Я не понималъ-бы спеціалиста, который всю свою дѣятельность посвятилъ популяризаціи науки, но я не вполнѣ согласился-бы и съ тѣмъ спеціалистомъ, который порицалъ бы общедоступное изложеніе научныхъ данныхъ. Я лично, занятый въ учебное время дѣлами своей спеціальности, въ вакаціонное время позволяю себѣ опуститься съ облаковъ на землю и поговорить съ простыми людьми объ ихъ нуждахъ и горестяхъ въ отдѣлѣ моей спеціальности. Не думаю, чтобы такая бесѣда составляла преступленіе, мнѣ же она доставляетъ и отдыхъ, и удовольствіе».

Боже! какъ этотъ человѣкъ великолѣпенъ! Главное его украшеніе составляетъ снисходительность къ намъ, «простымъ людямъ». Онъ,—не простой человѣкъ, совсѣмъ изъ другой глины слѣпленный, большую часть года живетъ въ «облакахъ», въ «чертогахъ небесной науки», и ничего, кромѣ амврозіи и нектара, въ ротъ не беретъ. Не смотря, однако, на свою привычку къ пищѣ боговъ и надзвѣзднымъ ароматамъ, онъ, правда съ нѣкоторой оглядкой,—не «грѣшный» ли онъ человѣкъ, не совершаетъ-ли «преступленія»—снисходитъ «въ вакаціонное время» къ намъ на землю, съ доброй снисходительной улыбкой, великодушный, лучезарный... Табло! Русскіе живописцы и поэты,—вотъ вамъ тема, достойная искуснѣйшей изъ вашихъ кистей и краснорѣчивѣйшаго изъ вашихъ перьевъ!.. Но берите именно этотъ моментъ сошествія на землю, потому что дальнѣйшая исторія г. П. Ковалевскаго на

землѣ уже не столь великолѣпна. Неудивительно, что человѣкъ, привыкшій шествовать по облакамъ и небесному эфиру, совсѣмъ не умѣетъ ходить по такой грубой матеріи, какъ земля. Иногда онъ становится необычайно и, можно даже сказать, неприлично игривъ, говоря, напримѣръ: «Что же касается горчишниковъ, лавро-вишневыхъ капель и проч., то ужъ, пожалуйста, это все оставьте на нашу долю. Раскрывать эти тайны намъ даже невыгодно, ибо тогда достаточно будетъ купить номеръ «Сѣвернаго Вѣстника», чтобы устранить визиты знаменитостей петербургскаго міра. По моему, это будетъ не коллегіально, и потому я о спеціальномъ лѣченіи скромно умолчу». Ахъ, какой милый шутникъ этотъ лучезарный человѣкъ, когда ему вздумается намекнуть, что боги науки не только амврозіей и нектаромъ питаются, а и до гонораровъ любезно снисходятъ... Но не всегда г. П. Ковалевскій шутитъ. Онъ бываетъ и трагиченъ. Пришелецъ изъ надзвѣздныхъ краевъ, онъ знаетъ, какія опасности грозятъ ему со стороны грубыхъ обитателей земли и съ открытою грудью идетъ къ нимъ навстрѣчу, смѣло размахивая «мечемъ картоннымъ». Онъ говоритъ: «я позволяю себѣ нарушить общественныя приличія и заговорить о сифилисѣ открыто и публично... я рискую такою откровенностью заслужить титулъ неприличнаго и нарушителя общественной нравственности... я рискую подвергнуться общественной цензурѣ и общественному остракизму»... И далѣе, говоря объ томъ, что извѣстный процентъ (30—50% по его счету) спинной сухотки приходится на сифилитиковъ, г. Ковалевскій достигаетъ уже вершинъ трагическаго паѳоса: «Господа табетики, вижу, какъ вы возмущены тѣмъ, что я раскрываю вашъ секретъ. Вы готовы меня избить. Не боюсь. Вы слишкомъ слабы». Но г. Ковалевскій всетаки готовъ на подвигъ искупленія: «Убейте-же меня,—восклицаетъ онъ,—но вспомните о вашей болѣзни и пожалѣйте тѣхъ, кто заболѣлъ, благодаря вамъ»...

Надо, наконецъ, успокоить этого взволнованнаго, хотя и самоотверженнаго небожителя, очевидно, плохо знающаго наши земныя дѣла и отношенія. Успокойтесь, г. профессоръ. Вы рѣшительно ничѣмъ не рискуете. У насъ на землѣ, дѣйствительно, не принято говорить о сифилисѣ въ салонахъ или тамъ за обѣдомъ, что-ли, но въ научной статьѣ, хотя-бы и самой популярной—сколько угодно, мы только спасибо скажемъ, если вы дѣло говорить будете. И многіе до васъ говорили и ни «остракизму», никакой дру-

гой непріятности за это не подвергались. И на счетъ «господъ табетиковъ» вы тоже напрасно безпокоитесь, — ни избивать, ни убивать васъ они не станутъ. Помилуйте, съ какой стати! Во-первыхъ, мы живемъ въ благоустроенномъ государствѣ, гдѣ есть и полиція, и юстиція и гдѣ, конечно, не смотря на это, разное случается, но ваши спеціальные шансы ничѣмъ не отличаются отъ шансовъ прочихъ вашихъ согражданъ. Во-вторыхъ, совсѣмъ не вы открыли «секретъ господъ табетиковъ»,—мы его и раньше знали, а вы даже указали имъ лазейку: каждый «господинъ табетикъ» можетъ зачислить себя въ составъ 30—50% спинной сухотки, которая не зависитъ отъ сифилиса. Вложите-же свой картонный мечъ въ ножны и продолжайте спокойно свое дѣло...

Что г. П. Ковалевскій, какъ и всякій другой свѣдущій человѣкъ, можетъ дѣлать полезное дѣло, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. О заслугахъ его въ его чистой спеціальности судить не могу,— надѣюсь, что онѣ есть,—но во всякомъ случаѣ, когда онъ нисходитъ на землю, его надменность разрѣшается болтливостью и напыщенностью. Онъ милостиво бросаетъ намъ крохи съ роскошнаго пира науки, а мы... мы смѣемся или жалѣемъ, что наука такъ небрежно пускается въ обращеніе. Такъ, напримѣръ, его вышедшая въ прошломъ году книжка «Іоаннъ Грозный и его душевное состояніе» могла бы быть очень цѣннымъ трудомъ, какъ психіатрическій анализъ загадочной личности перваго московскаго царя, надъ которою столь много и столь противорѣчиво трудились наши историки. Анализъ спеціалиста-психіатра могъ бы покончить всѣ эти споры. Но у г. П. Ковалевскаго ничего не вышло, кромѣ общихъ мѣстъ и плохого пересказа историческихъ данныхъ. Таковы формы и результаты внѣшней, смѣшной надменности людей науки.

Было бы небезъинтересно въ подробностяхъ сравнить работы гг. П. Ковалевскаго и Е. Соловьева, недавно написавшаго біографію Ивана Грознаго для «Біографической библіотеки» Ф. Павленкова; но это было-бы большимъ отступленіемъ отъ предмета сегодняшней нашей бесѣды, и я предпочитаю остановиться на третьей работѣ объ Иванѣ Грозномъ,—на книжкѣ г. Іосифа Сенигова «Народное воззрѣніе на Іоанна Грознаго».

Г. Іосифъ Сениговъ есть, повидимому, одинъ изъ оффиціальныхъ жрецовъ науки. Какъ видно изъ примѣчанія, его книжка составляла предварительно предметъ публичной лекціи, читанной

въ петербургскомъ университетѣ. На оборотѣ напечатаны заглавія произведеній «того-же автора»: «О первоначальной лѣтописи Новгорода Великаго» ц. 60 к., «О древнѣйшемъ лѣтописномъ сводѣ Новгорода Великаго», ц. 1 р. 25 к., «О новгородскихъ лѣтописяхъ и о Россійской Имперіи В. Н. Татищева», ц. 2 р. 50 к. Привожу цѣны, потому что онѣ отчасти говорятъ, по крайней мѣрѣ, о размѣрахъ работъ г. Сенигова. И онъ не устаетъ въ своей научной производительности. На стр. 30 онъ сообщаетъ: «Болѣе полное и всестороннее разсмотрѣніе этихъ причинъ (причинъ равнодушія, съ которымъ народъ встрѣтилъ нѣкоторыя реформы Іоанна Грознаго) любительницы и любители русской исторіи найдутъ въ моемъ сочиненіи «Вѣче и сельскій сходъ на Руси», написаніемъ котораго я занятъ въ настоящее время». Изъ этого сообщенія, между прочимъ, видно, что г. Сениговъ не только ученый, а и галантный человѣкъ, такъ какъ, вопреки невѣжливому обычаю, выдѣляетъ «любительницъ русской исторіи» изъ общаго состава любителей. Но главное достоинство г. Сенигова есть осторожность, вполнѣ, конечно, и подобающая серьезному человѣку науки, которому скороспѣлые выводы и обобщенія должны претить,—осторожность и логичность.

Менѣе осторожный ученый, задавшись мыслью изслѣдовать народное воззрѣніе на Іоанна Грознаго, прямо обратился-бы къ памятникамъ народнаго творчества—пѣснямъ, сказкамъ, разсказамъ. Г. Сениговъ не таковъ. Онъ приступаетъ къ дѣлу такъ: «прежде чѣмъ обратиться къ изложенію событій царствованія Іоанна Грознаго съ народной точки зрѣнія, считаю нужнымъ опредѣлить, какую именно точку зрѣнія должно признать народною,—есть-ли эта точка зрѣнія политическая, нравственно-религіозная, экономическая или какая-либо другая». Видите, какъ осторожно: г. Сениговъ не хочетъ прикоснуться къ фактическому матеріалу прежде, чѣмъ опредѣлитъ, какова именно народная точка зрѣнія. Но «любительницы и любители русской исторіи» не безъ удивленія встрѣчаютъ дальнѣйшее изложеніе г. Сенигова. Послѣ вышеприведеннаго онъ безъ передышки продолжаетъ: «Чтобы опредѣлить болѣе яснымъ, рельефнымъ образомъ, какую именно точку зрѣнія на политическія событія того или другого царствованія признать народною, я приведу народный разсказъ, который объясняетъ причину происхожденія одного внутренняго политическаго событія царствованія Іоанна IV; въ этомъ разсказѣ рѣшается вопросъ:

«отчего на Руси завелась измѣна». Что же это такое? Прежде изложенія событій съ народной точки зрѣнія, надо опредѣлить эту точку зрѣнія, а для опредѣленія этой точки зрѣнія надо обратиться къ народному разсказу объ одномъ событіи... Это какъ будто на чехарду похоже. И, къ сожалѣнію, этой забавной игры ума въ произведеніи г. Сенигова слишкомъ много. Не успѣете вы остановиться на какой-нибудь его мысли, какъ уже черезъ нее съ истинно акробатическою внезапностью скачетъ другая и въ свою очередь ждетъ скачка черезъ себя. Приведя народный разсказъ о томъ, «отчего на Руси завелась измѣна» (при чемъ никакого историческаго событія, конечно, на лицо не оказывается), г. Сениговъ замѣчаетъ: не надо забывать, что народъ не могъ и не можетъ исключительно съ одной какой-нибудь точки зрѣнія смотрѣть на факты своего прошлаго и настоящаго». Значитъ, повидимому, нечего и разсуждать о выборѣ между «политической, религіозно-нравственной, экономической или какой-либо другой» точкой зрѣнія. Это точно, говоритъ г. Сениговъ, но можно уловить *преобладающую* точку зрѣнія. А далѣе уже прямо: «По моему мнѣнію, не только преобладающею, но и самою древнею, первоначальною точкою зрѣнія, съ которой обыкновенно народъ смотрѣлъ и смотритъ на событія своей прошлой и настоящей жизни, является точка зрѣнія экономическая». Доказательства, приводимыя г. Сениговымъ въ пользу этой своей мысли, изумительны. «Въ упомянутомъ мною только что народномъ разсказѣ «Отчего на Руси завелась измѣна», — говоритъ онъ, — происхожденіе боярской измѣны вполнѣ объясняется съ экономической точки зрѣнія Царь, который пожалѣлъ одной бочки золота для мужика, спасшаго ему престолъ и доставившаго ему 12 бочекъ золота, а также ежегодную дань съ иноземныхъ государей, наказывается измѣною бояръ. Если вникнуть во внутренній смыслъ этого народнаго разсказа, то выходитъ, что бояре потому могли измѣнить своему народу, его интересамъ, что самъ царь подалъ примѣръ таковой измѣны». Надо замѣтить, что въ приведенномъ г. Сениговымъ разсказѣ собственно о *боярской* измѣнѣ нѣтъ *ни одного* слова. Но интереснѣе вопросъ: при чемъ тутъ экономическая точка зрѣнія? Неужели г. Сениговъ до такой степени наивенъ, что во всякомъ разсказѣ, гдѣ такъ или иначе фигурируютъ деньги, золото, увидитъ экономическую точку зрѣнія? Повидимому, такъ, потому что вѣдь ровно ничего другого

«экономическаго» въ разсказѣ нѣтъ. Дѣло, однако, въ томъ, что «экономическая точка зрѣнія» есть для нашего ученаго какой-то магическій ключъ ко всѣмъ замкамъ, или еще вѣрнѣе—разрывъ-трава, которую стоитъ только приложить къ любому замку или запору, чтобы всѣ преграды разсыпались.

Почему нѣтъ народныхъ пѣсенъ, касающихся, напримѣръ, удѣльныхъ междуусобій? Нѣкоторые полагаютъ, что такія пѣсни были, но затерялись и еще могутъ быть открыты, или же вошли въ составъ наслоеній какого-нибудь извѣстнаго цикла пѣсенъ. Г. Сениговъ рѣшительно отрицаетъ такое объясненіе: — дѣло просто въ экономической точкѣ зрѣнія: «Признавая, что преобладающею точкою зрѣнія у нашего народа на то или другое политическое событіе или лицо была и есть экономическая, мы получаемъ возможность съ достаточною вѣроятностью предполагать, что о нѣкоторыхъ событіяхъ своего прошлаго, какъ напримѣръ, объ удѣльныхъ междуусобіяхъ, причинившихъ не мало бѣдъ населенію древне-русскихъ селъ и городовъ, народъ могъ не слагать пѣсенъ, такъ какъ воспоминаніе объ этихъ событіяхъ не представляло для него ничего отраднаго, на чемъ бы могла успокоиться его душа, по временамъ тревожимая экономическимъ гнетомъ». Любительницы и любители русской исторіи могутъ спросить:—да развѣ народное творчество возбуждается только пріятными, отрадными явленіями?—Да, да и да,—отвѣчаетъ г. Сениговъ (стр. 26, 30, 33, 40).—Однако, продолжаютъ любительницы, эпоха Іоанна Грознаго не могла, повидимому, возбуждать пріятныя, отрадныя впечатлѣнія, а между тѣмъ, произведеній народнаго творчества, относящихся къ этой эпохѣ, сохранилось много, и въ нихъ все кровь, казни, гнѣвъ.—Это совсѣмъ другое дѣло: народъ смотрѣлъ на Іоанна Грознаго и его царствованіе съ экономической точки зрѣнія и видѣлъ въ Грозномъ защитника своего отъ экономическаго гнета бояръ; защита эта выражалась, съ одной стороны, казнями бояръ, а съ другой—земскими реформами.—Однако реформами этими народное творчество не вдохновлялось?—Это понятно: «разсматриваемыя съ экономической точки зрѣнія, эти реформы едва ли могли казаться нашимъ предкамъ особенно привлекательными; служба выборныхъ старостъ и цѣловальниковъ оказывалась весьма тягостною, такъ какъ съ нею соединялась вся отвѣтственность за сборы податей; вслѣдствіе чего самый этотъ сборъ, предоставленный выборнымъ отъ общинъ,

имѣлъ характеръ повинности».—Но, возражаютъ любительницы русской исторіи, народное творчество говоритъ о казняхъ не только бояръ, а и, напримѣръ, «мужиковъ новгородскихъ», и о томъ, что «сталъ православный царь грознѣй прежняго, онъ за правду, за неправду дѣлалъ казни лютыя».

На это возраженіе у г. Сенигова нѣтъ отвѣта. Онъ можетъ сослаться только вообще на популярность Ивана Грознаго, а причина этой популярности заключается въ томъ, что «онъ былъ вполнѣ народнымъ государемъ, являясь истиннымъ представителемъ великорусскаго племени, носителемъ и проводникомъ его основныхъ началъ самодержавія, православія и народности». Этимъ своимъ положеніемъ г. Сениговъ очень дорожитъ и повторяетъ его нѣсколько разъ (стр. 43, 45, 47, 48). Спрашивается, однако, какъ связать его съ экономическою точкою зрѣнія, которая руководитъ и самимъ г. Сениговымъ, и русскимъ народомъ на всемъ протяженіи его исторіи? Почему г. Сениговъ отрицаетъ въ народныхъ воззрѣніяхъ нравственно-религіозную, политическую и всякую иную точку зрѣнія и усваиваетъ имъ только экономическую, когда въ формулѣ «самодержавіе, православіе и народность» есть элементы и нравственно-религіозные, и политическіе, и не достаетъ именно только экономическихъ? Мудрый Эдипъ, разрѣши!

Я могъ бы привести еще много курьезнѣйшихъ разсужденій г. Сенигова съ «экономической точки зрѣнія», но думаю, что послѣ сказаннаго игра не стоитъ свѣчъ. Да и не ради его самого я объ немъ рѣчь веду, а частію въ интересахъ нижеслѣдующаго, частію же для иллюстраціи тѣхъ выводовъ, къ которымъ мы пришли въ декабрьской книжкѣ «Русскаго Богатства» за истекшій годъ. Любопытно, однако, знать—какимъ образомъ сложилось столь странное коловращеніе идей г. Сенигова? Мнѣ ничего не извѣстно о г. Сениговѣ, кромѣ упомянутой брошюры о народномъ воззрѣніи на Ивана Грознаго и заглавій еще трехъ его произведеній, но дѣло, мнѣ кажется, могло происходить такъ. Молодой, не особенно даровитый, лишенный всякой оригинальности мысли, но очень трудолюбивый ученый, степенно занимался новгородскими лѣтописями. Погруженный въ эти сѣдые документы, переходя, подобно Гетевскому Вагнеру, von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt, онъ не особенно горячо интересовался, какъ дѣлами текущей жизни, такъ и различными теоріями исто-

рическаго процесса. Онъ имѣлъ, однако, извѣстный образъ мыслей относительно русскихъ дѣлъ, выраженный еще полстолѣтія тому назадъ формулою «самодержавіе, православіе и народность» По отношенію къ Іоанну Грозному онъ тоже примкнулъ къ готовому взгляду, по которому первый московскій царь былъ царемъ сознательно демократическимъ, истреблявшимъ бояръ въ интересахъ народа. Словомъ, молодой ученый принадлежалъ къ числу тѣхъ, про которыхъ говорятъ, что они пороху не выдумаютъ, но, при его трудолюбіи, онъ могъ бы принести извѣстную пользу по части фактической разработки историческихъ данныхъ. На бѣду до него донеслось вѣяніе теоріи «экономическаго матеріализма», нынѣ многихъ соблазняющей какъ въ Европѣ, такъ и у насъ. Донеслось оно не изъ первыхъ рукъ, въ сильно упрощенномъ видѣ, и. благодаря малому знакомству молодого ученаго съ философско-историческими теоріями вообще, ослѣпило его своею простотою и ясностью, но не проникла въ самое существо его міросозерцанія. Вслѣдствіе этого, въ головѣ молодого ученаго образовался, если позволительно такъ выразиться, нѣкоторый фаршъ. Онъ не только самъ исповѣдуетъ самодержавіе, православіе и народность, и вмѣстѣ съ тѣмъ экономическій матеріализмъ, но и всему народу русскому на всемъ протяженіи его исторіи усваиваетъ эту странную смѣсь, этотъ фаршъ, ингредіенты котораго могутъ быть только механически смѣшаны.

Все это лишь мое предположеніе: г. Сениговъ нигдѣ не упоминаетъ о теоріи экономическаго матеріализма. Но онъ стоитъ именно на ея точкѣ зрѣнія, -- конечно, очень своеобразно примѣняя ее,—когда усматриваетъ исключительно экономическую подкладку въ избранной имъ для изслѣдованія исторической эпохѣ. И иначе, какъ вліяніемъ плохо усвоенной, не переваренной теоріи экономическаго матеріализма, я не могу объяснить себѣ удивительные курбеты мысли г. Сенигова. Очевидно, во всякомъ случаѣ, что желаніе подвести экономическій фундаментъ подъ историческія явленія налетѣло на него откуда-то со стороны и не продумано имъ самостоятельно.

Въ этой же книжкѣ «Русскаго Богатства» читатель найдетъ или уже нашелъ статью г. Карѣева о книгѣ Лоріа. Въ книгѣ этой тоже много курьезныхъ объясненій историческихъ явленій съ экономической точки зрѣнія, хотя нашъ соотечественникъ далеко превзошелъ итальянскаго писателя въ этомъ отношеніи

Ни то, ни другое произведеніе не должно быть поставлено въ счетъ самой теоріи экономическаго матеріализма, которая и сама по себѣ достаточно одностороння, чтобы еще принимать на себя отвѣтственность за ея отраженія въ разныхъ кривыхъ зеркалахъ. Но дѣло въ томъ, что такихъ отраженій нынѣ развелось чрезвычайно много какъ въ Европѣ, такъ и у насъ, и разобраться въ нихъ дѣло не легкое. Собственно общаго между произведеніями Лоріа и г. Сенигова только пріемы искусственной натяжки въ объясненіи историческихъ фактовъ исключительно съ экономической точки зрѣнія. Но затѣмъ они рѣзко различаются не только по своему общему міросозерцанію, но и потому еще, что Лоріа, какъ ни какъ, связываетъ свои концы съ концами, а произведеніе г. Сенигова есть, дѣйствительно, нѣчто фаршированное. Эта-то фаршированность мысли, составляя отличительную черту многихъ «молодыхъ людей, не достигшихъ 35-лѣтняго возраста» какъ въ Европѣ, такъ и у насъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ источникъ той внутренней, оскорбляющей человѣческую совѣсть надменности, объ которой упомянуто выше.

Здѣсь было бы соблазнительно припомнить нѣкоторыя изъ приведенныхъ мною въ декабрьской книжкѣ надменныхъ отвѣтовъ «молодыхъ, не достигшихъ 35 лѣтъ» корреспондентовъ «Эрмитажа»: все это, несомнѣнно, фаршированныя головы, притомъ необычайно гордо поставленныя. Но я это дѣло пока отложу, чтобы не отрываться отъ теоріи экономическаго матеріализма и связаннаго съ нею марксизма, хотя мнѣ всетаки придется сказать нѣсколько словъ вообще о нашихъ «молодыхъ людяхъ, не достигшихъ 35-лѣтняго возраста».

Той стороны, съ которой подошелъ къ учащейся молодежи г. Обнинскій, я не коснусь,—объ этомъ было достаточно говорено. Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, если молодые люди, «смѣющіеся надъ отцовскими идеалами» и въ то же время «солидно винтящіе» и проч., и могутъ имѣть свое значеніе въ общественной жизни, то собственно ихъ психологія, скудная и упрощенная, нисколько не интересна. Въ-третьихъ, я имѣю въ виду не спеціально учащуюся молодежь, а и отучившуюся, и другихъ поучающую, послѣднюю даже въ особенности. Установленный французскими декадентами предѣльный возрастъ молодости имѣетъ

значеніе и у насъ, и, можетъ быть, по тѣмъ же самымъ отчасти причинамъ. Вы нынѣ сплошь и рядомъ можете встрѣтить людей, приближающихся къ 35-лѣтнему возрасту или даже достигшихъ его, которые, утративъ уже многія качества молодости, все еще остаются въ составѣ «молодого поколѣнія». Ссылаясь на какой-то якобы общій историческій законъ смѣны идеаловъ чуть не каждыя десять лѣтъ, они такъ или иначе враждуютъ съ «отцовскими идеалами», но собственно «молодыми» или «дѣтьми» они числятся больше потому, что еще ничего цѣннаго не успѣли сдѣлать, и это дастъ имъ право считать себя «подающими надежды». Будемъ надѣяться,—«надежды юношей питаютъ, отраду старцамъ подаютъ»,—но пора бы, наконецъ, предъявить и заслуги, а возстаніе противъ «отцовскихъ идеаловъ». само по себѣ, еще не есть заслуга. Мы уже много видѣли такихъ возстаній, которыя, однако, покрасовавшись нѣкоторое время въ лучахъ собственнаго удовольствія, лопались, какъ мыльные пузыри...

31 декабря умеръ П. А. Гайдебуровъ, редакторъ-издатель «Недѣли». Безъ малаго двадцать пять лѣтъ своей жизни потратилъ этотъ труженикъ литературы на «Недѣлю», добившись подъ конецъ значительнаго успѣха. Самъ онъ писалъ мало сравнительно, но всю душу свою клалъ въ «Недѣлю» и отличался вообще необыкновенною преданностью литературѣ и ея интересамъ, что особенно сказалось въ его многолѣтней дѣятельности въ составѣ комитета Литературнаго фонда. Умеръ онъ, можно сказать, за работой, потому что еще за нѣсколько часовъ передъ смертью читалъ корректуру и въ промежуткѣ между предсмертными болями дѣлалъ распоряженія относительно слѣдующаго номера «Недѣли», не думая, что ему уже не придется увидѣть перехода его любимаго дѣтища въ новый 1894 годъ. Будучи человѣкомъ 60-хъ годовъ, онъ, однако, никоимъ образомъ не можетъ быть обвиняемъ въ упорствѣ по части своихъ «отцовскихъ идеаловъ» и въ нежеланіи предоставить честь и мѣсто новымъ литературнымъ наслоеніямъ. Напротивъ, у него была какая-то странная слабость къ провозвѣстникамъ «новыхъ словъ», — и сколько же ихъ прошло по страницамъ «Недѣли», гордо потрясая знаменами возстанія! Именно знаменами, а не знаменемъ, потому что на каждомъ знамени былъ новый девизъ, отличный и отъ предъидущихъ, и отъ послѣдующихъ. Общаго между ними только и было, что отрицательный фактъ возстанія. «Идеалы

отцовъ и дѣдовъ надъ нами безсильны»,—говорилось въ «Недѣлѣ» четыре года тому назадъ. То же самое говорилось въ ней неоднократно и раньше. Но то, во имя чего происходило это отрицаніе отцовскихъ идеаловъ, было очень различно въ разное время: то это была «деревня» и «самобытность», то «чистая красота», «дѣйствительность», «бодрящія впечатлѣнія»... И всякій разъ эти «новыя слова» говорились отъ лица молодого поколѣнія, и всякій разъ они въ скорости тонули въ морѣ забвенія даже для самой «Недѣли». Поучительные прецеденты для нынѣ возстающихъ.

Если вы нынѣ встрѣтите молодого человѣка (до предѣльнаго возраста включительно), который даже съ нѣсколько излишней торопливостью заявитъ вамъ, что онъ «матеріалистъ», то это не значитъ, чтобы онъ былъ матеріалистомъ въ обще философскомъ смыслѣ, въ какомъ у насъ въ старину были поклонники Бюхнера и Молешота. Очень часто вашъ собесѣдникъ ни малѣйше не интересуется ни метафизическою, ни научною стороною матеріализма и даже весьма смутное понятіе объ нихъ имѣетъ. Онъ хочетъ сказать, что онъ послѣдователь теоріи экономическаго матеріализма, да и то въ особенномъ, условномъ смыслѣ, объ которомъ у насъ сейчасъ рѣчь пойдетъ. Онъ станетъ вамъ доказывать, что имъ, молодому поколѣнію, надоѣли идеализмъ и утопичность отцовъ и что они требуютъ трезваго, научнаго мышленія, чуждаго субъективныхъ увлеченій. Въ тотъ же самый день вы можете, просматривая новую книжку журнала, прочитать въ ней статью, въ которой излагается совсѣмъ иная новая мозговая линія: молодому поколѣнію надоѣло именно трезвое, научное мышленіе, и ему мало дѣла до такихъ пустяковъ, какъ экономическія явленія, оно въ высь смотритъ, въ мистическую и метафизическую высь. Возможна для васъ такая удача, что въ предѣлахъ того же дня вы встрѣтите еще и толстовца, и декадента, и ничшіанца,—и все это будетъ говорить отъ имени молодого поколѣнія и съ удивительною наивностью, граничащею, впрочемъ, съ наглостью, требовать, чтобы и вы разорвали съ «традиціями прошлаго», потому что, дескать, во-первыхъ, мы—молодое поколѣніе, а во-вторыхъ, «съ нами Богъ!» - какъ буквально выразился въ печати одинъ изъ этихъ скромныхъ людей, или «за насъ исторія, непреоборимый естественный ходъ вещей»,—какъ говорятъ другіе. Они до такой степени ослѣплены

и самоувѣренны, что имъ и въ голову не приходитъ мысль, что если бы даже дѣйствительно все молодое поколѣніе было единомысляще, то это всетаки бы еще не рѣшало вопроса объ истинѣ, ибо не разъ въ исторіи цѣлыя молодыя поколѣнія во тьмѣ ходили и на пустыя или дрянныя дѣла свою жизнь ухлопывали. Но вѣдь нѣтъ и единомыслія. Эти господа копошатся каждый въ своемъ углу, и, видя около себя десятокъ-другой Ивановъ и Петровъ, не видятъ изъ-за этихъ деревьевъ лѣсу. А если вы поближе въ нихъ всмотритесь, то увидите, что и въ своемъ-то углу они не могутъ разобраться, что и тамъ-то Иванъ не сговорился съ Петромъ и вынужденъ отъ него отрекаться: это, молъ, не настоящій, а настоящіе — я, да два Сидора, да другой Петръ.

Я недавно говорилъ о «народникахъ». Я старался показать, что они не успѣли до сихъ поръ сколько-нибудь обстоятельно не только обосновать, а даже формулировать свои взгляды, а между тѣмъ успѣли уже обнаружить противорѣчіе этихъ взглядовъ съ настоятельнѣйшимъ требованіемъ нашей жизни; требованіемъ столь настоятельнымъ, что безъ его удовлетворенія всѣ добрыя намѣренія даже самихъ народниковъ должны расплыться въ мірѣ прекрасныхъ словъ и мечтаній. Но въ виду постановки вопроса въ книжкѣ г. В. В. «Наши направленія», по поводу которой я писалъ, мнѣ пришлось оговориться, что ни для кого не обязательно выбирать между «народничествомъ» и «марксизмомъ». Нѣсколько словъ, сказанныхъ мною объ этомъ противоположеніи, было достаточно, чтобы взволновать господъ марксистовъ. Они кстати припомнили мнѣ и очень уже старые мои грѣхи противъ русскаго марксизма, тѣ самые, которые въ свое время вызвали «Письмо Карла Маркса», напечатанное въ 1885 г. въ «Юридическомъ Вѣстникѣ». Я получилъ нѣсколько писемъ. Нѣкоторыя мѣста изъ этихъ писемъ представляютъ, мнѣ кажется, общій интересъ, и я ихъ приведу.

Одно письмо подписано во множественномъ числѣ: «Марксисты». Авторы письма находятъ, что я обнаруживаю или «неспособность понять ихъ точку зрѣнія, или желаніе путемъ искаженій скомпрометтировать ее въ глазахъ читающей публики». Но такъ какъ авторы признаютъ за мною вообще нѣкоторыя «умственныя способности» и нѣкоторую «нравственную личность», то они недоумѣваютъ. «Своей формулировкой,—пишутъ они,—вы, вмѣстѣ

съ г. В. В., приписываете намъ какую-то активную дѣятельность въ сторону разрушенія существующей экономической организаціи, между тѣмъ, какъ основной нашей точкой исхода, на которой мы строимъ свою практическую программу, является, напротивъ, убѣжденіе, что характеръ нашей экономической эволюціи, какъ до сихъ поръ не зависѣлъ, такъ не можетъ зависѣть и въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ отъ той или другой дѣятельности интеллигенціи. Съ начала 70-хъ годовъ вы доказываете существованіе въ Россіи особыхъ условій, благодаря которымъ она можетъ миновать капиталистическую стадію развитія. Мы отрицаемъ наличность такихъ условій. Мы находимъ, что ходъ экономической эволюціи, какъ до сихъ поръ состоялъ въ разрушеніи экономической организаціи, унаслѣдованной отъ крѣпостного права, такъ и впредь будетъ отличаться тѣмъ же характеромъ. Этотъ взглядъ нашъ неразрывно связанъ съ убѣжденіемъ, что экономическая эволюція при настоящихъ условіяхъ можетъ совершаться только инстинктивнымъ путемъ, такъ, какъ она совершалась до сихъ поръ повсюду въ Западной Европѣ, и что сознательная дѣятельность интеллигенціи не можетъ измѣнить характеръ этой эволюціи».

Это—самая существенная часть письма, какъ указываютъ и сами авторы его. Если читатель припомнитъ вышеупомянутое «Письмо Карла Маркса», то онъ увидитъ, что самъ Марксъ былъ далеко не столь увѣренъ въ непреклонности историческаго процесса, какъ «Марксисты». Въ принципѣ онъ допускалъ, напротивъ, полную возможность сознательнаго воздѣйствія на ходъ нашей экономической эволюціи. Я слыхалъ, впрочемъ, что Марксъ говорилъ о себѣ, что онъ вообще «не марксистъ», и это дѣлаетъ большую честь не только его остроумію, но и широтѣ его взглядовъ. Далѣе, я не совсѣмъ понимаю, какъ можетъ идти рѣчь объ какой-бы то ни было «практической программѣ» тамъ, гдѣ невозможно сознательное воздѣйствіе и гдѣ все идетъ «инстинктивнымъ путемъ» и не можетъ идти иначе. И недоумѣніе мое по этому поводу не разсѣевается неясною оговоркою насчетъ какихъ-то «настоящихъ условій» и о «болѣе или менѣе близкомъ будущемъ». Я не знаю, объ чемъ именно тутъ идетъ рѣчь. Но если эти условія не допускаютъ сознательнаго воздѣйствія, такъ не допускаютъ они и практической программы. Не смѣю утверждать, что не ясна мысль авторовъ письма, но выраженія этой мысли во всякомъ случаѣ не ясны.

Другое письмо подписано инициалами, но въ текстѣ авторъ говоритъ о себѣ: «я—русскій марксистъ, и при томъ оскорбленный вами!» Буквально такъ, и съ восклицательнымъ знакомъ. Но такъ какъ въ дальнѣйшемъ изложеніи авторъ говоритъ отъ лица марксистовъ вообще, то я надѣюсь, что лично ему никакого оскорбленія я не нанесъ. Тѣмъ не менѣе, онъ очень суровъ и долженъ былъ «побороть непріятное чувство, возникающее при личномъ частномъ обращеніи» ко мнѣ съ письмомъ. Онъ пишетъ: «Вы утверждали передъ вашими читателями, что русскіе марксисты прямо настаиваютъ на необходимости разрушить нашу экономическую организацію, обезпечивающую трудящемуся самостоятельное положеніе въ производствѣ. Отъ какихъ это марксистовъ вы слышали, или гдѣ въ ихъ произведеніяхъ читали, что они прямо или даже косвенно настаиваютъ на лишеніи хозяйственной самостоятельности работника — крестьянина и кустаря?! Нѣсколько ниже вы сами стараетесь вразумить г. В. В., что «процессъ, котораго онъ ждетъ въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, въ зависимости отъ какихъ-то прогрессивныхъ подвиговъ интеллигенціи, происходитъ сейчасъ передъ его глазами». Этотъ процессъ состоитъ въ томъ, что масса крестьянства «раскрестьянивается»: «крестьянское хозяйство уже въ теченіе многихъ лѣтъ падаетъ; деревня раскалывается на два слоя, выдѣляя богатыхъ кулаковъ, держащихъ подъ своей пятой остальное населеніе деревни; это послѣднее утрачиваетъ самостоятельное положеніе въ производствѣ». Слѣдовательно, при чемъ же тутъ, въ этомъ процессѣ, «прямое настаиваніе» марксистовъ на лишеніе крестьянина и кустаря хозяйственной самостоятельности въ производствѣ?... Въ настоящій моментъ первоначальнаго капиталистическаго накопленія, когда индустріальный капитализмъ только что организуется, а капиталъ орудуетъ, главнымъ образомъ, на поприщѣ обмѣна—экспропріируемому сельскому населенію предстоитъ не въ «фабричномъ котлѣ вывариться» (выраженіе Зибера); а *погибнуть* (подчеркнуто въ письмѣ) отъ голода и болѣзней. Это хорошо извѣстно русскимъ марксистамъ. А вы предполагаете, что мы, русскіе марксисты, спокойно и даже радостно взираемъ на эти ужасы и даже «прямо настаиваемъ» на дальнѣйшемъ разореніи деревни... Насъ до глубины души возмущаетъ подобное обвиненіе, основанное у васъ на непониманіи нашей идеи. Мы идеалоги трудящагося класса и въ качествѣ марксистовъ особен-

но, всѣми силами будемъ стремиться къ тому, чтобы уменьшить ряды безработнаго пролетаріата, посредствомъ превращенія членовъ его (босяковъ), насколько это будетъ возможно, въ самостоятельныхъ хозяевъ, и будемъ высказываться за то, чтобы неизбѣжный (при современныхъ историческихъ условіяхъ) процессъ разложенія деревни былъ хотя-бы ослабленъ».

Повторивъ еще разъ, что я дѣла не понимаю и не знаю, мой корреспондентъ представляетъ мнѣ, однако, вслѣдъ за тѣмъ выходъ изъ труднаго положенія. «Но дыму безъ огня не бываетъ,—говоритъ онъ. Мнѣ самому извѣстенъ слѣдующій фактъ. Такіе-то (названа одна изъ губерній) марксисты, какъ я слышалъ, разразились гнѣвомъ противъ молодежи, отправлявшейся въ деревню «кормить крестьянъ»; они убѣждены, что кормить крестьянъ значитъ «препятствовать процессу созиданія капитализма». Я склоненъ думать, что подобный же абсурдъ далъ вамъ поводъ отождествлять «русскихъ марксистовъ« съ «рыцарями накопленія».

Извините, мой суровый корреспондентъ, я не отождествлялъ русскихъ марксистовъ съ рыцарями накопленія, хотя допускаю, что послѣдніе могутъ, если въ томъ надобность окажется, довольно удобно устроиться подъ знаменемъ русскаго марксизма. Но вы правы, предполагая, что «абсурды», въ родѣ приведеннаго вами, имѣютъ для меня значеніе, и думаю, что я, въ свою очередь, правъ, придавая имъ таковое. Мой суровый корреспондентъ знаетъ одинъ «абсурдъ», а я ихъ знаю довольно много. Онъ считаетъ тѣхъ господъ, которые протестовали, во имя марксизма, противъ помощи голодающимъ крестьянамъ, не настоящими марксистами, а вотъ онъ и его единомышленники—настоящіе. Весьма, однако, возможно, что я послѣ этой статьи получу письмо, въ которомъ будетъ изложено, что настоящіе-то не здѣсь и не тамъ, а вотъ гдѣ. На основаніи уже имѣющихся у меня писемъ, а также статей въ марксистскомъ духѣ, присылаемыхъ въ редакцію, я въ этомъ совершенно увѣренъ и могу даже отчасти предвидѣть тѣ пункты, которые вызовутъ протесты третьихъ, четвертыхъ, можетъ быть, пятыхъ настоящихъ марксистовъ. Я лично думаю, что «превращеніе босяковъ, насколько это будетъ возможно, въ самостоятельныхъ хозяевъ», превращеніе, которымъ намѣрены заняться мой корреспондентъ и его единомышленники въ качествѣ именно марксистовъ, есть просто доброе дѣло, ни-

чего спеціально марксистскаго въ себѣ не заключающее. Жаль только, что авторъ не объясняетъ ни средствъ, которыми онъ разсчитываетъ выполнить эту задачу, ни того, гдѣ именно онъ думаетъ устраивать самостоятельное хозяйство «босяковъ»—на землѣ-ли или въ какой-нибудь области обрабатывающей промышленности. Признаюсь, мнѣ вообще многое непонятно въ этомъ проектѣ, можетъ быть, благодаря моей непонятливости, а можетъ быть, потому, что авторъ только бросилъ идею, не входя ни въ какія подробности. Но, какъ и всякому доброму дѣлу, я желаю его плану успѣха. Не такъ, однако, я думаю, просто отнесутся къ нему нѣкоторые марксисты. Одни—можетъ быть, и не настоящіе, но объявляющіе себя таковыми—скажутъ, что эта задача не только не заключаетъ въ себѣ ничего спеціально марксистскаго, но прямо противоположна цѣлямъ марксистовъ; ибо, дескать, ближайшая стадія нашего экономическаго развитія должна состоять въ отлученіи работника отъ средствъ производства, въ частности въ обезземеленіи крестьянъ, и потому нелѣпо и нежелательно задерживать этотъ процессъ. Смѣю увѣрить моего суроваго корреспондента, что такіе марксисты есть не только въ такой-то губерніи, а и во многихъ другихъ мѣстахъ. Смѣю увѣрить какъ его, такъ и тѣхъ „марксистовъ", которые подписались подъ другимъ письмомъ во множественномъ числѣ, что я не наобумъ писалъ о «прямомъ настаиваніи на дальнѣйшемъ разореніи деревни»: собственными ушами соотвѣтственныя слова слышалъ и собственными глазами ихъ видалъ черными буквами на бѣлой бумагѣ. И если мои корреспонденты этого не слыхали и не видали, такъ не я заслуживаю упрека въ незнаніи. И повторяю, что планъ моего суроваго корреспондента, относительно устройства самостоятельнаго хозяйства босяковъ, не заслужитъ одобренія настоящихъ (они такъ говорятъ) марксистовъ не со стороны его неясности или мечтательности, а принципіально. Одни отвергнутъ его рѣшительно и враждебно, другіе, болѣе снисходительные, скажутъ: коли вамъ охота заниматься такими пустяками, занимайтесь, а намъ не по дорогѣ.

Далѣе, мой корреспондентъ называетъ марксистовъ: „идеалогами трудящагося класса". Очень радъ это слышать, но едва ли онъ можетъ говорить это отъ лица всѣхъ марксистовъ: есть и такіе, для которыхъ „идеалогъ чуть ли не бранное слово, ибо, дескать, въ основаніи всякаго историческаго момента лежатъ

извѣстныя матеріальныя условія производства; исторія есть борьба классовъ и „побѣдителями въ этой борьбѣ выходятъ тѣ изъ нихъ, которыхъ выдвигаетъ въ данное время экономическое развитіе безъ всякаго соображенія съ чьими бы то ни было идеалами“ (цитирую подлинный, тоже рукописный документъ).

Можетъ, быть это опять таки марксисты не настоящіе, но они считаютъ и объявляютъ себя таковыми и такъ же охотно, и такъ же, въ словесномъ смыслѣ, умѣстно цитируютъ Маркса, Энгельса, разныя нѣмецкія соціалъ-демократическія брошюры. Въ виду такихъ противорѣчій я прошу господъ „русскихъ марксистовъ“ думать, что то нелестное, что мнѣ придется ниже сказать о русскомъ марксизмѣ, относится къ не-настоящимъ, которые, однако, несомнѣнно существуютъ. А обыкновеннаго читателя прошу простить мнѣ нарочитую пестроту настоящей нашей бесѣды. Я очень чувствую этотъ недостатокъ и очень огорченъ имъ. Но господствующая нынѣ въ русскихъ умахъ и сердцахъ смута такъ велика, многостороння и огорчительна, что не можетъ не отражаться нѣкоторою пестротою на попыткахъ разобраться въ ней. Тѣмъ болѣе, что источники этой смуты лежатъ не столько въ нашей жизни, сколько въ Европѣ, а по занимающему насъ теперь пункту, главнымъ образомъ, въ Германіи. Туда намъ и слѣдуетъ теперь обратиться.

Возьмемъ недавно вышедшую въ Берлинѣ книгу Вильгельма Блоса „Исторія нѣмецкаго движенія 1848 и 1849 года“ (Die deutsche Revolution. Geschichte der deutschen Bewegung von 1848 und 1849). Авторъ начинаетъ свое предисловіе слѣдующими словами: „Исторіографія нашего времени по большей части находится въ рукахъ литературныхъ лейбъ-гусаровъ, которые прилагаютъ всѣ усилія къ тому, чтобы извратить историческіе факты для вящшаго прославленія системы, господствующей въ данную эпоху, и возвеличиванія разныхъ «великихъ людей». Онъ, Вильгельмъ Блосъ, иначе относится къ историческому матеріалу: онъ воздастъ коемуждо по дѣламъ его. Затѣмъ идутъ нѣкоторыя соображенія спеціально о нѣмецкихъ дѣлахъ. Болѣе общее исповѣданіе вѣры историка находимъ въ самомъ текстѣ книги. Говоря о событіяхъ 1848—49 гг. въ Германіи, Блосъ не довольствуется изложеніемъ политическихъ событій въ тѣсномъ смыслѣ слова,

а обращаетъ вниманіе и на экономическія явленія, и на литературныя. Въ числѣ послѣднихъ онъ съ особенною силою выдвигаетъ извѣстный «Манифестъ» Маркса и Энгельса. По его словамъ, «Манифестъ», положивъ основаніе «научному соціализму», навсегда покончилъ какъ съ буржуазнымъ либерализмомъ, такъ и съ утопическимъ и съ мѣщанскимъ (kleinbürgerlich) соціализмомъ. «Вмѣстѣ съ тѣмъ,—продолжаетъ Блосъ, – было провозглашено совершенно новое, такъ называемое матеріалистическое пониманіе исторіи, по которому всемірная исторія есть лишь рядъ эпизодовъ классовой борьбы. Съ полнымъ правомъ сказано было, что это пониманіе исторіи имѣетъ такое же значеніе для исторической науки, какъ Дарвинова теорія измѣнчивости видовъ для современнаго естествознанія».

Кромѣ «классовой борьбы», основной пунктъ матеріалистическаго пониманія исторіи есть то положеніе, что явленія юридическія, политическія, художественныя, культурныя и проч. составляютъ не болѣе, какъ надстройку на экономическомъ фундаментѣ, сущность котораго состоитъ въ формахъ производства и обмѣна. Каждая эпоха развиваетъ свои новыя матеріальныя силы, и возникаетъ борьба между ними и предъидущей формой производства. Все это вмѣстѣ взятое (до сравненія Маркса съ Дарвиномъ включительно) представляетъ для нѣмецкой соціалъ-демократіи и соотвѣтственной части нѣмецкой литературы нѣчто въ родѣ символа вѣры, допускающаго только комментаріи и ужъ во всякомъ случаѣ не сомнѣнія. Огромный, общепризнанный авторитетъ Маркса, какъ теоретика экономической науки, прикрываетъ своимъ флагомъ весь этотъ багажъ, усердно распространяемый во множествѣ журнальныхъ статей, публичныхъ рѣчей и популярныхъ брошюръ, написанныхъ, главнымъ образомъ, для нѣмецкихъ рабочихъ. Въ чрезвычайно ясной, общедоступной формѣ излагается, что Марксъ, авторъ всемірно извѣстнаго «Капитала», человѣкъ огромной эрудиціи и рѣдкой логической силы, открылъ истинный смыслъ исторіи и разъяснилъ человѣчеству его прошедшее, настоящее и будущее. Довольно морочили людей разные представители такъ называемой философіи исторіи, которые видѣли въ исторіи то какую-то саморазвивающуюся идею, то безтолковую сумятицу войнъ, нашествій, перемирій, возстаній, усмиреній, дипломатическихъ сношеній, религіозныхъ возбужденій и прочихъ историческихъ явленій, во главѣ которыхъ стоитъ

непремѣнно какой-нибудь «великій человѣкъ»; то послѣдовательную смѣну міросозерцаній или идеаловъ, или юридическихъ формъ быта, или нравовъ и обычаевъ; то постепенное преодолѣніе силъ природы при помощи научныхъ открытій и промышленныхъ изобрѣтеній. Да и мало ли еще глупостей наговорили историки! Марксъ доказалъ, во-первыхъ, что ходъ исторіи ни отъ какихъ великихъ или невеликихъ людей не зависитъ, а управляется собственными, имманентными законами, непреоборимыми какъ для малыхъ, такъ и для великихъ людей. Во-вторыхъ, что фундаментъ исторіи составляютъ формы производства матеріальныхъ цѣнностей и обмѣна ихъ; все остальное—религія, философія, наука, искусство, политическія, юридическія формы, нравы, обычаи—все это только постоянно измѣняющіеся результаты классовой борьбы и надстройка надъ экономическимъ фундаментомъ. Но—продолжаетъ популярная марксистская литература—Марксъ покончилъ не только со всѣми доселѣшними истолкователями прошедшаго, а и со всѣми утопистами и идеалистами будущаго, мечтающими направить исторію по лично имъ нравящемуся пути. Законы исторіи, установленные теоріей экономическаго матеріализма, непреоборимые, неотвратимые, ясно указываютъ путь, по которому пойдетъ человѣчество, совсѣмъ независимо отъ того, нравится ли это кому-нибудь или не нравится. Капиталистическая форма производства разложила феодальный строй, но затѣмъ развиваетъ собственныя, заключающіяся въ ней противорѣчія и вызываетъ новую классовую борьбу. Капиталистическая форма производства нуждается въ арміи свободныхъ рабочихъ — свободныхъ и отъ феодальной зависимости, и отъ средствъ и орудій производства. Процессъ образованія этой арміи свободныхъ пролетаріевъ, выносящихъ на рынокъ свой трудъ, былъ страшно тяжелъ; чтобы такая масса рабочихъ могла вынести на рынокъ свой трудъ, она должна была быть предварительно такъ или иначе согнана съ земли и вообще экономически обобрана, что сопровождалось неисчислимыми бѣдствіями. Но теперь этотъ бѣдственный процессъ заканчивается въ Европѣ: армія пролетаріевъ готова, сплоченная, объединенная какъ готовностью къ классовой борьбѣ, такъ и самими матеріальными условіями крупнаго производства. Производство это становится въ свою очередь все крупнѣе и крупнѣе, мелкіе капиталисты побиваются крупными, не выдерживая конкурренціи,—и вотъ, въ

концѣ концовъ, останутся лицомъ къ лицу немногіе капиталисты и рабочая масса, вслѣдъ затѣмъ уже прекратится всякая классовая борьба и наступитъ на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе.

Таково въ общихъ чертахъ содержаніе обширной популярной марксистской литературы. И понятно, какой эффектъ можетъ производить соблазнительная ясность, стройность, законченность этой философско-исторической теоріи, излагаемой вполнѣ увѣреннымъ, не допускающимъ сомнѣній тономъ, въ головахъ нѣмецкихъ рабочихъ. А затѣмъ ростъ и политическая дисциплинированность соціалъ-демократической партіи въ Германіи придаютъ въ свою очередь отраженный блескъ теоріи. Посмотримъ, однако, на дѣло нѣсколько ближе.

Прежде всего при чтеніи вышеизложеннаго является само собою вопросъ: въ какомъ сочиненіи Марксъ изложилъ свое матеріалистическое пониманіе исторіи? Въ «Капиталѣ» онъ далъ намъ образчикъ соединенія логической силы съ эрудиціей, съ кропотливымъ изслѣдованіемъ какъ всей экономической литературы, такъ и соотвѣтствующихъ фактовъ. Онъ вывелъ на бѣлый свѣтъ давно забытыхъ или никому нынѣ неизвѣстныхъ теоретиковъ экономической науки и не оставилъ безъ вниманія мельчайшихъ подробностей въ какихъ-нибудь отчетахъ фабричныхъ инспекторовъ или показаніяхъ экспертовъ въ разныхъ спеціальныхъ коммиссіяхъ; словомъ, перерылъ подавляющую массу фактическаго матеріала, частію для обоснованія, частію для иллюстраціи своихъ экономическихъ теорій. Если онъ создалъ «совершенно новое» пониманіе историческаго процесса, объяснилъ все прошедшее человѣчества съ новой точки зрѣнія и подвелъ итогъ всѣмъ доселѣ существовавшимъ философско-историческимъ теоріямъ, то сдѣлалъ это, конечно, съ такимъ же тщаніемъ: дѣйствительно пересмотрѣлъ и подвергъ критическому анализу всѣ извѣстныя теоріи историческаго процесса, поработалъ надъ массою фактовъ всемірной исторіи. Сравненіе съ Дарвиномъ, столь обычное въ марксистской литературѣ, еще болѣе утверждаетъ въ этой мысли. Что такое вся работа Дарвина? Нѣсколько обобщающихъ, тѣснѣйшимъ образомъ между собою связанныхъ идей, вѣнчающихъ цѣлый Монъ-Бланъ фактическаго матеріала. Гдѣ же соотвѣтственная работа Маркса? Ея нѣтъ. И не только нѣтъ такой работы Маркса, но ея нѣтъ и во всей марксистской литера-

турѣ, не смотря на всю ея количественную обширность и распространенность. На это указываютъ и весьма благосклонные къ теоріи экономическаго матеріализма Вейзенгрюнъ («Die Entwickelungsgesetze der Menscheit», «Verschiedene Geschichtsauffassungen») и г. Николаевъ («Активный прогрессъ и экономическій матеріализмъ»). Самыя основанія теоріи экономическаго матеріализма, безчисленное множество разъ повторяемыя, какъ аксіомы, до сихъ поръ остаются между собою несвязанными и фактически не провѣренными, что особенно заслуживаетъ вниманія въ теоріи, въ принципѣ опирающейся именно на матеріальные, осязательные факты, и усваивающей себѣ титулъ по преимуществу «научной».

Что касается самого Маркса, то хотя онъ, какъ въ «Манифестѣ», такъ и въ разныхъ мѣстахъ другихъ своихъ сочиненій, высказываетъ основанія теоріи экономическаго матеріализма, но нигдѣ не обосновываетъ ихъ, ни подробнымъ анализомъ другихъ философско-историческихъ теорій, ни сколько-нибудь значительнымъ фактическимъ матеріаломъ. И самое большое, что онъ въ этомъ отношеніи далъ, заключается всетаки въ «Капиталѣ», въ особенности въ главѣ о «первоначальномъ накопленіи», гдѣ, однако, рѣчь идетъ объ одномъ только историческомъ періодѣ, да и въ этихъ предѣлахъ предметъ, конечно, даже приблизительно не исчерпанъ. Правда, Марксъ, вмѣстѣ съ Энгельсомъ, задумалъ написать сочиненіе философско-историческаго и историко-философскаго характера и даже написалъ (въ 1845—47 гг.), но оно никогда не было напечатано. Энгельсъ говоритъ: «Первую часть этого сочиненія составляетъ изложеніе матеріалистическаго пониманія исторіи, которое показываетъ только, какъ недостаточны были наши познанія въ области экономической исторіи». (Fr. Engels. Ludwig Feuerbach und der Ausgang der classischen Philosophie. 1888 г.). Такимъ образомъ основные пункты «научнаго соціализма» и теоріи экономическаго матеріализма были открыты, а вслѣдъ затѣмъ и изложены въ «Манифестѣ» въ такое время, когда, по собственному признанію одного изъ авторовъ, нужныя для такого дѣла познанія были у нихъ слабы. А затѣмъ Марксъ, раздѣливъ свое время между практическою дѣятельностью и спеціально-экономическими теоретическими трудами, не успѣлъ или не хотѣлъ научно обставить свою философско-историческую теорію. Такова доля самого Маркса въ выработкѣ и обоснованіи

экономическаго матеріализма, какъ исторической теоріи, имѣющей объяснить намъ все прошедшее человѣчества. Относительно будущаго несомнѣнно ему (можетъ быть, вмѣстѣ съ Энгельсомъ) принадлежитъ предвидѣніе или прорицаніе исхода капиталистическаго строя. Оправдается оно или нѣтъ,—покажетъ намъ будущее, но такъ какъ ничего подобнаго исторія человѣчества не видала до сихъ поръ, то во всякомъ случаѣ не на данныхъ историческаго опыта и исторической науки можетъ это пророчество опираться.

Для экономическаго матеріализма, какъ исторической теоріи, больше сдѣлалъ alter ego Маркса—Энгельсъ. Отдѣльныя мысли съ этомъ направленіи встрѣчаются въ разныхъ его сочиненіяхъ. Но у него есть и спеціально историческій трудъ—«Происхожденіе семьи, собственности и государства въ связи (*im Anschluss*) съ воззрѣніями Моргана». Этотъ «Anschluss» чрезвычайно замѣчателенъ. Книга американца Моргана о «древнемъ обществѣ» появилась много лѣтъ спустя послѣ того, какъ были провозглашены Марксомъ и Энгельсомъ основы экономическаго матеріализма, и совершенно независимо отъ него. Но экономическіе матеріалисты, въ лицѣ Энгельса (и Маркса, замѣчаніями котораго Энгельсъ пользовался), «примкнули» къ изслѣдованіямъ Моргана, видя въ нихъ дополненіе къ своей теоріи или, вѣрнѣе, распространеніе ея на доисторическія времена. Но изслѣдованія Моргана начинаются съ такого историческаго или, вѣрнѣе, доисторическаго періода, когда общество еще не дѣлилось на классы и нѣтъ, слѣдовательно, классовой борьбы, и когда производство матеріальныхъ цѣнностей находится въ столь зародышевомъ состояніи, что о всеопредѣляющемъ значеніи его формы не можетъ быть и рѣчи. Поэтому явилась слѣдующая поправка или дополненіе къ формулѣ матеріалистическаго пониманія исторіи: «По матеріалистическому воззрѣнію, — говоритъ Энгельсъ въ предисловіи къ первому изданію 1884 г. — опредѣляющимъ моментомъ въ исторіи является въ послѣдней инстанціи производство и воспроизведеніе непосредственной жизни (Production und Reproduction des unmittelbaren Lebens), а оно двояко. Съ одной стороны, производство (Erzeugung) средствъ жизни, предметовъ питанія, одежды, жилища и нужныхъ для этого орудій; съ другой—производство самого человѣка, продолженіе рода. Общественныя учрежденія, въ которыхъ живутъ люди извѣстной исторической эпохи и извѣстной страны, обусловливаются обоими

видами производства: степенью развитія труда, съ одной стороны. и семьи—съ другой. Чѣмъ менѣе развитъ трудъ, чѣмъ ограниченнѣе масса его продуктовъ, а, слѣдовательно, богатства общества, тѣмъ болѣе преобладаютъ въ общественномъ строѣ родовыя (или половыя? — Geschlechtsbande) связи. Съ теченіемъ времени подъ этимъ, на родовыхъ связяхъ основаннымъ дѣленіемъ общества, болѣе и болѣе развивается трудъ» и, наконецъ, значеніе формъ «производства самого человѣка» совершенно исчезаетъ въ значеніи формъ производства матеріальныхъ цѣнностей. Великая заслуга Моргана состоитъ въ томъ, что онъ въ родовыхъ связяхъ сѣверо-американскихъ индійцевъ нашелъ «ключъ къ важнѣйшимъ, дотолѣ неразрѣшимымъ догадкамъ древней греческой, римской и германской исторіи».

Итакъ, въ концѣ сороковыхъ годовъ было открыто и провозглашено совершенно новое, матеріалистическое и истинно научное пониманіе исторіи, которое сдѣлало для исторической науки то же самое, что сдѣлала теорія Дарвина для современнаго естествознанія. Разница, однако, въ томъ, что теорія Дарвина явилась во всеоружіи подавляющей массы фактическаго матеріала, тогда какъ творцы экономическаго матеріализма, въ моментъ провозглашенія своей теоріи, были, по собственному ихъ сознанію, недостаточно свѣдущи именно въ экономической исторіи. Какова бы, значитъ, ни была эта теорія въ другихъ отношеніяхъ, но она менѣе всего можетъ претендовать на научное происхожденіе. Не смотря на всю эрудицію ея творцовъ она родилась внѣ науки и, не смотря на ихъ войну съ метафизикой — именно въ нѣдрахъ гегельянской философіи. Происхожденіе теоріи столь же мало можетъ быть поставлено ей въ укоръ или похвалу, какъ и человѣку его происхожденіе. Но въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о научномъ, по преимуществу, пониманіи всемірной исторіи, которое, пониманіе, однако, никогда не было дѣйствительно научно обосновано. Оно не только не было провѣрено на большомъ и разнообразномъ полѣ фактическаго матеріала, но не было даже достаточно мотивировано, хотя бы путемъ критики и исключенія другихъ философско-историческихъ системъ. Въ книгѣ Энгельса «Herrn E. Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» можно найти очень остроумныя попытки свести тотъ или другой историческій эпизодъ къ исключительно экономической почвѣ, но это именно только остроумныя попытки, выска-

занныя мимоходомъ, да иначе и быть не можетъ въ сочиненіи, посвященномъ полемикѣ по вопросамъ, затрагивающимъ всѣ отрасли человѣческаго вѣдѣнія. Въ «Капиталѣ» Маркса есть блестящія страницы историческаго содержанія, но онѣ уже по самой задачѣ книги пріурочены къ одному опредѣленному историческому періоду и не то, что утверждаютъ основныя положенія экономическаго матеріализма, а просто касаются экономической стороны извѣстной группы историческихъ явленій. Немудрено, что для теоріи, претендовавшей освѣтить всемірную исторію, спустя сорокъ лѣтъ послѣ ея провозглашенія древняя греческая, римская и германская исторіи оставались неразрѣшенными загадками; и ключъ къ этимъ загадкамъ былъ данъ, во-первыхъ, человѣкомъ, совершенно постороннимъ теоріи экономическаго матеріализма, ничего объ ней не знавшимъ, а во-вторыхъ — при помощи фактора не экономическаго. Нѣсколько забавное впечатлѣніе вызываетъ терминъ «производство самого человѣка», то-есть дѣтопроизводство, за который Энгельсъ хватается для сохраненія хотя бы словесной связи съ основною формулою экономическаго матеріализма. Онъ вынужденъ, однако, признать, что жизнь человѣчества многіе вѣка складывалась не по этой формулѣ, и провидитъ въ будущемъ прекращеніе какъ классовой борьбы, такъ и всеопредѣляющаго значенія формъ производства. Въ концѣ своей книги «О происхожденіи семьи" и проч. онъ сочувственно цитируетъ слова Моргана (г. Николаевъ — «Активный прогрессъ и экономическій матеріализмъ» — ошибочно приписываетъ эти слова самому Энгельсу): «Съ возникновенія цивилизаціи ростъ богатства такъ громаденъ, его формы такъ разнообразны, управленіе имъ такъ приспособлено къ интересамъ, что богатство стало непреодолимой силой. Человѣчество безпомощно стоитъ передъ своимъ собственнымъ созданіемъ. Но придетъ время, когда человѣческій разумъ окрѣпнетъ для господства надъ богатствомъ... Простая погоня за богатствомъ не есть конечная цѣль человѣчества, если прогрессъ останется такимъ же закономъ будущаго, какимъ онъ былъ въ прошедшемъ. Время, протекшее съ возникновенія цивилизаціи, есть только маленькая частица всего прожитаго человѣчествомъ прошлаго, и маленькая частица предстоящаго». Что касается общаго экономическаго ключа ко всѣмъ историческимъ замкамъ, то въ упомянутомъ полемическомъ противъ Дюринга сочиненіи Энгельсъ говоритъ: «Политическая экономія,

какъ наука объ условіяхъ и формахъ, въ которыхъ происходятъ производство, обмѣнъ и распредѣленіе цѣнностей, еще подлежитъ созданію. Все, что мы до сихъ поръ отъ нея получили, ограничивается почти исключительно зарожденіемъ и развитіемъ капиталистическаго производства: она начинаетъ съ критики остатковъ феодальныхъ формъ производства и обмѣна, указываетъ на необходимость замѣны ихъ формами капиталистическими, развиваетъ затѣмъ законы капиталистическаго производства и оканчивается ихъ критикою».

Словами этими весьма съуживается поле дѣйствія экономическаго матеріализма, какъ исторической теоріи, и, можетъ быть найдется еще не мало неразрѣшенныхъ ею загадокъ и кромѣ древней исторіи Греціи, Рима и Германіи. Найдутся онѣ, можетъ быть, и на томъ пространствѣ исторіи, которое она съ большимъ, повидимому, правомъ можетъ отвести въ свое вѣдѣніе, и даже въ настоящее время, въ дѣлахъ и дѣлишкахъ текущей жизни.

Какъ бы мы ни ухищрялись надъ «дѣтопроизводствомъ», стараясь установить хоть словесную связь между нимъ и экономическимъ матеріализмомъ, какъ бы оно ни перекрещивалось въ сложной сѣти явленій общественной жизни съ другими явленіями, въ томъ числѣ и экономическими, оно имѣетъ свои собственные, физіологическіе и психическіе корни. И это напоминаетъ намъ, что теоретики экономическаго матеріализма не свели своихъ счетовъ не только съ исторіей, а и съ психологіей. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что родовыя связи утратили свое значеніе въ исторіи цивилизованныхъ странъ, но едва-ли можно сказать это съ такою же увѣренностью о связяхъ непосредственно половыхъ и семейныхъ. Онѣ подвергаются, разумѣется, сильнымъ видоизмѣненіямъ подъ напоромъ усложняющейся жизни вообще, но, при извѣстной діалектической ловкости, можно бы было доказать, что не только юридическія, а и сами экономическія отношенія составляютъ «надстройку» надъ отношеніями половыми и семейными. Мы не станемъ этимъ заниматься, но укажемъ всетаки хоть на институтъ наслѣдства Въ наслѣдство передаются продукты экономическаго производства, и самый институтъ этотъ обусловленъ до извѣстной степени фактомъ экономической конкурренціи. Но, во-первыхъ, въ наслѣдство передаются и не матеріальныя цѣнности,—что выражается въ заботахъ о воспитаніи дѣтей въ духѣ отцовъ, а во-вторыхъ,—оставаясь даже исключительно въ эконо-

мической области,—если институтъ наслѣдства немыслимъ безъ продуктовъ производства, передаваемыхъ по наслѣдству, то онъ точно также немыслимъ безъ продуктовъ «дѣтопроизводства», получающихъ наслѣдство,—безъ нихъ и безъ той сложной и напряженной психики, которая къ нимъ непосредственно примыкаетъ. Что касается родовыхъ связей, то онѣ поблѣднѣли въ исторіи цивилизованныхъ народовъ отчасти, дѣйствительно, въ лучахъ вліянія формъ производства, но отчасти распустились въ своемъ собственномъ продолженіи и обобщеніи — въ связяхъ національныхъ. Вульгарная исторія удѣляетъ слишкомъ много вниманія международнымъ столкновеніямъ по сравненію съ внутреннею жизнью общества, и понятна всяческая реакція противъ такой исторіографіи. Но сказать, какъ говоритъ Блосъ (и многіе другіе), что всемірная исторія есть лишь рядъ эпизодовъ классовой борьбы—значитъ впадать въ подобную же крайность, только въ другую сторону. Не касаясь вопроса объ томъ, дѣйствительно ли классовая борьба немыслима помимо вліянія экономическихъ факторовъ (на этотъ счетъ выражаетъ сомнѣнія и комментаторъ Маркса - Энгельса, Вейзенгрюнъ), вспомнимъ нашу послѣднюю прошлогоднюю бесѣду о демонѣ національнаго самолюбія и національной ненависти. До какой степени легко и страшно пробуждается этотъ демонъ до сихъ поръ, не говоря уже о болѣе раннихъ историческихъ періодахъ, и какъ вмѣстѣ съ тѣмъ противорѣчатъ иногда его пробужденія всякой классовой борьбѣ, объ этомъ свидѣтельствуютъ недавнія европейскія событія. Основанное Марксомъ международное общество рабочихъ, организованное въ цѣляхъ классовой борьбы, не помѣшало французскимъ и нѣмецкимъ рабочимъ, въ моментъ національнаго возбужденія, рѣзать и раззорять другъ друга. И едва ли есть основаніе думать, что, по крайней мѣрѣ, въ ближайшемъ будущемъ, въ случаѣ войны, дѣла пойдутъ иначе. Европейскіе государственные люди давно уже открыли секретъ превращенія различныхъ враждующихъ между собою общественныхъ классовъ въ единую націю: стоитъ только отвлечь ихъ вниманіе отъ внутреннихъ дѣлъ къ внѣшнему, иноплеменному врагу. Теоретики экономическаго матеріализма могутъ сказать, что государственные люди, прибѣгающіе къ этому средству, дѣлаютъ это именно въ видахъ сохраненія данной комбинаціи общественныхъ силъ, покоящейся въ послѣднемъ счетѣ на извѣстной формѣ производства и обмѣна:

ихъ политика есть только «надстройка» надъ экономическимъ фундаментомъ. Но это возраженіе не устраняетъ національнаго чувства, какъ самостоятельнаго фактора, который, будучи вызванъ къ дѣйствію, вліяетъ на ходъ исторіи помимо и часто наперекоръ условіямъ производства. При томъ же, исторія знаетъ много случаевъ, когда тотъ или другой процессъ внутренней работы общества обрывался и получалъ совсѣмъ иное направленіе, благодаря случайнымъ осложненіямъ международнаго или междуплеменнаго характера, осложненіямъ, не только не вызваннымъ руководителями политики, но и застающимъ ихъ врасплохъ.

Но, говорятъ марксисты, случайности въ исторіи никакой не бываетъ, потому что все совершается по извѣстнымъ законамъ, и по той же причинѣ руководители, герои, «великіе люди» и проч. — старый вздоръ, въ который люди вѣрили до открытій Маркса. Теперь мы знаемъ, что слова «великіе люди» заслуживаютъ только ироническихъ кавычекъ, ибо всѣ такъ величаемые господа входятъ въ составъ «надстройки» надъ экономическимъ фундаментомъ и служатъ такъ или иначе настроеніямъ и интересамъ экономически господствующихъ классовъ, а фундаментъ растетъ и развивается самъ по себѣ, по своимъ имманентнымъ законамъ, въ которыхъ не при чемъ чья бы то ни была личная воля или желаніе. Надо, однако, замѣтить, что на этомъ, какъ и на многихъ другихъ пунктахъ марксистской литературы, самъ Марксъ отнюдь не можетъ быть призванъ къ отвѣтственности за все, что говорится во имя его популяризаторами, комментаторами и пропагандистами. Какая-нибудь вскользь брошенная имъ мысль или даже не вскользь, но выраженная чисто отвлеченно или съ преувеличенной полемическою рѣзкостью, переходя изъ устъ въ уста, изъ книги въ книгу, постепенно утрачиваетъ свой условный характеръ и обращается въ послѣдней, въ данномъ случаѣ низшей, инстанціи въ догматъ. Такъ монета, переходя изъ рукъ въ руки, стирается, теряетъ отчеканенный на ней штемпель и становится просто плоскимъ кружкомъ. Марксъ былъ слишкомъ уменъ и ученъ, чтобы думать, что именно онъ открылъ идею исторической необходимости и законосообразности общественныхъ явленій. Энгельсъ, умъ не столь критическій и вмѣстѣ съ тѣмъ не столь творческій, но большой и обогащенный разностороннимъ образованіемъ, охотно тонетъ въ лучахъ славы своего друга и ужъ поэтому склоненъ къ догматизаціи его

положеній и къ преувеличенію значенія каждой его мысли. Затѣмъ слѣдуютъ болѣе или менѣе самостоятельные, какъ, напримѣръ, Каутскій, и, наконецъ, должно быть, уже не настоящіе марксисты, которыхъ, однако, очень много какъ въ самой Германіи, такъ и внѣ ея. На верхнихъ ступеняхъ этой лѣстницы хорошо знаютъ, что идея исторической необходимости есть не изобрѣтенная или открытая Марксомъ новость, а давно установившаяся истина. На низшихъ ступеняхъ этого не знаютъ или, по крайней мѣрѣ, имѣютъ смутное понятіе о той вѣковой затратѣ умственныхъ силъ и энергіи, которая пошла на установленіе этой истины. Они получаютъ какъ бы личный отъ Маркса подарокъ и носятся съ нимъ, какъ съ писанной торбой, прибавляя еще сюда стертыя монеты его и безъ того односторонней полемики съ идеалистами и утопистами. Они именно получили подарокъ, нѣчто такое, что имъ самимъ не стоило ни малѣйшаго труда критической мысли, и такъ какъ имъ очень мало извѣстно о томъ, какъ въ дѣйствительности вырабатывался этотъ подарокъ совершенно независимо отъ Маркса и задолго до него, то это придаетъ въ ихъ глазахъ лишній плюсъ особливой научности всему, когда-либо и при какихъ-либо обстоятельствахъ сказанному Марксомъ. Идея исторической необходимости входитъ въ составъ цѣлаго міросозерцанія, вырабатывавшагося вѣками, пролагавшаго себѣ путь сквозь тьму заблужденій и предразсудковъ. Но въ непосредственномъ приложеніи къ текущей жизни она никакимъ образомъ не можетъ быть исключительною руководительницей, потому что она является слишкомъ уже общею скобкой.

Возьмемъ такой примѣръ. На верхнихъ ступеняхъ марксистской лѣстницы довольно, повидимому, удобно устраиваются въ логическомъ конфликтѣ между идеей исторической необходимости и значеніемъ личной дѣятельности великихъ и малыхъ людей, руководимыхъ тѣми или другими цѣлями и идеалами и въ свою очередь руководящихъ другими людьми, а именно: всѣ наши идеи и идеалы суть только надстройки на экономическомъ фундаментѣ и отражаютъ въ себѣ интересы и тенденціи господствующаго класса; экономическая сущность необходимаго историческаго процесса шутки шутитъ (все равно, какъ міровая воля Шопенгауера или безсознательное Гартмана) съ великими и малыми дѣятелями, думающими, что они направляютъ ходъ дѣлъ въ ту или другую сторону, тогда какъ въ дѣйствительности они

сами имъ направляются; если же являются идеи и идеалы, противорѣчащіе данной формѣ производства и обмѣна, то это значитъ только, что экономическая сущность подвинулась въ своемъ саморазвитіи и зарождаются новыя матеріальныя формы производства; такъ что и эти люди, считающіе себя руководителями или признаваемые таковыми, сами суть продукты имманентныхъ законовъ историческаго процесса. Въ иной, не спеціально экономической одеждѣ, схема эта не разъ фигурировала въ исторіи философіи и даже клалась въ основу грандіозныхъ метафизическихъ системъ. И всегда она оказывалась соблазнительно красивымъ общимъ положеніемъ, безплоднымъ въ практическомъ отношеніи, а въ научномъ—по крайней мѣрѣ, заслоняющимъ огромную группу историческихъ явленій. Безъ сомнѣнія, наши идеи и идеалы выростаютъ на исторической почвѣ, разумѣя подъ нею не проблематическую ея экономическую сущность, а всю совокупность явленій общественной жизни. Но выростаютъ они двояко—въ положительномъ и въ отрицательномъ смыслѣ, при томъ единовременно. Одни изъ носителей этихъ идей и идеаловъ признаютъ данный установившійся укладъ и желаютъ дальнѣйшаго его развитія; другіе имъ недовольны и потому, если не падаютъ въ пропасть отчаяннаго пессимизма или не предаются на манеръ восточныхъ аскетовъ созерцанію собственнаго пупка, ищутъ въ дѣйствительности хоть какого-нибудь зерна, изъ котораго, при надлежащемъ уходѣ, могло бы развиться нѣчто, соотвѣтствующее ихъ идеямъ и идеаламъ. И тѣ, и другіе суть равно необходимые продукты исторической почвы. Пусть и тѣ и другіе заблуждаются, считая себя дѣятелями, тогда какъ они «дѣемые», маріонетки, подергиваемыя изъ таинственнаго подполья имманентными законами исторической необходимости, но и заблужденіе это есть историческая необходимость. Которая нибудь сторона навѣрное заблуждается, кромѣ того, еще и въ томъ смыслѣ, что добивается осуществленія неосуществимаго или отстаиваетъ подлежащее смерти. И это опять - таки необходимое заблужденіе. И даже если послѣдніе бойцы, признавъ полную невозможность осуществленія своего идеала, ринутся въ битву, чтобы погибнуть вмѣстѣ съ нимъ, то и это будетъ исторически необходимо. Относительно прошлаго выдержать эту расплывающуюся точку зрѣнія сравнительно легко, потому что издали, когда что-нибудь уже совершилось, историческая необходимость

совершившагося фактически рѣшена и подписана,—на лицо вся законченная цѣпь причинъ и слѣдствій. Однако и тутъ историкъ, если онъ работаетъ не въ безтѣлесной области отвлеченныхъ положеній и логическихъ схемъ, а надъ фактическимъ историческимъ матеріаломъ, въ которомъ когда-то лилась горячая кровь, раздавались стоны побѣжденныхъ и клики торжества побѣдителей, зрѣли и приносили плодъ высокія и подлыя мысли и чувства— и тутъ историкъ не обойдется съ одной исторической необходимостью. Тѣмъ паче нельзя ею удовольствоваться въ сужденіяхъ о настоящемъ и будущемъ. Останутся ли Эльзасъ и Лотарингія въ насильственныхъ объятіяхъ Германіи, или вернутся къ Франціи, или самый вопросъ о нихъ распустится въ какомъ-нибудь міровомъ событіи международнаго характера, — все окажется одинаково исторически необходимымъ, когда совершится. Но въ настоящее время одинаково же необходимы взгляды на этотъ счетъ французовъ и нѣмцевъ, и какъ бы ни ссылались обѣ стороны на историческую необходимость, противная сторона имъ не вѣритъ и будетъ продолжать свою дѣятельность въ прежнемъ направленіи, и это окажется впослѣдствіи исторически необходимымъ. Какъ видитъ читатель, мы не только не отрицаемъ исторической необходимости, а, напротивъ, вполнѣ признаемъ ея всеобщность и непререкаемость. Она царитъ надъ всѣми мірами, но именно вслѣдствіе ея всеобщности и непререкаемости, на нее одну нельзя ссылаться въ сложныхъ практическихъ дѣлахъ, въ которыхъ непосредственно замѣшаны наши интересы и идеалы, наши чувства, надежды и опасенія. Категорія необходимости столь всеобща и непререкаема, что обнимаетъ собою даже самыя безумныя надежды и самыя безсмысленныя опасенія, съ которыми она, повидимому, призвана воевать. Съ ея точки зрѣнія, надежда прошибить стѣну лбомъ есть не глупость, а необходимость, совершенно такъ же, какъ Квазимидо не уродъ, а необходимость, Каинъ или Іуда не злодѣй, а необходимость. Словомъ, руководясь въ практической жизни ею одною, мы попадаемъ въ какое-то фантастическое безграничное пространство, гдѣ нѣтъ идей и вещей, нѣтъ явленій, а есть только одноцвѣтныя тѣни идей и вещей. Но въ дѣйствительности никто никогда и не становится на эту невозможную для человѣческаго ума точку зрѣнія. Въ дѣйствительности, какъ только мы вступаемъ въ нее въ качествѣ живыхъ участниковъ, необходимость умѣряется возможностью и вѣроятно-

стью и окрыляется желательностью, причемъ не исчезаетъ, а занимаетъ свое опредѣленное условное мѣсто въ нашемъ міровоззрѣніи и—я сказалъ бы—міровоздѣйствіи. Въ своемъ безусловномъ, метафизическомъ видѣ, идея необходимости безполезна для житейской практики, а поскольку сбиваетъ съ толку людей, ввергая ихъ въ омутъ недоразумѣній, и прямо вредна. Таковы же ея услуги наукѣ.

Въ томъ фантастическомъ царствѣ, гдѣ метафизическія тѣни явленій заслоняютъ отъ насъ самыя явленія съ ихъ цвѣтомъ и запахомъ, красотою и безобразіемъ, подлостью и величіемъ,—нѣтъ и героевъ и толпы, а есть только равно необходимые люди, въ извѣстномъ порядкѣ выскакивающіе изъ таинственныхъ нѣдръ исторіи. Въ дѣйствительной жизни, однако, герои и толпа существуютъ, герои ведутъ, толпа бредетъ за ними, и прекрасный этому примѣръ представляютъ собою Марксъ и марксисты. Какъ и все на свѣтѣ, отношенія между Марксомъ и марксистами, между героями и толпой вообще, управляются извѣстными законами, суммирующими необходимую цѣпь причинъ и слѣдствій въ опредѣленной группѣ явленій. Но для этого группа явленій должна быть выдѣлена изъ фантастическаго царства всеобщей безусловной необходимости, должны быть опредѣлены тѣ особенныя историческія условія, при которыхъ данныя отношенія устанавливаются и развиваются. Съ точки же зрѣнія безусловной необходимости не видать никакихъ условій, а потому пропадаетъ для науки и весь вопросъ о герояхъ и толпѣ, хотя онъ даетъ себя знать на каждомъ шагу въ исторіи, вплоть до сегодняшняго дня, и еще не извѣстно, замретъ ли, нѣтъ ли когда-нибудь въ будущемъ... Что же касается экономическаго матеріализма, то онъ игнорируетъ или невѣрно освѣщаетъ этотъ вопросъ еще и по другой причинѣ. Въ своей полемикѣ съ Дюрингомъ, Энгельсъ потратилъ, между прочимъ, много усилій для постановки политической власти на экономическій пьедесталъ, и, безъ сомнѣнія, высказалъ много вѣрнаго. Но считать вопросъ исчерпаннымъ, конечно, нельзя. Допустимъ, что намъ удалось самымъ непререкаемымъ образомъ установить причинную связь между политическимъ значеніемъ, положимъ, Наполеона и извѣстными формами производства и обмѣна. Историческая необходимость на экономической подкладкѣ выкинула изъ своихъ нѣдръ эту исключительную фигуру, предоставила ей или заставила ее закончить собою революцію, про-

лить море крови по всей Европѣ отъ Мадрида до Москвы и затѣмъ опочить на островѣ св. Елены. Мудрено, разумѣется, установить всю эту выкинутую исторической необходимостью штуку прямо на формы производства и обмѣна,—многое должно быть перенесено въ верхніе этажи теоретическаго знанія, въ «надстройки». Но и за всѣмъ тѣмъ остается, я думаю, не разъясненнымъ то обаяніе, которое производилъ Наполеонъ, напримѣръ, на своихъ солдатъ, ту несоображенную ни съ какими формами производства готовность, съ которою они шли за своимъ вождемъ и умирали на его глазахъ, и безъ которой Наполеонъ не могъ совершить свое дѣло. Если бы и это несомнѣнное историческое явленіе намъ удалось пріурочить собственно къ политической власти, а черезъ нее водворить въ формахъ производства и обмѣна, то исторія знаетъ не мало случаевъ, когда такое же обаяніе производили и такъ же за собой людей вели, въ разныхъ областяхъ жизни и мысли, люди, никакою формальною властію не облеченные, никакой матеріальной силы въ рукахъ не имѣвшіе. Сказать, что силу такихъ людей всегда составляла своевременность ихъ появленія, потому что, дескать, назрѣли новыя формы производства и обмѣна,—сказать это, значитъ сказать фактическую неправду. Мы очень хорошо знаемъ многочисленные случаи, когда вожди, «герои» являлись несвоевременно, какъ въ томъ смыслѣ, что уловимаго преобразованія формъ производства и обмѣна не было, такъ и въ томъ, что они, вожди погибали въ непосильной борьбѣ. И, однако, они были всетаки вождями, вели за собой толпу, которая своею и чужою кровью записывала ихъ имена въ исторіи, носила на себѣ печать ихъ мысли и даже послѣ ихъ смерти или очевиднаго фіаско упорно держалась направленія, въ которомъ они ее толкнули. Анализируя условія, при которыхъ въ исторіи слагается такая толпа и являются такіе герои, мы очень часто найдемъ въ числѣ ихъ и экономическіе факторы. И тѣмъ не менѣе, это явленіе sui generis, ключъ къ которому можно искать и при помощи политической экономіи, но не въ ней самой и не въ томъ отдѣлѣ психологіи, который занятъ мотивами производства матеріальныхъ цѣнностей.

Въ книгѣ о «Происхожденіи семьи и проч.» Энгельсъ говоритъ, между прочимъ, что «Капиталъ» Маркса былъ долго «за-

малчиваемъ» цеховыми нѣмецкими экономистами, а въ книгѣ «Людвигъ Фейербахъ и конецъ классической философіи» указываетъ, что теоретики экономическаго матеріализма «съ самаго начала обратились, главнымъ образомъ, къ рабочимъ и встрѣтили у нихъ ту воспріимчивость, которой и не ожидали отъ представителей оффиціальной науки». Насколько вѣрны эти факты и каково ихъ значеніе? Прежде всего «замолчать», на продолжительное время, что-нибудь цѣнное едва ли теперь возможно даже у насъ, въ Россіи, при всей слабости и мелкости нашей научно-литературной жизни. Тѣмъ паче не возможно это въ Германіи съ ея многочисленными университетами, съ ея всеобщею грамотностью, съ ея безчисленными газетами, листками всевозможныхъ направленій, съ значеніемъ въ ней не только печатнаго, а и устнаго слова. И если нѣкоторая часть оффиціальныхъ жрецовъ науки въ Германіи и встрѣтила «Капиталъ» на первое время молчаніемъ, то едва ли можно объяснять это желаніемъ «замолчать» работу Маркса. Вѣрнѣе предположить, что мотивами молчанія было недоумѣніе, рядомъ съ которымъ очень быстро выросли и горячая оппозиція, и полное почтеніе, и въ результатѣ теоретическая часть «Капитала» очень быстро заняла уже безспорно высокое мѣсто въ общепризнанной наукѣ. Совсѣмъ не такова судьба экономическаго матеріализма, какъ исторической картины со включеніемъ и тѣхъ перспективъ въ направленіи будущаго, которыя находятся въ «Капиталѣ». Экономическій матеріализмъ, не смотря на свое полувѣковое существованіе, не оказалъ да сихъ поръ сколько-нибудь замѣтнаго вліянія на научныя сферы, но дѣйствительно очень быстро распространяется въ рабочемъ классѣ. Что Марксъ, однако, отнюдь не имѣлъ въ виду въ своей дѣятельности именно этотъ кругъ читателей и ожидалъ кое чего и отъ людей науки, это видно изъ самаго существованія «Капитала» и болѣе ранняго сочиненія «Zur Kritik der politischen Oekonomie». Оба эти сочиненія по характеру своему очень мало пригодны для чтенія рабочихъ, среди которыхъ распространяются они больше въ формѣ извлеченій, упрощеній и популяризацій. Нечего и говорить о произведеніяхъ еще болѣе раннихъ, какъ, напримѣръ, «Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie» или полемика съ «Бруно Бауеромъ и компаніей». Въ «Манифестѣ» Марксъ и Энгельсъ, дѣйствительно, обратились къ рабочимъ, но не потому, чтобы они не хотѣли

обращаться къ людямъ науки. Мы видѣли, что, по собственному сознанію Энгельса, они были сами не свѣдущи въ экономической исторіи. Это бы еще не удержало ихъ отъ представленія своихъ взглядовъ на судъ просвѣщенной критики, такъ какъ они, во-первыхъ, только впослѣдствіи убѣдились въ недостаточности своихъ знаній, а во-вторыхъ, они могли бы дать сраженіе на почвѣ философіи, допускавшей въ то время обходъ фактической стороны дѣла въ ея деталяхъ. Но они просто сочли моментъ всеобщаго возбужденія въ концѣ сороковыхъ годовъ удобнымъ моментомъ для выступленія на поприще практической дѣятельности. Принципіальнаго же отворачиванія отъ нерабочихъ читателей тутъ, конечно, не было. Вѣрнѣе поэтому предположить, что неуспѣхъ экономическаго матеріализма зависитъ отъ какихъ-нибудь изъяновъ или въ самой теоріи, или, по крайней мѣрѣ, въ ея обработкѣ. Мы старались выше намѣтить тѣ и другіе. Не смотря на претензіи на особливую научность, теорія никогда не была научно обоснована и провѣрена. Но она удобно сводится къ соблазнительно ясной и краткой формулѣ, подкупающей многихъ и въ томъ случаѣ, когда они въ дѣйствительности совсѣмъ не ею руководятся въ оцѣнкѣ и воспроизведеніи историческихъ явленій. Обращаясь, напримѣръ, къ вышеупомянутой книгѣ Блоса, мы видимъ, что это—очень почтенная работа, на которой, однако, вовсе нѣтъ спеціальныхъ слѣдовъ коренного переворота въ исторической наукѣ. Изъ того, что Блосъ говоритъ о классовой борьбѣ и объ экономическихъ условіяхъ (сравнительно очень немного), еще не слѣдуетъ, что онъ строитъ исторію на саморазвитіи формъ производства и обмѣна: обойти экономическія условія въ разсказѣ о событіяхъ 1848 года было бы даже мудрено. Выкиньте изъ книги Блоса панегирикъ Марксу, какъ творцу переворота въ исторической наукѣ, да еще нѣсколько условныхъ фразъ съ марксистской терминологіей, и вамъ не придетъ въ голову, что вы имѣете дѣло съ послѣдователемъ экономическаго матеріализма. Отдѣльныя хорошія страницы историческаго содержанія у Энгельса, Кауцкаго и нѣкоторыхъ другихъ тоже могли бы обойтись безъ этикетки экономическаго матеріализма, такъ какъ на дѣлѣ въ нихъ принимается въ соображеніе вся совокупность общественной жизни, хотя бы и съ преобладаніемъ экономической струны въ этомъ аккордѣ. Встрѣчающіяся въ марксистской литературѣ презрительныя слова объ идеалахъ, о

великихъ людяхъ, о вторженіи этики въ царство желѣзной экономической необходимости, — все это только слова, весьма мало отражающіяся на дѣлѣ. Словомъ, въ наукѣ экономическій матеріализмъ просто не оправдалъ себя, и этимъ достаточно объясняется его неуспѣхъ, особенно бросающійся въ глаза рядомъ съ блестящимъ успѣхомъ «Капитала». Что же касается успѣха, которымъ экономическій матеріализмъ пользуется, такъ сказать, въ ширину его распространенности въ критически непровѣренномъ видѣ, то центръ тяжести этого успѣха лежитъ не въ наукѣ, а въ житейской практикѣ, устанавливаемой перспективами въ сторону будущаго. Перспективы эти не требуютъ отъ усвояющаго ихъ нѣмецкаго рабочаго класса и принимающихъ горячее участіе въ его судьбѣ ни знаній, ни работы критической мысли. Онѣ требуютъ только вѣры. Но излагаются онѣ отъ имени науки, самонастоящей науки, а не той, которая фальсифицируетъ факты и логику въ угоду господствующимъ классамъ и которая, однако, вынуждена была признать научное значеніе «Капитала». И не утопія какая-нибудь эти перспективы,—со всѣми утопіями, столько разъ обманывавшими народъ, экономическій матеріализмъ покончилъ навсегда; указываемыя имъ перспективы составляютъ заключительное звено цѣпи причинъ и слѣдствій, историческая необходимость котораго научно доказана. Доказалъ это kein geringer, als Marx, авторъ «Капитала», творецъ теоріи прибавочной цѣнности, равный Дарвину, глава международнаго общества рабочихъ, правда, распавшагося, но имѣющаго возродиться. Если бы не то, что враги рабочихъ, а даже сами они не пожелали собственнаго благополучія, оно придетъ къ нимъ помимо ихъ воли, въ силу имманентныхъ законовъ исторической эволюціи, и на развалинахъ саморазлагающагося капиталистическаго строя водворится объединенный пролетаріатъ. Для этого не нужна и революція въ ея обычныхъ кровавыхъ и раззорительныхъ формахъ; она можетъ, правда, случиться, но дѣло можетъ обойтись и безъ нея, процессомъ самой эволюціи. Не удивителенъ успѣхъ такой пропаганды среди рабочихъ, въ особенности нѣмецкихъ рабочихъ, руководимыхъ опытными, искусными, терпѣливыми вождями соціалъ-демократической партіи. По истинѣ удивителенъ этотъ успѣхъ у насъ, а онъ несомнѣненъ, хотя еще почти не представленъ въ литературѣ.

Позволю себѣ припомнить соображенія, къ которымъ я при-

шелъ еще въ 1877 г. «Представимъ себѣ русскаго человѣка, который увѣровалъ бы въ истинность этой исторической теоріи... Такой русскій человѣкъ, если только онъ живетъ не исключительно головой, не относится безучастно къ практикѣ жизни, окажется въ чрезвычайно странномъ и трудномъ положеніи. Тотъ обоюдоострый, страшный и вмѣстѣ благодѣтельный, непреоборимый процессъ «обобществленія» труда или, вѣрнѣе, та форма обобществленія, которую излагаетъ Марксъ, у насъ на святой Руси очень мало подвинулась впередъ. Крестьянинъ нашъ далеко не такъ «свободенъ» отъ земли и орудій производства, въ какой это необходимо для пышнаго развитія капиталистическаго производства. Напротивъ, не смотря на его печальное положеніе, какъ земледѣльца и землевладѣльца, многія обстоятельства, даже помимо его собственныхъ инстинктовъ, держатъ его у земли. Съ другой стороны, капиталы наши представляютъ въ сравненіи съ европейскими нѣчто крайне мизерное. Слѣдовательно, намъ еще предстоитъ пройти вслѣдъ за Европой весь тотъ процессъ, который описалъ и возвелъ на степень философско-исторической теоріи Марксъ. Разница, однако, въ томъ, что намъ придется повторить процессъ, т. е. совершить его сознательно. По крайней мѣрѣ, его долженъ сознавать тотъ русскій человѣкъ, который увѣровалъ въ непреложность исторической теоріи Маркса. Марксъ не скрываетъ тяжелыхъ и возмутительныхъ сторонъ процесса... Въ Европѣ значительная и тягчайшая часть этого процесса уже совершилась, но вѣдь мы въ иномъ совсѣмъ положеніи. Всѣ эти «калѣченія незрѣлыхъ и женскихъ организмовъ» и проч. намъ еще предстоятъ, и мы съ точки зрѣнія исторической теоріи Маркса не только не должны протестовать противъ этихъ калѣченій, что значило бы прать противъ рожна, но даже радоваться имъ, какъ необходимымъ, хотя и крутымъ ступенямъ, ведущимъ въ храмъ счастія. Трудно вмѣстить въ себѣ такое противорѣчіе, которое терзало бы душу русскаго ученика Маркса на каждомъ шагу въ томъ или другомъ частномъ положеніи. Ему предстоитъ развѣ роль наблюдателя, съ безпристрастіемъ Пимена заносящаго въ лѣтопись факты обоюдоостраго прогресса. Принимать же въ немъ активное участіе онъ не можетъ. Для мерзостной стороны процесса онъ совсѣмъ не годится, а всякая дѣятельность, соотвѣтствующая его нравственнымъ требованіямъ, только задержитъ, затянетъ процессъ. Идеалъ его, если онъ ученикъ Маркса, со-

стоитъ, между прочимъ, въ совпаденіи труда и собственности, въ принадлежности рабочему земли и средствъ производства. Но въ то же время, если онъ ученикъ Маркса со стороны философско-историческаго взгляда послѣдняго, онъ долженъ радоваться разлученію труда и собственности, расторженію связи между работникомъ и условіями производства, какъ первымъ шагомъ необходимаго и въ концѣ концовъ благодѣтельнаго процесса».

Съ тѣхъ поръ, какъ написаны были эти строки, прошло слишкомъ пятнадцать лѣтъ, и то, что мнѣ казалось такъ страннымъ и труднымъ,—объявилось: народились русскіе марксисты. Они, сколько я понимаю, могутъ быть раздѣлены на три разряда: марксистовъ зрителей, марксистовъ пассивныхъ и марксистовъ активныхъ. Кромѣ того, они, какъ мы видѣли, дѣлятся еще на настоящихъ и не настоящихъ, и такъ какъ я никого не желаю лично «оскорблять», то повторяю, что имѣю въ виду не настоящихъ. Всѣ они желаютъ идти «впередъ, подъ знаменемъ науки». Правда, ихъ научныхъ трудовъ мы еще не видали, по крайней мѣрѣ, въ такомъ количествѣ и такой цѣнности, чтобы могли сказать: да, вотъ она — наука! Въ ожиданіи будущаго, они, однако, подаютъ надежды и, будучи лишь привагъ-звонарями храма науки, имѣютъ аллюры настоящихъ жрецовъ. Они снисходительно или презрительно смотрятъ съ высоты своей колокольни на насъ, профановъ, ищущихъ отвѣтовъ на вопросы жизни въ ихъ плотью и кровью одѣтой формѣ, въ идеальной постановкѣ ихъ жгучей и сложной реальной дѣйствительности: изъ-за чего, дескать, бьются эти несвѣдущія и не понимающіе люди, когда истина давно открыта и находится у насъ въ карманѣ. И они съ любезною, и хорошо еще, если съ любезною, улыбкой вытаскиваютъ изъ кармана Марксову схему, тщательно переписанную изъ сочиненій самого Маркса или Энгельса, а, можетъ быть, изъ какой-нибудь соціалъ-демократической брошюры. Истина состоитъ въ томъ, что по имманентнымъ законамъ исторической необходимости, открытымъ теоріей экономическаго матеріализма, Россія разовьетъ свое капиталистическое производство, со всѣми его внутренними противорѣчіями, съ поѣданіемъ малыхъ капиталовъ крупными, а тѣмъ временемъ оторванный отъ земли мужикъ обратится въ пролетарія, объединится, «обобществится», и дѣло будетъ въ шляпѣ, которую только и останется надѣть на голову осчастливленному человѣчеству. Если собственно съ крупною промышлен-

ностью у насъ пока дѣло не ладится, и она не устаетъ требовать субсидій, гарантій и покровительственныхъ тарифовъ, то деревенскій кулакъ явно растетъ, и это очевидный шагъ въ томъ направленіи, котораго никто и ничто уже остановить не можетъ; такъ говоритъ наука, и намъ остается только сообразовать свое поведеніе съ ея истинами, совсѣмъ независимо отъ того, нравится ли намъ предстоящій ходъ вещей, или не нравится.

Какъ же сообразоваться? Оказывается, можно на три манера. Можно, во-первыхъ, обратиться просто въ зрителя, что я—могу, кажется, похвалиться — предвидѣлъ еще въ 1877 г. Представьте себѣ, что вы сидите въ партерѣ или въ удобной ложѣ и смотрите въ общихъ чертахъ уже знакомую вамъ пьесу; по крайней мѣрѣ, вы знаете ея завязку и развязку. Вы знаете, что въ послѣднемъ актѣ всѣ недоразумѣнія выяснятся, всѣ трагическіе моменты растворятся въ окончательномъ торжествѣ добродѣтели и наказаніи порока, и тогда вы смѣшаетесь съ толпой актеровъ, чтобы вмѣстѣ съ ними весело поужинать. Нѣкоторые моменты, когда, напримѣръ, театральный злодѣй убиваетъ театральную невинность или «благородный отецъ» терпитъ позоръ и униженіе, трогаютъ васъ, вамъ жаль невинности и благороднаго отца, но вы знаете, что по замыслу автору—вы его хорошо знаете—это не только не помѣшаетъ вполнѣ благополучному концу, но даже прямо ведетъ къ нему. Поэтому вы, какъ и слѣдуетъ благовоспитанному посѣтителю театровъ, не вмѣшаетесь въ дѣйствіе неумѣстнымъ крикомъ сочувствія или негодованія, не попытаетесь нелѣпой и неприличной выходкой оборвать представленіе, а терпѣливо дождетесь благополучнаго конца...—Этотъ способъ приспособленія къ жизни былъ бы безспорно очень комфортабеленъ, если бы онъ былъ вообще возможенъ. Но театральныхъ билетовъ даромъ не даютъ, за нихъ надо платить и, слѣдовательно, нужно такъ или иначе участвовать въ жизни.

Другой способъ можно назвать пассивнымъ марксизмомъ. Вѣруя и исповѣдуя непреложность абстрактной исторической схемы, марксисты этого разряда увѣрены въ повтореніи на русской почвѣ европейской исторіи, съ концентраціей капиталовъ и массой пролетаріата и съ тѣмъ дальнѣйшимъ теченіемъ дѣлъ, которое еще не наступило и въ Европѣ, котораго вообще міръ не видалъ, но увидитъ, по предсказанію Маркса. Но они знаютъ, что для этого Россіи придется пережить, въ придачу къ тѣмъ

бѣдамъ, которыя уже лежатъ въ прошломъ, отзываясь и на настоящемъ, еще рядъ новыхъ бѣдствій, хорошо описанныхъ тѣмъ же Марксомъ. Одинъ профессоръ высчиталъ, сколько должно быть обезземелено въ Россіи народа для его собственнаго впослѣдствіи благополучія, — выходитъ на первый разъ милліоновъ 20—25, меньше профессоръ не согласенъ (Скворцовъ. Экономическія причины голодовокъ въ Россіи). А вѣдь и это не мало. И если представить себѣ тотъ всероссійскій вой и стонъ, который поднимутъ эти милліоны голодныхъ и невѣжественныхъ людей, пока они приспособятся къ своему батрацкому или фабрично-рабочему положенію и «обобществляться», такъ и въ самыхъ мужественныхъ приватъ-звонаряхъ храма науки могутъ содрогнуться сердца. Они содрогаются, по крайней мѣрѣ, у пассивныхъ марксистовъ, что имъ дѣлаетъ честь, конечно. Поэтому они не хотятъ ни оставаться безучастными зрителями въ комфортабельной ложѣ, ни принимать активное участіе въ процессѣ образованія капитализма и пролетаріата. Они желаютъ только «облегчить муки родовъ», по выраженію Маркса, хотятъ только идти слѣдомъ за неизбѣжнымъ процессомъ и, не интересуясь народомъ, на землѣ сидящимъ и вообще владѣющимъ средствами производства, сосредоточиваютъ свое вниманіе и надежды на тѣхъ, которые историческимъ процессомъ уже отлучены отъ средствъ производства. Съ этической, а частью и съ чисто практической точки зрѣнія, противъ такого отношенія нельзя было бы ничего возразить, если бы не та якобы научная теоретическая подкладка экономическаго матеріализма, которая внушаетъ совершенно неосновательную самоувѣренность, и не та скользкость пути, которая легко можетъ свести пассивный марксизмъ къ активному.

Если читатель припомнитъ тѣхъ марксистовъ, которые, по словамъ «оскорбленнаго» мною марксиста же, протестовали противъ помощи голодающимъ крестьянамъ, потому что, дескать, это задерживаетъ процессъ развитія капиталистическаго производства и пролетаріата,—то получимъ образчикъ, и еще сравнительно умѣренный, активнаго марксизма. Еще одинъ марксистъ писалъ мнѣ, что я вижу въ нищетѣ бѣдствіе, тогда какъ оно есть вмѣстѣ съ тѣмъ и орудіе движенія Это замѣчаніе, по обыкновенію, взято у Маркса цѣликомъ. Но если читатель обратится къ самому Марксу, и именно къ стр. 121 нѣмецкаго

изданія его полемики съ Прудономъ («Das Elend der Philosophie»), то убѣдится, что слова эти никакъ не могутъ быть приложены къ нашимъ дѣламъ и что наша нищета есть исключительно только бѣдствіе. Но и помимо этого Марксъ, конечно, очень удивился бы и даже, вѣроятно, съ свойственною ему рѣзкою безцеремонностью обозвалъ бы очень нехорошимъ словомъ тѣхъ своихъ русскихъ почитателей, которые желаютъ плодить нищету. Да еще подъ знаменемъ науки! И во имя той же науки попираются «отцовскіе идеалы», «утопіи», какъ надменно говорятъ марксисты, вполнѣ увѣренные, что въ ихъ провидѣніяхъ будущаго нѣтъ ничего утопическаго, а все взвѣшено и смѣряно по предписаніямъ строгой науки.

Спрашивается, почему именно теперь эта странная наука получила такое распространеніе и побуждаетъ своихъ адептовъ такъ высоко держать свои головы, что до нихъ и саженью не достанешь, а они съ этой высоты могутъ съ спокойной совѣстью обрекать милліоны людей на голодную смерть и нищету? Въ 1877 году, когда нынѣшнимъ молодымъ людямъ, достигающимъ 35-лѣтняго возраста, было лѣтъ по двадцати, я высказалъ предположеніе о логической возможности русскихъ марксистовъ, проповѣдующихъ нищету, насаждающихъ пролетаріатъ и проч. Но это была для меня только логическая возможность, какъ критическій аргументъ противъ всеобщности и непререкаемости философско-историческихъ взглядовъ Маркса; фактически же мнѣ казалось невозможнымъ такое извращеніе мысли и чувства. А между тѣмъ, вотъ оно... Надо замѣтить, что основы экономическаго матеріализма не составляютъ въ нашей литературѣ какой-нибудь новости. Онѣ доходили до насъ еще въ 30-хъ, 40-хъ годахъ изъ Франціи, отъ Фурье, потомъ Луи Блана, а въ 60-хъ годахъ онѣ излагались и въ нашей литературѣ; не въ формѣ, правда, нынѣшняго нѣмецкаго экономическаго матеріализма, а въ формѣ болѣе общей мысли о зависимости политической и вообще духовной жизни отъ экономическихъ условій. Знали мы и о классовой борьбѣ буржуазіи съ феодальнымъ строемъ, и пролетаріата съ буржуазіей. Но никому не приходило въ голову насаждать пролетаріатъ, и выводы изъ основныхъ положеній экомическаго матеріализма въ его французской формѣ дѣлались совсѣмъ иные. Были, правда, съ другой стороны, и разговоры о необходимости класса «свободныхъ отъ земли» рабочихъ и тоже

съ ссылкою на науку, но именно на ту науку, которую марксисты считаютъ фальсификаціей въ угоду господствующимъ классамъ и которая вовсе не предвидитъ торжества пролетаріата. Что же такое случилось?

Случилось многое, конечно, и марксисты скажутъ, что все дѣло въ зарожденіи новыхъ условій производства и обмѣна, выразителями которыхъ они и являются, а такъ какъ Марксъ уже сдѣлалъ эту работу, то имъ остается только повторять его. Но въ этомъ то, мнѣ кажется, и заключается недоразумѣніе. Если мы допустимъ даже, что экономическій матеріализмъ Маркса со всѣми вытекающими изъ него выводами относительно прошедшаго и будущаго есть несомнѣнная научная истина (а это вовсе не доказано), то вѣдь Марксъ оперировалъ надъ готовымъ пролетаріатомъ и готовымъ капитализмомъ, а намъ надо еще создавать ихъ. И если намъ суждено самою историческою необходимостью пережить эту сторону европейской жизни, то, не безпокойтесь, она найдетъ для себя болѣе подходящихъ выразителей, чѣмъ марксисты. По крайней мѣрѣ, имъ надо бы какъ нибудь иначе называться. Что же касается тѣхъ, которые, такъ себя называя, озабочиваются распространеніемъ пролетаріата и насажденіемъ капитализма, то причина ихъ появленія, я думаю, гораздо проще, чѣмъ запросъ исторической необходимости на выразителей для новыхъ формъ производства и обмѣна. Ни для кого не тайна и никто не оспариваетъ, что за послѣднее время уровень нашей умственной и вообще духовной жизни сильно понизился. Понизился уровень знаній, критической мысли, энергіи, воспріимчивости, потускли идеалы, выступили разочарованія. Образовалась нѣкоторая пустота, въ которой иные превосходно устроились: кто, не мудрствуя лукаво, въ винтъ засѣлъ, а кто метафизикой и мистицизмомъ занялся, кто чистымъ искусствомъ, кто чистой наукой, изыскивая для пикантной приправы что нибудь «новое», но такъ какъ не всѣ и старое хорошо знали, а новое не всякому дано открыть, то и выходило разное несообразное; есть, однако, и такіе, которыхъ точитъ червь жизни, которые ищутъ дѣла, при томъ вполнѣ достовѣрнаго, безошибочнаго. И вотъ, въ эту пустоту вторгается нѣмецкая марксистская литература: ясно, просто, логично, въ четверть часа можно цѣлую философію исторіи усвоить съ гарантированною научностью. При томъ для всѣхъ удобно: кто не хочетъ думать, для того ужъ все удумано, все разжевано и

все въ ротъ положено, остается только проглотить; кто не хочетъ ничего дѣлать, по какой бы то ни было причинѣ, за того историческая необходимость все сдѣлаетъ; кто хочетъ вполнѣ безошибочнаго, не допускающаго разочарованія дѣла, — того удостовѣряютъ, что теперь всякимъ утопіямъ уже навѣрно конецъ пришелъ; кого смущаютъ «бѣдность и несовершенства жизни», тотъ узнаетъ, что все это на пользу человѣчества и даже именно народа, того самаго, который нищенствуетъ и голодаетъ; кому нужно непремѣнно новое слово — вотъ оно, еще пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ сказано. Какъ ни соблазнительно все это, но въ иное время, при иныхъ условіяхъ, марксистская литература не производила бы у насъ такой смуты. Уже одно непосредственное чувство жалости къ гибнувшимъ и страдающимъ, заглохшее нынѣ въ нашей пустынѣ, сумѣло бы потребовать болѣе точнаго отчета отъ этой науки, умѣщающейся чуть не въ карманномъ словарѣ, никогда себя не провѣрившей и, однако, надменно распоряжающейся жизнью и смертью людей...

IX *).

Гегелизмъ и гальванизмъ.—О діалектическомъ развитіи и тройственныхъ формулахъ прогресса.

Г. Буренинъ въ «Новомъ Времени» замѣтилъ, что я въ прошлый разъ удѣлилъ слишкомъ много мѣста нашимъ псевдо-или нео-марксистамъ, потому что это вопросъ кружковый и не представляющій общаго интереса. То же самое кое-кто говорилъ мнѣ и лично. Я и самъ, если и не могу считать вопросъ о русскомъ марксизмѣ «кружковымъ», долженъ всетаки признать, что есть много предметовъ, представляющихъ для большинства читателей гораздо болѣе близкій и живой интересъ. Возможно, что во многихъ, даже не особенно захолустныхъ мѣстахъ нашего обширнаго отечества, кое-кто изъ читателей впервые услыхалъ о существованіи русскаго марксизма. Возможно также, что этотъ русскій марксизмъ, по крайней мѣрѣ, въ теперешнихъ своихъ формахъ, въ самомъ непродолжительномъ времени уступитъ мѣсто другимъ, надѣюсь, болѣе здоровымъ теченіямъ. Это такъ. Съ другой стороны, однако, если русскій марксизмъ не представленъ или

*) 1894, февраль.

почти не представленъ въ литературѣ, то это еще не есть признакъ такой малой его распространенности, чтобы онъ не заслуживалъ вниманія. Въ этомъ отношеніи мы поневолѣ предоставлены частнымъ свѣдѣніямъ, перепискѣ, устнымъ бесѣдамъ, при чемъ легко впасть въ преувеличеніе или, напротивъ, преуменьшеніе значенія фактовъ. А въ такомъ дѣлѣ лучше пересолить, чѣмъ не досолить. Поэтому я и еще разъ позволю себѣ остановиться на марксизмѣ, на тѣхъ именно его сторонахъ, которыхъ мнѣ не пришлось коснуться въ прошлый разъ. Боюсь, по нѣкоторымъ соображеніямъ, что и сегодняшней бесѣдой не придется ограничиться, но тамъ видно будетъ... Другія явленія литературы и жизни, интересующія, можетъ быть, гораздо большій кругъ читалей, не уйдутъ отъ насъ въ свое время. А пока, дѣлать нечего, поскучаемъ, въ интересахъ хотя бы и сравнительно небольшого контингента читателей, но по многимъ обстоятельствамъ заслуживающаго особеннаго вниманія. Что выйдетъ изъ теперешнихъ нашихъ марксистовъ — неизвѣстно, но они во всякомъ случаѣ составляютъ часть нашихъ преемниковъ на житейскомъ поприщѣ.

До какой степени, если не широко распространенъ, то горячъ интересъ къ вопросамъ, затронутымъ въ прошлой бесѣдѣ, объ этомъ я могу судить по письмамъ, которыя продолжаю получать. Благодарю сочувствующихъ и радъ бы удовлетворить протестующихъ. Къ сожалѣнію, протестующіе, вѣроятно, не совсѣмъ внимательно читаютъ то, противъ чего они протестуютъ. Пока получаемыя мною письма только подтверждаютъ, что есть «не настоящіе» марксисты, называющіе, однако, себя настоящими и призванными говорить отъ лица марксистовъ вообще. Я думаю, это ужъ ихъ дѣло разобраться промежъ себя, а мнѣ они должны быть только благодарны за доставленіе матеріаловъ для такой разборки. Затѣмъ я продолжаю, на основаніи писемъ, убѣждаться, что мое дѣленіе русскихъ марксистовъ на три группы вѣрно. Съ марксистами-зрителями и марксистами активными мнѣ, сегодня по крайней мѣрѣ, разговаривать нечего. Что же касается пассивныхъ марксистовъ, то я прошу ихъ внимательнѣе прочитать то, что объ нихъ было сказано.

«Они не хотятъ ни оставаться безучастными зрителями въ комфортабельной ложѣ, ни принимать активное участіе въ процессѣ образованія капитализма и пролетаріата. Они желаютъ

только «облегчить муки родовъ», по выраженію Маркса, только идти слѣдомъ за неизбѣжнымъ процессомъ и, не интересуясь народомъ, на землѣ сидящимъ и вообще владѣющимъ средствами производства, сосредоточиваютъ свое вниманіе и надежды на тѣхъ, которые историческимъ процессомъ уже отлучены отъ средствъ производства. — Съ этической, а частью и съ чисто практической точки зрѣнія, противъ такого отношенія нельзя было бы ничего возразить, если бы не та якобы научная теоретическая подкладка экономическаго матеріализма, которая внушаетъ совершенно неосновательную самоувѣренность, и не та скользкость пути, которая легко можетъ свести пассивный марксизмъ къ активному».

Вѣрны или не вѣрны мои собственныя соображенія, заключающіяся въ послѣднихъ строкахъ, но что касается самой позиціи, занимаемой этимъ разрядомъ русскихъ марксистовъ, то нѣкоторые корреспонденты пишутъ мнѣ почти буквально то же самое, только въ видѣ протеста и возраженія. Зачѣмъ же они протестуютъ и противъ чего возражаютъ?

Историческая схема Маркса выражена въ «Капиталѣ», между прочимъ, и въ терминахъ гегеліанской діалектики: капиталистическій строй есть «отрицаніе» феодальнаго, а затѣмъ должно наступить «отрицаніе отрицанія» и примиреніе противорѣчій между двумя предыдущими историческими фазами. Такова общая формула Гегеля, знаменитая тріада: положеніе, отрицаніе и синтезъ, при чемъ послѣдній представляетъ собою возвращеніе къ первоначальной стадіи развитія, но обогащенное всѣмъ, что пріобрѣтено на второй ступени, ступени отрицанія. Въ полемикѣ съ Дюрингомъ, Энгельсъ горячо стоитъ за эту тріаду, утверждая, что этимъ именно послѣдовательно-тройственнымъ путемъ идетъ всякое развитіе, всякая жизнь, всякая мысль, всѣ процессы природы, исторіи и человѣческаго мышленія. Такъ всегда было, такъ и будетъ. Гегель далъ только формулу вѣковѣчнаго и всеобщаго процесса. Абсолютный идеализмъ Гегеля Марксъ и Энгельсъ вытѣсняютъ чистымъ матеріализмомъ, но затѣмъ, оставаясь при гегелевской діалектикѣ, утверждаютъ, что всякая вещь заключаетъ въ себѣ противорѣчіе, которое вскрывается, а затѣмъ разрѣшается означеннымъ тройственно-послѣдовательнымъ путемъ.

Энгельсъ усвоиваетъ Гегелю, кромѣ формулировки діалектическаго процесса, еще ту, болѣе общую заслугу, что онъ, дескать. первый всѣ процессы природы и исторіи представилъ, какъ процессъ развитія. Первый ли онъ это сдѣлалъ, можно спорить, но во всякомъ случаѣ не послѣдній, и нынѣшнія теоріи развитія—эволюціонизмъ Спенсера, дарвинизмъ, идеи развитія въ психологіи, физикѣ, геологіи и т. д.—не имѣютъ ничего общаго съ гегельянствомъ. Энгельсъ говоритъ, что всегда люди разсуждали по Гегелю, все равно, какъ всегда говорили прозой, а только не знали, что это называется прозой. Можетъ быть, но въ такомъ случаѣ теперь люди науки опять забыли слово «проза», потому что никто изъ нихъ не употребляетъ терминологіи Гегеля и не старается расположить свой матеріалъ или свои выводы по тремъ діалектическимъ ступенямъ. Это, впрочемъ, мимоходомъ. Любопытно вотъ что. По воззрѣнію экономическаго матеріализма, вся наша умственная жизнь составляетъ «надстройку» на экономическомъ фундаментѣ и состоитъ въ зависимости отъ формъ производства и обмѣна, вся, за исключеніемъ, однако, гегеліанской діалектики, которая всегда себѣ равна и всегда истинна при всѣхъ формахъ производства, потому что соотвѣтствуетъ самой природѣ вещей и основнымъ, постояннымъ свойствамъ человѣческаго мышленія. Пусть такъ. Но, можетъ быть, та особенная форма, въ которую облекъ діалектическій процессъ Гегель, самый, наконецъ, фактъ формулировки, именно имъ, именно въ началѣ XIX вѣка, именно въ такихъ-то терминахъ — находится въ зависимости отъ опредѣленныхъ условій времени. Это, конечно, несомнѣнно, хотя бы уже потому, что Гегель былъ и нѣтъ его, гегеліанская діалектика гремѣла на весь міръ и нынѣ не поминается людьми науки: Марксъ былъ послѣдній крупный, самостоятельный умъ, получившій свой толчокъ отсюда. Да и то, онъ до такой степени наполнилъ пустую діалектическую схему фактическимъ содержаніемъ, что ее можно снять съ этого содержанія, какъ крышку съ чашки, ничего не измѣнивъ, ничего не повредивъ, за исключеніемъ одного только пункта, правда, огромной важности. А именно, относительно будущаго «имманентные» законы общества поставлены исключительно діалектически. Для правовѣрнаго гегельянца достаточно сказать, что за «отрицаніемъ» должно слѣдовать «отрицаніе отрицанія»; но непричастные къ гегелевской мудрости не могутъ этимъ довольствоваться, для нихъ діалектическій выводъ

не есть доказательство, и повѣрившій ему не-гегельянецъ долженъ знать, что онъ именно только повѣрилъ, а не убѣдился. Какъ бы то ни было, если исторія философіи, написанная съ точки зрѣнія экономическаго матеріализма, представляла бы огромный интересъ вообще, то, можетъ быть, самымъ интереснымъ моментомъ ея было бы установленіе болѣе или менѣе прямой связи между гегельянствомъ и современными ему формами производства и обмѣна. Въ ожиданіи такого труда, ничто не мѣшаетъ намъ искать объясненія происхожденія гегельянства въ иныхъ сферахъ.

Въ № 3 «Научнаго Обозрѣнія» напечатана любопытная статья г. Филиппова «Гальванизмъ и гегелизмъ» съ подзаглавіемъ «изъ исторіи заблужденій». Основана она на статьѣ американца Фрезера, который, въ качествѣ американца, позволяетъ себѣ относиться къ нѣкоторымъ явленіямъ жизни въ нашемъ старомъ свѣтѣ съ неожиданной точки зрѣнія. Подобныя неожиданности, даже при нѣкоторой односторонности, дѣйствуютъ иногда освѣжающимъ образомъ.

Бываютъ, однако, неожиданности, пожалуй, уже слишкомъ взбадривающія современниковъ, ослѣпляющія ихъ своимъ блескомъ и налагающія свою печать на отдаленнѣйшія сферы жизни и мысли, гдѣ ихъ вліянію совсѣмъ даже не мѣсто. Таковы были неожиданныя открытія Гальвани и Вольта въ 90-хъ годахъ прошлаго вѣка. По словамъ Фрезера (или г. Филиппова), «то вниманіе, которое въ наше время оказывается гипнотизму и другимъ мало изученнымъ явленіямъ, не можетъ сравниться съ впечатлѣніемъ, произведеннымъ опытами Гальвани и Вольта».

Не мѣшаетъ вспомнить ту маленькую случайность, съ которой началась исторія гальванизма. Врачъ и физикъ Гальвани варилъ для своей больной жены похлебку изъ лягушекъ; на столѣ, подлѣ электрической машины, лежало нѣсколько ободранныхъ лягушечьихъ ножекъ; помощникъ Гальвани нечаянно дотронулся ножомъ до одной изъ ножекъ, которая стала вздрагивать; больная жена Гальвани замѣтила, что какъ разъ въ это время вылетѣла изъ электрической машины искра; Гальвани заинтересовался этимъ явленіемъ и сталъ дѣлать опыты. Намъ незачѣмъ разсказывать дальнѣйшую исторію гальванизма. Достаточно отмѣтить, что умы и воображенія современниковъ были въ особенности поражены той связью, которая, повидимому, устанавливалась опытами Гальвани и Вольта между электрическими

явленіями и явленіями жизни. Если въ ободранной лягушечьей лапкѣ появляются подъ вліяніемъ электрическаго тока, казалось, очевидные признаки жизни, то отчего бы не попробовать оживлять обезглавленные трупы? Такіе опыты и дѣлались. Наполеонъ, осыпавшій Вольта почестями и милостями, назначалъ преміи за изслѣдованія по гальванизму и съ свойственною ему рѣшительностью говорилъ: «Позвоночный столбъ есть Вольтовъ столбъ, печень — отрицательный полюсъ, мочевой пузырь — положительный». Неизвѣстно, съ какой миной выслушивалъ этотъ смѣлый вздоръ врачъ Корвизаръ, котораго поучалъ Наполеонъ. Весьма возможно, что онъ только спеціально на счетъ роли печени и мочеваго пузыря сомнѣвался, въ общемъ же раздѣлялъ взглядъ своего царственнаго паціента. Іенскій профессоръ Ризеръ училъ, что «полярность есть основа всѣхъ вещей, такъ какъ жизнь есть колебаніе между положительнымъ и отрицательнымъ полюсами». Бернскій профессоръ Трокслеръ былъ того мнѣнія, что всѣ жизненные процессы находятся въ полярномъ соотношеніи между собою. Шеллингъ и особенно многіе врачи, бывшіе его учениками, довели ученіе о полярности до послѣдней крайности. Все полярно: мужчина — женщина, раздражительность — чувствительность, субъектъ — объектъ, электричество—магнитизмъ, кислородъ—водородъ, кислота — щелочь. Среди серьезнѣйшихъ ученыхъ, поддавшихся этому полярному миѳу, Фрезеръ указываетъ на Пфаффа, Гумбольдта, Риттера, Прохаску, Тревирануса и Бишофа. Явленія животнаго магнитизма, по теперешнему гипнотизма, объяснялись отталкиваніемъ одноименныхъ полюсовъ магнитизера и паціента. И т. д.

Этому теченію поддался и Гегель. Для него «все сущее въ природѣ есть продуктъ соединенія полярностей, всякій элементъ природы имѣетъ свой обратный полюсъ, свое собственное другое «я». Духъ и природа, субъектъ и объектъ, я и не я, мысль и чувство, активное и пассивное, удовольствіе и страданіе, анархія и деспотизмъ—вездѣ и во всемъ полярность, являющаяся основою знанія, науки, соціальнаго строя, самой религіи въ полярномъ отношеніи между Отцомъ и Сыномъ и синтезѣ помощью Св. Духа. Таковъ истинный источникъ пресловутаго «діалектическаго метода», въ которомъ противоположность превращается въ логическое противорѣчіе, родъ логической полярности... Вліяніе теоріи гальванизма на ученіе Гегеля прежде всего обнаруживается въ самой

терминологіи. Бытіе есть нѣчто положительное; небытіе или ничто есть нѣчто отрицательное, но тѣмъ не менѣе существующее; результатъ имѣетъ нейтральный характеръ, характеръ возникновенія. Затѣмъ опять начинается тотъ же процессъ. Возникновеніе (Werden) имѣетъ свою положительную сторону—«непосредственность». Діалектическій процессъ начинается съ положительнаго «нѣчто»; отрицаніемъ является «иное», въ результатѣ оказывается нейтральное «бытіе для себя». Это развитіе продолжается до безконечности... Насколько ученіе Гегеля, отчасти безсознательно для него самого, подчинилось вліянію господствовавшихъ въ его время физическихъ теорій, ясно, напр., изъ того, что онъ самъ сопоставляетъ противорѣчіе съ полярностью, не для простого поясненія, но въ видѣ *философскаго опредѣленія* (см. его Логику)... «Въ новѣйшей физической наукѣ, говоритъ Гегель, противорѣчіе, первоначально замѣченное въ магнитизмѣ въ видѣ полярности, стало разсматриваться, какъ общій законъ природы». Оставался еще одинъ шагъ—сдѣлать полярность основнымъ закономъ духа: этотъ шагъ или, точнѣе, скачокъ и былъ сдѣланъ системою Гегеля... Аналогіи съ магнитомъ встрѣчаются у Гегеля на каждомъ шагу. Всѣ соотносительныя понятія надѣляются магнитными силами, полюсами и индифферентной точкой... Для Гегеля магнитъ важенъ потому, что имѣетъ два полюса. Индифферентный пунктъ важенъ лишь какъ пунктъ сочетанія противоположныхъ силъ. Что синтезъ Гегеля составляетъ прямой плагіатъ изъ теоріи гальванизма, ясно изъ его собственной «натурфилософіи», въ которой Гегель, выдавая свой секретъ, называетъ ученіе объ электричествѣ и химіи діалектическими науками, т. е., идя обратнымъ путемъ, желаетъ навязать электричеству діалектическія свойства».

Г. Филипповъ справедливо замѣчаетъ, что Фрезеръ хватаетъ черезъ край, сводя всю философію Гегеля къ «гальваническому мистицизму», овладѣвшему въ началѣ нашего вѣка не только фантастическими, но и серьезными и высокопросвѣщенными умами подъ вліяніемъ первыхъ, ложно истолкованныхъ опытовъ Гальвани. Достаточно вспомнить преемственный ходъ и вліяніе предыдущей метафизики, начиная съ древнихъ, съ Гераклита. Тѣмъ не менѣе указанія Фрезера въ высшей степени интересны и, несомнѣнно, заключая въ себѣ значительную долю истины, напоминаютъ намъ крайнюю сложность общественной жизни, которую представители экономическаго матеріализма пытаются разложить

на экономическій фундаментъ и «надстройку», совмѣщающую въ себѣ все остальное. Какая, въ самомъ дѣлѣ, пестрая, запутанная страница исторіи развертывается передъ нами! Въ эпоху восхожденія звѣзды корсиканскаго «сына судьбы» болонскій профессоръ Гальвани варитъ больной женѣ лягушечій супъ и случайно натыкается при этомъ на открытіе чрезвычайной важности. Вскорѣ послѣ этого онъ отказывается присягать основанной корсиканскимъ сыномъ судьбы Цизальпинской республикѣ, лишается мѣста и хлѣба и почти буквально съ голоду умираетъ. Профессоръ въ Павіи, Вольтъ, повторяетъ опыты Гальвани, вводитъ въ нихъ существенныя поправки, заинтересовываетъ фантастическій умъ корсиканскаго сына судьбы, и умираетъ сенаторомъ, графомъ и богатымъ человѣкомъ. Гальванизмъ расширяетъ наши понятія о природѣ и отзывается впослѣдствіи въ промышленной области. Опыты гальванизма производятъ впечатлѣніе на всѣхъ мыслящихъ людей Европы, въ томъ числѣ и на молодого тогда нѣмецкаго философа Гегеля. Гегель создаетъ колоссальную метафизическую систему, гремящую на весь міръ, такъ что отъ нея нѣтъ проходу даже на берегахъ Москвы-рѣки, гдѣ и устныя бесѣды, и частная переписка переполняются тезисами и антитезисами, Sein, Andersein и An-und für sich sein, «бытіе и небытіе тождественны», «все истинное въ идеѣ, истинно и объективно», «все дѣйствительное разумно» и т. д. Гегеліанство дифференцируется: на правомъ своемъ крылѣ оно создаетъ абсолютный идеализмъ и консервативнѣйшее политическое ученіе, на лѣвомъ—чистый матеріализмъ и радикальныя политическія и соціальныя доктрины; здѣсь же получаетъ свое начало и экономическій матеріализмъ...

Изъ этой пестроты и запутанности не слѣдуетъ, конечно, чтобы въ исторіи царила безпричинная случайность. Но она, очевидно, слишкомъ сложна и разностороння, чтобы ее можно было построить на какомъ бы то ни было одноцвѣтномъ фундаментѣ. А затѣмъ въ ней всегда возможны не только маленькія, а и весьма крупныя неожиданности, не безпричинныя, конечно—потому, что ничего безпричиннаго нѣтъ и быть не можетъ,—но причины которыхъ ускользаютъ отъ нашего вниманія и даже пониманія, слѣдствія своими размѣрами далеко превосходятъ первоначальную вѣроятность. Это не мѣшаетъ намъ въ пестромъ сплетеніи историческихъ событій искать руководящаго начала, такого общаго принципа, слѣдя за которымъ, мы можемъ обнять глазомъ

и объяснить возможно большее число фактовъ. Но это есть дѣло удобства изслѣдованія, а не познанія какой бы то ни было сущности историческаго хода вещей. Сущность эта, неуловимая вообще, не уловлена, конечно, и доктриной экономическаго матеріализма, хотя она опирается, повидимому, на два устоя: на открытіе всеопредѣляющаго значенія формъ производства и обмѣна и на непререкаемость діалектическаго процесса. О первомъ устоѣ мы уже говорили въ прошлый разъ. Посмотримъ теперь нѣсколько ближе на второй и постараемся сдѣлать это такъ, чтобы быть понятными для людей, совершенно не посвященныхъ въ тайны «философскаго колпака Егора Ѳедоровича», какъ непочтительно выражался Бѣлинскій, поднявъ знамя возстанія противъ Гегеля. Для этого возьмемъ два типичныхъ примѣра изъ тѣхъ, которые Энгельсъ приводитъ въ поученіе Дюрингу въ упомянутой уже въ прошлый разъ книгѣ «Herrn Dührings Umwälzung der Wissenschaft».

Зерно овса попадаетъ въ благопріятныя условія: оно пускаетъ ростокъ и тѣмъ самымъ *какъ таковое*, какъ зерно, *отрицается*; на его мѣстѣ возникаетъ стебель, который есть *отрицаніе* зерна; растеніе развивается, приноситъ плоды, то есть новыя зерна овса, и когда эти зерна созрѣваютъ,—стебель погибаетъ; онъ, *отрицаніе* зерна, самъ *отрицается*. И затѣмъ тотъ же процессъ «отрицанія» и «отрицанія отрицанія» повторяется безчисленное число разъ. Въ основаніи этого процесса лежитъ *противорѣчіе*: зерно овса есть зерно и въ то же время *не* зерно, такъ какъ всегда находится въ дѣйствительномъ или возможномъ развитіи. Читатель понимаетъ, что подобныхъ примѣровъ можно привести безчисленное множество. Обратимся въ другую область,—къ ученію Руссо. По Руссо, люди въ естественномъ состояніи и дикости были равны равенствомъ животныхъ. Но человѣкъ отличается способностью къ совершенствованію и это совершенствованіе началось возникновеніемъ неравенства; а затѣмъ каждый дальнѣйшій шагъ цивилизаціи былъ противорѣчивъ: «повидимому, это были шаги къ усовершенствованію отдѣльнаго человѣка, въ дѣйствительности же они вели къ упадку человѣческаго рода... Металлургія и земледѣліе, вотъ два искусства, открытіе которыхъ произвело великую революцію. Съ точки зрѣнія поэта золото и серебро, а съ точки зрѣнія философа желѣзо и хлѣбъ цивилизовали людей, и погубили человѣческій родъ». Неравенство продолжаетъ развиваться и, достигнувъ своего апогея, обращается въ восточныхъ

деспотіяхъ опять во всеобщее равенство всеобщаго ничтожества, то есть возвращается къ своей исходной точкѣ, а затѣмъ дальнѣйшій процессъ такимъ же порядкомъ приводитъ къ равенству общественнаго договора.—Можно было-бы кое-что замѣтить по поводу изложенія Энгельса, но намъ важно только знать, что именно въ трактатѣ Руссо («Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes») цѣнится Энгельсомъ. Онъ не касается вопроса о томъ, вѣрно или не вѣрно понимаетъ Руссо ходъ исторіи, онъ интересуется только тѣмъ, что Руссо «мыслитъ діалектически»: усматриваетъ *противорѣчіе* въ самомъ содержаніи прогресса и располагаетъ свое изложеніе такъ, что его можно подогнать подъ гегеліанскую формулу *отрицанія* и *отрицанія отрицанія*. И дѣйствительно можно, хотя Руссо и не зналъ гегеліанской діалектической формулы.

Такимъ образомъ, и зерно овса растетъ, такъ сказать по Гегелю, и Руссо мыслитъ по Гегелю, который открылъ всеобщій законъ природы, исторіи и мышленія. Въ самомъ дѣлѣ, примѣровъ очевидной примѣнимости гегелевской діалектики можно привести чрезвычайно много; такъ много, что люди, совсѣмъ не склонные къ метафизикѣ вообще и къ гегеліанству въ особенности, выражаютъ иногда удивленіе передъ этой загадкой: человѣкъ, строившій систему изъ глубины собственнаго духа, помимо опыта и наблюденія, нашелъ всеобщій законъ развитія, всѣмъ законамъ законъ, покрывающій рѣшительно всѣ данныя опыта и наблюденія! Кто вѣритъ въ возможность построенія философской системы изъ глубины собственнаго духа, для тѣхъ тутъ, конечно, нѣтъ ничего удивительнаго. Но и тѣмъ, кто знаетъ, что нѣтъ идей, независимыхъ отъ опыта и наблюденія, данныя которыхъ воспринимаются не только сознательно, а и безсознательно, слѣдовало бы, по крайней мѣрѣ, прежде, чѣмъ удивляться обобщенію Гегеля, или, пожалуй, достаточно надивившись ему, остановиться на вопросѣ: какія именно данныя опыта и наблюденія легли въ его основаніе? Можетъ быть, рѣшивъ этотъ вопросъ, мы нѣсколько приподнимемъ завѣсу таинственности съ Гегелевой тріады, хотя бы уже тѣмъ, что замѣнимъ ея условную терминологію какой нибудь другой. Имя вещи не мѣняетъ, но очень часто маскируетъ ее.

Не будемъ распространяться о весьма вѣроятной, хотя и преувеличенной догадкѣ Фрезера насчетъ «гальванизма и геге-

лизма». Возьмемъ два вышеприведенные типическіе примѣра, какъ они есть.

Зерно овса есть вмѣстѣ съ тѣмъ и не зерно, потому что, при нормальныхъ условіяхъ, находится въ процессѣ постояннаго развитія, которое ведетъ къ разрушенію (отрицанію) зерна стеблемъ, а затѣмъ разрушается (отрицается) и стебель, когда созрѣваютъ новыя зерна, и процессъ приходитъ къ своей исходной точкѣ въ обновленномъ и, такъ сказать, обогащенномъ видѣ: вмѣсто одного зерна мы имѣемъ цѣлый колосъ, каждое изъ зеренъ котораго опять продѣлываетъ то же самое съ начала. Первая ступень, ступень зерна, есть тезисъ, положеніе; вторая, вплоть до образованія новыхъ зеренъ, есть антитезисъ, противоположеніе; третья есть синтезисъ или примиреніе; все вмѣстѣ составляетъ тріаду или трихотомію. И такова судьба всего живущаго: оно возникаетъ, развивается и даетъ начало своему повторенію, послѣ чего умираетъ. Громадная масса единичныхъ проявленій этого процесса тотчасъ же, конечно, встаетъ въ памяти читателя, и законъ Гегеля оказывается оправданнымъ на всемъ органическомъ мірѣ (мы теперь дальше не идемъ). Если, однако, мы вглядимся въ нашъ примѣръ нѣсколько ближе, то увидимъ крайнюю поверхность и произвольность нашего обобщенія. Мы взяли зерно, стебель и опять зерно или, вѣрнѣе, группу зеренъ. Но вѣдь прежде, чѣмъ приносить плодъ, растеніе цвѣтетъ. Когда мы говоримъ объ овсѣ или другомъ злакѣ, имѣющемъ хозяйственное значеніе, мы можемъ имѣть въ виду зерно посѣянное, солому и зерно собранное, но этими тремя моментами считать и жизнь растенія исчерпанною—не имѣемъ никакого резона. Въ жизни растенія моментъ цвѣтенія сопровождается чрезвычайнымъ и своеобразнымъ напряженіемъ силъ, а такъ какъ цвѣтокъ не непосредственно изъ зерна возникаетъ, то, придерживаясь даже терминологіи Гегеля, мы получаемъ не трихотомію, а, по крайней мѣрѣ, тетрахотомію, четвертное дѣленіе: стебель отрицаетъ зерно, цвѣтокъ отрицаетъ стебель, плодъ отрицаетъ цвѣтокъ. Пропускъ момента цвѣтенія имѣетъ важное значеніе еще вотъ въ какомъ отношеніи. Во времена Гегеля, можетъ быть, и позволительно было брать зерно за исходный пунктъ жизни растенія, а съ хозяйственной точки зрѣнія позволительно, пожалуй, это и теперь дѣлать: хозяйственный годъ начинается посѣвомъ зерна. Но жизнь растенія не съ зерна начинается. Мы

теперь очень хорошо знаемъ, что зерно есть нѣчто очень сложное по строенію и само составляетъ продуктъ развитія клѣточки, и что нужныя для размноженія клѣточки образуются именно въ моментъ цвѣтенія. Такимъ образомъ, въ примѣрѣ жизни растенія и исходный пунктъ взятъ произвольно и не вѣрно, и весь процессъ искусственно и опять таки произвольно втиснутъ въ рамки трихотоміи. Дѣло станетъ еще яснѣе, если мы обратимся въ другія области органической жизни. Бабочка кладетъ яйца, изъ которыхъ выходятъ личинки, личинки превращаются въ куколки, изъ куколки выходитъ бабочка, которая опять кладетъ яйца, и т. д. Чтобы вогнать этотъ процессъ въ трехчленную формулу діалектическаго развитія, надо состоянія личинки и куколки обнять однимъ общимъ понятіемъ «превращенія», что и дѣлается. И выходитъ, что бабочка развивается изъ яйца отрицаніемъ его, затѣмъ совершаетъ надлежащія превращенія и сама отрицается, умираетъ, положивъ вновь яйца. Одинъ изъ моментовъ развитія опять скрадывается въ угоду тріадѣ. Такое скрадываніе, неосновательное и само по себѣ, оказывается особенно грубою натяжкою съ тѣхъ, довольно уже давнихъ поръ, какъ мы познакомились съ явленіями такъ называемаго чередованія поколѣній, при которомъ перемежаются половое и безполовое размноженія. Неудивительно поэтому, что люди науки—въ данномъ случаѣ ботаники, зоологи, физіологи, біологи—не руководствуются въ своихъ работахъ гегелевской діалектикой. Да и намъ, профанамъ, пора бы перестать вѣрить, что овесъ растетъ по Гегелю, пора перестать удивляться всеприложимости его формулы, ибо она прежде всего не всеприложима. Въ основаніе ея, по крайней мѣрѣ, что касается органической жизни, очевидно легли крайне грубыя и поверхностныя наблюденія. Современная біологія поддерживаетъ знаменитую тріаду развѣ лишь въ томъ слишкомъ уже общемъ смыслѣ, что все живущее родится, развивается и умираетъ, оставляя подобное себѣ потомство. Процессъ жизни представляетъ собою длинный рядъ измѣненій, изъ которыхъ каждое можно, если угодно, назвать отрицаніемъ предыдущаго состоянія. Но отъ такого переименованія «измѣненія» въ «отрицаніе» мы рѣшительно ничего не выигрываемъ. Гегеліанская же доктрина выигрываетъ лишь въ томъ случаѣ, если будетъ доказано, что за первымъ шагомъ отрицанія идетъ второй и уже окончательный шагъ «отрицанія отрицанія», представляющій собою

третій (начиная съ «положенія», тезиса) и послѣдній моментъ развитія. Въ сферѣ отвлеченныхъ логическихъ категорій, гдѣ можно съ успѣхомъ доказывать, напримѣръ, что «ничто» или «небытіе» существуетъ, а «бытіе» не существуетъ и что бытіе и не-бытіе тождественны, въ этой сферѣ все идетъ въ своемъ родѣ гладко, хотя и передъ этой гладкостью можно иногда только руками развести. Во всякомъ случаѣ, тутъ у метафизики своя рука владыка. Но когда эта рука распростирается на опредѣленныя явленія природы, исторіи и мысли, то мы ясно видимъ рядъ натяжекъ. Два условія особенно способствуютъ кажущемуся соотвѣтствію этихъ натяжекъ съ дѣйствительнымъ ходомъ вещей. Во-первыхъ, всякая классификація извѣстнаго рода явленій въ послѣдовательныя (или одновременныя) группы болѣе или менѣе искусственна, именно потому, что процессъ измѣненій или «отрицаній» непрерывенъ. Поэтому стоитъ только задаться мыслью о тройственномъ дѣленіи всѣхъ вещей и идей, чтобы дѣйствительно найти таковое, обходя идеи и вещи, не поддающіяся, и гдѣ сжимая, а гдѣ расширяя понятія и термины. И весьма возможно, что такой произволъ окажется оправданнымъ съ извѣстной точки зрѣнія и въ виду опредѣленныхъ условныхъ частныхъ цѣлей. Повторяю, сельскій хозяинъ можетъ согласиться, что главнѣйшіе моменты жизни растенія суть, во-первыхъ, посѣянное зерно, во-вторыхъ—стебель (солома), въ-третьихъ—собранное зерно. Но цвѣтоводъ съ этимъ не согласится. Не согласится и человѣкъ науки, для котораго зерно овса не есть что нибудь однородное или даже двойственно противорѣчивое въ гегеліанскомъ смыслѣ зерна и не-зерна. Онъ различаетъ въ немъ и зачаточный стебель и сѣмянодоли, и бѣлокъ. Такимъ образомъ, намъ предоставляется большой выборъ точекъ зрѣнія, и уже отъ нашего остроумія и ловкости будетъ зависѣть остановиться на той именно, съ которой получается тройственное дѣленіе. Второе условіе, способствующее видимому успѣху натяжекъ, лежитъ въ самомъ основаніи гегеліанской метафизики. Для нея равно цѣнны и діалектическое развитіе самого овсянаго зерна, и діалектическій ходъ чьей нибудь мысли объ овсяномъ зернѣ. Понятно, какъ расширяетъ это обстоятельство выборъ точекъ зрѣнія, съ которыхъ получается трехчленное дѣленіе.

Руссо, не зная Гегеля, мыслилъ по Гегелю, діалектически. Почему именно Руссо, а не Вольтеръ, не первый встрѣчный? потому

что вѣдь всѣ люди, по самой природѣ своей, мыслятъ діалектически. Однако, выбранъ именно Руссо, человѣкъ, рѣзко выдѣлявшійся изъ среды современниковъ не только по своимъ дарованіямъ,— въ этомъ отношеніи ему не уступятъ многіе,—а по самому складу своего ума и характеру своего міросозерцанія. Столь исключительное явленіе не слѣдовало, казалось бы, брать для провѣрки на немъ всеобщаго правила. Но у насъ своя рука владыка. Руссо интересенъ и важенъ прежде всего потому, что онъ первый съ достаточною рѣзкостью указалъ *противорѣчивость* цивилизаціи, а противорѣчіе составляетъ непремѣнное условіе діалектическаго процесса. Надо, однако, замѣтить, что противорѣчіе, усмотрѣнное Руссо, не имѣетъ ничего общаго съ противорѣчіемъ въ гегельянскомъ смыслѣ слова. Гегелевское противорѣчіе состоитъ въ томъ, что каждая вещь, находясь въ постоянномъ процессѣ движенія, измѣненія (и именно послѣдовательно тройственнымъ путемъ), есть въ каждую данную единицу времени «она» и вмѣстѣ съ тѣмъ «не-она». Если оставить въ сторонѣ обязательныя три стадіи развитія, то противорѣчіе является здѣсь просто какъ бы подкладкою измѣненій, движенія, развитія. Руссо тоже говоритъ о процессѣ измѣненій. Но отнюдь не въ самомъ фактѣ измѣненій усматриваетъ онъ противорѣчіе. Значительная часть его разсужденій, какъ въ Discours sur l'inégalité, такъ и въ другихъ сочиненіяхъ, можетъ быть резюмирована такъ: умственный прогрессъ сопровождался нравственнымъ регрессомъ. Очевидно, діалектическое мышленіе тутъ рѣшительно не при чемъ: тутъ нѣтъ «отрицанія отрицанія», а есть только указаніе на единовременное существованіе добра и зла въ данной группѣ явленій, и все сходство съ діалектическимъ процессомъ держится на *словѣ* «противорѣчіе». Это, однако, только одна сторона дѣла. Энгельсъ видитъ, кромѣ того, въ разсужденіи Руссо явственную трихотомію: за первобытнымъ равенствомъ слѣдуетъ его отрицаніе—неравенство, затѣмъ наступаетъ отрицаніе отрицанія—равенство всѣхъ въ восточныхъ деспотіяхъ передъ властью хана, султана, шаха. «Это послѣдняя степень неравенства и крайняя точка, завершающая кругъ и возвращающая насъ къ нашей исходной точкѣ». Но исторія на этомъ не останавливается, развиваетъ новыя неравенства и т. д. Приведенныя въ кавычкахъ слова суть подлинныя слова Руссо, и они-то особенно дороги для Энгельса, какъ очевидное свидѣтельство, что Руссо мыслилъ по Гегелю.

Энгельсъ могъ бы привести цѣлый рядъ подобныхъ же и во многихъ отношеніяхъ даже еще болѣе выразительныхъ примѣровъ философско-историческихъ схемъ и формулъ, съ чрезвычайнымъ удобствомъ укладывающихся въ гегелевскую трихотомію. Сдѣлаемъ это за него. Припомнимъ, напримѣръ, формулу Конта, по которой исторія дѣлится на три періода: «теологическій,» «метафизическій» и «позитивный»; или Луи Блановскую, группирующую историческіе факты въ періоды «авторитета», «индивидуализма» и «братства»; или, наконецъ, вскользь, не помню уже гдѣ, брошенное Спенсеромъ остроумное замѣчаніе: исторія мысли сводится къ тремъ послѣдовательнымъ моментамъ,—единогласія невѣждъ, разногласія изучающихъ и единогласія знающихъ. Начнемъ со Спенсера. Мы имѣемъ здѣсь не только требуемыя три ступени развитія, но и совершенно гегелевское ихъ расположеніе и взаимное отношеніе, только безъ гегельянской терминологіи. Введя ее, мы получимъ, что единогласіе невѣждъ есть тезисъ, разногласіе изучающихъ—антитезисъ, «отрицаніе», единогласіе знающихъ—синтезъ, «отрицаніе отрицанія», при чемъ происходитъ возвращеніе къ исходной точкѣ, то есть къ единогласію, но обогащенное всѣмъ тѣмъ знаніемъ, которое добыто на второй ступени, на ступени изученія. Чтобы читатель наглядно убѣдился въ томъ, до какой степени этотъ нашъ переводъ замѣчанія Спенсера на языкѣ гегельянской діалектики точенъ, я приведу здѣсь тѣ слова Маркса «въ Капиталѣ», въ которыхъ онъ прибѣгаетъ къ этому же языку: «Капиталистическій способъ производства и присвоенія, а слѣдовательно, и капиталистическая частная собственность, есть *отрицаніе* индивидуальной частной собственности, основывающейся на собственномъ трудѣ. Отрицаніе капиталистическаго производства производится имъ же самимъ съ неизбѣжностію естественнаго процесса. Это—*отрицаніе отрицанія. Оно снова возстановляетъ индивидуальную собственность, но на основаніи пріобрѣтеній капиталистической эры*, т. е. на основаніи коопераціи свободныхъ работниковъ и ихъ общиннаго владѣнія землею и средствами производства, произведенными самими рабочими» (Стр. 650 русскаго перевода).

Параллель, какъ видитъ читатель, полнѣйшая, и нѣтъ, повидимому, ни малѣйшей разницы собственно въ ходѣ мыслей Спенсера и Маркса, хотя они разсуждаютъ о совершенно различ-

ныхъ вещахъ: одинъ имѣетъ въ виду исторію знанія, а другой—исторію экономическихъ отношеній. Посмотрѣвъ, однако, на дѣло нѣсколько шире, мы увидимъ разницу и въ самомъ ходѣ мысли, и даже очень большую. Я ужъ не говорю объ томъ, что замѣчаніе Спенсера брошено вскользь, а собственно его теорія эволюціи никакихъ трехъ фазисовъ или этаповъ, ступеней—не знаетъ. Затѣмъ, что касается приведеннаго замѣчанія, то Спенсеръ основывается совсѣмъ не на обязательности діалектической трихотоміи. Что исторія какой нибудь отрасли знанія начинается единогласіемъ невѣждъ, это, можетъ быть, и не есть общее правило, но до извѣстной, весьма значительной степени фактически защитимое. Фактически достовѣрно также, что вторые, третьи шаги изученія сопровождаются разногласіемъ изслѣдователей, пока, наконецъ, не установится единогласіе въ общемъ признаніи извѣстныхъ истинъ. Такъ было, такъ, очевидно, будетъ и въ тѣхъ отдѣлахъ знанія, которые еще полны спорныхъ вопросовъ (науки общественныя надо бы поставить особо, но мы на этомъ не будемъ останавливаться). Спенсеръ, если бы ему понадобилось доказывать свою мысль, могъ бы опереться не только на чисто логическія соображенія о торжествѣ истины, разъ она открыта, но и на множество фактическихъ примѣровъ: къ его услугамъ была бы и дедукція, и индукція. Совсѣмъ иначе поставлено дѣло у Маркса. Первыя двѣ стадіи разработаны имъ въ фактическомъ отношеніи такъ, что въ лѣтописяхъ науки немного, конечно, найдется подобныхъ работъ. Но когда онъ говоритъ о третьей, грядущей стадіи, то вы недоумѣваете, почему это *грядущее* выражено въ *настоящемъ* времени: «снова *возстановляетъ* индивидуальную собственность, но на основаніи пріобрѣтеній капиталистической эры, т. е. на основаніи коопераціи свободныхъ работниковъ и ихъ общиннаго владѣнія землею и средствами производства, произведенными самими рабочими». До сихъ поръ историческая дѣйствительность еще нигдѣ и никогда не давала намъ такого завершенія капиталистическаго строя. Это—идеалъ, который одни считаютъ сбыточнымъ и прекраснымъ, другіе—не сбыточнымъ или совсѣмъ не хорошимъ. Это—дѣло вѣры, которая, по извѣстному, совершенно справедливому опредѣленію, есть увѣренность въ невидимомъ, какъ бы въ видимомъ, и въ желаемомъ и ожидаемомъ, какъ бы въ настоящемъ. Такова общая участь всѣхъ идеаловъ, и я не противъ нихъ, конечно, потому

что безъ нихъ жизнь неполна и пуста, и темна. Противъ нихъ, по странному недоразумѣнію, именно марксисты, не всѣ, разумѣется, а тѣ, которые, будучи отуманены идеей непреоборимаго естественнаго хода вещей на почвѣ экономическаго *матеріализма*, съ гордостью говорятъ: мы не *идеалисты*! жизнь не справляется съ чьими бы то ни было идеалами! — Очень справляется. Но къ этому мы еще вернемся, а теперь отмѣтимъ только исключительно діалектическій характеръ цитаты изъ «Капитала»: за «отрицаніемъ» должно слѣдовать «отрицаніе отрицанія». Для гегельянца вопросъ можетъ считаться этимъ исчерпаннымъ; будущее для него не проблема, до такой степени не проблема, что онъ можетъ, говоря объ этомъ будущемъ, употреблять глаголы въ настоящемъ времени.

Обратимся къ другимъ историческимъ формуламъ. И у Огюста Конта, и у Луи Блана мы встрѣчаемся опять таки съ трехчленнымъ дѣленіемъ исторіи. А если бы мы имѣли время и надобность входить въ подробности, то убѣдились бы, что даже безъ большихъ натяжекъ можно утверждать, что у того и у другого третья, послѣдняя ступень представляетъ какъ бы возвращеніе къ первой, съ измѣненіями и дополненіями, выработанными на второй. Во всякомъ случаѣ на гегельянскомъ языкѣ «метафизическая» ступень Огюста Конта и ступень «индивидуализма» Луи Блана могутъ быть съ полнымъ удобствомъ названы «отрицаніемъ», а ихъ особенное отношеніе къ этимъ вторымъ ступенямъ—«отрицаніемъ отрицанія». Спрашивается, почему же Энгельсъ упустилъ такіе прекрасные случаи и остановился на Руссо, основательно или неосновательно пользующемся славою писателя парадоксальнаго, и примѣръ котораго, поэтому, едва-ли многимъ покажется убѣдительнымъ? Я рѣшаюсь утверждать, что здѣсь дѣло отчасти въ словахъ. Къ теоріямъ Руссо можно удобно приставить слово «противорѣчіе», хотя, какъ мы видѣли, указаніе Руссо на противорѣчивый характеръ цивилизаціи не имѣетъ ничего общаго съ гегельянскимъ противорѣчіемъ. Затѣмъ Руссо прямо говоритъ, что въ извѣстный моментъ исторія завершаетъ свой кругъ и возвращается къ исходной точкѣ, послѣ чего начинается новый циклъ развитія. Ни Огюстъ Контъ, ни Луи Бланъ этого не говорятъ, да и у Руссо это только вскользь брошенное слово, но и его достаточно, чтобы Энгельсъ счелъ этотъ примѣръ болѣе удобнымъ для подвержденія всеобщности діалек-

тическаго процесса мысли. Здѣсь, однако, дѣло уже не въ словахъ только. Съ діалектической точки зрѣнія мало простой тройственности, какую представляютъ собою формулы Огюста Конта и Луи Блана; нужна тройственность многократная, повторяющаяся, нужна, вульгарно выражаясь, сказка про бѣлаго бычка, намекъ на что и имѣется въ приведенныхъ словахъ Руссо: первобытное равенство отрицается возникновеніемъ неравенствъ, затѣмъ это отрицаніе отрицается всеобщимъ уравненіемъ на новой, такъ сказать, плоскости; тройственный циклъ этимъ заканчивается, но затѣмъ начинается новый—новыми неравенствами и т. д. У Конта и Луи Блана ничего подобнаго нѣтъ. Если и можно, употребляя условный языкъ діалектики, сказать, что вторые ихъ періоды (метафизическій періодъ у Конта и періодъ индивидуализма у Луи Блана) составляютъ отрицаніе первыхъ, а третьи (позитивный періодъ и періодъ братства), отрицаніе отрицанія, то этими третьими періодами и ограничиваются ихъ горизонты въ сторону будущаго. Энгельсъ съ своей точки зрѣнія справедливо могъ бы поставить имъ это въ упрекъ. Онъ и самого Гегеля упрекаетъ въ томъ, что тотъ, съ одной стороны, смотритъ на исторію, какъ на процессъ развитія, который не можетъ быть законченъ открытіемъ абсолютной истины, а съ другой—считаетъ свою систему абсолютно истинною. Не касаясь вопроса собственно объ абсолютной истинѣ, мы можемъ въ самомъ дѣлѣ спросить: что же, позитивнымъ періодомъ Конта или періодомъ братства Луи Блана, такъ и должна кончиться исторія? такъ ужъ достовѣрно и не выдвинетъ иныхъ какихъ-нибудь принциповъ человѣчество за все то, неизвѣстное, но очень большое время, которое ему остается жить? Этотъ же вопросъ можетъ быть, однако, заданъ и Марксу, когда онъ изображаетъ конечный историческій фазисъ въ его экономической основѣ: а дальше что? Я долженъ откровенно признаться, что не совсѣмъ ясно представляю себѣ отвѣтъ Энгельса. Онъ отвѣтилъ бы, конечно, что дальнѣйшая исторія пойдетъ все тѣмъ же тройственно-послѣдовательнымъ путемъ развитія противорѣчій и отрицанія отрицанія, ибо діалектическій процессъ непреложенъ. Затѣмъ, судя по нѣкоторымъ выраженіямъ Энгельса, надо думать, что классовая борьба прекратится и, повидимому, утратитъ свой raison d'être экономическій матеріализмъ; но навсегда-ли, или же противорѣчія на экономической почвѣ, по прошествіи извѣстнаго времени,

вновь возникнутъ, или же тройственно-послѣдовательные шаги исторіи будутъ происходить на какой-нибудь иной почвѣ, — этого я не знаю.

Какъ бы то ни было, но вотъ мы имѣемъ уже нѣсколькихъ мыслителей (а можно бы было и еще прибавить), весьма различной силы, весьма различнаго направленія и исходныхъ точекъ, которые, однако, дѣлятъ исторію именно на три періода; и не только обще имъ всѣмъ это тройственное дѣленіе, но кромѣ того, у всѣхъ у нихъ второй періодъ можетъ быть названъ отрицаніемъ перваго, а третій—отрицаніемъ отрицанія и въ извѣстномъ смыслѣ сближеніемъ съ первымъ періодомъ. Не оправдывается ли тріада Гегеля, по крайней мѣрѣ, постольку, поскольку ею покрываются приведенные примѣры? И если оправдывается, то какія данныя опыта и наблюденія подсказали ему его догадку?

Любопытно, что самъ Гегель, при всемъ стараніи вытянуть исторію человѣчества въ три ступени, не всегда выдерживалъ свою программу. То онъ дѣлитъ исторію на три періода—восточный, классическій и христіанскій, то на четыре—восточный, греческій, римскій и христіанско-германскій. Неизвѣстный мнѣ, цитируемый г. Карѣевымъ (въ «Основныхъ вопросахъ философіи исторіи») гегельянецъ 30-хъ, 40-хъ годовъ, Цѣшковскій, потратилъ, повидимому, много усилій на рѣшеніе вопроса: что правильнѣе, трихотомія или тетрахотомія. «Самъ Цѣшковскій — говоритъ г. Карѣевъ—стоитъ за трихотомію прошедшаго, настоящаго и будущаго, т. е. за совершенно пустую формулу: это — то что онъ называетъ Anlauf, Verlauf и Auslauf der Geschichte». Охотно вѣрю, что у Цѣшковскаго эта концепція является, дѣйствительно, совершенно пустою формулою; и тѣмъ не менѣе, думаю, что въ основаніи всѣхъ тройственныхъ дѣленій исторіи на періоды лежатъ именно категоріи прошедшаго, настоящаго и будущаго.

Луи Бланъ такъ выражается относительно своихъ трехъ періодовъ: «Авторитетъ былъ приложенъ къ дѣлу католичествомъ съ удивительнымъ блескомъ; онъ преобладалъ до Лютера. Индивидуализмъ, провозглашенный Лютеромъ, развился съ непреодолимой силой и, освободившись отъ религіознаго элемента, восторжествовалъ во Франціи при посредствѣ публицистовъ учредительнаго собранія: онъ правитъ нашимъ временемъ; онъ есть душа вещей. Братство, провозглашенное мыслителями партіи Горы, исчезло

тогда среди бури и въ настоящее время является намъ еще только въ дали идеала» (Стр. 41 перваго тома въ русскомъ переводѣ). Энгельсъ все въ той же полемической противъ Дюринга книгѣ, говоря объ относительномъ значеніи всякой морали, замѣчаетъ, что феодальная мораль принадлежитъ прошедшему времени, буржуазная мораль есть дѣло настоящаго, а мораль пролетаріата — будущаго. Не трудно было бы и у другихъ найти подобныя же прямыя указанія, но съ насъ достаточно и этого. Намъ надо еще разобраться въ тѣхъ данныхъ опыта и наблюденія, которыя опредѣляютъ таинственное сближеніе послѣдней ступени періода съ первою. Я говорилъ объ этомъ уже десять лѣтъ назадъ и могу теперь лишь повторить сказанное тогда.

Въ то время, когда писалъ и дѣйствовалъ Луи Бланъ, то, что онъ называлъ принципомъ авторитета, было совершенно расшатано или, по крайней мѣрѣ, казалось расшатаннымъ. Это было нѣчто исторически законченное, сданное въ архивъ и, слѣдовательно, безопасное. Индивидуализмъ, напротивъ, гордо несъ свою вѣнчанную лаврами недавнихъ побѣдъ голову. Это была настоящая сила настоящей минуты, и натурально, что даже при одинаковой степени враждебности къ принципамъ авторитета и индивидуализма, практика жизни должна была представителю принципа братства (какъ онъ его понималъ) внушать несравненно большую напряженность отрицанія по адресу индивидуализма. Но и независимо отъ дѣйствительной или только кажущейся слабости остатковъ прошедшаго, зачатки будущаго естественно склонны вступать въ практическій союзъ съ ними въ виду общаго врага — настоящаго. Это, можетъ быть, наиболѣе яркое и наичаще повторяющееся оправданіе поговорки «крайности сходятся». Крайности, дѣйствительно, сходятся, чтобы тяготѣть на одинаково имъ мѣшающую середину. Прошедшее, настоящее и будущее, отживающее, существующее въ болѣе или менѣе полномъ видѣ и зарождающееся — эта тройственность лежитъ въ основаніи всякой системы партій, политическихъ, литературныхъ, экономическихъ, философскихъ. Партіи могутъ дробиться на оттѣнки, сообразно осложненіямъ текущей минуты; оттѣнки эти могутъ вступать между собою въ разнообразныя комбинаціи, заключать законные и незаконные союзы, дѣлать другъ другу теоретическія и практическія уступки; но въ основаніи всей этой иногда очень запутанной системы все-таки лежатъ три момента: прошедшее, настоящее и будущее. И

въ этомъ столь же мало таинственнаго, какъ и въ томъ, напримѣръ, что французскій глаголъ имѣющій и l'imparfait и le plus-qu parfait, и le passé defini и le passé indéfini, и le futur absolu и le futur antérieur, въ сущности, однако, знаетъ только три времени: прошедшее, настоящее и будущее. Въ виду этого историкъ, если онъ жертвуетъ второстепенными мелкими явленіями для установленія схемы историческаго прогресса въ общихъ, крупныхъ чертахъ, склоненъ къ тройственной формулѣ, при чемъ онъ замѣтитъ и взаимное тяготѣніе прошедшаго и будущаго. А если онъ и самъ практическій дѣятель въ какой бы то ни было отрасли, то и на немъ, по всей вѣроятности, такъ или иначе отразится это тяготѣніе.

Но этого мало. Дѣло не только въ механикѣ борьбы партій, при которой наличный, торжествующій въ данный моментъ порядокъ вещей подвергается ударамъ справа и слѣва, что уже и само по себѣ до извѣстной степени сближаетъ правыхъ и лѣвыхъ. Если искать въ исторіи мысли человѣка, наиболѣе страстно и убѣжденно звавшаго людей, во имя будущаго, назадъ, къ исходному пункту исторіи, къ «тезизу», то, конечно, это будетъ Руссо. Весь сонмъ яростнѣйшихъ ретроградовъ всѣхъ временъ и народовъ не сказалъ больше его противъ цивилизаціи, которая является въ данномъ случаѣ «антитезисомъ». И, однако, Руссо былъ несомнѣнно человѣкомъ будущаго, а не прошедшаго, и именно въ этомъ направленіи повліялъ на европейскую мысль, поспособствовалъ образованію цѣлой школы. Оставимъ въ покоѣ фантастичность очертаній, въ которыхъ рисовалась воображенію Руссо историческая колыбель человѣчества. Не въ этомъ дѣло. Злое слово Вольтера—«читая Руссо, такъ и хочется побѣжать на четверенькахъ»—это злое слово справедливо только въ очень поверхностномъ смыслѣ, если имѣть въ виду лишь страстную живописность отдѣльныхъ выраженій. Въ сущности, Руссо не отрекался ни отъ одного изъ духовныхъ и матеріальныхъ благъ, добытыхъ цивилизаціей, но онъ желалъ иного ихъ распредѣленія и направленія, и именно такого, въ какомъ располагалось скудное достояніе первобытнаго человѣка. Иначе говоря, Руссо отвергаетъ не *степень* развитія цивилизаціи, а ея *типъ*; и, наоборотъ, въ первобытной жизни онъ цѣнитъ только ея типъ, ни мало не сомнѣваясь, что невѣжество, суевѣріе, нищета, грубость, какъ спутники низкой ступени развитія, подлежатъ изгнанію. Задача будущаго состоитъ, слѣдовательно, по Руссо, отнюдь не въ томъ, чтобы всѣ люди, или какая-нибудь

ихъ часть, бѣгали на четвереньках, а въ сочетаніи первобытнаго типа съ высокою степенью развитія. Это и будетъ искомый «синтезисъ».

Приглядываясь, однако, къ историческимъ схемамъ, повидимому, такъ блистательно поддерживающимъ законъ трехчленнаго діалектическаго развитія, не трудно усмотрѣть, что всѣ онѣ страдаютъ произвольностью. Говоря гегелевской терминологіей, для Руссо тезисомъ была жизнь дикаря, и антитезисъ начался съ того момента, когда, по его живописному выраженію, человѣкъ обгородилъ клочекъ земли и сказалъ: «это мое». Для Маркса или Луи Блана тезисъ стоитъ гораздо позже—въ среднихъ вѣкахъ, съ разваломъ которыхъ начинается періодъ отрицанія. Но и въ средніе вѣка Марксова «индивидуальная частная собственность, основывающаяся на собственномъ трудѣ», не была ни единымъ, ни преобладающимъ факторомъ, даже въ области экономическихъ отношеній. Рядомъ съ нею существовало многое другое, къ чему, однако, діалектическій методъ въ толкованіи Маркса не предлагаетъ намъ возвращаться. Съ другой стороны, Луи Блану приходится открывать проявленія принципа «братства» въ самомъ разгарѣ полновластія принципа «авторитета». Очевидно, что всѣ эти схемы не представляютъ картины исторической дѣйствительности или даже только ея пропорцій, а только удовлетворяютъ склонности человѣческаго ума мыслить всякій предметъ въ состояніяхъ прошедшаго, настоящаго и будущаго, при чемъ умъ этотъ естественно стремится сочетать для будущаго все, что есть хорошаго, истиннаго, справедливаго (какъ кѣмъ оно понимается) въ прошедшемъ и настоящемъ.

Nihil est in intellectu, quod non fuerit ante in sensu. Это старинное изреченіе, такъ часто подвергавшееся узкимъ и одностороннимъ толкованіямъ, въ основаніи своемъ всетаки вѣрно. Гегель не изъ бездонной глубины своего духа выудилъ свою тріаду, потому что и нѣтъ такой бездонной глубины въ человѣческомъ духѣ: онъ частію удачно, частію неудачно, съ натяжками, подчасъ крайне грубыми, обобщилъ то, что видѣлъ, слышалъ, чувствовалъ. И точно такъ же, какъ бы ни была смѣла, даже необузданна фантазія человѣка, она, въ своихъ гаданіяхъ о будущемъ, можетъ только на разные лады комбинировать то, что было и что есть—прошедшее и настоящее, отбрасывая въ нихъ одно, давая усиленное развитіе другому, видоизмѣняя третье, иначе

направляя четвертое и т. д. Поскольку въ этихъ комбинаціяхъ будущее является отрицаніемъ настоящаго и воспроизведеніемъ прошедшаго, постольку оно и оказывается «отрицаніемъ отрицанія» и «примиреніемъ противорѣчій».

Но, скажутъ гордые люди, намъ дѣла нѣтъ до того, какъ работаетъ фантазія; мы не фантазируемъ,—этимъ блаженной памяти старые идеалисты занимались,—а мы—матеріалисты, и изслѣдуемъ непреложные законы дѣйствительнаго историческаго хода вещей, который, помимо чьихъ бы то ни было идеаловъ и фантазій, долженъ привести къ извѣстному, предвидимому нами результату; обобществленный на развалинахъ капиталистическаго строя пролетаріатъ есть не идеалъ, а сама дѣйствительность... будущаго...— Я не знаю заблужденія, болѣе страннаго, чѣмъ то, которое заключается въ этомъ гордомъ отвѣтѣ. Я не знаю, зачѣмъ эти гордые люди унижаютъ сами себя, отрицаясь отъ идеала вообще, ибо Magenfrage и Seelenfrage, вопросъ брюха и вопросъ духа, совсѣмъ не обязательно исключаютъ другъ друга. Я не знаю, далѣе, почему обобществленный на развалинахъ капитализма пролетаріатъ есть не идеалъ, а дѣйствительность, когда его нѣтъ въ дѣйствительности. Какъ идеалъ, то есть какъ будущее желательное и возможное, этотъ грядущій моментъ исторіи требовалъ бы такихъ же оправданій, какія могутъ быть потребованы отъ всякаго другого идеала. Какъ дѣйствительность, хотя и будущаго, но настолько неизбѣжная и несомнѣнная, что объ ней и теперь уже можно говорить въ настоящемъ времени, онъ требуетъ гораздо большаго. А между тѣмъ, въ этомъ смыслѣ, въ смыслѣ неизбѣжности и несомнѣнности, онъ держится исключительно на концѣ гегелевской трехчленной цѣпи. Все остальное есть дѣло спорныхъ категорій возможности, вѣроятности и желательности. Исторія готовитъ намъ, можетъ быть, такіе сюрпризы, которые и «не снились нашимъ мудрецамъ».

Мнѣ часто вспоминается чудовищная фантазія Ренана, изложенная имъ въ формѣ бесѣды философовъ въ «Dialogues et fragments philosophiques». Онъ мечтаетъ о «царствѣ разума», которымъ будутъ управлять «тираны-позитивисты», люди, наслѣдственно монополизировавшіе умъ, знаніе, таланты, а остальная масса человѣчества будетъ имъ покорно и даже любовно повиноваться. Если бы, однако, эта масса и вздумала сопротивляться, то у тирановъ-позитивистовъ будутъ въ рукахъ могущественныя средства

для преодолѣнія всякаго сопротивленія. Во-первыхъ, они могутъ держать гдѣ-нибудь въ глубинѣ Азіи орды дикихъ «башкиръ и калмыковъ», которые, въ случаѣ чего, будутъ являться для поддержки «царства разума». Во-вторыхъ, они, благодаря прогрессу науки и техники, будутъ владѣть средствами терроризировать весь міръ, потому что можетъ быть изобрѣтено и такое средство, при помощи котораго можно будетъ взорвать всю нашу планету! Дикія азіатскія орды, прямо или косвенно вліяющія на ходъ дѣлъ въ цивилизованномъ мірѣ, совсѣмъ не такая невѣроятность, какъ можетъ показаться на первый взглядъ. Что же касается сосредоточенія въ рукахъ «тирановъ-позитивистовъ» страшныхъ средствъ разрушенія, то эта дикая мечта не такъ давно еще могла казаться возможной. Оказалось, однако, что страшныя средства разрушенія не могутъ составить секретъ Ренановскихъ владыкъ «царства разума», что пускаютъ ихъ въ ходъ совсѣмъ иные люди, и именно люди, доведенные капиталистическимъ строемъ до одичанія, до полнаго презрѣнія въ своей и чужой жизни, и не расположенные, подобно германской соціалъ-демократіи, степенно подготовлять послѣднюю ступень Гегелевской трихотоміи. Анархизмъ не укладывается въ рамки трихотоміи, потому что, хотя и его, пожалуй, можно назвать отрицаніемъ отрицанія, но не изъ обобществленія пролетаріата онъ проистекаетъ. Во всякомъ случаѣ того благополучія, которое должно произойти изъ капиталистическаго строя, мы еще не видали и должны въ этомъ отношеніи вѣрить на слово Гегелю или, вѣрнѣе, извѣстному примѣненію его діалектики; а то отчаяніе, въ которое онъ ввергаетъ людей, мы видимъ и посейчасъ, а не только въ моментъ «первоначальнаго накопленія»...

X *).

О разсказахъ гг. Григоровича и Мамина-Сибиряка.—О силѣ привычки вообще, у писателей въ частности.—О гр. Л. Н. Толстомъ.

Въ двухъ первыхъ книжкахъ «Русской Мысли» за нынѣшній годъ напечатанъ разсказъ Д. В. Григоровича, подъ заглавіемъ «Порфирій Петровичъ Кукушкинъ. Приключенія мирнаго гражданина, прожившаго до полной зрѣлости у тихой пристани, нежданно упавшаго въ воду, унесеннаго теченіемъ и едва не утонув-

*) 1894, мартъ.

шаго». Г. Григоровичъ уже въ теченіе многихъ лѣтъ крайне рѣдко — выражаясь высокимъ слогомъ — даритъ насъ произведеніями своего пера, а тутъ еще его былая слава подогрѣлась только что отпразднованнымъ юбилеемъ его пятидесятилѣтней литературной дѣятельности. Понятенъ интересъ, возбуждаемый новымъ его произведеніемъ. Къ сожалѣнію, интересъ этотъ не оправдывается самымъ разсказомъ маститаго писателя. Уже длиннѣйшее заглавіе разсказа составляетъ претензію на юморъ, который никогда не былъ казовою стороною таланта г. Григоровича. Г. Скабичевскій въ своей «Исторіи новѣйшей литературы» справедливо замѣчаетъ, что юморъ г. Григоровича «производитъ непріятное впечатлѣніе чего-то напряженнаго, дѣланнаго, неестественнаго». Подъ давленіемъ Гоголя, чуть не всѣ писатели сороковыхъ годовъ пробовали себя въ юморѣ, но не всѣмъ это удавалось, и меньше всѣхъ, кажется, г. Григоровичу. Даже у Достоевскаго, при всей мрачности его творчества, можно найти, напримѣръ, въ «Дядюшкиномъ снѣ», или въ «Селѣ Степанчиковѣ» страницы, вызывающія невольный смѣхъ. Разсказъ же г. Григоровича о Порфиріи Петровичѣ Кукушкинѣ (чтобы не поминать его старыхъ и давно забытыхъ грѣховъ въ этомъ родѣ) вы прочтете, ни разу даже, можетъ быть, не улыбнувшись, хотя самъ авторъ, начиная съ заглавія и кончая послѣдней страницей, очевидно, желаетъ блистать юморомъ. Вотъ образчики:

«Одинъ изъ товарищей по службѣ, находившій непонятное удовольствіе сказать о каждомъ что-нибудь непріятное, утверждалъ всегда, что если бы Рожкову случилось бы принять слабительнаго, отъ него ничего не осталось бы, кромѣ платья» (до такой степени онъ былъ худъ и малъ ростомъ). Или о другомъ дѣйствующемъ лицѣ: «Надо правду сказать, легче было выслѣдить какую-нибудь рѣзкую черту характера въ пятикопѣечной булкѣ, чѣмъ на его тускло-блѣдноватомъ лицѣ и въ голубоватыхъ глазахъ, оттѣненныхъ свѣтлыми рѣсницами и напоминавшихъ двѣ фіалки, крѣпко разваренныя въ молокѣ. Главное его физическое отличіе заключалось въ бѣлизнѣ кожи; въ банѣ онъ бросался въ глаза между остальными моющимися; вокругъ пояса обходила только красная полоса, какъ у людей, носящихъ военную форму. Военнымъ онъ, однако-жъ, никогда не былъ: боевая жизнь противорѣчила стремленіямъ его природы, склонной къ мирнымъ кабинетнымъ занятіямъ и тихой семейной жизни».

Это — характеристики двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ разсказа, характеристики неполныя, потому что въ такомъ же тонѣ авторъ описываетъ еще и нравственныя качества своихъ героевъ, и ихъ прошлое и настоящее. Человѣкъ, отличающійся необыкновенною бѣлизною тѣла въ банѣ и уступающій пятикопѣечной булкѣ въ выразительности лица, и есть тотъ самый Порфирій Петровичъ Кукушкинъ, который, «проживъ до полной зрѣлости у тихой пристани, нежданно упалъ въ воду» и проч. Человѣкъ же, которому опасно принимать слабительное, есть его преданнѣйшій другъ, изъ тѣхъ, что бываютъ опаснѣе врага, Иванъ Ивановичъ Рожковъ. Кукушкинъ съ-молоду, на гимназической еще скамейкѣ, занимался стихотворствомъ, по скромности довѣряя плоды своихъ поэтическихъ вдохновеній только одному своему товарищу и другу, Рожкову, восторгавшемуся его талантомъ. Эти отношенія между друзьями продолжались и далѣе: Кукушкинъ стихотворствуетъ, а Рожковъ восхищается его «Забытыми фіалками», «Океанами», «Хаосами», «Мотыльками», «Синеусами и Труворами» и т. п. Все это Кукушкинъ пишетъ въ свободное отъ служебныхъ занятій время, такъ какъ онъ — чиновникъ, прекрасный, аккуратный чиновникъ и вмѣстѣ съ тѣмъ прекрасный, добрый семьянинъ. Г. Григоровичъ не приводитъ ни одного изъ поэтическихъ произведеній Кукушкина и даетъ только понять, что это было нѣчто очень смѣшное. Ему смѣшно, впрочемъ, все въ Кукушкинѣ, даже обыкновеннѣйшее прохожденіе имъ службы: «Станислава 3-й степени Кукушкину дали потому, что у него не было еще никакого ордена; Анну 3-й степени получилъ онъ потому, что уже имѣлъ Станислава 3-й степени; наконецъ, Станиславомъ 2-й степени былъ онъ награжденъ потому, что имѣлъ уже Станислава 3-й степени и Анну». Мнѣ кажется, что для кавалера ордена Станислава 1-й степени, какимъ съ прошлаго года состоитъ г. Григоровичъ, эта насмѣшка немножко не великодушна. Но и вообще г. Григоровичъ не великодушенъ. Стоитъ-ли ему, большому писателю, столь необычно блистательно отпраздновавшему свой пятидесятилѣтній юбилей, тратить такой большой запасъ насмѣшливости на Порфирія Петровича Кукушкина? Кукушкинъ, поощряемый восторгами своего пламеннаго друга Рожкова, своей жены и свояченицы, издаетъ книжку своихъ стихотвореній подъ заглавіемъ «Лучи и тѣни», неблагосклонно встрѣчаемую критикою и публикою; затѣмъ пи-

шетъ трагедію „Игорь“, которая тоже претерпѣваетъ неудачу; наконецъ, предпринимаетъ изданіе журнала «Свѣточъ», на которомъ окончательно проваливается, истративъ на него маленькое приданое жены, и со срамомъ уѣзжаетъ изъ Петербурга, переведясь на службу въ провинцію. Ничего худого этотъ не столько смѣшной, сколько несчастный человѣкъ не сдѣлалъ. Въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ, по всей вѣроятности, очень плохихъ, и въ своемъ журналѣ, никуда не годномъ, онъ, однако, «дѣлъ своихъ цѣною злата не взвѣшивалъ, не продавалъ, не ухищрялся противъ брата и на врага не клеветалъ». Онъ только сбитый съ толку похвалами Рожкова, жены и свояченицы, сунулся въ воду, не спросясь броду, мечталъ добиться славы тамъ, гдѣ его, въ концѣ концовъ, настигъ срамъ. Да еще вопросъ, одно ли славолюбіе имъ руководило. Г. Григоровичъ сообщаетъ, между прочимъ, что Кукушкинъ «принадлежалъ къ числу людей молчаливыхъ и робкихъ мечтателей, тайно связанныхъ съ тоскливымъ желаніемъ высказать *что-то* мимо того, что говорится на службѣ, дома, между знакомыми, и, ничего еще не сказавши, заблаговременно огорчающихся при мысли, что это *что-то* навѣрное не встрѣтитъ сочувствія, не будетъ оцѣнено и понято, какъ слѣдуетъ, равнодушной толпой».

Это, можетъ быть, и смѣшно, но во всякомъ случаѣ въ той обстановкѣ, которую далъ дѣлу г. Григоровичъ, не заслуживаетъ насмѣшки, растянувшейся на два журнальныхъ номера. А г. Григоровичъ видалъ виды на своемъ вѣку вообще, въ литературномъ мірѣ въ частности. Онъ знавалъ гигантовъ нашей литературы и ея пигмеевъ, знавалъ людей чести и правды и предателей «кровныхъ», какъ говорилъ Салтыковъ, литераторовъ и диллетантовъ, заслуженно и незаслуженно пользующихся славою, убѣжденныхъ и праздно и въ разныхъ мѣстахъ разно болтающихъ. И изо всего этого огромнаго запаса пятидесятилѣтнихъ наблюденій выбрать для художественнаго воспроизведенія маленькую, жалкую букашку-неудачника и облить эту безобидную букашку цѣлымъ фонтаномъ насмѣшки... Насмѣшки, и пожалуй, даже очень ядовитой, Кукушкинъ заслуживалъ бы скорѣе въ томъ случаѣ, если бы онъ былъ не неудачникомъ, а, напротивъ, преуспѣвалъ; если бы онъ, напримѣръ, не имѣя за душой ничего, кромѣ таинственнаго «что-то» и такъ называемаго бойкаго пера, пролѣзъ въ литературу и утвердился въ ней, или если бы онъ, подъ пред-

логомъ или прикрытіемъ литературы достигалъ какихъ-нибудь не-литературныхъ цѣлей. Тогда, дѣйствительно, онъ и стоилъ бы насмѣшки, и комическія положенія, въ которыя онъ при этомъ становился бы, были бы характерными картинками изъ нашего литературнаго міра. А то, помилуйте! — на муху съ обухомъ...

Не обѣщаетъ ничего въ этомъ смыслѣ характернаго и печатающаяся въ той же «Русской Мысли» повѣсть г. В. В. Верещагина («художника», какъ онъ почему то считаетъ нужнымъ прибавлять). Повѣсть еще не кончена. Она называется «Литераторъ», но пока, въ двухъ первыхъ номерахъ журнала, литератора еще нѣтъ на сценѣ, самъ онъ дѣйствуетъ пока за кулисами, объ немъ только говорятъ. Говорятъ именно, что онъ плохо танцуетъ, но за то отличается необыкновенною храбростью на войнѣ, состоя ординарцемъ-волонтеромъ при Скобелевѣ. Всякіе, конечно, бываютъ литераторы, въ томъ числѣ и плохо танцующіе, но за то необыкновенно храбрые, но и то, и другое не имѣетъ къ литературѣ отношенія.

Для характеристики нравовъ и отношеній, существующихъ въ нашей литературной средѣ, больше обѣщаютъ печатающіеся въ «Русскомъ Богатствѣ» очерки г. Мамина «Черты изъ жизни Пепко». Но это только одинъ уголокъ среды, хотя, повидимому, сравнительно очень густо населенный. Это литературная богема, перебивающаяся репортерствомъ, случайными статейками въ такъ называемой мелкой прессѣ, сочиненіемъ романсовъ для трущобныхъ хормейстеровъ и «Тайнъ натуры» для хищныхъ Спирекъ. Было бы большой ошибкой и несправедливостью презирать этотъ уголокъ — изъ подобнаго же уголка когда-то, напримѣръ, Некрасовъ вышелъ. Да и вообще ничто не мѣшаетъ существованію тамъ крупныхъ талантовъ, пробивающихъ себѣ дорогу или, подъ вліяніемъ несчастныхъ обстоятельствъ, сбившихся съ дороги, хотя, разумѣется, истинные таланты и большіе люди не составляютъ тамъ обыкновеннаго явленія. Да вѣдь и гдѣ же они обыкновенны-то? Порфиръ Порфирычъ и полковникъ Фрей, конечно, никогда уже не выберутся изъ этого уголка и такъ и умрутъ въ какой-нибудь портерной или трактирной «академіи», но и у нихъ былъ, можетъ быть, когда-нибудь свой âge des fleurs et du soleil, когда имъ «были новы всѣ впечатлѣнья бытія» и когда «не рыбачій парусъ малый,—корабли имъ снились». И, можетъ быть, доселѣ не могутъ они залить эти золотые сны ни водкой, ни

пивомъ. Что же касается молодежи, то кто-жъ ее знаетъ, что ей готовитъ судьба? Можетъ быть, и застрянетъ она въ томъ же болотѣ, гдѣ погибаютъ Порфиръ Порфирычъ и полковникъ Фрей, а, можетъ быть, и выберется и расправитъ крылья и полетитъ... Куда и какъ? Вопросъ этотъ можетъ быть поставленъ не только относительно посѣтителей «академіи» въ очеркахъ г. Мамина, этихъ своего рода Scènes de la vie de bohème Мюрже, а и относительно всей неоперившейся или только еще оперяющейся литературной молодежи, въ томъ числѣ и такой, которая въ ротъ хмѣльного не беретъ и никакихъ портерныхъ и трактирныхъ академій не посѣщаетъ.

Въ издающемся съ нынѣшняго, 1894 года, журналѣ «Новое Слово», во «вступительной бесѣдѣ» перваго №, говорится, между прочимъ:

«Литературный, закулисный міръ, этотъ мрачный міръ тяжкихъ отношеній труда къ капиталу, полонъ высокаго трагизма. Тутъ вы увидите глубоко потрясающую душу сцену, какъ талантливый, образованный работникъ спрашиваетъ у своего хозяина, что онъ прикажетъ ему дѣлать и какъ дѣлать.

— Я бы хотѣлъ похвалить вотъ этотъ журналъ, въ немъ есть талантливыя статейки, говоритъ честный труженикъ. — Съ какой это стати? Надо его разнести въ пухъ и прахъ.—И «разносъ» начинается противъ воли и совѣсти критика. Нѣтъ преступнѣе насилія, какъ заставлять журналиста писать вопреки совѣсти. Нѣтъ тяжелѣе рабства, какъ подчиняться такому насилію. Писателя съ независимымъ личнымъ убѣжденіемъ, съ «божественнымъ глаголомъ» на устахъ, почти уже не существуетъ болѣе. Онъ сохраняется лишь въ немногихъ и весьма немногихъ экземплярахъ, точно зубръ въ Бѣловѣжской пущѣ».

Я не думаю, чтобы писатель, исполняющій приказаніе «хозяина» противъ воли и совѣсти, заслуживалъ названія «честнаго труженика». Онъ прямо-таки безчестный человѣкъ, и не можетъ быть для него никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ. И не зачѣмъ тревожить по этому случаю «божественные глаголы». Какіе ужъ тутъ божественные глаголы, когда дѣло идетъ о прямой публичной лжи, внушаемой сотнямъ, можетъ быть, тысячамъ, десяткамъ тысячъ читателей. Но отъ этого не становится веселѣе мрачная картина, нарисованная «Новымъ Словомъ». А между тѣмъ, какъ бы она ни была, я надѣюсь, преувеличена, въ ней

есть, должно быть, нѣчто отъ правды. Такъ можно думать не только по увѣренному тону, которымъ говоритъ журналъ, но и потому еще, что не онъ одинъ говоритъ это. Напримѣръ, г. Мережковскій въ книжкѣ «О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы» не менѣе рѣшительно говоритъ: «Литературное хищничество и продажность болѣе развиты въ Россіи, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Какія лица! Какіе нравы! И ужасно, что эти лица самыя молодыя, бодрыя, полныя надеждъ... Страшно становится, когда видишь, что литература, поэзія—самое воздушное и нѣжное изъ всѣхъ созданій человѣческаго духа, все болѣе и болѣе предается во власть этому всепожирающему Молоху, современному капитализму».

Быть можетъ, именно такого рода соображеніями руководился г. Бахтіаровъ, когда въ вышедшей въ прошломъ году книжкѣ «Слуги печати» утверждалъ: «Кто хочетъ посвятить себя литературѣ, тотъ прежде всего долженъ озаботиться найти частную или коронную службу, если онъ человѣкъ, въ матеріальномъ отношеніи необезпеченный, и затѣмъ смотрѣть на писательство, какъ на побочное занятіе, на излюбленный трудъ». Какое, однако, странное разсужденіе и какое героическое средство рекомендуетъ г. Бахтіаровъ, не имѣющій, впрочемъ, кажется, въ виду спеціально тѣхъ золъ, о которыхъ говорятъ «Новое Слово» и г. Мережковскій. По здравому смыслу, казалось бы, обращать именно «излюбленный трудъ» въ «побочное занятіе» и слѣдовательно, главное свое занятіе видѣть въ работѣ, къ которой душа не лежитъ, — хотя и многимъ приходится такъ устраиваться поневолѣ — отнюдь не представляетъ желаннаго выхода. Затѣмъ, если человѣкъ хочетъ посвятить себя административной, промышленной и т. п. дѣятельности, то, само собою разумѣется, ему надо «прежде всего» озаботиться найти соотвѣтственное мѣсто, но чтобы то же самое нужно было сдѣлать «прежде всего» тому, «кто хочетъ посвятить себя литературѣ» — это немножко нескладно выходитъ. И хотя г. Бахтіаровъ соблазняетъ писателей перспективой—«не рѣдко занятіе литературой пролагаетъ путь къ высшимъ государственнымъ должностямъ», я боюсь, что мало кто сознательно послѣдуетъ его совѣту, какъ, впрочемъ, и нѣкоторымъ другимъ его совѣтамъ, чрезвычайно, впрочемъ, доброжелательнымъ. Онъ говоритъ, напримѣръ, что «писатель, по свойству своего труда, долженъ строго слѣдовать извѣстнымъ гигіеническимъ правиламъ». И это, конечно,

прекрасно. Онъ говоритъ далѣе, что «писатели должны взять для себя примѣромъ Эмиля Золя, который пишетъ ежедневно по утрамъ положенное число страницъ, работая не болѣе трехъ часовъ въ день», или, еще лучше, примѣру Соловьева, который, «кромѣ главнаго своего труда, «Исторія Россіи», успѣвалъ еще участвовать въ повременныхъ изданіяхъ, при этомъ *по вторникамъ* писалъ для «Отечественныхъ Записокъ», а по *пятницамъ* для «Современника», отъ такого-то числа и до такого-то; какъ только наступалъ срокъ, онъ бросалъ работу даже на половинѣ незаконченной фразы». И это, пожалуй, уже совсѣмъ не прекрасно...

Есть вообще прекрасные совѣты, которые, однако, были бы еще прекраснѣе, если бы они были удобоисполнимы. Спору нѣтъ, писатель, «по свойству своего труда», долженъ слѣдовать извѣстнымъ гигіеническимъ правиламъ, но именно по этому же свойству своего труда онъ, за рѣдкими исключеніями, можетъ это дѣлать лишь въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ. Дѣло не въ одномъ кускѣ хлѣба, который добывается писателемъ съ несравненно большимъ трудомъ, чѣмъ обыкновенно думаютъ люди несвѣдущіе: можно, пожалуй, утверждать, что при менѣе лихорадочной работѣ, при болѣе правильномъ ея распредѣленіи, кусокъ хлѣба былъ бы даже, можетъ быть, больше и доставался бы сравнительно легче. Но бѣда въ томъ, что писатель, будучи такимъ же человѣкомъ, какъ и всѣ люди, и, слѣдовательно, доступнымъ для всѣхъ общечеловѣческихъ волненій радости и огорченія, находится, кромѣ того, въ постоянномъ нервномъ напряженіи благодаря самому процессу своей обыкновенной работы. И какъ сложны, какъ разнообразны поводы для такого нервнаго напряженія! Какъ сложны и разнообразны они въ особенности для русскаго писателя. Но не будемъ говорить объ этомъ. Пусть про все это,—про сумрачные дни и безсонныя ночи, про невысказанныя мысли, про разочарованія житейскія плюсъ спеціально литературныя,—пусть разскажетъ это, въ яркихъ, живыхъ образахъ, какой-нибудь художникъ, который заинтересуется не букашкой Кукушкинымъ и не тѣмъ литераторомъ, что плохо танцуетъ, но за то необыкновенно храбръ на войнѣ...

Вернемся къ показаніямъ «Новаго Слова» и г. Мережковскаго. Я не смѣю имъ не вѣрить,—да и зачѣмъ имъ въ такомъ дѣлѣ говорить неправду?—но думаю всетаки, что они нѣсколько преувеличиваютъ, сгущаютъ краски, если не въ качественномъ, то

въ количественномъ отношеніи. Что касается показанія г. Мережковскаго, то я уже высказывалъ свое сомнѣніе тотчасъ по выходѣ его книжки. Слишкомъ ничтожно практическое значеніе нашей литературы, чтобы ее стоило, въ большихъ размѣрахъ, покупать, даже если бы она готова была продаваться. Отдѣльные случаи такого рода, конечно, возможны, но отсюда еще далеко до утвержденія, что литературная продажность развита въ Россіи больше, чѣмъ гдѣ-нибудь. Разумѣю прямую продажность: литературную услугу за вознагражденіе со стороны заинтересованныхъ лицъ. Но вѣдь и тотъ будто бы «честный труженикъ», который пишетъ противъ своей совѣсти и убѣжденія, по требованію «хозяина», тоже продажный писатель. Въ извѣстномъ смыслѣ онъ даже больше заслуживаетъ этого позорнаго названія. Литературный кондотьеръ, продающій свое перо для того или другого спеціальнаго случая по добровольному соглашенію, только перо свое и продаетъ, потому что совѣсти и убѣжденій у него нѣтъ. А упомянутый «честный труженикъ» ихъ продаетъ Боюсь, что этотъ, на иной взглядъ, можетъ, и болѣе достойный снисхожденія, видъ продажности, дѣйствительно, имѣетъ у насъ нѣкоторое распространеніе, не такое, однако, чтобы стоило оскорбляться не только фактомъ, хотя бы даже единичнымъ, а и его распространенностью, и въ особенности фатальностью его распространенія. Многое здѣсь зависитъ отъ общаго положенія нашей литературы, измѣнить которое мы не властны, но если бы «честные труженики» были, дѣйствительно, таковыми, они могли бы противостоять «хозяевамъ». Какой-нибудь Пепко можетъ, ради куска хлѣба, сочинять для трущобнаго хормейстера цыганскіе романсы, не имѣя никакого влеченія къ этому виду творчества, — Бѣлинскій не Пепкѣ чета, а и то ему приходилось, ради куска хлѣба, писать обо всякой дряни. И это уже достаточно унизительно и огорчительно. Но писать противъ совѣсти... Въ неизбѣжность этого и во всемогущество «капитала» въ этомъ смыслѣ,—можетъ вѣрить г. Остолоповъ, торгующій бархатомъ и еще чѣмъ-то подъ фирмой Аравина, который соблазнился, надо думать, благозвучностью своей фамиліи и желаніемъ видѣть ее, въ качествѣ издательской подписи, подъ каждымъ номеромъ «Театральной Газеты», нынѣ благополучно провалившейся. Ну, и пусть его вѣритъ, а мы погодимъ.

— — —

Что манитъ юношей на тернистый путь литературы? Что держитъ на немъ людей, искушенныхъ опытомъ? Но для юношей это, прежде всего, не тернистый путь, а, напротивъ, устланный розами безъ шиповъ и лаврами: заработокъ, слава, возможность громко, во всеуслышаніе, тысячамъ людей сказать свое слово. Въ однихъ сильнѣе говоритъ одинъ изъ соотвѣтственныхъ мотивовъ, въ другихъ—другой, въ третьихъ—третій, но вѣрнѣе, что всего по немножку, и все это, еще не дифференцировавшееся, не опредѣлившееся, не вполнѣ сознанное, сливается въ тайный голосъ призванія. Обманчивый можетъ быть голосъ, и въ такомъ случаѣ человѣку близко ли, далеко ли грозитъ горькое разочарованіе, обида, а дальше, можетъ быть, и озлобленіе и всякая пакость. Порфирій Петровичъ Кукушкинъ—не юноша, правда, но въ качествѣ начинающаго, на положеніи юноши—смиренно перенесъ свою неудачу и, убѣдившись, что сунулся въ воду, не спросясь броду, стушевался въ какой-то провинціальной канцеляріи. Такъ бываетъ, но далеко не всегда и даже, можетъ быть, очень рѣдко. Неудачникъ толкается въ одну дверь, въ другую, въ пятую, десятую, и которая нибудь, можетъ быть, наконецъ, и отверзнется передъ нимъ. И хорошо еще, если это будетъ только Остолоповская, гдѣ онъ долженъ будетъ «потрафлять хозяину» въ матеріяхъ болѣе или менѣе безразличныхъ или чисто личныхъ, потому что я не полагаю г. Остолопова тираномъ по части политическихъ, этическихъ, философскихъ или научныхъ убѣжденій. А бываетъ и много хуже. Впрочемъ, и г. Остолоповъ, въ невинности своей не помѣшаетъ, вѣроятно, нашему неудачнику мстить тѣмъ дверямъ, въ которыя онъ, неудачникъ, напрасно толкался. А эта месть можетъ завести очень далеко; такъ далеко, что мнѣ не хочется сегодня углубляться во мракъ этой дали, примѣры которой мнѣ хорошо извѣстны.

Не все же неудачники. Есть люди, которые либо съ первыхъ же шаговъ своихъ на литературномъ поприщѣ, либо послѣ нѣкоторыхъ мытарствъ, съ тріумфомъ шествуютъ до самой могилы, и самая эта могила украшается вѣнками, надъ ней говорятся похвальныя, скорбныя рѣчи, раздаются надгробныя рыданія; и еще долго, долго послѣ этого обще-обязательнаго конца живетъ писатель въ памяти благодарнаго потомства, ищущаго въ его произведеніяхъ художественнаго наслажденія или поученія, отдыха отъ житейскихъ тревогъ и дрязгъ или возбужденія къ бодрой дѣятельно-

сти. Такихъ счастливцевъ мало, конечно. Мало въ особенности такихъ, которые въ своемъ тріумфальномъ шествіи не терпѣли бы предательскихъ ударовъ судьбы ни по одному изъ трехъ побужденій, толкнувшихъ и затѣмъ удерживающихъ ихъ на литературномъ пути. Что касается заработка, то упомянутый г. Бахтіаровъ, по поводу Достоевскаго, не совсѣмъ безъ основанія замѣчаетъ: «геніальные писатели, властители думъ своего вѣка, никогда при жизни не бываютъ такъ вознаграждены за свой трудъ, какъ послѣ смерти». Это немножко слишкомъ категорично и обобщенно сказано, но совершенно вѣрно по отношенію къ Достоевскому. Я помню, какъ послѣ его смерти въ окнахъ книжныхъ магазиновъ во множествѣ появились старыя, давно забытыя и въ свое время не разошедшіяся изданія разныхъ его сочиненій и какъ они нарасхватъ раскупались. Четыре посмертныя изданія полнаго собранія сочиненій дали, по вычисленію г. Бахтіарова, не менѣе 300,000 руб. дохода. А между тѣмъ, при жизни онъ всегда былъ въ долгахъ, перебивался «авансами», писалъ лучшія свои произведенія на срокъ и на спѣхъ. Но за то Достоевскій пользовался славой, упивался ею, особенно послѣ Пушкинскаго праздника, почти даже до ребячества, и имѣлъ полную возможность открыто, десяткамъ тысячъ людей проповѣдовать то, что онъ считалъ истиной. Возьмемъ другой примѣръ—Салтыкова. Этотъ не зналъ нужды и имѣлъ всегда достаточно обезпеченный заработокъ. Его писанія на срокъ и на спѣхъ истекали не изъ матеріальной необходимости, хотя онъ и любилъ говорить о ней, а изъ неудержимой потребности неустанно писать. И слава вѣнчала его. И тѣмъ не менѣе—«литература освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце»... Иныхъ бѣда настигаетъ еще на одномъ пунктѣ.

Есть благодѣтельная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, почти ужасная черта души—привычка. Фантастическій нѣмецъ совсѣмъ было пріучилъ свою лошадь не ѣсть, какъ вдругъ она околѣла. Но вплоть до этого предѣла можно, кажется, ко всему привыкнуть. И это хорошо, потому что если бы ядовитыя стрѣлы жизни каждый разъ вонзались въ живое, ненамозоленное мѣсто, въ мѣсто, къ которому ядъ не привитъ предыдущимъ горькимъ опытомъ,—жить было бы совершенно невозможно. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, это именно почти ужасно. Жизнь не только ядовитыми стрѣлами разстрѣливаетъ человѣка. Въ ней и радостей много. А привычка въ этомъ

направленіи мозолитъ душу, и радость теряетъ свой яркій цвѣтъ, свое благоуханіе. Это уже само по себѣ составляетъ изъянъ, вычетъ изъ суммы возможнаго счастія: выдохшійся цвѣтокъ ничѣмъ не отличается отъ того, который никогда не пахнулъ. Но этого мало. Дѣло было бы сравнительно очень просто, если бы все обезцвѣчивающая, все покрывающая лишенными чувствительности мозолями привычка не держала бы васъ около обезцвѣченнаго, выдохшагося предмета привычки. Но она держитъ, и этимъ создаются разныя двусмысленныя, комическія, унизительныя и даже прямо трагическія положенія, выдти изъ которыхъ, безъ ущерба человѣческому достоинству, можно только при сильномъ контролѣ сознанія и напряженіи воли. Это очень обыкновенная и всѣмъ знакомая исторія въ супружескихъ и вообще любовныхъ дѣлахъ, много разъ разсказанная романистами. Предметъ любви, когда-то, можетъ быть, страстной, обезцвѣтился привычкой, «догорѣли огни, облетѣли цвѣты», но привычка же все крѣпче вяжетъ узелъ, хотя изъ за предмета былой любви не ясно, не вполнѣ сознанно выглядываетъ уже другой образъ. Что здѣсь настоящее и что—не настоящее, это можно рѣшить, только поднявшись надъ смутностью безсознательнаго и давши себѣ строгій отчетъ въ своихъ чувствахъ. А это не легко. Такъ и въ прочихъ дѣлахъ, не столь часто эксплуатируемыхъ романистами. Sa Majesté l'Habitude смѣло можетъ быть поставлена рядомъ съ извѣстнымъ Sa Majesté le Hasard, и тяжко бываетъ ея иго для тѣхъ, кто не умѣетъ его во время сбросить. Да еще вопросъ, всегда ли она благодѣтельна и въ тѣхъ случаяхъ, когда защищаетъ своими мозолями отъ ядовитыхъ стрѣлъ. Въ узкомъ смыслѣ маленькаго благополучія, конечно, да; но кто хочетъ большого счастія, тотъ знаетъ, что лучше быть недовольнымъ человѣкомъ, чѣмъ довольной свиньей.

Такъ вотъ эта самая привычка налагаетъ свою обезцвѣчивающую руку и на литературную дѣятельность и подчасъ жестокія шутки шутитъ съ нашимъ братомъ писателемъ. Иному давно бы пора уже убѣдиться, что нѣтъ въ немъ настоящаго желанія говорить съ читателемъ, въ томъ или другомъ убѣждать его, отстаивать одно и бороться съ другимъ; что не манитъ его и слава—штука пріятная, но трудно достижимая, отвѣтственная и безпокойная; что изо всѣхъ мотивовъ, когда-то въ молодости толкнувшихъ его на дорогу литературы, только и осталось, можетъ быть, что заработокъ. Онъ это, можетъ быть, даже смутно чувствуетъ.

Но привычка (кромѣ, конечно, заработка), та самая привычка, которая стерла позолоту съ мечты его молодости, суетъ ему въ руку перо, подсовываетъ бумагу, и онъ выводитъ этимъ перомъ по этой бумагѣ вялыя, безжизненныя слова. Это не совсѣмъ то, что называется «человѣкъ исписался». Бѣлинскій такъ описывалъ моментъ, когда ему показалось, что онъ исписался: «Взялся было за работу—не могу—лихорадочный жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть, я не могу работать! Стало быть мнѣ надо искать мѣста въ больницѣ!.. Дѣло прошлое, а я и самъ ѣхалъ за границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ».

Бѣлинскій былъ не изъ тѣхъ, которые исписываются. Его могло окончательно свалить переутомленіе, доведенное до какой-нибудь формы психическаго разстройства. Но за вычетомъ этой возможности, онъ былъ слишкомъ воспріимчивъ, чтобы не быть отзывчивымъ, не говоря о талантѣ. Если бы, однако, съ нимъ это случилось, если бы онъ исписался, то ужъ дѣйствительно дѣло шло бы «не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ». Писать только по привычкѣ онъ не могъ бы. Если сказать, что онъ слишкомъ привыкъ къ литературному труду вообще, чтобы избрать себѣ какой-нибудь другой родъ дѣятельности, то это будетъ вѣрно, но здѣсь привычка въ одну сторону осложняется непривычкой во всѣ другія. А шутить надъ собой шутки онъ ни въ какомъ случаѣ не позволилъ бы привычкѣ. И благо тѣмъ, кто не становятся ея рабами, въ комъ до конца дней бьетъ большой ли, малый ли, но настоящій источникъ необезцвѣченной жизни, хотя бы въ другихъ отношеніяхъ имъ и не везло и хотя бы самое это неподчиненіе привычкѣ имъ дорого обходилось. А между тѣмъ, плоская, обезцвѣчивающая, мертвящая привычка нерѣдко ждетъ въ концѣ поприща писателей, начавшихъ удачей и широкими мечтами. Они, такъ сказать, ѣдятъ свой обѣдъ на выворотъ: начинаютъ сладкимъ блюдомъ и кончаютъ щами. Для начала это, можетъ быть, голодно, но за то сладко, а для конца... щами, конечно, пропитаться можно, но это сѣро и скудно,

даже и въ томъ случаѣ, если въ нихъ и имѣется нѣсколько вываренныхъ лавровыхъ листьевъ.

Таковы нѣкоторыя далеко, конечно, не исчерпанныя, терніи на пути литературнаго удачника. (И мнѣ очень жаль, что я не могу ихъ здѣсь исчерпать). Но у насъ есть одинъ единственный писатель,—«великій писатель земли русской», который никогда не зналъ ни одного изъ перечисленныхъ терніевъ литературнаго пути. Въ самомъ дѣлѣ, если есть у насъ писатель, объ которомъ можно сказать, что онъ въ сорочкѣ родился, такъ это гр. Л. Н. Толстой. Прежде всего, художественный талантъ, равнаго которому нѣтъ ни въ одной изъ современныхъ литературъ, даже самыхъ богатыхъ. И ничто постороннее, внѣ самого гр. Толстого лежащее, никогда не насиловало этотъ талантъ, не мѣшало ему блистать всѣми переливами его радуги. Нужды гр. Толстой не зналъ и если интересовался когда литературнымъ заработкомъ, то лишь по тому соображенію, что отчего же не взять, и много взять, если много даютъ Слава уже давно трубитъ его имя и чѣмъ дальше, тѣмъ громче, такъ что едва ли найдется теперь въ Европѣ и Америкѣ много литературныхъ именъ, столь же славныхъ. Аудиторія его громадна, и каждое его слово раздается по всему цивилизованному міру. О писаніи по привычкѣ въ особенности не можетъ быть рѣчи по отношенію къ гр. Толстому, который неустанно являетъ міру примѣры самой рѣшительной раздѣлки со всякими привычками. Можно даже сказать, что въ послѣднее время значительная часть дѣятельности гр. Толстого сводится къ борьбѣ съ привычками во имя извѣстнаго идеала, и онъ ведетъ эту борьбу какъ въ жизни, такъ и въ литературѣ, со страстною вѣрою въ свою правоту и въ свои силы. Сомнѣній, колебаній, неувѣренности, охлажденія интереса къ тому, о чемъ онъ пишетъ,—онъ не знаетъ. Словомъ, гр. Толстой—фигура вполнѣ исключительная въ русской литературѣ, никогда въ ней небывалая, совершенно независимо отъ оригинальности его воззрѣній. Онъ могъ бы держаться совсѣмъ иныхъ взглядовъ,—да вѣдь онъ не разъ ихъ и мѣнялъ—и всетаки оставаться тѣмъ исключительнымъ счастливцемъ, которому могли бы позавидовать и Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, и потомъ Достоевскій, Некрасовъ, Салтыковъ, даже Тургеневъ. Говорю «даже» Тургеневъ, потому что это былъ тоже большой баловень судьбы. Но, не говоря объ томъ, что онъ былъ имъ вообще всетаки въ меньшей степени, чѣмъ Толстой, его душу точилъ одинъ червь, по-

слѣднему почти незнакомый, и во всякомъ случаѣ незнакомый теперь.

Вспомнимъ «Довольно»: «Мы — творцы на часъ, какъ былъ, говорятъ, калифъ на часъ. Въ этомъ наше преимущество и наше проклятіе: каждый изъ этихъ «творцовъ» самъ по себѣ именно онъ, не кто другой, именно это я, словно созданъ съ преднамѣреніемъ, съ предначертаніемъ; каждый болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному,—и живетъ, долженъ жить въ мгновеніи и для мгновенья. Сиди въ грязи, любезный, и тянись къ небу! Величайшіе изъ насъ—именно тѣ, которые глубже всѣхъ сознаютъ это коренное противорѣчіе; но въ такомъ случаѣ, спрашивается, умѣстны ли слова: величайшій, великій? Что же сказать о тѣхъ, къ которымъ, при всемъ желаніи, нельзя примѣнить эти имена, даже въ томъ значеніи, которое придаетъ имъ слабый человѣческій языкъ? Что сказать объ обыкновенныхъ, дюжинныхъ, второстепенныхъ, третьестепенныхъ труженикахъ, кто бы они ни были,—государственные люди, ученые, художники, особенно художники? Чѣмъ заставить ихъ стряхнуть свою нѣмую лѣнь, свое унылое недоумѣніе, чѣмъ привлечь ихъ опять на поле битвы, если только мысль о тщетѣ человѣческаго, всякой дѣятельности, ставящей себѣ болѣе высокую задачу, чѣмъ добываніе насущнаго хлѣба, закралась имъ въ голову! Какими вѣнками прельстятся они—они, для которыхъ и лавры, и терніи стали равно незначительны?»

Это очень точно и опредѣленно сказано: «Чѣмъ привлечь ихъ *опять* на поле битвы?... Какими вѣнками прельстятся они, для которыхъ лавры и терніи *стали* равно незначительны»? Рѣчь идетъ не о тѣхъ «неживших», которые, еще ничего не видя, чувствуютъ въ себѣ бореніе между вѣчностью и мгновеніемъ, не всегда даже, дѣйствительно, оскорбляясь этимъ положеніемъ, а просто кокетничая имъ. Рѣчь идетъ о такихъ, которые побывали на полѣ жизненной битвы, волновались ея процессомъ и исходомъ, наслаждаясь торжествомъ побѣды и терзаясь позоромъ и болью пораженія, и только съ теченіемъ времени уравняли лавры и терніи въ общей сферѣ «незначительности». Отчего это произошло? Теоретически, разумомъ они вѣдь и прежде понимали или могли понимать, что ничто не вѣчно подъ луною и что каждый человѣкъ есть въ нѣкоторомъ родѣ калифъ на часъ, какъ бы ни былъ онъ великъ, могучъ и славенъ, и какъ бы ни растянулся, хотя-бы на цѣлые вѣка, тотъ

«часъ», который ему отпущенъ. Но это не мѣшало имъ участвовать въ битвѣ, и если они теперь относятся къ дѣлу иначе, такъ это не потому, что они убѣдились въ томъ, что имъ и раньше было извѣстно, а благодаря все тѣмъ же мозолямъ привычки, которыя сдѣлали для нихъ нечувствительными—и уколы терній, и прикосновеніе лавровъ, благодаря привычкѣ и, разумѣется, тому общему пониженію энергіи, которое сопровождаетъ старость.

Извѣстно, что Тургеневъ вовсе ужъ не былъ такъ нечувствителенъ къ разницѣ между лаврами и терніями, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи его собственныхъ произведеній. Но всетаки меланхолически-пессимистическій тонъ, въ зависимости отъ мысли о бренности и ничтожествѣ всякой человѣческой дѣятельности, все болѣе и болѣе окрашивалъ собою его произведенія. Совсѣмъ другое мы видимъ у гр. Толстого. Была, правда, мрачная полоса, когда онъ усомнился въ цѣнности какого бы то ни было участія въ жизни, но, во-первыхъ, не совсѣмъ ясны источники этого временнаго мрака, а во-вторыхъ,—онъ былъ не только временный, а, повидимому, и кратковременный, и гр. Толстой быстро воспрянулъ, чтобы съ новою силою завоевать себѣ еще большую аудиторію, не теряя и прежней. Въ его лицѣ судьба какъ бы сдѣлала опытъ, показавъ намъ почти недосягаемый образчикъ писателя, поставленнаго въ исключительно благопріятныя условія: могучій талантъ, свобода отъ всякихъ внѣшнихъ препятствій или затрудненій для предъявленія его, сохраненная до старости энергія, бодрость духа, отзывчивость. Если, однако, образчикъ недосягаемъ во всей своей полнотѣ для заурядныхъ писателей, не обладающихъ этою дивною силою таланта, удрученныхъ заботами о кускѣ хлѣба и другими трудностями, менѣе способныхъ сопротивляться мертвящему дѣйствію привычки, то онъ всетаки остается поучительнымъ, какъ идеалъ, къ которому слѣдуетъ стремиться и къ которому до извѣстной степени можно приблизиться.

Каковы же наиболѣе общія черты литературной дѣятельности гр. Толстого, независимо отъ разныхъ перемѣнъ въ его образѣ мыслей и отъ тѣхъ чисто личныхъ особенностей, которыя обусловливаются исключительнымъ баловствомъ судьбы? Мнѣ такъ часто случалось писать о гр. Толстомъ, да и вообще объ немъ писано такъ много, что я, конечно, не думаю здѣсь, въ бѣглыхъ замѣт-

кахъ, сказать что-нибудь новое или исчерпывающее. Я хочу только кое-что напомнить. И для этого достаточно нѣсколькихъ словъ.

Много ли, мало ли кладетъ гр. Толстой труда и времени на изученіе человѣческой души и человѣческихъ отношеній, составляющихъ главный предметъ его писательскаго вниманія,—неизвѣстно. Но во всякомъ случаѣ всѣ его картины и портреты отличаются поразительною правдивостью, которая зависитъ не только отъ силы таланта, но и отъ его, такъ сказать, неподкупности. Толстой никогда и ни ради какихъ бы то ни было соображеній не постѣснится изобразить фактъ, какъ онъ есть или какъ ему въ данную минуту представляется. Если-бы нужно было это доказать, я могъ бы привести образчики такой его въ этомъ отношеніи настоящей. простой смѣлости. передъ которой совершенно меркнетъ крикливый, дѣланный «натурализмъ» какого-нибудь Эмиля Зола. И это относится не только къ старымъ его, чисто художественнымъ произведеніямъ. а и къ теперешнимъ, поскольку въ нихъ изображаются факты дѣйствительности и если читатель хоть на время сумѣетъ отрѣшиться отъ своего согласія или несогласія съ принципіальной точкой зрѣнія автора.

Всегдашнее присутствіе этой принципіальной точки зрѣнія составляетъ вторую черту литературной дѣятельности гр. Толстого. Она мѣняется, эта точка зрѣнія, слишкомъ даже часто мѣняется, но она всегда есть,—и на этотъ разъ надо прибавить: не только въ теперешнихъ произведеніяхъ его, а и въ старыхъ. Въ высшей степени комичную роль играютъ тѣ критики, которые, призывая насъ къ поклоненію или служенію «чистому искусству», въ то же время восторгаются произведеніями гр. Толстого и ставятъ ихъ въ образецъ другимъ писателямъ. Цѣлое море художественной красоты разлито въ произведеніяхъ гр. Толстого. Но въ самый составъ этой красоты входятъ два элемента: правдивость изображенія дѣйствительности, какъ она есть, безъ прикрасъ и урѣзокъ, и оцѣнка ея съ точки зрѣнія извѣстнаго нравственно-политическаго принципа или идеала. Теперь гр. Толстой выдѣляетъ эту оцѣнку въ видѣ особыхъ разсужденій, то же самое онъ дѣлалъ иногда и прежде, отъ своего ли собственнаго лица, какъ въ «Войнѣ и мирѣ», или отъ имени кого-нибудь изъ дѣйствующихъ лицъ, но обходился и безъ этихъ внѣшнихъ пріемовъ, не оставляя, однако, никакихъ сомнѣній насчетъ истиннаго характера своей оцѣнки.

Читатель скажетъ, можетъ быть, что приведенныя двѣ черты слишкомъ общеизвѣстны, выражены въ слишкомъ общей формѣ и слишкомъ мало подлежатъ какому бы то ни было сомнѣнію, чтобы стоило ихъ подчеркивать именно въ гр. Толстомъ, да еще ставить въ образецъ другимъ. Это не совсѣмъ вѣрно. Новаго я вѣдь ничего не обѣщалъ. Что же касается общности или отвлеченности приведенныхъ двухъ чертъ, то только въ такомъ видѣ на нихъ и можно ссылаться у гр. Толстого, ибо въ своихъ конкретныхъ и частныхъ выраженіяхъ онѣ такъ у него разнообразны, что за ними не угоняешься. Затѣмъ, мы видимъ, что въ художественной критикѣ и доселѣ раздаются презрительные окрики по адресу «морально-цивическихъ мотивовъ», какъ выражается г. Боборыкинъ. Такъ что вторая черта дѣятельности гр. Толстого совсѣмъ уже не такъ общепризнана. О первой чертѣ, о правдивости, этого, повидимому, сказать нельзя, по крайней мѣрѣ, на словахъ она всѣми призывается и благословляется,—кто же рѣшится сказать: я не хочу правды. Не даромъ же, однако, существуютъ поговорки: «правда глаза колетъ», «правду говорить —никому не угодить», «правду говорить—себѣ досадить» и проч. Но дѣло не въ той толькѣ правдѣ, которая обидна Ивану Петровичу или Петру Ивановичу или цѣлой какой-нибудь группѣ ихъ. Отъ такой правды всякому иной разъ приходится воздерживаться по соображеніямъ вѣжливости, собственной безопасности или даже, наконецъ, прямо физической невозможности ее высказать. Но бываетъ правда, которую самому себѣ страшно высказать, по тому мотиву, что «тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ». Мотивъ этотъ часто съѣдаетъ правду, какъ ржавчина желѣзо, почти стихійно, помимо сознанія и воли. Банальный разсказъ о глупомъ страусѣ, который прячетъ голову и, не видя опасности, полагаетъ себя въ безопасности,—осуществляется въ жизни не только глупыхъ страусовъ, а иногда и очень умныхъ людей. Страшно признать въ сердцѣ своемъ или чужомъ извѣстныя складки, въ своихъ и чужихъ поступкахъ извѣстныя побужденія, и писатель ихъ трусливо смазываетъ. Но я говорю не только о беллетристахъ, занимающихся преимущественно движеніями человѣческой души, а о писателяхъ вообще. Не говоря о людяхъ завѣдомо, сознательно лгущихъ ради разныхъ стороннихъ соображеній, мало ли у насъ, напримѣръ, публицистовъ, которые, трусливо закрывая глаза на изъяны нашей общественной жизни,

считаютъ себя настоящими патріотами, или, идеализируя мужика, какимъ онъ сложился тысячелѣтней тяжкой долей, думаютъ, что въ этомъ и состоитъ и должно состоять «народничество». И наоборотъ, есть какъ публицисты, такъ и беллетристы, и вообще всякаго рода и формы писатели, которые не закрываютъ глазъ передъ фактами дѣйствительности, а, если позволено будетъ такъ выразиться, разѣваютъ передъ ними ротъ. Фактъ они видятъ и не скрываютъ его ни отъ себя, ни отъ другихъ, но онъ придавливаетъ ихъ до такой степени, что они отказываются и отъ суда надъ нимъ, и отъ надежды повліять на него, хотя эта возможность, можетъ быть, и есть, не у такого-то имярека, конечно, а вообще у рукъ человѣческихъ. Беллетристъ остается при этомъ на ступени недоумѣлаго созерцанія и воспроизведенія, публицистъ—на констатированіи факта или приглашенія плыть по теченію, каково бы оно ни было.

Если читатель приметъ во вниманіе всѣ намѣченныя обстоятельства, онъ согласится, можетъ быть, что двѣ вышеуказанныя черты литературной дѣятельности гр. Толстого, дѣйствительно, настолько значительны, что могутъ, въ своей связи и взаимности, составить идеалъ писателя. Этотъ идеалъ немыслимъ, конечно, ни для Порфирія Петровича Кукушкина, наивно влюбленнаго въ своихъ «Мотыльковъ» и въ свои «Океаны», ни для блестящаго ординарца Скобелева. Но онъ живетъ, можетъ быть, хоть и слабымъ огонькомъ тлѣетъ, въ душахъ Порфиръ Порфирыча, полковника Фрея, Пепки. Поглощаемыя ими водка и пиво не украшаютъ ихъ добродѣтелями, но они заливаютъ, можетъ быть, цѣлую драму несбывшихся надеждъ, разбитыхъ мечтаній; драму, а можетъ, и комедію, водевиль.

И гр. Л. Н. Толстой, хоть и безспорно въ сорочкѣ родился, а въ частностяхъ и въ его литературной жизни не безъ драматическихъ эпизодовъ. Ему знакомы, конечно, муки недовольства своими созданіями, недовольства, обыкновенно болѣе сильнаго у людей талантливыхъ, чѣмъ у бездарныхъ. Бываютъ, конечно, и талантливые самодовольцы или самодовольные таланты, но, вообще говоря, всякій неудавшійся штрихъ, всякое отклоненіе пера отъ того, что предносилось писателю въ идеѣ, больнѣе чувствуется талантливымъ человѣкомъ, чѣмъ бездарностью. Талантливый человѣкъ часто даже преувеличиваетъ значеніе какой-нибудь неудачной, по его мнѣнію, подробности своего произведенія, въ

особенности, если онъ касается излюбленнаго имъ типа, портрета или положенія. Но у гр. Толстого бывали поводы для недовольства не только исполненіемъ, а и самымъ содержаніемъ своихъ произведеній. Это зависитъ отъ чрезвычайной перемѣнчивости его мнѣній, изъ которыхъ каждому онъ отдается съ такою же чрезвычайною страстностью, доводя его до послѣднихъ предѣловъ своего кругозора и отметая все прошлое. Ему, независимому, никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняемому, приходилось дописывать «пошлую, скучную А. Каренину». Это его подлинное выраженіе въ письмѣ къ Фету; остается только неизвѣстнымъ,—чѣмъ именно былъ онъ недоволенъ въ прославленномъ романѣ, формой или содержаніемъ. Послѣднее весьма возможно. Трудно установить съ точностью—хотя самъ графъ объ этомъ разсказывалъ, — когда, кромѣ второстепенныхъ измѣненій взглядовъ, въ немъ произошелъ коренной и крутой переворотъ, заставившій его взглянуть на всю его предыдущую литературную дѣятельность, какъ на «службу и потворство ложному ученію нашего міра». Но таковъ во всякомъ случаѣ фактъ. Дѣло не въ томъ, какъ мы, читатели и почитатели гр. Толстого, относимся къ его произведеніямъ, а въ его собственномъ сознаніи и собственной его совѣсти. И сознаніе нанесеннаго когда-то людямъ нравственнаго ущерба «службою и потворствомъ ложному ученію нашего міра» должно тѣмъ мучительнѣе точить гр. Толстого, что не «когда-то» только нанесъ онъ этотъ ущербъ, а продолжаетъ его наносить и теперь, и это продолжится, можетъ быть, еще цѣлые вѣка. Слава Богу, мы продолжаемъ читать и перечитывать «Войну и миръ», «Казаковъ», «Севастопольскіе разсказы» и проч., почерпая въ нихъ наслажденіе и поученіе,—такъ думаемъ мы, а по мнѣнію автора впитываемъ въ себя «ложное ученіе нашего міра». Въ своемъ новомъ умоположеніи графъ, между прочимъ, выразилъ необыкновенное презрѣніе къ «головной работѣ чистыхъ господъ», то есть къ наукѣ, смѣялся надъ глупостью тѣхъ, кто изучаетъ «какъ бѣгаютъ лейкоциты въ крови», сурово бранилъ врачей и проч. Но вотъ онъ является на съѣздъ естествоиспытателей и врачей. Является, не замѣшавшись какъ-нибудь въ толпѣ, а въ той самой, подпоясанной ремнемъ блузѣ, которая—онъ, конечно, это очень хорошо знаетъ — обращаетъ на него особенное вниманіе въ толпѣ «чистыхъ господъ» во фракахъ, сюртукахъ и пиджакахъ. «Чистые господа», всѣ эти интересующіеся тѣмъ, какъ бѣ-

гаютъ лейкоциты въ крови и т. п., устраиваютъ ему шумную овацію. За что? Конечно, не за взгляды гр. Толстого на науку,— кто же самъ себя сѣчь будетъ? - а за то наслажденіе и поученіе, которыя они и доселѣ черпаютъ изъ его «службы и потворству ложному ученію нашего міра»... Въ виду этого, положеніе гр. Толстого было бы въ высокой степени трагично, если бы не еще нѣкоторые счастливые для него лично дары природы, которые, однако, вмѣстѣ съ тѣмъ извращаютъ драгоцѣннѣйшія свойства Л. Н. Толстого... Я объ нихъ теперь распространяться не буду.

Въ настоящую минуту меня не самъ и не весь гр. Толстой занимаетъ, а лишь постольку, поскольку въ его литературной дѣятельности отражается отвлеченно вѣрное общее положеніе: фактъ есть фактъ, и разъ онъ существуетъ, онъ долженъ быть признанъ, какъ бы онъ ни былъ страшенъ, унизителенъ, непріятенъ; но совсѣмъ другое дѣло — обращеніе факта въ принципъ или изъятіе его, только потому, что онъ фактъ, изъ вѣдѣнія суда человѣческой мысли и воздѣйствія человѣческихъ рукъ. Рѣчь идетъ, конечно, о фактахъ, проходящихъ черезъ человѣческія руки, а не о тѣхъ процессахъ природы, за исходъ которыхъ люди не отвѣтственны. Одинъ изъ такихъ процессовъ напомнилъ гр. Толстой въ «Крейцеровой сонатѣ». Земля кончится, говорилъ онъ, это знаютъ и богословы, съ одной стороны, и люди спеціальнаго знанія — астрономы, геологи — съ другой. Странный выводъ, который онъ отсюда извлекъ — необходимость отреченія отъ половой любви — меня здѣсь не касается. Но это memento mori всего, насъ питающаго, волнующаго, радующаго, оскорбляющаго, можетъ быть приведено въ связь съ тѣмъ невѣріемъ въ прогрессъ, которое гр. Толстой выразилъ уже очень давно, еще въ 60-хъ годахъ, повторяя, впрочемъ, Руссо. Въ самомъ дѣлѣ, близокъ ли, далекъ ли неизбѣжный конецъ, но онъ неизбѣженъ, и неизвѣстно, какъ встрѣтитъ его человѣчество: въ грязи грѣха и въ крови ближняго своего или же мирно и не постыдно. Это дѣло, по всѣмъ видимостямъ, столь отдаленнаго будущаго, что практически мы не только можемъ не принимать его въ соображеніе, но и не можемъ принимать. Но грозное memento mori намекаетъ во всякомъ случаѣ на тщету оптимистическаго фатализма, полагающаго, что впереди человѣчество ожидаетъ непремѣнно что-то свѣтлое, какъ результатъ стихій-

ныхъ процессовъ природы и послѣдовательныхъ историческихъ наслоеній. Если это свѣтлое когда-нибудь наступитъ, то оно будетъ заработано нравственнымъ сознаніемъ и волею человѣка на счетъ стихійныхъ силъ. А затѣмъ, человѣчеству остается еще такъ долго жить, что мы даже себѣ и представить не можемъ, при всѣхъ усиліяхъ воображенія, что останется отъ нашихъ теперешнихъ понятій о «свѣтломъ» и какъ они видоизмѣнятся не только къ концу послѣдней части романа земли, а даже и безъ отдаленнѣйшаго сравненія раньше. Рѣка временъ смыла множество философскихъ системъ, научныхъ взглядовъ, практическихъ опытовъ, славныхъ именъ. Такъ было, такъ и будетъ, и слава славнѣйшихъ, хотя бы того же гр. Толстого, померкнетъ. Это-то и приводило Тургенева въ отчаяніе, которое онъ такъ меланхолически красиво выразилъ въ своемъ «Довольно». Однако, меланхолія меланхоліей, а жить всетаки надо. Каждый изъ насъ знаетъ, что онъ умретъ, но это не мѣшаетъ намъ каждый день обѣдать, поддерживая, доколѣ возможно, свое бренное тѣло; и дѣлаемъ мы это, соображаясь, то просто съ содержимымъ своего кармана, то съ указаніями діэтетики, гастрономіи, даже этики (какъ тотъ же гр. Толстой, который, однако, кушая горохъ и капусту, не отказывается отъ полушубка, сапоговъ и ремня на блузѣ, а это все отъ «убоины» получается). Дѣло здѣсь въ аппетитѣ, незаглушимой потребности питанія, не справляющейся ни съ вчерашнимъ, ни съ завтрашнимъ днемъ. Предусмотрительность заставляетъ меня, разумѣется, думать о завтрашнемъ днѣ, но собственно потребности питанія нѣтъ дѣла до того, что я вчера ѣлъ, а завтра опять захочу ѣсть: я сейчасъ голоденъ. А человѣкъ не о единомъ хлѣбѣ живетъ. Что мнѣ за дѣло до того, что, можетъ быть, чрезъ какихъ-нибудь нѣсколько десятковъ лѣтъ новыя открытія науки съ одной стороны (вѣдь передъ нами еще необозримое поле) и новыя формы жизни съ другой (вѣдь въ насъ еще звѣрь сидитъ), безъ остатка смоютъ мое теперешнее міросозерцаніе. Пусть такъ, я постараюсь заглянуть и въ будущее, насколько смогу, но сейчасъ вотъ моя правда, вотъ что удовлетворяетъ моей потребности теоретической истины, практическаго познанія добра и зла и дѣятельнаго участія въ общей жизни современниковъ. Въ выработкѣ такого міросозерцанія и состоитъ всегда единая и вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно текучая задача литературы. Текучесть задачи можетъ смущать «отжившихъ и не жив-

шихъ». «Горячо любившіе, остатокъ жизни сохранившіе», а тѣмъ болѣе любящіе и живущіе, если они при этомъ и мыслящіе, передъ этимъ не остановятся. Не въ этомъ бѣда, а въ тѣхъ трудностяхъ, которыя представляетъ исполненіе задачи въ настоящую минуту. Есть люди, обращающіеся съ этими трудностями крайне просто. Вотъ, напримѣръ, гр. Толстой не хочетъ знать ни лейкоцитовъ, ни вообще результатовъ «головной работы чистыхъ господъ». Не то, что онъ самъ этой спеціальной риботой не хочетъ заниматься, это само собою разумѣется, но онъ не хочетъ и чужія работы принимать во вниманіе, не только въ ихъ спеціальныхъ подробностяхъ, а и въ общихъ выводахъ. Въ очищенномъ такимъ образомъ отъ науки пространствѣ, легко, конечно, разрубать всякіе житейскіе узлы обнаженнымъ мечомъ морали. Есть, наоборотъ, люди, вооружающіеся столь же исключительно мечомъ «науки» (дѣйствительно ли это наука—вопросъ особый) и при помощи г о отрубающіе на прочь вопросы нравственные. Этимъ, конечно, етоже легко. Совсѣмъ иное положеніе людей, убѣжденныхъ въ томъ, что теоретическимъ знаніемъ такъ же мало можно утолить алканія совѣсти, какъ и накормить голоднаго, а выкидывать знаніе за бортъ было бы невыгодно и въ томъ случаѣ, если бы это было возможно...

XI *).

Нѣчто о бѣдствіяхъ существенныхъ и красныхъ вымыслахъ.—О гг. Маковскомъ, Рѣпинѣ, Новооскольцевѣ. — Фламаріонъ, г. Мечниковъ и Бертело о грядущихъ судьбахъ человѣчества.

Ахъ, не все намъ слезы горькія
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ,
На минуту позабудемся
Въ чарованьи красныхъ вымысловъ...

Это, однако, гораздо легче предложить, чѣмъ выполнить. Чувствительный поэтъ слишкомъ ужъ рѣзко отдѣлилъ поэзію, вообще искусство, отъ дѣйствительности, въ которой онъ видитъ только достойныя горькихъ слезъ бѣдствія, тогда какъ «вымыслы» у него почему то все «красные», чарующіе. И мнѣ кажется, что это неправильно. Въ настоящую минуту, впрочемъ, начиная съ 23 апрѣ-

*) 1894, май.

ля, въ Москвѣ засѣдаетъ первый съѣздъ русскихъ художниковъ и любителей художествъ, который займется, вѣроятно, между прочимъ, и разборомъ отношеній искусства къ дѣйствительности и все это намъ разъяснитъ и властно установитъ истину. Ему и книги въ руки. Боюсь, однако, что съѣздъ не оправдаетъ возлагаемыхъ на него нѣкоторыми слишкомъ уже большихъ надеждъ. Въ мартовскомъ номерѣ журнала «Артистъ» выражено не только желаніе, а и надежда или, по крайней мѣрѣ, предположеніе, что «Третьяковскіе дни» (съѣздъ совпадаетъ съ передачей городу Москвѣ знаменитой Третьяковской галлереи) приравняются «Пушкинскимъ днямъ», происходившимъ въ Москвѣ же четырнадцать лѣтъ тому назадъ. Почтенный журналъ вспоминаетъ «тотъ общественный подъемъ, тотъ торжественный духъ братства, который охватилъ въ Пушкинскіе дни нашу интеллигенцію», и думаетъ, что это возможно и теперь въ «Третьяковскіе дни». Я этого не думаю. Не потому, конечно, чтобы передача въ общественную собственность единственнаго въ своемъ родѣ собранія художественныхъ произведеній представляла, какъ поводъ для торжества и ликованія, нѣчто менѣе значительное, чѣмъ открытіе памятника великому поэту. Дѣло здѣсь не въ поводѣ, а именно въ томъ, по выраженію «Артиста», «общественномъ подъемѣ», который пользуется поводомъ. И не надо быть пророкомъ, чтобы предсказать, что «Третьяковскимъ днямъ» будетъ до Пушкинскихъ, какъ до звѣзды небесной, далеко. Но, конечно, это не исключаетъ возможности прекрасныхъ рѣчей и интересныхъ рефератовъ на съѣздѣ русскихъ художниковъ и любителей художествъ.

Смущаетъ меня только то обстоятельство, что ни въ спискѣ членовъ распорядительнаго комитета, ни въ числѣ, по крайней мѣрѣ, первыхъ ораторовъ нѣтъ нѣкоторыхъ именъ, безъ которыхъ какъ-то даже трудно себѣ представить подобное торжество въ настоящую минуту. Какой такой съѣздъ русскихъ художниковъ и любителей художествъ безъ «фанфаръ и тромпетъ» В. В. Стасова, равно компетентнаго во всѣхъ отрасляхъ искусства? Почему нѣтъ П. Д. Боборыкина, такъ горячо отстаивающаго принципъ «чистаго искусства» въ своихъ теоретическихъ статьяхъ и такъ искусно ниспровергающаго его въ своихъ романахъ и повѣстяхъ? Полонъ ли съѣздъ безъ И. Е. Рѣпина, который, въ поискахъ «новаго слова» въ искусствѣ, такъ запутался въ своихъ статьяхъ «Театральной Газеты» и «Недѣли», что надо же ему, наконецъ, распутаться?

Отсутствіе этихъ и еще многихъ другихъ свѣдущихъ людей заставляетъ меня опасаться, что и послѣ съѣзда недоумѣніе, вызываемое во мнѣ вышеприведенными словами чувствительнаго поэта, не разъяснится, и мы, профаны, будемъ такъ же предоставлены въ этомъ отношеніи своимъ собственнымъ средствамъ. какъ и до съѣзда...

Какъ бы ни разсудили свѣдущіе люди, а мы, профаны, отлично знаемъ, что и въ дѣйствительности, и въ искусствѣ

...раненый олень лежитъ,
А лань здоровая смѣется.
Одинъ заснулъ, другой не спитъ—
И такъ на свѣтѣ все ведется!

Никогда не согласимся мы, профаны, на такое раздѣленіе труда между жизнью и искусствомъ, чтобы на долю первой приходились «бѣдствія» и «слезы горькія», а искусство свелось бы на «чарованіе красныхъ вымысловъ», въ которыхъ можно «забыться». Положимъ, что господа художники насъ не спросятъ (?), но дѣло-то въ томъ, что и сами они, по крайней мѣрѣ, наиболѣе талантливые изъ нихъ, вовсе не обнаруживаютъ исключительнаго стремленія замкнуться въ область чарованья красныхъ вымысловъ. Правда, г. Рѣпинъ, одна изъ самыхъ нашихъ крупныхъ художественныхъ силъ, въ своихъ недавнихъ заграничныхъ письмахъ въ «Театральной газетѣ», отрекается отъ своего прошлаго. Онъ пишетъ, между прочимъ: «Каюсь, для меня теперь только *искусство для искусства* и интересно—само по себѣ. Никакія благія намѣренія автора не остановятъ меня передъ плохимъ холстомъ... И еще разъ каюсь: всякій безполезный пустякъ, исполненный художественно тонко, изящно, со страстью къ дѣлу — восхищаетъ меня до безконечности». Но мнѣ кажется, что г. Рѣпинъ находится во власти нѣкотораго недоразумѣнія. Что «никакія добрыя намѣренія автора» не спасутъ «плохого холста», это само собою разумѣется: плохо такъ плохо. Что же касается «безполезныхъ пустяковъ, восхищающихъ до безконечности» г. Рѣпина, то, не смотря на рѣшительный, почти Стасовскій тонъ этой фразы, я думаю, что она всетаки только фраза. Въ томъ смыслѣ фраза, что г. Рѣпинъ въ дѣйствительности продолжаетъ цѣнить художественныя произведенія не только по ихъ красотѣ, тонкости и изяществу исполненія, а и по ихъ содержанію. Напримѣръ, въ

письмахъ, занятыхъ Краковскими впечатлѣніями, г. Рѣпинъ восторгается не только художественнымъ мастерствомъ только что умершаго Матейки, а и его патріотизмомъ: «да, Матейко имѣлъ великую національную душу и умѣлъ горячо и кстати выражать любовь къ своему народу своимъ творчествомъ». Матейко, значитъ, не былъ служителемъ «искусства для искусства», и это обстоятельство не уменьшаетъ, а увеличиваетъ почтеніе къ нему нашего художника. А вотъ находящуюся въ Краковѣ же картину Семирадскаго «Свѣточи христіанства» г. Рѣпинъ считаетъ плодомъ «искусственнаго возбужденія праздныхъ силъ таланта». Я не знаю, въ чемъ, по мнѣнію г. Рѣпина, состоитъ искусственность возбужденія г. Семирадскаго,—усмотрѣлъ ли онъ ее въ техникѣ исполненія картины или въ самомъ выборѣ ея сюжета, но во всякомъ случаѣ упрекъ въ праздныхъ силахъ таланта не вяжется съ восхищеніемъ, да еще «до безконечности», передъ художественно исполненными «безполезными пустяками».

Нашъ талантливый художникъ, очевидно, далеко не первостепенный мыслитель, по крайней мѣрѣ, не былъ таковымъ, когда писалъ свои заграничныя письма, въ которыхъ не легко связать концы съ концами. Но отъ него мы ждемъ произведеній не пера, а кисти, и, естественно, спросимъ себя, чѣмъ же теперь, послѣ какого-то перелома, покаянія и отреченія, подаритъ насъ г. Рѣпинъ? въ какомъ родѣ будутъ его дальнѣйшія художественныя произведенія? Никто, однако, не отважится, я думаю, предсказывать. И не только потому, что онъ можетъ, подобно Матейкѣ, «горячо и кстати выражать любовь къ своему народу своимъ творчествомъ», а можетъ и «безполезными пустяками» заняться. Оставляя въ сторонѣ всѣ подобныя противорѣчія и сосредоточиваясь на «искусствѣ для искусства», которое г. Рѣпинъ какъ бы оффиціально признаетъ отнынѣ своимъ девизомъ, нельзя не видѣть, что это — безсодержательная фраза, ничего не только не предвѣщающая, но и не предуказывающая. Ее, напримѣръ, упорно твердитъ г. Боборыкинъ, воюя съ «морально-цивическими мотивами» въ своихъ теоретическихъ статьяхъ объ искусствѣ и столь же неустанно пуская ихъ, эти самые «морально-цивическіе мотивы», въ ходъ въ своихъ романахъ и повѣстяхъ, вплоть до печатающагося теперь въ «Вѣстникѣ Европы» романа «Перевалъ».

Среди тумана недоразумѣній, густо облегающихъ пресловутое «искусство для искусства», меня всегда поражала эта практиче-

ская неосуществляемость во всеуслышаніе провозглашаемыхъ теоретическихъ принциповъ, примѣровъ чему можно бы было привести многое множество въ области, какъ беллетристики, такъ и литературной критики. А затѣмъ, любопытно еще слѣдующее обстоятельство. Въ сущности, всѣ безконечныя пререканія о «чистомъ» и не чистомъ искусствѣ сводятся къ одному вопросу: должно ли искусство только помогать забыться «въ чарованьи красныхъ вымысловъ», а мы, зрители и слушатели,—по выраженію Фета, «благоговѣть богомольно передъ святыней красоты», или же искусство можетъ имѣть и другія, болѣе сложныя и отдаленныя цѣли. Есть, однако, одна человѣческая страсть или потребность человѣческой природы, правда, очень могучая, относительно которой обѣ пререкающіяся стороны допускаютъ какое-то странное исключеніе. Это—любовь.

Года три-четыре тому назадъ на академической выставкѣ красовалась цѣлая группа произведеній щегольской кисти К. Е. Маковскаго, номеровъ пятнадцать, и въ центрѣ одной изъ стѣнъ, занятыхъ его картинами и картинками, помѣщалось «пано», а на этомъ пано былъ изображенъ павлинъ, великолѣпный павлинъ съ распущеннымъ радужнымъ хвостомъ. Мысль помѣстить эту великолѣпную птицу въ самомъ центрѣ цѣлой группы картинъ г. Маковскаго—тогда же показалась мнѣ чрезвычайно удачною. Павлиній хвостъ, какъ украшеніе вообще и какъ играющее въ частности значительную роль въ половомъ подборѣ, можетъ служить эмблемой всей художественной дѣятельности г. Маковскаго, гербомъ его, какъ художника. У г. Маковскаго есть ширмы, носилки въ родѣ паланкина, искусно расписанныя амурами и букетами, пано съ павлиньими хвостами. Сами по себѣ эти предметы, можетъ быть, не «безполезныя пустяки», но живопись на нихъ есть несомнѣнно украшеніе, простое, безхитростное украшеніе. Но наяды, русалки, вакханки и прочія раздѣтыя и неодѣтыя дамы г. Маковскаго, это—украшеніе уже осложненное, о которомъ можно сказать словами школьника въ «Фаустѣ»: das sieht schon besser aus! man sieht doch wo und wie! И я васъ спрашиваю: если пьяная нѣга вакханки съ глазами, отуманенными жаждой любви, не выходитъ изъ предѣловъ компетенціи «чистаго» искусства, то почему, напримѣръ, голодъ нищаго или, съ другой стороны, юношеская жажда подвига, или хоть та же молодая женщина, но не раздѣтая и жаждущая не любви, а, положимъ, знанія, могутъ

стать предметомъ только не чистаго искусства? Я просто спрашиваю, безъ задней мысли о какихъ бы то ни было «морально-цивическихъ мотивахъ». Могущество полового чувства, какъ въ грубѣйшихъ, такъ и въ тончайшихъ его проявленіяхъ, безспорно, хотя и едва ли достаточно для оправданія того множества произведеній всѣхъ отраслей искусства, которыя ему посвящены. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что «чистотѣ» искусства мѣшаетъ, будто бы, всякое осложненіе эстетической эмоціи, кромѣ тѣхъ, которыя истекаютъ изъ полового чувства.

Допускаются, впрочемъ, еще нѣкоторыя исключенія, но я объ нихъ распространяться не буду. Суть дѣла все въ томъ же «чарованьи красныхъ вымысловъ». Искусство должно быть украшеніемъ, если не прямо площади или комнаты или какой-нибудь мебели, то украшеніемъ жизни. Программа эта, однако, на дѣлѣ не выполняется ни искусствомъ въ его лучшихъ представителяхъ, ни художественной критикой. Отсюда цѣлый рядъ недоразумѣній.

На московскомъ художественномъ съѣздѣ читалъ, между прочимъ, докладъ д-ръ Викторовъ «О нѣкоторыхъ новыхъ направленіяхъ въ наукѣ объ искусствѣ». Рѣчь, повидимому, шла, главнымъ образомъ, о гипнотизмѣ, но и еще о чемъ-то, что, въ газетныхъ отчетахъ, яснѣе выступаетъ въ рѣчи оппонента г. Викторова— г. Голоушева. «Русскія Вѣдомости» пишутъ: «Д-ръ Голоушевъ, указывая, что, по мнѣнію референта, искусство должно воспроизводить прекрасное, пріятное для человѣка, возражалъ, что назначеніе искусства совершенно иное—воспроизведеніе жизни въ ея дѣйствительныхъ образахъ, пріятныхъ и непріятныхъ. Картина Рѣпина «Иванъ Грозный», произведшая непріятное впечатлѣніе на референта и на лицъ, имъ указанныхъ, изъ которыхъ въ нѣкоторыхъ она производила чувство тошноты, представляетъ тѣмъ не менѣе высокое художественное произведеніе, и желательно, чтобы побольше являлось художниковъ, слѣдующихъ традиціямъ Рѣпина».

Къ сожалѣнію, это и все, что сообщаютъ «Русскія Вѣдомости» объ этомъ любопытномъ эпизодѣ художественнаго съѣзда. Повидимому, г. Викторовъ выразилъ, съ нѣкоторымъ научнымъ антуражемъ, все ту же мысль о чарованьи красныхъ вымысловъ, какъ о единственно законной области искусства. Послѣдовательности ради онъ и долженъ былъ отрицательно отнестись, къ Ивану Грозному» г. Рѣпина. Идя въ томъ же направленіи далѣе. онъ

долженъ былъ бы опровергнуть, напримѣръ, и всего Достоевскаго съ его мрачнымъ творчествомъ. Достоевскій, впрочемъ, и независимо отъ мрачнаго колорита его произведеній, чисто по недоразумѣнію служитъ предметомъ поклоненія сторонниковъ «чистаго» искусства. Всѣ его произведенія проникнуты ярко выраженными своеобразными «морально-цивическими мотивами», которые и подлежатъ суду критики, наравнѣ со степенью и характеромъ его таланта. «Морально-цивическіе мотивы» Достоевскаго могутъ вызвать сочувствіе или даже восторгъ въ однихъ, негодованіе и отвращеніе въ другихъ,—это дѣло нравственно-политическихъ убѣжденій. Сила его таланта несомнѣнна теперь уже, кажется, чуть не для всего цивилизованнаго міра, кромѣ г. Авсѣенки, который остается при особомъ мнѣніи. А что касается характера этого таланта, то я давно уже пытался опредѣлить его словомъ «жестокій талантъ», и слово это, не смотря на пламенные протесты близорукихъ поклонниковъ Достоевскаго, привилось. И мнѣ кажется, что въ «Иванѣ Грозномъ» г. Рѣпина есть та же черта жестокости таланта. Черта эта состоитъ въ охотѣ и умѣньи мучительно играть на нервахъ читателей или зрителей, независимо отъ чисто эстетической эмоціи, иногда даже въ ущербъ ей, но вмѣстѣ съ тѣмъ, и независимо отъ «морально-цивическихъ» идей, исповѣдуемыхъ художникомъ и въ другихъ мѣстахъ того же самаго, можетъ быть, произведенія ярко выступающихъ. Черта эта отнюдь не свойственна г. Рѣпину вообще,—совсѣмъ напротивъ: въ его талантѣ есть нѣчто грубовато добродушное,—но въ «Иванѣ Грозномъ» она есть. Картина эта, конечно, не можетъ служить украшеніемъ, въ смыслѣ «воспроизведенія прекраснаго, пріятнаго для человѣка». Это ужъ, конечно, не павлиній хвостъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, картина не даетъ законченнаго впечатлѣнія, которое можетъ считаться законченнымъ лишь тогда, когда, совершивъ кругъ своего дѣйствія, превращается въ опредѣленныя мысли и чувства, властно подсказанныя или внушенныя художникомъ. Картина г. Рѣпина въ этомъ смыслѣ ничего не даетъ: она только мучительно царапаетъ нервы, что, при сильномъ талантѣ г. Рѣпина, свидѣтельствуетъ объ отсутствіи въ немъ самомъ опредѣленныхъ мыслей и чувствъ по отношенію къ сюжету картины. И, вопреки мнѣнію г. Голоушева, я не думаю, чтобы именно *эта* «традиція Рѣпина» заслуживала поддержки.

Но г. Рѣпинъ и въ «Иванѣ Грозномъ» правдивъ. Страшный моментъ онъ и трактуетъ страшными красками, не пытаясь сдѣ-

лать изъ своей картины «воспроизведеніе прекраснаго, пріятнаго для человѣка». А бываетъ и это. Недалеко ходить—на нынѣшней академической выставкѣ была картина г. Новооскольцева изъ временъ Ивана же Грознаго, представляющая именно такую попытку сдѣлать изъ крови и слезъ конфетку. Картина изображаетъ опричниковъ, хозяйничающихъ въ домѣ опальнаго боярина. Въ центрѣ огромнаго холста лежитъ нагая дѣвушка, это—обезчещенная боярышня. Слѣва сидитъ самъ бояринъ, привязанный къ стулу; немного дальше лежитъ въ полуоборотъ къ зрителямъ его жена, тоже связанная. Справа на заднемъ планѣ два опричника: одинъ, сидя, допиваетъ вино, другой куда-то зоветъ или тащитъ его; вдали еще опричникъ роется въ сундукѣ. Меня особенно поразили двѣ фигуры въ этой картинѣ: голая дѣвушка и одинъ изъ опричниковъ. Дѣвушка лежитъ въ безчувственномъ состояніи, надъ ней только что совершено гнусное насиліе, но она такъ спокойно и условно красиво лежитъ, такъ полно отсутствіе какихъ бы то ни было знаковъ насилія или сопротивленія на ея красивомъ бѣломъ тѣлѣ,—ни царапинки, ни синячка,—что точь въ точь наяда или русалка г. Маковскаго, только много похуже написанная. А опричникъ такой красивый и симпатичный молодецъ, съ весело сверкающими глазами и зубами, въ такомъ чистенькомъ, новенькомъ съ иголочки щегольскомъ кафтанѣ,—тоже «безъ пятна и упрека», безъ капли крови и безъ единой оторванной пуговицы или поврежденнаго позумента,—что хоть сейчасъ его въ маскарадъ отправляй, веселыя любезности дамамъ говорить. Всему этому соотвѣтствуетъ и чисто, такъ сказать, бутафорскій безпорядокъ обстановки: мебель и утварь разбросаны съ такою аккуратностью, что ни малѣйше не напоминаютъ о разгромѣ, происходившемъ тутъ сію минуту. Все дѣло, очевидно, въ красивомъ голомъ женскомъ тѣлѣ и въ красивомъ нарядномъ молодцѣ, то есть въ томъ же павлиньемъ хвостѣ. Павлиньимъ хвостомъ можно любоваться, какъ очень красивой штукой. Но когда вамъ подставляютъ его подъ формой страшной драмы вторженія злодѣевъ въ мирный домъ, всяческихъ насилій и оскорбленій, совершаемыхъ негодяями надъ беззащитными людьми, то, можетъ быть, и г. Викторовъ не найдетъ въ этомъ настоящаго назначенія искусства.

На той же академической выставкѣ была бронзовая группа, названная въ каталогѣ «Бѣдствіе». На какомъ-то фантастическомъ

звѣрѣ, составленномъ на манеръ химеры, только еще посложнѣе, изъ частей разныхъ звѣрей, скачетъ традиціонная смерть, въ видѣ скелета, прикрытаго, впрочемъ, помнится, какой-то мантіей, съ традиціонной же косой въ рукахъ; рядомъ бѣжитъ другой, тоже фантастическій составной звѣрь, ростомъ поменьше. Глядя на эту группу, поневолѣ думается: не очень-то «бѣдствіе» страшно! Олицетворить нынѣ бѣдствіе въ образѣ какой-нибудь химерическій фантазіи—довольно мудрено: у насъ и водосточныя трубы дѣлаются нынѣ, съ цѣлью украшенія, въ видѣ разныхъ страшныхъ составныхъ звѣрей—крылатыхъ змѣй съ пѣтушиными гребнями и т. п.; на каминахъ, этажеркахъ, письменныхъ столахъ стоятъ многоголовые идолы, разжалованные изъ своего божескаго достоинства на степень украшенія, и проч. Не страшно это даже для дѣтей. А простой фактъ самоубійства свидѣтельствуетъ, что есть бѣдствія похуже смерти, въ особенности такой смерти, какъ въ упомянутой группѣ: она почти улыбается. Цѣль якобы страшной драконьей морды, которою оканчивается водосточная труба, совсѣмъ не передача или внушеніе впечатлѣнія ужаса, а просто украшеніе. Таково же и положеніе группы «Бѣдствіе», которая съ успѣхомъ займетъ мѣсто гдѣ-нибудь въ салонѣ, подъ тропическими растеніями, столь же мало возбуждая представленіе о бѣдствіи, какъ и эти тропическія растенія.

Это, конечно, низшій сортъ искусства. Но, признаюсь, мнѣ всетаки «Бѣдствіе» болѣе симпатично, чѣмъ картина г. Новооскольцева, и думаю, что дѣло тутъ не только въ моихъ симпатіяхъ. Задавшись несчастною мыслью выразить въ скульптурѣ—отрасли искусства, имѣющей дѣло исключительно съ формами,—не ту или другую опредѣленную бѣду, а бѣдствіе вообще, бѣдствіе абстрактное, бѣдствіе an sich, художникъ вынужденъ былъ прибѣгнуть къ квази-миѳологическимъ комбинаціямъ страшныхъ звѣрей и къ традиціонному образу смерти съ косой. Онъ выбиралъ для своего вымысла все, что ему казалось наиболѣе страшнымъ, наиболѣе приближающимся къ впечатлѣнію бѣдствія. Положимъ, что страшное давно выдохлось изъ набранныхъ имъ элементовъ, но онъ, во всякомъ случаѣ, не хотѣлъ сдѣлать свой вымыселъ «краснымъ», чарующимъ. Группа «Бѣдствіе» есть ни больше, ни меньше, какъ комнатное украшеніе, но чудовище, на которомъ галлопируетъ смерть, сама эта смерть и скачущее возлѣ нея другое чудовище—не красивы, а, напротивъ, безобразны, намѣ-

ренно безобразны. Цѣлью художника было произвести впечатлѣніе ужаса, но онъ ошибся въ средствахъ. Совсѣмъ другое дѣло г. Новооскольцевъ. Взявъ сюжетомъ своей картины также бѣдствіе, но совершенно опредѣленное, исторически громкое и богатое сложными трагическими эффектами, онъ задался цѣлью произвести на зрителя пріятное впечатлѣніе красоты. Безспорно, что въ числѣ дѣвушекъ, подвергавшихся насиліямъ опричниковъ, были красивыя, равно какъ и между самими опричниками могли быть красавцы и франты. Но художникъ пересолилъ или, вѣрнѣе, пересластилъ. Мимоходомъ сказать, у красавца опричника висятъ на поясѣ собачій черепъ и маленькая метелка, чего, кажется, не бывало: эти атрибуты опричины привязывались къ сѣдлу. Я, впрочемъ, въ этомъ не увѣренъ. Какъ бы то ни было, а ни этотъ черепъ съ метлой, ни красивый кафтанъ опричника не носятъ на себѣ ни малѣйшаго отпечатка борьбы и сопротивленія, точно такъ же, какъ и обнаженное тѣло дѣвушки, и вся ея поза. Если она и раздѣта, то единственно для того, чтобы художникъ могъ нарисовать красивое женское тѣло. На веселомъ и красивомъ лицѣ опричника нѣтъ и слѣда цинизма, животной страсти или звѣрства, а вѣдь не могъ же онъ не быть звѣремъ, разнузданнымъ завѣдомою безнаказанностью за всѣ гнусности, которыя ему вздумается совершить въ опальномъ домѣ. Взявшись изобразить страшную драму, г. Новооскольцевъ сдѣлалъ все возможное и даже невозможное, чтобы затереть въ ней именно драму, ради красоты. Г. Новооскольцевъ, повторяю, уже слишкомъ пересластилъ, потому что даже красота не пострадала бы, если бы у его опричника, ну хоть какъ у Аѳонасія Вяземскаго въ «Князѣ Серебряномъ» гр. Алексѣя Толстого — «бѣлая атласная одежда была истерзана, по ней струилась кровь» — въ моментъ разоренія дома опальнаго боярина Морозова Но г. Новооскольцевъ хотѣлъ явить вполнѣ законченный образчикъ поѣданія жирныхъ коровъ коровами тучными. Такъ Неронъ, разсматривая тѣло убитой по его приказанію Агриппины, любовался ея красивымъ тѣлосложеніемъ. Неронъ былъ чистый художникъ: Агриппина была съ его чисто художественной точки зрѣнія не мать его, не убитая имъ женщина, а только красивое женское тѣло. Такъ внезапно прославившійся декадентъ Лоранъ Тальядъ видѣлъ въ картинѣ динамитнаго взрыва не смерть, не раны и страданія, не страшную смѣсь жестокости и самопожертвованія, не одинъ

изъ симптомовъ соціальной борьбы, а только красивый жестъ человѣка, бросающаго бомбу. Такова вообще спеціально эстетическая точка зрѣнія, отрекающая искусство отъ всѣхъ «морально-цивическихъ мотивовъ». Отсюда и предложеніе перестать «слезы горькія лить о бѣдствіяхъ существенныхъ» и позабыться «въ чарованьи красныхъ вымысловъ».

Дѣло было въ XXV столѣтіи... Странно говорить въ прошедшемъ времени — «было» — о томъ, что должно произойти черезъ нѣсколько вѣковъ. Но такъ именно выражается извѣстный популяризаторъ астрономическихъ знаній Камиллъ Фламаріонъ въ недавно вышедшемъ по-русски сочиненіи «Конецъ міра». Будемъ и мы такъ говорить.

Дѣло было въ XXV столѣтіи. Всѣ жители земли трепетали отъ ужаса, потому что въ самомъ непродолжительномъ времени земля должна была столкнуться съ кометой, и затѣмъ послѣдуетъ катастрофа, въ которой земля погибнетъ. Не всѣ, однако, были такого крайняго мнѣнія, и вотъ Фламаріонъ вводитъ насъ въ публичное засѣданіе парижской академіи, гдѣ представители различныхъ отраслей знанія высказываютъ свои взгляды на неизбѣжно предстоящее событіе. Первымъ говоритъ директоръ парижской обсерваторіи. Онъ говоритъ, что предстоящее столкновеніе земли съ кометою есть несомнѣнный фактъ, но послѣдствія этого столкновенія, можетъ быть, и не такъ уже страшны, какъ ихъ рисуетъ напуганное воображеніе слушателей. Соображаясь съ вѣроятнымъ химическимъ составомъ кометы, ораторъ полагаетъ, что «только люди со слабыми легкими пострадаютъ; это будетъ простая инфлуэнца, которая увеличитъ втрое или впятеро цифру ежедневной смертности». Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, ядро кометы содержитъ въ себѣ огромныя минеральныя массы, которыя, падая на извѣстныя мѣстности на землѣ, уничтожатъ на нихъ все; но такъ какъ $^3/_4$ земного шара покрыты водой, да и на сушѣ есть не мало пустынь, то существуетъ вѣроятность, что и это паденіе огромныхъ тяжелыхъ массъ не причинитъ людямъ большого вреда. Но, кромѣ удушливаго газа и огромныхъ твердыхъ массъ, опасность грозитъ еще со стороны множества болидовъ, которые произведутъ безчисленные пожары: дѣйствіе нынѣшнихъ взрывчатыхъ веществъ — дѣтская забава въ сравненіи съ тѣмъ, что

можетъ случиться. Однако, говоритъ ораторъ, «даже и эти ужасы не могутъ привести ко всемірному разрушенію; нѣсколько городовъ, обращенныхъ въ пепелъ, не могутъ остановить исторію человѣчества».

Слѣдующій ораторъ, президентъ медицинской академіи, смотритъ на дѣло гораздо мрачнѣе; онъ предвидитъ не частную и мѣстную катастрофу, а погибель всего человѣческаго рода и всего, имъ созданнаго въ теченіе вѣковъ. И т. д. Одинъ за другимъ встаютъ ораторы и излагаютъ, каждый съ своей точки зрѣнія. гипотезы о прекращеніи жизни на землѣ. Въ засѣданіи присутствуютъ и представители духовенства, время отъ времени вставляя и свое слово. Такъ, по поводу рѣчи одного астронома, кардиналъ архіепископъ замѣчаетъ, что его соображенія подтверждаются и Церковью: «Небеса съ шумомъ прейдутъ, говоритъ ап. Петръ, стихіи, разгорѣвшись, разрушатся, земля и всѣ дѣла на ней сгорятъ». По поводу словъ одного геолога, помощникъ архіепископа говоритъ: «Тогда буквально потвердятся слова Св. Писанія: всякая долина наполнится, всякая гора и холмъ опустится». Въ концѣ концовъ, резюмируя пренія, предсѣдатель, очевидно выражающій мнѣніе самого Фламаріона, объявляетъ. что столкновеніе съ кометой неизбѣжно, но по всей вѣроятности ограничится частной катастрофой. Что же касается окончательнаго прекращенія жизни на землѣ, то оно можетъ наступить черезъ 30 милліоновъ лѣтъ, если вѣрна такая-то гипотеза, или черезъ 10 милліоновъ, если вѣрна такая-то. Фламаріонъ склоняется, повидимому, къ послѣдней цифрѣ, потому что вторая часть его произведенія, гдѣ изображается смерть послѣднихъ людей, называется «Черезъ десять милліоновъ лѣтъ». Столкновеніе же съ кометой, въ разсказѣ Фламаріона, дѣйствительно разрѣшается страшной, но частной катастрофой. Въ Европѣ число жертвъ ея равнялось одной сороковой части населенія. Но затѣмъ «пробѣлы не замедлили пополниться усилившейся рождаемостью, какъ это и прежде случалось послѣ войнъ; земля продолжала вращаться вокругъ солнца, и человѣчество стремилось къ совершенству»...

Всѣ подобныя произведенія по необходимости изображаютъ не столько то отдаленное будущее, которое хотятъ изобразить, сколько настоящее въ его надеждахъ и опасеніяхъ. Теоріи, излагаемыя въ разсказѣ Фламаріона разными учеными спеціалистами въ засѣданіи парижской академіи XXV вѣка. по необходимости отра-

жаютъ въ себѣ состояніе знаній въ концѣ XIX вѣка и, черезъ пятьсотъ лѣтъ, несомнѣнно, либо обветшаютъ, либо настолько утвердятся, что между ними не будетъ того разногласія, какое изображаетъ Фламаріонъ. И всетаки это самый яркій, такъ сказать, вершинный пунктъ его фантазіи. Какъ астрономъ, человѣкъ науки теоретическаго познанія и, въ частности, предвидѣнія, но не воздѣйствія, онъ болѣе или менѣе твердыми штрихами рисуетъ грядущее стихійное событіе и шансы его результатовъ. Въ такомъ же положеніи оказываются подъ его перомъ геологи, метеорологи, отчасти химики и физики. Говорю «отчасти», потому что въ произведеніи фантастическомъ химикамъ и физикамъ могла бы быть приписана, при данныхъ условіяхъ, роль, весьма отличная отъ роли астрономовъ, геологовъ и матеорологовъ. Даже не особенно пылкая фантазія можетъ представить себѣ къ XXV вѣку такое развитіе науки, которое допуститъ извѣстное воздѣйствіе даже на такія стихійныя событія, какъ столкновеніе земли съ кометою. Но мысль Фламаріона отказывается работать въ этомъ направленіи. Онъ лишь вскользь упоминаетъ о какихъ-то «утопистахъ, которые, увлекаясь разными фантазіями, вообразили, что сильный электрическій вѣтеръ, произведенный громадными баттареями, расположенными на той сторонѣ земного шара, гдѣ произойдетъ столкновеніе, можетъ свернуть комету съ ея пути». Точно также мимоходомъ упоминаетъ онъ о томъ, что «химики придумывали средство спасти часть кислорода въ атмосферѣ; изыскивали способъ отдѣлить этотъ газъ отъ азота и собрать его въ герметически закупоренные стеклянные сосуды»; «придумывали», «изыскивали», но такъ все это ничѣмъ и кончилось. А между тѣмъ, техника, основанная на физикѣ и химіи, достигла высокой степени развитія. Любопытно, что она оказала особенно важныя услуги именно спеціальности Фламаріона—астрономіи. На одной изъ вершинъ Гималаевъ, на высотѣ 8000 метровъ надъ уровнемъ моря, была построена обсерваторія, снабженная такими оптическими инструментами, что при помощи ихъ получилась «возможность разбирать іероглифическіе знаки, которые напрасно уже нѣсколько тысячелѣтій посылали намъ обитатели Марса». Ученымъ обитателямъ Гауризанкарской обсерваторіи могло бы плохо придтись отъ холода и разрѣженнаго воздуха, но «помощью электро-химическихъ открытій уничтожались на много верстъ вокругъ святилища вѣчные снѣга»; «наука и промышленность достигли того, что смягчили холодъ,

собирая и сохраняя солнечные лучи». И астрономы оказались достойными этихъ услугъ науки и промышленности. «Уже девять или десять поколѣній нѣсколькихъ семействъ астрономовъ проживали на азіатской горѣ, медленно и постепенно привыкая къ разрѣженной атмосферѣ; первыя поколѣнія быстро умирали», но послѣдующія самоотверженно замѣняли убылыхъ, и дѣло акклиматизаціи, наконецъ, совершилось: на склонахъ Гималаевъ поселилась цѣлая колонія астрономовъ. Но и въ другихъ мѣстахъ были прекраснѣйшія обсерваторіи и при нихъ благороднѣйшіе астрономы. Напримѣръ, парижская обсерваторія была «убѣжищемъ мира, гдѣ царило полное согласіе; астрономы съ безкорыстіемъ посвящали всю свою жизнь только успѣхамъ науки, любили другъ друга и никогда не испытывали зависти; каждый, забывая свои собственныя заслуги, думалъ только о томъ, чтобы выдвинуть заслуги своихъ товарищей». Немудрено, что такіе благороднѣйшіе дѣятели двигали и распространяли свою науку. Вотъ что. между прочимъ, предшествовало столкновенію кометы съ землей: «Въ первые дни послѣ открытія кометы ее можно было видѣть только съ помощью сильныхъ экваторіальныхъ телескоповъ обсерваторій. Но вскорѣ образованная публика стала сама ее разыскивать. Всякій домъ современной постройки имѣлъ верхнюю террасу, назначенную для воздушныхъ экипажей. На многихъ изъ нихъ устраивались вертящіеся куполы. Не было ни одной сколько-нибудь состоятельной семьи, въ распоряженіи которой не находился бы телескопъ, и ни одна квартира не считалась полной, если въ ней не было библіотеки, снабженной хорошимъ выборомъ научныхъ книгъ... Что касается рабочаго класса, у котораго свободныя минуты на перечетъ, то для нихъ на всѣхъ площадяхъ были поставлены телескопы, и съ перваго же вечера, когда комета стала видна, и въ послѣдующіе вечера, уличные астрономы сбирали невѣроятное количество денегъ. Но большинство рабочихъ, особенно въ провинціи, имѣли собственные телескопы».

Послѣднее обстоятельство особенно хорошо оттѣняетъ успѣхи астрономіи: свободныя минуты у рабочихъ будутъ и черезъ пятьсотъ лѣтъ на перечетъ,—«наука и промышленность» ничего въ этомъ отношеніи не измѣнятъ,—но за то у нихъ будутъ собственные телескопы, или, по крайней мѣрѣ, «невѣроятное количество денегъ» для уплаты уличнымъ астрономамъ за науку.

Что же будетъ въ XXV столѣтіи съ другими элементами со-

временнаго общества, напримѣръ, съ католичествомъ, которое, какъ извѣстно, не всегда ладило съ астрономіей? всякое вѣдь тутъ бывало,—и униженіе Галилея, и костры, и отлученія. Въ XXV столѣтіи все это уладится, и, рядомъ съ чрезвычайными успѣхами астрономіи, папа Пій XVIII подтвердитъ провозглашенный въ 1870 г. догматъ папской непогрѣшимости и провозгласитъ новый догматъ—папской «божественности», который и будетъ принятъ на вселенскомъ соборѣ большинствомъ 451 голоса противъ 88. «Правда, что между современными прелатами были (то есть будутъ) и такіе, которые смотрѣли на католическую религію съ соціальной точки зрѣнія, насколько она играла роль въ дѣлѣ цивилизаціи, но перевѣсъ былъ на сторонѣ искренно вѣрующихъ, да, кромѣ того, папы послѣднихъ вѣковъ были образцами мудрости, добродѣтели и святой жизни».

Совсѣмъ не такова будетъ литература, по крайней мѣрѣ, газетная, о которой только и говоритъ Фламаріонъ. «Уже давно всѣ газеты стали лишь коммерческими предпріятіями. Единственной задачей ихъ было продать какъ можно больше листовъ, «устроить свои дѣла»; въ этомъ былъ весь вопросъ. Онѣ сочиняли новости подкапывались подъ прочность государства, искажали истину, безславили мужчинъ и женщинъ, разсѣевали всюду скандалы, лгали съ безстыдствомъ, разъясняли пріемы воровъ и убійцъ и, такимъ образомъ, какъ бы безсознательно увеличивали число преступленій; онѣ указывали на новоизобрѣтенныя взрывчатыя вещества, ставили въ опасность своихъ читателей и за-разъ измѣняли всѣмъ классамъ общества съ единственною цѣлью возбудить въ высшей степени общее любопытство и какъ можно болѣе продать отдѣльныхъ номеровъ».

Газеты и предстоящее столкновеніе земли съ кометой эксплуатировали съ цѣлью наживы. Одно время, впрочемъ, повидимому, и онѣ пріуныли. Въ это время все вообще пріуныло и затихло—доброе и злое. «Только женское кокетство еще не поддавалось, да и оно было только наружное, торопливое, эфемерное, не думающее о завтрашнемъ днѣ». Но вотъ, въ упомянутомъ уже публичномъ засѣданіи парижской академіи, предсѣдатель, стараясь успокоить и ободрить слушателей, бросилъ, между прочимъ, такую фразу: «если бы биржа не была закрыта и я имѣлъ бы несчастіе устраивать тамъ свои дѣла, то я, не колеблясь, купилъ бы государственныя процентныя бумаги, которыя такъ внезапно

и сильно упали». Фразу эту подцѣпилъ одинъ изъ слушателей, «знаменитый американскій еврей, финансовый тузъ», владѣлецъ телефонныхъ линій, соединявшихъ Парижъ со всѣми главными городами всего свѣта, и издатель большой газеты «XXV вѣкъ». Человѣкъ этотъ немедленно выскочилъ изъ залы засѣданія и телефонировалъ своему компаньону въ Чикаго, чтобы онъ возобновилъ дѣла и скупилъ за безцѣнокъ всѣ имѣющіяся въ предложеніи цѣнныя бумаги. Разсчетъ основывался на разницѣ во времени въ Парижѣ и въ Чикаго: когда въ Парижѣ четыре часа по полудни, въ Чикаго только десять часовъ утра. Поэтому представитель фирмы въ Чикаго успѣлъ скупить бумаги на сотни милліоновъ, и понятны чудовищные размѣры барыша. Но «финансовый тузъ» взялъ хорошій барышъ и на своей газетѣ, которая, на не остывшей еще, можно сказать, отъ катастрофы землѣ, самымъ безсовѣстнымъ образомъ спекулировала сенсаціонными ложными извѣстіями...

Какъ бы то ни было, катастрофа окончилась сравнительно благополучно и, какъ мы видѣли, «земля продолжала вращаться вокругъ солнца, и человѣчество стремилось къ совершенству...»

Какое, однако, человѣчество, и къ какому совершенству? Человѣчество астрономическое съ его познаніями и добродѣтелями? или биржевое съ его неутолимой жаждой наживы? или газетное съ его безстыдствомъ и продажностью? или католическое съ его кощунственнымъ обожествленіемъ папы? Фламаріону не приходятъ въ голову, эти, казалось бы, неизбѣжные вопросы, и, заглядывая въ еще болѣе отдаленное будущее, онъ продолжаетъ: «Цѣлые вѣка и періоды слѣдовали одинъ за другимъ, и человѣчество постепенно росло въ прогрессѣ, наукѣ и счастьи». Ну, а объ астрономіи и говорить нечего. «Астрономія достигла своей цѣли: она узнала природу другихъ міровъ. Даже около сорокового вѣка дошли до того, что часто сообщались съ ближайшими изъ нихъ. Философія и религія отнынѣ основывались на астрономіи, на всемірной наукѣ». Ясно, что для Фламаріона прогрессъ астрономіи составляетъ такой огромный плюсъ, въ которомъ исчезаютъ всѣ минусы, и мы имѣемъ, такимъ образомъ, новый образчикъ спеціализаціи мысли.

Г. Новооскольцевъ знаетъ, что при вторженіи опричниковъ въ дома опальныхъ людей происходили ужасы и безобразія. Онъ не только знаетъ, а и изображаетъ это, но даетъ своему изображенію

такое освѣщеніе, что гнусность насилія и страданія его жертвъ тонутъ въ красотѣ женскаго тѣла, мужского лица и одежды. Такъ и Фламаріонъ. Не совсѣмъ ясно его отношеніе къ грядущему догмату божественности папы — есть нѣкототорыя основанія думать, что онъ къ нему не рѣшительно отрицательно относится... Но подлость продажныхъ писакъ и дѣльцовъ, пользующихся всеобщимъ бѣдствіемъ для ловкихъ спекуляцій, превосходящая все, доселѣ въ этомъ родѣ видѣнное, совершенно для него ясна. И, однако, это не мѣшаетъ ему отмѣчать прогрессъ, продолженіе совершенствованія человѣческаго рода, собственно потому, что астрономія процвѣтаетъ и астрономы добродѣтелями блещутъ. Кто не знаетъ усилій, направляемыхъ въ настоящее время теоріей и практикой во всѣхъ европейскихъ странахъ на предметъ сокращенія рабочаго времени. Знаетъ это, конечно, и Фламаріонъ, но у него и черезъ полъ-тысячи лѣтъ рабочіе не имѣютъ досуга, и это не смущаетъ его, потому что у рабочихъ есть за то собственные телескопы. Все произведеніе написано ad majorem astronomiae gloriam. Вторая часть, озаглавленная «Черезъ десять милліоновъ лѣтъ», изображаетъ конецъ земли, какъ обитаемой планеты, а эпилогъ — «Послѣ конца земного міра» — угасаніе солнца и всей его системы, а затѣмъ столкновеніе двухъ угасшихъ солнцъ и возникновеніе новыхъ міровъ съ новой жизнью. Разсказъ объ этихъ событіяхъ, конечно, очень блѣдный и скудный—на нѣсколькихъ страничкахъ—подернутъ нѣкоторой мистической дымкой, но главный его интересъ состоитъ всетаки въ астрономическомъ предвидѣніи. Какъ у г. Новооскольцева бѣдствіе опальныхъ людей является только поводомъ для изображенія женскаго тѣла и красивыхъ кафтановъ, такъ у Фламаріона бѣдствіе всѣхъ обитателей земли является только поводомъ для торжества астрономіи. (Прошу не думать, что я имѣю хотя малѣйшее желаніе сравнивать таланты или міросозерцанія французскаго ученаго и нашего живописца, — тутъ даже немыслимы никакія параллели: я только беру примѣры спеціализаціи мысли, примѣры во всѣхъ другихъ отношеніяхъ слишкомъ различной цѣнности).

Есть въ книжкѣ Фламаріона, какъ мы уже отчасти знаемъ, и другія, не спеціально астрономическія предвидѣнія. Но, занятый своей спеціальной точкой зрѣнія, Фламаріонъ устанавливаетъ эти побочныя для него предвидѣнія, что называется, спустя рукава,

не заботясь объ ихъ взаимномъ соотвѣтствіи и гармоніи. Попробуемъ сопоставить нѣкоторыя изъ нихъ съ соотвѣтственными предвидѣніями другихъ ученыхъ людей.

Астрономы будутъ добродѣтельными, самоотверженными людьми, астрономія будетъ процвѣтать и станетъ, въ качествѣ «всемірной науки», центральнымъ, всеопредѣляющимъ пунктомъ философіи и религіи, то-есть будетъ имѣть преимущественное умственное и нравственное вліяніе на человѣчество. Однако, и другія науки будутъ прогрессировать. Такъ, между прочимъ, «химія достигла способа выдѣлывать сахаръ, бѣлковину, крахмалъ, жиры, экстракты воздуха, воды и растеній изъ самыхъ разнообразныхъ соединеній въ извѣстной пропорціи углерода, водорода кислорода, азота и т. д.». Въ то же время «обработка земли производилась электрическими приспособленіями; водородъ добывался изъ морской воды; пользовались водопадами, приливами и отливами, примѣняя всюду ихъ силу, видоизмѣненную въ свѣтъ; солнечные лучи, собранные лѣтомъ, расходовались зимой, вслѣдствіе чего времена года почти сгладились, особенно съ тѣхъ поръ, какъ подземные колодцы доставляли на поверхность земли внутреннюю теплоту земного шара». Все это началось въ неизвѣстное, въ точности, время, повидимому, въ XXX столѣтія и во всякомъ случаѣ послѣ XXV-го, отмѣченнаго въ исторіи вселенной столкновеніемъ съ кометой. Какъ видите, ждать человѣчеству остается довольно долго. Но вотъ недавно французскій ученый, только химикъ, — Бертело, произнесъ на годичномъ банкетѣ синдикальной камеры химическихъ производствъ рѣчь, въ которой всѣ перечисленныя блага обѣщаетъ отъ имени химіи, осуществить несравненно раньше. Собственно замѣна нынѣшнихъ пріемовъ обработки земли физико-химическими способами должна произойти черезъ какихъ-нибудь сто лѣтъ. А вскорѣ затѣмъ послѣдуетъ и непосредственная утилизація солнечной теплоты и центральной земной теплоты при помощи колодцевъ въ 3000—4000 метровъ глубиной, и искусственная фабрикація пищи прямо изъ химическихъ элементовъ. Химія, такимъ образомъ, произведетъ коренной переворотъ во всемъ обиходѣ человѣческой жизни. Земельная собственность совершенно утратитъ свое теперешнее значеніе, содержать скотъ для убоя не будетъ никакой надобности, человѣкъ станетъ мягче, нравственнѣе...

Вотъ что совершитъ, по словамъ химика, химія, задолго до

того, какъ астрономы, по словамъ астронома, съ точностью предскажутъ моментъ столкновенія земли съ кометой, а знаменитый биржевой дѣлецъ наживетъ милліоны на этой катастрофѣ...

Возьмемъ другой примѣръ.

Мы видѣли, что почти наканунѣ страшной катастрофы XXV вѣка, когда всѣ страсти затихли, всѣ умы смутились, «только женское кокетство еще не поддавалось», хотя и оно было «только наружное, торопливое, эфемерное, не думающее о завтрашнемъ днѣ». Въ это время было нѣсколько замѣчательныхъ ученыхъ женщинъ, и именно астрономовъ, но въ общемъ женскія слабости остались, значитъ, неприкосновенными. Такъ было, повидимому, и позже, гораздо позже. Вотъ описаніе женщины *пятидесятаго* вѣка: «Женскій мозгъ всегда меньше мужского и работаетъ онъ тоже иначе (его необыкновенная воспріимчивость подчиняетъ женщинъ больше вліянію чувства, чѣмъ сужденію ума), голова женщины маленькая, лобъ небольшой, но эта голова такъ изящно держалась теперь на гибкой граціозной шеѣ, плечи и бюстъ такъ роскошны, что она болѣе, чѣмъ когда либо, возбуждала восхищеніе мужчинъ и всей своей фигурой, и необыкновенной кротостью взгляда, со сладострастнымъ ртомъ, и вьющимися локонами шелковистыхъ волосъ».

А затѣмъ пошла, для услажденія мужскихъ вкусовъ, такая женская красота, что развѣ только г. Новооскольцеву этакую нарисовать:

«Женская красота достигла совершенства; ихъ тонкія таліи, такъ отличавшіяся отъ полноты древнихъ гречанокъ, тѣло прозрачной бѣлизны, мечтательные глаза, длинные шелковистые волосы, которые изъ прежнихъ темныхъ и бѣлокурыхъ перешли всѣ въ рыжеватый оттѣнокъ—цвѣтъ заходящаго солнца, смягчавшійся гармоническими оттѣнками; древняя животная челюсть исчезла, превратившись въ идеальный маленькій ротикъ; и передъ этими очаровательными улыбками, при видѣ этихъ ослѣпительныхъ жемчужинъ въ нѣжно-розовой оправѣ, дѣлалось непонятнымъ, какъ могли влюбленные первобытныхъ лѣтъ такъ горячо цѣловать губы первыхъ женщинъ съ ихъ звѣриными зубами, образцы которыхъ сохранялись въ этнографическихъ музеяхъ».

Въ нѣкоторое, тоже неизвѣстное, но тоже очень отдаленное время, «измѣненія въ женской организаціи грозили опасностью

продолженію человѣческаго рода, такъ какъ рождались только мальчики. Равновѣсіе возстановилось только благодаря коренному соціальному преобразованію. Въ нѣкоторыхъ странахъ свѣтскія женщины перестали дѣлаться матерями, находя бремя материнства крайне неудобнымъ для ихъ изящества, и предоставили этотъ трудъ простымъ деревенскимъ женщинамъ».

Не видно, по крайней мѣрѣ, изъ русскаго перевода книжки Фламаріона, въ чемъ будутъ состоять тѣ измѣненія женской организаціи, которыя поведутъ къ рожденію исключительно мальчиковъ, и въ чемъ будетъ состоять то коренное соціальное преобразованіе, которое возстановитъ равновѣсіе въ этомъ отношеніи. Но все, что намъ сообщаетъ Фламаріонъ о будущихъ женщинахъ, рѣшительно ничего не говоритъ о какихъ бы то ни было измѣненіяхъ не только въ ихъ организаціи, а и въ ихъ общественномъ положеніи. Пройдутъ вѣка, а онѣ все будутъ дѣлиться на «свѣтскихъ женщинъ» и «простыхъ деревенскихъ женщинъ». Только къ первымъ и относится предвидѣніе того «изящества», ради котораго онѣ откажутся отъ материнства, и надо думать поэтому, что онѣ же предъявятъ образчики той плѣнительной красоты, передъ которой должна стыдливо померкнуть теперешняя женская красота, и той неунывающей кокетливости, которая не оставитъ ихъ даже наканунѣ грозной небесной катастрофы. Mais c'est tout comme chez nous! Это тѣ же щедринскія «куколки», только въ теченіе вѣковъ усовершенствовавшія свои «атуры». Даже смѣшно становится, когда вспомнишь при этомъ, что «человѣчество росло въ прогрессѣ, наукѣ и счастіи». Казалось бы, развѣ только какой-нибудь безнадежный шалопай или «мышиный жеребчикъ» можетъ думать,—если онъ вообще когда-нибудь объ этомъ предметѣ задумается, — что «куколки» переживутъ вѣка. Но вотъ оказывается, что это думаетъ почтенный, серьезный астрономъ, усматривающій своимъ проницательнымъ взглядомъ даже ту неизмѣримо отдаленную отъ насъ пору, когда погибнетъ естественною смертью вся солнечная система, и на ея мѣстѣ возникнутъ новые міры. Такова сила спеціализаціи мысли, и я опять невольно вспоминаю г. Новооскольцева, усмотрѣвшаго столько красоты въ разгромѣ опальныхъ людей опричниками и просмотрѣвшаго неизбѣжныя подробности этой мерзости. Г. Новооскольцевъ—«чистый» художникъ, пропускающій сквозь пальцы «морально-цивическіе мотивы» и потому дающій не только одно-

стороннее, а и прямо ложное освѣщеніе избранной имъ темѣ. Фламаріонъ — «чистый» астрономъ; онъ какъ бы самъ превращается въ ходячій телескопъ, видящій чрезвычайно далеко и въ то же время не видящій того, что у него, такъ сказать, передъ самымъ носомъ дѣлается. Ибо кое-что дѣлается же въ направленіи, прямо противоположномъ увѣковѣченію «куколки»: роль куколки становится все менѣе привлекательною для все болѣе значительнаго числа женщинъ, да и вкусы и идеалы мужчинъ претерпѣваютъ соотвѣтственныя измѣненія.

Въ числѣ мужчинъ для насъ теперь особенно любопытно отмѣтить одного знаменитаго русскаго ученаго, не такъ давно изложившаго тоже нѣкоторыя свои предвидѣнія по части будущихъ женщинъ. Разумѣю г. Мечникова. Онъ—біологъ и, въ качествѣ таковаго, остановился именно на томъ, что астрономъ Фламаріонъ обошелъ,—на возможныхъ въ будущемъ измѣненіяхъ организаціи женщинъ и соотвѣтственныхъ измѣненіяхъ ихъ общественнаго положенія, поскольку послѣднія зависятъ отъ первыхъ. Между прочимъ, центральный пунктъ его предвидѣній совпадаетъ съ одною мыслью Фламаріона, но съ чрезвычайно важнымъ и характернымъ различіемъ. По г. Мечникову извѣстная часть женщинъ, въ силу измѣненія ихъ организаціи, окажутся въ будущемъ безплодными или, какъ выражается Фламаріонъ, «перестанутъ дѣлаться матерями», но это будутъ не свѣтскія женщины, а ученыя или вообще преданныя умственнымъ занятіямъ; и не ради сохраненія «изящества» будетъ это достигнуто, а въ видахъ содѣйствія успѣхамъ положительнаго знанія. Оба ученые, какъ и подобаетъ ученымъ, видятъ въ наукѣ первенствующій факторъ цивилизаціи; оба считаютъ современныхъ женщинъ, сравнительно съ мужчинами, существами, уже по самой ихъ физической организаціи низшими (мнѣніе Фламаріона мы только что видѣли, а г. Мечниковъ называетъ современныхъ женщинъ «личинкоподобными» существами). Но затѣмъ Фламаріонъ, хотя и провидитъ въ будущемъ нѣсколько экземпляровъ ученыхъ женщинъ, — и, по странной непослѣдовательности или особенной галантности автора, это будутъ служительницы науки наукъ, «всемірной науки», астрономіи,—но въ общемъ женщины распадутся на «простыхъ деревенскихъ», которыя будутъ рожать и работать, и «свѣтскихъ», которыя будутъ блистать изяществомъ въ превосходной степени. Иначе смотритъ на будущее г. Мечниковъ. Онъ тоже провидитъ

распаденіе на два класса—безплодныхъ и плодовитыхъ, но первыя, надо думать, вовсе не будутъ блистать физическимъ изяществомъ или, по крайней мѣрѣ, не оно будетъ ихъ существеннымъ признакомъ, а умственное развитіе и умственный трудъ, на поприщѣ котораго онѣ сравняются съ мужчинами, ибо выйдутъ изъ своего «личинкоподобнаго» состоянія.

Въ своихъ предвидѣніяхъ г. Мечниковъ опирается, кромѣ общихъ началъ измѣнчивости и наслѣдственности, на нѣкоторыя аналогіи изъ жизни насѣкомыхъ. Исходя изъ тѣхъ же общихъ началъ и тѣхъ же самыхъ аналогій, но прибавляя къ нимъ еще преданіе объ «амазонкахъ», ученая француженка Клемансъ Ройе провидитъ не уравненіе одного класса женщинъ съ мужчинами, а такое же преобладаніе женщинъ вообще надъ мужчинами, какимъ теперь пользуются мужчины надъ женщинами. Ей видятся въ будущемъ человѣческомъ обществѣ тѣ «чудеса женскаго (femelle) генія, которыя нисколько не удивляютъ насъ у насѣкомыхъ и которыя мы находимъ вполнѣ естественными у пчелъ и у муравьевъ». Основываясь въ подробностяхъ на біологическихъ данныхъ, г. Мечниковъ въ общемъ руководствуется правиломъ: «непосредственною нашею цѣлью должно быть все то, что можетъ въ наибольшей степени содѣйствовать успѣхамъ положительнаго знанія». Нашему брату, профану, мудрено, конечно, согласиться съ такимъ исключительнымъ рѣшеніемъ вопроса о непосредственныхъ цѣляхъ жизни. Но ученый спеціалистъ, послѣдовательно проводя свою мысль въ примѣненіи къ частному случаю, натурально приходитъ къ тому заключенію, что ради успѣховъ положительнаго знанія слѣдуетъ отрѣшить извѣстную часть женщинъ отъ половой дѣятельности. Г-жа Клемансъ Ройе, въ качествѣ женщины, идетъ дальше и провидитъ общественный переворотъ, имѣющій поставить женщинъ на мѣсто мужчинъ...

Что же намъ дѣлать въ виду всѣхъ этихъ такъ трудно согласимыхъ пророчествъ, число которыхъ можно вѣдь было бы еще значительно увеличить?

Prophete links, Prophete rechts,
Das Welt-Kind in der Mitte...

Гете, описывавшій этими словами свое положеніе во время бесѣдъ съ Лафатеромъ и Базедовомъ чувствовалъ, себя недурно

въ качествѣ Welt-Kind: онъ, съ интересомъ слѣдя за полетомъ мысли Prophet'овъ,—

War indess nicht weit gereist,
Hatte ein Stück Salmen aufgespeist, и т. д.

Но что легко дается «олимпійцу» Гете, то не всегда къ лицу намъ, простымъ смертнымъ, да и вообще не къ лицу человѣку быть олимпійцемъ. Это не мѣшаетъ намъ, однако, тоже слѣдить за полетомъ мысли пророковъ съ интересомъ, но съ прибавкой доли того гнѣва, который руководилъ пророкомъ Іереміей, когда онъ говорилъ: «они обманываютъ васъ, разсказываютъ мечты сердца своего... Долго ли это будетъ въ сердцѣ пророковъ, пророчествующихъ ложь, пророчествующихъ обманъ своего сердца?» Увы! это, очевидно, долго будетъ. И не въ томъ дѣло, чтобы пророки, пророчествующіе обманъ своего сердца», перестали заглядывать въ будущее, а только въ томъ, чтобы вещи назывались своими собственными именами, чтобы «мечты сердца» такъ и назывались мечтами сердца, а не научными предвидѣніями. Присматриваясь ко всѣмъ вышеприведеннымъ пророчествамъ, не трудно убѣдиться, что все это, за однимъ исключеніемъ, отнюдь не неизбѣжные результаты такъ называемаго естественнаго хода вещей, а только мечты сердца, осуществленіе которыхъ имѣетъ извѣстные шансы за и противъ себя. Мечта сердца ученой женщины, г-жи Клемансъ Ройе, подсказываетъ ей эти грядущія «чудеса женскаго генія», которыя фактически окажутся, въ случаѣ своего осуществленія, только замѣною одной несправедливости другою. Мечта сердца нашего знаменитаго ученаго г. Мечникова диктуетъ ему планъ отлученія извѣстной — и, конечно, значительной, потому что иначе не изъ-за чего было бы огородъ городить — части женщинъ отъ половой дѣятельности, дабы сосредоточить всѣ интересы ихъ жизни на успѣхахъ положительнаго знанія, проще говоря, науки. Мечта сердца Бертело рисуетъ ему близкое очищеніе земли отъ людской неправды и злобы, благодаря успѣхамъ химіи. Мечта сердца Фламаріона воздвигаетъ передъ нимъ образы глубоко просвѣщенныхъ и добродѣтельныхъ астрономовъ среди всякой, съ позволенія сказать, сволочи литературной, биржевой и проч., объ улучшеніи которой не мечтаетъ сердце его. Г. Новооскольцевъ, къ счастію, не занимается предсказаніями...

Да, все это мечты сердца, и разъ мы признаемъ ихъ таковыми,

не смотря на научный или якобы научный соусъ, подъ которымъ онѣ намъ подаются, намъ уже станетъ немножко легче, когда затрубятъ намъ въ уши Prophete links, Prophete rechts. Легче, однако, лишь въ томъ случаѣ, если мы, дѣйствительно, находились in der Mitte, если мы, дѣйствительно, прислушивались налѣво и направо къ разнообразнымъ пророчествамъ, освѣщающимъ будущее съ какой-нибудь спеціальной точки зрѣнія. Избавиться отъ этого разноголосаго хора, отъ этой раздирающей уши какофоніи, конечно, пріятно. Но если мы слили свою собственную мечту съ однимъ изъ этихъ мечтаній, если мы повѣрили ему, какъ научной истинѣ, исключивъ всѣ остальныя, то, разумѣется, намъ больно будетъ съ нимъ разстаться.

Мысль Бертело объ услугахъ, которыя окажетъ человѣчеству химія, главнымъ образомъ, искусственнымъ приготовленіемъ пищи, не нова. Она высказывалась много разъ. Между прочимъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ ее высказалъ одинъ русскій писатель, врачъ по профессіи, г. Португаловъ. Сдѣлалъ онъ это далеко не съ тою обстоятельностью и картинностью, какъ Бертело въ своей рѣчи, но съ большимъ увлеченіемъ, выразившимся въ чрезвычайно презрительномъ отношеніи къ вопросу о формахъ землевладѣнія, Г. Португаловъ снисходительно посмѣялся надъ тѣми нелѣпыми по его мнѣнію, людьми, которые дорожатъ крестьянскимъ землевладѣніемъ, совѣтуютъ «беречь его, какъ зеницу ока», и вообще тратятъ время на разсужденія о «пресловутомъ общинномъ крупномъ и мелкомъ землевладѣніи». Мечта сердца Бертело и г. Португалова имѣетъ за себя извѣстныя основанія, такъ какъ *лабораторное* приготовленіе нѣкоторыхъ пищевыхъ веществъ есть вопросъ, по всей вѣроятности, ближайшаго времени. Въ этихъ предѣлахъ мы имѣемъ дѣло даже не съ мечтою сердца, а съ истинно-научнымъ предвидѣніемъ. Но отсюда еще далеко до нарисованной Бертело картины всеобщаго благополучія и умиротворенія. Какъ мечта сердца благороднаго мыслителя, скорбящаго объ оскверняющихъ цивилизацію злѣ и неправдѣ, эта картина вполнѣ законна, и жизнь человѣческая была бы очень блѣдна и скудна, если бы передъ ней не свѣтились подобные маяки. Къ счастью, они отвѣчаютъ незаглушимой потребности человѣческой природы, по крайней мѣрѣ, въ лучшихъ ея представителяхъ. Понятно также, что спеціалистъ химикъ лелѣетъ мысль объ осуществленіи мечты сердца своего при помощи его именно спеціаль-

ности. И если бы всѣ отрасли знанія дружно соревновали въ изысканіи путей къ «берегу», къ маяку, то, конечно, много скорѣе оправдалась бы вѣра Ленскаго.

Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья,
Что ихъ безсмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь насъ озаритъ
И міръ блаженствомъ одаритъ.

Мы этого не видимъ въ другихъ вышеприведенныхъ мечтахъ сердца ученыхъ людей. Фламаріонъ мечтаетъ о торжествѣ астрономіи, рядомъ съ которымъ существуютъ и продажные газетчики, и алчные биржевики, и не имѣющіе отдыха рабочіе: г. Мечниковъ мечтаетъ о торжествѣ положительнаго знанія вообще; г-жа Ройе— о замѣнѣ одной несправедливости другою. Мечта сердца Бертело выше, чище, свѣтлѣе, шире. Но и она, какъ и тѣ, другія должна называться своимъ настоящимъ именемъ, то есть мечтою сердца, идеаломъ, субъективнымъ построеніемъ, при томъ, въ отличіе отъ многихъ другихъ, благодаря своей широтѣ, практически осуществимымъ лишь при содѣйствіи самой жизни во всемъ разнообразіи ея запросовъ, а отнюдь не при помощи одной химіи и добраго желанія химиковъ. Бертело, хотя и возлагаетъ всѣ свои надежды на химію, но, по крайней мѣрѣ, не фыркаетъ презрительно, какъ г. Португаловъ, на другіе виды человѣческаго вѣдѣнія и человѣческихъ интересовъ. По мысли Бертело, переворотъ, имѣющій произойти, благодаря искусственному приготовленію пищи изъ неорганическихъ веществъ и химическихъ элементовъ, такъ великъ, что, если слѣдовать примѣру г. Португалова, то нѣтъ резона ограничивать свое презрѣніе къ запросамъ и тревогамъ текущей жизни областью формъ землевладѣнія. Вся экономика, вся политика, вся мораль должны кореннымъ образомъ измѣниться, если осуществится мечта сердца Бертело, а, слѣдовательно, долой сейчасъ же всѣ относящіяся сюда практичестія тревоги и научныя или якобы научныя дисциплины, и засядемъ всѣ за химію, потому что въ ней одной лежитъ ключъ къ міру правды и счастія. Но многіе политики, юристы, экономисты, моралисты столь же увѣрены въ томъ, что именно они владѣютъ «ключомъ отъ всѣхъ ключей». И если эта надменность столь же мало основательна.

то, съ точки зрѣнія обществознанія въ цѣломъ, не только г. Португалову, но и Бертело можно бы было возразить многое. Допуская, что дѣло не ограничится собственно лабораторнымъ опытомъ полученія бѣлковины, а достигнуто будетъ полное вытѣсненіе земледѣлія и скотоводства достаточно дешевымъ искусственнымъ приготовленіемъ вполнѣ удобоваримой пищи въ достаточно обширныхъ размѣрахъ общественное значеніе этого безспорно громаднаго переворота опредѣлится той комбинаціей общественныхъ силъ, въ которой онъ совершится. Прирученіе животныхъ, изобрѣтеніе земледѣлія, машинъ, паровыхъ двигателей,—все это были огромные тоже техническіе перевороты, и хотя они безспорно повліяли на общественный строй, но и онъ въ свою очередь накладываетъ на нихъ свою печать Не загадывая даже о томъ маленькихъ ли нашихъ теперешнихъ кухонь будетъ достаточно для полученія изъ земли, воды и воздуха всего того, что получается нынѣ тяжкимъ трудомъ въ поляхъ, степяхъ, лѣсахъ, или для этого потребуются огромные бѣлковинные заводы,—производство искусственной пищи легко себѣ представить въ условіяхъ и монополіи, и конкурренціи, и солидарности; поэтому опираясь на одну химію, мудрено говорить съ увѣренностью о грядущемъ мірѣ правды и счастія. Предлагать, въ ожиданіи этого торжества химіи, забросить вопросы о «пресловутомъ общинномъ, крупномъ и мелкомъ землевладѣніи», а, послѣдовательности ради, и всѣ вопросы политики, права, морали,—это, конечно, не мудрено, но за то же и нелѣпо.

По правдѣ говоря, я не думаю, чтобы г. Португаловъ сознательно выразилъ свою мысль. По всей вѣроятности онъ просто, что называется, брякнулъ и потому не подлежитъ строгому сужденію. Но очень ужъ это типическій и по своей наглядности, удобный примѣръ извѣстнаго сорта предвидѣній. Собственно, мечты своего сердца г. Португаловъ не показываетъ съ достаточною ясностью, но надо думать, что она столь же широка и благородна, какъ у Бертело, а не ограничивается увѣренностью, что химія вотъ и еще однимъ открытіемъ обогатится. Ради этой-то широкой и благородной мечты, назвать которую ея настоящимъ именемъ—мечтою сердца, идеаломъ—онъ считаетъ унизительнымъ и потому обращаетъ ее въ научное предвидѣніе, онъ и предлагаетъ, съ позволенія сказать, плюнуть на «пресловутое общинное, крупное и мелкое землевладѣніе». Но эти «пресловутые» предметы

имѣютъ не только теоретическій, академическій интересъ, за который и должны вступиться подлежащія научныя дисциплины. Они вызываютъ такіе горячіе споры потому, что отъ той или иной ихъ постановки однимъ тепло или, предположительно, съ теченіемъ времени станетъ тепло, а другимъ холодно.

Для насъ здѣсь безразлично—кому и отчего тепло. кому и отчего холодно въ данную минуту,—мы не вопросы о формахъ землевладѣнія рѣшаемъ. Но понятно. что тѣ. кому тепло, могутъ только радоваться предложенію забросить спорный вопросъ и обратиться къ химіи. А тѣ. кому холодно, едва ли согласятся терпѣть въ ожиданіи благодѣяній химіи. Терпѣть всѣмъ приходится, потерпятъ и они, но согласиться терпѣть, то есть увѣровать, что химія вотъ-вотъ самые корни ихъ невзгодъ упразднитъ,—это совсѣмъ другое дѣло. И скептицизмъ въ этомъ отношеніи законенъ не только потому, что холодъ даетъ себя знать сейчасъ, а и потому еще, что можно вѣдь и совсѣмъ замерзнуть къ тому времени, когда химія своимъ открытіемъ начнетъ согрѣвать человѣчество. Ирландцы, въ зависимости отъ установившихся на «Зеленомъ островѣ» формъ землевладѣнія, живутъ впроголодь и питаются картофелемъ. Нужна большая доля... какъ бы выразиться поделикатнѣе?—безцеремонности, чтобы, въ великолѣпномъ презрѣніи къ вопросамъ о формахъ землевладѣнія, утѣшать этихъ ирландцевъ перспективами благодѣяній химіи. Это само-собой. А кромѣ того, неизвѣстно еще. какъ оно тамъ все будетъ, если будетъ. Фламаріонъ, который, какъ мы видѣли, дѣлаетъ легкую экскурсію и въ область химическихъ предвидѣній, говоритъ, что «для поддержанія организма» будутъ служить «изысканные напитки, фрукты, пироги, пилюли». Какъ распредѣлятся эти прекрасныя вещи, неизвѣстно,—химія сама по себѣ этого рѣшить не можетъ, но неизвѣстно еще и то, какъ будутъ себя чувствовать растянутые въ теченіе цѣлаго ряда поколѣній картофелемъ органы питанія, когда въ нихъ будетъ помѣщаться пара прекраснѣйшихъ и чрезвычайно питательныхъ пилюль. Вообще въ состояніи ли будетъ человѣчество вмѣстить всѣ обѣщаемыя ему съ разныхъ сторонъ прелести въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, если оно подступитъ къ этому будущему, пройдя долгую школу нищеты и связанныхъ съ нею преступленій, невѣжества, разврата, отчаянія?

Вопросъ этотъ слишкомъ часто забывается разными Prophet'ами,

лелѣющими иногда благороднѣйшія мечты сердца, а иногда увлекающимися лишь головнымъ образомъ красотою логическаго построенія на какой-нибудь спеціальной, односторонней основѣ.

Я сказалъ, что въ числѣ вышеприведенныхъ предвидѣній есть лишь одно, дѣйствительно заслуживающее титула научнаго предвидѣнія. Я разумѣлъ не Бертело, предвидѣніе котораго можетъ быть признано строго научнымъ лишь въ тѣхъ предѣлахъ, что химіи, по всей вѣроятности, удастся въ ближайшемъ будущемъ достигнуть синтеза нѣкоторыхъ питательныхъ веществъ. Я разумѣлъ гораздо болѣе широкое и вполнѣ безспорное астрономическое предвидѣніе Фламаріона, конечно, лишь въ самыхъ общихъ очертаніяхъ его а не въ подробностяхъ. Дѣло, однако, теперь для насъ не въ немъ самомъ, не въ томъ, что будетъ съ землей черезъ милліоны лѣтъ: «оставимъ астрономамъ доказывать». Между прочимъ, это невообразимо отдаленное отъ насъ время освѣщается у Фламаріона образомъ дѣвушки неописуемой красоты. «Атавизмъ,—говоритъ Фламаріонъ,—который объясняется законами наслѣдственности, надѣлилъ послѣдній цвѣтокъ человѣческаго древа красотой, давно невиданной при всемірномъ упадкѣ». Дѣло въ томъ, что человѣчество все «совершенствовалось», все «расло въ прогрессѣ, наукѣ и въ счастіи», да вдругъ и перестало совершенствоваться и расти. Не совсѣмъ вдругъ, конечно. Въ извѣстный, трудно опредѣлимый моментъ, условія жизни на землѣ стали истощаться. Человѣчество нѣкоторое время съ успѣхомъ боролось съ этимъ оскудѣніемъ, благодаря своей «промышленности и наукѣ», но, наконецъ, изнемогло: «перестало развиваться и вступило на путь упадка». «Послѣдніе отпрыски человѣчества, казалось, снова вернулись къ варварству», «законъ прогресса уступалъ мѣсто закону упадка, вещество снова вступало въ свои права, и человѣкъ возвращался къ звѣрскому состоянію». Такъ ли оно все будетъ, мы не знаемъ, да и астрономія не знаетъ, хотя и можетъ предвидѣть оскудѣніе условій жизни на землѣ. Въ настоящее время объ этомъ оскудѣніи не можетъ быть и рѣчи. Но знаменуютъ ли собою прогресъ эти газетчики и «финансовые тузы», которые къ XXV столѣтію достигнутъ, можетъ быть, еще не высшей степени подлости и алчности? Правда, Фламаріонъ обѣщаетъ намъ къ тому же времени добродѣтельныхъ астрономовъ и изумительно красивыхъ женщинъ, а затѣмъ и «новую человѣческую расу, несравненно выше той, къ которой принадлежали

Аристотель, Кеплеръ, Гюго, Фрина, Діана де-Пуатье, Полина Боргезе». Но куда-же дѣнется наслѣдственно испорченная кровь негодяевъ газетчиковъ и финансовыхъ тузовъ, эксплуатирующихъ великое бѣдствіе ради наживы? И къ новой ли, высшей человѣческой расѣ, блистающей красотой, умомъ, силой, здоровьемъ, мы идемъ, видя вокругъ себя все больше преждевременно плѣшивѣющихъ, беззубыхъ, близорукихъ, нейрастениковъ, алкоголиковъ и еще всякаго рода «вырождающихся»?.. И съ спеціальной точки зрѣнія наслѣдственности весьма легко построить на этихъ фактахъ очень мрачныя предвидѣнія, въ которыхъ не останется и тѣни обѣщаемыхъ другими пророками благополучій. Такія мрачныя предвидѣнія и дѣлаются.

Prophete links, Prophete rechts...

XII *).

Будущія бородатыя женщины г. Брандта.—«Выдающаяся женщина» г. Ардова и Раскольниковъ Достоевскаго.

Въ прошлый разъ я забылъ упомянуть объ одномъ предвидѣніи, которое было бы особенно интересно припомнить рядомъ съ предвидѣніями Фламаріона, г. Мечникова и г-жи Ройе. Я говорю о статьѣ г. А. Брандта «Направленія въ измѣнчивости вида», напечатанной въ сентябрьской книжкѣ «Вѣстника Европы» за прошлый годъ.

Въ противность Фламаріону, г. Брандтъ думаетъ, что конецъ человѣчества наступитъ независимо отъ геологическихъ и астрономическихъ процессовъ. Онъ полагаетъ, что, какъ «индивидуумъ животный или человѣческій, слѣдуя по нормальному пути жизни, вырабатываетъ въ самомъ себѣ препятствія, кладущія естественный предѣлъ его жизни», такъ было и со многими вымершими органическими видами, такъ будетъ и съ человѣчествомъ. Причиною вымиранія человѣчества будетъ «переразвитіе мозговой системы, влекущее за собою нарушеніе гармонической цѣлости въ устройствѣ и отправленіи организма».

За аргументаціей г. Брандта я не буду слѣдить, предоставляя желающимъ ознакомиться съ ней по самой статьѣ. Мнѣ теперь

*) 1894, іюль.

интересны только самыя формы будущаго, какъ онѣ рисуются умственному взору ученаго біолога.

Въ противность Фламаріону же, г. Брандтъ не ждетъ отъ женщинъ отдаленнаго будущаго усиленія чертъ специфически женской красоты, какъ мы теперь ее понимаемъ. По чрезвычайно интереснымъ, хотя, къ сожалѣнію, весьма мало разработаннымъ *) соображеніямъ, г. Брандтъ полагаетъ, что будущія женщины пріобрѣтутъ нѣкоторыя мужскія черты. Это будутъ «мужежены» (vigaro), между прочимъ, съ бородами. Предвидя возраженія, г. Брандтъ пишетъ: «Современныя красавицы и мы всѣ, ихъ поклонники, вольны единодушно возмущаться идеаломъ красоты женщины отдаленнаго будущаго, видѣть въ немъ самое безпощадное оскорбленіе собственнаго эстетическаго чувства. Но въ нашей ли власти передача понятій и чувствъ нашимъ потомкамъ предбудущихъ поколѣній? Волею неволею приходится предоставить людямъ XIX тысячелѣтія вспоминать съ улыбкой наивный XIX вѣкъ, когда люди не умѣли еще приноравливать своихъ понятій, вкусовъ и идеаловъ къ законамъ, намѣченнымъ самою природою». По чрезвычайно тоже любопытнымъ, но еще менѣе выясненнымъ соображеніямъ, г. Брандтъ ожидаетъ въ нѣкоторомъ, весьма отдаленномъ будущемъ правового преобладанія женской половины человѣческаго рода, которому, однако, повидимому, будетъ предшествовать періодъ равновѣсія, равенства обоихъ половъ. «Тѣмъ не менѣе, — замѣчаетъ г. Брандтъ,—мы не предвѣщаемъ формально всесвѣтнаго царства амазонокъ, и это потому, что слишкомъ высокаго мнѣнія о будущемъ человѣчествѣ и думаемъ, что всякаго рода порабощеніе однихъ индивидуумовъ другими будетъ ему чуждо». Къ рѣшенію такъ называемаго женскаго вопроса, предложенному г. Мечниковымъ, и къ соотвѣтственнымъ его гаданіямъ о будущемъ, которыя мы видѣли въ прошлой разъ, г. Брандтъ относится отрицательно, ибо «такое рѣшеніе несообразно съ справедливостью». Г. Брандтъ не соблазняется перспективою ученыхъ женщинъ, отказавшихся отъ брачной жизни на подобіе галльскихъ осъ. «Въ семействахъ осъ и столь близкихъ имъ пчелъ и шмелей,—говоритъ г. Брандтъ, — осуществлено множество формъ общежитія, но ни одна изъ нихъ не зиждется на принципѣ равно-

*) Статья г. Брандта представляетъ собою „популярную бесѣду, читанную въ Харьковѣ, въ частномъ университетскомъ кружкѣ".

правности индивидуумовъ. Начать съ того, что улей—государство рабовладѣльческое, въ которомъ однѣ особи только трудятся. другія являются дармоѣдами. Далѣе, что можетъ быть несправедливѣе пчелинаго брачнаго института? Увы гименея выпадаютъ на долю лишь одной единственной женской особи и одного супруга изъ сотенъ соискателей». «Женщина,—продолжаетъ г. Брандтъ,—и теперь достаточно зачастую чрезмѣрно трудится. Суть дѣла также не въ доступѣ женщины во всѣ сферы мужского труда. Трудъ самъ по себѣ остается обязанностью, бременемъ; права же заключаются въ вознагражденіи за трудъ, въ пользованіи разными благами, властью и т. д., словомъ сказать, въ удовлетвореніи или наслажденіи. Съ этой точки зрѣнія женщины, живущія по типу безбрачныхъ самокъ галльскихъ осъ, не пріобрѣли одинаковыхъ съ мужчинами правъ». Г. Брандтъ полагаетъ, что уловить подробности окончательнаго правового уравненія обоихъ половъ, имѣющаго произойти въ будущемъ,—нельзя, такъ какъ произойдетъ оно въ общественномъ строѣ, весьма отличномъ отъ того, въ которомъ мы нынѣ живемъ.

Возвращаясь въ концѣ статьи къ вопросу о послѣднихъ дняхъ человѣчества и не желая «теряться въ дебряхъ безплодной спекуляціи», г. Брандтъ пишетъ: «Утѣшеніемъ при столь мрачныхъ мысляхъ намъ можетъ служить надежда, что умирающее естественною смертью человѣчество будетъ стоять на невѣдомой намъ интеллектуальной и моральной высотѣ и будетъ глубоко проникнуто сознаніемъ величія природы и ея законовъ; а потому послѣднимъ изъ могиканъ даже сліяніе съ нирваной не будетъ представляться страшнымъ. Намъ же, юношамъ, и подавно не пристало сокрушаться надъ старческой смертью. Для юноши всякое momento mori должно служить призывомъ жить болѣе полною жизнью труда и наслажденія: ему принадлежитъ будущность. Древніе египтяне, по свидѣтельству Геродота, были истинными житейскими мудрецами. На своихъ пиршествахъ они помѣщали среди комнаты мумію и, глядя на нее, причитывали: кушайте и пейте, ибо послѣ смерти такими же будете».

Какъ ни мало разработано предвидѣніе г. Брандта, какъ ни парадоксальны нѣкоторыя его подробности, оно во многихъ отношеніяхъ должно быть поставлено выше тѣхъ, которыя мы видѣли въ прошлый разъ. Отрастутъ ли, дѣйствительно, у женщинъ въ отдаленномъ будущемъ бороды или нѣтъ,—это и послѣ статьи

г. Брандта дѣло темное, да вѣдь оно, пожалуй, для насъ и не важно; но вѣрно то, что волею неволею приходится признать для людей XIX тысячелѣтія и даже несравненно болѣе близкаго времени возможность имѣть идеалы красоты весьма отличные отъ тѣхъ, которые плѣняютъ насъ, людей XIX столѣтія. И если они насъ, дѣйствительно, плѣняютъ, то есть, если такая-то именно комбинація линій, формъ и красокъ удовлетворяетъ нашему эстетическому чувству, то при всемъ теоретическомъ интересѣ, который могутъ представить гаданія объ эстетическихъ идеалахъ отдаленнаго будущаго, практическаго значенія они для насъ имѣть не могутъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, нѣтъ надобности и заглядывать въ будущее, а достаточно оглянуться кругомъ. Оставляя даже въ сторонѣ безконечное разнообразіе индивидуальныхъ понятій о женской красотѣ и останавливаясь только на групповыхъ, — расовыхъ, національныхъ, сословныхъ, — можно бы было привести много разительныхъ примѣровъ этого разнообразія, не выходя изъ предѣловъ современности. Приведемъ одинъ. Цитируемый Дарвиномъ Гирнъ говоритъ: «Спросите сѣвернаго индѣйца что такое красота, и онъ отвѣтитъ: широкое плоское лицо, маленькіе глаза, высокія скулы, три или четыре широкія черныя полосы на каждой щекѣ, низкій лобъ, большой широкій подбородокъ, толстый крючковатый носъ, желтокоричневая кожа и груди, висящія до пояса». Мы можемъ сколько угодно смѣяться надъ такой индѣйской красавицей или питать къ ней какое угодно отвращеніе, для индѣйца она останется красавицей, и онъ, въ свою очередь, будетъ смѣяться надъ нашими красавицами, изъ за которыхъ, какъ говоритъ старая барыня въ «Грозѣ», у насъ «вертопрахи на поединки выходятъ, шпагами колютъ другъ друга, старики старые, благочестивые объ смерти забываютъ». Это теперешнее острое значеніе красоты, быть можетъ, и совсѣмъ исчезнетъ въ будущемъ, совершенно независимо отъ того, выростутъ ли у женщинъ бороды или онѣ останутся безбородыми. Уродовъ, по теперешнимъ нашимъ понятіямъ о женской красотѣ, вродѣ Юліи Пастраны и т. п., г. Брандтъ считаетъ «пророческими типами» (выраженіе, если не ошибаюсь, Картфажа, иначе, однако, имъ примѣненное). Съ неменьшимъ, я думаю, правомъ можно считать пророчески типичнымъ мнѣніе, напримѣръ, Щедрина, по которому «женщина съ истинно добрымъ сердцемъ должна, непремѣнно должна быть красави-

цей». Этого же рода мысль высказываетъ и Прудонъ, котораго знаменитыя главы о женщинахъ въ «De la justice» etc., при всей своей несостоятельности, въ сущности, далеко не такъ грубы, какъ принято думать. И если г. Брандтъ правъ въ томъ смыслѣ, что наши идеалы красоты не обязательны для будущаго, то онъ уже слишкомъ категорически утверждаетъ, что «не въ нашей власти передача понятій и чувствъ нашимъ потомкамъ предбудущихъ поколѣній». Нѣтъ, до извѣстной степени въ нашей власти, путемъ воспитанія или внушенія въ обширномъ смыслѣ слова, разумѣя не только вліяніе отдѣльныхъ личностей, а и вліяніе общественныхъ формъ, и не заглядывая, конечно, на цѣлыя тысячелѣтія впередъ. Когда рѣчь идетъ не объ эстетическихъ, а о нравственныхъ идеалахъ, г. Брандтъ выражаетъ, если не увѣренность, то, по крайней мѣрѣ, твердую надежду, что наши теперешнія понятія о справедливомъ и нравственномъ останутся таковыми и въ весьма отдаленномъ будущемъ: надежду, столь твердую, что вводитъ ее, какъ необходимый элементъ, въ составъ своихъ гаданій о будущемъ. Мы видѣли, что всесвѣтнаго царства амазонокъ онъ потому не предсказываетъ, что онъ «слишкомъ высокаго мнѣнія о будущемъ человѣчествѣ и думаетъ, что всякаго рода порабощеніе однихъ индивидуумовъ другими будетъ ему чуждо». Эта же надежда руководитъ имъ и тогда, когда онъ проводитъ «невѣдомую намъ интеллектуальную и моральную высоту», какъ онъ выражается, «послѣднихъ изъ могиканъ». Какова бы ни была эта высота и какъ бы ни было густо облако неизвѣстности, скрывающее ее отъ нашихъ глазъ, но очевидно, что г. Брандтъ мѣряетъ ее на нашъ теперешній аршинъ. А между тѣмъ, здѣсь вполнѣ приложимо разсужденіе, аналогичное съ тѣмъ, которое руководитъ г. Брандтомъ, когда онъ говоритъ объ эстетическихъ идеалахъ Въ самомъ дѣлѣ, если то, что мы теперь считаемъ физическимъ уродствомъ, можетъ оказаться въ будущемъ идеаломъ красоты, то какія основанія имѣетъ г. Брандтъ думать, что въ другихъ отношеніяхъ «передача понятій и чувствъ нашимъ потомкамъ предбудущихъ поколѣній» окажется «въ нашей власти»? Порабощеніе однихъ индивидуумовъ другими не соотвѣтствуетъ нашимъ понятіямъ о справедливости, но было время, когда оно признавалось справедливымъ лучшими умами; есть и теперь народы, считающіе такой порядокъ вещей вполнѣ нормальнымъ;

мыслимо и въ цивилизованныхъ обществахъ возрожденіе старой морали на новой подкладкѣ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ многія явленія, какъ въ области мысли, такъ и въ области жизни. Во всякомъ случаѣ, непослѣдовательность почтеннаго ученаго очевидна, и вопросъ можетъ быть только въ томъ,—какъ объяснить эту непослѣдовательность? Какъ объяснить уступчивость г. Брандта по части идеаловъ женской красоты и неуступчивость по отношенію къ нравственнымъ идеаламъ? Объясненіе, я думаю, очень просто: люди всегда сравнительно охотно уступаютъ то, что для нихъ малоцѣнно, и крѣпко держатся за то, что имъ дорого. И люди ученые не составляютъ въ этомъ отношеніи исключенія. Г. Брандтъ, хотя и засчитываетъ себя въ число «поклонниковъ современныхъ красавицъ», но очевидно не настолько дорожитъ ихъ красотою, чтобы ломать за нее копья съ потомками: пусть устраиваются, какъ знаютъ, какъ будетъ требовать ихъ эстетическое чувство. Наоборотъ, свой идеалъ справедливости почтенный ученый принимаетъ настолько близко къ сердцу, что желалъ бы, въ мѣру своихъ средствъ и возможностей, содѣйствовать его торжеству, и это-то дѣйственное отношеніе внушаетъ ему надежду на вѣковѣчность идеала.

Итакъ, мы никоимъ образомъ не можемъ поручиться за то, что какіе бы то ни было наши идеалы останутся таковыми же не только для всего ряда безчисленныхъ поколѣній, которыя имѣютъ еще появиться на землѣ, но даже для ближайшихъ. Напротивъ, какъ судя по бывшимъ историческимъ примѣрамъ въ этой области, такъ и на основаніи общаго нашего эволюціоннаго пониманія міра, мы не можемъ ожидать неподвижности и въ этомъ отношеніи. Но это не мѣшаетъ намъ жить «полною жизнью труда и наслажденія», по выраженію г. Брандта, и въ эту полную жизнь, какъ необходимый ея составной элементъ, входитъ надежда и желаніе передать и отдаленному потомству то, что мы считаемъ истиной, справедливостью, красотой, повліять на будущее, поскольку хватитъ нашего зрѣнія въ сторону этого будущаго и силъ и умѣнья для такого воздѣйствія. Если здѣсь и есть противорѣчіе, то оно неизбѣжно, если не по основнымъ свойствамъ человѣческой природы, то, по крайней мѣрѣ, для насъ, для нашего времени. Мы очень хорошо знаемъ примѣръ Шеллеевскаго Озимандіи, но не перестаемъ ставить памятники нашимъ великимъ людямъ, то есть людямъ внушив-

шимъ намъ наши идеалы или приблизившимъ насъ къ ихъ осуществленію. Это только одинъ изъ безчисленныхъ примѣровъ нашего дѣйственнаго вторженія въ область понятій и чувствъ грядущихъ поколѣній. И предвидѣніе г. Брандта тѣмъ именно, между прочимъ, и хорошо, что онъ открыто вводитъ этотъ дѣйственный элементъ и предлагаетъ не только мыслить о будущемъ, но и вліять на него. Въ устахъ почтеннаго ученаго указаніе на примѣръ пирующихъ древнихъ египтянъ, конечно, не значитъ—«пей, ѣшь и веселись, не смущаясь смертнымъ часомъ». Оно значитъ: живи полною жизнью, не смущайся тѣмъ, что твои идеалы смѣнятся когда-нибудь другими, живи ими, потому что они твои, и дѣлай все, что можешь, для ихъ торжества въ настоящемъ и будущемъ. Правда, г. Брандтъ не совсѣмъ послѣдователенъ и прямо отрекается отъ «передачи понятій и чувствъ нашимъ потомкамъ», когда рѣчь идетъ объ идеалахъ женской красоты. Но это только и значитъ, какъ уже сказано, что женская красота, по всей вѣроятности, мало интересуетъ почтеннаго ученаго, нѣтъ у него по этой части опредѣленныхъ дорогихъ ему идеаловъ. Это-то обстоятельство и дозволяетъ ему быть столь исключительно объективнымъ: «безъ жалости и гнѣва» смотритъ онъ на вѣроятныя, по его мнѣнію, измѣненія въ понятіяхъ о женской красотѣ и, конечно, пальцемъ о палецъ не ударитъ, чтобы словомъ или дѣломъ повліять на процессъ этихъ измѣненій; ибо у него нѣтъ для этого никакихъ руководящихъ мотивовъ. На нѣтъ и суда нѣтъ,—говоритъ пословица, далеко, впрочемъ, не всегда вѣрная: бываетъ судъ и на нѣтъ, и очень строгій судъ. Но въ данномъ случаѣ пословица права: понятія о женской красотѣ и теперь крайне разнообразны, и если съ теченіемъ времени бородатыя женщины замѣнятъ собою безбородыхъ, то собственно отъ этого (о другихъ сторонахъ предвидѣнія г. Брандта по женской части не говорю) еще ничто существенно не измѣнится въ людскихъ отношеніяхъ. Если бы произошло только это измѣненіе, то ничто не помѣшало бы и въ будущемъ «вертопрахамъ на поединки выходить, шпагами колоть другъ друга, старикамъ старымъ, благочестивымъ объ смерти забывать» изъ-за бородатыхъ красавицъ, какъ это нынѣ дѣлается изъ-за безбородыхъ. И г. Брандту, чуждому этихъ волненій и, очевидно, только ради условной галантности причисляющему себя къ поклонникамъ современныхъ красавицъ, легко было бы избѣжать

вышеупомянутой непослѣдовательности, если бы онъ прямо заявилъ, что это для него дѣло безразличное, а идеалъ справедливости, напротивъ того, совсѣмъ не безразличенъ.

Въ бородатости будущихъ женщинъ г. Брандта убѣждаютъ нѣкоторыя объективныя данныя, повторяю, весьма недостаточно разработанныя. Такія же объективныя данныя приводятъ его къ заключенію, что человѣчество вымретъ естественнымъ путемъ вслѣдствіе «переразвитія мозговой системы, влекущаго за собой нарушеніе гармонической цѣлости въ устройствѣ и отправленіи организма». Нельзя сказать, чтобы и этотъ тезисъ былъ доказательно обставленъ, но мы и на этомъ не будемъ останавливаться. Замѣчу только, что едва ли будетъ правъ тотъ, кто сочтетъ результатами «переразвитія мозговой системы» тѣ многочисленные случаи «вырожденія», которые намѣчены, напримѣръ, въ извѣстной книгѣ Макса Нордау, и увеличеніе числа которыхъ, по мѣрѣ развитія цивилизаціи, давно констатировано психіатрами. Я не знаю, какъ смотритъ на это дѣло г. Брандтъ,—онъ этого предмета не касается, но если это и результаты переразвитія въ смыслѣ нарушенія «гармонической цѣлости въ устройствѣ и отправленіи организма», то, съ другой стороны, это уже несомнѣнно плоды «недоразвитія» мозговой системы до размѣровъ, требуемыхъ условіями все усложняющейся общественной жизни. Не говоря о ясно патологическихъ случаяхъ, мы это видимъ и въ той спеціализаціи мысли, о которой у насъ шла рѣчь въ прошлый разъ, и въ той разнузданности эгоистическихъ инстинктовъ, о которой намъ отчасти придется говорить ниже. Съ одной стороны, люди, вполнѣ благородно настроенные, будучи выведены процессомъ цивилизаціи за предѣлы интересовъ семьи, рода, общины, сословія, наконецъ націи, расы, и заинтересованы судьбами всего человѣчества, но не будучи въ состояніи (ужъ, конечно, не въ силу «переразвитія мозговой системы») обнять эту огромность и сложность, хватаются за разныя одностороннія освѣщенія и рѣшенія. Въ то же время та же неприспособленность къ сложной общественной жизни разнуздываетъ у другихъ ихъ узенькое *я*, отнюдь не имѣющее права претендовать на титулъ человѣческаго индивидуума, и порождаетъ массу грубо эгоистическихъ явленій какъ въ области теоретической мысли, такъ и въ сферѣ практической жизни. А собственно того «переразвитія мозговой системы», которое, въ гаданіяхъ г. Брандта о будущемъ, сочетается съ «не-

вѣдомою для насъ интеллектуальною и моральною высотою», мы до сихъ поръ не видали даже въ самомъ слабомъ зачаткѣ.

Мало того, человѣчество до сихъ поръ оказывается не въ силахъ обнять однимъ взглядомъ свою «интеллектуальную» и свою «моральную» высоту. Для конца XIX вѣка навсегда останется въ высшей степени характерною всемірная слава гр. Л. Н. Толстого съ его горячею моральною проповѣдью, съ одной стороны, и презрѣніемъ къ «головной работѣ»—съ другой. Давно ли, кажется, тоже на весь міръ прогремѣла нынѣ почти забытая и во всякомъ случаѣ рѣдко понимаемая книга Бокля, въ которой столь же односторонне, только въ другую сторону, нравственный элементъ совсѣмъ на задній планъ отодвигался, а всѣ упованія возлагались на интеллектуальный элементъ, на прогрессъ знанія. Нынѣ, повторяю, книга Бокля почти забыта, въ особенности у насъ, гдѣ такъ же легко и пылко хватаются за каждую новинку, какъ съ легкимъ сердцемъ ее потомъ отбрасываютъ. Нынѣ у ученія гр. Толстого оспариваютъ почву новыя опять односторонности, о которыхъ, однако, я говорить теперь не буду. Сопоставленіе же Бокля и гр. Толстого напрашивается само собой, такъ какъ это прямыя противоположности. Бокль, какъ извѣстно, полагалъ, что нравственный элементъ не оказываетъ существеннаго вліянія на исторію человѣчества и не можетъ его оказывать уже въ силу своей неподвижности: дескать, нравственныя истины давно открыты человѣчествомъ и въ этомъ отношеніи намъ ничего новаго не предстоитъ, тогда какъ свѣтъ знанія, наука непрерывно разростается и ведетъ человѣчество впередъ. Ланге въ своей «Исторіи матеріализма» достаточно ясно доказалъ фактическую невѣрность утвержденія о неподвижности нравственнаго элемента, а также показалъ, какъ властно вторгается этотъ элементъ и въ поступательный ходъ нашихъ знаній. Но къ этому надо прибавить еще слѣдующее. Благодаря своимъ техническимъ и вообще практическимъ приложеніямъ, знаніе, наука нужна всякой общественной формѣ, какова бы она ни была по своимъ основнымъ принципамъ и второстепеннымъ признакамъ. Обуявшій нынѣ Европу милитаризмъ не вяжется съ ея экономическимъ строемъ, и такъ или иначе, долго ли коротко ли, эти два съ трудомъ уживающіяся начала должны будутъ уступить мѣсто одно другому или оба—какому-нибудь третьему. Но милитаризмъ нуждается все въ лучшихъ и лучшихъ вооруженіяхъ наступательнаго и оборонительнаго

характера, слѣдовательно, въ техникѣ, слѣдовательно, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ отрасляхъ науки, которыя. однако, всѣ тѣсно связаны между собою. Промышленность, какъ бы она ни была организована въ общественномъ смыслѣ, еще болѣе нуждается въ техническихъ приспособленіяхъ. И такимъ образомъ, съ тѣхъ поръ, какъ медицина и технологія въ обширномъ смыслѣ слова перестали быть дѣломъ случайныхъ открытій и эмпирическихъ рецептовъ, а нашли себѣ опору въ теоретическомъ знаніи, безостановочный прогрессъ науки о природѣ обезпеченъ. Бываютъ, конечно, бурныя времена, когда погибаютъ Лавуазье на томъ основаніи, что «республикѣ не нужно химиковъ», или когда обезумѣвшая толпа бьетъ и убиваетъ врачей, видя въ нихъ своихъ злодѣевъ; бываютъ и другіе, быть можетъ, еще болѣе страшные историческіе періоды, когда наука систематически берется подъ сомнѣніе и преслѣдуется. Но народы жестоко платятся за это, и въ концѣ концовъ, наука всетаки торжествуетъ. Поэтому то противонаучная пропаганда гр. Толстого есть дѣло вполнѣ безнадежное. Она могла бы, въ случаѣ своего успѣха лишь временно оттолкнуть именно, можетъ быть, лучшихъ, по нравственнымъ задаткамъ, людей отъ обще-просвѣтительныхъ задачъ науки, а техника, въ лицѣ которой наука служитъ всякой общественной формѣ, останется ни на минуту не поколебленной. Такимъ образомъ, Бокль былъ правъ, говоря о непрерывно прогрессирующей наукѣ или, точнѣе, естествознаніи, которое онъ именно и имѣлъ въ виду. Но онъ былъ совершенно неправъ, приписывая нравственному элементу неподвижность. Мораль первобытныхъ народовъ, мораль варварскихъ народовъ востока, классической древности, Греціи и Рима, среднихъ вѣковъ европейской исторіи, современная мораль,—все это рѣзко и ярко различается между собой во многихъ самыхъ основныхъ своихъ положеніяхъ и въ общемъ характерѣ. Мы не найдемъ здѣсь такой почти прямолинейной и непрерывной преемственности, которая, впрочемъ, и въ исторіи науки есть явленіе сравнительно новое. Мы увидимъ здѣсь постоянныя отклоненія отъ прямого пути, постоянныя колебанія въ разныя стороны, возвращенія въ старое, давно оставленное русло и пробиваніе совершенно новыхъ. И все это въ зависимости отъ общественныхъ формъ, на которыя мораль отзывается двояко: либо положительно, подтверждая нравственной санкціей существующія отношенія, либо отрицательно, протестуя противъ нихъ. По-

нятно, какъ безконечно разнообразны могутъ быть варьяціи на эти двѣ темы при различныхъ общественныхъ условіяхъ (со включеніемъ международныхъ). Что касается наукъ общественныхъ, то судьбы ихъ представляютъ собою нѣчто среднее между судьбами науки о природѣ и морали, такъ какъ въ нихъ есть и объективный элементъ, и субъективный, зависящій отъ колебаній, которымъ подвергаются понятія людей о добрѣ и злѣ. Но мы говоримъ теперь только о морали.

Въ апрѣльской и майской книжкахъ «Русской Мысли» напечатана повѣсть г. Е. Ардова «Выдающаяся женщина», содержаніе коей слѣдующее:

Лѣтъ, должно быть, за двадцать до начала разсказа, гдѣ-то въ глуши Малороссіи въ деревнѣ жила красивая дѣвушка, впослѣдствіи «выдающаяся женщина», Клавдія Павловна. Жила и тосковала. Она разсказывала: «телята, поросята, пшеница, свекловица—вотъ темы бесѣдъ вокругъ меня; становой да спившійся докторъ—вотъ наши дорогіе гости». Въ эту глушь заѣхалъ нѣкій Василій Андреевичъ Бунчукъ, и тоскующая дѣвушка влюбилась въ него, и сама, первая объяснилась въ любви: «я не трусиха,—говорила она ему,—словъ не боюсь, съ перваго дня полюбила». Поженились они, прижили дочку, Раису, но когда этой дочкѣ минуло восемь лѣтъ, Клавдія Павловна, «тоже не задумываясь, такъ же рѣшительно и просто» призналась мужу въ любви къ его лучшему другу, Егору Ивановичу Шахову, и благополучно уѣхала съ этимъ Шаховымъ, оставивъ восьмилѣтнюю Раю мужу. Разсказъ застаетъ эту Раю въ чрезвычайно трудномъ положеніи. Ей уже восемнадцать лѣтъ, она невѣста двадцатипятилѣтняго красиваго, энергичнаго моряка, Мавраки, котораго любитъ и которымъ въ свою очередь тоже любима. Отецъ, Бунчукъ, очень доволенъ предстоящей судьбой дочери. Словомъ, все обстояло бы въ высшей степени благополучно, если бы Рая не получила отъ матери, «выдающейся женщины» Клавдіи Павловны, письма съ извѣщеніемъ, что она, Клавдія Павловна, скоро пріѣдетъ въ тотъ самый городъ, гдѣ это благополучіе происходитъ. У Раи сохранилось о матери воспоминаніе только какъ о необыкновенно красивой, изящной женщинѣ, которая вовсе не была съ ней ласкова, тѣмъ не менѣе она радостно волнуется въ ожиданіи встрѣчи съ

матерью. Но ее заботитъ вопросъ: какъ встрѣтится мать съ отцомъ? Какъ даже сказать отцу о предстоящемъ пріѣздѣ матери? А пріѣдетъ она вмѣстѣ съ Шаховымъ и пріѣдетъ именно затѣмъ, чтобы добиться отъ мужа развода, выдти за Шахова формально и уѣхать съ нимъ куда-то на Востокъ, гдѣ онъ получилъ мѣсто консула, а на дочь такъ только кстати, мимоходомъ взглянуть. «Выдающаяся женщина» является и какъ-то нечаянно влюбляетъ въ себя жениха своей дочери—Мавраки, да и сама въ него влюбляется. Но ее останавливаетъ отъ послѣдняго въ этомъ направленіи шага Шаховъ, съ которымъ она и уѣзжаетъ Но дочь ея всетаки не выходитъ за Мавраки, хотя тотъ этого и желаетъ, побуждаемый, впрочемъ, повидимому, не любовью, а чувствомъ долга. Рая уѣзжаетъ съ отцомъ куда-то въ Малороссію, къ родственникамъ.

Таковъ голый остовъ повѣсти. Исторія, какъ видите, изъ тѣхъ пикантныхъ, которыя любятъ французскіе романисты. Отдѣльныхъ пикантныхъ сценъ въ повѣсти тоже не мало, и вся исторія разсказана шаблонно-красиво. Авторъ не избѣжалъ, по обыкновенію, и того заѣзженнаго пріема, по которому Бунчукъ, законный мужъ выдающейся женщины узнаетъ объ ея отношеніяхъ къ жениху дочери изъ случайно подслушаннаго разговора подгулявшей компаніи моряковъ. И вообще повѣсть, какъ художественное произведеніе, не заслуживала бы вниманія, но въ ней есть въ высшей степени любопытныя черты.

Почему Клавдія Павловна есть «выдающаяся женщина»? Мавраки, еще не видя ея, насмѣшливо говоритъ о ней по слухамъ: «Живопись, музыка, сценическій, говорятъ, талантъ, наконецъ, прекрасный слогъ (въ письмахъ),—сколько дарованій въ одномъ лицѣ!» Изо всѣхъ этихъ дарованій читателю Клавдія Павловна нѣсколько ближе показываетъ только свой талантъ живописца, да и то мы этого таланта собственно не видимъ, а только узнаемъ, что она рисуетъ портретъ Мавраки, «набросанный смѣло, безъ женской кропотливости, широкою, размашистою кистью». А затѣмъ, главный даръ Клавдіи Павловны - красота. обаятельная красота, которою она, не смотря на страстность своего темперамента, умѣетъ пользоваться съ разсчетомъ. И сама она, и другія дѣйствующія лица повѣсти говорятъ о ея «смѣлости»: она смѣло сама первая объяснилась въ любви Бунчуку, потомъ смѣло объявила ему, что полюбила Шахова. Повидимому, и Шахову при-

ходилось испытывать на себѣ ея смѣлость. Она вспоминаетъ какого-то «милаго человѣка», испанца художника, который былъ «весь изъ пламени сотканъ» и при этомъ, глядя на дочь, задумывается вслухъ: доведется ли тебѣ жить такою мятежною, но полною жизнью, какая выпала на долю твоей матери»? Смѣлость ея, однако довольно условна. Ей очень хочется согрѣшить съ женихомъ своей дочери, но она труситъ Шахова: «Она боялась Шахова, боялась разрыва. Ей тридцать семь лѣтъ. Немного годовъ осталось ей царить, и не онъ, юноша на двѣнадцать лѣтъ моложе ея, упрочитъ за ней царство». Поэтому она, какъ поджавшая хвостъ провинившаяся собачка, повинуется приказанію Шахова и уѣзжаетъ. Ихъ взаимныя отношенія съ Шаховымъ истинно удивительны. Собственно говоря, они ненавидятъ другъ друга, но она отлично сознаетъ силу своей красоты, власть своего тѣла надъ нимъ, и въ минуту надобности пускаетъ ее въ ходъ съ отвратительною смѣсью самоувѣреннаго издѣвательства и рабской угодливости. Въ поясненіе приведу одну сцену. Дѣло доходитъ между ними буквально до драки: онъ бросается на нее со сжатыми кулаками, а она «ловко, кошачьимъ движеніемъ перегнулась и схватила сильными, бѣлыми руками его маленькія нервныя руки.

— Ну, къ чему это? — съ тѣмъ же смѣхомъ, но мягко сказала она. Точно ты не знаешь, что послѣ такой дурацкой вспышки ты будешь часами стоять на колѣняхъ и молить о прощеніи... Я хочу избавить тебя отъ лишняго униженія... Ты напоминаешь мнѣ того нѣмецкаго мальчика, котораго послали за бисквитами и который по дорогѣ всѣ ихъ, одинъ за другимъ, съѣлъ, при каждомъ бисквитѣ твердо, однако, приговаривая: «einmal noch und nicht mehr!»

Шаховъ грубо тряхнулъ ея руки, чтобы высвободить свои. Клавдія Павловна съ тѣмъ же веселымъ смѣхомъ отдернула одну руку, перегнулась черезъ столъ и быстро опустила парусинную драпировку балкона. Драпировка упала и скрыла ихъ отъ глазъ прохожихъ.

— Я твой грѣхъ, да?.. Твое зло? Твое преступленіе? Твое паденіе? Ты такъ, кажется, меня называешь?—шептала она, обвивая его голову руками и осыпая поцѣлуями его лицо—Но le vin est tiré, il faut le boir, и пить, какъ сладчайшее вино!.. И смѣй сказать, что ты его не любишь, что ты не упиваешься имъ!—едва слышно заключила она.

И Шаховъ безъ возраженія отвѣчалъ на ея поцѣлуи. Глаза его не выражали уже ненависти, а загорѣлись страстью, но по мѣрѣ того, какъ онъ разгорался. Клавдія Павловна охладѣвала. Съ жестокою, почти злою усмѣшкою смотрѣла она на опущенную голову Шахова, когда онъ, скрывъ лицо въ ея теплыхъ душистыхъ рукахъ, шепталъ несвязныя любовныя слова.

— Съ какимъ же пароходомъ ты хочешь ѣхать?—спросила она.

Шаховъ поднялъ голову и встрѣтилъ ея горделивый, торжествующій, далеко не нѣжный взглядъ. Глухое бѣшенство закипѣло въ немъ, но онъ подавилъ его. Утомленіе, отвращеніе выразились на его нервномъ, малѣйшія ощущенія отражающемъ, лицѣ.

— Я ѣду съ тобой,—сказалъ онъ вяло.

Жгучій поцѣлуй былъ ему наградой. Шаховъ апатично принялъ его.

Трудно рѣшить, кто больше униженъ въ этой отвратительной сценѣ. Но Шаховъ выше уже тѣмъ, что, по крайней мѣрѣ, сознаетъ свое униженіе, скорбитъ о томъ, что вязнетъ въ «тепломъ, душистомъ» болотѣ, тогда какъ Клавдія Павловна принимаетъ свое униженіе съ торжествомъ и горделивымъ веселіемъ Вышеприведенная сцена происходитъ еще до встрѣчи Клавдіи Павловны съ Мавраки. Потомъ Шаховъ, изъ жалости къ Раѣ, отказывается «отъ единственнаго, можетъ, случая вернуть себѣ свободу», то есть сдать «выдающуюся женщину» съ рукъ на руки молодому Мавраки. Онъ соглашается не разрывать съ Клавдіей Павловной, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы она немедленно уѣзжала изъ города въ назначенное имъ мѣсто и ожидала тамъ «дальнѣйшихъ распоряженій» и его пріѣзда. И она безпрекословно исполняетъ это приказаніе, но садится на пароходъ «вся сіяя улыбкой, красотой и здоровьемъ». Она «полуласково, полунасмѣшливо улыбается», «снисходительно усмѣхается»... Она и тутъ мнитъ себя на какомъ то пьедесталѣ... И я не поручусь, что авторъ, г. Ардовъ, не раздѣляетъ эт го ея взгляда. Въ заглавіи—«Выдающаяся женщина»—какъ будто сквозитъ нѣкоторая ироническая нота, но въ самой повѣсти она не звучитъ Авторъ заставляетъ насъ на слово вѣрить разнообразнымъ талантамъ Клавдіи Павловны, но, собственно, воочію показываетъ намъ только ея красоту, которая и создаетъ ей якобы царственное, надъ всѣмъ и надъ всѣми господствующее положеніе. Авторъ, очевидно, вѣритъ въ эту побѣдительность, да еще въ «смѣлость» Клавдіи Павловны, и самое, кажется, меньшее, что можно сказать, съ точки зрѣнія автора, о «выдающейся женщинѣ», есть слѣдующее: вотъ и не выдающаяся, собственно говоря, женщина, а только ужъ очень красива и смѣла, и посмотрите какихъ чудесъ натворила, какихъ побѣдъ наодержала; ее и старый Бунчукъ до сихъ поръ еще любитъ, какъ догадывается Рая; передъ ея чарами, когда она «опускаетъ парусинную драпировку балкона», не можетъ устоять Шаховъ; ради нея Мавраки забываетъ свою невѣсту,

ея дочь; а тамъ, вдали прошедшаго, еще какіе-то испанцы художники, «соткапные изъ пламени»... Но присмотрѣвшись къ этимъ чудесамъ и побѣдамъ, мы видимъ только рядъ унизительнѣйшихъ положеній. Когда то она сама навязалась Бунчуку, и тотъ вспоминаетъ объ этомъ съ горькой ироніей: «въ одну недѣлю скрутили по ногамъ и по рукамъ и повели быка на веревочкѣ»; а что онъ и до сихъ поръ ее любитъ,—эта догадка Раи не имѣетъ за себя никакихъ видимыхъ основаній. Шаховъ ей, дѣйствительно, подверженъ, но собственно не ей, а ея тѣлу и ея заигрываніямъ съ нимъ этимъ тѣломъ, и она въ свою очередь подвержена ему гораздо сильнѣе, какъ настоящая раба. Мавраки быстро, но за то и кратко одурѣлъ отъ ея соблазнительной красоты и манеры предъявлять эту красоту. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ съ ней, какъ она сама говоритъ, «самоувѣренъ до нахальства». Но 37-милѣтняя красавица глубоко благодарна пылкому 25-тилѣтнему юношѣ: «Грудь Клавдіи Павловны высоко поднялась и опустилась. Улыбка нѣги разжала сочныя, пунцовыя губы. Клавдія Павловна отвернула кружева рукава и взглянула на бѣлую, безукоризненной формы кисть руки. Едва замѣтное темное пятнышко выступало на гладкой поверхности кожи. Клавдія Павловна поднесла руку къ лицу и съ нѣжною улыбкой прикоснулась губами къ этому темному, похожему на синякъ пятнышку. «Глупый, необузданный мальчикъ! прошептала она. Такой еще глупый и такой прелестный!»

Это ужъ даже не унизительно, а просто смѣшно Но изъ тщательности описанія «улыбки нѣги, разжавшей сочныя, пунцовыя губы», и проч. слѣдуетъ, кажется, заключить, что авторъ не видитъ здѣсь никакого комизма, онъ любуется своей героиней. Конечно, авторъ понимаетъ, что отбивать у своей дочери жениха, притомъ изъ мимолетнаго, чисто чувственнаго каприза, какъ будто не ладно. Но вѣдь это понимаетъ и Зоя Никитишна Коростелева.

Зоя Никитишна Коростелева—некрасивая старая дѣва, у которой поселилась Клавдія Павловна. Зоя Никитишна называетъ себя «человѣкомъ безъ предразсудковъ». «Она читала Бентама, Гартмана, почитывала Шопенгауера, оставляя за собой право имѣть свое особое мнѣніе. Ходячую мораль находила вздоромъ а свободный образъ мыслей—высшимъ признакомъ прогресса; но, признавая себя не безъ гордости женщиной безъ предразсудковъ,

она, однако, приходила въ смущеніе передъ вопросомъ: «что нравственно и что безнравственно», и никогда этотъ вопросъ такъ сильно не смущалъ ее, какъ съ того дня, какъ въ домъ ея въѣхала Клавдія Павловна». Зоя Никитишна въ восторгѣ отъ Клавдіи Павловны и называетъ ее не иначе, какъ Клеопатрой. Она прощаетъ и разрѣшаетъ ей все, ради ея красоты. То, что для уродливой женщины, въ родѣ самой Зои Никитишны, было бы чудовищно, то, по ея мнѣнію, совершенно въ порядкѣ вещей для Клеопатры. Она «любитъ красоту во всемъ, во всѣхъ ея проявленіяхъ, даже когда эти проявленія ведутъ ко злу»; «нельзя мѣрять и обаятельную женщину, и непривлекательную однимъ аршиномъ». «Не одну красоту подразумѣвала я,—поправляется она въ разговорѣ съ Шаховымъ,—а вообще... людей выдающихся... Должны-ли они быть подведены подъ ту же мѣрку, какъ и обыкновенные люди? Вѣдь они, въ силу своихъ дарованій, являются піонерами, не топчутся по торной дорожкѣ». За это Клавдія Павловна выдаетъ Зоѣ Никитишнѣ аттестатъ въ видѣ прощальнаго письма: «Вы, какъ и я, отрицаете узкія правила, принципы мелкихъ людишекъ. Вы понимаете, что тотъ, у кого въ жилахъ течетъ не сыворотка, а живая, горячая кровь, не можетъ заключить свою страстную, воспріимчивую натуру въ тѣсныя рамки разсудочнаго анализа. Что, если онъ грѣшитъ противъ установленныхъ правилъ такъ называемой общественной нравственности, если другіе страдаютъ отъ его уклоненій отъ проторенной дорожки, то винить и громить его за то, что онъ слышитъ могучій голосъ природы и внемлетъ ему, не смотря на клики и проклятія зоиловъ, по меньшей мѣрѣ странно». Прочитавъ это письмо, Зоя Никитишна опять задумалась надъ вопросомъ: «что нравственно и что безнравственно?» И этимъ вопросомъ, многозначительно кончается повѣсть...

Бѣдная Зоя Никитишна! Она и послѣ смѣшного письма Клавдіи Павловны продолжаетъ считать ее «выдающейся женщиной», судьба и поступки которой должны наводить скептическія мысли о нравственности. Былъ такой попугай, который выучился говорить слова: «ѣхать, такъ ѣхать!» И вотъ, когда однажды кошка схватила его за крыло и потащила на съѣденіе, онъ тоже закричалъ: «ѣхать, такъ ѣхать!» Клавдію Павловну «могучій голосъ природы» влечетъ, собственно, къ Мавраки, но по приказанію Шахова она ѣдетъ совсѣмъ въ другую сторону. Однако, она такъ привыкла считать себя побѣдительницей, что,

удаляясь, всетаки твердитъ: «мою страстную, воспріимчивую натуру нельзя заключить въ тѣсныя рамки разсудочнаго анализа, я слышу могучій голосъ природы и внемлю ему!» А ужъ какой тутъ внемлетъ, когда ее кошка за крыло тащитъ! Но ослѣпленная Зоя Никитишна (а можетъ быть, и авторъ) не видитъ всего глубокаго комизма этой не только неоправданной, но и тутъ же, на мѣстѣ, фактически посрамленной гордыни.

Со стороны ясно видно, что ничего выдающагося въ Клавдіи Павловнѣ нѣтъ, что влюбиться тридцатисемилѣтней женщинѣ въ двадцатипятилѣтняго жениха своей дочери есть несчастіе, а, влюбившись, всетаки уѣхать отъ своего «предмета» на житье съ ненавистнымъ человѣкомъ—опять-таки несчастіе. Но сама Клавдія Павловна принимаетъ эти положенія съ «нѣжной улыбкой» и «снисходительной улыбкой». Она видитъ только побѣдную сторону своихъ несчастій: Шаховъ не можетъ устоять передъ ея заигрываніями, юноша Мавраки забываетъ все, чтобы добиться отъ нея того, что называется женскою благосклонностью. Это черта именно заурядныхъ женщинъ, значительная доля несчастій которыхъ зависитъ именно отъ того, что онѣ смѣшиваютъ свое униженіе съ побѣдой, сами, такъ сказать, лѣзутъ на униженіе и съ чрезвычайно побѣдоноснымъ видомъ валятся въ пропасть. До пропасти, то есть собственно до сознанія, что она летитъ въ пропасть, Клавдіи Павловнѣ еще далеко. Это скажется года черезъ четыре, черезъ пять, когда поблекнетъ ея единственное дарованіе — красота (другихъ намъ авторъ не показалъ) и единственный ея интересъ въ жизни «побѣды» и когда она останется въ положеніи рака на мели. Это была бы вполнѣ обыкновенная и, только въ своей обыкновенности, поучительная исторія, если бы авторъ не ввелъ въ нее нѣкоторыхъ исключительностей. Это, во-первыхъ, пикантная подробность соперничества матери съ дочерью, это, во-вторыхъ, репутація «выдающейся женщины». Первое само по себѣ не интересно, но второе вызываетъ на размышленіе.

Что Клавдія Павловна есть выдающаяся женщина, объ этомъ идетъ глухая молва, осязаемыми представителями которой для читателя являются только сама Клавдія Павловна, да Зоя Никитишна. Но Зоя Никитишна настолько незначительный человѣкъ по своей роли и въ повѣсти, и въ жизни, что изъ-за ея раздумья—«что нравственно и что безнравственно?»—не стоило бы

огородъ городить. Мало ли что разныя Зои Никитишны думаютъ! И если авторъ кончаетъ повѣсть этимъ вопросомъ, какъ бы подводя при помощи его итогъ, то, надо полагать, онъ и его самого до извѣстной степени занимаетъ. Или, если не самый вопросъ, то, по крайней мѣрѣ, фактъ существованія людей, надъ нимъ задумывающихся. Надо, однако, сказать, что вопросъ поставленъ невѣрно, несоотвѣтственно съ содержаніемъ повѣсти. Это видно изъ отвѣта, которымъ Зоя Никитишна разрѣшаетъ свои сомнѣнія въ разговорѣ съ Шаховымъ. Есть люди «выдающіеся», особенные, «піонеры», которымъ нѣтъ запрета ни на что. Сдѣлай другой, обыкновенный человѣкъ все то, что продѣлываетъ Клавдія Павловна, — Зоя Никитишна не затруднилась бы сказать, что это безнравственно, «чудовищно». У нея есть какое-то мѣрило для нравственности обыкновенныхъ людей, но она отказывается приложить его къ выдающимся людямъ въ родѣ Клавдіи Павловны. Выходитъ, такимъ образомъ, двѣ морали: одна для всѣхъ грѣшныхъ и другая—для людей высшаго сорта, которые собственно никакой морали не слѣдуютъ, не должны и даже не могутъ слѣдовать, они не подсудны нравственному суду. Та мораль, которой Зоя Никитишна держится относительно обыкновенныхъ людей, для насъ не интересна. Не въ томъ дѣло, что Клавдія Павловна полюбила Бунчука, потомъ Шахова и проч.; можетъ быть, Зоя Никитишна вообще-то и очень строга на этотъ счетъ,—такъ что за другого человѣка намъ пришлось бы, можетъ быть, и заступаться,—а въ томъ, что все, что дѣлаетъ Клавдія Павловна, она дѣлаетъ въ силу особыхъ правъ и преимуществъ выдающейся личности.

Мы видѣли, что Зоя Никитишна находится въ затрудненіи относительно Клавдіи Павловны, которая есть самая заурядная бабенка и была бы достойна глубокаго сожалѣнія, если бы не ея побѣдоносный видъ, доходящій до комизма. Но это для насъ теперь дѣло второстепенное. На мѣстѣ Клавдіи Павловны могла бы быть какая-нибудь Дарья Карповна, дѣйствительно выдающаяся, или же въ центрѣ повѣсти могъ бы стоять представитель не прекрасной половины человѣческаго рода, какой-нибудь Карпъ Сидорычъ съ исключительными силами и дарованіями. Личность Клавдіи Павловны неудачно выбрана или неудачно отдѣлана для иллюстраціи ученія о двоякой морали, но это не касается самаго ученія. Допустимъ же на минуту, что эта бѣдная Зоя Никитишна права и

что Клавдія Павловна есть дѣйствительно выдающаяся женщина, какъ она и сама о себѣ полагаетъ. Будемъ вѣжливы съ этой очаровательной дамой, но прежде всего будемъ справедливы, какъ къ ней, такъ и къ Зоѣ Никитишнѣ. Онѣ не лицемѣрки; исповѣдуя ученіе о *двоякой* морали, онѣ отнюдь не думаютъ практиковать *двойную* мораль. Онѣ не станутъ во всеуслышаніе словословить ходячую, общепринятую мораль, а въ тайнѣ приносить жертвы инымъ, запрещеннымъ этою ходячею моралью, богамъ. Онѣ не разсыпаются въ «благонамѣренныхъ рѣчахъ», а дѣйствительно вѣрятъ въ то, что говорятъ, и соотвѣтственно поступаютъ. Это цѣнно и въ Клавдіи Павловнѣ, которая открыто безъ маски идетъ на встрѣчу всякимъ пересудамъ; это цѣнно и въ Зоѣ Никитишнѣ, которая исповѣдуетъ ученіе о двоякой морали совершенно безкорыстно: она знаетъ, не смотря на свое свободомысліе, что она не выдающаяся женщина и что на нее не распространяются права и преимущества этой привилегированной породы людей. Положимъ, злые языки могутъ сказать, что отсутствіе лицемѣрія въ Клавдіи Павловнѣ объясняется наглостью, съ которою она всегда можетъ явиться въ костюмѣ Фрины передъ судьями, въ разсчетѣ, что тѣ только ахнутъ; а Зоя Никитишна уже своею некрасивою внѣшностью и почтеннымъ возрастомъ гарантирована отъ грѣха, а слѣдовательно, и лицемѣрія. Возраженіе это имѣетъ, однако, силу только потому, что г. Ардовъ счелъ удобнымъ предъявить читателямъ лишъ одну силу Клавдіи Павловны—красоту, и на ней построить все свое художественное зданіе.

Въ русской литературѣ есть художественное произведеніе необыкновенной силы, значительная часть котораго посвящена ученію о двоякой морали. Это «Преступленіе и наказаніе» Достоевскаго. Вспоминаю этотъ романъ не для того, конечно, чтобы его огромными художественными размѣрами заслонить повѣсть г. Ардова или бросить на нее какую-нибудь тѣнь. Такая игра не стоила бы свѣчъ. И не потому, чтобы такъ ярко выраженная въ романѣ излюбленная мысль Достоевскаго объ искупляющемъ значеніи страданія соблазняла меня сама по себѣ или какъ противовѣсъ ученію о двоякой морали. Но «Преступленіе и наказаніе» принадлежитъ къ числу тѣхъ перловъ русской литературы (черная жемчужина, сказалъ бы я, если бы понадобилось ближайшее

сравненіе въ области драгоцѣнностей), надъ которыми, совершенно независимо отъ образа мыслей автора, всякому читателю приходится самому много думать. Поневолѣ вспоминаешь Раскольникова при чтеніи повѣсти г. Ардова, когда возьмешь Клавдію Павловну не со стороны ея комическаго великолѣпія, а со стороны «дерзанія»,—хотя то черная жемчужина а эта... ну, Богъ съ ней!

Слѣдователь Порфирій, играя съ Раскольниковымъ, какъ кошка съ мышью, формулируетъ его ученіе такъ: «существуютъ будто бы, нѣкоторыя такія лица, которыя могутъ.. то есть, не то что могутъ, а полное право имѣютъ совершать всякія безчинства и преступленія, и что для нихъ, будто бы, и законъ не писанъ». Раскольниковъ замѣчаетъ на это, что Порфирій, пожалуй, и вѣрно изложилъ его мысль, но слишкомъ ужъ грубо и узко. Онъ, Раскольниковъ, думаетъ, что дѣйствительно люди раздѣляются, не говоря объ оттѣнкахъ, на два большихъ разряда: обыкновенныхъ и не обыкновенныхъ (онъ признается, что выраженія эти, можетъ быть, и неудачны). Обыкновенные—говоритъ Раскольниковъ—«люди по натурѣ своей консервативные, чинные, живутъ въ послушаніи и любятъ быть послушными, потому что это ихъ назначеніе и тутъ рѣшительно нѣтъ ничего унизительнаго. Второй разрядъ, всѣ преступаютъ законъ: разрушители или склонны къ тому, судя по способностямъ. Преступленія этихъ людей, разумѣется, относительны и многоразличны; большею частью они требуютъ, въ весьма разнообразныхъ заявленіяхъ, разрушенія настоящаго во имя лучшаго. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и черезъ трупъ, черезъ кровь, то онъ внутри себя, по совѣсти, можетъ, по моему, дать себѣ разрѣшеніе перешагнуть черезъ кровь, смотря, впрочемъ, по идеѣ и по размѣрамъ ея,—это замѣтьте». Раскольниковъ иллюстрируетъ эту свою мысль примѣрами Кеплера или Ньютона, которые, если бы это потребовалось какими-нибудь обстоятельствами, могли бы «устранить десять, сто человѣкъ, чтобы сдѣлать свои открытія извѣстными всему человѣчеству. Изъ этого, впрочемъ, вовсе не слѣдуетъ,—прибавляетъ онъ,—чтобы Ньютонъ имѣлъ право убивать кого вздумается, встрѣчныхъ и поперечныхъ, или воровать каждый день на базарѣ». Но дѣло въ томъ, что всякій, вносящій въ міръ «новое слово», непремѣнно нарушаетъ древній, чтимый обществомъ законъ, перешедшій отъ отцовъ, и въ этомъ смыслѣ есть преступникъ.

Присутствующій при разговорѣ Разумихинъ пораженъ ужасомъ,

слыша, что Раскольниковъ, его другъ, его любимецъ, «кровь *по совѣсти* (Разумихинъ подчеркиваетъ) разрѣшаетъ». Онъ находитъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что только именно эта черта и оригинальна во всей теоріи, только она «дѣйствительно принадлежитъ одному» Раскольникову, а остальное—съ чѣмъ, надо замѣтить, и самъ Раскольниковъ согласенъ,—«тысячу разъ было напечатано и прочитано». Очевидно, и то, и другое не совсѣмъ вѣрно. Странно какъ-то даже слышать, что Раскольниковъ оригиналенъ по первому пункту,—до такой степени исторія человѣчества обильна примѣрами разрѣшенія крови по совѣсти. Что же касается раздѣленія людей на необыкновенныхъ и обыкновенныхъ, то въ томъ видѣ, какъ его излагаетъ Раскольниковъ, едва ли объ немъ можно сказать: «тысячу разъ было напечатано и прочитано», да на томъ и покончить. Не Раскольниковъ, разумѣется, впервые высказалъ мысль, что люди, вносящіе «новое слово», тѣмъ самымъ преступаютъ нѣчто установившееся и причиняютъ всѣмъ приладившимся, сжившимся съ извѣстнымъ ли строемъ мысли, или съ извѣстнымъ порядкомъ вещей, массу страданій, рискуя, конечно, вмѣстѣ съ тѣмъ и собственнымъ благополучіемъ. Нѣтъ надобности при этомъ, чтобы причиняемыя «новымъ словомъ» страданія были непремѣнно кроваваго характера: они могутъ быть совершенно безкровны, потому что даже надломъ установившихся вѣрованій и идеаловъ уже доставляетъ страданія, а тѣмъ болѣе, если надломъ этотъ не ограничивается сферою мысли, а отзывается и на реальныхъ житейскихъ отношеніяхъ. Всякій носитель новаго слова думаетъ, конечно, что страданія эти съ избыткомъ окупятся грядущимъ счастіемъ, но это уже другой вопросъ. Фактъ тотъ, что, какъ женщина въ болѣзняхъ родитъ чада, независимо отъ того, украсятъ ли они впослѣдствіи ея жизнь радостью или омрачатъ печалью, такъ и новое слово, каково бы ни было его достоинство, является въ міръ среди страданій. Это истина несомнѣнная, но даже и тысячу разъ повторенная, она окажется не лишнею и въ тысячу первый и въ двухтысячный разъ. На ядовитые распросы Порфирія Раскольниковъ поясняетъ, что необыкновенные люди, имѣющіе за душой, дѣйствительно, новое слово, составляютъ величайшую рѣдкость, но такъ какъ выскочить изъ разряда обыкновенныхъ людей въ необыкновенные—лестно, то «глупенькіе и тщеславные особенно на эту удочку попадаются». Отсюда глубоко трагическая или глубоко комическая роль тѣхъ, кто ошибся въ своихъ силахъ.

Формы и содержаніе этихъ трагедій и комедій безконечно разнообразны, начиная съ положенія того пророка, который сталъ провозглашать «любви и правды чистыя ученья», а современники, соотечественники, «всѣ ближніе» въ него «бросали бѣшено каменья», и кончая «глупенькимъ и тщеславнымъ» съ аммуниціей на грошъ и амбиціей на рубль. Мы остановимся только на трагедіи «Преступленія и наказанія» и комедіи «Выдающейся женщины». Не смотря на неизмѣримое разстояніе между этими двумя произведеніями въ смыслѣ серьезности замысла и художественности обработки, въ нихъ есть нѣчто общее. И Раскольниковъ, и Клавдія Павловна дерзаютъ возстать противъ общепринятой въ ихъ средѣ морали и, такимъ образомъ, оба являются носителями новаго слова; новаго не потому, чтобы оно было вообще неслыхано, а потому, что оно въ данной средѣ или совсѣмъ не раздавалось, или доносилось туда въ видѣ отдаленнаго эхо. Далѣе, и Раскольниковъ, и Клавдія Павловна не просто выступаютъ съ своими новыми словами практически, а являются теоретиками особыхъ правъ и преимуществъ носителей новыхъ словъ, людей «необыкновенныхъ», «выдающихся». Самое ихъ новое слово въ значительной степени состоитъ именно въ этой теоріи. Это черта весьма важная, усиливающая сходство между Раскольниковымъ и Клавдіей Павловной и вмѣстѣ съ тѣмъ отграничивающая ихъ отъ другихъ носителей новыхъ словъ. Одно дѣло явиться съ новымъ словомъ—каково бы оно ни было по своимъ достоинствамъ или недостаткамъ, и къ какой бы сферѣ мысли или жизни оно ни относилось—съ сознаніемъ лишь его истинности, полезности, справедливости. И совсѣмъ другое дѣло, когда это положеніе осложняется теоріей исключительныхъ личностей и двоякой морали и увѣренностью, что я такой-то, имярекъ, и есть исключительная личность, съ особыми, присвоенными этой породѣ правами и преимуществами. Первое возможно не только безъ второго, но и въ прямое ему противорѣчіе, ибо въ исторіи человѣчества не мало примѣровъ людей, новое слово которыхъ въ томъ только именно и состояло, что извѣстная мораль обязательна для всѣхъ людей безъ исключенія. Раскольниковъ и Клавдія Павловна полагаютъ себя носителями новаго слова и людьми исключительными. Личныя ихъ свойства - небо и земля. Не смотря на свою угрюмость и гордость, Раскольниковъ великодушенъ и добръ, а Клавдія Павловна, не смотря на свою обаятельность, безсердечна: Раскольниковъ—че-

ловѣкъ вдумчивый, каждый свой шагъ анализирующій и даже на свое безумное и злодѣйское дѣло рѣшающійся вслѣдствіе чисто разсудочныхъ соображеній, а Клавдіи Павловнѣ кажутся «тѣсными» «рамки разсудочнаго анализа», она желаетъ слѣдовать только «могучему голосу природы». И, однако, эти столь разные люди на извѣстномъ пунктѣ сходятся.

Вы помните вопль души Мармеладова: «Вѣдь надобно же, чтобы всякому человѣку хоть куда-нибудь можно-бы было пойти; ибо бываетъ такое время, когда непремѣнно надо хоть куда-нибудь да пойти!» Спрашивается, куда можетъ «пойти» Раскольниковъ, какимъ его застаетъ разсказъ Достоевскаго? Онъ любитъ мать и сестру и въ свою очередь любимъ ими, но общаго между ними мало. А что касается семейныхъ узъ вообще, то окружающая его жизнь предъявляетъ ему мало въ этомъ отношеніи привлекательнаго, достойнаго почтенія. Онъ знаетъ полную ужасовъ и безобразій семейную жизнь Свидригайлова, семью Мармеладовыхъ, для поддержанія которой нужна позорная жертва Сони: онъ знаетъ и настоящую цѣну того брака, въ который готова вступить его сестра, гордая Авдотья Романовна. Далѣе, у него нѣтъ товарищей, потому что единственный, повидимому, его пріятель, Разумихинъ, смотритъ на него слишкомъ снизу вверхъ, да и поневолѣ долженъ такъ смотрѣть. У него нѣтъ дѣла, которое связывало бы его съ какимъ-нибудь кругомъ людей на почвѣ общественныхъ интересовъ. Кто во всемъ этомъ виноватъ,—люди-ли, обстоятельства, общій порядокъ или самъ Раскольниковъ,—это вопросъ особый, но, во всякомъ случаѣ, онъ стоитъ въ жизни сиротливыхъ и горделивыхъ торчковъ и съ высоты своего сиротства презрительно критикуетъ все, что связываетъ людей въ какія бы то ни было группы, всѣ ихъ взаимныя, писаныя или не писаныя обязательства. Изощренная одиночествомъ критическая способность подсказываетъ мрачные аргументы въ изобиліи, и въ высшей степени характерно то обстоятельство, что когда для Раскольникова наступило «такое время, когда непремѣнно надо хоть куда-нибудь да пойти»,—онъ пошелъ къ Сонѣ, отверженной, отлученной отъ всѣхъ общепризнанныхъ общественныхъ связей. Все вздоръ, ничто его не удовлетворяетъ въ существующемъ строѣ, не питаетъ онъ вѣры и въ розовыя перспективы будущаго и надъ соціализмомъ смѣется. «За что давеча дуракъ Разумихинъ соціалистовъ бранилъ?—говоритъ онъ.—Тру-

долюбивый народъ и торговый; «общимъ счастіемъ» занимаются... Нѣтъ, мнѣ жизнь однажды дается и никогда ея больше не будетъ: я не хочу дожидаться «всеобщаго счастья». Я и самъ хочу жить, а то лучше ужъ и не жить». Но что же значитъ *жить* для Раскольникова? Пить, ѣсть и веселиться,—эта программа не по немъ, а все остальное такъ или иначе состоитъ въ опредѣленныхъ общественныхъ отношеніяхъ. Какъ же устроить общеніе съ людьми, на чемъ его построить, если ни одна изъ существующихъ его формъ и изъ тѣхъ, которыя обѣщаютъ люди, вѣрящіе во «всеобщее счастіе», не удовлетворяютъ, разбиты критическою мыслью, созрѣвшею въ горделивомъ одиночествѣ? Тутъ-то и является на предательскую помощь теорія двоякой морали и особыхъ правъ необыкновенныхъ людей. Она является на помощь, потому что всетаки указываетъ выходъ, наполняетъ пустоту слова и понятія «жить». Но это помощь предательская, потому что, поманивъ Раскольникова лучомъ надежды, она становится затѣмъ источникомъ его гибели. Десятки разъ, мучительно и мучительски роясь въ своей душѣ, Раскольниковъ наталкивается на разные мотивы, подвинувшіе его на убійство старухи-закладчицы. То уличаетъ себя, что убилъ старуху просто для того, чтобы ограбить и на награбленныя деньги устроить свою личную карьеру. То, съ негодованіемъ отвергая эту мысль, онъ думаетъ о благодѣяніяхъ, которыми онъ осыпалъ бы человѣчество, пріобрѣтя такимъ образомъ деньги, а потомъ и власть. То суживаетъ предѣлы этихъ благодѣяній до своихъ близкихъ, кровныхъ: матери и сестры. То, наконецъ, онъ объясняетъ себѣ (и другимъ), что хотѣлъ «попробовать» себя, попробовать—принадлежитъ ли онъ къ числу «необыкновенныхъ людей», дерзающихъ переступить «законъ». Послѣдній мотивъ надо, кажется, признать, если не исключительнымъ, то главнымъ факторомъ въ томъ мрачномъ душевномъ процессѣ, который разразился убійствомъ старухи-закладчицы и ея сестры. Дѣло въ томъ, что, презирая всѣ существующія и утопическія формы общества, Раскольниковъ презираетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и людей, самую природу человѣческую, видя въ ней нѣчто неисправимо рабское. Онъ разсказываетъ Сонѣ Мармеладовой: «Я тогда все себя спрашивалъ—зачѣмъ я такъ глупъ, что если другіе глупы, и коли я знаю ужъ навѣрно, что они глупы, то самъ не хочу быть умнѣе? Потомъ я узналъ, что если ждать, пока всѣ станутъ умными, то слишкомъ ужъ долго будетъ. По-

томъ я еще узналъ, что никогда этого и не будетъ, что не перемѣнятся люди и не передѣлать ихъ никому, и труда не стоитъ тратить! Да, это такъ! Это ихъ законъ... И я теперь знаю, что кто крѣпокъ и силенъ умомъ и духомъ, тотъ надъ ними и властелинъ! Кто много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ. Кто на большее можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и законодатель, а кто больше всѣхъ можетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ правѣе! Такъ доселѣ велось и такъ всегда будетъ!» Но не все же рабы; если есть рабы, такъ стало быть есть и повелители. И на этой-то сторонѣ исторіи человѣчества напряженно сосредоточилось все вниманіе Раскольникова. Передъ его умственнымъ взоромъ постоянно витали образы Наполеона, Магомета и другихъ «необыкновенныхъ» людей, то есть, значитъ, почти что уже не людей, которые, ничѣмъ не смущаясь, дерзали и добились покорности современниковъ и славы въ потомствѣ. Не таковъ ли и онъ, Раскольниковъ? Надо попробовать. И онъ попробовалъ, и тутъ же убѣдился, что не по себѣ дерево рубить вздумалъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ уже самый тотъ фактъ, что онъ рѣшилъ попробовать: тѣ, Наполеоны и Магометы, не пробовали, а прямо принимались за дѣло власти. Затѣмъ, его посѣщаютъ мучительные гости — страшные сны, угрызенія совѣсти: тѣ не угрызались. Все это онъ самъ отлично сознаетъ. Но онъ не замѣчаетъ того, что жажда власти, покорности современниковъ, славы въ потомствѣ—не вяжется съ настоящимъ, полнымъ презрѣніемъ къ людямъ и ко всѣмъ формамъ общенія съ ними: она предполагаетъ извѣстную форму общенія, ту именно, которая основывается исключительно на власти и повиновеніи.

Перейдемъ теперь изъ мрачной гробообразной конуры Раскольникова—«низкіе потолки и тѣсныя комнаты душу и умъ тѣснятъ»,— замѣчаетъ онъ.—въ благоуханный дамскій будуаръ: обратимся къ нашей очаровательной Клавдіи Павловнѣ. Велико разстояніе, отдѣляющее эту блестящую красавицу, пьющую жизнь изъ полной чаши наслажденія, отъ мрачнаго убійцы старой закладчицы. Но и она, подобно ему, исповѣдуетъ теорію двоякой морали и особыхъ правъ необыкновенныхъ, «выдающихся» людей; и она причисляетъ себя къ этимъ необыкновеннымъ; и она, наконецъ, приходитъ къ своимъ выводамъ подъ давленіемъ частію тѣхъ же условій, которыя давятъ на Раскольникова.

У Клавдіи Павловны нѣтъ семьи. У нея есть законный мужъ,

котораго она оставила, есть незаконный мужъ, съ которымъ она охотно разсталась бы, есть дочь, которую она видѣла десять лѣтъ тому назадъ, и съ которой она даже не прощается передъ отъѣздомъ на Дальній Востокъ, быть можетъ, навсегда. Если даже прибавить сюда «сотканнаго изъ пламени» испанскаго художника и Мавраки, то семьи всетаки не выйдетъ. У нея нѣтъ отечества, въ которомъ она является проѣздомъ съ запада на востокъ. У нея нѣтъ дѣла, которое связывало бы ее съ интересами какой-бы то ни было группы людей, и даже абстрактное понятіе человѣчества, которое всетаки играетъ извѣстную роль въ теоретическихъ выкладкахъ Раскольникова, для нея не существуетъ. Она даже больше сирота, чѣмъ Раскольниковъ. Правда, сейчасъ она не чувствуетъ скорбной стороны этого сиротства, но она почувствуетъ ее черезъ четыре, пять лѣтъ, когда жизнь ея осѣнится темнымъ крыломъ трагедіи. Пока она, повидимому, извлекаетъ только радости изъ своей Vogelfreiheit: но, во-первыхъ, только повидимому, а во-вторыхъ, въ этомъ и заключается комедія. Какъ и относительно Раскольникова, не будемъ доискиваться, кто тутъ виноватъ, и возьмемъ фактъ, какъ онъ есть. Какъ и Раскольниковъ, она «отрицаетъ узкія правила, принципы мелкихъ людишекъ» и съ сознаніемъ своей правоты и своего права «грѣшитъ противъ правилъ такъ называемой общественной нравственности». Не то, чтобы она эти правила осуждала вообще: нѣтъ, есть мелкіе людишки, которымъ они какъ разъ по плечу, потому что у нихъ «въ жилахъ течетъ сыворотка», ну и пусть ихъ, но пусть и страдаютъ безропотно, когда «выдающаяся женщина» «слышитъ могучій голосъ природы и внемлетъ ему». Мы видѣли, что безъ чьихъ-нибудь страданій ни одно новое слово не является въ міръ, ни одна новая дорога не прокладывается въ полѣ жизни. Но мы видѣли также, что Клавдія Павловна отнюдь не изъ тѣхъ, которые прокладываютъ новые пути, и только ея доходящая до комизма самовлюбленность позволяетъ ей утверждать, что она «внемлетъ могучему голосу природы» и «уклоняется отъ проторенной дорожки», когда она уѣзжаетъ съ Шаховымъ: она просто продается ненавистному ей человѣку, а это, конечно, не новый путь. Изо всѣхъ отвергнутыхъ ею формъ общенія она на дѣлѣ выбираетъ худшую.

Иной читатель недоумѣваетъ, можетъ быть, зачѣмъ мы его занимали бесѣдой о такомъ крупномъ, но старомъ произведеніи, какъ «Преступленіе и наказаніе», и о такой мелкой новинкѣ, какъ «Выдающаяся женщина». Прежде всего, это, кажется, само по себѣ интересно. Интересно даже и то, что произведеніе Достоевскаго старо, а повѣсть г. Ардова нова. Извѣстно, что Достоевскій отнюдь не былъ служителемъ такъ называемаго чистаго искусства и любилъ отзываться на злобу дня учительнымъ словомъ въ художественной формѣ, а иногда и не замаскированной никакимъ художествомъ. Онъ сплошь и рядомъ бралъ свои темы прямо изъ событій текущей жизни, тенденціозно освѣщая ихъ съ извѣстной точки зрѣнія. Помнится, около времени появленія «Преступленія и наказанія», былъ такой случай, что какой-то образованный молодой человѣкъ убилъ и ограбилъ старуху закладчицу, а слѣдователь Порфирій Петровичъ, характеризуя преступленіе Раскольникова, прямо говоритъ: «Тутъ дѣло фантастическое, мрачное, дѣло современное, нашего времени случай-съ, когда помутилось сердце человѣческое». Соотвѣтственно этому, г. Скабичевскій въ своей «Исторіи новѣйшей русской литературы» говоритъ: «По глубокому психіатрическому и психологическому анализу «Преступленіе и наказаніе» достойно было бы стоять въ числѣ первыхъ и лучшихъ памятниковъ европейскаго искусства XIX вѣка. Но, къ прискорбію, на всѣхъ благомыслящихъ людей оно произвело странное впечатлѣніе тѣмъ, что Достоевскій преступленіе своего героя Раскольникова обусловливаетъ вдругъ вліяніемъ новыхъ идей, якобы оправдывающихъ всевозможныя преступленія ради цѣлей, съ которыми они совершаются; не менѣе поражаетъ въ романѣ развязка его въ видѣ нравственнаго возрожденія Раскольникова подъ вліяніемъ каторги». До возрожденія Раскольникова намъ здѣсь дѣла нѣтъ. Что же касается остальнаго, то я позволю себѣ не согласиться съ мнѣніемъ почтеннаго критика, довольно, впрочемъ, распространеннымъ вообще. Слишкомъ извѣстно, какъ относился Достоевскій къ «новымъ идеямъ», но собственно въ «Преступленіи и наказаніи» отношеніе это выразилось почти исключительно фигурой глупаго нигилиста Лебезятникова, фигурой пока еще только смѣшной, въ ожиданіи тѣхъ отвратительныхъ, которыхъ рисовало злобное перо Достоевскаго въ позднѣйшихъ произведеніяхъ. Быть можетъ, и даже очень вѣроятно, что Достоевскій хотѣлъ и Раскольниковымъ причинить

непріятности носителямъ тогдашнихъ «новыхъ идей» («Преступленіе и наказаніе» появилось въ печати въ 1866 г.), но вышло, помимо его воли, нѣчто иное. Намъ не зачѣмъ даже наводить какія-нибудь справки объ томъ, подлежали или не подлежали тогдашнія «новыя идеи» такому толкованію, что ими «оправдываются всевозможныя преступленія ради цѣлей, съ которыми они совершаются». Въ романѣ эта сторона дѣла если и играетъ какую нибудь роль, то совершенно второстепенную. Въ центральномъ своемъ пунктѣ (оставляя въ сторонѣ возрожденіе Раскольникова, это —пристройка), романъ вышелъ несравненно глубже и оригинальнѣе. Конечно, Раскольниковъ видитъ въ своемъ преступленіи средство для достиженія извѣстной цѣли, но въ чемъ состояла эта цѣль? Не просто въ грабежѣ, въ обогащеніи или даже облагодѣтельствованіи кого-бы то ни было на счетъ убитой старухи. Все это, можетъ быть, и мелькало въ разгоряченномъ мозгу Раскольникова,—онъ самъ не можетъ дать себѣ ясный отчетъ въ вихрѣ своихъ чувствъ и мыслей, — но главная и оригинальная цѣль состояла въ «*пробѣ*»: Раскольниковъ хотѣлъ себя попробовать, испытать—принадлежитъ-ли онъ къ числу тѣхъ «необыкновенныхъ» людей, для которыхъ сила и право, по его теоріи, однозначущи и которымъ поэтому приличествуетъ особая мораль, рѣзко отличная, даже прямо противоположная той, которою руководятся остальные, «обыкновенные» люди. И было-бы напраснымъ трудомъ искать подобныхъ идей въ умственномъ багажѣ того времени, когда писалось «Преступленіе и наказаніе». Лебезятниковъ, по словамъ самого Достоевскаго, изъ тѣхъ, «которые мигомъ пристаютъ непремѣнно къ самой модной ходячей идеѣ, чтобы тотчасъ-же опошлить ее, мигомъ окаррикатурить все, чему они-же иногда самымъ искреннимъ образомъ служатъ». Изъ этого глупаго Лебезятникова, какъ изъ мѣшка горохъ, сыплется разнообразнѣйшій каррикатурный вздоръ на темы тогдашнихъ «новыхъ идей», но во всей этой болтовнѣ нѣтъ и намека на тѣ мысли, которыя такъ глубоко волнуютъ Раскольникова. Можетъ быть, Достоевскій и наблюдалъ что-нибудь подобное въ видѣ одиночнаго, отнюдь не типическаго явленія. Но обобщилъ онъ его, а вѣрнѣе даже прямо создалъ, тѣмъ смутнымъ путемъ, которымъ вообще крупные художники улавливаютъ логически возможны[illegible] хотя и не существующія въ данную минуту положенія; при то[illegible] же Достоевскій былъ особенный мастеръ въ дѣлѣ созданія э[illegible] центрическихъ образовъ.

Во избѣжаніе недоразумѣній слѣдуетъ замѣтить слѣдующее. Въ художественной русской (какъ, впрочемъ, и во всякой другой) литературѣ можно найти не мало представителей тѣхъ двухъ общихъ типовъ, которые Аполлонъ Григорьевъ называлъ «хищными» и «смирными», и всегда, конечно, существовали соотвѣтственные имъ экземпляры въ жизни. Можетъ показаться, что и Раскольниковъ какъ-нибудь въ эту схему долженъ быть втиснутъ и признанъ, до своего возрожденія, хищнымъ. Если-бы это было такъ, то пришлось бы вычесть значительную долю оригинальности изъ фигуры Раскольникова, но это не такъ. «Хищный» предписываетъ «смирному» одну мораль, а самъ руководится другой, но онъ или основываетъ свои особыя права и преимущества на внѣшнихъ, такъ сказать, придаткахъ къ его особѣ, напримѣръ, на богатствѣ, или приписываетъ ихъ лично себѣ, имяреку, не вдаваясь въ обобщенія и теоретическій анализъ, а просто пуская свою силу въ ходъ. Напримѣръ, Островскаго самодуры, ну, хоть Аховъ говоритъ: «я все могу, могущественный я человѣкъ», но онъ думаетъ, что «такъ отъ начала міра заведено», что «бѣдный человѣкъ пришелъ, хочешь—ты ими занимаешься,—хочешь—прогонишь, а богатый, хоша-бы и невѣжество сдѣлалъ, ты его почитаешь». На какихъ-нибудь своихъ личныхъ качествахъ Аховъ ничего не строитъ, и если-бы могъ напрячь свое заплывшее жиромъ воображеніе и представить себя бѣднякомъ, то отлично понималъ-бы, что ему цѣна грошъ. Что-же касается хищныхъ, опирающихся на свои личныя силы, то ближе другихъ къ Раскольникову подходятъ Лермонтовскіе типы—Печоринъ, Арбенинъ, Вадимъ, тоже преступающіе «законы» и ходячую мораль въ качествѣ особенныхъ, властныхъ людей, но не выступающіе, однако, въ качествѣ носителей извѣстной идеи.

Раскольниковъ логически возможенъ былъ и прежде, а теперь, можетъ быть, уже и существуетъ, какъ типъ (опять-таки въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ мы его коснулись, то-есть, оставляя въ сторонѣ его возрожденіе). Объ этомъ отчасти свидѣтельствуетъ и «Выдающаяся женщина» г. Ардова. Конечно, одна ласточка весны еще не дѣлаетъ, особенно такая ласточка, какъ названная повѣсть. Нельзя, однако, не признать характерною ту разницу между романомъ Достоевскаго и повѣстью г. Ардова, что въ первомъ ни одно изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ дѣйствующихъ лицъ не одобряетъ ни поступка, ни теоріи Раскольникова,

тогда какъ Клавдія Павловна получаетъ одобреніе и со стороны, въ качествѣ «обаятельной женщины». Еще разъ обращаю вниманіе читателя на эту послѣднюю черту: Зоя Никитишна не прощаетъ Клавдіи Павловнѣ, а славословитъ ее и разрѣшаетъ ей нарушеніе ходячей морали не потому, что считаетъ эту мораль неудовлетворительною, а потому, что Клавдія Павловна изъ особой породы людей, для которой нѣтъ ни въ чемъ запрета. Если такую черту эксплуатируетъ крупный и при томъ эксцентрическій талантъ, какъ Достоевскій, то это еще не значитъ, чтобы соотвѣтственныя явленія имѣли сколько-нибудь значительное распространеніе въ жизни: для такого таланта достаточно ничтожнаго намека или даже игры собственнаго воображенія. Совсѣмъ другое дѣло, когда та же тема эксплуатируется заурядным художникомъ. Я не думаю, однако, чтобы теорія двоякой морали и необыкновенныхъ людей имѣла у насъ и теперь сколько-нибудь значительное число представителей, но они возможны въ самомъ близкомъ будущемъ, какъ отголосокъ нѣкоторыхъ европейскихъ теченій мысли, къ которымъ мы вообще такъ стремительно чутки.

Вся новѣйшая исторія Европы была для нея временемъ разложенія завѣщанныхъ ей средними вѣками разнообразныхъ общественныхъ узъ. Разложеніе происходило и въ самой жизни, фактически, и въ сферѣ критической мысли. Рядомъ съ этимъ шла и положительная, творческая работа, создавшая или пытавшаяся создать новыя формы общенія, взамѣнъ разлагавшихся. Но она до сихъ поръ далеко отставала отъ работы отрицательной, какъ въ своей напряженности, такъ и въ значеніи и прочности своихъ результатовъ. А между тѣмъ, «не добро быти человѣку едину», и «надобно же, чтобы всякому человѣку хоть куда-нибудь можно было пойти». Европейская мысль, вооруженная цѣлымъ арсеналомъ фактическихъ данныхъ и теоретическихъ аргументовъ противъ всѣхъ существующихъ формъ общенія, всетаки ищетъ и надѣется, и всѣ эти поиски и надежды отражаются, конечно, и на морали. Надо, однако, замѣтить, что въ большинствѣ самыхъ, повидимому, крайнихъ отрицаній настоящихъ формъ общежитія во имя будущаго многіе основные принципы оффиціально признаваемой современной морали остаются неприкосновенными; предполагается только, что они явятся въ будущихъ формахъ въ своемъ чистомъ отъ лицемѣрія, настоящемъ видѣ: настоящая любовь, настоящее состраданіе, настоящее братство, настоящее уваженіе къ

труду и т. д. Но волна отрицанія на этомъ не останавливается. Усталая отъ неудачныхъ экспериментовъ, разочарованная и окончательно осиротѣлая и, въ сиротствѣ своемъ, ничѣмъ не дорожащая и нетерпѣливая мысль хочетъ, подобно Раскольникову, «взять просто-за-просто *все* за хвостъ и стряхнуть къ чорту». Это порожденіе полнаго сиротства личности, полной ея общественной безпріютности и есть воинствующій, практическій анархизмъ. Не о немъ, однако, хочу я бесѣдовать съ читателями, а объ одномъ странномъ и, повидимому, противоестественномъ его сочетаніи съ аристократизмомъ особаго рода, получающемъ нынѣ извѣстное значеніе среди разнообразныхъ умственныхъ теченій въ Европѣ Слагаясь изъ рѣшительнаго отрицанія всѣхъ существующихъ формъ общежитія, а равно и тѣхъ, которыя обѣщаются провозвѣстниками «всеобщаго счастья», и изъ теоріи двоякой морали для обыкновенныхъ и необыкновенныхъ людей, оно имѣетъ своихъ представителей и во французской литературѣ, и, повидимому, въ скандинавскихъ, къ сожалѣнію, мнѣ мало извѣстныхъ, но особенно ярко выразилось въ философіи Фридриха Ничше, быстро получившей общеевропейскую извѣстность. Прежде, однако, чѣмъ обратиться къ этимъ явленіямъ литературы и жизни, намъ нужно взглянуть нѣсколько ближе хоть на какой-нибудь уголокъ общественныхъ отношеній, благодаря которымъ объявилось это круглое сиротство личности и эта ея непомѣрная гордость.

XIII *).

О «Литературномъ обществѣ» и нашихъ литературныхъ нравахъ.—О системахъ морали.—О Максѣ Штирнерѣ и Фридрихѣ Ничше.

Маленькое отступленіе отъ плана, намѣченнаго въ концѣ прошлой бесѣды. Читатель, надѣюсь, проститъ это отступленіе старому журналисту, когда узнаетъ, въ чемъ дѣло.

Газетѣ «Новое Время» пришлось недавно давать любопытное объясненіе по поводу двухъ своихъ корреспондентовъ: г. Загуляева на Антверпенскомъ съѣздѣ журналистовъ и г. Old. Gentleman'а въ Болгаріи. «С.-Петербургскія Вѣдомости» пожелали узнать, кто уполномочилъ г Загуляева представлять на Антверпенскомъ съѣздѣ русскую журналистику. «Московскія Вѣдомости»,

*) 1894, августъ.

узнавъ, что «Новое Время», прежде чѣмъ отправить своего корреспондента въ Болгарію, сносилось по этому поводу въ непризнаннымъ русскимъ правительствомъ болгарскимъ княземъ, освѣдомлялось, какъ, въ какой формѣ производились эти сношенія. Подкладка этихъ запросовъ, конечно, очень проста: г. Загуляевъ въ Антверпенѣ и г. Old Gentleman въ Болгаріи были обставлены такъ, какъ не догадались обставить своихъ корреспондентовъ (если у нихъ таковые есть) ни московскія, ни петербургскія «Вѣдомости», и сердца ихъ взыграли по отношенію къ удачливому или ловкому собрату тѣмъ чувствомъ, которое нѣкогда подвигнуло Каина даже на убійство. Но «Новое Время» счастливо избѣгло участи Авеля. «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ» оно объяснило, что г. Загуляевъ былъ избранъ въ представители русскихъ журналистовъ въ Антверпенѣ существующимъ въ Петербургѣ «Литературнымъ обществомъ», членомъ котораго состоитъ и редакторъ-издатель «С-Петербургскихъ Вѣдомостей», г. Авсѣенко. «Московскимъ Вѣдомостямъ» «Новое Время» отвѣтило, что въ предварительныхъ своихъ сношеніяхъ (собственно, въ одной телеграммѣ) оно титуловало Фердинанда болгарскаго «prince» и «altesse», каковой титулъ принадлежитъ ему по рожденію, какъ члену Кобургскаго дома, не менѣе, чѣмъ титулъ «его благородіе» редактору-издателю «Московскихъ Вѣдомостей», г. Петровскому. Затѣмъ вмѣшался въ дѣло «Гражданинъ», исполнивъ, по обыкновенію, какой-го словесно-акробатическій «комическій выходъ», и хотя апплодисментовъ не заслужилъ, но остался собою вполнѣ доволенъ. Тѣмъ инцидентъ и кончился. На немъ стоитъ, однако, остановиться нѣсколько дольше.

Что это за «Литературное общество», избравшее г. Загуляева представителемъ русскихъ журналистовъ на Антверпенскомъ съѣздѣ? Интересно, можетъ быть, уже и то, что я, безъ малаго тридцать пять лѣтъ работающій въ русской литературѣ, не могу отвѣтить на этотъ вопросъ. Я знаю, что такое общество существуетъ, мнѣ попадались въ газетахъ объявленія объ чередныхъ собраніяхъ его и занятіяхъ въ такой-то день и часъ (помнится, о чтеніяхъ г. Мережковскаго, г. Спасовича, г. Кони, г. Андреевскаго), но ни составъ и уставъ, ни цѣли и результаты дѣятельности общества мнѣ совершенно не извѣстны; и не мнѣ одному, а цѣлому кружку близкихъ мнѣ писателей. Еще, можетъ быть, интереснѣе то, что такой случай, какъ избраніе представителя

русскихъ журналистовъ на первый европейскій съѣздъ журналистовъ, остался неизвѣстенъ, по крайней мѣрѣ, одному изъ членовъ избравшаго г. Загуляева «Литературнаго общества», и именно журналисту—г. Авсѣенкѣ, а если одному, то, можетъ быть, и не одному.

Поневолѣ вспоминается исторія возникновенія другого литературнаго учрежденія, благополучно существующаго тридцать пять лѣтъ—литературнаго фонда. Лѣтопись литературнаго фонда повѣствуетъ: «Мысль объ основаніи въ Россіи, по примѣру Англіи, «Общества для пособія писателямъ» впервые была высказана А. В. Дружининымъ въ журналѣ «Библіотека для чтенія». Принятая съ полнымъ сочувствіемъ въ литературныхъ кружкахъ, мысль эта вызвала совѣщанія между представителями петербургской журналистики и литературы объ организаціи общества, его цѣляхъ и, наконецъ, о самомъ уставѣ его. Послѣдствіемъ совѣщаній было то, что сперва на А. В. Никитенко, а потомъ на А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго и К. Д. Кавелина было возложено составленіе проекта устава «Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ». Выработанный ими проектъ былъ одобренъ и 16 февраля 1859 года представленъ министру народнаго просвѣщенія за подписью П. В. Анненкова, С. С. Дудышкина, Н. Г. Чернышевскаго, А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго, Е. П. Ковалевскаго, А. Д. Галахова, А. В. Никитенко, К. Д. Кавелина, А. А. Краевскаго и И. С. Тургенева».

Литературный фондъ, далѣе, публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе свои отчеты, публично производитъ каждогодно выборы въ члены комитета и ревизіонной коммиссіи, подвергается публичнымъ одобреніямъ и порицаніямъ въ газетахъ. Состоящая номинально при литературномъ фондѣ, но вполнѣ отъ него независимая касса взаимопомощи точно также вырабатывала свой проектъ и ведетъ свои дѣла гласно.

Иначе поставлено «Литературное общество». Безъ сомнѣнія и оно должно было представить свой уставъ на утвержденіе въ какое-нибудь министерство: иначе оно, по условіямъ нашей жизни, не могло бы и существовать. Но весьма многіе писатели остаются въ полной неизвѣстности относительно его состава, организаціи, цѣли и дѣятельности. И, напримѣръ, рѣшительно не понятно, почему представитель русской журналистики на Антверпенскій съѣздъ выбранъ не нарочитымъ собраніемъ журнали-

стовъ, а «Литературнымъ обществомъ», въ которомъ чрезвычайно почтенный, но совершенно чуждый интересамъ журналистики поэтъ Мережковскій излагаетъ свои мысли о символистахъ. Или гг. Кони и Спасовичъ... Весьма вѣроятно, что этимъ уважаемымъ дѣятелямъ юридической науки и практики придется завтра же—одному обвинять, а другому защищать какого-нибудь журналиста, но не только это, а и ихъ литературная дѣятельность не даетъ еще имъ большаго права выбрать представителя русской журналистики, чѣмъ, — скажемъ, намъ «Русскому Богатству». Упоминаю объ «Русскомъ Богатствѣ» не потому, чтобы мы жаждали попасть въ члены «Литературнаго общества» или придавали большое значеніе присутствію русскаго журналиста на Антверпенскомъ съѣздѣ; а просто потому, что это извѣстный мнѣ примѣръ редакціи, въ составѣ которой нѣтъ ни одного члена «Литературнаго общества». Вѣроятно, найдутся и другіе такіе примѣры. И спрашивается: должны ли были бы мы, журналисты, не выбиравшіе г. Загуляева, подчиниться тѣмъ рѣшеніямъ, къ которымъ пришелъ бы Антверпенскій съѣздъ (онъ, кажется, ни къ какимъ не пришелъ)? Я полагаю,—отнюдь не должны.

Очевидно, во всякомъ случаѣ, что задачи «Литературнаго общества» весьма широки,—общелитературныя задачи, каковыя имѣлись въ виду и учредителями литературнаго фонда, почему мы и видимъ такія разнообразныя, въ партійномъ смыслѣ, имена въ подписяхъ подъ проектомъ фонда, представленнымъ министру народнаго просвѣщенія. Правда, задача литературнаго фонда, хотя и общелитературная, отнюдь не широка и исчерпывается благотворительностью. Но развѣ, кромѣ поддержки нуждающихся собратовъ, нѣтъ никакихъ другихъ задачъ, общихъ для всѣхъ писателей,—большихъ и малыхъ, лично знакомыхъ и незнакомыхъ, поэтовъ и прозаиковъ, либераловъ, консерваторовъ и всякихъ другихъ? Что таковыя есть, объ этомъ лучше всего свидѣтельствуетъ второй изъ вышеупомянутыхъ эпизодовъ,—исторія изъ-за болгарскихъ корресподенцій «Новаго Времени».

По поводу одного доноса въ 1844 г. на статьи «Библіотеки для чтенія», исходившаго изъ литературной же среды, императоръ Николай, до котораго восходило это дѣло, положилъ такую резолюцію: «Если въ статьяхъ «Библіотеки для чтенія» заключается ложь, то ее и должно опровергнуть литературнымъ

образомъ, только безъ брани». Это былъ хорошій урокъ для того мрачнаго времени Булгаринскихъ и прочихъ доносительныхъ неистовствъ.

Изъ печатающейся въ этомъ же номерѣ «Русскаго Богатства» статьи И. В. Лучицкаго «Проповѣдникъ религіозной терпимости въ XVI вѣкѣ» видно, что уже въ XVI вѣкѣ были люди, понимавшіе что «Серве съ помощью книгъ и аргументовъ боролся за свое мнѣніе: слѣдовало, поэтому, книгами и мнѣніями опровергать его», и что людямъ мысли и слова не приличествуетъ говорить о противникѣ: «намъ не дозволено убивать его, предадимъ его Пилату». Нѣкоторые писатели наканунѣ XX вѣка не могутъ понять этого. «Гражданинъ» предложилъ однажды поступить со всѣми газетчиками (кромѣ, конечно, кн. Мещерскаго) такъ, какъ поступилъ пророкъ Илія съ четырьмя стами служителей Ваала: отвелъ ихъ къ потоку Киссону и тамъ закололъ. «Гражданинъ» такъ пріучилъ насъ къ своимъ акробатическимъ упражненіямъ на границѣ чудовищнаго и смѣшного, что и эта его выходка не обратила на себя особеннаго вниманія. А между тѣмъ, она знаменательна, какъ утрированное, чудовищно-смѣшное выраженіе цѣлаго самоубійственнаго теченія въ русской литературѣ: самоубійственнаго, потому что «Гражданинъ» всетаки литература же, и если бы въ самомъ дѣлѣ дошло до прогулки къ потоку Киссону, то нѣтъ резона исключать кн. Мещерскаго изъ списка приглашенныхъ на прогулку: случалось вѣдь и ему погрѣшать и претерпѣвать соотвѣтственныя наказанія. И чудовищна здѣсь не угроза потокомъ Киссономъ,— это, напротивъ, смѣшно; чудовищно то, что въ эту смѣшную форму облечена совсѣмъ не смѣшная претензія представителя печатнаго слова зажать ротъ другимъ представителямъ печатнаго слова при помощи, вульгарно и обобщенно выражаясь, кулака Анархистъ, зарѣзавшій того итальянскаго журналиста, который выражалъ въ своей газетѣ мнѣнія, неблагопріятныя анархизму, совершилъ преступленіе, давно уже не слыханное въ Европѣ. Но анархистъ этотъ не былъ самъ писателемъ, у него не было въ рукахъ того оружія—пера, которымъ Кастелліонъ еще въ XVI вѣкѣ рекомендовалъ бороться съ произведеніями пера. У насъ же къ потоку Киссону приглашаютъ писатели своихъ собратовъ по профессіи, и я воображаю изумленіе съѣхавшихся въ Антверпенъ европейскихъ журналистовъ, если бы г. Загу-

ляевъ поразсказалъ имъ объ этой чертѣ нашихъ литературныхъ нравовъ. Я говорю именно о литературныхъ нравахъ, а не о положеніи нашей литературы. Правительство, руководствуясь соображеніями не спеціально литературными, а государственными, ставитъ печатному слову извѣстныя границы, за которыя мы переступать не можемъ, если бы и хотѣли, ибо для огражденія ихъ существуютъ цѣлыя учрежденія, облеченныя достаточною властью. Но желать расширенія этихъ границъ всякому писателю естественно и позволительно, и во всякомъ случаѣ неестественно желать ихъ суженія. Поэтому-то проектирующіе прогулку къ потоку Киссону отнюдь не желаютъ участвовать въ ней сами. Безъ сомнѣнія, существуютъ завѣдомо неблагопристойныя литературныя произведенія, позорящія литературу и какъ профессію, и какъ органъ духовной жизни страны. Таковы пасквиль, печатная клевета, порнографія и др., и, между прочимъ, и газетныя выходки по поводу болгарскихъ корреспонденцій «Новаго Времени». Желательно, разумѣется, не суженіе предѣловъ этихъ неблагопристойностей, а совершенное ихъ прекращеніе, но для огражденія отъ нихъ частныхъ лицъ существуютъ судебныя учрежденія, а въ тѣхъ случаяхъ, которые не подлежатъ компетенціи суда, дѣло самой литературы поставить неблагопристойности предѣлъ. И въ этомъ, мнѣ кажется, могла состоять главная задача «Литературнаго общества», при условіи, конечно, чтобы оно было достойно этого многообъемлющаго названія и, во всякомъ случаѣ, не оставалось кружкомъ самоизбранниковъ, тайнымъ отъ остальной литературы. Это не помѣшаетъ теперешнимъ его членамъ излагать для желающихъ свои мысли о символизмѣ и о Шекспирѣ, и о Гете, и обо всемъ, объ чемъ угодно, а вмѣстѣ съ тѣмъ предоставить обществу дѣйствительное, непререкаемое право выбирать, въ случаѣ надобности, представителей русской журналистики и русской печати вообще. Общее литературное дѣло, за удовлетвореніемъ матеріальныхъ интересовъ, которыми, худо ли, хорошо ли, заняты литературный фондъ и касса взаимопомощи, только и можетъ состоять въ поддержаніи достоинства литературы, какъ таковой, независимо отъ какихъ бы то ни было кружковъ и партій. Никакой матеріальной власти «Литературному обществу», конечно, предоставить нельзя было бы, но я думаю, что если бы оно стояло на высотѣ своего положенія и вело свое дѣло съ полнымъ сознаніемъ его значенія,—его голосъ имѣлъ бы большую силу.

Что пасквиль или клевета позорятъ литературу, унижаютъ ея достоинство, это доказательствъ не требуетъ. Но, можетъ быть, кое-кто усомнится поставить на одну доску съ ними эпизодъ съ болгарскими корреспонденціями «Новаго Времени». А между тѣмъ, его настоящее мѣсто именно тутъ, на этой черной доскѣ. Какіе мотивы побудили «Московскія Вѣдомости» сдѣлать свой запросъ? Онѣ скажутъ, конечно: вѣрноподданническое чувство, возмущенное тѣмъ, что русская газета сносится съ фактическимъ княземъ Болгаріи, котораго таковымъ не признаетъ русское правительство. Но вѣдь это просто лицемѣрный вздоръ всего того же чудовищно-комическаго оттѣнка, къ которому насъ такъ пріучили нѣкоторые органы нашей печати! Относительно вѣрноподданническихъ чувствъ «Новое Время» стоитъ внѣ всякихъ подозрѣній; съ болгарскимъ княземъ оно сносилось открытымъ и закономъ дозволеннымъ путемъ — по телеграфу; результаты оно имѣло въ виду, конечно, не безвыгодные для себя, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и общеполезные, общеинтересные: истину о болгарскихъ дѣлахъ въ смутное время паденія Стамбулова; корреспонденціи г. Old Gentlman'а печатаются, не вызывая никакихъ недоразумѣній. Чего же такъ взволновались «Московскія Вѣдомости», а слѣдомъ за ними и «Гражданинъ»? Вѣдь все, что сдѣлало «Новое Время», они и сами могли бы сдѣлать, если бы догадались. И имѣли бы они видъ настоящихъ политическихъ, большихъ европейскихъ газетъ, отправляющихъ своихъ корреспондентовъ, репортеровъ и интервьюверовъ для собесѣдованій съ разными героями дня, и цитировала бы ихъ заграничная пресса, и розничная продажа поднялась бы. Все это было бы, если бы они догадались. Но они не догадались... А затѣмъ, вмѣсто того, чтобы назвать себя за это, по-гоголевски, «телятиной» или какъ нибудь въ этомъ родѣ, они разсердились на «Новое Время». А разсердившись, пустили въ ходъ пріемъ, не одобренный еще въ XVI вѣкѣ Кастелліономъ: «намъ не дозволено убивать его, предадимъ его Пилату». Къ несчастію для нихъ, пріемъ этотъ оказался въ данномъ случаѣ тѣмъ, что юристы называютъ покушеніемъ съ негодными средствами. Но этого мало. Мнѣ кажется, что они схватились за обоюдоострое оружіе, которое можетъ быть обращено противъ нихъ же. Допустимъ, что «Новое Время» дѣлаетъ оппозицію русскому правительству по вопросу о болгарскомъ князѣ, признавая таковымъ Фердинанда Кобургскаго, и

что именно на этомъ основаніи «Московскія Вѣдомости» и «Гражданинъ», эти новые гуси, издаютъ предупреждающее гоготанье вполнѣ искренно, нелицемѣрно, чуя опасность, по ихъ мнѣнію, серьезную. Но въ такомъ случаѣ, мудрено придумать для русскаго государственнаго строя что-нибудь болѣе оскорбительное, чѣмъ это гоготанье не по разуму усердныхъ гусей. Неужели же для этого государственнаго строя оппозиція г. Суворина по дѣлу о личности болгарскаго князя могла бы представлять какую-нибудь опасность или бросать какую-нибудь тѣнь на него? Эту сторону дѣла обыкновенно упускаютъ изъ виду усердные не по разуму гуси. И замѣчательно: они ничего не боятся, когда рѣчь идетъ о внѣшнихъ врагахъ Россіи,—всѣхъ ихъ мы шапками закидаемъ, но опаснымъ внутреннимъ врагомъ русскаго государственнаго строя можетъ оказаться не то что г. Суворинъ, а любой гимназистъ.

Но они выдаютъ tesimonium paupertatis и самимъ себѣ, какъ писателямъ.

Вышеизложенное я писалъ въ увѣренности, что инцидентъ съ болгарскими корреспонденціями «Новаго Времени» исчерпанъ. Оказывается, - нѣтъ. «Московскія Вѣдомости» продолжаютъ отстаивать занятую ими достохвальную позицію. Они вновь возвращаются къ роли спасителей русскаго государства и объясняютъ, что корреспонденціи г. Old Gentleman'a представляютъ собою вмѣшательство въ политику, каковымъ «вмѣшательствомъ въ область правительственныхъ функцій вносится въ государственную жизнь значительная сумятица». И далѣе: «не въ обычаяхъ народовъ, чтобы совершенно частное лицо съ апломбомъ трактовало за счетъ правительства, не получивъ на это соотвѣтствующихъ уполномочій со стороны послѣдняго». Приведя эти слова московской газеты, «Новое Время» замѣчаетъ: «Кажется, въ Москвѣ за послѣднее время нѣтъ особенныхъ жаровъ, а между тѣмъ, публицисты Страстного бульвара разсуждаютъ такъ, какъ будто бы совсѣмъ изнемогли и лишились сообразительныхъ способностей», потому что, дескать, кто же приметъ газетнаго корреспондента за лицо, аккредитованное правительствомъ? Но это наименьшее, что можно сказать по адресу «Московскихъ Вѣдомостей». Сообразительныхъ способностей онѣ очевидно, лишились, потому что, конечно, вотще ожидаютъ, что предержащія власти обратятъ вниманіе на ихъ инсинуацію. Но важно здѣсь не это помраченіе, а самый фактъ указанія властямъ

предержащимъ на нелойяльное и даже преступное поведеніе собратовъ по профессіи; фактъ призыва внѣ-литературныхъ силъ въ литературную борьбу. Помимо нравственной неопрятности такого пріема, онъ свидѣтельствуетъ о полномъ безсиліи тѣхъ, кто къ нему прибѣгаетъ. Очевидно, тѣ кому императоръ Николай указывалъ своей вышеприведенной резолюціей единственно достойный литературы путь, были безсильны дѣйствовать «литературнымъ образомъ». Только въ своемъ безсиліи расписываются и «Московскія Вѣдомости», инкриминируя отправку корреспондента въ Болгарію, вмѣсто того, чтобы «литературнымъ образомъ» трактовать самое содержаніе корреспонденцій.

Возвращаясь къ началу, я думаю, что если бы «Литературное общество», правильно поставленное, организованное дѣйствительно съ цѣлями, только выдавало въ такихъ случаяхъ testimonium paupertatis,—кое-кому и стыдно стало бы. Покойный Салтыковъ, озадаченный восклицаніемъ Подхалимова: «Печать-то вѣдь сила? такъ-ли, отче?»—предался скорбнымъ размышленіямъ объ томъ, какимъ образомъ эта сила могла оказаться въ рукахъ Подхалимовыхъ. Онъ пришелъ къ тому заключенію, что «въ пылу споровъ по существу утрачено было изъ виду, что печать сама по себѣ, въ качествѣ общественной силы, требуетъ огражденія, для всѣхъ мнѣній и и партій одинаково обязательнаго». Это было «въ пылу споровъ *по существу*». А теперь ужъ и не объ «существѣ» рѣчь идетъ, а просто о розничной продажѣ... Я очень цѣню и размышленія г. Мережковскаго о символистахъ, и взгляды г. Спасовича на Гете, но, признаюсь, одинъ маленькій рефератъ о литературной чести съ иллюстраціями изъ русской дѣйствительности я прослушалъ бы съ большимъ удовольствіемъ.

Читатель не забылъ, можетъ быть, вопроса, мучившаго Зою Никитишну: «что нравственно, что безнравственно?» Напоминаю этотъ вопросъ не ради предыдущей маленькой экскурсіи въ область нашихъ литературныхъ нравовъ,—тутъ я думаю, дѣло ясно, - а ради нижеслѣдующаго.

Графъ Л. Н. Толстой, спеціально посвятившій себя разработкѣ вопроса Зои Никитишны, выпустилъ недавно на французскомъ языкѣ книжку о патріотизмѣ. Сама книжка мнѣ неизвѣстна, я знаю объ ней только изъ французскихъ газетъ, вообще говоря, встрѣтившихъ ее, повидимому, очень дружелюбно. Это понят-

но. Насколько можно судить по отзывамъ, основная мысль новаго произведенія гр. Толстого состоитъ въ томъ, что патріотизмъ безнравственъ, какъ настроеніе, ограничивающее любовь къ людямъ вообще и даже ведущее къ взаимной національной ненависти. Какова бы ни была аргументація гр. Толстого, но такое отношеніе къ патріотизму, конечно, не можетъ встрѣтить радушнаго пріема въ теперешней Франціи, полной идей «реванша», которая получила новый толчекъ во время франко-русскихъ празднествъ. Это, конечно, еще ровно ничего не говоритъ противъ принциповъ гр. Толстого, да они вѣдь и не новы (хотя въ подробностяхъ гр. Толстой, можетъ быть, и даетъ что-нибудь новое и оригинальное), а въ настоящую историческую минуту предъявленіе ихъ естественнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Взаимныя отношенія Франціи и Германіи, составляющія центръ политической исторіи Европы въ послѣднія двадцать лѣтъ и держащія Европу въ напряженномъ ожиданіи чего-то небывалаго страшнаго, второстепенныя явленія въ родѣ отношенія мадъяръ къ румынамъ и славянамъ и т. п.,—все это можетъ дать цѣлый арсеналъ аргументовъ противъ національнаго чувства, какъ нравственнаго начала, и сдѣлать изъ этого, по крайней мѣрѣ, вопросъ. Едва ли, однако, вопросъ этотъ можетъ быть рѣшенъ съ тою простотою, которая характеризуетъ нравственную философію гр. Толстого вообще и которая уже не разъ вводила его въ противорѣчія, какъ съ собственными его ученіями, такъ и съ самою жизнью. Достойно вниманія, что и во Франціи есть группа людей, рѣшительно и громко отрицающихъ патріотизмъ, и тоже во имя любви къ людямъ вообще: это анархисты. Учитель кротости и непротивленія злу, врагъ всякаго насилія, не только осуждающій войну, но и отъ животной пищи отказавшійся, дабы не принимать участія въ пролитіи крови хотя бы курицы, сходится съ людьми, не останавливающимися передъ массовымъ убійствомъ неизвѣстныхъ имъ посѣтителей какого-нибудь театра или ресторана. Это не сближаетъ его, разумѣется, съ ними, но показываетъ, что любовь къ людямъ вообще, въ связи съ отрицательнымъ отношеніемъ къ патріотизму, не даетъ еще опредѣленнаго нравственно-руководящаго начала.

Шиллеръ, въ одной изъ своихъ статей по теоріи эстетики («О необходимыхъ границахъ при употребленіи прекрасныхъ формъ»), говоритъ о «высотѣ, на которую любовь взноситъ человѣческую

природу», о тѣхъ «божественныхъ искрахъ, которыя она нерѣдко высѣкаетъ изъ самыхъ обыкновенныхъ душъ». «Кто,—спрашиваетъ онъ—не ввѣрился бы аффекту, который такъ сильно беретъ подъ охрану лучшее въ человѣческой природѣ и такъ побѣдоносно борется съ природнымъ врагомъ всей нравственности—эгоизмомъ?». «Но—продолжаетъ Шиллеръ,—не должно ввѣряться этому руководителю, пока мы не обезпечены лучшимъ. Можетъ случиться, что любимый предметъ будетъ несчастенъ, что онъ несчастливъ по нашей винѣ, что отъ насъ будетъ зависѣть сдѣлать его счастливымъ — пожертвованіемъ нѣкоторыхъ нравственныхъ препятствій. Должны ли мы его оставить страдать, чтобы сохранить совѣсть чистою? Допускаетъ ли это не-эгоистичный, великодушный, вполнѣ отдавшійся своему предмету, вполнѣ забывающій себя ради предмета, аффектъ? Правда, воспользоваться не нравственнымъ средствомъ, которымъ, однако, можно облегчить страданіе, противно нашей совѣсти; но развѣ можно сказать, что мы любимъ, когда, во время страданія любимаго существа, думаемъ о себѣ? Мы, такимъ образомъ, болѣе заботимся о себѣ, чѣмъ о предметѣ нашей любви, ибо мы скорѣе готовы видѣть его страдающимъ, чѣмъ сами страдать вслѣдствіе упрековъ нашей совѣсти! Такимъ софизмомъ этотъ аффектъ можетъ выставить нравственный голосъ, если онъ противорѣчитъ его интересамъ, чѣмъ то презрѣннымъ, какъ себялюбивое побужденіе, и представить намъ наше нравственное достоинство какъ составную часть нашего счастья, отъ которой отречься зависитъ отъ насъ». (Цитирую по русскому переводу въ изданіи Гербеля).

Софизмъ ли то предполагаемое возраженіе, которое Шиллеръ ставитъ въ ковычки, или нѣтъ, но самая возможность его уже показываетъ, какъ и Шиллеръ признаетъ, что «не должно ввѣряться этому руководителю (любви), пока мы не обезпечены лучшимъ». Это относится ко всякаго рода любви, кто бы и что бы ни было ея объектомъ. Слишкомъ извѣстно, что любовь мужчины къ женщинѣ и обратно, любовь самая пламенная и полная, часто ведетъ къ поступкамъ, рѣшительно не одобряемымъ ни собственною совѣстью совершающаго ихъ, ни совѣстью общественною, выраженною или не выраженною въ какомъ-нибудь писаномъ или не писаномъ кодексѣ морали. И точно также любовь къ дѣтямъ, къ семьѣ, и точно также патріотизмъ, любовь къ отечеству или соотечественникамъ, то есть людямъ иногда общихъ

вѣрованій и языка, иногда только общихъ историческихъ преданій. Національное чувство не обязываетъ ненавидѣть «чужихъ», но оно, дѣйствительно, скользитъ по краю этой пропасти, а, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, рѣшаетъ и даже освящаетъ такія дѣянія, которыя, внѣ этихъ обстоятельствъ, современная мораль никакимъ образомъ не одобритъ.

Недавно, можно сказать, на дняхъ, во Франціи били и раззоряли итальянцевъ за то, что Казеріо итальянецъ. Это была безобразная вспышка національнаго чувства или патріотизма, въ теченіе многихъ лѣтъ злобно настраиваемаго и принадлежностью Италіи къ тройственному союзу, и рядомъ пограничныхъ столкновеній. Съ другой стороны, напримѣръ, и Гарибальди приходилось бить и раззорять во имя національнаго чувства и патріотизма, но едва-ли найдется система морали, которая отказалась бы взять Гарибальди подъ свое покровительство, хотя бы уже потому, что имъ руководила ненависть не къ нѣмцамъ, не къ людямъ, а къ австрійскому владычеству. Впрочемъ, я ошибся: система морали, по крайней мѣрѣ, косвенно не одобряющая такія явленія, какъ поведеніе Гарибальди, есть,—это система гр. Толстого. Не знаю въ какой мѣрѣ и въ какой формѣ выразилась она въ его новомъ произведеніи, но у него есть достаточно въ этомъ отношеніи выразительная сказка «Объ Иванѣ Дуракѣ и его двухъ братьяхъ». Вы помните эту сказку: въ Дураково царство вторгаются иноплеменники, «тараканцы», бьютъ, раззоряютъ, а жители не сопротивляются, все терпятъ, жалѣютъ злодѣевъ тараканцевъ, называютъ ихъ «сердешными». Вотъ какъ надо поступать! Любопытно уже и то, что моралистъ обращается здѣсь съ проповѣдью не къ тараканцамъ, которые убиваютъ и раззоряютъ, а къ тѣмъ, кто отъ нихъ терпитъ. Но дѣло не въ этомъ. Повидимому, любовь къ людямъ вообще, въ противоположность любви къ женщинѣ, къ дѣтямъ, къ семьѣ, къ отечеству, исключаетъ возраженіе, которое Шиллеръ, правильно или неправильно, называетъ софизмомъ. Изъ любви къ женщинѣ, къ своей семьѣ, къ своему отечеству, я могу, хотя бы уѣрызаясь совѣстью, заставить страдать другихъ людей, но если я люблю всѣхъ людей, людей вообще, такъ ужъ этой нравственной опасности нѣтъ на моемъ пути. Повидимому, такъ. Но, во-первыхъ, надо еще утвердиться на томъ, что «нравственныя препятствія», о которыхъ говоритъ Шиллеръ, исчерпываются или неисчерпываются причиненіемъ людямъ стра-

деній. Напр., ложь, вообще и, насколько я понимаю гр. Толстого, имъ въ особенности осуждаемая, можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, оградить отъ страданій. А во-вторыхъ, любовь къ людямъ вообще, не смотря на всю свою нравственную красоту, есть принципъ слишкомъ общій, абстрактный, неопредѣленный и расплывающійся, чтобы стать руководящею нитью въ запутанныхъ дѣлахъ человѣческихъ. И напрасно отождествляютъ ее съ ясною и простою евангельскою заповѣдью: «возлюби ближняго твоего». Согласно общему духу евангельскаго ученія, «ближній» не есть только братъ для брата, отецъ для сына и обратно, эллинъ для эллина, іудей для іудея, мытарь для мытаря и т. д., но не есть и «человѣкъ вообще», безъ всякихъ дальнѣйшихъ опредѣленій. Ближній есть буквально ближній,—всякій человѣкъ, съ которымъ судьба тебя настолько сблизила, что ты можешь оказать ему помощь и дѣйственно выразить свою любовь; ибо если вѣра безъ дѣлъ мертва есть, то любовь и подавно. Но, въ большинствѣ случаевъ, такимъ «ближнимъ» по необходимости окажется свой по родству, по профессіи-по національности, и, слѣдовательно, вновь возникаютъ вышеупомянутыя «нравственныя препятствія». Изъ этого не слѣдуетъ, что исключительная любовь къ семьѣ или къ отечеству предпочтительнѣе любви къ людямъ вообще. Изъ этого слѣдуетъ только, что принципъ любви къ людямъ слишкомъ неопредѣлененъ для нравственнаго руководства и что едва-ли вообще любовь можетъ представлять собою единый и исключительный фундаментъ для какой-нибудь системы морали. Если же она часто признается таковымъ, то это потому, что она удобно, какъ бы сама собой, безъ всякихъ усилій мысли, противополагается любви къ самому себѣ или эгоизму, который, по вышеприведенному выраженію Шиллера, есть «природный врагъ всей нравственности». Дѣло, однако, въ томъ, что любовь къ людямъ и «вся нравственность» не покрываютъ другъ друга, да и взаимныя отношенія нравственности и эгоизма не такъ ужъ просты.

Нравственность безспорно начинается съ того момента, когда человѣкъ надѣваетъ на свое *я* какую бы то ни было узду, когда онъ соглашается поступиться чѣмъ-нибудь изъ своихъ желаній во имя чего-нибудь, признаваемаго имъ высшимъ, святымъ, неприкосновеннымъ: до этого момента мы имѣемъ только нравы. Чтобы правильно оцѣнить это положеніе, надо совершенно отрѣшиться отъ нашихъ теперешнихъ понятій о нравственномъ

и безнравственномъ. Остановимся на какомъ-нибудь явленіи, состоящемъ внѣ всякихъ споровъ и сомнѣній съ нашей теперешней точки зрѣнія. Таково, напримѣръ, людоѣдство. Путешественники и изслѣдователи первобытной культуры разсказываютъ о такихъ дикаряхъ, которые охотно и безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти ѣли всякаго «ближняго», то есть всякаго, кого обстоятельства позволяли съѣсть, будь то убитый на войнѣ врагъ или соплеменникъ, собственная жена, собственныя дѣти. Вся разница въ томъ, что за одними надо охотиться, а другія всегда подъ рукой, какъ у насъ домашній скотъ. Тутъ о нравственности, разумѣется, и рѣчи быть не можетъ, и можно говорить только о нравахъ. Но вотъ, напримѣръ, одинъ дикарь-людоѣдъ, на упрекъ европейца, отвѣтилъ: «А почему бы намъ не ѣсть враговъ, убитыхъ въ сраженіи, которые поступили бы съ нами точно такъ же, если бы могли? Родственниковъ своихъ мы не ѣдимъ». У нѣкоторыхъ дикарей старики, доживъ до столь преклоннаго возраста, что уже не могутъ работать, охотиться, воевать, сами идутъ на смерть, а потомъ и на съѣденіе, чтобы не быть безполезнымъ бременемъ для своей семьи или для своего племени. Какъ бы ни были для насъ отвратительны всѣ степени людоѣдства и все, что съ нимъ связано, нельзя не видѣть, однако, что въ двухъ послѣднихъ случаяхъ мы имѣемъ уже зачатки морали; и именно потому, что въ первомъ случаѣ родственныя связи налагаютъ узду на людоѣдскіе аппетиты, а во второмъ, человѣкъ жертвуетъ остатками своей жизни какимъ то, очевидно, высшимъ для него интересамъ. И ниже мы увидимъ, что всякая система морали, со включеніемъ и тѣхъ, которыя, повидимому, прямо, открыто строятся на эгоизмѣ, состоитъ именно въ требованіи уступокъ, жертвъ со стороны человѣческаго *я*. Такимъ образомъ, эгоизмъ какъ будто дѣйствительно оказывается «природнымъ врагомъ всей нравственности». Это, впрочемъ, въ такой степени общеизвѣстно, что «эгоистъ» и «безнравственный человѣкъ»—почти синонимы въ нашемъ словесномъ обиходѣ.

Съ другой стороны, однако, много разъ и часто съ блестящимъ успѣхомъ, доказывалось, что эгоизмъ есть та пружина, которою въ концѣ концовъ, въ послѣднемъ счетѣ, управляются всѣ человѣческія дѣйствія, и что его же имѣетъ въ своемъ основаніи всякая система морали; ибо, дескать, всякая такая система

со включеніемъ наиболѣе аскетическихъ, доходящихъ до послѣдняго буддійскаго предѣла — нирваны, конечною своею цѣлью имѣютъ личное благополучіе или, по крайней мѣрѣ, если таковое недостижимо, отсутствіе страданій. Эта аргументація тоже достаточно распространена и общеизвѣстна. И нельзя не признать, что ей очень легко поддается, напримѣръ, такое, повидимому, основанное на любви, самоотреченіи, самоотверженіи ученіе, какъ ученіе гр. Толстого. Графъ требуетъ отъ своихъ послѣдователей цѣлаго ряда жертвъ и самоотреченій, но вмѣстѣ съ тѣмъ обѣщаетъ имъ за эту цѣну умственное просвѣтлѣніе, спокойную совѣсть и физическое здоровье, то есть полное личное счастье. Это до такой степени вѣрно, что многія его страницы съ успѣхомъ могли бы занять мѣсто въ трактатѣ не о нравственности, а о гигіенѣ. Или, напримѣръ, данный имъ толчокъ въ пользу «вегетаріанской кухни». Вегетаріанцы предлагаютъ множество блюдъ, столь же, по ихъ словамъ, питательныхъ, столь же или даже болѣе вкусныхъ, чѣмъ мясныя кушанья, плюсъ— спокойная совѣсть. Такого именно типа счастія искали и эпикурейцы въ древности, и Гельвецій и Гольбахъ въ новое время, открыто принимавшіе эгоизмъ за исходную точку морали.

Русскій поэтъ г. Минскій, вздумавъ заняться философіей, преимущественно нравственной, издалъ книжку подъ заглавіемъ «При свѣтѣ совѣсти», гдѣ, между прочимъ, изложилъ слѣдующія мысли: «Безгранична, какъ небесныя пространства, неизмѣрима, какъ вѣчность, сильна, какъ тяготѣніе звѣздъ, любовь каждаго къ самому себѣ». И потому: «самолюбіе было, есть и будетъ не порокомъ, не болѣзнью души, но ея верховнымъ, сокровеннѣйшимъ началомъ, неизмѣннымъ закономъ, управляющимъ всѣми ея движеніями отъ рожденія до кончины, хотя бы крестной». Такъ начинаетъ г Минскій свое вступленіе въ область этики, но затѣмъ оказывается, что люди «ищутъ какъ бы отречься отъ себя, подчинить себя высшему началу, смириться, уничтожиться передъ чѣмъ-то, лежащимъ внѣ насъ»,—передъ «святыней»; и «самоотреченіе для святыни совѣсть признаетъ истинно добрымъ и нравственнымъ».

Не такіе фокусы (ибо это не больше, какъ фокусъ, при томъ же очень не искусный) имѣлъ я въ виду, когда говорилъ, что всякая система морали, со включеніемъ и тѣхъ, которыя открыто строятся на эгоизмѣ, состоитъ въ требованіи жертвъ и уступокъ отъ чело-

вѣческаго *я*. Я разумѣлъ искреннихъ и серьезныхъ мыслителей которые не уподобляются престидижаторамъ, вынимающимъ, къ изумленію публики, изъ пустой шляпы живую курицу или превращающихъ всю колоду картъ въ пиковыхъ дамъ, а дѣйствительно ищутъ отвѣта на вопросъ: «что нравственно, что безнравственно?» Въ огромной литературѣ отвѣтовъ на этотъ вопросъ есть, если не ошибаюсь, только одно исключеніе, одна постановка вопроса о нравственности съ неуклонной эгоистической точки зрѣнія, доведенной до послѣднихъ логическихъ предѣловъ. Тѣмъ она для насъ, разумѣется, интереснѣе. Но она интересна и еще по нѣкоторымъ другимъ соображеніямъ, въ особенности въ настоящее время.

Въ 1845 г. вышла въ Лейпцигѣ книга, озаглавленная «Der Enzige und sein Eigenthum». Поистинѣ удивительна судьба этой книги. Авторъ ея, нѣкто Каспаръ Шмидтъ, выступившій подъ псевдонимомъ Макса Штирнера, учитель по профессіи, не написалъ больше ничего замѣчательнаго и умеръ въ бѣдности и неизвѣстности въ 1856 г. При своемъ появленіи книга надѣлала большого шуму, вооруживъ противъ себя всѣ партіи, всѣ оттѣнки нравственно-политической мысли, такъ какъ ею рѣзко отрицались самыя основы нравственности и общежитія; но затѣмъ она быстро канула въ Лету, и въ сочиненіяхъ по исторіи философіи вообще и по исторіи нравственной философіи, равно какъ по исторіи литературы, или совсѣмъ молчаніемъ обходится, или поминается нѣсколькими незначительными словами. Только въ 1882 г., то есть почти черезъ сорокъ лѣтъ, понадобилось второе изданіе. Къ сожалѣнію, мнѣ неизвѣстно это новое изданіе, вѣроятно, мотивированное въ предисловіи. Но, во всякомъ случаѣ, будущіе историки философіи и литературы должны будутъ извлечь Макса Штирнера изъ мрака забвенія, хотя бы уже въ силу извѣстной родственности его взглядовъ съ философіей Фридриха Ничше, нынѣ такъ многихъ занимающей даже у насъ, не говоря о Европѣ. Отголоски Макса Штирнера, вмѣстѣ съ Ничше или безъ него, явственно слышатся во французской литературѣ, особенно у Барреса, и, повидимому, въ шведской, особенно у Стриндберга а въ одномъ фельетонѣ «Journal de Débats» я прочелъ слѣдующую цитату изъ статьи нѣкоего Теодора Рандаля въ «Entretiens politiques et littéraires» 1892 г.: «Достаточно прочитать эту книгу («Der Enzige nnd sein Eigenthum»), чтобы тотчасъ почувствовать

себя очищеннымъ отъ грѣха, обезпеченнымъ отъ заблужденія и свободнымъ отъ всякаго ига; чтобы стать свободнымъ человѣкомъ, какимъ былъ авторъ, быть можетъ, единственный въ нашемъ вѣкѣ». Авторъ цитаты не совсѣмъ логиченъ, утверждая, что стоитъ только прочесть книгу единственнаго въ нашемъ вѣкѣ человѣка, чтобы ему уподобиться, то есть стать тоже единственнымъ, а, слѣдовательно, не единственнымъ. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ удивительномъ скачкѣ со дна Леты, который дѣлаетъ въ наше время книга Макса Штирнера. И этотъ скачокъ, и предыдущее полное забвеніе послѣ кратковременнаго интереса, возбужденнаго книгой, слишкомъ ярки, чтобы объясняться простою случайностью, по пословицѣ «habent sua fata libelli». Это не fata, а знаменіе времени.

Максъ Штирнеръ объявляетъ себя эгоистомъ и ставитъ въ центрѣ своей нравственной философіи не человѣка или человѣчество, не индивидъ или личность, не абсолютное *я* Фихте, а *свое я*, съ точки зрѣнія котораго подвергаетъ жестокой критикѣ всѣ общественные союзы и всѣ оттѣнки нравственно-политической мысли своего времени: либераловъ и консерваторовъ, націоналистовъ и соціалистовъ, Фейербаха и Бруно Бауера, Прудона и Маркса. Въ предисловіи, озаглавленномъ «Jch hab' mein Sach auf Nichts gestellt», что уже само по себѣ характерно, авторъ съ рѣзкою грубостью объявляетъ, что не признаетъ ничего надъ собой, надъ своимъ *я*. Но здѣсь, въ предисловіи, онъ прибѣгаетъ, для обоснованія своего эгоизма, къ пріему аналогіи, который почти не встрѣчается въ самой книгѣ и въ извѣстномъ смыслѣ даже противорѣчитъ ея духу. Онъ беретъ рядъ отвлеченныхъ понятій и коллективныхъ существъ, служеніе, почтеніе, преданность которымъ люди обращаютъ въ свой идеалъ или въ свой нравственный долгъ, и, придавая этимъ отвлеченнымъ понятіямъ и коллективнымъ существамъ реальное бытіе, старается доказать, что они дѣйствуютъ всегда эгоистически, ни объ чемъ и ни объ комъ, кромѣ самихъ себя, не заботясь. Человѣчество, напримѣръ, или «народъ» (das Volk) живутъ, развиваются, процвѣтаютъ, не соображаясь съ *моими* интересами и вообще съ интересами индивидуума, и часто на ихъ погибели строятъ свое благополучіе. Съ какой же стати я, индивидъ, буду поступать иначе? Шаткость этого аргумента отъ аналогіи слишкомъ очевидна, чтобы стоило тратить время на его опроверженіе. Если

даже допустить, что отвлеченныя понятія и коллективныя существа имѣютъ реальное бытіе и соотвѣтственное сознаніе и что между ними нѣтъ и не можетъ быть такого, которое принимало бы въ соображеніе интересы личности, вообще какіе бы то ни было чужіе интересы, то это еще не резонъ, чтобы личность должна была слѣдовать ихъ примѣру. Это еще надо доказать, а Максъ Штирнеръ ничего въ своемъ предисловіи не доказываетъ, а только утверждаетъ, и по истинѣ auf Nichts. Впрочемъ, въ самой книгѣ онъ занимаетъ совершенно другую и даже противоположную логическую позицію для обоснованія эгоизма.

Мы не можемъ привести всѣ, даже главнѣйшія, черты аргументаціи Макса Штирнера, да въ этомъ нѣтъ и надобности для уразумѣнія общаго характера его книги. Постараемся выдѣлить лишь то, что, съ одной стороны, можетъ объяснить странную судьбу книги, а съ другой—можетъ быть такъ или иначе приведено въ связь съ философіей Ничше.

Спрашивается, люди—эгоисты въ дѣйствительности, или только должны быть таковыми, должны стремиться стать таковыми, въ силу моральной теоріи Макса Штирнера? И то, и другое. Авторъ полагаетъ, что люди эгоисты по кореннымъ свойствамъ своей природы и ничѣмъ инымъ быть не могутъ. Но большинство людей — эгоисты, какъ онъ ихъ въ разныхъ мѣстахъ своей книги называетъ, «безсознательные», «половинчатые», «лицемѣрные», наконецъ, «одержимые» (besessene). Они создали или приняли на вѣру или притворяются, что вѣрятъ въ цѣлый сонмъ отвлеченныхъ понятій, идей, идеаловъ, святынь, которые связываютъ ихъ по рукамъ и по ногамъ, требуютъ преданности, самоотверженія, тогда какъ единственная реальность для человѣка есть его *я*. Такимъ образомъ, оказываются лишенными реальнаго бытія тѣ самыя отвлеченныя понятія и коллективныя существа, подражать которымъ намъ рекомендовалось въ предисловіи. Оказывается теперь, что только *я* реально, именно *я*, а не «человѣкъ», потому что человѣка вообще на свѣтѣ нѣтъ, это то же отвлеченное понятіе, больше того—ein Spuk, фантомъ, и антропософія Фейербаха есть только новый видъ теософіи. Человѣка нѣтъ, а есть Иванъ, Петръ, Сидоръ, словомъ рядъ *я*. Полемику съ Фейербахомъ на этой почвѣ авторъ ведетъ такъ тщательно и вмѣстѣ съ тѣмъ страстно, что, повидимому, это именно обстоятельство дало поводъ одному историку философіи сказать: «Иронической

каррикатурой фейербаховой критики религіи было отрицаніе нравственности въ угоду эгоизма Максомъ Штирнеромъ» (Иберверегъ-Гейнце, «Исторія новой философіи»). Но Штирнеръ и не думалъ объ ироніи или каррикатурѣ и не сосредоточивалъ своей полемики на Фейербахѣ. Съ соціалистами, напримѣръ, онъ ведетъ такой воображаемый разговоръ: «Кто та личность, которую вы называете «всѣ»? — Общество. - Есть у него тѣло? — Мы составляемъ его тѣло.—Вы? да вы и сами не тѣло; ты, правда, имѣешь тѣло, и ты, и ты, но вмѣстѣ вы тѣла, а не тѣло». Словомъ, всѣмъ направленіямъ мысли Штирнеръ противопоставляетъ лично мѣстоименіе перваго лица и другимъ рекомендуетъ признать «всемогущество» своего *я*. Онъ взываетъ къ людямъ: «Тысячелѣтія культуры омрачили васъ, заставляли васъ думать, что вы не эгоисты, а призваны быть идеалистами («добрыми людьми»). Бросьте это! Не ищите свободы въ самоотверженіи, ищите *себя*, будьте эгоистами, пусть каждый изъ васъ станетъ всемогущимъ *я*. Яснѣе: познайте только себя и откиньте ваши лицемѣрныя стремленія и вашу глупую страсть быть чѣмъ-то отличнымъ отъ того, что вы есть. Я называю эти стремленія лицемѣрными, потому что эти тысячелѣтія вы были всетаки эгоистами, но апатичными, самообманывающимися или сумасшедшими». Для историка философіи полемика Штирнера съ Фейербахомъ представляетъ, можетъ быть, особенный интересъ, въ виду тѣхъ діагностическихъ тонкостей и той логической послѣдовательности, съ которыми онъ разграничиваетъ понятія: «человѣкъ» и «я». Но не менѣе діалектической ловкости и логической послѣдовательности обнаруживаетъ онъ, полемизируя съ «политическимъ либерализмомъ» своего времени (Фейербаховское теченіе онъ называетъ «гуманнымъ либерализмомъ», а соціалистическое—«соціальнымъ либерализмомъ»). То было въ Германіи время крайняго и чрезвычайно сложнаго политическаго возбужденія, когда готовились уже въ ожиданіи окончательнаго толчка изъ Франціи, событія 1848 года. Различные оттѣнки политическаго либерализма, до республиканскаго включительно, осложнялись идеей національнаго единства и, подкапываясь подъ существующій строй, въ свою очередь подкапывались соціалистическими и коммунистическими теоріями. Въ этомъ сложномъ и разноголосомъ хорѣ Максъ Штирнеръ занялъ совершенно особое положеніе. Онъ воспользовался и тѣми аргументами противъ по-

литическаго либерализма, которые выставила соціалистическая критика, но такъ какъ онъ и съ соціалистами отнюдь не единомыслилъ, то представилъ и такіе доводы, которые были вовсе не въ ихъ духѣ.

Политическій и экономическій либерализмъ училъ, что благо личности совпадаетъ съ благомъ общества, и именно государства, если послѣднее даетъ полный просторъ игрѣ индивидуальныхъ силъ, ограничиваясь ролью охранителя личныхъ правъ. Таково ученіе либерализма въ его первоначальномъ, чистомъ видѣ,—впослѣдствіи оно сдѣлало многія уступки. Соціалисты называли его «индивидуализмомъ», каковое названіе и сами либералы охотно принимали. Индивидуалисты, или еще «атомисты», они потому, что стремятся къ разложенію старыхъ общественныхъ единицъ, каковы цехъ или земельная община, возстаютъ противъ новыхъ союзовъ этого рода и разлагаютъ «государство» или «націю» на ихъ атомы. Такимъ образомъ, «свободное государство» представляется единымъ скопленіемъ свободныхъ и равноправныхъ гражданъ, индивидовъ. Съ теченіемъ времени, однако, опытъ показалъ, что личность, выбившаяся изъ узъ сословія, цеха, общины, попадаетъ въ тиски нѣкотораго цѣлаго, названнаго однимъ писателемъ «системою наибольшаго производства», которая давитъ на нее, свободную и равноправную личность, въ своемъ родѣ не менѣе тяжко, чѣмъ старыя, разрушенныя общественныя единицы. Едва-ли поэтому приличествуютъ этой системѣ названіе индивидуализма. Но мы не будемъ теперь объ этомъ распространяться, тѣмъ болѣе, что Штирнеръ подходитъ къ дѣлу съ другой стороны. Онъ разсуждаетъ такъ. Старый порядокъ держалъ личность въ зависимости отъ мелкихъ общественныхъ единицъ, каковы сословія, цехи, общины, города. Она должна была прежде всего подчиниться извѣстному esprit de corps и уже черезъ посредство его входила въ составъ крупной общественной единицы—государства. Этому положило конецъ такъ называемое третье сословіе, имѣвшее мужество отринуть себя, какъ сословіе, и объявить себя «націей». При этомъ много говорилось о свободѣ, но дѣло сводится къ тому, что личность стала свободна отъ произвола другихъ личностей, но тѣмъ сильнѣе оказалась во власти «свободнаго государства» или «націи», представляемой буржуазіей. Каждый обязывается быть добрымъ «гражданиномъ», слугою буржуазнаго государства. (По нѣмецки это выходитъ ярче:

«Bürger»—гражданинъ, «Bürgerthum»—буржуазія). Только въ качествѣ добраго гражданина я имѣю извѣстныя предоставленныя мнѣ конституціей или закономъ права, а не въ качествѣ Ивана, Сидора, Петра. Но и вообще, чѣмъ свободнѣе народъ (das Volk), тѣмъ связаннѣе единица. Это положеніе Штирнеръ иллюстрируетъ примѣромъ аѳинянъ, которые въ пору наибольшей своей свободы создали остракизмъ, изгоняя свободныхъ мыслителей и отравили Сократа.

Эгоисты-практики думаютъ, конечно, только о себѣ, о своемъ «я», лишь надѣвая маску патріотизма или какого иного нравственнаго долга. Но теоретики эгоизма, строющіе на немъ систему морали, стремятся такъ или иначе связать личное благополучіе съ общимъ, что и называется «гармоніей интересовъ». Правда, Мандевиль, въ своей знаменитой «Баснѣ о пчелахъ» доказывалъ, что не только нищета и страданія, но и пороки—подкупность, властолюбіе, развратъ отдѣльныхъ личностей служатъ къ процвѣтанію цѣлаго общества, государства. Но Штирнеръ не удостоиваетъ даже упомянуть о «Баснѣ о пчелахъ», какъ, впрочемъ, не говоритъ и о другихъ теоретикахъ эгоизма. Въ упомянутомъ уже фельетонѣ «Journal des Débats» (отъ 16 марта 1893 года; фельетонъ, очень поверхностный, подписанъ J. Bourdeau) цитируетъ, въ связи со Штирнеромъ и Ничше, книгу нѣкоего Гереке «Die Aussichtslosigkeit des Moralismus»: «Всемірная исторія учитъ насъ, что нравственный народъ почти всегда народъ неумный, онъ ничего не создаетъ, не прогрессируетъ. Аппетиты (les désirs), жажда наслажденія безъ нравственной оглядки,—вотъ почва, на которой растутъ и цвѣтутъ роскошнѣйшіе цвѣты ума». Изъ фельетона недостаточно ясно отношеніе автора этой поистинѣ безстыжей тирады къ Штирнеру, но во всякомъ случаѣ, это Мандевилевскій выводъ, а не Штирнеровскій. Общаго между Мандевилемъ и Штирнеромъ только идея о противоположности интересовъ личности и общества, но то цѣлое, процвѣтаніе котораго Мандевиль строилъ на бѣдности, страданіяхъ и порокахъ, составляющихъ его единицъ, есть съ точки зрѣнія Штирнера такой же Spuk, какъ и всякое другое, и заботиться о его благополучіи онъ не сталъ бы. Да и личность есть Spuk: существую только я, такой-то, имярекъ, и я, только я—носитель всякаго права. Это центръ всей книги Макса Штирнера. Такимъ образомъ, Штирнеръ оставляетъ далеко за собой

Гоббса съ его bellum omnium contra omnes, ибо для Гоббса это было только «естественное состояніе», а не результатъ вѣковой цивилизаціи, выработавшей, казалось бы, путемъ безчисленныхъ жертвъ совсѣмъ иные принципы общежитія и нравственной дѣятельности.

Мнѣ въ принципѣ принадлежитъ *все*, все есть моя *собственность*, моя и никого другого, но въ дѣйствительности мнѣ принадлежитъ то, что я могу взять. Подъ собственностью, Eigenthum, Штирнеръ разумѣетъ не только извѣстное юридическое и экономическое понятіе, а опять-таки *все*. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ: «Я въ тебѣ ничего не признаю и не уважаю, ни собственника, ни бѣдняка, ни человѣка, я тебя *потребляю*. Я нахожу, что соль придаетъ моей пищѣ вкусъ, и потому солю ее; въ рыбѣ я вижу питательный матеріалъ и потому ѣмъ ее; въ тебѣ я открываю способность скрашивать мою жизнь и потому выбираю тебя въ товарищи. Или: на соли я изучаю кристализацію, на рыбѣ—животныхъ, на тебѣ людей, и т. д. Ты для меня именно то, что ты есть,—мой предметъ и, какъ *мой* предметъ—моя собственность».

Такихъ чудовищно циническихъ рѣчей міръ не слыхалъ. Въ принципѣ нѣтъ, значитъ, нравственныхъ препятствій, пожалуй, даже и для людоѣдства, если я увижу въ своемъ ближнемъ не «способность скрашивать мою жизнь», а «питательный матеріалъ». Естественно вытекающее изъ всего вышеприведеннаго презрѣніе къ слабымъ и возвеличеніе сильныхъ получаетъ свое окончательное развитіе у Ничше. Но и Штирнеръ презираетъ слабыхъ и возвеличиваетъ сильныхъ. Иногда онъ это дѣлаетъ въ такой формѣ, что не согласиться съ нимъ нельзя; такъ, напримѣръ, когда онъ говоритъ о «сильномъ», рубящемъ священное дерево передъ глазами «слабыхъ», «преданныхъ» этой святынѣ язычниковъ. Но дѣло въ томъ, что «преданность» чему бы то ни было, кромѣ своего «я», и «слабость»—для него синонимы. «Слабы самоотверженные», говоритъ онъ. «Тотъ недостоинъ имѣть, кто по слабости позволяетъ у себя взять, недостоинъ, потому что неспособенъ». «Совѣсть есть шпіонъ».

Отрицая всѣ общественныя формы, какъ существующія, такъ и проектируемыя, Штирнеръ отрицаетъ и партіи. Онъ беретъ подъ свою защиту перебѣжчиковъ, ренегатовъ и апостатовъ или, по крайней мѣрѣ, протестуетъ противъ того клейма безнрав-

ственности, которое накладывается на нихъ общественнымъ мнѣніемъ. Онъ употребляетъ при этомъ очень ловкій пріемъ, указывая на то, что перебѣжчики всегда охотно принимаются той стороной, къ которой они перебѣжали, да и всякая партія своей пропагандой зазываетъ къ себѣ перебѣжчиковъ, а слѣдовательно, дескать, никто въ дѣйствительности не считаетъ ихъ людьми безнравственными. Штирнеръ упускаетъ изъ виду, что въ самомъ фактѣ перемѣны убѣжденій никто не видитъ чего-нибудь безнравственнаго и что люди всегда отличаютъ новообращеннаго Савла отъ Іуды.

Любопытенъ еще отвѣтъ Штирнера на заданный имъ себѣ отъ имени читателей вопросъ: зачѣмъ онъ пишетъ? Онъ говоритъ: «Не изъ любви-ли къ вамъ стараюсь я, по мѣрѣ моихъ силъ, разсѣять омрачающіе васъ фантомы и предразсудки? Не изъ любви-ли къ людямъ пишу я? Нѣтъ, я пишу потому, что хочу дать существованіе на свѣтѣ *моимъ* мыслямъ; и если бы я предвидѣлъ, что эти мысли нарушаютъ ваше спокойствіе, если бы кровавыя войны и погибель многихъ поколѣній должны были вырости изъ посѣва этихъ мыслей, я всетаки высказалъ бы ихъ. Дѣлайте съ ними, что хотите, это ваше дѣло и меня не касается... Но не только не ради васъ, а и не ради истины высказываю я то, что думаю. Нѣтъ... Я пою, потому что я пѣвецъ, и вы мнѣ нужны, потому что мнѣ ваши уши нужны».

Всѣ эти гордыя рѣчи говорилъ скромный учитель (и, кажется, въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ), ничѣмъ себя, кромѣ одной книги, не ознаменовавшій и, не смотря на весь свой радикализмъ, не принимавшій никакого или, по крайней мѣрѣ, сколько нибудь замѣтнаго участія въ бурныхъ политическихъ событіяхъ своего времени. Но онъ, повидимому, на что-то разсчитывалъ въ этомъ родѣ. Въ книгѣ есть слѣдующая лирическая страница.

«Въ ту минуту, какъ я пишу это, начинаютъ звонить колокола, чтобы возвѣстить на завтра торжество тысячелѣтняго существованія нашей дорогой Германіи *). Звоните, звоните ей похоронную пѣсню! Вы такъ торжественно звоните, какъ будто вашими языками движетъ мысль о погребальныхъ проводахъ. Нѣмецкій народъ и нѣмецкіе народы имѣютъ за собой тысяче-

*) Германія праздновала свое тысячелѣтіе въ 1843 году.

лѣтнюю исторію. Какая долгая жизнь! Идите же на покой, на вѣчный покой, и пусть будутъ свободны всѣ, кого вы такъ долго держали въ оковахъ. Умеръ *народъ*—да здравствую *я*! О ты, мой измученный нѣмецкій народъ, въ чемъ состояла твоя мука? То была мука идеи, не могущей создать себѣ тѣло, мука фантастическаго духа, исчезающаго при каждомъ крикѣ пѣтуховъ и всетаки стремящагося къ бытію. И во мнѣ ты долго жилъ, ты—дорогой фактомъ, ты — дорогая идея. Я уже почти мечталъ, что нашелъ слово для твоего избавленія, нашелъ плоть и кровь для блуждающаго духа. Но вотъ я слышу звонъ колоколовъ, провожающихъ тебя на вѣчный покой, исчезаетъ послѣдняя надежда, изсякаетъ послѣдняя любовь, и я ухожу изъ пустыннаго дома покойниковъ къ живымъ. Прощай, мечта милліоновъ людей, прощай, тиранъ своихъ дѣтей! Завтра положатъ тебя въ гробъ, скоро послѣдуютъ за тобой твои братья. А съ ними будетъ похоронено человѣчество, и я стану самъ себѣ принадлежать, я—твой смѣющійся наслѣдникъ!»

Комическое впечатлѣніе производитъ эта красивая страница, если вспомнить, что гордое «я» Макса Штирнера, противопоставлявшее себя всему міру и весь міръ вызывавшее на бой, такъ скоро затушевалось забвеніемъ, неизвѣстностью, нищетою, а политическая Германія расцвѣла новымъ пышнымъ цвѣткомъ Максъ Штирнеръ пошелъ, какъ ключъ ко дну, въ бурныхъ волнахъ современной ему жизни, болѣе, чѣмъ когда-нибудь, искавшей общественнаго идеала. Но черезъ сорокъ лѣтъ онъ вынырнулъ въ той же Германіи въ образѣ Фридриха Ничше, который, правда, кончилъ сумасшествіемъ, но уже не только заставилъ говорить о себѣ, а встрѣтилъ восторженныхъ слушателей, почитателей, практическихъ послѣдователей. Это, конечно, знаменательно и характерно для нашего времени .

Надо только помнить, что успѣхъ идеи еще отнюдь не составляетъ ея оправданія. Напротивъ, онъ можетъ служить ея осужденіемъ, какъ оно и есть въ данномъ случаѣ.

Максъ Штирнеръ не обнаружилъ, конечно, большой прозорливости или чуткости, предсказывая чуть не буквально на завтрашній день смерть и похороны Германіи. Гораздо, повидимому, правѣе оказались тѣ нѣмецкіе патріоты сороковыхъ годовъ, которые мечтали о великой и единой Германіи: вотъ вѣдь она, эта великая и единая Германія, на-лицо. Не надо, однако, упускать

изъ виду, что эта созданная Бисмаркомъ Германія не имѣетъ ничего общаго съ мечтою нѣмецкихъ патріотовъ сороковыхъ годовъ...

Мы не имѣемъ свѣдѣній о Штирнерѣ, о его личности и жизни. Знаемъ только, что онъ былъ неудачникъ и умеръ въ неизвѣстности и нищетѣ. Книга его посвящена «Meinem Liebchen Marie Döhnhart», но извѣстно, что Liebcnen'ы не всегда скрашиваютъ одиночество и сиротство, и, можетъ быть, Штирнеръ былъ въ жизни такой же Einziger лично, какъ и его книга въ нравственно-политической литературѣ, какъ и самое заглавіе его книги. Я это говорю только мимоходомъ и чтобы напомнить читателю нашу предыдущую бесѣду о Раскольниковѣ и «выдающейся женщинѣ». Непосредственно и увѣренно связывать характеръ книги Штирнера съ его личною судьбою я не думаю, во-первыхъ, потому, что объ этомъ можно только догадываться, а во-вторыхъ, потому, что иного сиротство можетъ натолкнуть на совсѣмъ другой ходъ мыслей. Но то обстоятельство, что современникамъ Штирнера оказался совершенно чуждъ строй его мысли, даетъ всетаки нѣкоторое право думать, что на его книгѣ лежитъ печать чего-то, исключительно личнаго. И, дѣйствительно, въ *общественной* атмосферѣ того времени не было ничего питающаго это горделивое сиротство одинокаго *я*. Напротивъ, то было, какъ уже сказано, время напряженнѣйшей вѣры въ очень разнообразные и другъ другу противорѣчащіе, но именно общественные идеалы. Сироты фактически были и тогда, но они были богаты надеждами на единеніе. Знаменитый возгласъ: «einiget euch!» былъ девизомъ не только въ той сферѣ, въ которой онъ раздался. И понятно, что книга Штирнера не ко двору пришлась. Для нашей читающей публики, для которой успѣхъ и «послѣднее слово» такъ много значатъ, судьба книги Штирнера особенно поучительна. Философія Фридриха Ничше есть «послѣднее слово», но Ничше въ значительной своей части предвосхищенъ Максомъ Штирнеромъ. И возрожденіе Штирнера свидѣтельствуетъ не о томъ, что въ его книгѣ содержится истина, а о томъ, что мы переживаемъ трудное время шатанія общественныхъ идеаловъ и эгоистической разнузданности.

Между Штирнеромъ и Ничше есть, однако, одна, очень существенная разница, помимо того, что все литературное наслѣдство перваго состоитъ изъ одной книги, а Ничше написалъ цѣ-

лый десятокъ томовъ. Говоря о Штирнерѣ, Ланге («Geschichte Materialismus») замѣчаетъ: «Жаль, что у этой книги—самой крайней, какую мы только знаемъ—нѣтъ второй, положительной части. Написать ее было бы легче, чѣмъ такое же добавленіе къ философіи Шеллинга, потому что изъ безграничнаго «я» можно, какъ мою волю и мое представленіе.—вновь возродить всякаго рода идеализмъ. Онъ такъ подчеркиваетъ волю, что она становится коренною силою человѣческаго вещества. Онъ можетъ напомнить Шопенгауера». И если Штирнеръ оказывается единственнымъ теоретикомъ эгоизма, выдержавшимъ свою точку зрѣнія отрицанія всякой жертвы со стороны человѣческаго «я», всякой преданности какому бы то ни было идеалу, такъ именно потому, что онъ только отрицаніемъ и ограничился. Ничше, напротивъ, даетъ нѣчто положительное. Совпалъ-ли бы Штирнеръ въ этомъ отношеніи съ Ничше, если бы написалъ свою вторую часть, судить трудно; мнѣ кажется, нѣтъ. Во всякомъ случаѣ, и теперь у Штирнера есть отдѣльные, правда, очень слабые и разбросанные намеки на какія-то уступки. Такъ напримѣръ, говоря о непреклонномъ правѣ собственности (въ его смыслѣ слова), онъ пишетъ: «Что я держу въ своей власти, то и есть моя собственность. Уходитъ изъ моей власти какой-нибудь предметъ,—безразлично, какою силою, напримѣръ, *въ силу моего признанія чужого права на предметъ,*—право собственности погашено». Или: «я съ благодарностью принимаю все, что дали мнѣ вѣка образованія; ничего изъ этого наслѣдства я устранить не хочу: я не даромъ жилъ. Не пропадетъ для меня и опытъ, что я имѣю власть надъ своей природой, что мнѣ нѣтъ надобности быть рабомъ своихъ страстей». Или еще: «Я тоже люблю людей, и не отдѣльныхъ людей, а всякаго. Но я люблю ихъ съ сознаніемъ эгоизма. Я люблю ихъ, потому что эта любовь доставляетъ мнѣ счастіе, потому что любовь во мнѣ естественна, потому что мнѣ такъ нравится. «Закона любви» я не знаю. Я сочувствую каждому чувствующему существу, и его мука мучаетъ меня, а радость радуетъ. Видя страданія любимаго человѣка, я самъ страдаю и не могу успокоиться, пока не испробую всего, чтобы его утѣшить и развеселить; если онъ веселъ я радуюсь его веселью. Изъ этого не слѣдуетъ, что меня удручаетъ, или радуетъ тотъ самый предметъ, который приводитъ въ это состояніе его. Уже при каждомъ физическомъ страданіи ясно, что я чувствую не такъ, какъ

онъ: у него болитъ зубъ, а мнѣ больна его боль. Если я вижу горькую морщину на лбу любимаго человѣка, я снимаю ее поцѣлуемъ. Но если бы я не любилъ его, онъ можетъ сколько угодно морщиться, меня это нисколько не трогаетъ: я устраняю *свое* горе». Наконецъ, Штирнеръ, отрицая всякое «общество», Gesellschaft, говоритъ, хотя и очень темно, сочувственно о какихъ-то «союзахъ», Vereine. Правда, это будутъ «союзы эгоистовъ», но если въ нихъ будутъ снимать поцѣлуями горькія морщины со лба и уступать другъ другу свои права, такъ дѣло еще не такъ страшно...

Изъ этого видно, какъ правъ былъ Ланге, утверждая, что на неограниченномъ «я» Макса Штирнера могла бы быть построена цѣлая законченная идеалистическая система. Изъ этого видно также, что исключительное положеніе книги Штирнера въ нравственно-политической литературѣ есть только кажущееся исключеніе изъ общаго правила: мораль начинается съ того момента, когда человѣческое я накладываетъ на себя какую-нибудь узду. Штирнеръ пересталъ бы быть въ этомъ отношеніи исключеніемъ, если-бы написалъ вторую, положительную часть своей книги. Но это еще не рѣшаетъ вопроса о нравственной цѣнности тѣхъ идеаловъ, которые онъ въ такомъ случаѣ предъявилъ бы.

XIV *).

О г. П. Струве и его „Критическихъ замѣткахъ по вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи“.

Я вчитывался въ странныя, то глубокомысленныя, то лишенныя всякаго смысла, то истинно художественныя, то безобразныя сочиненія Ничше, въ разсчетѣ исполнить давнишнее обѣщаніе читателямъ «Русскаго Богатства» и познакомить ихъ съ этимъ удивительнымъ писателемъ. Но нашему брату-журналисту, обреченному откликаться на разнообразнѣйшія явленія литературы и жизни, трудно сосредоточиться на той или на другой темѣ, не отвлекаясь въ стороны. И чѣмъ шире тема, — а сочиненія Ничше въ цѣломъ представляютъ очень широкую тему, — тѣмъ соблазнительнѣе привести съ ней въ связь многое, просто случайно, по дорогѣ подвертывающееся, особенно, если это случайно

*) 1894, октябрь.

подвернувшееся и само по себѣ имѣетъ или имѣло для васъ значеніе.

Только что вышла книжка г. П. Струве: «Критическія замѣтки по вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи»: книжка во многихъ отношеніяхъ чрезвычайно интересная. Я отнюдь не думаю бесѣдовать объ ней, такъ сказать, вплотную, тѣмъ болѣе, что мы имѣемъ пока только первый выпускъ, и сколько ихъ будетъ еще, а слѣдовательно, и какую долю всего, что желаетъ сказать г. Струве, составляетъ этотъ выпускъ, — неизвѣстно. Но нѣсколько замѣчаній я себѣ позволю.

Прежде всего одна ничтожная сама по себѣ мелочь, но которая à la longue, наконецъ, просто надоѣдаетъ. Г. Струве, цитируя какого нибудь писателя, любитъ испещрять свои цитаты вопросительными и восклицательными знаками. Иногда эти знаки препинанія должны выражать его несогласіе съ мыслью цитируемаго писателя, и тогда, они, конечно, законны, хотя и то, признаться, надоѣдаютъ своей многочисленностью. Но иногда г. Струве замахивается вопросительнымъ знакомъ просто надъ словомъ, которое, по его мнѣнію, неудачно или неправильно выражаетъ по-русски извѣстную мысль. Эта молчаливая, но тѣмъ не менѣе выразительная грамматическая критика, представляющая нѣкоторую роскошь въ трактатѣ объ экономическомъ развитіи Россіи, быть можетъ, особенно неумѣстна въ произведеніяхъ г. Струве. До сихъ поръ онъ былъ больше нѣмецкій писатель, чѣмъ русскій, и въ настоящей своей работѣ употребляетъ иногда нѣмецкія слова, когда ихъ очень легко сказать по-русски (напримѣръ, на стр. 54 Auseinandersetzung или на стр. 10 zwingend), а по-русски онъ можетъ выразиться, напримѣръ, такъ: «Національная система» Листа—побѣдная пѣснь торжествующаго товарнаго производства, во всеуслышаніе провозглашающая его культурно-историческую мощь и побѣдоносное шествіе по всѣмъ языкамъ» (124). Это «шествіе по языкамъ» обязываетъ, повидимому, г. Струве къ нѣкоторой скромности по части русской грамоты. А между тѣмъ, онъ чрезвычайно строгъ. Напримѣръ, одну мою фразу онъ цитируетъ такъ: «Современный экономическій порядокъ въ Европѣ началъ складываться еще тогда, когда наука, завѣдующая (?) этимъ кругомъ явленій, не существовала и когда нравственныя идеи были крайне грубаго свойства». Что удивило «шествующаго по всѣмъ языкамъ» г. Струве во фразѣ: политическая экономія *за-*

вѣдуетъ кругомъ явленій экономическаго порядка? По-нѣмецки это можетъ быть не хорошо, а по-русски, увѣряю васъ, г. Струве, ни въ комъ вопроса не возбуждаетъ и вопросительнаго знака не требуетъ. Одинъ нѣмецъ спросилъ другого нѣмца, выходившаго изъ парикмахерской, что онъ дѣлалъ? Тотъ отвѣчалъ почему-то по-русски: «стригнулся». Вопрошавшій поправилъ: по-русски надо сказать не «стригнулся», а «стриговался». Я надѣюсь, что это были очень почтенные нѣмцы, можетъ быть, доктора философіи, у которыхъ я долженъ многому учиться, но вѣдь не русскому же языку! А между тѣмъ, у насъ къ инкрустаціи вопросительныхъ и восклицательныхъ знаковъ въ цитатѣ изъ русскихъ писателей чаще всего прибѣгаютъ «шествующіе по всѣмъ языкамъ» инородцы: г. Струве, г. Слонимскій, г. Волынскій. Я могу, наконецъ, протестовать противъ этого, потому что, во-первыхъ, это просто скучно становится, а во-вторыхъ, потому, что я всегда готовъ у всякаго инородца поучиться тому, что онъ знаетъ, и почтить въ немъ тѣ достоинства, которыми онъ обладаетъ. И самого г. Струве «справедливость обязываетъ сказать, что г. Михайловскому всякій націонализмъ былъ всегда совершенно чуждъ» (15).

Это, конечно, совсѣмъ мимоходомъ и не спеціально по адресу г. Струве.

Въ книжкѣ г. Струве меня пріятно поразило слѣдующее признаніе относительно исповѣдуемой имъ доктрины экономическаго матеріализма или «матеріалистическаго пониманія исторіи»: «Мы не можемъ не признать, что *чисто философское обоснованіе* (курсивъ, какъ и ниже, принадлежитъ г. Струве) этого ученія еще не дано, и что оно еще не справилось съ тѣмъ огромнымъ конкретнымъ матеріаломъ, который представляетъ всемірная исторія. Нуженъ, очевидно, *пересмотръ фактовъ* съ точки зрѣнія новой теоріи; нужна *критика теоріи* на фактахъ. Быть можетъ, многіе односторонности и слишкомъ поспѣшныя обобщенія будутъ оставлены. Но зерно ученія является, на нашъ взглядъ, вѣрнымъ». (46). Итакъ, матеріалистическое пониманіе исторіи пока еще не оправдано ни философскою мыслью, ни фактически, но содержитъ въ себѣ, *на нашъ взглядъ*, на взглядъ г. Струве, вѣрное *зерно*. Привѣтствую эту добросовѣстность и скромность. Привѣтствовалъ бы еще сильнѣе, если бы эти качества отражались въ самой книжкѣ. Къ сожалѣнію, этого нѣтъ, и въ дальнѣйшемъ изложеніи г. Струве разсуждаетъ такъ, какъ будто философски не обоснованная и фактически не

провѣренная теорія не подлежитъ рѣшительно никакимъ сомнѣніямъ. Въ самомъ предисловіи, которое вѣдь всегда есть послѣсловіе, г. Струве объявляетъ, что его задача исключительно полемическая и что «полемика эта, являясь принципіальной, очень часто не могла быть ничѣмъ инымъ, какъ прямымъ противопоставленіемъ двухъ совершенно различныхъ точекъ зрѣнія, такъ какъ contra principia negantem disputari non potest». И эти двѣ совершенно противоположныя точки зрѣнія суть: съ одной стороны, «стройное соціологическое міровоззрѣніе, традиціонно господствующее въ нашей прогрессивной литературѣ», а съ другой — теорія экономическаго матеріализма или матеріалистическаго пониманія исторіи. Какъ для вѣрующаго мусульманина достаточно простого сопоставленія той или другой предлагаемой ему мысли съ тѣмъ или другимъ изреченіемъ Корана, чтобы признать ее правильной или неправильной,—ибо Аллахъ великъ и Магометъ пророкъ его.—такъ и г. Струве «очень часто» довольствуется противопоставленіемъ, которое и рѣшаетъ для него вопросъ. Такъ что даже непонятно, зачѣмъ онъ отдалъ дань справедливости, говоря о философской необоснованности и фактической непровѣренности своего Корана. И не только основныя положенія, какое-то ближайшимъ образомъ не опредѣленное «зерно» не обоснованной и не провѣренной теоріи неприкосновенно для г. Струве, а и всѣ выводы изъ этого зерна, сдѣланные основателями теоріи. Г. Николай—онъ есть открытый, откровенный «матеріалистъ», но онъ приходитъ къ нѣкоторымъ практическимъ выводамъ, въ частностяхъ не предвидѣннымъ основателями теоріи, и г. Струве объявляетъ ему войну, не менѣе безпощадную, чѣмъ остальнымъ несогласно-мыслящимъ.

Окончательный практическій выводъ самого г. Струве формулированъ въ слѣдующихъ послѣднихъ строкахъ его книжки: «Признаемъ нашу некультурность и пойдемъ на выучку къ капитализму». Соединительный союзъ *и* и здѣсь является результатомъ все той же непоколебимой вѣры въ Коранъ, такъ какъ отнюдь не обязательно, присоединяясь къ первой половинѣ этого призыва, согласиться и со второю. А между тѣмъ, въ основѣ столь рѣшительнаго призыва лежитъ—прошу не забывать этого—философски не обоснованная и фактически не провѣренная теорія. Но Коранъ и не требуетъ философскаго обоснованія и фактической провѣрки, не только не требуетъ, а прямо враждебенъ имъ.

Г. Струве противопоставляетъ доктрину экономическаго мате-

ріализма «стройному соціологическому міровоззрѣнію, традиціонно господствующему въ нашей прогрессивной литературѣ». Это говорится въ предисловіи. Въ текстѣ «наша прогрессивная литература» сводится къ «народничеству», что, конечно, неосновательно, какъ ни старается г. Струве расширить понятіе о народничествѣ. Вдобавокъ, «авторъ ни малѣйшимъ образомъ не претендуетъ на сколько-нибудь полное, исчерпывающее знакомство съ этой литературой; онъ обратился къ ней и изучалъ ее преимущественно съ точки зрѣнія публицистической, не останавливался на историко-литературныхъ деталяхъ, не «рылся» въ старыхъ изданіяхъ, а стремился только ясно схватить основныя идеи изучаемой доктрины». Нельзя сказать, чтобы и это былъ основательный пріемъ. Не «роясь» въ подлежащей изслѣдованію литературѣ, едва ли можно «ясно схватить основныя ея идеи». Не по наитію же рѣшать: здѣсь основныя идеи, а здѣсь—разныя детали, съ которыми не стоитъ знакомиться. И г. Струве, конечно, не по наитію выдѣлялъ «основныя идеи» и выбрасывалъ «детали», но не была эта разборка и плодомъ настоящаго изученія, какъ увидимъ. Да вѣдь онъ и самъ *ни малѣйшимъ образомъ* не хвалится даже *сколько-нибудь* полнымъ знакомствомъ съ предметомъ. Было бы поэтому гораздо правильнѣе, если бы г. Струве говорилъ лишь о тѣхъ отдѣльныхъ литературныхъ явленіяхъ, которыя его почему нибудь заинтересовали, а не о «стройномъ соціологическомъ міровоззрѣніи, традиціонно господствующемъ въ нашей прогрессивной литературѣ» (онъ его называетъ также «самымъ вліятельнымъ міровоззрѣніемъ 60-хъ, 70-хъ и 80-хъ годовъ»). Однако, и съ тѣми отдѣльными литературными явленіями, которыя г. Струве удостоиваетъ своей полемики, ему надлежало бы познакомиться нѣсколько ближе, даже избѣжать кое-какихъ ошибокъ.

«Положеніе, которое представителями экономическаго матеріализма повторяется съ замѣчательною настойчивостью, гласитъ, что дѣйствительность, факты создаютъ идеалы» (43). Такъ говоритъ г. Струве, и говоритъ совершенно справедливо. «Соціологи-матеріалисты» дѣйствительно настойчиво повторяютъ это положеніе, слегка варьируя выраженія. Такъ, напримѣръ, г. Струве приводитъ слѣдующія слова Энгельса (изъ его полемической противъ Дюринга книги): матеріалистическое пониманіе исторіи указало «путь для объясненія сознанія людей изъ ихъ бытія въ противоположность прежнему объясненію бытія изъ сознанія». Это наиболѣе общій тезисъ «матеріа-

листовъ» и, можетъ быть, то именно «зерно ученія», которое г. Струве, даже въ минуту своего благоразумнаго скептицизма, признаетъ «вѣрнымъ». *Въ гораздо менѣе общей формѣ* этотъ тезисъ выражается у того же Энгельса, напримѣръ, такъ: «исторія каждой эпохи заключается не въ ея философіи, а въ ея экономикѣ». Я подчеркнулъ слова: «въ гораздо менѣе общей формѣ», чтобы обратить вниманіе читателей на существенную разницу между двумя приведенными формулами Энгельса. «Матеріалистическое пониманіе исторіи» и «*экономическій* матеріализмъ» — далеко не одно и то же, хотя и въ нѣмецкой и въ нашей литературѣ эти два термина часто замѣняютъ другъ друга, какъ равнозначущіе. Идеалы создаются дѣйствительностью, фактами, говоритъ г. Струве. Это доказать въ настоящее время не трудно, потому что это результатъ многовѣковой работы человѣческаго ума. Но доказать это не значитъ убѣдить читателей или слушателей въ непреложности экономическаго матеріализма; для этого послѣдняго требовалось бы еще доказать, что именно экономическая дѣйствительность, и только она, лежитъ въ основѣ всѣхъ идеаловъ. Возьмемъ примѣръ. Возьмемъ, положимъ, надѣлавшія недавно большого шуму румынско-венгерскія отношенія и представимъ ихъ себѣ, для ясности, въ самой рѣзкой формѣ, хотя бы и превосходящей настоящее положеніе дѣлъ яркостью красокъ. Представимъ себѣ, что румыны стѣснены венграми не только въ печати и въ дѣлахъ мѣстнаго самоуправленія и представительства въ парламентѣ, но и въ употребленіи родного языка, въ отправленіи богослуженія, въ обученіи юношества и т. д., и т. д. И вотъ на этой почвѣ выростаютъ идеалы, съ одной стороны, независимой и возсоединенной Румыніи или, по крайней мѣрѣ, полной автономіи венгерскихъ румынъ въ составѣ имперіи Габсбурговъ, а съ другой — румынскаго патріота, обязаннаго прежде всего помнить,—будь онъ бояринъ или пастухъ, богачъ или нищій,—что онъ румынъ. Идеалы эти могутъ развиваться во всѣхъ формахъ литературы, начиная съ научнаго или философскаго трактата и кончая лирикой; могутъ расширяться далеко за предѣлы Румыніи, перекраивая, напримѣръ, карту Европы на основаніи принципа національности или, напротивъ того, домогаясь подчиненія румынамъ окружающихъ народовъ и т. д. И какъ бы высоко ни залетали эти идеалы, проницательный историкъ усмотритъ ихъ земное происхожденіе,—ту «дѣйствительность», тѣ

«факты», которые «создали эти идеалы». Будетъ ли это матеріалистическое пониманіе исторіи? Едва ли столь общеупотребительный историко-критическій пріемъ требуетъ столь спеціальнаго наименованія, но это во всякомъ случаѣ не экономическій матеріализмъ, который долженъ разыскать «сущность» румынско-венгерскихъ отношеній и доказать, что сущность эта заключается ни въ чемъ иномъ, какъ въ экономикѣ, — въ формахъ производства и обмѣна. Между тѣмъ, иной историкъ можетъ искать эту сущность въ совсѣмъ другой области, напримѣръ, въ самой крови двухъ враждебныхъ національностей (достигающихъ въ данномъ случаѣ почти степени различныхъ расъ). Подобныя историческія теоріи выдвигались не разъ, и онѣ уже несомнѣнно матеріалистическія, отнюдь, однако, не будучи въ то же время экономическими. Цитируемый г-мъ Струве Энгельсъ утверждаетъ, что «всегда данная экономическая структура общества образуетъ то реальное основаніе, изъ котораго въ конечномъ счетѣ слѣдуетъ выводить всѣ тѣ надстройки, которыми являются правовыя и политическія учрежденія, равно какъ религіозныя и философскія и всѣ прочія воззрѣнія каждаго даннаго историческаго періода», и что въ этомъ именно и состоитъ матеріалистическое пониманіе исторіи. Ну, а если я буду искать корня или фундамента не только правовыхъ и политическихъ учрежденій, философскихъ и иныхъ воззрѣній общества, но и его экономической структуры, — въ расовыхъ или племенныхъ особенностяхъ его членовъ, — въ пропорціяхъ продольнаго и поперечнаго діаметровъ ихъ череповъ, въ характерѣ личного угла, въ размѣрахъ и направленіи челюстей, въ размѣрахъ грудной клѣтки, въ силѣ мускуловъ и т. д. или, съ другой стороны, въ факторахъ чисто географическихъ, — въ островномъ положеніи Англіи, въ степномъ характерѣ части Азіи, въ гористой природѣ Швейцаріи, въ замерзаніи рѣкъ на сѣверѣ и т. д., и т. д.,— развѣ это не будетъ матеріалистическое пониманіе исторіи? Ясно, что экономическій матеріализмъ, какъ историческая теорія, есть лишь частный случай матеріалистическаго пониманія исторіи, и ему не полагается прятаться за столь общее положеніе, какъ «объясненіе сознанія людей изъ ихъ бытія въ противоположность прежнему объясненію бытія изъ сознанія».

Ту же мысль, какъ мы видѣли, г. Струве выражаетъ словами: «дѣйствительность, факты создаютъ идеалы». Мимоходомъ

сказать, г-ну Струве, столь строгому по части русскаго языка, слѣдовало бы выражаться яснѣе. Приведенную фразу можно по духу русскаго языка понять и такъ, что идеалы создаются дѣйствительностью, фактами, и, наоборотъ, такъ, что дѣйствительность, факты создаются идеалами. Но я понимаю, что хочетъ сказать г. Струве, и потому вопросительнаго знака не ставлю. Онъ хочетъ повторить слова своихъ нѣмецкихъ учителей, но въ этомъ случаѣ пропускаетъ вторую отрицательную половину ихъ формулы. У нихъ какъ мы видѣли, объясненіе сознанія изъ бытія противополагается объясненію бытія изъ сознанія, фундаментъ исторіи ищется *не въ философіи*, а въ экономикѣ. Настойчивость, съ которою «матеріалисты» повторяютъ эту формулу именно въ двойственномъ видѣ—положительномъ и отрицательномъ—чрезвычайно замѣчательна. Иной русскій читатель, даже увлеченный соблазнительною ясностью и стройностью экономическаго матеріализма, но мало свѣдующій вообще (а такихъ очень много), можетъ, пожалуй, призадуматься: при чемъ тутъ эти отрицательныя прибавки—«а не въ философіи», «а не бытія изъ сознанія»? Развѣ кто-нибудь когда-нибудь утверждалъ, что исторія данной эпохи заключается въ выставленныхъ ею философскихъ доктринахъ? а если кто-нибудь утверждалъ такую, на трезвый и, можетъ быть, слишкомъ трезвый взглядъ средняго русскаго читателя, нелѣпость, то развѣ это такъ важно, чтобы заслуживать столь настойчиваго опроверженія?

Позвольте привести по Льюису одинъ эпизодъ изъ біографіи Гегеля: »Феноменологія духа» была окончена въ ночь знаменитой Іенской битвы. Артиллерія громила городскія стѣны, но философъ былъ такъ погруженъ въ свое произведеніе, что и не замѣтилъ этого. Онъ продолжалъ писать, подобно Архимеду, который не прерывалъ своихъ ученыхъ изслѣдованій во время осады Сиракузъ. На слѣдующее утро съ рукописью въ рукѣ выходитъ онъ на улицу и отправляется къ своему издателю, твердо увѣренный, что судьбы человѣчества зависятъ отъ груды бумагъ, которыя онъ бережно несетъ въ рукахъ. Но едва успѣлъ онъ выйти изъ дому, какъ ему попадаются навстрѣчу бородатые французскіе солдаты, которые останавливаютъ его и весьма недвусмысленно даютъ ему понять, что въ настоящее время судьбы человѣчества зависятъ вовсе не отъ рукописей».

Можетъ быть, дѣло происходило не совсѣмъ такъ (если не

ошибаюсь, «Феноменологія духа» уже печаталась, и французскіе солдаты не на улицѣ остановили Гегеля, а ворвались въ его квартиру). Но приведенная картинка можетъ во всякомъ скучаѣ служить символическимъ отвѣтомъ на вопросъ: развѣ кто-нибудь когда-нибудь думалъ, что исторія эпохи заключается въ ея философіи? и развѣ это такъ важно? Было время, когда, примѣняя слова одного стариннаго русскаго писателя, можно было сказать: «нынѣ и въ домѣхъ, и на путяхъ, и на торжищахъ, нощи и мірстіи и вси сонмятся, вси о философіи пытаютъ», и когда философія и ея тогдашній предметъ—«идея» считались даже не «пупомъ земли», а центральнымъ всеопредѣляющимъ пунктомъ всего мірозданія во всей безконечности его пространства и времени. Это было въ Германіи, и тамъ же, конечно, должна была проявиться всего сильнѣе реакція противъ такого направленія мысли или, вѣрнѣе, противъ такого ея сосредоточенія въ самой себѣ. Поэтому-то основатели экономическаго матеріализма, будучи нѣмцами, и твердятъ съ такою настойчивостью: «не въ философіи». Есть-ли резонъ для такой настойчивости у насъ въ Россіи?

Прежде, чѣмъ отвѣчать на этотъ вопросъ, замѣтимъ, что въ отрицательныхъ половинахъ основной формулы соціологовъ-матеріалистовъ заключается протестъ или реакція не противъ философіи вообще, а, повидимому, именно противъ гегельянской. Ей именно принадлежитъ «объясненіе бытія изъ сознанія», тогда какъ, напримѣръ, у Шопенгауера основою бытія является Воля, у Гартмана—Безсознательное (и тамъ, и тутъ нѣчто въ разныхъ смыслахъ даже прямо противоположное Сознанію). Я беру эти двѣ позднѣйшія философскія системы, потому что, казалось бы, если ужъ нужна двойственная формула экономическаго матеріализма, то вторая, отрицательная ея половина естественно должна-бы была воевать съ позднѣйшими явленіями въ области философіи, а не съ гегельянствомъ, которое ist längst gestorben, verdorben, залитое новыми волнами философской мысли. Вотъ ужъ и еще звѣзда загорѣлась на нѣмецкомъ философскомъ небосклонѣ: Ничше, во многихъ отношеніяхъ особенно интересный для соціологовъ-матеріалистовъ или именующихъ себя матеріалистами, а они все это минуютъ и только Гегеля поминаютъ. Такое упорство дѣйствительно достойно вниманія, и даже въ гораздо большей степени, чѣмъ думаетъ г. Струве. Дѣло, впрочемъ, объясняется до-

вольно просто, если вспомнить, что основатели экономическаго матеріализма—гегельянцы и, въ качествѣ таковыхъ, потому такъ настойчиво твердятъ: «не въ философіи», не изъ сознанія», что не могутъ, да и не пытаются выбиться изъ круга гегельянской мысли.

Можетъ быть, нѣсколько преувеличенно, но всетаки не безъ основанія отмѣтивъ ту заслугу Гегеля, что онъ понялъ исторію, какъ процессъ, какъ рядъ измѣненій, законосообразно между собою связанныхъ, и, такимъ образомъ, поставилъ новую задачу историческому пониманію, Энгельсъ (въ полемической противъ Дюринга книгѣ) продолжаетъ: «Что Гегель этой задачи не рѣшилъ, это для насъ здѣсь безразлично. Заслуга его, составляющая цѣлую эпоху, была въ томъ, что онъ ее поставилъ. Хотя Гегель, на ряду съ С. Симономъ, и является наиболѣе универсальнымъ умомъ своего времени, но при всемъ томъ горизонтъ его былъ ограниченъ, во-первыхъ, необходимо ограниченнымъ объемомъ его собственныхъ знаній, а во-вторыхъ, объемомъ и глубиною ограниченныхъ знаній и воззрѣній его эпохи. Къ тому же присоединилось еще нѣчто третье. Гегель былъ идеалистъ, иными словами, мысли его головы имѣли для него значеніе не болѣе или менѣе абстрактныхъ снимковъ съ дѣйствительныхъ вещей и процессовъ, а наоборотъ, самыя вещи и ихъ развитіе являлись для него не болѣе, какъ матеріализованными снимками съ идеи, существовавшей гдѣ-то еще до возникновенія самаго міра. Этимъ все было поставлено вверхъ ногами, и дѣйствительная взаимная зависимость явленій міра совершенно выворочена на изнанку». Пользуясь образнымъ выраженіемъ Энгельса, можно, слѣдовательно, сказать, что экономическій матеріализмъ ставитъ гегельянство на ноги, при чемъ пропорціи всего метафизическаго зданія остаются неприкосновенными (не считая, разумѣется, тѣхъ частныхъ измѣненій, которыя обусловливаются современнымъ уровнемъ знаній). Такъ оно и есть. Правда, Энгельсъ нѣсколько ниже говоритъ: «Все, что остается еще въ самостоятельномъ видѣ отъ прежней философіи, есть ученіе о мышленіи и о его законахъ—формальная логика и діалектика, а все прочее разрѣшается въ положительную науку о природѣ и объ исторіи». Но это не вѣрно. Философская система Гегеля въ цѣломъ отличается поистинѣ удивительнымъ сочетаніемъ гибкости, податливости съ прочностью. Ее можно совершенно отринуть и даже утверждать, подобно Шо-

пенгауеру, что это «философская гансвурстіада», «галиматья», «пустѣйшій, безсмысленнѣйшій наборъ словъ» («Ueber die Universitäts Philosophie») или говорить, подобно Льюису: «эта система, даже если бы она была вполнѣ истинна, оставляетъ всѣ вопросы, ожидающіе свѣта отъ науки, въ прежнемъ мракѣ и потому не заслуживаетъ вниманія серьезныхъ умовъ, трудящихся на пользу человѣчества» («Исторія философіи»). Можно гнуть ее въ разныя стороны (объ чемъ свидѣтельствуетъ уже простой фактъ существованія правыхъ и лѣвыхъ гегельянцевъ), можно перевернуть вверхъ дномъ, какъ и пытаются сдѣлать «матеріалисты», но нельзя выкинуть изъ нея нѣкоторыя ея существенныя и спеціально ей принадлежащія черты, сохранивъ другія. Невѣрно, что экономическій матеріализмъ взялъ у Гегеля только «ученіе о мышленіи — формальную логику и діалектику». Самъ Энгельсъ говоритъ, что знаменитая діалектическая тріада «выполняется въ природѣ и исторіи», а не только составляетъ законъ нашего мышленія. Не только мысль наша неизбѣжно слѣдуетъ формулированному Гегелемъ закону послѣдовательной смѣны положенія, отрицанія и примиренія, но таковъ и неизбѣжный ходъ развитія самихъ вещей. Въ философіи Гегеля эта всеобщность закона утверждалась на абстрактныхъ положеніяхъ о тождествѣ субъекта и объекта, сознанія и бытія и даже бытія и небытія, ибо, дескать, небытіе есть мысль. Представители экономическаго матеріализма не пускаются въ открытое море этихъ отвлеченностей, а держатся только у самыхъ береговъ его. Но они всетаки не только взяли у Гегеля «формальную логику и діалектику», но по Гегелю же распространили законъ «сознанія» на «бытіе». Разница лишь въ томъ, что бытіе и сознаніе помѣнялись мѣстами: для Гегеля бытіе есть отраженіе сознанія, саморазвивающейся Идеи, Разума; для экономическаго матеріализма, напротивъ, сознаніе есть отраженіе бытія. Разница, конечно, огромная, столь же огромная, какъ постановленіе предмета вверхъ дномъ, и всетаки не выводящая изъ заколдованнаго круга идей учителя. Дѣло въ томъ, что, каковы бы ни были взаимныя отношенія бытія и сознанія, а и у Гегеля, и у «матеріалистовъ» бытіе и сознаніе движутся по одному и тому же вѣковѣчному, неизмѣнному закону трехчленнаго развитія, установленному Гегелемъ. И «положительная наука о природѣ и объ исторіи» тутъ рѣшительно не при чемъ. Мы очень хорошо знаемъ, что великія

научныя пріобрѣтенія нашего вѣка,—теорія Дарвина, теорія единства силъ, астрономическія открытія и т. д. не имѣютъ никакого отношенія къ знаменитой тріадѣ,—не изъ нея выросли, не ею орудуютъ, не къ ней приходятъ. Мало того, безспорныя заслуги самихъ основателей экономическаго матеріализма въ спеціальной научной области совершенно независимы отъ ихъ философіи. Воздавая этимъ заслугамъ должное, я еще въ 1878 г. писалъ, что въ нихъ «гегельянскую формулу можно такъ же легко снять съ втиснутаго въ нее содержанія, какъ перчатку съ руки или шляпу съ головы, ни мало не повредивъ руки или головы» (Сочиненія, II, 354). Но это относится къ научной части ихъ работы, а не къ теоріи экономическаго матеріализма, по справедливому замѣчанію г. Струве, фактически не провѣренной и философски не обоснованной. Здѣсь Гегель царитъ, хотя и вывороченный на изнанку.

Если и въ Германіи настойчивое повтореніе «не изъ философіи», «не изъ сознанія» является нынѣ, повидимому, излишнимъ, то тѣмъ паче не нужно оно у насъ, и въ особенности по отношенію къ той литературѣ, съ которою полемизируетъ г. Струве. Но въ повторяемыхъ имъ отрицательныхъ прибавкахъ «матеріалистовъ» заключается еще нѣчто, кромѣ выворачиванія Гегеля на изнанку, хотя опять таки тѣсно связанное съ гегельянствомъ. Для выясненія этой стороны дѣла припомнимъ одну трогательную страницу изъ исторіи русской литературы. Разумѣю ту часть переписки Бѣлинскаго, которая относится ко времени его увлеченія Гегелемъ и затѣмъ разочарованія въ немъ. Мнѣ уже случалось цитировать эти сверкающія слезами восторга и покаянія письма. Въ 1838 г. «неистовый Виссаріонъ» писалъ: «Теперь, когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ и никто не виноватъ... Въ горнилѣ моего духа выработалось самобытно значеніе великаго слова *дѣйствительность... Дѣйствительность*, твержу я, вставая и ложась спать». Въ 1839 г.: «Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа, пріѣзжаетъ М. (Бакунинъ)—мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрѣлъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право и право есть сила: нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова—это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоеваній, я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и ме-

ча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности—и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ». Шиллеру въ это время Бѣлинскій объявлялъ рѣшительную войну «за субъективно-нравственную точку зрѣнія, за страшную идею долга, за абстрактный героизмъ, за прекраснодушную войну съ дѣйствительностью, за все за это, отъ чего я страдалъ во имя его». Но въ слѣдующемъ же 1840 г. Бѣлинскій бурно поднимаетъ знамя возстанія противъ Гегеля и его «дѣйствительности»: «Проклинаю мое стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностію! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эмансипаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма! какъ восклицаетъ великій Пушкинъ. Для меня теперь *человѣческая личность* выше исторіи, выше общества, выше человѣчества. Это—мысль и дума вѣка! Боже мой! Страшно подумать! Что со мной было—горячка или помѣшательство—я словно выздоравливающій... Дѣйствительность—это палачъ». Въ 1841 г.: «Я имѣю особенно важныя причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ россійской дѣйствительностью, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера... Судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т. е. гегелевской Allgemeinheit). Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься — падай, чортъ съ тобой, таковскій и былъ. Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и проч., и проч.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой».

Кромѣ непосредственной прелести этихъ не предназначенныхъ для печати строкъ, онѣ и поучительны во многихъ отношеніяхъ. Исчерпывать здѣсь все ихъ историческое и принципіальное значеніе я не думаю и ограничусь лишь тѣмъ, что,

можетъ быть, приведено въ связь съ нашей ближайшей темой,— съ книжкой г. Струве.

Въ приведенныхъ отрывкахъ изъ переписки Бѣлинскаго мы имѣемъ какъ бы тяжбу между принципами «дѣйствительности» и «личности»,—тяжбу, оконченную въ первой инстанціи въ пользу дѣйствительности и перерѣшенную затѣмъ въ пользу личности. Бѣлинскій имѣлъ полное основаніе мучиться этой тяжбой. По Гегелю, «дѣйствительность» отъ вѣка движется неустанной стройственной волной положенія, отрицанія и примиренія, и «личность» влечется этой волной, какъ безсильная щепка, дважды презрѣнная: во-первыхъ, она ничто, какъ активный дѣятель, ибо не она дѣлаетъ исторію, а исторія сама себя дѣлаетъ своими имманентными законами саморазвивающейся идеи; во-вторыхъ, личность ничто и какъ пассивная жертва этого непреклоннаго процесса,—тѣмъ лучше, если она при этомъ наслаждается, а если страдаетъ, то ничего не стоятъ эти ея страданія, ибо это только маленькія непріятности, не только не мѣшающія, а даже способствующія большому удовольствію и «здравію китайскаго императора, т. е. гегелевскій «Allgemeinheit». Нѣтъ философской системы, которая относилась бы къ личности съ такимъ уничтожающимъ презрѣніемъ и холодною жестокостью, какъ система Гегеля. И вотъ мы видимъ это презрѣніе и эту жестокость и въ книгѣ г. Струве, который, по всѣмъ видимостямъ, не будучи сознательнымъ гегельянцемъ, воспринялъ гегельянскій отпечатокъ черезъ посредство доктрины экономическаго матеріализма. Ученіе это, по словамъ г. Струве, «просто игнорируетъ личность, какъ соціологически ничтожную величину» (стр. 30). «Соціологія можетъ игнорировать личность» (стр. 40). «Экономическій матеріализмъ, повторяемъ, игнорируетъ личность» (стр. 59). «Личность во всемъ этомъ не при чемъ». «Настаиваемъ, личность тутъ не при чемъ» (64).

Такое даже нѣсколько назойливое презрѣніе г. Струве къ человѣческой личности объясняется тѣмъ, что міровоззрѣніе, съ которымъ онъ борется, имѣетъ, по его мнѣнію, «два основныхъ источника: 1) опредѣленное ученіе о роли личности въ исторіи и 2) непосредственное убѣжденіе въ специфическомъ національномъ характерѣ и духѣ русскаго народа и въ особенныхъ его историческихъ судьбахъ» (2). Оставляя пока въ сторонѣ второй «основной источникъ», остановимся на первомъ.

Прежде всего замѣтимъ, что г. Струве мотивируетъ только одну сторону своего презрѣнія къ личности. Онъ старается доказать, что «стройное соціологическое міровоззрѣніе, традиціонно господствующее въ нашей прогрессивной литературѣ» придаетъ невѣрное и именно крайне преувеличенное значеніе роли личности, какъ *активнаго дѣятеля*, каковая, дескать, роль въ дѣйствительности равна нулю. Допустимъ на минуту, что г. Струве совершенно правъ. Но вѣдь затѣмъ остается еще положеніе личности, какъ пассивнаго участника того историческаго процесса, который представляетъ собою непреклонное саморазвитіе идеи (идеи или матеріи—это въ данномъ случаѣ безразлично). Г. Струве, напримѣръ, говоритъ, что «личность, какъ конкретная индивидуальность, есть производная всѣхъ ранѣе жившихъ и современныхъ ей личностей, т. е. соціальной группы». Въ этомъ же смыслѣ онъ сочувственно цитируетъ фразу Гумпловича: «величайшая ошибка индивидуалистической психологіи это—предположеніе, что мыслитъ *человѣкъ*». Авторъ хотѣлъ этимъ сказать,—поясняетъ г. Струве,—что «образъ мыслей человѣка опредѣляется его принадлежностью къ той или другой соціальной группѣ». Г. Струве хватилъ уже немножко черезъ край, объявляя личность производною *всѣхъ* ранѣе жившихъ и современныхъ ей личностей, да онъ, вѣроятно, и не хотѣлъ этого сказать или забылъ прибавить—«всѣхъ, принадлежащихъ къ данной соціальной группѣ». Есть извѣстная доля правды въ этомъ положеніи, но не слѣдуетъ преувеличивать значеніе этой доли. Вполнѣ мыслимъ, напримѣръ, современный русскій дворянинъ, въ выработкѣ «образа мыслей» котораго длинный рядъ его предковъ и его современники, принадлежащіе къ той-же соціальной группѣ, играли несравненно меньшую роль, чѣмъ, скажемъ къ примѣру, Конфуцій, или французскіе энциклопедисты, или Фридрихъ Ничше, или теоретики экономическаго матеріализма и я не знаю еще кто. Но дѣло теперь не въ этомъ. Допустимъ, что мыслитъ не человѣкъ. Ну, а голоденъ и сытъ бываетъ, страдаетъ и радуется, болѣетъ и здравствуетъ—и все это въ самомъ точномъ, прямомъ, если угодно, «матеріалистическомъ» смыслѣ—тоже не человѣкъ? Гегель презрительно отвѣтилъ бы на это, что, дескать, конечно, человѣкъ, личность, но саморазвивающейся идеѣ до этого такъ же мало дѣла, какъ Джагернаутовой колесницѣ до тѣхъ людей, которыхъ она въ своемъ торжественномъ шествіи давитъ.

Противъ такого-то отношенія къ интересамъ и достоинству личности и протестовалъ Бѣлинскій, когда «кланялся философскому колпаку Егора Ѳедоровича со всѣмъ подобающимъ его философскому филистерству уваженіемъ». И съ тѣхъ поръ въ русской литературѣ въ разныхъ формахъ, по разнымъ поводамъ не изсякала эта струя, но г. Струве ее совершенно игнорируетъ. Вся его полемика со «стройнымъ соціологическимъ міровоззрѣніемъ» и т. д. направлена въ сторону доказательствъ ничтожества личности, какъ дѣятеля, и онъ подбираетъ соотвѣтственныя цитаты въ произведеніяхъ своихъ противниковъ, но если бы онъ ихъ и совершенно разбилъ на этомъ пунктѣ, остается не тронутымъ вопросъ о значеніи интересовъ и достоинства личности. Можно ли въ этомъ отношеніи «просто игнорировать личность, какъ соціологически ничтожную величину»? Г. Струве не даетъ прямого отвѣта на вопросъ и пропускаетъ сквозь пальцы всю ту русскую литературу, которая этимъ вопросомъ интересовалась и занималась. Единственное, найденное мною у него въ этомъ смыслѣ указаніе касается «рѣзко подчеркнутаго г. Михайловскимъ и безспорно существующаго антагонизма между личностью и группой»,—антагонизма, подлежащаго, однако, совсѣмъ иному, отличному отъ моего, толкованію. Я не буду распространяться о соображеніяхъ г. Струве по этому поводу, тѣмъ болѣе, что возражать пришлось бы не ему собственно, а Зиммелю, на котораго онъ ссылается и аргументацію котораго только повторяетъ. Моя цѣль состоитъ теперь лишь въ указаніи на огромный пробѣлъ въ критикѣ «стройнаго соціологическаго міровоззрѣнія, традиціонно господствующаго въ прогрессивной русской литературѣ».

Но этимъ однимъ пробѣломъ дѣло не ограничивается. Есть и другіе, не менѣе въ своемъ родѣ странные и едва ли говорящіе въ пользу «объективизма», которымъ г. Струве хвалится.

Свой полемическій обзоръ извѣстной части русской литературы г. Струве начинаетъ съ автора «Критики философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго землевладѣнія», на взглядахъ котораго, однако, «по разнымъ причинамъ, не считаетъ возможнымъ останавливаться» и прямо переходитъ къ автору «Историческихъ писемъ» и ко мнѣ грѣшному. Скачекъ огромный! Особенно удивляетъ меня пропускъ Ю. Г. Жуковскаго. Литературная дѣятельность этого писателя, крайне интересная вообще,

представляетъ для г. Струве особенный и многосторонній интересъ. Г. Жуковскій—экономистъ или былъ таковымъ спеціально. Онъ писалъ о Марксѣ. Онъ, не смотря на удивительно презрительное отношеніе къ спеціально экономическимъ трудамъ послѣдняго, долженъ быть зачисленъ въ представители экономическаго матеріализма, такъ какъ съ настойчивостью проводилъ ту мысль, что правовыя отношенія не болѣе, какъ надстройка надъ отношеніями экономическими. Онъ, далѣе, проникая въ суть вещей еще глубже, предполагалъ реформировать самоё политическую экономію при помощи математики и физики. Все это очень пестро, но тѣмъ интереснѣе было бы разобраться во всемъ этомъ. Сдѣлать это въ бѣгломъ очеркѣ «прогрессивной» литературы, конечно, трудно, но можно было, по крайней мѣрѣ, упомянуть, что вотъ въ этой литературѣ былъ человѣкъ, который, по крайней мѣрѣ, одно время, твердо стоялъ на почвѣ экономическаго матеріализма, не нося теперешней модной клички и въ полной независимости отъ нѣмецкихъ основателей доктрины. Казалось бы, слѣдовало отмѣтить это явленіе, хотя бы какъ исключеніе. Но исключеніе ли это? Не касаясь общей литературной физіономіи г. Жуковскаго, оставляя въ сторонѣ его дѣятельность примѣрно съ 1866 или 1867 г., когда онъ, неудачно попробовавъ основать свой собственный журналъ «Космосъ», сталъ въ литературѣ случайнымъ гостемъ, изрѣдка появляясь то съ книгами, то со статьями въ «Вѣстникѣ Европы»,—припомнимъ, что г. Жуковскій излагалъ свои воззрѣнія на отношенія права къ экономіи, а равно и свои спеціально экономическія воззрѣнія въ «Современникѣ», а этотъ журналъ не допускалъ на своихъ страницахъ очень ужъ рѣзкихъ исключеній. И, дѣйствительно, если бы г. Струве отнесся къ своей задачѣ нѣсколько тщательнѣе, онъ убѣдился бы, что общія основанія экономическаго матеріализма (хотя и безъ этой клички) совсѣмъ для насъ не новость, что мы переживали эту односторонность даже съ чрезвычайною напряженностью. Пусть г. Струве «пороется» въ нашей литературѣ, и онъ найдетъ многочисленныя тому доказательства, а я ему укажу лишь вообще на массу журнальныхъ статей объ экономическихъ явленіяхъ русской жизни и на огромную работу земскихъ статистиковъ, несомнѣнно подъ вліяніемъ литературы предпринятую. Это *благой* результатъ *нашего* экономическаго матеріализма. Подчеркиваю слово *благой*, потому что были и не благіе результаты—забвеніе (дохо-

дившее даже до презрѣнія) другихъ сторонъ жизни: подчеркиваю и слово *нашего*, потому, что та особенная форма, въ которой экономическій матеріализмъ исповѣдуется и проповѣдуется г. Струве, и то повелительное наклоненіе, къ которому онъ, въ концѣ концовъ, приходитъ («пойдемъ на выучку къ капитализму») — у насъ дѣйствительно новы. На этихъ-то пунктахъ ему и слѣдовало настаивать, а относительно общихъ положеній, исходныхъ пунктовъ экономическаго матеріализма, онъ могъ бы найти многихъ себѣ союзниковъ въ нашей литературѣ. Но, горя желаніемъ предъявить, какъ онъ говоритъ въ предисловіи, «совершенно новую точку зрѣнія», онъ отважно ищетъ только враговъ, дабы торжествовать побѣды. Однако, на человѣка, знакомаго съ новѣйшей русской литературой и съ броженіемъ идей въ нашемъ обществѣ, эта отвага должна производить иногда даже комическое впечатлѣніе. Говорю «иногда», потому что въ общемъ предпріятіе г. Струве заслуживаетъ эпитета, болѣе суроваго, чѣмъ «смѣшное».

Г. Струве употребляетъ иногда выраженіе «соціологическій матеріализмъ», какъ равносильное выраженію «экономическій матеріализмъ». Это—совершенно незаконное расширеніе очень узкаго понятія, и когда г. Струве говоритъ, что «дѣйствительность, факты создаютъ идеалы», то онъ утверждаетъ нѣчто, далеко выходящее за предѣлы экономическаго матеріализма И на этомъ, болѣе широкомъ полѣ уже совершенно непонятна боевая поза, принимаемая имъ по отношенію къ нашей «прогрессивной литературѣ» и «самому вліятельному міровоззрѣнію 60-хъ, 70-хъ, 80-хъ годовъ». Припомните хоть Писарева съ его юношески-шумнымъ, но тѣмъ не менѣе въ свое время вліятельнымъ увлеченіемъ «реализмомъ», припомните увлеченіе книгой Бокля, которая, сколько мнѣ извѣстно, пользуется большимъ уваженіемъ и у нѣмецкихъ представителей экономическаго матеріализма, припомните разнообразнѣйшія варьяціи на тему о засасывающемъ, или, наоборотъ, окрыляющемъ вліяніи общественной среды, и т. д., и т. д., и т. д. Все это г. Струве опять-таки пропустилъ сквозь пальцы. Отмѣтивъ этотъ новый пробѣлъ, остановимся на томъ, что онъ подвергаетъ своей критикѣ.

Если бы книжка г. Струве была переведена на какой-нибудь иностранный языкъ, то навѣрное повергла бы своихъ новыхъ читателей въ изумленіе. Они узнали бы изъ нея, напримѣръ, что въ Россіи есть «прогрессивные» писатели, цѣлая школа писателей, утверждающая, что «*личность все можетъ*» (курсивъ г. Струве)

въ томъ смыслѣ, что для нея не существуетъ соціологической необходимости. Иностранецъ, конечно, увидалъ бы въ этомъ лишнее доказательство дикости Россіи, въ которой три десятка лѣтъ считается прогрессивною литература, утверждающая подобныя нелѣпости. Но если этотъ иностранецъ оказался бы добрымъ и не зараженнымъ національными антипатіями человѣкомъ, то онъ прибавилъ бы: хорошо, что у этихъ русскихъ варваровъ появился, наконецъ, мыслитель, г. П. Струве, нѣсколько знакомый съ элементарными пріобрѣтеніями европейской мысли; можетъ быть, ему удастся внушить своимъ отсталымъ соотечественникамъ нашу азбуку подъ флагомъ «совершенно новой точки зрѣнія». Честь и слава просвѣтителю!

Я не отвѣтчикъ за всѣхъ писателей, претерпѣвающихъ критическую операцію отъ руки г. Струве. Но за себя-то могу хоть попробовать съ нѣкоторою робостью заступиться. Беру первый томъ своихъ сочиненій, развертываю его на 204 стр. и читаю: «Наука есть рядъ законовъ, выведенныхъ изъ возможно большаго количества фактовъ одного и того же порядка, съ цѣлью предвидѣть имѣющіе случиться факты, на основаніи фактовъ прошедшаго и настоящаго... Стало быть, гдѣ нѣтъ законовъ, тамъ не можетъ быть науки. И если духовная сторона человѣка и общественныя отношенія не подлежатъ какой бы то ни было правильности и законосообразности, то немыслимы и науки нравственныя и политическія». Переворачиваю нѣсколько страницъ назадъ, къ стр. 148. Тамъ идетъ рѣчь о томъ положеніи Огюста Конта, что въ умственномъ прогрессѣ, въ развитіи знанія и идей слѣдуетъ видѣть главный нервъ исторіи. Возражая на это, я говорю: «я полагаю, что законовъ прогресса слѣдуетъ искать въ развитіи самой общественности, т. е. въ развитіи и послѣдовательной смѣнѣ различныхъ формъ коопераціи». Беру шестой томъ, стр. 282: «Великіе люди не съ неба сваливаются на землю, а изъ земли растутъ къ небесамъ; ихъ создаетъ та же среда, которая выдвигаетъ и толпу, только концентрируя и воплощая въ нихъ разрозненно бродящія въ толпѣ силы, чувства, инстинкты, мысли, желанія». Возвращаюсь опять къ первому тому, стр. 81: «Исторія не есть театръ маріонетокъ, не есть и результатъ самопроизвольныхъ прыжковъ Пьеро и Коломбинъ, человѣческія дѣйствія вызываются опредѣленными и уловимыми причинами и слѣдуютъ одно за другимъ въ извѣстномъ правильномъ порядкѣ». Беру второй томъ, стр. 232: «Идея законосообразности (явленій природы и общественной жизни) вошла во всеобщее сознаніе, стала азбучной

истиной». Въ томъ же второмъ томѣ нахожу на стр. 340 слѣдующее мѣсто, имѣющее прямое отношеніе къ сюжету книги г. Струве: «Конечно, столкновеніе нравственнаго чувства съ историческою необходимостью должно разрѣшиться въ пользу необходимости... Но дѣло въ томъ, что надо же доподлинно знать, что историческій процессъ дѣйствительно неизбѣжно таковъ, какимъ рисуетъ его Марксъ».

Увѣряю читателя, что я не долго «рылся» въ своихъ сочиненіяхъ, а просто наугадъ бралъ томы и перелистывалъ ихъ, и, конечно, могъ бы сдѣлать еще множество подобныхъ, и вѣроятно, даже еще болѣе выразительныхъ выписокъ, если бы это не было скучно. Почему же г. Струве считаетъ нужнымъ просвѣщать меня на счетъ существованія причинной связи въ явленіяхъ общественной жизни? и зачѣмъ хочетъ онъ предъявить меня своимъ читателямъ въ видѣ человѣка, утверждающаго, что «личность все можетъ» и что «соціологическая необходимость» для нея не существуетъ? Но вѣдь г. Струве цитируетъ, приводитъ мои подлинныя слова! Да, цитируетъ, приводитъ. Надо, однако, замѣтить, что подчеркиваемая г. Ствуве фраза—*личность все можетъ* и т. д.—не есть цитата; это самому г. Струве принадлежащее резюме моихъ и, повидимому, не только моихъ воззрѣній. Что же касается тѣхъ четырехъ-пяти цитатъ, которыя онъ извлекаетъ изъ моего слишкомъ четверть вѣкового литературнаго багажа, то допустимъ, что онѣ подлежатъ именно тому толкованію, которое онъ имъ даетъ. Но вѣдь изъ вышеприведенныхъ мѣстъ изъ моихъ сочиненій видно, что всетаки законосообразность явленій общественной жизни мнѣ вполнѣ извѣстна. Я знаю эту азбуку, мало того,—я знаю, что она именно азбука, безъ которой и читать нельзя, одна изъ «основныхъ идей» интересующей г. Струве литературы; а вѣдь онъ обѣщалъ «ясно схватить основныя идеи изучаемой доктрины». Мы имѣемъ, значитъ, и еще пробѣлъ. Правда, если допустить, что личность, по моему мнѣнію, все можетъ и что для нея никакіе законы не писаны, то г. Струве могъ бы уличить меня въ противорѣчіи и неумѣніи связать свои концы съ концами. Но онъ и этого не сдѣлалъ.

Скажутъ, можетъ быть, что я слишкомъ требователенъ, ибо, дескать, не могъ же г. Струве удѣлить мнѣ столько вниманія въ бѣгломъ очеркѣ цѣлой многолѣтней литературной полосы. Но, во-первыхъ, дѣло идетъ не только обо мнѣ лично, а именно о цѣлой литературной полосѣ, въ критикѣ которой, какъ мы

видѣли, г. Струве допустилъ пробѣлы, граничащіе съ извращеніемъ; а во-вторыхъ, и по отношенію къ любому отдѣльному писателю никакою краткостью и бѣглостью не оправдывается извращеніе.

Г. Струве замѣчаетъ, что «на теоріи (прогресса) г. Михайловскаго лежитъ нескрываемая печать субъективныхъ идеаловъ.. Результаты анализа объективныхъ фактовъ, анализа, безспорно весьма остроумнаго, были предрѣшены субъективной точкой зрѣнія». Ну, а г. Струве вполнѣ объективенъ и чрезвычайно гордъ этой своей объективностью. Да и какъ не гордиться! Если мы оставимъ въ сторонѣ пеструю судьбу слова «объективизмъ» въ исторіи философіи, то въ просторѣчіи «объективный» значитъ солидный, добросовѣстный, безпристрастный, разносторонній, фактически обоснованный, — все прекрасныя качества, рѣшительно, однако, для всѣхъ писателей обязательныя, или, по крайней мѣрѣ, желательныя. Но не все желательное и обязательное исполняется, а потому понятна гордость писателя, знающаго за собой упомянутыя прекрасныя качества. Съ другой стороны, однако, даже и весьма гордый человѣкъ можетъ заблуждаться относительно своихъ достоинствъ И вотъ, я не знаю... Мы видѣли, что г. Струве, справедливо признавая теорію экономическаго матеріализма философски не обоснованною и фактически не провѣренною, тѣмъ не менѣе на ней строитъ всѣ свои выводы вплоть до призыва «на выучку къ капитализму». Объективизмъ ли это? Мы видѣли далѣе, что, желая «схватить основныя идеи» извѣстнаго литературнаго теченія, г. Струве оставилъ безъ всякаго разсмотрѣнія одну изъ основныхъ идей — вопросъ объ интересахъ и достоинствѣ личности, даже не заикнулся объ ней; а другую основную идею — законосообразность явленій общественной жизни—вывернулъ на изнанку, для чего, во первыхъ, пропустилъ сквозь пальцы огромную часть литературы, а во-вторыхъ, и у отдѣльныхъ писателей понадергалъ фразъ, тщательно обходя то, что могло бы бросить тѣнь сомнѣнія на «совершенную новость» его, г. Струве, точки зрѣнія. Таковъ объективизмъ. Я думаю, что г. Струве *предрѣшилъ* вѣрность теоріи экономическаго матеріализма, и затѣмъ опять же *предрѣшилъ*, что въ русской литературѣ никогда не было ничего подобнаго его «совершенно новой точкѣ зрѣнія»: г. Струве во всей огромной литературѣ, подлежавшей его критикѣ, вычи-

тывалъ только то, что ему *хотѣлось* вычитать. Въ качествѣ субъективиста я охотно уступаю этотъ пріемъ г-ну Струве и объективистамъ вообще. Между прочимъ, г. Струве утверждаетъ, что «хотя г. Михайловскій и писалъ очень много на соціологическія темы, *нигдѣ* (курсивъ г. Струве) не далъ вполнѣ ясной теоретической формулировки своего пониманія сущности историческаго процесса». Г. Струве ошибается. По мѣрѣ силъ и умѣнія, я далъ отвѣтъ на интересующій его вопросъ и много разъ его повторялъ, обосновывалъ и развивалъ, такъ много, что затрудняюсь даже цитировать. А, впрочемъ, отвѣтъ этотъ вкратцѣ и сейчасъ могу привести: сущности историческаго процесса я не знаю, да и никто ея не знаетъ, хотя метафизики (г. Струве у comprîs) и думаютъ, что знаютъ; но, не зная сущности историческаго процесса, я могу уловить ту его центральную нить, держась за которую, можно себѣ объяснить возможно большее число историческихъ явленій; эта центральная нить есть то, что я называю борьбой за индивидуальность, а что я понимаю подъ этимъ терминомъ и какъ относятся другъ къ другу разныя ступени индивидуальности,—объ этомъ зри въ разныхъ моихъ статьяхъ. Можетъ быть, этотъ отвѣтъ и очень плохъ, но во всякомъ случаѣ мой *субъективизмъ* не помѣшалъ мнѣ его дать, а *объективизмъ* г. Струве помѣшалъ ему его прочитать. И опять-таки меня нельзя упрекнуть по этому случаю въ излишней требовательности. Я ничего не требую. Г. Струве могъ бы просто сказать, что онъ не интересовался моими соображеніями о «сущности историческаго процесса», но онъ говоритъ и подчеркиваетъ: «*нигдѣ* не далъ». Чтобы такъ говорить, надо предварительно *вездѣ* искать ..

Я не намѣренъ теперь разсуждать о субъективномъ и объективномъ методѣ по существу. Удовольствуемся приведеннымъ примѣромъ дѣйствій человѣка, называющаго себя объективистомъ, и посмотримъ на приводимый имъ образчикъ чужого объективизма. По мнѣнію г. Струве, «классическій примѣръ *объективности* и *историчности* (курсивъ г. Струве) экономическаго матеріализма представляютъ разсужденія его основателей о рабствѣ и его значеніи въ соціально-экономической эволюціи». Вотъ эти разсужденія: «Только рабство дало возможность провести въ крупномъ масштабѣ раздѣленіе труда между земледѣліемъ и промышленностью и, такимъ образомъ, создало цвѣтъ антич-

наго міра—греческую культуру. Безъ рабства не было бы греческаго государства, не было бы греческаго искусства и греческой науки. Безъ рабства не было бы римскаго государства, а безъ греческой культуры и римскаго государства не существовало бы современной Европы. Мы не должны никогда забывать, что все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитіе предполагаетъ состояніе, въ которомъ рабство было необходимостью и пользовалось всеобщимъ признаніемъ».

Остановимся на минуту. При всемъ уваженіи къ научнымъ заслугамъ основателей теоріи экономическаго матеріализма (что не мѣшаетъ отвергать самую теорію, которая отнюдь не научна, а метафизична), нельзя не поражаться сквозящею въ приведенныхъ строкахъ влюбленностью въ себя, въ данную историческую минуту. Трудно доказать фактически, но теоретически мыслимо, что не будь въ Россіи монгольскаго ига или крѣпостного права, мы съ г. Струве не существовали бы и, слѣдовательно, не говорили бы другъ другу тѣхъ непріятностей, которыми теперь обмѣниваемся. Но развѣ ужъ мы такъ хороши и такъ хорошъ нашъ обмѣнъ непріятностями, что *это* можетъ бросить примиряющій лучъ свѣта на монгольское иго или на крѣпостное право? Не было бы насъ съ г. Струве, но было бы, можетъ быть, нѣчто гораздо лучшее. Это опять-таки отпечатокъ гегельянства, благодаря которому и Бѣлинскій когда-то «понялъ идею паденія царствъ, законность завоеваній» и проч., потому что все это, въ концѣ концовъ, ведетъ къ самопознанію духа въ философіи Гегеля. Очень можетъ быть, что безъ древняго рабства въ экономическомъ, политическомъ и интеллектуальномъ развитіи Европы не было бы почвы для милитаризма, анархизма, международной ненависти, декадентства и проч. Но развѣ ужъ это такъ превосходно, что производительныя силы Европы тратятся на приготовленія къ всеобщей дракѣ, что французъ не можетъ видѣть нѣмца безъ гнѣва и ненависти, что озлобленные люди готовы взрывать сотни невѣдомыхъ имъ людей, что какіе-то разслабленные нейрастеники мечутся отъ порнографіи и разврата къ мистицизму, и проч.? Я не то хочу сказать, что въ настоящемъ моментѣ европейской цивилизаціи нѣтъ ничего, кромѣ этихъ мрачныхъ сторонъ. Я говорю только, что такъ называемый объективизмъ, въ радости и гордости своего собственнаго существованія, склоненъ оптимистически закрывать глаза на эти стороны. Подъ видомъ непреклоннаго безпристрастія здѣсь

скрывается самое необузданное пристрастіе, подъ видомъ необыкновенной смѣлости мысли—трусость.

Продолжаемъ «классическую» цитату г. Струве: «Очень легко обрушиваться общими фразами на рабство и изливать моральное негодованіе на «подобныя гнусности». Къ сожалѣнію, дѣлая это, мы говоримъ только то, что извѣстно всякому, а именно, что эти античныя учрежденія не соотвѣтствуютъ болѣе современнымъ условіямъ и нашимъ чувствамъ, которыя опредѣляются этими условіями. Но мы изъ этого не узнаемъ рѣшительно ничего о томъ, какъ эти учрежденія возникли, почему они существовали и какую роль они играли въ исторіи. И если мы обратимся къ этимъ вопросамъ, то мы должны будемъ сказать, какъ бы это ни звучало противорѣчиво и еретически, что введеніе рабства при условіяхъ того времени было большимъ шагомъ впередъ».

Выраженная здѣсь мысль совсѣмъ ужъ не такая «еретическая», и г. Струве напрасно усвоиваетъ ее именно экономическому матеріализму. Мы знаемъ историковъ, не имѣющихъ ничего общаго съ этимъ ученіемъ, которые, однако, тоже находятъ, что рабство было въ свое время шагомъ впередъ, потому, напримѣръ, что оно замѣнило собою убійство или людоѣдство: прежде побѣжденнаго врага просто убивали, а иногда и съѣдали, а потомъ, оставляя ему жизнь, стали принуждать его работать на побѣдителя или (въ особенности женщинъ) потѣшать его или воевать подъ его знаменемъ. Но самымъ цѣннымъ г. Струве представляется, повидимому, то положеніе, что изъ негодованія по поводу какой-нибудь мерзости мы еще ничего не узнаемъ о происхожденіи и исторической роли этой мерзости. Читатель можетъ усомниться что это положеніе, столь очевидно ясное, столь непререкаемое, имѣетъ въ глазахъ г. Струве особенно большую цѣну, да еще въ полемическомъ смыслѣ. Точно кто-нибудь когда-нибудь утверждалъ противное! А между тѣмъ, дѣло стоитъ именно такъ, т. е. г. Струве думаетъ, что кто-то полагаетъ негодованіе (и, вѣроятно восторгъ и вообще одобреніе) равносильнымъ изслѣдованію или замѣняющимъ его. И вотъ—«булатъ дрожитъ въ его рукѣ...» Мнѣ очень нравятся поводы, по которымъ г. Струве обнажаетъ свой булатъ: сочинитъ врага азбуки и съ поднятымъ мечомъ рыцарски отважно устремится на защиту этой достойной уваженія, но никѣмъ не обижаемой особы,—не обижаемой, по крайней мѣрѣ, тѣми, отъ кого онъ ее защищаетъ.

Одна изъ главныхъ задачъ г. Струве состоитъ въ установленіи границы между научнымъ изслѣдованіемъ, съ одной стороны, и нравственнымъ судомъ и «нравственнымъ дѣяніемъ»—съ другой. Признаюсь, я истинно пораженъ скудостью и случайностью аммуниціи, съ которою онъ отправляется въ этотъ походъ. Но, убѣдившись въ этомъ фактѣ, я, разумѣется, уже не удивляюсь, что устанавливаемая г. Струве граница теоретически противорѣчива и практически невозможна.

О рабствѣ и вообще прошедшемъ можно, пожалуй, сказать: мертвымъ тѣломъ хоть заборъ подпирай. Но что такое прошедшее? И вчерашній день прошедшее, и феодальный строй прошедшее, и классическая древность, и каменный вѣкъ—прошедшее. Невозможно указать пунктъ въ этой уходящей въ непроглядную глубь временъ перспективѣ, гдѣ le mort перестаетъ saisir le vif Но всякій согласится, что нельзя одинаково относиться къ обидамъ, торжествамъ, горестямъ, радостямъ нашихъ отцовъ, и людей каменнаго вѣка; гдѣ-то въ исторіи—въ точности неопредѣлимо гдѣ именно—прекращается для изслѣдователя возможность довольствоваться сухимъ сцѣпленіемъ причинъ и слѣдствій, и эта сушь невольно,—фигурально выражаясь,—увлажняется слезами негодованія или восторга и оглашается криками гнѣва или радости. Негодованіе и восторгъ, гнѣвъ и радость никогда не замѣняютъ изслѣдованія. Это—азбука, которую стыдно и защищать. Но, рискуя погибнуть отъ полемическаго меча г. Струве, я рѣшаюсь утверждать, что и въ историческихъ сюжетахъ, а тѣмъ паче относительно текущихъ событій, негодованіе и восторгъ могутъ быть признаками полнаго доступнаго намъ пониманія, а отсутствіе ихъ—признакомъ непониманія. Иначе пришлось бы сказать, что великіе сатирики обязательно ничего не понимали. Но это относится уже къ настоящему, а мнѣ хочется досказать о прошедшемъ въ его связи съ настоящимъ. Не понимаетъ исторической роли татарскаго ига или крѣпостного права тотъ, кто, хотя бы досконально изучивъ всѣ причины и слѣдствія этихъ явленій, равнодушно, безъ негодованія слушаетъ раздающуюся по нашимъ селамъ и городамъ подлую матернюю ругань и, по выраженію Гоголя, «ковыряя въ носу», смотритъ на другія наслѣдія того же характера. И негодованіе въ этомъ случаѣ есть не замѣна изслѣдованія,—я говорю лишь о тѣхъ, кто не только морально возмущается руганью, но и знаетъ ея

историческіе корни,—не замѣна изслѣдованія, а нѣчто самостоятельное, свидѣтельствующее, однако, о пониманіи явленія. Такъ называемые «объективисты» постоянно въ этомъ путаются.

Г. Струве, пытающійся опереться и на критическую философію (совершенно напрасно), приводитъ слѣдующія слова Риля: «быть объективнымъ значитъ быть обязательнымъ для каждаго познающаго существа» (objectiv sein heisst für jedes erkennende Wesen gültig sein). Попробуемъ приложить это опредѣленіе къ нашему примѣру и къ вышеприведенному разсужденію объ исторической роли рабства. Объективно можетъ быть установлена причинная связь между подлою руганью и татарскимъ игомъ и послѣдующими событіями русской исторіи; объективно, то-есть «обязательно для каждаго познающаго существа». Прибавка негодованія чисто субъективна и доступна она не для каждаго познающаго существа, а лишь для достигшихъ извѣстнаго нравственнаго уровня. «Объективисты» не хотятъ этихъ прибавокъ, полагая ихъ лишними и даже мѣшающими изслѣдованію. Но что же они сами дѣлаютъ? Цитата о рабствѣ, этотъ, по мнѣнію г. Струве, «классическій примѣръ объективности и историчности», содержитъ въ себѣ фразу: «Поэтому мы имѣемъ право сказать: безъ античнаго рабства не было бы современнаго соціализма». Въ объективномъ смыслѣ это въ такой же мѣрѣ вѣрно, какъ и всякая предположительная причинная связь между двумя произвольно выбранными историческими точками. Во всякомъ случаѣ, если эта связь будетъ фактически установлена, то признаніе ея станетъ «обязательнымъ для каждаго мыслящаго существа». Но обратите вниманіе на другія стороны цитаты. Пока рѣчь идетъ объ томъ, что рабство не подлежитъ нашему нравственному осужденію въ силу его соотвѣтствія съ понятіями и чувствами своего времени,—съ этимъ до извѣстной степени еще можетъ согласиться «каждое познающее существо»; до извѣстной степени, ибо иное познающее существо можетъ припомнить многочисленныя возстанія греческихъ и римскихъ рабовъ, свидѣтельствующія, что и въ свое время не всѣ понятія и чувства одобряли рабство. Но пусть будетъ такъ. Затѣмъ намъ говорятъ, что рабство еще и *потому* не подлежитъ нравственному осужденію, что оно длиннымъ и запутаннымъ путемъ привело къ современному соціализму. Ясно, что это мнѣніе обязательно отнюдь не для «каждаго познающаго существа», а только для соціалиста, при томъ соціалиста-оптимиста, да и то

не всякаго, а лишь, принадлежащаго къ извѣстной школѣ, къ извѣстному толку. При чемъ же тутъ объективизмъ? И, далѣе, при чемъ тутъ «историчность»? Всякая причина производитъ болѣе одного слѣдствія, изъ которыхъ каждое въ свою очередь становится причиною новыхъ слѣдствій и т. д.; слѣдствія эти могутъ въ своемъ дальнѣйшемъ развѣтвленіи, пересѣкать другъ друга, уничтожать, комбинироваться со слѣдствіями другихъ, самостоятельныхъ причинъ. И изъ всей этой сложнѣйшей сѣти выбирается одна черта и совершенно упускаются изъ виду всѣ другія. Поскольку соціализмъ можетъ быть введенъ въ цѣпь причинной связи съ тѣмъ или другимъ явленіемъ отдаленной древности, постольку же связаны съ нимъ и ученія, противоборствующія соціализму. Но возьмемъ какое-нибудь явленіе современной жизни, находящееся внѣ этой борьбы и вообще составляющее общепризнанную язву; возьмемъ проституцію. Положимъ, что намъ удалось доказать съ такою ясностью, что выводъ станетъ обязательнымъ для каждаго познающаго существа. Но что бы мы сказали о человѣкѣ, который на этомъ основаніи утверждалъ бы, что рабство, между прочимъ, потому не подлежитъ нравственному суду, что оно способствовало укрѣпленію и развитію проституціи? Что бы мы о такомъ человѣкѣ ни подумали, но уже навѣрное не признали-бы его вывода обязательнымъ для каждаго познающаго существа. Казалось-бы, въ разсужденіи объ исторической роли рабства вообще, т. е. и первобытнаго, и восточнаго, и греко-римскаго, и средне-вѣковаго, и новѣйшаго американскаго, нельзя упускать изъ виду хоть прямыя-то его слѣдствія, отнюдь не исчезнувшія въ современной Европѣ. По крайней мѣрѣ, англійскій ученый Гальтонъ, на основаніи цѣлой группы научныхъ, біологическихъ данныхъ, приходитъ къ такому заключенію: «Я утверждаю, что слѣпой инстинктъ, развившійся подъ продолжительнымъ вліяніемъ этихъ условій, проникъ въ насъ до мозга костей и служитъ въ настоящее время помѣхой пользованію той свободой, которую способны бы были дать намъ формы современной цивилизаціи» (подробнѣе см. въ моихъ сочиненіяхъ VI, 404). Такъ говоритъ англичанинъ, гражданинъ свободнѣйшей въ мірѣ страны. Почему же въ германской родинѣ экономическаго матеріализма не видятъ этого наслѣдія прошлаго? Разгадка все въ томъ же гегельянствѣ, т. е. на этотъ разъ именно въ философіи, а не въ экономикѣ.

Мы видѣли, какая рѣзкая печать гегельянства лежитъ на экономическомъ матеріализмѣ, не смотря на то, а отчасти именно потому, что онъ представляетъ собою въ извѣстномъ смыслѣ реакцію противъ ученія берлинскаго штатсъ-философа. Это знаетъ, пожалуй, и г. Струве. Онъ говоритъ: «Какъ реакція противъ идеалистической метафизики въ исторической философіи, экономическій матеріализмъ самъ, быть можетъ, носитъ на себѣ нѣкоторую метафизическую внѣшность. Тѣмъ не менѣе, по существу ничего метафизическаго въ немъ нѣтъ» (41). Въ подстрочномъ примѣчаніи къ этому мѣсту г. Струве сообщаетъ: «Иначе смотритъ Зиммель, но онъ иначе, чѣмъ мы, понимаетъ и метафизичность». Я думаю, читатель съ удовольствіемъ отложилъ-бы знакомство съ фактомъ разногласія г. Струве съ Зиммелемъ, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока узналъ бы, какъ именно «понимаетъ метафизичность» г. Струве. Но читатель объ этомъ ровно ничего не узнаетъ, равно какъ и о мнѣніяхъ на этотъ счетъ Зиммеля. Зиммель и г. Струве «иначе понимаютъ»,—и довольно съ васъ. Вполнѣ признавая первенствующее значеніе этого факта въ исторіи философіи, мы вынуждены, однако, обходиться безъ помощи упомянутыхъ двухъ мыслителей; и, лишенные столь цѣннаго руководительства, ограничимся лишь немногимъ, строго необходимымъ для уразумѣнія нѣкоторыхъ, быть можетъ, наиболѣе примѣчательныхъ сторонъ произведенія г. Струве.

«Объективно то, что обязательно для каждаго познающаго существа». Мы согласились съ этимъ положеніемъ, но и оно требуетъ оговорки, ограниченія. Если на Марсѣ есть познающія существа, то весьма вѣроятно, что ихъ объективное весьма рѣзко отличается отъ нашего, и, быть можетъ, объ это обстоятельство разобьются всѣ мечты о междупланетныхъ сношеніяхъ съ жителями Марса. И на землѣ объективный міръ какой-нибудь рыбы или насѣкомаго—существъ въ своемъ родѣ тоже несомнѣнно познающихъ —отнюдь не обязателенъ для человѣка и наоборотъ. Поэтому, строго говоря, рѣчь можетъ идти не о «каждомъ познающимъ существѣ», а только о человѣкѣ, обладающемъ нормальными умственными способностями. Это не придирка, а лишь напоминаніе, что и человѣкъ, этотъ «царь природы», есть существо ограниченное, познанію котораго положены извѣстные предѣлы. Этихъ-то предѣловъ и не признаетъ гордая метафизика: она знаетъ то, чего никто не знаетъ и знать не можетъ, а по-

этому, если сама не совершаетъ, то другимъ рекомендуетъ совершать такія дѣла, которыхъ никто не можетъ сдѣлать. Гегель зналъ сущность вещей, ту всеобщую, основную подкладку міра, которой обыкновенно люди не видятъ за пестрой, многоцвѣтной и многозвучной картиной явленій, доступныхъ опыту и наблюденію: онъ зналъ вещи не такими, какими онѣ намъ кажутся по условіямъ нашей организаціи, а каковы онѣ сами по себѣ. Въ формально логическомъ отношеніи замѣчательно устроенная голова, съ необыкновенной охотою плававшая и нырявшая въ волнахъ «чистой мысли», Гегель и міръ, сущность вещей представлялъ себѣ въ видѣ чистой мысли, Разума, Идеи, ничѣмъ, кромѣ своихъ собственныхъ логическихъ законовъ, не обусловленной. Не только «паденіе царствъ и завоеваній», волновавшія Бѣлинскаго, не только рабство, по адресу котораго негодованіе намъ воспрещается, или капитализмъ на выучку къ которому зоветъ насъ г. Струве, но и «лучи планетъ, пески морей», и «гадъ морскихъ, подводный ходъ, и дольней лозы прозябаніе», и давно погибшіе плезіозавры, и только что открытыя бактеріи, — все, все это только разнообразныя воплощенія единой саморазвивающейся идеи, познавшей, наконецъ, себя въ лицѣ Гегеля; и глядя на міръ съ этой возвышенной точки, мы должны оправдать все, что къ ней привело, ибо путь, приведшій къ ней, есть сама логика, непреклонная, неотвратимая, безошибочная, единственная и благодѣтельная. Да, и благодѣтельная. Какого еще въ самомъ дѣлѣ, съ позволенія сказать, рожна нужно человѣчеству,—и не только человѣчеству, а и всякому познающему существу— если міровая идея, наконецъ, познала себя, если у насъ есть Гегель и его философская система? Правда, на необозримо длинномъ пути, приведшемъ къ этой лучезарной вершинѣ вершинъ, много крови пролито, много стоновъ раздавалось (сообразите сколько, если взять во вниманіе не человѣчество только, но и каждое познающее существо). Но это—пустяки, только видимости, потому что *въ сущности* не люди стонали, молились, проклинали, не царства падали и возникали, а Идея проходила извѣстныя стадіи развитія, подготовляя систему Гегеля...

Эта система была грандіознѣйшимъ въ своемъ родѣ зданіемъ, хотя Шопенгауеръ утверждалъ, что Гегель только тѣмъ и силенъ, что умѣетъ нѣмцевъ за носъ водить. Зданіе это не лишено было даже своеобразной поэзіи, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ Шеллингъ не безъ

основанія говорилъ, что Гегель есть во всѣхъ отношеніяхъ образцовый экземпляръ прозы. Какъ бы то ни было, зданіе, очаровавшее на нѣкоторое время людей, рухнуло; изъ его обломковъ одни, послѣ весьма недолгаго существованія, разсыпались въ прахъ, а нѣкоторые, попавъ въ руки искусныхъ мастеровъ шлифовальщиковъ живутъ и понынѣ. Къ числу такихъ принадлежитъ и экономическій матеріализмъ.

Экономическій матеріализмъ не есть всеобъемлющая философская система, а только обломокъ ея. Воззрѣній его на природу мы, собственно говоря, почти не знаемъ. Насколько можно судить по экскурсіямъ въ эту область въ книгѣ Энгельса противъ Дюринга, онъ примыкаетъ къ естественно-историческому матеріализму, сдабривая его гегельянскою формулою трехстепеннаго развитія: по этой формулѣ и трава растетъ, и геологическія явленія совершаются. Здѣсь вмѣсто духа или идеи наскоро подставляется матерія, на нее кладется гегельянскій штемпель, и тѣмъ дѣло относительно природы кончается, а изслѣдованіе скачкомъ переносится въ область философіи человѣческаго общества. Напримѣръ, Дарвинову теорію Энгельсъ цѣнитъ, какъ противоположность ученію Линнея, какъ одно изъ выраженій идеи развитія, измѣнчивости всего сущаго, но о той роли, которую теорія Дарвина можетъ и должна или не можетъ и не должна играть въ соціологіи,—мы не узнаемъ ничего. Въ экономическомъ матеріализмѣ нѣтъ философской связи между естествознаніемъ и обществознаніемъ, если не считать унаслѣдованнаго отъ Гегеля положенія, что и тамъ и тутъ все происходитъ въ извѣстномъ тройственномъ порядкѣ. Для послѣдовательнаго матеріалиста это немножко мало. (Прошу читателя замѣтить, что упрекъ этотъ я дѣлаю и дальнѣйшее говорю не въ качествѣ матеріалиста; г. Струве называетъ меня субъективнымъ идеалистомъ, а я за кличкой не гонюсь). Затѣмъ, въ обществознаніи Энгельсъ торопится ступить въ слѣды Гегеля, но обернувъ ихъ задомъ напередъ: не идея, не философія, а нѣчто другое, матеріальное составляетъ сущность историческаго процесса и его объясненіе. Но что же именно? Казалось бы, самое матеріальное въ человѣческомъ обществѣ, это—плоть и кровь составляющихъ его членовъ, людей, индивидовъ, т. е. элементъ біологическій, а затѣмъ матеріалистъ могъ бы спуститься еще глубже, въ область, пожалуй, физики и механической теоріи, куда и пробовалъ у насъ

когда-то спуститься г. Жуковскій. Сообразно выбору той или другой изъ этихъ ступеней матеріи, понятіе объ историческомъ процессѣ могло бы получить весьма разнообразный характеръ. Но экономическій матеріализмъ выбралъ нѣчто, стоящее внѣ этихъ ступеней,—не матерію, а переработку матеріи человѣческими руками и ея передачу на извѣстныхъ условіяхъ изъ рукъ въ руки,—производство и обмѣнъ. Послѣдовательный матеріалистъ этимъ удовлетвориться не можетъ. И тѣ, кто думаетъ, что при помощи экономическаго матеріализма найдена самая сущность, самое дно вещей, которое прежде искали при помощи идеализма, жестоко ошибаются: и тогда была яма глубока, и теперь въ ней дна не видно. Мало того, старая философія, хоть бы то же гегельянство, не смотря на свою основную односторонность, пыталась обнять единымъ принципомъ все сущее, а теперь мы имѣемъ лишь осколокъ ея, сугубо односторонне сосредоточивающій наше вниманіе. Тѣмъ не менѣе гордые пріемы старой метафизики вполнѣ усвоены экономическимъ матеріализмомъ.

Съ точки зрѣнія экономическаго матеріализма, какъ и съ точки зрѣнія гегельянства и всякой другой метафизической системы, люди съ ихъ желаніями и страстями, помыслами и цѣлями представляютъ собою нѣкоторое игралище всевластной сущности историческаго процесса. Люди думаютъ, что они находятъ истину и заблуждаются, посягаютъ и достигаютъ или терпятъ пораженіе, любятъ, ненавидятъ страдаютъ, борются, но все это только одна видимость, «поверхность» вещей вообще и исторіи въ частности; *въ сущности* все это только средства для выполненія нѣкотораго общаго плана, предначертаннаго—у Гегеля саморазвивающейся идеей, у Шопенгауера самодовлѣющей, ничѣмъ не обусловленной и все собою обусловливающей міровой Волей, у экономическаго матеріализма самодовлѣющимъ, имманентнымъ развитіемъ формъ производства и обмѣна. «Du greubst zu schieben und du wirst geschoben»—цитируетъ въ одномъ мѣстѣ, по адресу «кучки идеалистовъ», г. Струве ядовитыя слова Мефистофеля. Мефистофель, въ качествѣ неземного созданія, зналъ тайну бытія и потому съ снисходительнымъ презрѣніемъ смотрѣлъ на людскія старанія такъ ли, сякъ ли по своему устроиться на землѣ. Тайну бытія знаютъ и метафизики вообще, и экономическій матеріализмъ, и, наконецъ, г. Струве... Мефистофель и г. Струве!.. О, иронія!

Однако, поощряемый примѣромъ г. Струве, припоминаю рѣчи Мефистофеля и я, но не тѣ, въ которыхъ проявляется его нечеловѣческая натура, а такъ, простыя, хотя и остроумныя рѣчи. Вспоминается мнѣ совѣтъ, данный Мефистофелемъ школяру: «Прежде всего должны вы приняться за метафизику. Тамъ старайтесь глубокомысленно обнять все, что не вмѣщается въ человѣческомъ мозгу». И еще:

Der Philosoph, der tritt herein
Und beweist euch, es müsst so sein:
Das Erst' wär' so, das Zweite so,
Und drum das Dritt' und Vierte so:
Und wenn das Erst' und Zweit' nicht wär',
Das Dritt' und Viert' wär nimmermehr.

Это тоже изъ разговора Мефистофеля со школяромъ и гласитъ по русски такъ: «приходитъ философъ и поучаетъ, что такъ и должно быть: поелику первое таково, а второе таково, то третье и четвертое таково; а если бы не было перваго и второго, то не было бы никогда ни третьяго, ни четвертаго». Такъ именно разсуждалъ Гегель, проводя прямую линію отъ себя, отъ момента созданія его философіи и ея, по его мнѣнію, отраженія въ современныхъ ему прусскихъ порядкахъ - вплоть до неизвѣстнаго начала всѣхъ вещей. Такъ же, въ меньшемъ масштабѣ, разсуждаетъ и экономическій матеріализмъ, проводя прямую линію отъ себя до древняго рабства: все, лежащее на этой прямой линіи, неприкосновенно для нравственнаго суда; ибо все это было, во-первыхъ, исторически необходимо, а во-вторыхъ, служило подготовленіемъ къ *нашему* появленію; въ *насъ*, познавшихъ сущность историческаго процесса, объективное слилось съ субъективнымъ, стихійное стало разумнымъ.

Я не буду распространяться о томъ, что, кромѣ гегельянскаго происхожденія, наложило печать самоувѣреннаго оптимизма на экономическій матеріализмъ. Напомню только, что объявился онъ въ сороковыхъ годахъ,—въ эпоху разнообразныхъ радужныхъ мечтаній, когда такъ многимъ и съ такихъ различныхъ точекъ зрѣнія «на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе» казались дѣломъ завтрашняго дня. Основатели экономическаго матеріализма были въ составѣ этой радуги, но, вооруженные гибкой, на всѣ лады настраивающейся гегельянской діалектикой, они заняли при этомъ такую позицію, съ которой стихійное представляется разумнымъ и

мечта осуществляется сама собой. Отсюда ихъ кажущаяся трезвость или объективизмъ, такъ восхищающій г. Струве. Но я слишкомъ чту другія, не философскія заслуги основателей экономическаго матеріализма, чтобы дольше держать ихъ рядомъ съ г. Струве. Заслуги послѣдняго пока довольно скромны, и начинаетъ онъ свою научно-публицистическую карьеру при условіяхъ, рѣзко отличныхъ отъ тѣхъ, при которыхъ возникъ и окрѣпъ экономическій матеріализмъ на своей родинѣ. Поэтому-то онъ и говоритъ: «пойдемъ на выучку къ капитализму»,—чего никогда не говорили, не говорятъ и не могутъ говорить его учителя. Оставимъ же учителей и остановимся на ученикѣ, хотя намъ придется при этомъ приводить, между прочимъ, и слова учителей, ученикомъ повторяемыя.

«Свобода заключается не въ воображаемой независимости отъ законовъ природы, но въ познаніи этихъ законовъ и въ вытекающей изъ него возможности планомѣрно пользоваться ими для опредѣленныхъ цѣлей» (цитата изъ Энгельса на стр. 64). Это безспорная истина. Но она не при чемъ въ нашихъ съ г. Струве пререканіяхъ: если онъ старается познать законы природы, чтобы планомѣрно пользоваться ими для своихъ опредѣленныхъ цѣлей, то и я, по мѣрѣ силъ и умѣнья, занятъ тѣмъ же для своихъ цѣлей, весьма отличныхъ отъ его цѣлей. Самыя наши цѣли и соотвѣтственные идеалы создаются дѣйствительностью, фактами,—говоритъ г. Струве. Опять безспорная истина, и опять въ нашемъ дѣлѣ никчемная: его идеалы созданы фактами, дѣйствительностью, но и мои вѣдь тоже, и я такой же продуктъ исторической необходимости. Значитъ, на этой почвѣ мы другъ для друга неуязвимы, oleum et operam perdidi,—долженъ съ грустью сказать г. Струве по поводу всѣхъ затратъ на эту тему. Какъ уже выше сказано, ему слѣдовало бы сосредоточить свои силы прежде всего на доказательствѣ того, что сущность историческаго процесса состоитъ въ саморазвитіи формъ производства и обмѣна и что «правовыя и политическія учрежденія, равно какъ религіозныя и философскія и всѣ прочія воззрѣнія каждаго даннаго періода» (46) суть только надстройки на этомъ основаніи. Съ этимъ я буду спорить, равно, какъ съ отрицательной прибавкой къ одной изъ вышеприведенныхъ безспорныхъ истинъ: идеалы создаются дѣйствительностью, фактами, но идеалы *не* создаютъ дѣйствительности.

Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben,—смѣется надъ людьми Мефистофель. Ему хорошо смѣяться. Allwissend bin ich nicht,—говоритъ онъ объ себѣ. Но куда же всетаки мѣряться съ нимъ намъ, простымъ смертнымъ! Мы знаемъ, что подлежимъ, какъ и все на свѣтѣ, закону причинной связи. Но, во-первыхъ, мы не знаемъ той сущности, того общаго, ничѣмъ не обусловленнаго и все обусловливающаго первоначальнаго двигателя, который знаютъ Мефистофель и г. Струве, а во-вторыхъ, не можемъ отдѣлаться отъ мысли, что, пользуясь тѣмъ же закономъ причинной связи, мы можемъ въ свою очередь вліять на ходъ событій, т. е. что мы не только sind geschoben, но и дѣйствительно schieben. Съ какой-нибудь сверхъ-человѣческой точки зрѣнія, на которую человѣкъ и стать не можетъ или, по крайней мѣрѣ, не можетъ сколько-нибудь удержаться, это, можетъ быть, иллюзія, самообманъ, но что же дѣлать, если такова ужъ ограниченная природа человѣка? Мнѣ особенно пріятно сослаться въ этомъ отношеніи на г. Струве. На стр. 55, онъ, повторяющій на стр. 71 насмѣшку Мефистофеля, говоритъ: «Въ томъ указаніи, что люди сознательно преслѣдуютъ извѣстныя цѣли, что въ силу этого они *не могутъ на практикѣ смотрѣть на себя иначе, какъ на дѣятелей прогресса*; что такимъ образомъ извѣстная доктрина laissez faire, laissez passer, съ которой въ лицѣ Спенсера сражается Уордъ, не имѣетъ подъ собой никакой теоретической почвы,—во всемъ этомъ нѣтъ ничего новаго». Зачѣмъ намъ непремѣнно новое! Бываетъ и новое нехорошее и не новое хорошее. Порадуемся же, что обладаемъ хорошимъ, вѣрнымъ. Подчеркнутымъ словамъ г. Струве я придаю такую же высокую цѣну, какъ и его признанію философской необоснованности и фактической непровѣренности экономическаго матеріализма. Итакъ, что бы ни говорилъ Мефистофель и какова бы ни была всевластная сущность историческаго процесса, человѣкъ не можетъ не считать себя дѣятелемъ, двигателемъ, и всякое ученіе, не принимающее этого въ соображеніе «не имѣетъ подъ собой никакой теоретической почвы». Пусть читатель самъ взвѣситъ значеніе этихъ категорическихъ «не можетъ», «не имѣетъ никакой теоретической почвы»—для всего произведенія г. Струве, а я прошу его сопоставить еще слѣдующія двѣ цитаты:

На стр. 55: «Матеріалистическая теорія исторіи вполнѣ объемлетъ и сознательную цѣлесообразную дѣятельность людей; она

только указываетъ на зависимость ея отъ матеріальныхъ экономическихъ условій, выводитъ ее изъ послѣднихъ». — Это — перифраза извѣстнаго положенія о юридическихъ, политическихъ, нравственныхъ и прочихъ воззрѣніяхъ и соотвѣтственныхъ учрежденіяхъ, какъ о надстройкѣ на экономическомъ фундаментѣ. А на стр. 285, въ «заключеніи», возвращаясь къ установленію разницы между своими воззрѣніями и тѣми, съ которыми онъ полемизируетъ, г. Струве говоритъ: «Отсюда—совершенно различная оцѣнка исторической важности нашихъ собственныхъ идей и идеаловъ. Послѣдніе, съ нашей точки зрѣнія, историческая сила *только поскольку* они необходимое порожденіе процесса экономическаго развитія, который самъ всегда происходитъ «на достаточномъ основаніи» и представляетъ собою коллективное творчество, въ конечномъ счетѣ носящее такой же стихійный, а потому и закономѣрный характеръ, какъ и всѣ другія измѣненія въ окружающемъ насъ мірѣ».

Я подчеркнулъ слова «только поскольку» не для того, чтобы обратить вниманіе на ихъ какофонію, а чтобы отмѣтить то ограниченіе, которое накладывается ими на теорію экономическаго матеріализма. Значитъ, не цѣликомъ на экономическомъ фундаментѣ покоятся наши «идеи и идеалы». И это, конечно, совершенно вѣрно. Взять хоть бы идеи и идеалы г. Струве Ему конечно, хочется думать, что они составляютъ «историческую силу» и необходимое порожденіе нашего экономическаго развитія. Послѣднее до извѣстной степени вѣрно. У всякой возникающей силы, — а нашъ капитализмъ, хотя и съ великимъ трудомъ, съ выпрашиваніемъ высокихъ и запретительныхъ тарифовъ и всякаго рода матеріальныхъ и нематеріальныхъ субсидій, становится силой,—являются пособники, прислужники, какъ въ практической, такъ и въ теоретической области. Это вѣчно повторяющаяся исторія, но я не хочу думать, что г. Струве, хотя и призывающій насъ «на выучку къ капитализму», сознательно играетъ роль въ этой исторіи. Его идеи и идеалы представляются мнѣ необходимымъ порожденіемъ его психо - физіологической организаціи, быстро и съ увлеченіемъ воспринимающей чужія теоріи, которыя отпечатлѣваются въ его мозгу, какъ печать на сургучѣ; затѣмъ идетъ вліяніе нашей нынѣшней пустопорожней общественной атмосферы и т. д.,—я, разумѣется, говорю только предположительно. Какъ «историческая сила», г. Струве подлежитъ изслѣ-

дованію историческому, которымъ будущій историкъ, конечно, и займется...

Человѣкъ на практикѣ не можетъ смотрѣть на себя иначе, какъ на дѣятеля, двигателя. Мы съ г. Струве ничтожныя величины въ нашей общественной жизни, но и мы дѣятели, двигатели не только въ кругу непосредственно соприкасающихся маленькихъ житейскихъ дѣлишекъ, но и въ смыслѣ вліянія на умы читателей. Поэтому намъ свойственны и чувство отвѣтственности за свою дѣятельность, и выработка извѣстныхъ мотивированныхъ правилъ поведенія. Какія же правила поведенія преподаетъ намъ г. Струве? Въ дѣлѣ изслѣдованія, изученія, онъ рекомендуетъ какъ мы видѣли, объективизмъ, а для житейской практики его кодексъ исчерпывается однимъ правиломъ: пойдемъ на выучку къ капитализму. Если подъ объективизмомъ разумѣть добросовѣстность, полноту, фактическую достовѣрность изслѣдованія, то это и удобоисполнимое, и прекрасное правило, и нужно только желать, чтобы самъ г. Струве ему слѣдовалъ. Но въ понятіе объективизма г. Струве вкладываетъ еще свою ненависть или свое презрѣніе къ личному началу, и это обстоятельство тѣсно связано съ его призывомъ на выучку къ капитализму.

«Мышленіе возможно только, какъ соціальное,—говоритъ г. Струве, истина есть представленіе рода, заблужденіе—представленіе индивидуума, нравственной нормой для индивидуума *въ общемъ* (курсивъ г. Струве) является то, что представляетъ фактическую норму для соціальной группы» (35). И далѣе: «Ничто въ такой мѣрѣ не характеризуетъ современную *научную этику* (курсивъ г, Струве), какъ именно матеріализмъ (или реализмъ), выражающійся въ сведеніи содержанія нравственности къ типически соціальному поведенію» (43). Это выраженіе до такой степени не ясно, не точно, не полно, что я рѣшительно затрудняюсь отвѣтить, напримѣръ, на такой вопросъ: весь родъ человѣческій убѣжденъ, что солнце вращается вокругъ неподвижной земли; одинъ Галилей (конечно, не буквально одинъ) думаетъ иначе; значитъ ли это, что представленіе рода есть въ данномъ случаѣ истина, а представленіе индивидуума—заблужденіе? Или, обращаясь къ нравственной нормѣ: взяточничество составляло «фактическую норму для соціальной группы» русскаго чиновничества добраго стараго времени; одинъ, положимъ, герой «Большой медвѣдицы» Багрянскій (опять-таки, конечно, не буквально

одинъ) находитъ взяточничество безнравственнымъ, за что и терпитъ все, что ему въ романѣ полагается; значитъ ли это, что онъ нравственно заблуждается, а вся соціальная группа обрѣла нравственную истину? Я не знаю, какъ надо отвѣчать на эти вопросы; мнѣ хорошо извѣстно, что взяточничество въ свое время большинствомъ не считалось постыднымъ и соединялось даже съ семейными добродѣтелями («ребятишкамъ на молочишко»), но другія соціальныя группы, подвергавшіяся поборамъ, держались на этотъ счетъ иного мнѣнія, и я не знаю, какъ приложить сюда предписаніе объективности, какъ пригодности для всякаго познающаго существа. Г. Струве не согласенъ съ поговоркой—сколько головъ, столько умовъ, и я его понимаю. Но онъ хочетъ замѣнить это изрѣченіе другимъ: сколько соціальныхъ группъ, столько и умовъ, и нравственностей, и я нахожусь въ затрудненіи. Я вижу множество разнообразныхъ соціальныхъ группъ, различіе которыхъ, мимоходомъ сказать, основывается не только на экономикѣ, но и на началахъ родства, національности, вѣроисповѣданія, политическаго значенія. Вижу, напримѣръ, соціальную группу, называемую французами и исповѣдующую ненависть къ нѣмцамъ, какъ нравственный долгъ; не смотря на то, что этотъ параграфъ кодекса французской нравственности выросъ изъ дѣйствительности, фактовъ и имѣетъ не личный, а групповой характеръ, я не могу признать его обязательнымъ для каждаго познающаго существа. Этика соціальной группы рабовладѣльцевъ не можетъ быть обязательною для соціальной группы рабовъ и т. д. и т. д. Такимъ образомъ, объективизмъ, какъ свойство групповой нравственности, есть чистѣйшій миѳъ. И не объ объективизмѣ г-на Струве можетъ идти рѣчь, а объ томъ—какой соціальной группы является онъ представителемъ и выразителемъ.

«Тѣмъ,—говоритъ г. Струве,—кто указываетъ на историческую необходимость капиталистическаго процесса, обыкновенно въ нашей литературѣ приписывается нелѣпое стремленіе обезземелить массу русскихъ крестьянъ и per fas et nefas насадить капитализмъ», но, продолжаетъ г. Струве, это клевета. Г. Струве и его единомышленники утверждаютъ только, что фактическое обезземеленіе извѣстной—пока неизвѣстно какой—части крестьянства неизбѣжно, и этотъ процессъ явится развитіемъ капитализма. Какъ видите, г. Струве объективенъ, — онъ только провидитъ событія (275). Однако въ то же время онъ считаетъ и обезземе-

леніе, и развитіе капитализма полезнымъ, нужнымъ, ведущимъ ко всеобщему благополучію. При этомъ его умственное око любуется далекимъ зрѣлищемъ, въ которомъ безземельный крестьянинъ есть только частность. Если бы какая-нибудь комбинація, оторвавъ крестьянина отъ земли, устроила его самостоятельнымъ производителемъ въ обработывающей промышленности, г. Струве былъ бы огорченъ. «Экономическая самостоятельность производителя» вообще ему претитъ. Съ наивностью правовѣрнаго послѣдователя Корана онъ говоритъ, что если этотъ «идолъ» (173) будетъ признанъ идеаломъ, то «всѣ выводы, сдѣланные (основателями экономическаго матеріализма) изъ капиталистическаго процесса, теряютъ всякій смыслъ и всякое обаяніе» (168). Какъ будто это убѣдительный аргументъ для тѣхъ, кто въ Коранъ не вѣритъ!

Такимъ образомъ, ближайшій идеалъ г. Струве—идеалъ, а не только историческая необходимость—чисто отрицательнаго свойства: разрушеніе и недопущеніе экономической самостоятельности производителя. Это отнюдь не личный идеалъ г. Струве,—Боже сохрани, онъ таковыхъ не имѣетъ, его «мышленіе соціально» и выражаетъ собою исторически необходимую тенденцію соціальной группы. Есть у насъ, однако, обширная соціальная группа, для которой ненавистный г-ну Струве идолъ экономической самостоятельности есть настоящій, животрепещущій идеалъ. Обойдите всю Россію, опросите милліоны производителей—все равно, общинниковъ, подворныхъ, батраковъ, арендаторовъ—и вы убѣдитесь, что ихъ хозяйственный идеалъ есть именно экономическая самостоятельность. Идеалъ этотъ выросъ непосредственно на исторически необходимой экономической почвѣ, какъ ея исторически необходимый продуктъ. Онъ движетъ, напримѣръ, переселенческія волны въ Сибирь, на Кавказъ, и этотъ процессъ, говоря словами г. Струве по другому поводу,—«происходитъ на достаточномъ основаніи и представляетъ собою коллективное творчество, въ конечномъ счетѣ носящее такой же стихійный, а потому и закономѣрный характеръ, какъ и всѣ другія измѣненія въ окружающемъ насъ мірѣ».

Что касается русскаго капитализма, какъ соціальной группы, то онъ, можетъ быть, и признаетъ г. Струве своимъ отраженіемъ и выраженіемъ. Часть этой группы въ отвѣтъ на призывъ на выучку къ капитализму, по своему патріархальному невѣжеству,

скажетъ пожалуй: не надо намъ тебя, еще грѣха съ тобой наживешь! Но другая часть будетъ рада взять къ себѣ на выучку способныхъ людей, хотя бы и съ камнемъ за пазухой. Камень этотъ состоитъ въ томъ, что капитализмъ есть историческая категорія, которая уступитъ съ теченіемъ времени мѣсто иному строю. Но вѣдь улита ѣдетъ, когда-то будетъ! Когда-то еще она доползетъ до послѣдняго термина гегелевской тріады, да и такъ ли оно вообще будетъ, а пока погрѣть руки можно...

Единомышленники г. Струве должны, по крайней мѣрѣ, вдуматься въ ожидающее ихъ положеніе. Оно указывается разсужденіями автора на тему: капитализмъ не только зло, но и историческая необходимость. Иначе говоря, капитализмъ не только историческая необходимость, но и зло. Поэтому-то г. Струве «вовсе не желаетъ ни идеализировать капиталистическій строй, ни быть его адвокатомъ» (159). Итакъ, онъ приглашаетъ насъ въ такое мѣсто, защищать которое онъ не можетъ, и служить злу, потому что оно необходимо. Людямъ толстокожимъ и лицемѣрамъ легко устроиться въ этомъ положеніи, но для другихъ оно трудно выносимо по той раздвоенности, на которую оно ихъ обрекаетъ. Нельзя не пожалѣть, что г. Струве, съ такими пропусками и извращеніями очертившій ту литературу, съ которою онъ полемизируетъ, оставилъ уже безъ всякаго вниманія ту, которая уже давно приглашаетъ на выучку къ капитализму, только безъ всякаго камня за пазухой. Въ 70 годахъ эта струя была очень сильна въ нашей либеральной литературѣ, и вотъ что я писалъ по этому поводу, пораженный нѣкоторыми явленіями нашей журналистики.

Колесо національнаго богатства только что начинаетъ вертѣться въ Россіи, и при томъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Во-первыхъ, огромная часть производительныхъ силъ страны находится въ рукахъ народа, т. е. трудящихся классовъ. Значитъ, для созданія національнаго богатства по программѣ отечественной журналистики надо отодрать громаду народа отъ земли и орудій производства. Во-вторыхъ, отодраніе это надо производить сознательно, потому что прислушиваемся же мы къ тому, что дѣлается и дѣлалось въ Европѣ; знаемъ же мы, что національное богатство есть нищета народа. Въ-третьихъ, отодраніе должно быть произведено въ пользу лицъ и интересовъ еще не существующихъ, а только имѣющихъ образоваться самымъ процессомъ отодранія. Сознательное, но безцѣльное преступленіе—вотъ что приходится дѣлать современной журналистикѣ при нынѣшнемъ ея направленіи. Что можетъ быть ужаснѣе такой задачи, такого положенія. И мудрено ли, что эти люди ходятъ и пишутъ, какъ

тѣни, что грозный приговоръ потомства, подсказываемый имъ по временамъ совѣстью, связываетъ имъ языкъ и руки, отгоняетъ образы отъ воображенія, мысли отъ разума.

Если все это фатально, исторически необходимо, то признайте же фактъ, необходимый фактъ раздвоенности со всѣми его послѣдствіями, будьте «объективны».

Г. Струве обѣщаетъ, что изъ необходимаго зла проистечетъ необходимое добро. И это—на основаніи теоріи, по его собственному показанію, философски не обоснованной и фактически непровѣренной. Струве указываетъ, что «вся современная матеріальная и духовная культура тѣсно связана съ капитализмомъ: она выросла или вмѣстѣ съ нимъ или на его почвѣ». Я уже говорилъ объ этомъ по поводу древняго рабства. Теперь подчеркну только одно: анархизмъ, какъ послѣднюю черту современной матеріальной и духовной культуры. Полстолѣтія тому назадъ родился экономическій матеріализмъ и пообѣщалъ «обобществленіе». Въ то же самое время Максъ Штирнеръ, о которомъ я писалъ недавно, возсталъ противъ всякаго общества во имя личности, во имя даже простого своего *я*. Но обобществленіе казалось такъ близкимъ, что надъ Максомъ Штирнеромъ только посмѣялись и немедленно забыли его. Прошло полвѣка, и идеи Штирнера въ новомъ убранствѣ получили огромный успѣхъ въ лицѣ Фридриха Ничше. Вмѣстѣ съ тѣмъ, личность, которую такъ презираетъ г. Струве и хочетъ совсѣмъ со счетовъ скинуть, не обобществленная, озлобленная, въ лицѣ анархистовъ непредвидѣнно нарушаетъ стройное теченіе дѣлъ по тремъ гегелевскимъ стадіямъ...

XV *).

Еще о Фридрихѣ Ничше.

Въ 1872 году появилось сочиненіе Фридриха Ничше «Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik», оригинальность котораго была, между прочимъ, отмѣчена Ланге въ «Исторіи матеріализма». Затѣмъ Ничше опубликовалъ «Unzeitgemässe Betrachtungen» (1873—1876 г.), «Menschliches, Allzumenschliches», «Morgenröthe», «Die fröhlige Wissenschaft», «Also sprach Zarathustra». Послѣднее изъ названныхъ сочиненій (за которымъ

*) 1894, ноябрь.

слѣдовали еще другія), не безъ основанія считаемое многими главнымъ произведеніемъ Ничше, чрезвычайно оригинальное можно сказать, кричащее по формѣ и содержанію, появилось первымъ изданіемъ въ 1884 г. Но настолько еще Ничше былъ въ то время неизвѣстенъ, что въ 13-мъ изданіи Энциклопедическаго словаря Брокгауза его имени нѣтъ ни въ 12-мъ томѣ (1885 г.), гдѣ ему слѣдовало бы быть по алфавиту, ни въ дополнительномъ (1887 г.). Мы, русскіе, услыхали о немъ настолько поздно, что еще въ 1890 г. переводчикъ «Исторіи новой философіи» Ибервега-Гейнце, г. Колубовскій, въ указателѣ личныхъ именъ къ названной книгѣ упоминалъ, какъ двухъ разныхъ писателей, «Ф. Нитче» и «Ф. Ниче». Но уже въ 1892 и 1893 г. московскій философскій журналъ «Вопросы философіи и психологіи» счелъ нужнымъ въ нѣсколькихъ статьяхъ (гг. Преображенскаго, Лопатина, Грота, Астафьева) болѣе или менѣе обстоятельно познакомить читателей съ воззрѣніями Ничше. И, судя по нѣкоторымъ признакамъ, статьи эти (въ особенности г. Преображенскаго) возбудили большое вниманіе. Мало того, какъ извѣстно читателямъ «Русскаго Богатства» изъ статьи М. А. Протопопова о послѣднемъ романѣ г. Боборыкина, этотъ юркій беллетристъ успѣлъ уже изобразить русскаго начшеанца, правда, вкривь и вкось толкующаго ученіе учителя; и, можетъ быть, это не вполнѣ изобрѣтеніе г. Боборыкина, а есть въ немъ нѣчто и отъ подлинной жизни. Въ фельетонѣ одной провинціальной газеты («Минскаго Листка») я прочиталъ указаніе на распространеніе у насъ неправильно понимаемыхъ идей Ничше. Нѣкоторыя полученныя мною письма ясно говорятъ о томъ же. О Европѣ, въ особенности о Германіи, нечего и говорить. Цитируемый Максомъ Нордау («Entartung») Гуго Каацъ утверждаетъ, что «духовный посѣвъ» Ничше даетъ обильные всходы и что нынѣ рѣдко можно встрѣтить статьи на философскую тему безъ упоминанія о Ничше. Это немножко много; но достовѣрно, что о недавно еще мало кому извѣстномъ мыслителѣ существуетъ уже цѣлая литература и цитированный г. Протопоповымъ сотрудникъ «Вѣстника Европы» едва-ли правъ, утверждая, что идеи Ничше имѣли (а не имѣютъ?) только succès de surpise.

Ученики Ничше считаютъ его звѣздой первой величины, а его сочиненія «священнѣйшими изъ священныхъ книгъ». Съ другой стороны, Нордау объявляетъ его однимъ изъ типичныхъ де-

кадентовъ и просто сумасшедшимъ. Тотъ же Нордау не находитъ достаточно сильныхъ словъ для хулы на самое изложеніе Ничше, тогда какъ, напримѣръ, г. Преображенскій говоритъ: афоризмы Ничше «поражаютъ силою и гибкостью своего языка, изумительнымъ мастерствомъ въ передачѣ самыхъ неуловимыхъ и капризныхъ оттѣнковъ мыслей и настроеній, и изяществомъ своей формы, то пластической и словно вычеканенной, то звучной и выразительной, какъ музыка. Книги лучшаго періода Ничше представляютъ, конечно, лучшіе образцы нѣмецкой прозы, не исключая Гете и Шопенгауера» *).

Есть доля правды въ этихъ столь противоположныхъ и слишкомъ категорическихъ мнѣніяхъ.

Что Ничше кончилъ душевною болѣзнью, которая его и прежде посѣщала, это фактъ общеизвѣстный, отражавшійся, конечно, и на изложеніи, и на самомъ ходѣ его мыслей. Въ сочиненіяхъ его, рядомъ съ строго логическимъ и тонкимъ анализомъ, можно встрѣтить странные, почти невѣроятные скачки мысли и даже просто очевидный вздоръ, точно такъ же, какъ рядомъ съ блестящими, художественными страницами—безсильное, пухлое многословіе съ непріятно вычурными оборотами рѣчи. Мы не будемъ приводить здѣсь образцы того и другого, и удовольствуемся тѣми, какіе намъ окажутся нужны ниже, при изложеніи ученія Ничше. Замѣтимъ здѣсь только, что если вообще неудобенъ девизъ русскихъ читателей—«все или ничего», то относительно Ничше онъ совсѣмъ никуда не годится, хотя бы уже потому, что его сочиненія кишатъ противорѣчіями. Что касается душевной болѣзни, то преданные ученики стараются всячески затереть или замять значеніе этого печальнаго факта. Но не говоря уже о фактической сторонѣ дѣла, преданные ученики упускаютъ изъ виду нѣкоторыя сооб-

*) Самъ Ничше, въ своемъ горделивомъ безуміи, объявляетъ себя «первымъ изъ нѣмецкихъ мастеровъ» въ афоризмахъ, а о «Заратустрѣ» говоритъ: «Я далъ человѣчеству глубочайшую книгу, какою оно только обладаетъ,—моего «Заратустру». Онъ прибавляетъ: «Я дамъ ему скоро и самую независимую» («Götzen-Dämmerung» 1889, стр. 129). Подъ этой «самой независимой» книгой надо, повидимому, разумѣть «Umwerthung aller Werthe», первую часть которой Ничше успѣлъ написать, но она еще не издана до сихъ поръ (см. предисловіе самого Ничше къ «Götzen-Dämmerung» и предисловіе издателя ко второму изданію рѣчей Заратустры).

раженія самого учителя о «значеніи сумасшествія въ исторіи нравственности».

Такъ озаглавленъ одинъ изъ параграфовъ (14-й) книги «Morgenröthe». Тамъ, между прочимъ, читаемъ: «Почти всегда именно сумасшествіе прокладывало путь новымъ мыслямъ и перебивало пути уважаемыхъ обычаевъ и суевѣрій. Понимаете ли вы, почему это должно было быть дѣломъ сумасшествія? Зачѣмъ въ голосѣ и жестахъ нѣчто грозное и непредвидимое, какъ демоническія причуды погоды или моря, и потому столь же достойное ужаса и наблюденія? Нѣчто, какъ судороги и пѣна эпилептика, столь явственно непроизвольное и заставляющее видѣть въ больномъ отраженіе и отзвукъ божества? Нѣчто, самому носителю новой мысли внушающее уваженіе къ себѣ, отгоняющее всѣ угрызенія совѣсти и обращающее его въ пророка и мученика новой мысли?» Далѣе Ничше говоритъ о тѣхъ искусственныхъ пріемахъ, которыми достигается душевное разстройство разныхъ чародѣевъ и чудодѣевъ у дикарей и въ средніе вѣка въ Европѣ.

Въ числѣ этихъ искусственныхъ пріемовъ любопытно отмѣтить удаленіе въ пустыню, уединеніе. А едва ли найдется еще писатель, который такъ часто и въ такихъ пламенныхъ выраженіяхъ восхвалялъ бы уединеніе, какъ Ничше, и это не было пустое слово: изъ его біографіи извѣстно, что онъ не на словахъ только, а и на дѣлѣ любилъ уединеніе. Такимъ образомъ, преданнымъ ученикамъ нѣтъ надобности затушевывать значеніе душевной болѣзни учителя: по его собственной теоріи (совпадающей съ извѣстной теоріей «маттоидовъ» Ломброзо), новые пути къ истинѣ пролагаются душевно больными...

Правда, возвращаясь отчасти къ той же темѣ въ § 66 той же Morgenröthe, Ничше рекомендуетъ не вѣру, а осторожность по отношенію къ «полуразстроеннымъ, фантастическимъ, фанатическимъ, такъ называемымъ геніальнымъ людямъ». Но преданные ученики могутъ игнорировать этотъ совѣтъ относительно учителя, которому, дескать, душевная болѣзнь не помѣшала открыть и указать новые пути къ истинѣ.

Преданнымъ ученикамъ нѣтъ надобности протестовать и противъ слова «декадентъ»,—учитель самъ себя такъ называлъ. Въ предисловіи къ «Der Fall Wagner» онъ писалъ: «Какое первое и послѣднее требованіе философа по отношенію къ самому себѣ? Оно заключается въ побѣдѣ надъ своимъ вѣкомъ, въ по-

становкѣ себя «внѣ вѣка». Противъ кого онъ долженъ выдержать самую тяжкую борьбу? Противъ того, въ комъ онъ узнаетъ самого себя, какъ сына своего вѣка. Вотъ почему я, какъ и Вагнеръ, сынъ вѣка, т. е. *декадентъ*. Съ той только разницей, что я это сознаю и отъ этого защищаюсь. Угрожающей мнѣ опасности противится заключенный во мнѣ философъ. Что меня въ сущности больше всего занимало—такъ это проблема декадентства. Для этого я имѣю свои основанія. Вопросъ о «добрѣ» и «злѣ» есть не что иное, какъ только варьяція этой проблемы. Если мы будемъ имѣть общій взглядъ на симптомы декадентства, тогда станетъ понятнымъ смыслъ морали... Для того, чтобы выполнить такого рода задачу, мнѣ была необходима извѣстнаго рода выдержка; мнѣ надо было объявить войну всему, что было во мнѣ больного, включая туда и Вагнера и Шопенгауера, и всю современную «гуманность»; мнѣ надо было изолироваться, сдѣлаться на нѣкоторое время индифферентнымъ ко всему, овладѣть собою въ виду всѣхъ вѣяній вѣка, всѣхъ удобствъ его»*).

Итакъ, самъ Ничше считаетъ себя декадентомъ, правда, «выздоровѣвшимъ», какъ онъ говоритъ вслѣдъ за приведенными словами. Правда и то, что Ничше понимаетъ декадентство очень своеобразно и, на иной взглядъ, онъ сталъ декадентомъ какъ разъ въ то время, когда, по его мнѣнію, онъ «выздоровѣлъ». Во всякомъ случаѣ своеобразно понимаемая «проблема декадентства», дѣйствительно, составляетъ если не центръ, то одинъ изъ важнѣйшихъ центровъ всѣхъ умственныхъ интересовъ Ничше. И, принявъ ее за таковой, можно съ удобствомъ оріентироваться въ кругѣ наиболѣе любопытныхъ идей Ничше. Удобство это, однако, весьма относительное.

Лишь немногія изъ сочиненій Ничше изложены въ систематическомъ порядкѣ. Большинство представляетъ собою рядъ отрывковъ, иногда логически связанныхъ между собою, а иногда безъ всякой связи, иногда сжатыхъ въ форму афоризма, иногда распространенныхъ въ отдѣльныя законченныя статьи, при чемъ авторъ часто не стѣсняется ставить рядомъ разсужденія о предметахъ, не имѣющихъ между собою ничего общаго. Мѣстами получается нѣчто въ родѣ записной книжки, куда авторъ заноситъ

*) Пользуюсь для этой цитаты переводомъ журнала «Артистъ» (1884 г. августъ, «Вагнеріанскій вопросъ»).

свои мысли въ томъ случайномъ безпорядкѣ, какъ онѣ ему приходятъ въ голову. Эта пестрота и отрывочность нѣкоторыхъ писаній Ничше, придавая имъ своего рода красоту жизненности, не представляютъ, однако, удобства для читателя, желающаго уяснить себѣ характернѣйшія черты писателя, въ особенности такого, какъ Ничше.

Авторъ предисловія ко второму изданію «Also sprach Zarathustra», одинъ изъ пламеннѣйшихъ учениковъ, нѣкто Петеръ Гастъ, замѣчаетъ, между прочимъ: «Духовная личность Ничше есть первое и основное въ каждой его фразѣ; вся блестящая работа его мысли была лишь выраженіемъ движеній этой великой души и точно также въ другихъ онъ прежде всего цѣнилъ мощь настроенія. Ему нужны были люди, а не головы только. Онъ стремился не столько къ тому, чтобы понять міръ, сколько къ тому, чтобы преобразовать его. Философія есть для него нѣчто безконечно большее, чѣмъ просто наука,—прежде всего дѣло смѣлаго импульса. Философъ не просто созерцатель, наблюдатель и обобщитель, а законодатель и повелитель во всѣхъ областяхъ личной и общественной жизни—такова мысль Ничше». И далѣе: «Подобно азіатскимъ основателямъ религій, онъ чувствовалъ себя воплощеніемъ воли къ возвышенію человѣчества, онъ фактически былъ такимъ воплощеніемъ. Не знавшимъ его нельзя даже и представить себѣ человѣка, подобнаго ему среди нашей показной и мелочной культуры. Это былъ *необходимый* человѣкъ, *рѣшеніе* судебъ человѣчества». Непомѣрныя преувеличенія очень обыкновенны въ устахъ пламенныхъ учениковъ. Но вѣрно, что если самъ Ничше и не былъ тѣмъ мыслителемъ-дѣятелемъ, учителемъ-вождемъ, какимъ хотѣлъ бы быть, то идеалъ его былъ именно таковъ. Онъ очень далекъ отъ того типа философа, которому соотвѣтствуютъ слова «міровоззрѣніе» или «міропониманіе», «міроразумѣніе». Его задачу составляло прежде всего «міровоздѣйстіе» въ извѣстномъ смыслѣ и не при помощи только мысли, логики, направленной на мысль же читателей или слушателей. Онъ и самъ не исключительно мыслью работалъ, а напрягался всѣмъ существомъ своимъ, и на аудиторію свою хотѣлъ дѣйствовать возбужденіемъ въ ней не мысли только, а и чувства, и воли, вслѣдствіе чего не стѣснялся никакими литературными формами. «Also sprach Zarathustra» представляетъ собою художественное произведеніе, герой котораго, дѣйствуя въ неизвѣстное время и при совершенно фантастическихъ условіяхъ, излагаетъ

мысли Ничше то въ видѣ притчи, то въ видѣ афоризма, а то и въ видѣ болѣе или менѣе стройнаго логическаго трактата. Съ другой стороны, даже наиболѣе систематическія и законченныя сочиненія Ничше переполнены отклоненіями не только логическаго, но и страстнаго характера. Все это необыкновенно усложняетъ дѣло извлеченія изъ писаній Ничше его основныхъ идей. Краткости ради и по другимъ соображеніямъ мы оставимъ въ сторонѣ всѣ тѣ воззрѣнія Ничше, въ которыхъ онъ ничѣмъ не выдѣляется или мало чѣмъ выдѣляется изъ общаго тона современной философской мысли.

Читатель благоволитъ припомнить наши недавнія бесѣды о «Выдающейся женщинѣ» г. Ардова и «Преступленіи и наказаніи» Достоевскаго и потомъ о Максѣ Штирнерѣ. Мы видѣли тамъ сиротъ, людей, осужденныхъ разными обстоятельствами на нравственное одиночество и сопряженныя съ нимъ невзгоды, и дошедшихъ, благодаря этому, до полнаго отрицанія всякихъ формъ общежитія, реальныхъ и идеальныхъ, и всякихъ нравственныхъ обязательствъ. Мы видѣли, однако, далѣе, что Максъ Штирнеръ, собственно говоря, своей книги не дописалъ и что, по справедливому замѣчанію Ланге, къ этой разрушительнѣйшей книгѣ могла бы быть приписана вторая, положительная часть во славу какихъ-нибудь нравственныхъ и общественныхъ идеаловъ. Что же касается «выдающейся женщины» г. Ардова и Раскольникова Достоевскаго, то они уже рядомъ со своимъ всесокрушающимъ отрицаніемъ ставятъ извѣстный нравственно-политическій идеалъ, а именно какое-то общежитіе, въ которомъ они, «выдающіеся», «необыкновенные» и т. п. люди повелѣваютъ и живутъ «во вся», а всѣ прочіе повинуются.

Достойно вниманія, что Ничше зналъ и высоко цѣнилъ Достоевскаго. Въ 1886 г. въ предисловіи ко второму изданію «Menschliches, Allzumenschliches» онъ писалъ: «Гдѣ теперь есть психологи? навѣрное, во Франціи, *можетъ быть*, *въ Россіи*, но навѣрное, ихъ нѣтъ въ Германіи». А въ 1888 г. въ «Götzen-Dämmerung»*)

*) Надо замѣтить, что Ничше любитъ вычурныя заглавія. „Götzen-Dämmerung" и само по себѣ довольно претенціозное заглавіе, но оно имѣетъ еще прибавку „oder wie man mit dem Hammer philosphirt". „Menschliches, Allzumenschliches" называется еще „ein Buch für freie Geister." „Also sprach Zarathustra"—„ein Buch für Alle und Keinen". „Jenseits fon Gut und Böse"—„Vorspiel einer Philosophie der Zukunft" и т. п.

онъ говоритъ уже о Достоевскомъ. Рѣчь идетъ (стр. 120) о преступникахъ. «Въ возникающей при этомъ проблемѣ,—пишетъ Ничше,—важно свидѣтельство Достоевскаго, мимоходомъ сказать, единственнаго психолога, у котораго я нашелъ чему поучиться; онъ принадлежитъ къ числу счастливѣйшихъ случайностей моей жизни, больше даже, чѣмъ Стендаль. Этотъ глубокій человѣкъ, десять разъ правый въ своей низкой оцѣнкѣ поверхностныхъ нѣмцевъ, получилъ отъ сибирскихъ каторжниковъ, тяжкихъ преступниковъ, которымъ уже нѣтъ возврата въ общество, впечатлѣніе для него самого неожиданное; они оказались какъ бы вырѣзанными изъ лучшаго, самаго твердаго и цѣннаго дерева, какое только растетъ на русской землѣ». Духовныя физіономіи Ничше и Достоевскаго въ общемъ до такой степени различны, что если бы Ничше зналъ всего Достоевскаго, а не только, повидимому, «Мертвый домъ», то, конечно, усмотрѣлъ бы въ его писаніяхъ совсѣмъ иныя стороны и иные окончательные выводы Тѣмъ не менѣе, у этихъ двухъ столь различныхъ людей есть нѣчто общее, по крайней мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, что оба они съ чрезвычайнымъ, особливымъ интересомъ относятся къ однимъ и тѣмъ же вопросамъ. Тамъ, гдѣ Ничше ставитъ плюсъ, Достоевскій ставитъ въ большинствѣ случаевъ минусъ, и—наоборотъ, но оба знаютъ эти плюсы и минусы, оба ими до высшей степени заинтересованы, считая относящіеся сюда вопросы важнѣйшими, какіе только могутъ представиться человѣческому уму. Высокій интересъ представило бы сопоставленіе всѣхъ взглядовъ того и другого, но мы не возьмемъ на себя этой обширной задачи, такъ какъ заранѣе отказались отъ разсмотрѣнія извѣстной части философскаго багажа Ничше. Но въ той области, которую мы себѣ отмежевали, нельзя не отмѣтить поразительнаго сходства разсужденій и самого хода мысли Ничше, хотя бы въ вышеупомянутыхъ страницахъ «Götzen Dämmerung», посвященныхъ преступленію и преступникамъ, съ тѣмъ, что Достоевскій влагаетъ въ уста Раскольникову. Мы къ этому еще вернемся.

Раскольниковъ лѣтъ за пятнадцать, за двадцать до Ничше излагалъ свои мысли о преступленіи и преступникахъ, о необыкновенныхъ людяхъ и двоякой морали. Значитъ, Достоевскій вполнѣ независимъ отъ Ничше. Съ другой стороны, если даже предположить, что Ничше зналъ «Преступленіе и наказаніе»,—а за это ручаться нельзя и скорѣе можно думать, что не зналъ,—

то невѣроятно всетаки, чтобы онъ отсюда получилъ толчекъ для своей мысли: слишкомъ эта мысль, не смотря на разныя противорѣчія и отклоненія, закончена и развита въ подробностяхъ, чтобы проистекать изъ случайнаго знакомства съ переводнымъ романомъ. Что касается Макса Штирнера, то въ сочиненіяхъ Ничше я не нашелъ какого-нибудь указанія на его книгу, не встрѣчалъ и стороннихъ указаній на прямо преемственную связь между забытымъ авторомъ «Der Einzige und sein Eigenthum» и много шумящимъ Ничше, хотя идейное сходство ихъ отмѣчается очень часто и даже нѣсколько преувеличенно.

Возьмемъ изъ разныхъ сочиненій Ничше нѣсколько выдержекъ, выражающихъ наиболѣе характерныя общія его идеи въ той области, которая насъ въ его сочиненіяхъ интересуетъ.

«Добродѣтели человѣка считаются хорошими по отношенію не къ тѣмъ слѣдствіямъ, которыя онѣ для него самого имѣютъ, а по отношенію къ тѣмъ, которыя предполагаются для насъ и для общества выгодными. Воздавая хвалы добродѣтели, люди издревле отнюдь не были «безкорыстны» и «альтруистичны»! Иначе мы увидѣли бы, что добродѣтели (прилежаніе, послушаніе, цѣломудріе, справедливость) большею частію вредны ихъ обладателямъ, какъ влеченія (Triebe) слишкомъ сильныя и не уравновѣшенныя другими вліяніями. Если ты обладаешь добродѣтелью, настоящею, цѣльною добродѣтелью,—а не влеченьицемъ (Triebchen) къ добродѣтели,—то ты ея жертва! Но сосѣдъ твой именно поэтому хвалитъ твою добродѣтель! Хвалятъ прилежнаго человѣка, хотя бы онъ этимъ своимъ прилежаніемъ портилъ себѣ зрѣніе и разрушалъ оригинальность и свѣжесть своего ума. Юноша, надорвавшійся надъ работой, вызываетъ въ насъ почтеніе и сожалѣніе, при чемъ мы разсуждаемъ такъ: «для цѣлаго общества потеря даже лучшихъ отдѣльныхъ единицъ — небольшая жертва. Жаль, что такія жертвы необходимы, но еще хуже было бы, если бы отдѣльный человѣкъ думалъ иначе и придавалъ бы больше цѣны своему существованію и развитію, чѣмъ работѣ на службѣ обществу». Такимъ образомъ, юношу жалѣютъ не ради него самого, а потому, что въ его лицѣ общество лишилось преданнаго и безкорыстнаго *орудія*... Въ добродѣтеляхъ мы цѣнимъ ихъ служебную природу и затѣмъ слѣпое влеченіе, не ограниченное соображеніями о другихъ сторонахъ пользы индивида, короче говоря—неразуміе въ добродѣтели, благодаря которому единичное

существованіе превращается въ функцію цѣлаго... Хвала самоотверженному, безкорыстному, добродѣтельному, слѣдовательно, человѣку, не всю свою силу и разумъ обращающему на свое собственное сохраненіе, развитіе, подъемъ, усиліе.—эта хвала проистекаетъ отнюдь не изъ безкорыстія! «Ближній» хвалитъ безкорыстіе потому, что извлекаетъ изъ него выгоду! Если бы ближній былъ «безкорыстенъ», онъ отклонялъ бы отъ себя этотъ чужой ущербъ, сокращеніе чужой силы, боролся бы съ возникновеніемъ такихъ склонностей и прежде всего показалъ бы свое безкорыстіе тѣмъ, что не называлъ бы ихъ *хорошими* склонностями. Этимъ указывается коренное противорѣчіе той морали, которая нынѣ въ почетѣ: *мотивы* этой морали находятся въ противорѣчіи съ ея *принципомъ*». («Die fröhliche Wissenschaft" neue Ausgabe, 1887, стр. 48—51).

«Моральная оцѣнка человѣческихъ дѣйствій и влеченій есть всегда выраженіе потребностей общины, стада. То, что прежде всего полезно имъ, то и становится высшею мѣркою цѣнности отдѣльныхъ людей. Мораль предписываетъ индивиду быть функціей стада и цѣнить себя въ качествѣ этой функціи. Такъ какъ условія существованія различныхъ обществъ очень различны, то и было много различныхъ моральныхъ воззрѣній... Нравственность есть стадный истинктъ» (ibid. 146).

«Нынѣ каждый, повидимому, доволенъ, когда слышитъ, что общество стоитъ на пути приспособленія индивида (des Einzelnen) ко всеобщимъ потребностямъ и что счастіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, жертва индивида состоитъ въ томъ, чтобы чувствовать себя полезнымъ членомъ или орудіемъ цѣлаго. Современники колеблются въ выборѣ этого цѣлаго,—должно ли имъ быть существующее или еще имѣющее возникнуть государство, или нація, или объединеніе народовъ, или небольшія новыя хозяйственныя общежитія. На этотъ счетъ существуетъ нынѣ много сомнѣній, раздумья, борьбы, полной возбужденія и страсти; но удивительно единодушіе, съ которымъ отъ «я» (ego) требуется самоотреченіе въ формѣ приспособленія къ цѣлому, устанавливающему кругъ правъ и обязанностей. Сознательно или безсознательно, люди стремятся ни больше, ни меньше, какъ къ полному преобразованію, и именно ослабленію, даже уничтоженію индивидуума. Въ теперешней формѣ индивидуальнаго существованія не устаютъ искать черты зла, враждебности, расточительности, дороговизны

и надѣются устроить дешевле, безопаснѣе, равномѣрнѣе, цѣльнѣе, когда будутъ только большія тѣла и ихъ члены» (Morgenröthe», 1887, стр. 127).

«Зрѣлый плодъ общественнаго древа есть верховный индивидуумъ, себѣ лишь равный, отъ нравственности нравовъ (Sittlichkeit der Sitte) освобожденный, автономный, сверхнравственный (übersittlich) индивидуумъ» («Zur Genealogie der Moral», 1892, стр. 43).

Приведемъ еще начало одной изъ рѣчей Заратустры, конецъ которой понадобится намъ позже.

«Вы жметесь къ ближнему, и есть у васъ красивыя названія для этого. Но говорю вамъ: ваша любовь къ ближнему есть любовь къ самимъ себѣ.

«Вы бѣжите къ ближнему отъ самихъ себя и хотѣли бы сдѣлать изъ этого добродѣтель: но я насквозь вижу ваше «безкорыстіе».

«Ты» старше, чѣмъ «я»; «ты» объявлено святымъ, но не «я»: такъ жмется человѣкъ къ ближнему.

«Совѣтую ли я вамъ любовь къ ближнему? Нѣтъ, я совѣтую вамъ бѣжать отъ ближнихъ и любить дальнихъ!» («Also sprach Zarathustra», 84; при чемъ тутъ любовь къ «дальнимъ»—мы увидимъ ниже).

Мы могли бы сдѣлать еще много подобныхъ выписокъ изъ сочиненій Ничше, но, благодаря его безпорядочной литературной физіономіи, это были бы такіе же отрывки, осложненные вдобавокъ вещами, которыхъ мы пока не хотимъ трогать. Приведеннаго достаточно, чтобы получить понятіе о нѣкоторыхъ основныхъ чертахъ Ничше, изъ которыхъ проистекаютъ и сильныя, и слабыя стороны его писаній. Прежде всего, здѣсь бросается въ глаза протестъ личности противъ условій, нарушающихъ ея достоинство и интересы, полноту и, такъ сказать, многогранность ея жизни. Этотъ-то общій принципъ личности, какъ самоцѣли, не подлежащей низведенію на степень средства для достиженія какихъ бы то ни было другихъ цѣлей, и составляетъ корень той силы и того блеска, которые несомнѣнно заключаются въ писаніяхъ Ничше, что бы ни говорилъ Максъ Нордау и какъ бы онъ даже ни былъ правъ относительно многихъ частностей. Ничше въ дальнѣйшемъ теченіи своей мысли самъ нарушаетъ этотъ общій принципъ, вмѣстѣ съ чѣмъ теряетъ всякую почву подъ

ногами и впадаетъ въ коренное противорѣчіе съ самимъ собой. Задатки этого уклоненія мы имѣемъ уже и теперь, въ вышеприведенныхъ цитатахъ, между прочимъ и въ загадочномъ на первый взглядъ «совѣтѣ бѣжать отъ ближнихъ и любить дальнихъ». Систему Ничше, насколько можно говорить о его системѣ,—онъ и самъ смѣется надъ системами, какъ таковыми,—обыкновенно называютъ индивидуализмомъ. И это до извѣстной степени вѣрно. Но, во-первыхъ, только до извѣстной степени, а во-вторыхъ, для уразумѣнія истиннаго смысла воззрѣній Ничше надо отрѣшиться отъ разныхъ ходячихъ сопоставленій,—положительныхъ и отрицательныхъ,—индивидуализма съ эгоизмомъ въ нравственной области, съ либерализмомъ въ области политики и экономики, съ соціализмомъ, съ анархизмомъ. Всѣ эти сопоставленія и противопоставленія, обыкновенно слишкомъ односторонне и чисто словесно мотивируемыя, особенно не идутъ къ дѣлу, когда рѣчь идетъ о Ничше. Достаточно пока замѣтить, что, будучи индивидуалистомъ, онъ одинаково враждебенъ не только соціализму, который обыкновенно противопоставляется индивидуализму, но и либерализму, формально опирающемуся на личное начало, и анархизму, представители котораго не прочь были бы, повидимому, искать себѣ теоретическаго обоснованія въ писаніяхъ Ничше. Они и имѣютъ нѣкоторое право на это, но всетаки именно ихъ имѣетъ въ виду Ничше, когда влагаетъ своему Заратустрѣ въ уста слова: «Друзья мои, я не хочу, чтобы меня смѣшивали. Есть люди, проповѣдующіе мое ученіе о жизни; и въ то же время это проповѣдники равенства и тарантулы... Я не хочу, чтобы меня смѣшивали съ этими проповѣдниками равенства».

Въ виду этой сложности и запутанности терминовъ и понятій, въ виду логической неожиданности многихъ оборотовъ мысли Ничше, остановимся сперва на общемъ принципѣ личности въ его чистомъ видѣ.

Мы уже говорили, что Ничше не есть мыслитель въ исключительномъ и спеціальномъ смыслѣ этого слова. Онъ слишкомъ многосторонне и страстно относится къ жизни, чтобы только или даже преимущественно мыслить объ ней и къ мыслительнымъ же способностямъ читателя обращаться. Онъ и самъ объ этомъ говоритъ. Такъ, въ предисловіи къ новому изданію «Веселой науки» («Die fröhliche Wissenschaft») онъ пишетъ: «Мы, фи-

лософы, не можемъ раздѣлять душу и тѣло, какъ это дѣлаетъ толпа, и еще менѣе можемъ раздѣлять душу и духъ (Seele und Geist). Мы—не мыслящія лягушки съ холодными внутренностями, не объективирующіе и регистрирующіе аппараты. Мы должны постоянно въ страданіи рождать наши мысли, внося въ нихъ все, что есть въ насъ отъ крови, сердца, огня, счастья, страсти, муки, совѣсти. Жить для насъ значитъ превращать въ свѣтъ и пламя все, въ насъ и съ нами совершающееся; иначе мы и не можемъ».

Своеобразный, трудно переводимый языкъ Ничше не помѣшаетъ, конечно, читателю усмотрѣть общій смыслъ приведенныхъ словъ. Ничше не хочетъ того спокойнаго житія, которое дается опредѣленнымъ «міросозерцаніемъ» и даже «міроразумѣніемъ», если при этомъ чувства, страсти и воля подавлены, заглушены. Онъ хочетъ жить полною жизнью, имѣть съ окружающимъ міромъ общеніе всѣми сторонами своей личности, которая есть и должна быть существомъ единовременно мыслящимъ, чувствующимъ и дѣйствующимъ, въ особенности, дѣйствующимъ. Въ современной наукѣ о жизни, біологіи, его оскорбляетъ растущее господство идеи «приспособленія», такъ какъ она «скрадываетъ основное понятіе жизни, понятіе активности» («Zur Genealogie der Moral», 1892, стр. 69). Разсуждая «о пользѣ и вредѣ исторіи для жизни» (вторая половина перваго тома «Unzeitgemässe Betrachtungen»), онъ посвящаетъ нѣсколько оригинально блестящихъ страницъ критикѣ ходячаго «объективизма», усвоивая ему девизъ — fiat veritas, pereat vita и доказывая, что, кромѣ умаленія vitae, при этомъ получается и по малой мѣрѣ двусмысленная veritas. Умаленіе личнаго достоинства и личной иниціативы, замѣчаемое имъ въ современной цивилизаціи, Ничше въ значительной степени приписываетъ чрезмѣрному преобладанію исторической точки зрѣнія («Uebermass der Historie»), воспитывающему индифферентизмъ и преклоненіе передъ фактами... Я съ удовольствіемъ привелъ бы лучшія изъ этихъ страницъ, если бы это не отвлекло насъ въ сторону и если бы страницы эти не были испорчены тѣмъ уклоненіемъ отъ общаго принципа, съ которымъ мы еще встрѣтимся во всемъ его значеніи.

Въ самомъ себѣ ощущая потребность полной, яркой жизни и взывая къ ней въ другихъ, Ничше естественно становится во

враждебныя отношенія къ пессимизму и аскетизму. Его философія есть «веселая наука»—die fröhliche Wissenschaft, la gaya scienza. Но это отнюдь не оптимизмъ въ смыслѣ увѣренности въ благополучномъ теченіи человѣческихъ дѣлъ. Ничше вѣритъ въ «великія возможности», заключенныя въ человѣкѣ, но полагаетъ, что это именно только возможности, которыми современное человѣчество не пользуется, которыхъ оно даже не сознаетъ и для воплощенія которыхъ въ дѣйствительности нужна дѣятельность, работа, борьба. «Развѣ я счастія ищу? — говоритъ Заратустра,—я ищу дѣла». Иначе говоря, счастіе, не заработанное личными усиліями, а подаренное—судьбой ли, самодовлѣющимъ ли историческимъ процессомъ—не имѣетъ для Ничше цѣны, не есть даже счастіе. И наоборотъ, при сознаніи и чувствѣ правоты своего дѣла, не страшно и несчастіе въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, не страшна даже гибель. «Я не знаю,—говоритъ Ничше,—лучшей цѣли жизни, какъ погибнуть, animae magnae prodigus, на великомъ и невозможномъ» («Unzeitgemässe Betrachtungen», I, 189). Поэтому уже въ первомъ сочиненіи Ничше, «Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik», имѣющемъ характерное подзаглавіе—oder Griechenthum und Pessimismus, заключается мысль, что трагическій исходъ борьбы съ роковыми силами не обязываетъ къ мрачному взгляду на жизнь. Вѣнецъ человѣческой жизни есть личное творчество, чѣмъ бы оно ни грозило въ результатѣ.

Все это, изложенное мѣстами языкомъ явно душевно больного, но мѣстами съ удивительною силою и блескомъ, Ничше имѣлъ право называть unzeitgemäss, несвоевременнымъ, несовременнымъ. Наше время представляетъ собою удивительное зрѣлище, преисполненное противорѣчій. Никогда еще человѣкъ не былъ такъ силенъ и такъ слабъ въ одно и то же время. Наука дѣлаетъ гигантскіе шаги въ смыслѣ пониманія природы и утилизаціи ея силъ. Тотъ естественный ходъ вещей, который отдѣлилъ материки океанами, установилъ дневной свѣтъ и ночную тьму, опредѣлилъ распространеніе свѣта и звука и проч., и проч., всѣ эти коренныя, исконныя явленія природы человѣкъ покорилъ своимъ творчествомъ и приспособилъ ихъ къ своимъ интересамъ. И что еще ждетъ насъ на этомъ пути! Но въ то же время все суживается и суживается поле человѣческаго творчества въ сферѣ ближайшихъ, междуличныхъ, общественныхъ

отношеній. Жизнь идетъ своимъ чередомъ, люди любятъ и ненавидятъ, производятъ, торгуютъ, воюютъ, творятъ въ повседневной жизни добро и зло, правду и неправду, побѣждаютъ и страдаютъ и погибаютъ. Спеціальныя отрасли знанія, имѣющія отношеніе къ этой пестрой и шумной картинѣ, предлагаютъ свои, часто противорѣчивые, рецепты желающимъ ими руководствоваться,—ту или другую систему воспитанія юношества, ту или другую финансовую систему, тотъ или иной порядокъ судоустройства, тотъ или другой государственный строй, ту или иную торговую политику и т. д. Всѣ эти рецепты имѣютъ цѣлью извѣстнымъ образомъ направить общественныя отношенія къ благу, какъ кто его понимаетъ. Но жизнь ихъ мало слушается и движется большею частью ощупью, по линіямъ наименьшаго сопротивленія интересовъ и страстей. Однако, мы видимъ здѣсь, по крайней мѣрѣ, увѣренность, иногда даже слѣпую увѣренность, что русло жизни можетъ быть человѣческимъ творчествомъ и углублено, и завалено балластомъ, и отведено въ сторону, словомъ, приспособлено къ извѣстнымъ требованіямъ разума и совѣсти. Не то въ высшихъ теоретическихъ обобщеніяхъ современности. Тутъ уже прямо рѣчь идетъ не о приспособленіи обстоятельствъ, а о приспособленіи къ обстоятельствамъ, къ естественному ходу вещей, къ стихійному процессу борьбы за существованіе, или перехода отъ однороднаго къ разнородному, или исторической необходимости, или смѣны формъ производства и обмѣна. Тотъ или иной стихійный процессъ представляется непреоборимымъ, и человѣку, какъ пассивному его продукту, остается только къ нему приспособить свой разумъ и совѣсть, признать его не только естественнымъ, какъ естественно, напримѣръ, распредѣленіе суши и воды на землѣ, но и разумнымъ, и справедливымъ, не только фактически, а и принципіально неприкосновеннымъ. При этомъ образъ человѣка-творца, столь яркій, когда дѣло идетъ о техническихъ изобрѣтеніяхъ, побѣждающихъ пространство и время, стушевывается, блѣднѣетъ. Эта-то общая блѣдность и оскорбляетъ Ничше, внушая ему гнѣвныя и саркастическія, но не пессимистическія рѣчи. Онъ вѣритъ въ «великія возможности», но если бы таковыя и не осуществились, онъ предлагаетъ людямъ противопоставить себя роковымъ силамъ, хотя бы съ трагическимъ исходомъ: покоряясь стихійнымъ процессамъ въ мѣру ихъ дѣйствительной непреоборимости,—не возводить факта въ принципъ, а подняться надъ сти-

хійнымъ процессомъ, какъ бы его кто ни понималъ, найти мѣрило добра и зла jenseits von Gut und Böse. Это, повидимому, противорѣчіе, и г. Астафьевъ, повидимому, правъ, замѣчая по этому поводу: «Что сказали бы мы о томъ «мыслителѣ», который серьезно увѣрялъ бы насъ, что для того, чтобы здраво судить о логикѣ, нужно стать внѣ и выше логики, отрѣшиться отъ ея требованій и законовъ? Конечно, при такомъ отрѣшеніи мысли отъ логики — и сужденіе получилось бы не здравое и логическое, но безумное и нелѣпое. Какъ науку логики создаютъ не безумные, не тѣ, которые перестаютъ сами логически мыслить, становясь внѣ и выше логики,—такъ и науку о нравственности создаютъ не тѣ, которые перестаютъ руководствоваться «и въ мысли, и въ чувствѣ, и въ жизни» нравственными критеріями, переносясь «по ту сторону добра и зла». («Вопросы философіи и психологіи», 1893, январь, «Генезисъ нравственнаго идеала декадента», 60—61). Кажущаяся цѣнность этого довода разсыпается передъ тѣмъ фактомъ, что, приглашая насъ стать jenseits von Gut und Böse, по ту сторону добра и зла, Ничше разумѣетъ не добро и зло само по себѣ, а современныя понятія о нихъ. «Хорошее» въ нравственномъ смыслѣ, одобрительное, и «дурное», неодобрительное, онъ очень своеобразно, но тѣмъ не менѣе различаетъ въ самой исходной точкѣ своей. Что же касается этой исходной точки, то, какъ это ни странно можетъ показаться, она совпадаетъ съ опредѣленіемъ христіанской морали г. Астафьева: «мораль христіанская признаетъ нравственную личность за безусловную *самоцѣль*, не могущую быть униженною до степени *средства* общественнаго ли блага, развитія ли и расцвѣта другой, болѣе сильной и одаренной личности» (1. с. 58). Правда, Ничше уклоняется отъ своего основного принципа, отъ своей исходной точки, но мы пока говоримъ только о ней самой. Исходя изъ нея, Ничше критикуетъ, какъ теченія современной философской мысли, такъ и современныя формы общежитія,—реальныя, существующія, и идеальныя, тѣ мечты о будущемъ и утопіи, которыя растутъ все-таки на почвѣ современной дѣйствительности. Присматриваясь къ тѣмъ научно-практическимъ рецептамъ, о которыхъ мы только что говорили и которые такъ или иначе стремятся приспособить человѣческія отношенія къ требованіямъ разума и совѣсти, Ничше замѣчаетъ, что если не всѣ они, то громадное большинство ихъ не соотвѣтствуетъ его исходной точкѣ—личности, какъ самоцѣли,

не могущей быть униженной до степени средства. Вмѣсто интересовъ и достоинства личности центромъ тяжести ихъ являются интересы и достоинство, какъ Ничше выражается, «общины, стада», вообще какой-нибудь формы общежитія, обращающей личность въ свою служебную функцію. Ничше не даетъ систематической картины этой борьбы формъ общежитія съ личностью, да и сосредоточивается почти исключительно на вопросахъ морали. Но въ этой области Европа давно не слыхала такого смѣлаго, рѣзкаго голоса. Его точка зрѣнія даетъ ему возможность заглядывать далеко за предѣлы горизонтовъ другихъ крупныхъ современныхъ мыслителей. Однако, здѣсь же находится и ахиллесова пята всей философіи Ничше.

Читатель благоволитъ вновь пересмотрѣть вышеприведенную группу цитатъ изъ Fröhliche Wissenschaft, Morgenröthe, Genealogie der Moral и Also sprach Zarathustra. Кромѣ отмѣченнаго нами протеста личности противъ условій, нарушающихъ цѣльность и полноту ея жизни, въ цитатахъ этихъ надо различать психологическую и моральную часть,—изъявительное и повелительное наклоненія. При этомъ, собственно, «генеалогія морали» естественно отходитъ къ психологіи. Это очень важно замѣтить. Нынѣ часто можно встрѣтить гордую увѣренность, что мы обладаемъ, наконецъ, «научной этикой». Это никакъ нельзя, однако, разумѣть въ томъ смыслѣ, что мы имѣемъ твердый, опредѣленный, общепризнанный или могущій стать таковымъ критерій различенія добра и зла. Напротивъ, наше время есть время особливаго шатанія и неопредѣленности нравственныхъ принциповъ. То, что обыкновенно называется «научной этикой», есть главнымъ образомъ исторія и психологія нравственности; мы узнаемъ изъ нея очень много интереснаго о томъ, какъ возникали извѣстные принципы и какъ и почему они падали, уступая мѣсто другимъ, получаемъ нѣкоторыя указанія и на то, какъ и почему въ насъ самихъ зарождаются извѣстныя нравственныя тяготѣнія въ одну сторону и отвращенія къ другой. Но все это удовлетворяетъ лишь нашу потребность знанія, нашъ разумъ, и не даетъ отвѣта на запросы нравственнаго чувства, которые собственно и составляютъ область морали или практической философіи. Одно дѣло выясненіе причинъ и мотивовъ человѣческой дѣятельности

въ какой бы то ни было области, въ томъ числѣ и въ нравственной, и другое дѣло—установленіе цѣлей и критерія этой дѣятельности. Что эти цѣли и критеріи въ свою очередь подлежатъ объясненію съ точки зрѣнія причинъ и мотивовъ,—это нисколько не измѣняетъ дѣла: желаемое и при этомъ остается желаемымъ.

Наиболѣе общій пунктъ психологіи Ничше гласитъ: человѣкъ есть эгоистъ; наиболѣе общій пунктъ его морали—человѣкъ долженъ быть эгоистомъ. Естественно, какъ это мы видѣли и относительно Макса Штирнера, возникаетъ вопросъ: изъ-за чего же и хлопотать, если человѣкъ есть психологически именно то, чѣмъ онъ долженъ быть по предписанію морали? Какъ и Максъ Штирнеръ, Ничше отвѣчаетъ на это, что человѣкъ есть всегда эгоистъ, но предразсудки и неблагопріятныя общественныя условія дѣлаютъ его эгоистомъ лицемѣрнымъ или неразумнымъ, въ каковомъ лицемѣрномъ и неразумномъ эгоизмѣ и состоитъ современная мораль. Отъ этой-то морали и должна насъ освободить откровенно-эгоистическая мораль Макса Штирнера и Фридриха Ничше. Что касается того основного положенія, что человѣкъ есть по своей природѣ эгоистъ, то оно развивалось такъ часто и такъ многими писателями, что Ничше, повидимому, и не могъ бы сказать здѣсь что-нибудь новое или оригинальное. Теоретики эгоизма утверждаютъ обыкновенно, или что явленія самоотверженія, симпатіи, любви, альтруизма суть замаскированный эгоизмъ, или что явленія эти не могутъ считаться нравственно-одобрительными. Ничше старается доказать и то, и другое. Мы не будемъ приводить всѣ его доводы, такъ какъ въ общемъ они дѣйствительно не новы. Но намъ надо установить спеціально ему принадлежащую черту.

У многихъ, если не у большинства читателей, при словѣ «эгоистъ», возникаетъ образъ человѣка, пожалуй, даже мягкаго, но которому хоть трава не рости, лишь бы ему жилось спокойно, да было бы обезпечено и пріумножалось его матеріальное благосостояніе. Къ такому представленію пріучило насъ многое, но въ особенности то чрезвычайно вліятельное вѣяніе, которое опредѣляется связью политической экономіи съ утилитарною моралью. То, что Ничше считаетъ истиннымъ эгоизмомъ, не имѣетъ ничего общаго съ этимъ представленіемъ. Его эгоистъ презираетъ спокойствіе и богатство, онъ дѣятеленъ, твердъ

ищетъ опасностей, войнолюбивъ, властолюбивъ, жестокъ, въ особенности властолюбивъ и жестокъ. Вышеупомянутая, еще не вышедшая книга Ничше «Umwerthung aller Werthe» должна была имѣть въ заглавіи еще слова: «Der Wille zur Macht». То есть, онъ предполагалъ при помощи принципа «жажды власти» произвести «переоцѣнку всѣхъ цѣнностей» Жестокость онъ объявляетъ кореннымъ свойствомъ человѣческой природы. Такъ, напримѣръ, въ «Genealogie der Moral» онъ говоритъ: «видъ страданія доставляетъ удовольствіе, причиненіе страданія доставляетъ еще большее удовольствіе; таковъ жесткій, но старый и могущественный законъ» (53). Слѣдовъ этихъ-то чудовищныхъ, но, по его мнѣнію, коренныхъ свойствъ человѣческой природы онъ и ищетъ во всѣхъ человѣческихъ дѣйствіяхъ, какъ неодобряемыхъ, такъ и преимущественно одобряемыхъ господствующею современною моралью. А господствующею моралью онъ одинаково считаетъ и христіанскую, и либерально-буржуазную, и соціалистическую, словомъ, всякую, во имя чего бы то ни было приглашающую насъ поступаться чѣмъ бы то ни было ради ближнихъ или общества.

Напримѣръ: «Нашъ долгъ есть чье-нибудь право на насъ. Какъ получилось это право? Такъ, что имѣющіе право признали насъ способными къ договору или возмездію, признали равными или подобными себѣ и поэтому нѣчто довѣрили намъ, воспитали насъ, наставили, поддержали. Мы исполняемъ свой долгъ; это значитъ: мы оправдываемъ представленіе объ нашей *власти* возвратить данное намъ» («Morgenröthe», 99). Въ другомъ мѣстѣ Ничше съ удовольствіемъ замѣчаетъ, что и въ категорическомъ императивѣ «старика Канта» есть нѣчо *жестокое*. Или: «Мы хотимъ, чтобы нашъ видъ причинялъ другому страданіе и возбуждалъ въ немъ зависть и чувство своего безсилія и упадка; мы хотимъ заставить его просмаковать горечь его судьбы и, вливая ему въ ротъ каплю нашего меда, злорадно смотримъ ему, при этомъ мнимомъ благодѣяніи, въ глаза... Вотъ великій художникъ: предчувствуемое имъ наслажденіе завистью побѣжденныхъ соперниковъ не давало его силѣ спать, пока онъ не сталъ великимъ, — сколькими горькими минутами заплатили чужія души за его величіе! Цѣломудренная женщина: какими карающими глазами смотритъ она въ лицо иначе живущихъ женщинъ! Сколько наслажденія местью въ этихъ глазахъ!—Тема коротка, но варьяціи ея безчисленны» (тамъ же 28, 29).

Желая быть по возможности краткимъ, я укажу только еще на одну чрезвычайно замѣчательную подробность. Аскетическая практика, тѣ добровольныя лишенія и самоистязанія, которымъ подвергаются, напримѣръ, индійскіе фанатики, по мнѣнію Ничше, объясняются все тою же жестокостью и жаждою власти. Эти коренныя свойства человѣческой природы, стѣсненныя въ своемъ естественномъ проявленіи, обращаются внутрь, на самихъ носителей своихъ. Какъ хищный звѣрь, заключенный въ клѣтку, человѣкъ яростно старается сломить рѣшетки этой клѣтки — свое собственное тѣло. При этомъ онъ, щеголяя своею властью надъ собой, наслаждается сознаніемъ своего превосходства надъ другими и до такой степени проникается чувствомъ власти, могущества, что, напримѣръ, царь Висвамитра, послѣ тысячелѣтнихъ аскетическихъ упражненій, задумываетъ построить новое небо. Угрызенія совѣсти, съ одной стороны, равно какъ и институтъ наказанія — съ другой должны считать въ числѣ своихъ источниковъ жестокость и жажду власти. Мучить другихъ и, въ случаѣ отсутствія или недосягаемости этихъ другихъ, самого себя мучить, дабы и въ томъ, и въ другомъ случаѣ удовлетворить свою жажду власти,—таковы, по мнѣнію Ничше, коренныя требованія человѣческой природы.

Какъ ни парадоксально звучитъ все это, но для русскаго читателя, даже не особенно вдумчиваго и памятливаго, это не незнакомыя рѣчи. Достоевскій хорошо зналъ этотъ кругъ идей и чувствъ. «Человѣкъ — деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ», «человѣкъ до страсти любитъ страданіе», — этими двумя изреченіями Достоевскаго (одно въ «Игрокѣ», другое въ «Запискахъ изъ подполья») подводятся итоги его многочисленнымъ и тончайшимъ психологическимъ наблюденіямъ, воплощеннымъ въ цѣломъ рядѣ художественныхъ образовъ и картинъ. Мало того, огромный, прямо страшный талантъ Достоевскаго и мучительная яркость его картинъ и образовъ уяснили намъ этотъ уголъ мрачной психологіи лучше, чѣмъ разсужденія Ничше. Самъ Ничше, весь его обликъ является какъ бы осуществленіемъ слѣдующаго предположенія, можно сказать, пророчества того безъимяннаго «парадоксалиста», отъ лица котораго ведутся «Записки изъ подполья»:

„Я нисколько не удивлюсь, если вдругъ ни съ того, ни съ сего, среди всеобщаго будущаго благоразумія, возникнетъ какой-нибудь джентль-

мэнъ съ неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмѣшливой физіономіей, упретъ руки въ боки и скажетъ намъ всѣмъ: „а что, господа, не столкнуть-ли намъ все это благоразуміе съ одного раза нотой, прахомъ, единственно съ тою цѣлью, чтобы всѣ эти логариѳмы отправить къ чорту и чтобы намъ опять по своей глупой волѣ пожить". Это бы еще ничего, но обидно то, что вѣдь непремѣнно послѣдователей найдетъ. И все это отъ самой пустѣйшей причины, объ которой бы, кажется, и упоминать не стоитъ: именно оттого, что человѣкъ всегда и вездѣ, кто-бы онъ ни былъ, любилъ дѣйствовать такъ, какъ хотѣлъ бы, а вовсе не такъ, какъ повелѣвали ему разумъ и выгода; хотѣть-же можно и противъ собственной выгоды, а иногда положительно должно. Свое собственное, вольное и свободное хотѣнье, свой собственный, хотя-бы самый дикій капризъ, своя фантазія, раздраженная иногда хотя-бы до сумасшествія,—вотъ это все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни подъ какую классификацію не подходитъ и отъ которой всѣ системы и теоріи постоянно разлетаются къ чорту. И съ чего это взяли всѣ эти мудрецы, что человѣку надо какого-то нормальнаго, какого-то добродѣтельнаго хотѣнія? Съ чего это непремѣнно вообразили они, что человѣку надо непремѣнно благоразумно выгоднаго хотѣнія? Человѣку надо только самостоятельнаго хотѣнія, чего-бы эта самостоятельность ни стоила и къ чему-бы ни привела".

Ничше могъ бы смѣло подписаться подъ этой тирадой. Онъ какъ бы является именно предсказаннымъ ею «джентльмэномъ съ неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмѣшливой физіономіей», который предлагаетъ «все это благоразуміе» столкнуть къ чорту и начать съ «переоцѣнки всѣхъ цѣнностей». Среди современной увѣренности, что нравственная истина найдена научнымъ путемъ и состоитъ въ «благоразумно выгодныхъ добродѣтеляхъ»; что человѣкъ есть по природѣ своей существо преимущественно мыслящее или созерцающее, или-же преимущественно «воздѣлывающее, поядающее, купующее и куплю дѣющее»; среди этой увѣренности раздается вдругъ голосъ не сомнѣнія, а такой-же, но бурной и страстной увѣренности, что совсѣмъ не такова человѣческая природа. Протестъ этотъ, если разумѣть подъ нимъ призывъ къ пересмотру разныхъ односторонныхъ и въ односторонности своей слишкомъ самоувѣренныхъ рѣшеній о существѣ человѣческой природы, заслуживаетъ полнаго сочувствія: слишкомъ часто рѣшенія эти, не будучи не только надлежащимъ образомъ провѣрены, но даже сколько-нибудь серьезно затронуты критикой, кладутся въ основаніе широкихъ обобщеній и важныхъ практическихъ выводовъ. Но,

кромѣ этой отрицательной стороны, въ приведенныхъ взглядахъ Ничше, равно какъ и героя «Записокъ изъ подполья», есть еще и положительная, а именно коренными свойствами человѣческой природы объявляются властность и жестокость. Несомнѣнно, что тѣ мрачныя глубины жестокости, безграничнаго властолюбія, злобы, въ которыя такъ любилъ заглядывать Достоевскій и которыя теперь теоретизируются Фридрихомъ Ничше, дѣйствительно существуютъ и представляютъ собою высокій интересъ для изслѣдователя человѣческаго духа, но духа больного, разстроеннаго; это случаи патологическіе. Такое возраженіе ни мало не смутило бы Ничше, потому что онъ убѣжденъ, что въ томъ именно и состоитъ заблужденіе современной морали и современной мысли вообще, что онѣ считаютъ нормальное патологическимъ, а больное — здоровымъ, нормальнымъ. Какъ бы, однако, ни были остроумны попытки Ничше свести всѣ поступки людей, всѣ мотивы этихъ поступковъ къ эгоистической основѣ, онъ понимаетъ, что во всякомъ случаѣ его жестокій, властолюбивый, наслаждающійся чужими страданіями и чужимъ униженіемъ эгоистъ — не есть общее правило. Существуютъ-же люди мирные и смирные, добрые и кроткіе, не говоря уже о разнообразныхъ варьяціяхъ и того сильнаго, смѣлаго, дѣятельнаго типа, которому Ничше усвоиваетъ жестокость, злобу и властолюбіе, какъ основныя черты характера. Съ точки зрѣнія Ничше, эти кроткіе, мягкіе, добрые, сострадательные люди должны быть, конечно, тоже эгоистами. Но это — эгоисты, частію неразумные, частію, напротивъ, очень разумные, даже слишкомъ разумные, но и въ томъ, и въ другомъ случаѣ придавленные и укрощенные процессомъ цивилизаціи или, если угодно, «обобществленіи». Они жмутся другъ къ другу, чувствуя свое слабосиліе, подкупаютъ другъ друга похвалами этому самому слабосилію, возводя его подъ разными именами на степень добродѣтели, и, наконецъ, успѣваютъ увѣрить другъ друга, что ихъ слабость, дряблость, безсиліе, трусость, выражающіяся въ желаніи возможно мирнаго и безопаснаго житія, дѣйствительно заслуживаютъ названія «добродѣтели», нравственно одобрительныхъ мотивовъ и поступковъ. Такъ, по мнѣнію Ничше, возникаютъ и окружаются ореоломъ высшей морали понятія самоотреченія, любви къ ближнему, состраданія и проч. Если людямъ этого типа случается отклониться отъ созданнаго ихъ слабосиліемъ нравственнаго кодекса, въ нихъ поднимаются угрызенія

совѣсти. Но то бурное клокотаніе первобытныхъ нормальныхъ инстинктовъ, не находящихъ себѣ правильнаго исхода, которое, какъ мы видѣли, выражается самоистязаніями аскетовъ, осложняется у такъ называемыхъ «добрыхъ» (ироническое или бранное слово въ устахъ Ничше) людей простымъ страхомъ отвѣтственности, боязнью опасныхъ послѣдствій, то есть все тѣмъ-же слабосиліемъ. Торжество этого слабосилія и составляетъ столь занимающую Ничше «проблему декадентства».

XVI *).

И еще о Ничше.

Со времени Руссо никто въ Европѣ не говорилъ такихъ дерзостей европейской цивилизаціи и современному «прогрессу» какъ Ничше, если не считать его предшественника, Макса Штирнера, слишкомъ одинокого, слишкомъ мало разслышаннаго въ свое время, да и только бросившаго не доразвитый зачатокъ оригинальной мысли. За этимъ ничтожнымъ по своей мимолетности и незаконченности исключеніемъ, все сколько-нибудь значительное въ дѣлѣ отрицательной критики цивилизаціи и «прогресса» такъ или иначе примыкаетъ къ Руссо, какъ къ первоисточнику или первообразу. Это одинаково относится и къ европейскимъ соціалистамъ, со включеніемъ самыхъ крупныхъ, какъ Фурье, и, съ другой стороны, напримѣръ, къ гр. Л. Н. Толстому, критику новѣйшему, нѣкоторыя оригинальныя выходки котораго не мѣшаютъ всей отрицательной части его ученія оставаться все же таки варьяціями на основную тему, данную Руссо. Ничше вноситъ въ свою критику нѣчто дѣйствительно оригинальное и новое, что никоимъ образомъ не можетъ быть приведено въ связь съ идеями Руссо, котораго онъ «ненавидитъ» и называетъ «идеалистомъ и канальей въ одномъ лицѣ» («Götzen-Dämmerung», 125). Это не мѣшаетъ ему, впрочемъ, въ *нѣкоторыхъ* пунктахъ сходиться съ Руссо, чтобы, однако, немедленно же, на второмъ же шагѣ, рѣзко разойтись.

Въ одномъ мѣстѣ «Götzen-Dämmerung» Ничше говоритъ о своихъ соотечественникахъ: «Нѣмцевъ называли когда-то народомъ мыслителей; мыслятъ-ли они вообще теперь? Духовное наску-

*) 1894, декабрь.

чило нѣмцамъ, нѣмцы не довѣряютъ духу, политика поглотила всякій интересъ къ истинно духовнымъ предметамъ. «Deutschland, Deutschland über Alles»,—я боюсь, что это было концомъ нѣмецкой философіи. Есть ли въ Германіи философы? есть ли въ Германіи поэты? хорошія книги?—спрашиваютъ меня за границей. Я краснѣю, но съ храбростью, не покидающею меня въ самыхъ отчаянныхъ положеніяхъ, отвѣчаю: да,—Бисмаркъ!» (59). Конечно, не эту забавную выходку имѣлъ я въ виду, говоря о дерзостяхъ Ничше; я привелъ ее, только какъ свидѣтельство того уваженія, которое Ничше питаетъ къ мысли, къ умственной дѣятельности вообще. И такихъ свидѣтельствъ можно бы было найти у него очень много, если бы понадобилось. Но въ этомъ, конечно, надобности нѣтъ: иного отношенія къ мысли, знанію, умственнымъ интересамъ нельзя было бы и ожидать со стороны представителя умственной дѣятельности. Не даромъ онъ постоянно включаетъ себя въ формулы: «мы философы», «мы психологи», «мы познающіе». А между тѣмъ, тотъ же Ничше жестоко упрекаетъ современность въ томъ, что она слишкомъ много мыслитъ и знаетъ, слишкомъ много хочетъ мыслить и знать, и видитъ въ этомъ излишествѣ одно изъ основаній «проблемы декадентства». Это уже настоящая дерзость, напоминающая одну изъ знаменитыхъ дерзостей Руссо, но въ совершенно иномъ освѣщеніи.

Человѣчество, по крайней мѣрѣ, цивилизованное человѣчество, находится, по мнѣнію Ничше, въ періодѣ упадка, декаданса. Вступило оно въ него давно и при томъ нѣсколькими различными путями. Одинъ изъ этихъ путей начинается Сократомъ. Это былъ первый въ своемъ родѣ крупный человѣкъ упадка, первый декадентъ или, вѣрнѣе, первый крупный выразитель уже наступившаго упадка.

Мысль эту Ничше съ нѣкоторою робостью или, по крайней мѣрѣ, не съ полною опредѣленностью высказалъ еще въ 1872 г., въ своемъ первомъ сочиненіи, «Geburt der Tragödie», и вернулся къ ней въ окончательной формѣ черезъ семнадцать лѣтъ въ «Götzen Dämmerung». Мысли Ничше такъ разбросаны и переплетены между собой, что кое что изъ его разсужденій о личности Сократа и его исторической роли станетъ, можетъ быть, понятно читателямъ только въ связи съ нѣкоторыми другими его мыслями, съ которыми мы познакомимся позже.

Мудрецы всѣхъ временъ приходили къ тому заключенію, что жизнь ничего не стоитъ, и даже Сократъ, умирая, сказалъ: «жить значитъ долго хворать». Откуда этотъ consensus sapientium въ дѣлѣ унынія, меланхоліи, усталости, недовольства жизнью? и должны ли мы ему вѣрить? Первый вопросъ важнѣе, потому что отвѣтъ на него можетъ упразднить второй. Можетъ быть, вѣдь мудрецы просто сами не твердо на ногахъ стояли. Можетъ быть, мудрость появилась на землѣ подобно ворону, почуявшему легкій запахъ падали. Надо поближе присмотрѣться къ мудрецамъ. Сократъ былъ низкаго происхожденія и, какъ извѣстно физически уродливъ, что въ Греціи было больше, чѣмъ недостаткомъ. Съ другой стороны, новѣйшая уголовная антропологія приходитъ къ заключенію, что физическому уродству соотвѣтствуетъ и нравственное: monstrum in fronte, monstrum in animo, Не былъ ли Сократъ тѣмъ преступнымъ типомъ, которымъ нынѣ такъ много занимаются? Этому, по крайней мѣрѣ, не противорѣчитъ одинъ любопытный эпизодъ изъ его жизни. Какой-то ино. странецъ физіономистъ, встрѣтивши его въ Аѳинахъ, сказалъ ему въ лицо, что онъ носитъ въ себѣ всѣ гнуснѣйшіе пороки и страсти. И Сократъ призналъ справедливость діагноза физіономиста. Припомнимъ и тѣ галлюцинаціи слуха, которыя извѣстны подъ именемъ «Сократова демона». Всегда съ камнемъ за пазухой, съ задней мыслью и ироніей, осложненной «злобностью рахитика», Сократъ всѣмъ существомъ своимъ долженъ бы былъ отталкивать отъ себя согражданъ-современниковъ; тѣмъ болѣе, казалось бы, что онъ изобрѣлъ уравненіе: «разумъ=добродѣтель=счастіе», каковое уравненіе противорѣчитъ всѣмъ инстинктамъ древнихъ эллиновъ. Но онъ, напротивъ, привлекалъ, очаровывалъ. Онъ сумѣлъ ввести въ моду дотолѣ презиравшуюся діалектику и публичное зрѣлище фехтованія исключительно умственнымъ, логическимъ, теоретическимъ оружіемъ. Онъ сумѣлъ сдѣлаться необходимымъ человѣкомъ, и былъ дѣйствительно необходимъ, какъ яркое выраженіе разложенія, упадка эллинизма и какъ великій врачъ, открывшій, и по его собственному мнѣнію, и по мнѣнію другихъ, радикальное средство противъ болѣзни вѣка. Вышеупомянутому иностранцу физіономисту онъ отвѣтилъ, что тотъ угадалъ, признавъ его вмѣстилищемъ низменныхъ похотей и пороковъ, но,—прибавилъ онъ,—я надъ всѣми ими властвую. Въ этой репликѣ, вмѣстѣ съ уравненіемъ «разумъ=доб-

родѣтель=счастіе», лежитъ ключъ къ пониманію какъ личности Сократа, такъ и его исторической роли. Не одинъ Сократъ болѣлъ неуравновѣшенностью инстинктовъ, ихъ взаимною противорѣчивостью, не одинъ онъ чувствовалъ потребность взять себя въ руки, но онъ представлялъ собою яркій, привлекавшій всеобщее вниманіе образчикъ этого состоянія, этого недовѣрія къ себѣ, и онъ-же указалъ исцѣляющее и дисциплинирующее начало въ разумѣ. Но это указаніе уже само по себѣ было симптомомъ упадка. Плохо стояло дѣло Греціи, если пришлось призвать тирана—разумъ, чтобы подавить имъ всѣ естественныя, безсознательныя влеченія, если понадобилось жить съ постоянною оглядкою и разсчетомъ на основаніи уравненія: разумъ= добродѣтель=счастіе. Это было послѣднее, отчаянное средство: грекамъ оставалось или погибнуть, или отдать всего человѣка подъ тиранническій контроль разума. Но эта разумность во что бы то ни стало является въ свою очередь новою болѣзнью, новымъ признакомъ упадка. Сократъ былъ величайшимъ изъ обманщиковъ, но не злонамѣреннымъ, потому что и самъ себя обманывалъ. Человѣкъ съ совершенно исключительной натурой, обуреваемый страстями и пороками, но въ своей непреоборимой логикѣ и жаждѣ знанія находившій себѣ точку опоры, онъ вѣрилъ въ свое уравненіе, вѣрилъ, что счастіе состоитъ въ добродѣтели, а добродѣтель есть дѣло знанія; вѣрилъ и заставилъ другихъ повѣрить. Отсюда вѣковая борьба съ безсознательными естественными влеченіями и инстинктами. И это признакъ упадка, потому что при подъемѣ жизни счастіе и инстинктъ едино суть, нѣтъ между ними разлада. Но, кромѣ того, это источникъ пессимизма, ибо жизнь, состоящая въ подавленіи жизни, конечно, не дорого стоитъ. Это испыталъ на себѣ Сократъ самъ, что и выразилъ предсмертною фразою: жить значитъ долго хворать.

Такъ приблизительно разсуждаетъ Ницше въ «Götzen Dämmerung». Въ «Geburt der Tragödie» онъ освѣщаетъ Сократа нѣсколько иначе, вѣрнѣе, съ иной стороны. Сократъ и здѣсь является тѣмъ-же ненормальнымъ, но великимъ человѣкомъ, обозначающимъ собою поворотный пунктъ въ исторіи Греціи, а черезъ нее и въ дальнѣйшей исторіи цивилизаціи. Но здѣсь онъ называется типичнымъ «теоретическимъ человѣкомъ» и оказывается родоначальникомъ если не оптимизма вообще, то особен-

наго его вида—«теоретическаго оптимизма». Сократъ, полагавшій возможнымъ знаніемъ проникнуть въ сокровенную сущность вещей и сводившій нравственное зло къ умственному заблужденію и незнанію,—Сократъ положилъ основаніе той доселѣ длящейся жаждѣ знанія, которая создала рядъ смѣняющихъ другъ друга философскихъ системъ, опоясала и перепоясала законами весь міръ и выстроила головокружительной высоты пирамиду познанныхъ фактовъ. Познавательная дѣятельность признана благороднѣйшею, даже единственно достойною человѣка задачею, а способность познанія—высшимъ даромъ природы; это—наслѣдство Сократа. Даже возвышеннѣйшія нравственныя дѣянія, волненіе состраданія, самопожертвованіе, героизмъ выводятся Сократомъ и его преемниками до сего дня изъ діалектики знанія и сообразно этому объявляются поучительными. Сократово наслѣдство—и эта вѣра во всеисцѣляющія свойства знанія, въ возможность жизни, руководимой исключительно знаніемъ. Эта точка зрѣнія позволяетъ нѣкоторымъ отдѣльнымъ людямъ замкнуться въ узкій кругъ разрѣшимыхъ задачъ, извнутри котораго они съ веселіемъ смотрятъ на жизнь: жить стоитъ, ибо жизнь можно познавать, а въ познаніи заключается высшее наслажденіе. Въ этомъ и состоитъ «теоретическій оптимизмъ».

Такимъ образомъ, Сократъ оказывается родоначальникомъ и пессимизма съ его девизомъ «жизнь ничего не стоитъ», и, по крайней мѣрѣ, «теоретическаго» оптимизма, умѣющаго такъ или иначе извлекать изъ жизни радости. Противорѣчія—совсѣмъ не рѣдкость въ сочиненіяхъ Ничше, а въ данномъ случаѣ противорѣчіе было-бы даже вполнѣ извинительно въ виду тѣхъ семнадцати лѣтъ, которыя отдѣляютъ «Geburt der Tragödie» отъ «Götzen-Dämmerung». Но здѣсь, собственно говоря, нѣтъ и противорѣчія. Какъ съ одного и того-же возвышеннаго пункта рѣки могутъ течь въ разныя, прямопротивоположныя стороны, такъ и съ Сократа могутъ начинаться два противоположныхъ теченія. Съ точки зрѣнія Ничше важно только, что и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мы имѣемъ движеніе внизъ, паденіе, декадансъ. «Geburt der Tragödie» посвящена анализу судебъ древне-греческой трагедіи, и мы не будемъ вдаваться въ спеціальный вопросъ о томъ, какъ вліяніе Сократа гибельно отразилось на этихъ судьбахъ и повлекло трагедію къ упадку. Мы имѣемъ въ виду упадокъ вообще человѣчества, на что есть указанія и въ «Geburt der Tragödie».

но въ другихъ сочиненіяхъ эта сторона дѣла устанавливается ярче, опредѣленнѣе, и здѣсь мы отмѣтимъ пока только мелкость и непрочность того, что Ничше называетъ теоретическимъ оптимизмомъ. Ему уже Кантъ подрѣзалъ крылья. До Канта «теоретическій человѣкъ» могъ вѣрить въ возможность познать и разгадать всѣ міровыя загадки и относиться къ пространству, времени и причинной связи, какъ къ безусловнымъ и всеобщимъ законамъ. Кантъ показалъ, что эти категоріи только прикрываютъ и дѣлаютъ для человѣческаго познанія недоступною истинную сущность вещей. Стоитъ только сравнить гетевскаго Фауста, прошедшаго всѣ факультеты и въ отчаяніи отдающагося чертямъ, съ Сократомъ, чтобы увидать естественный ходъ и исходъ теоретическаго оптимизма. Теоретическій человѣкъ когда-то бросился въ открытое море познанія и долго съ восторгомъ плылъ въ немъ дальше и дальше; но, не видя конца плаванію, убѣдившись, что и нѣтъ ему конца, утомившись, затосковалъ о берегѣ, оптимизмъ разрѣшился тоской, меланхоліей, пессимизмомъ. Существуютъ, однако, и доселѣ жизнерадостные теоретическіе человѣки, но это или «библіотекари и корректоры, слѣпнущіе отъ книжной пыли и опечатокъ», объ которыхъ и говорить не стоитъ, или тѣ гордые, въ верху стоящіе, объ которыхъ Ничше говоритъ въ статьѣ «Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben» (Guzeitgemässe Betrachtungen, I). Вступленіе къ этой статьѣ начинается цитатой изъ Гете, котораго Ничше вообще чрезвычайно высоко цѣнитъ: «Мнѣ ненавистно все, что меня только поучаетъ, не усиливая моей дѣятельности или непосредственно не оживляя меня».

Мы можемъ на минуту пріостановиться. Цитата изъ Гете, вмѣстѣ съ язвительной выходкой противъ побѣдоносныхъ нѣмцевъ, которымъ Бисмаркъ замѣняетъ философовъ, поэтовъ и хорошія книги, указываетъ, не вполнѣ, разумѣется, точно,— потому что точность тутъ и невозможна,—тѣ предѣлы, въ которыхъ Ничше считаетъ жажду знанія и возлагаемыя на него надежды законными. Когда барабанно-патріотическая пѣсня и личность желѣзнаго объединителя Германіи заглушаютъ и заслоняютъ всякіе умственные интересы, Ничше негодуетъ. Но, съ другой стороны, ему, какъ и Гете, ненавистно все, что *только* поучаетъ. Отсюда такъ дурно понятый Максомъ Нордау скептицизмъ Ничше по отношенію къ знанію. Отсюда же странныя на

первый взглядъ слова въ предисловіи ко второму изданію «Fröhliche Wissenschaft»: «Насъ не потянетъ больше на путь тѣхъ египетскихъ юношей, которые проникали ночью въ храмы, обнажали статуи и старались все прикрытое открыть, вывести на бѣлый свѣтъ. Нѣтъ, мы перестрадали этотъ дурной вкусъ, эту жажду «знанія во что бы то ни стало»: мы для нея слишкомъ опытны, серьезны, веселы, глубоки. Мы больше не вѣримъ, что истина остается истиной, если съ нея снять покрывало. Нынѣ намъ представляется дѣломъ приличія не все видѣть обнаженнымъ, не все хотѣть понимать и знать».

Надо замѣтить, что всѣ предисловія самого Ничше ко вторымъ изданіямъ его сочиненій, какъ болѣе позднія, написаны особенно страннымъ языкомъ и носятъ на себѣ явную печать если не совсѣмъ разстроеннаго, то во всякомъ случаѣ безпокойнаго, смятеннаго духа. Но и здѣсь, среди разныхъ странныхъ выходокъ, ведется все та же основная линія, которую, не смотря на всѣ ея извороты и осложненія, можно прослѣдить отъ перваго до послѣдняго сочиненія Ничше. Такъ и только-что приведенныя странныя слова изъ предисловія къ «Fröhliche Wissenschaft» имѣютъ свое мѣсто въ самой сердцевинѣ философіи Ничше и получаютъ даже рѣдкое у него систематическое развитіе въ упомянутой уже части «Unzeitgemässe Betrachtungen». Тамъ, между прочимъ, читаемъ: «Историческая точка зрѣнія, если она прилагается къ дѣлу безъ ограниченій и съ полною послѣдовательностью, подрываетъ корни будущаго, потому что разрушаетъ иллюзіи и лишаетъ существующія вещи той атмосферы, въ которой онѣ только и могутъ жить». Что же это за «иллюзіи», разрушенія которыхъ надо остерегаться, и покрывала, которыя не надо снимать съ истины? Этотъ вопросъ, любопытный въ наше трезвое время вообще, получаетъ особенную пикантность по отношенію къ Ничше: вѣдь онъ, какъ знаетъ большинство читателей по наслышкѣ, крайній матеріалистъ, отвергающій «законы, совѣсть, вѣру», разрушитель всѣхъ иллюзій. Вѣдь г. Гротъ, напримѣръ, утверждаетъ, что Ничше хочетъ «дать въ жизни человѣка торжество разуму и трезвому анализу", что онъ «раціоналистъ, ищущій въ разумѣ послѣдняго критерія истины» («Нравственные идеалы нашего времени» въ «Вопросахъ философіи и психологіи, 1893, январь, стр. 135, 141). И какъ же не повѣрить г. Гроту, ex officio поучающему

насъ по части философіи и съ каѳедры, и въ спеціальномъ журналѣ? Съ другой стороны, однако, какъ же намъ не повѣрить самому Ничше, когда онъ объявляетъ «разумность» Сократа той соломенкой, за которую схватилась морально разлагавшаяся Греція и которая всетаки не спасла ее, а дала новый и притомъ двойной толчекъ къ упадку; когда онъ становится на стражѣ «иллюзій» и объявляетъ частію ненужнымъ и вреднымъ, «неприличнымъ», какъ онъ выражается, а частію невозможнымъ снимать покрывало съ Изиды? И, повторяю, замѣтьте, это самая сердцевина всей философіи Ничше. Мы значительно приблизимся къ правильному пониманію этой философіи, если съ буквальною точностію повторимъ опредѣленія г. Грота, но съ прибавкой отрицательной частицы *не*: Ничше *не* раціоналистъ, Ничше *не* хочетъ давать въ жизни человѣка торжество разуму и трезвому анализу...

Итакъ, объ иллюзіяхъ, безнужно или неправильно, или вредоносно подрываемыхъ исторической точкой зрѣнія. Статья, въ которой объ нихъ рѣчъ идетъ, озаглавлена: «О пользѣ и вредѣ исторіи для жизни». Я не буду передавать взгляды Ничше на *пользу* исторіи, они здѣсь для насъ не представляютъ особеннаго интереса, да и изъ читателей никто, конечно, въ пользѣ исторіи ни сомнѣвается. Я только прошу замѣтить, что Ничше вполнѣ признаетъ пользу исторіи въ тѣхъ случаяхъ и предѣлахъ, въ которыхъ она служитъ жизни. Но бываетъ и наоборотъ. Бываетъ, что исторія не только не служитъ жизни, а ее къ себѣ требуетъ на службу. Уже изъ того, что мы до сихъ поръ узнали о Ничше, ясно, какъ высоко цѣнитъ онъ жизнь, жизнь во всей ея полнотѣ, со всѣми цвѣтами ея радуги, жизнь для жизни. Для него одинаково симптомы упадка—и пессимизмъ съ аскетизмомъ, какъ непосредственное, такъ сказать, количественное умаленіе жизни, и оптимизмъ, по крайней мѣрѣ, теоретическій оптимизмъ, качественно умаляющій жизнь, односторонне перенося центръ тяжести ея въ одну изъ ея функцій, въ функцію познанія. Когда-то мнѣ случилось мимоходомъ предложить раздѣленіе людей на разбитыхъ, забитыхъ и борцовъ. Съ точки зрѣнія Ничше, разбитые оказались бы пессимистами, забитые—оптимистами (теоретическими), а самъ онъ—борцомъ, который ждетъ наилучшихъ результатовъ отъ своей дѣятельности, но именно отъ нея, и готовъ принять всякую скорбь и боль

подъ условіемъ опять-таки дѣйственнаго отношенія къ жизни. Онъ хочетъ жить—жить во всю, не разумомъ только, но и чувствомъ, и волей, быть можетъ, прежде всего волей. Этому-то и препятствуетъ то, что онъ называетъ Uebermaas der Historie, чрезмѣрностью исторіи. Извѣстная доля «историческаго», т. е. связаннаго съ воспоминаніями о прошлыхъ дѣлахъ и событіяхъ, необходима для жизни, но столь же необходима для жизни и для самой исторіи извѣстная доля «не историческаго», трепещущаго мыслью и страстью данной минуты, безъ какого бы то ни было отношенія къ ея мѣсту въ исторіи. Исторія въ свое время разберетъ всю ту сложную сѣть интересовъ, страстей, идеаловъ, запросовъ, изъ которыхъ слагается физіономія данной минуты, и всему укажетъ настоящее мѣсто. Но пока эта минута длится, нужна извѣстная атмосфера «не историческая». Исторія уравняетъ одушевляющіе насъ идеалы въ рядѣ другихъ, отжившихъ, похороненныхъ, и укажетъ ихъ корни въ той или другой комбинаціи преходящихъ условій. Но сейчасъ они должны насъ одушевлять, какъ таковые, какъ идеалы, въ правоту и возвышенность которыхъ мы вѣримъ. Ни одинъ художникъ не создастъ своей картины, ни одинъ полководецъ не одержитъ побѣды, ни одинъ народъ не добьется свободы, не проведя ихъ предварительно черезъ эту атмосферу не историческаго. И все великое, достойное занять мѣсто въ исторіи, совершалось именно такъ. Великіе дѣятели справляются, конечно, съ исторіей, почерпая изъ нея уроки, но они не думаютъ объ томъ, чтобы идти непремѣнно въ тактъ съ исторіей, они сами ее создаютъ; они и по собственному мнѣнію, и по мнѣнію другихъ часто идутъ наперекоръ исторіи, и это, конечно, иллюзія, но иллюзія необходимая, безъ которой не было бы и самой исторіи, и вообще жизни. Нынѣ часто говорятъ съ торжествомъ, что наука, и въ частности исторія, начинаетъ управлять жизнью. Ничше полагаетъ, что такое управленіе возможно, но должно повести къ оскудѣнію жизни. Въ дѣйствительности же это оскудѣніе уперлось бы въ полную невозможность. Представимъ себѣ, что исторія сорвала передъ нами завѣсу будущаго, и мы ясно видимъ свою собственную судьбу, судьбу дѣтей нашихъ, судьбу народовъ. «Какъ мимолетное видѣнье», эта картина была бы и занимательна, и способна взволновать горечью и радостью, смотря по тому, что въ ней заключается. Но жить подъ ея давленіемъ, именно давленіемъ,

было бы невыносимо для теперешней человѣческой души. Всѣ мы знаемъ, что будетъ то, что будетъ, что должно быть, но мы не знаемъ, что именно должно быть, и на этомъ построены наши надежды и опасенія, вѣроятности и возможности побѣды и пораженія, нашъ выборъ жизненнаго пути, наша борьба за то, что мы считаемъ правдой, вся жизнь наша. Все это рухнуло бы или, если принять въ соображеніе, что все это есть тоже продуктъ исторіи, осложнилось бы сознаніемъ, что чья-то мощная рука насильно ведетъ насъ къ завѣдомо, можетъ быть, неосновательнымъ опасеніямъ и завѣдомо несбыточнымъ надеждамъ; да если и къ основательнымъ и къ сбыточнымъ, то раздвоенность наша была бы при этомъ не менѣе тягостна. Нѣтъ, для насъ, по крайней мѣрѣ, для теперешнихъ людей, пускай эта статуя Изиды остается подъ покрываломъ! Да вѣдь его и нельзя снять, это покрывало. Теоретически мы можемъ, должны говорить о необходимости извѣстныхъ, точнѣе неизвѣстныхъ намъ грядущихъ событій, но практически мы заключены въ предѣлы вѣроятностей, возможностей и желательностей. И тѣхъ, кто желаетъ такъ или иначе участвовать въ жизни, а не присутствовать при ней, «чрезмѣрность исторіи» можетъ заставить призадуматься. «Только сильный человѣкъ можетъ выносить исторію, — говорить Ничше, — слабыхъ она подавляетъ». Историческіе факты — «такъ было» — разрушительно дѣйствуютъ на энергію въ настоящемъ, пріучая слабыхъ людей къ мысли, что жизнь есть исполненіе предначертаній исторіи. Тогда какъ, наоборотъ, жизнь должна давать тонъ исторіи, какъ въ смыслѣ направленія хода событій, которыя въ свое время запишутся въ исторію-науки, такъ и въ смыслѣ указанія темъ, которыя эта исторія-наука должна разработывать. Слабые люди, изнемогшіе подъ тяжестью исторіи, прячутся и въ томъ, и въ другомъ случаѣ за слово «объективизмъ». Доходитъ до того, что объективнымъ считается и лавры за безпристрастіе стяжаетъ историкъ, избирающій для изслѣдованія предметъ, до котораго ему никакого дѣла нѣтъ. Онъ выбираетъ того или другого папу или императора, тотъ или другой историческій періодъ, ту или другую страну, — почему? Никому, ни же ему самому неизвѣстно: онъ объективенъ, для него всѣ историческіе факты равно достойны изученія. Но это еще только безразличіе выбора, и, можетъ быть, въ отмежеванномъ себѣ уголкѣ историкъ еще ока-

жется живымъ человѣкомъ. Бываетъ хуже, когда объективизмъ сводится просто къ апологіи факта, каковъ бы онъ ни былъ. И здѣсь я приведу цѣликомъ страницу изъ Ничше:

«Я думаю, что среди опасныхъ теченій и шатаній нѣмецкой мысли въ нынѣшнемъ вѣкѣ нѣтъ опаснѣе того огромнаго, до сихъ поръ продолжающагося вліянія, которымъ пользуется Гегелевская философія. Увѣренность, что нами заканчиваются времена, необходимо должна уродовать людей; но она становится страшною, когда дерзкимъ оборотомъ мысли обожествляетъ насъ, какъ представителей истиннаго смысла и цѣли всего доселѣ бывшаго, когда мы свою духовную нищету объявляемъ завершеніемъ всемірной исторіи. Такой способъ воззрѣнія пріучилъ нѣмцевъ говорить о «міровомъ процессѣ» и оправдывать свое время, какъ необходимый результатъ этого мірового процесса; этотъ способъ воззрѣнія поставилъ на мѣсто другихъ духовныхъ силъ, искусства, религіи,—самодержавную исторію, поскольку она есть «самоосуществляющееся понятіе», «діалектика духа народа» и «міровой судъ». Эту по Гегелевски понятую исторію насмѣшливо называли странствованіемъ по землѣ божества, которое, однако, само создается исторіей. Но оно собственно въ мозгу Гегеля объявилось и продѣлало всѣ діалектическія ступени бытія вплоть до своего обнародованія. Такъ что для Гегеля высшій и конечный пункты мірового процесса совпали въ его собственномъ берлинскомъ существованіи. Онъ долженъ бы былъ сказать, что на всѣ послѣ него появившіяся вещи надо смотрѣть, только какъ на музыкальное «Coda» къ всемірно-историческому «Rondo», а еще вѣрнѣе, просто считать ихъ излишними. Онъ этого не сказалъ. Но за то онъ водрузилъ въ пропитанныхъ имъ поколѣніяхъ тотъ восторгъ передъ «властью исторіи», который практически ведетъ къ открытому восторгу передъ успѣхомъ и идолопоклонству передъ фактомъ. Для этого изобрѣтено выраженіе «считаться съ фактами». Но кто научился сгибать спину и склонять голову передъ «властью исторіи», тотъ китайски-механически вторитъ всякой власти вплоть до общественнаго мнѣнія и численнаго большинства. Такъ какъ каждый успѣхъ содержитъ въ себѣ разумную необходимость, каждое событіе есть побѣда логики или «идеи»—то живо на колѣни по всѣмъ ступенямъ лѣстницы успѣховъ! И говорятъ, что господство миѳологіи кончено! Да посмотрите же на эту миѳологію

власти исторіи, обратите вниманіе на ея жрецовъ и на ихъ ободранныя колѣни. И всѣ добродѣтели сопутствуютъ этой новой вѣрѣ. Развѣ это не самоотверженіе, когда историческій человѣкъ позволяетъ перелить себя въ объективное зеркальное стекло? Развѣ это не справедливость—держать постоянно въ рукахъ вѣсы и пристально смотрѣть, на которой изъ чашекъ болѣе тяжести, силы? И какая превосходная школа приличія это отношеніе къ исторіи! Все принимать объективно, ни на что не сердиться, ничего не любить, все понимать,—это дѣлаетъ мягкимъ, гибкимъ. А если кто-нибудь изъ воспитанныхъ въ этой школѣ иной разъ и разсердится, то это ничего, всѣ вѣдь понимаютъ, что это только такъ, только ira и studium, и всетаки совсѣмъ sine ira et studio».

Ничше отмѣчаетъ далѣе неизбѣжность столкновенія между «чрезмѣрностью исторіи» и моралью. «Да, моралью!—говоритъ онъ.—Возьмите, какую хотите, человѣческую добродѣтель, справедливость, великодушіе, храбрость, мудрость, состраданіе,—она всегда потому добродѣтель, что возстаетъ противъ слѣпой силы факта, противъ тираніи дѣйствительности и подчиняется законамъ, которые не суть законы историческихъ теченій. Она плыветъ всегда противъ историческихъ волнъ,—борется ли она съ собственными страстями, какъ съ ближайшими глупыми фактами. или обязывается честностью, когда кругомъ ложь плететъ свою блестящую паутину... Къ счастію, исторія хранитъ и воспоминанія о великихъ борцахъ противъ исторіи, то есть противъ слѣпой силы дѣйствительности, и сама себя ставитъ къ позорному столбу именно тѣмъ, что какъ разъ тѣхъ именно и выдвигаетъ, какъ историческихъ дѣятелей, которые мало озабочивались тѣмъ, что есть, дабы съ веселою гордостью слѣдовать тому, что должно быть».

И еще: «Никогда историческая точка зрѣнія не вздымалась такъ высоко. Теперь исторія человѣчества есть продолженіе исторіи животныхъ и растеній; и въ глубочайшихъ глубинахъ моря всемірно-историческій человѣкъ находитъ въ живой плазмѣ слѣды самого себя. У него голова кружится при видѣ этого огромнаго пути, который онъ прошелъ, и еще болѣе при видѣ самого себя, современнаго человѣка, который можетъ этотъ огромный путь обозрѣть. Онъ высоко и гордо стоитъ на пирамидѣ мірового процесса; кладя на нее послѣдній камень своего познанія, онъ точно хочетъ сказать прислушивающейся къ его

голосу природѣ: «мы у цѣли, мы—сама цѣль, мы—завершенная природа». О, прегордый европеецъ девятнадцатаго вѣка! ты бредишь. Твое знаніе не завершаетъ природу, а убиваетъ твою собственную. Попробуй сравнить высоту того, что ты знаешь, съ глубиною того, что ты можешь».

Всѣ приведенныя мысли Ничше, за исключеніемъ одной, очень важной, къ которой мы сейчасъ обратимся, проходятъ сквозь всѣ его сочиненія въ болѣе или менѣе яркомъ выраженіи, и если кое-что, въ особенности въ отдѣльныхъ афоризмахъ, имъ противорѣчитъ, то либо въ подробностяхъ, либо въ очень малыхъ, сравнительно, дозахъ. Читатель видитъ самъ, насколько мы были правы, утверждая, въ противность категорически высказанному мнѣнію г. Грота, что Ничше не раціоналистъ и не хочетъ давать въ жизни человѣка «торжество разуму и трезвому анализу». Напротивъ, его первая дерзость, не столь громкая, какъ другія его дерзости, состоитъ въ томъ, что онъ бросаетъ «прегордому европейцу XIX вѣка» въ лицо упрекъ въ безсиліи, взрощенномъ на почвѣ излишняго довѣрія къ разуму и «трезвому анализу». Ничше претитъ все, въ чемъ онъ усматриваетъ преобладаніе «разумности», въ ущербъ другимъ духовнымъ силамъ человѣка и его естественнымъ влеченіямъ, истинктамъ, какъ онъ обыкновенно выражается. Собственную, личную свою profession de foi онъ, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, выражаетъ словами: «я не знаю лучшей цѣли жизни, такъ погибнуть, animae magnae prodigus, на великомъ и невозможномъ». И таковы были, по его мнѣнію, древніе до-Сократовскіе греки, расточавшіе «силу всю души великую» на борьбу съ роковыми силами, неопасаясь трагическаго исхода. Древній грекъ вѣроятностью этого исхода и даже увѣренностью въ немъ не убѣждался ни въ ничтожествѣ жизни, ни въ неправотѣ своего дѣла. Правоту этого дѣла онъ основывалъ на своемъ личномъ убѣжденіи, на своей личной вѣрѣ, а не на какихъ бы то ни было стороннихъ соображеніяхъ. Въ отстаиваніи своего дѣла даже до гибели онъ видѣлъ свое счастіе, высшее содержаніе своей жизни. Съ Сократа начался упадокъ въ сторону приспособленнаго къ обстоятельствамъ, историческимъ и инымъ, разумно-добродѣтельнаго счастія или, какъ выражается безъимянный герой «Записокъ изъ подполья», «непремѣнно благоразумно выгоднаго хотѣнія».

Какъ бы кто ни смотрѣлъ на вышеизложенное, но до сихъ

поръ мы не видимъ въ Ничше не только раціоналиста, — это просто пустяки,—но и теоретика эгоизма, и «имморалиста», какимъ Ничше вообще считается и самъ себя считаетъ. До сихъ поръ мы видимъ благороднѣйшаго и смѣлаго мыслителя, на иной взглядъ мечтателя, идеалиста, ставящаго свои требованія съ точки зрѣнія чрезвычайно возвышенно понимаемаго индивидуализма. Человѣческая личность есть для него мѣрило всѣхъ вещей, но при этомъ онъ требуетъ для нея такой полноты жизни и такого противостоянія всякимъ выгодамъ и условіямъ, умаляющемъ ея достоинство, что объ эгоизмѣ въ вульгарномъ смыслѣ слова и объ какомъ бы то ни было «имморализмѣ» не можетъ быть и рѣчи. Пойдемъ дальше.

— — —

Мы только что сказали, что черезъ всѣ сочиненія Ничше проходятъ вышеприведенныя мысли за исключеніемъ одной. Это та именно, что «мораль» и «добродѣтель» *всегда* возстаетъ противъ слѣпой силы факта, противъ тираніи дѣйствительности и подчиняется законамъ, которые не суть законы историческихъ теченій. Эта мысль находится въ противорѣчіи почти со всѣмъ, что Ничше писалъ о морали и добродѣтели.

Кромѣ толчка, даннаго Сократомъ, Ничше знаетъ еще и другой, совсѣмъ другой источникъ упадка, и другую его картину, соотвѣтственно которой онъ говоритъ и другія дерзости цивилизаціи и прогрессу. Чтобы оцѣнить эту сторону дѣла, вернемся къ сказанному въ XIII главѣ этой книги о предшественникѣ Ничше, Максѣ Штирнерѣ. Онъ, между прочимъ, тоже заинтересовался Сократомъ, но только судомъ надъ нимъ и его смертью, которую, мимоходомъ сказать, Ничше считаетъ добровольною. Штирнеръ относится къ дѣлу гораздо грубѣе, проще. Онъ говоритъ: «Сократа хвалятъ за добросовѣстность, съ которою онъ отклонилъ совѣтъ бѣжать. Но онъ былъ просто глупъ, признавая за аѳинянами право суда надъ нимъ. Съ нимъ поступали по праву. Зачѣмъ стоялъ онъ на одной почвѣ съ аѳинянами? Зачѣмъ не разорвалъ съ ними? Если бы онъ зналъ, могъ знать, что онъ такое, онъ не признавалъ бы за такими судьями никакихъ правъ. Его отказъ былъ слабостью, заблужденіемъ, будто онъ имѣетъ что-то общее съ аѳинянами или что онъ членъ простой членъ этого народа. Онъ могъ быть только собственнымъ судьей. Онъ

и былъ имъ, когда сказалъ, что онъ достоинъ Пританея, и на этомъ эму слѣдовало стоять, и такъ какъ онъ не приговаривалъ себя къ смерти (Ничше думаетъ, что именно самъ себя приговорилъ), то долженъ былъ презрѣть судъ аѳинянъ, но онъ подчинился и призналъ народъ своимъ судьей, призналъ себя малымъ передъ величіемъ народа. Онъ могъ не устоять передъ силой, но его признаніе права было измѣной по отношенію къ себѣ: это была добродѣтель».

Мы уже знакомы съ необузданнымъ эгоизмомъ Штирнера и приводили его образчики. Напомнимъ ихъ, потому что въ нихъ заключается въ зародышѣ весь настоящій «имморализмъ» Ничше.

Штирнеръ знаетъ, что есть силы сильнѣе его и вообще всякаго *я*, но, признавая эту силу, какъ фактъ, онъ не хочетъ признавать ее, какъ право, и въ то же время утверждаетъ, что право есть сила. Сократъ оказалъ слабость, признавъ за аѳинянами право надъ нимъ, и они поступили съ нимъ по праву, потому что оказались сильнѣе его. *Я* имѣетъ право на *все*, но чтобы осуществить это право, я должно пустить въ ходъ силу— силу ума, силу физическую, силу хитрости, какъ придется. Главное же дѣло въ томъ, чтобы освободиться отъ почтенія къ разнымъ фантомамъ, отъ преданности «шпукамъ», убѣдиться, что ихъ въ дѣйствительности совсѣмъ даже нѣтъ, что это только созданія извращеннаго человѣческаго духа. «*Я* рѣшаю вопросъ о правѣ; внѣ меня нѣтъ права. Что по моему право, то и есть право. Возможно, что другіе не признаютъ за мной этого права; это ихъ дѣло, а не мое: пусть дѣйствуютъ. И если бы весь свѣтъ не признавалъ за мной того права, которое признаю я, то я не посмотрю и на весь свѣтъ. Такъ поступаетъ всякій, кто умѣетъ цѣнить себя, поскольку онъ эгоистъ, ибо сила первенствуетъ надъ правомъ—и при томъ съ полнымъ правомъ». И въ другомъ мѣстѣ: «Тебя свяжутъ!—Мою волю никто не можетъ связать.—Но вѣдь наступилъ бы полный хаосъ, если бы каждый могъ дѣлать все, что хочетъ! - Кто же говоритъ, что каждый можетъ дѣлать все, что хочетъ? Кто хочетъ сломить твою волю, тотъ тебѣ врагъ, такъ съ нимъ и поступай».

Разсужденіе вполнѣ логичное, слишкомъ логичное, слишкомъ голо-логичное, и Ничше подъ нимъ цѣликомъ не подписался бы. Читатель самъ увидитъ почему. А теперь обратимъ вниманіе на ту аристократическую струнку, которая слегка звучитъ въ раз-

сужденіи Штирнера о судѣ надъ Сократомъ. Всякое *я* полноправно и всѣ онѣ равноцѣнны. Но вотъ *я* Сократа какъ будто и подороже стóитъ, чѣмъ другія аѳинскія мѣстоименія перваго лица. Сократъ оплошалъ и за это по праву поплатился, но онъ всетаки человѣкъ особенный, «выдающійся», «необыкновенный» и въ качествѣ такого именно не долженъ былъ признавать право суда надъ нимъ. Вѣдь мало ли кого аѳиняне судили, но не всѣмъ же имъ претендовать было на мѣсто въ Пританеѣ. Очевидно, *я* «выдающихся», «необыкновенныхъ» людей имѣетъ какое-то преимущество въ глазахъ Штирнера, какое—неизвѣстно, ибо, какъ мы уже говорили, книгу Штирнера надо считать недоконченною. Ей недостаетъ положительной части, которая у Ничше есть. Есть у него и дальнѣйшее, до послѣдней степени рѣзкое развитіе той легкой аристократической струнки, которая у Штирнера звучитъ едва ли только не въ одномъ приведенномъ мѣстѣ о Сократѣ.

«Цѣнность эгоизма, говоритъ Ничше («Götzen-Dämmerung», 98), зависитъ отъ физіологической цѣнности его носителя; она можетъ быть очень велика, а можетъ быть и совсѣмъ ничтожна и презрительна. Каждый отдѣльный человѣкъ долженъ быть разсматриваемъ съ той стороны — представляетъ ли онъ собою восходящую или нисходящую линію жизни. Рѣшеніе этого вопроса и дастъ мѣру цѣнности его эгоизма. Если онъ представляетъ подъемъ линіи, то его цѣна высока и ради всей совокупности жизни, которая дѣлаетъ съ нимъ шагъ впередъ, онъ долженъ быть обставленъ наилучшими условіями. «Индивидуумъ», какъ его до сихъ поръ понимали толпа и философы, есть заблужденіе, онъ не атомъ, не «звено цѣпи», онъ—цѣлая линія человѣка вплоть до него самого. Если онъ представляетъ собою нисходящее развитіе, упадокъ, хроническое вырожденіе, заболѣваніе (болѣзни, вообще говоря, суть слѣдствія упадка, а не причины его), то цѣна ему малая, и элементарная справедливость требуетъ, чтобы онъ возможно меньше отнималъ на свою долю у лучшихъ; онъ только ихъ паразитъ».

Во имя личности Ничше требуетъ отчета у всѣхъ реальныхъ и идеальныхъ формъ общественности и горячо протестуетъ противъ обращенія ея въ «орудіе», функцію, органъ какого бы то ни было цѣлаго; личность во всей полнотѣ ея силъ и потребностей противопоставляетъ онъ всѣмъ стихійнымъ силамъ природы и исторіи вплоть

до мірового процесса въ цѣломъ и до трагическаго конца самой личности, если бы таковой оказался неизбѣжнымъ. Но затѣмъ оказывается, что личности не равноцѣнны и что есть какое-то цѣлое, — «совокупность жизни», das Gesammt-Leben, — въ интересахъ котораго должна производиться расцѣнка личностей: кто лучше можетъ этому цѣлому послужить, тому и цѣна большая, а кто послабѣе, тому и цѣна поменьше и житейская доля похуже. Этимъ въ корень подрывается исходная точка Ничше. Что люди, конкретныя личности, не равны между собою не только по своему общественному положенію, но и по своимъ силамъ и способностямъ, — это мы всѣ очень хорошо знаемъ. Но вопросъ не въ этомъ слишкомъ несомнѣнномъ стихійномъ фактѣ и даже не въ томъ, что «ина слава солнцу, ина слава лунѣ и звѣзда отъ звѣзды разнствуютъ во славѣ». Разумѣется,— «ина», разумѣется, — «разнствуютъ». Вопросъ въ принципѣ, на основаніи котораго мы устанавливаемъ или должны устанавливать эти различія и производимъ или должны производить эту расцѣнку. Въ практической жизни это дѣло чрезвычайно сложное и запутанное. Оставляя въ сторонѣ личныя привязанности и отвращенія и національные, сословные и профессіональные предразсудки, широкою волною врывающіеся обыкновенно въ нашу расцѣнку людей, мы все же получимъ нѣчто очень сложное. Человѣкъ большого ума и исключительныхъ дарованій, раздвинувшій наши теоретическіе горизонты, «насытившій кристаллъ очей» нашихъ дивными художественными произведеніями, или словомъ или музыкальными звуками поднимающій въ насъ волну лучшихъ чувствъ, обогатившій человѣчество благодѣтельнымъ открытіемъ или изобрѣтеніемъ, — можетъ оказаться слабымъ, ничтожнымъ, дряннымъ характеромъ. Увы! это слишкомъ часто случается. Мало того, большой умъ и рѣдкій талантъ, которыхъ мы не можемъ не цѣнить высоко, какъ силу, бываютъ направлены на дѣла, которыя мы, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, опять же не можемъ не цѣнить крайне низко, даже отрицательно. Наоборотъ, маленькій во всѣхъ другихъ отношеніяхъ человѣкъ можетъ таить въ себѣ, а при случаѣ и обнаруживать такую нравственную мощь и красоту, передъ которой мы поневолѣ должны почтительно снять шапку. Но ее столь же почтительно можно снять и передъ обыкновеннымъ рядовымъ работникомъ на дѣлѣ, которое мы считаемъ важнымъ, нужнымъ,

святымъ. Такимъ образомъ, не только звѣзда отъ звѣзды разнствуютъ во славѣ, но и въ самихъ-то звѣздахъ лучи славы и безславія переплетаются въ очень разнообразныхъ комбинаціяхъ. Если мы введемъ сюда физіологическій элементъ, указываемый Ничше, то онъ не только не устранитъ этой сложности, но еще введетъ новыя осложненія. Посѣтитель цирка или балагана, любующійся атлетомъ, рабовладѣлецъ, выбирающій на рынкѣ здороваго, сильнаго, выносливаго раба, въ виду своихъ частныхъ цѣлей, конечно, цѣнятъ этого атлета и этого раба выше больныхъ и слабыхъ, и они правы съ своей точки зрѣнія. На что бы имъ годился галлюцинантъ - Сократъ, эпилептикъ-Магометъ, хилый Вольтеръ, слабогрудый Шиллеръ, больной Ничше? Но люди, получившіе отъ этихъ больныхъ и слабыхъ извѣстное возбужденіе, хотя бы только въ видахъ пересмотра своего умственнаго и нравственнаго багажа, конечно, безъ дальнихъ размышленій дадутъ имъ высшую оцѣнку, чѣмъ тысячамъ здоровыхъ и сильныхъ.

Безъ дальнихъ размышленій... Но Ничше вводитъ насъ именно въ область дальнихъ размышленій. Онъ предлагаетъ общій принципъ, въ которомъ тонутъ, какъ частныя, незамѣтныя глазу мелочи, цѣли рабовладѣльца, посѣтителя цирка, или читателя сочиненій Вольтера и его самого, Ничше, или общественнаго дѣятеля, занятаго какимъ-нибудь житейскимъ вопросомъ. Онъ указываетъ общій руководящій принципъ, и ужъ наше тамъ дѣло прикидывать его къ житейскимъ частнымъ случаямъ. При томъ же приведенная изъ «Götzen-Dämmerung» цитата есть въ извѣстной степени lapsus calami (до извѣстной, однако, только степени). Изъ совокупности его сочиненій видно, что высокой оцѣнкѣ подлежитъ не только физическое здоровье, а и духовная энергія. Но всетаки почему же какая то «совокупность жизни» является вершительницей судебъ и опредѣлительницей цѣнности личности? И почему эта самая личность, индивидъ, который ѣсть и пьетъ, болѣетъ и радуется, родится, растетъ и разрушается, котораго мы обнимаемъ въ лицѣ брата, друга, сына, любимой женщины, котораго, наконецъ, самъ Ничше такъ оберегаетъ отъ всякаго ущерба, — почему онъ оказывается даже не существующимъ? Онъ — не онъ, а какая-то линія, восходящая или нисходящая; онъ—предразсудокъ «толпы и философовъ». Относительно философовъ Ничше нѣсколько ошибается, упрекая

ихъ въ этомъ предразсудкѣ. И прежде бывали временами, и теперь опять объявились философы, вполнѣ свободные отъ этого предразсудка и рѣшительно утверждающіе, что всѣми видимаго, осязаемаго и въ свою очередь видящаго, осязающаго, чувствующаго индивида нѣтъ, а если онъ и существуетъ, то на него не слѣдуетъ обращать вниманія. Но меньше всего можно бы было ожидать такого оборота мысли отъ Ничше. Онъ вѣдь такъ негодуетъ на то, что «сознательно или безсознательно люди стремятся ни больше, ни меньше, какъ къ полному преобразованію, и именно ослабленію, даже уничтоженію индивидуума» («Morgenröthe», 127). И вотъ Ничше самъ накладываетъ на него руку во имя «совокупности жизни», которую Штирнеръ, не обинуясь, назвалъ бы такимъ же Spuk, фантомомъ, какъ всѣ прочіе, въ томъ числѣ и тѣ, съ которыми борется самъ Ничше. Конечно, Штирнеръ грубъ и узокъ, и изъ его *я* мудрено бы было логически вывести какое-нибудь мѣрило цѣнности людей, не прибѣгая опять же къ какому-нибудь неожиданному фантому, какъ это случилось съ Ничше. Но исходная точка Ничше допускала и даже навязывала иной выходъ, а именно: если личность есть самоцѣль, не подлежащая низведенію на степень средства для достиженія какой бы то ни было другой цѣли, то и мѣриломъ цѣнности людей можетъ быть лишь размѣръ ихъ службы этому принципу. Здѣсь не мѣсто входить въ подробности и практическія примѣненія, да и нѣтъ резона распространяться объ томъ, чего Ничше не сдѣлалъ, когда мы еще далеко не покончили съ тѣмъ, что онъ сдѣлалъ.

Цивилизованное человѣчество находится со временъ Сократа въ упадкѣ, потому что раціонализировало свои инстинкты, вдвинуло свои естественныя влеченія въ узкія рамки «разумности», и тѣмъ себя обезсилило. Но оно обезсилило и продолжаетъ себя обезсиливать еще другимъ путемъ: оно стало *добрѣе*, что на теперешнемъ языкѣ значитъ *лучше*. Но вѣрно ли, что «добрѣе» и «лучше»—одно и то же? И вѣрно ли, что человѣчество стало, дѣйствительно, и добрѣе и лучше? Въ этихъ двухъ вопросахъ заключается корень всего «имморализма» Ничше и въ частности такъ смутившаго г. Астафьева предложенія занять позицію «по ту сторону добра и зла, jenseits von Gut und Böse. Оборотъ тутъ

выходитъ почти каламбурный, такъ какъ по нѣмецки gut значитъ и добрый и хорошій, какъ и въ старомъ русскомъ языкѣ, остатки чего и доселѣ сохранились; добрый не значило непремѣнно мягкій. любвеобильный и могло даже не имѣть никакого отношенія къ области морали. «Удалой добрый молодецъ» русскихъ былинъ, пѣсенъ и сказокъ, разъѣзжая на «добромъ конѣ», совершалъ весьма часто подвиги, не имѣющіе ничего общаго съ добротой, а «добрую рюмку водки выпить» и тарелку «добрыхъ щей» съѣсть мы можемъ и сейчасъ. Хотя дѣло само по себѣ ясно, но Ничше счелъ нужнымъ въ «Genealogie der Moral» пояснить: Jeuseits von Gut und Böse... Dies heisst zum Mindensten *nicht* «jenseits von Gut und schlecht».

Какъ произошло совпаденіе понятій «добрѣе» и «лучше»? Для рѣшенія этого вопроса Ничше естественно обращается къ исторіи. Но фактическая или, вѣрнѣе, псевдо-фактическая часть этого его историческаго экскурса рѣшительно ничего не стоитъ. Она въ такой степени произвольна, фантастична и противорѣчива, что надъ нею можно бы было и еще сильнѣе посмѣяться, чѣмъ это сдѣлалъ Максъ Нордау, особенно, если заняться сравненіемъ всего, разбросаннаго по этому предмету въ разныхъ сочиненіяхъ Ничше, въ томъ числѣ въ отдѣльныхъ афоризмахъ. Мы, однако, этимъ не станемъ заниматься и ограничимся лишь самыми общими чертами, рисующими основную мысль.

Когда-то, гдѣ-то жили люди (иногда это греки, иногда римляне, иногда германцы), по своимъ инстинктамъ подобные хищнымъ звѣрямъ. Они были сильны тѣломъ и духомъ, храбры, воинственны, кровожадны, чувственны, властолюбивы, искали опасностей, какъ случая проявить свою черезъ край бьющую силу, и наслажденій, какъ случая ее растратить. Какъ они жили между собой — неизвѣстно: иногда слѣдуетъ думать, что они избѣгали всякихъ сношеній между собой и жили въ одиночку, собираясь въ орды или шайки только для грабежа, разбоя, войны, а иногда выходитъ такъ, что они проявляли во взаимныхъ отношеніяхъ «добрыя» качества, которыя и нынѣ добродѣтелями считаются. Въ концѣ концовъ, однако, ихъ мораль, то есть ихъ понятія о добрѣ и злѣ, о нравственно одобрительномъ и неодобрительномъ, рѣзко отличались отъ нашихъ теперешнихъ. Злое, то есть злобное, отнюдь не значило для нихъ «дурное», равно какъ «доброе» не значило «хорошее». Совсѣмъ даже напротивъ.

И вотъ они столкнулись съ другой расой, болѣе слабой, побѣдили ее и обратили въ рабство. Мораль рабовъ, слабыхъ, придавленныхъ, естественно отличалась отъ морали господъ. Господа побѣдители считали нравственно одобрительными, высшими, лучшими качествами храбрость, жестокость, чувственность, властолюбіе, открытость во всѣхъ дѣйствіяхъ—потому что имъ нечего стѣсняться было—и, слѣдовательно, правдивость. Добродѣтели рабовъ—побѣжденныхъ были совершенно противоположны, сообразно тому, что указывало имъ ихъ придавленное положеніе: они должны были жаться другъ къ другу и воспитывать въ себѣ такъ называемую любовь къ ближнему, мягкость, осторожность, умѣренность, хитрость.

Здѣсь я не могу удержаться, чтобы не привести одного незамѣченнаго Максомъ Нордау историко-антропологическаго курьеза. Побѣдоносная раса, сильная, храбрая, жестокая была бѣлокура, а побѣжденная, слабая, трусливая—темнокожа и черноволоса («Zur Genealogie der Moral» 8), и Ничше часто говоритъ о «великолѣпномъ, жаждущемъ добычи и побѣды бѣлокуромъ животномъ». А между тѣмъ, въ одномъ изъ своихъ афоризмовъ онъ предлагаетъ слѣдующую изумительную гипотезу: не объясняется ли темнокожесть частыми, въ теченіе вѣковъ, припадками злобы, вызывающими приливъ крови въ кожѣ, а бѣлая кожа—столь же частыми приступами страха, сопровождаемаго блѣдностью? («Morgenröthe», 221).

Долго ли, коротко ли, но двѣ противоположныя морали существовали рядомъ, вызывая взаимныя недоразумѣнія, скрытую ненависть и открытое презрѣніе, вообще вражду, окончившуюся въ одинъ прекрасный день возстаніемъ рабовъ; возстаніемъ не въ тѣхъ воинственныхъ формахъ, какія мы обыкновенно себѣ представляемъ въ связи съ этимъ словомъ,—объ этомъ мы, по крайней мѣрѣ, ничего не узнаемъ,—а «возстаніемъ въ морали», возстаніемъ и побѣдой рабовъ. Какъ это случилось, понять довольно трудно. Достовѣрно только, что толчокъ въ этомъ направленіи данъ цивилизованному міру евреями. Имъ удалось, неизвѣстными путями, произвести «переоцѣнку всѣхъ цѣнностей» или, вѣрнѣе, навязать человѣчеству свою оцѣнку, свою «рабскую» мораль смиренія, самоотреченія, воздержанія, кротости, состраданія и вытѣснить ею мораль «господъ». Впослѣдствіи къ этому торжеству примкнули и другіе рабскіе элементы. Съ этихъ поръ «добрый» и «хорошій», съ одной стороны,

«злой» и «дурной» съ другой—стали синонимами, а вмѣстѣ съ тѣмъ начался упадокъ человѣчества. Эгоизмъ при этомъ не исчезъ, по мнѣнію Ничше: онъ только прикрылся условной фразой, притаился и въ то же время получилъ характеръ разслабленности, робости, разсчетливости. *Всякая* альтруистическая мораль представляетъ собою такой скрытый и «рабскій» эгоизмъ. Ничше не дѣлаетъ исключенія не только для принциповъ любви къ ближнему и состраданія, но и для дружащей съ эгоизмомъ утилитарной морали, въ которой видитъ тѣ же рабскія черты—прикровенность, трусость, слабосиліе. Принципъ пользы, безъ сомнѣнія, слишкомъ односторонній и узкій, какъ для объясненія «генеалогіи морали», то есть ея фактическаго развитія въ исторіи, такъ и для руководствованія въ любой данный моментъ, представляется Ничше однимъ изъ результатовъ того слабосилія и связанной съ нимъ трусости, которыя заставляютъ людей жаться другъ къ другу и разсчитывать каждый свой шагъ. А все это является выраженіемъ упадка, пониженной жизнеспособности. Когда тонъ жизни давала мораль «господъ»,—«злое» было лишь проявленіемъ избытка силы, переливавшейся черезъ край, искавшей себѣ поприща, не отступая передъ возможностью нанесенія страданія другимъ, но не избѣгая опасностей и страданій и для себя и находя удовлетвореніе въ своей собственной яркости и полнотѣ. «Послѣднимъ великимъ временемъ» Ничше считаетъ эпоху Возрожденія и не останавливается передъ извѣстной идеализаціей одного изъ знаменитѣйшихъ въ исторіи человѣчества насильниковъ, предателей и развратниковъ—Цезаря Борджіа. Современные люди восприняли рабскую, альтруистическую мораль вслѣдствіе своей слабости. Они такъ слабы, что всю свою жизнь проводятъ и всю цѣль жизни видятъ въ избѣжаніи опасностей и въ спокойномъ, увѣренномъ существованіи. Ради него они отказываются отъ удовлетворенія своихъ инстинктовъ и страстей и приближаются къ болѣе или менѣе строгому аскетическому идеалу; ради того же они возводятъ въ званіе добродѣтели такія качества, поступки и мотивы поступковъ, которые гарантируютъ имъ скудное, сѣренькое, но спокойное и безопасное житіе. Этотъ симптомъ упадка въ свою очередь ведетъ къ дальнѣйшему упадку, потому что въ современномъ обществѣ все прилаживается къ тому, чтобы охранить слабыхъ насчетъ сильныхъ, жизнеспособныхъ. Если это не до-

стигнуто на дѣлѣ, то къ тому стремится вся разноименная современная мораль и сама по себѣ, и поскольку она отражается въ политикѣ. Всѣ эти толки о всеобщемъ равенствѣ, о рабочемъ, о женскомъ вопросѣ представляютъ собою отзвуки упадка, декадентскаго стремленія срѣзать всѣ вершины и все нивеллировать на низшемъ уровнѣ. Къ народнымъ массамъ Ничше относится съ величайшимъ презрѣніемъ. Онѣ «кажутся ему заслуживающими вниманія только въ трехъ отношеніяхъ: во-первыхъ, какъ расплывающіяся копіи великихъ людей, воспроизведенныя на плохой бумагѣ стертыми клише, затѣмъ какъ противодѣйствіе великимъ и, наконецъ, какъ орудія великихъ; въ остальномъ — побралъ бы ихъ чортъ и статистика!» («Unzeitgemässe Betrachtungen», I, 189). Я привожу эту цитату только ради энергіи и опредѣленности ея выраженій, а иначе затруднился бы въ выборѣ, — столь велико презрѣніе Ничше къ массамъ и столь часто и многообразно оно проявляется. Авторъ предисловія ко второму изданію «Also sprach Zarathustra» справедливо говоритъ, что аристократизмъ (Vornehmheit) составляетъ существенную черту всего ученія Ничше, и жестоко ошибаются тѣ анархисты, которые думаютъ на немъ основаться. Критики (въ томъ числѣ и Нордау) часто цитируютъ слова: «нѣтъ истины, все дозволено», — какъ подлинное и полное выраженіе основной мысли Ничше. Это совсѣмъ не вѣрно. Все относящееся сюда мѣсто гласитъ такъ: «Когда крестоносцы столкнулись на Востокѣ съ непобѣдимымъ органомъ ассассиновъ, орденомъ свободныхъ мыслителей par excellence, низшая степень котораго жила въ повиновеніи, не виданномъ ни въ какомъ монашескомъ орденѣ,— они узнали какимъ-то путемъ и символъ и лозунгъ, составлявшій тайну лишь высшихъ степеней: «нѣтъ истины, все дозволено». («Zur Genealogie der Moral», 167). Такимъ образомъ, невиданная свобода однихъ сопровождалась невиданнымъ повиновеніемъ другихъ, и именно это плѣняетъ Ничше въ недоброй памяти орденѣ или сектѣ ассассиновъ, названіе которыхъ примыкаетъ съ одной стороны къ арабскому гашишу, а съ другой— къ французскому assassin, убійца. Отнюдь, значитъ, не всѣмъ все дозволено, а лишь очень и очень немногимъ избраннымъ, лучшимъ, которымъ остальные должны слѣпо повиноваться.

Кто же, однако, эти лучшіе? и почему они лучшіе? и почему лучшимъ слѣдуетъ приносить въ жертву остальныхъ? Не будемъ

гоняться за историческою точностью, — Ничше, очевидно, даже уже слишкомъ далекъ отъ Uebermaas der Historie, — допустимъ, что моментъ столкновенія двухъ расъ, господской и рабской, и затѣмъ моментъ торжества рабской морали суть не фантазіи, а настоящіе историческіе факты. Относительно перваго изъ этихъ моментовъ мысль Ничше совершенно ясна: лучшіе были представлены расой господъ побѣдителей. Они были выше физіологически, энергичнѣе, ярче, жизнеспособнѣе. Ничше знаетъ, что это были дикіе звѣри съ нашей теперешней точки зрѣнія, но употребляетъ всевозможныя средства для того, чтобы убѣдить насъ, что мы, нынѣшніе люди, стоимъ ниже этихъ звѣрей и стóимъ дешевле ихъ. То онъ, какъ художникъ, эстетически любуется яркостью красокъ, мощью страстей, широкимъ размахомъ удали въ стародавней жизни, какъ она ему рисуется по сравненію съ нашимъ теперешнимъ, относительно спокойнымъ, но сѣренькимъ существованіемъ. То, какъ мыслитель, онъ старается расшевелить въ насъ скептицизмъ по отношенію къ нашимъ привычнымъ понятіямъ о добрѣ и злѣ, не только остроумно, но отчасти и не безъ основанія доказывая, что «добрый» и «хорошій» не такъ ужъ абсолютно совпадаютъ въ принципѣ, какъ они совпали въ словесномъ выраженіи. Онъ указываетъ далѣе на то преимущество «великолѣпнаго, жаждущаго побѣды и добычи бѣлокураго животнаго», что въ немъ не было внутренней раздвоенности, что оно не считало ни одного изъ своихъ естественныхъ влеченій, «инстинктовъ», дурнымъ, не умаляло этимъ путемъ жизни, не противоборствовало ей и, слѣдовательно, лучше служило тому Gesammt-Leben, которое одно должно быть признано источникомъ и мѣриломъ нравственности и которое мы оскорбляемъ своими аскетическими идеалами, своими понятіями о долгѣ и разныхъ обязательныхъ ярмахъ. Въ связи съ этимъ находится и та его мысль, которую, какъ мы видѣли, можно выразить двумя афоризмами Достоевскаго: «Человѣкъ деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ», «человѣкъ до страсти любитъ страданіе». Таковъ нормальный человѣкъ, по мнѣнію Ничше, и потому, видя въ современномъ человѣчествѣ усиленіе «доброты», которой онъ не вѣритъ, и заботливость о спокойномъ, безопасномъ существованіи, онъ говоритъ объ упадкѣ. Если, однако, мы со всѣмъ этимъ и согласимся, то самъ собою является вопросъ: гдѣ же теперь «господа»? Кто теперь «лучшіе»? ибо

вѣдь «великолѣпное бѣлокурое животное» было и быльемъ поросло. Какъ ни старается Ничше возвеличить жестокость, злобу, разнузданность, какъ ни ухищряется онъ признать эти свойства нормальными и благодѣтельными для человѣчества, онъ вынужденъ признать слѣдующее: «Теперешніе жестокіе люди должны быть разсматриваемы, какъ остатки болѣе раннихъ культуръ, это какъ бы геологическія обнаженія болѣе глубокихъ формацій, вообще прикрытыхъ позднѣйшими наслоеніями. Это отсталые люди, мозгъ которыхъ, вслѣдствіе разныхъ случайностей наслѣдственности, не получилъ достаточно тонкаго и разносторонняго развитія. Они показываютъ намъ, чѣмъ нѣкогда были всѣ люди, и приводятъ насъ въ ужасъ, но сами они такъ же мало отвѣтственны за это, какъ кусокъ гранита за то, что онъ гранитъ. И въ нашемъ мозгу, навѣрное, есть извилины, соотвѣтствующія ихъ настроенію, какъ въ формѣ нѣкоторыхъ органовъ человѣческаго тѣла сохраняются воспоминанія о другихъ, болѣе раннихъ состояніяхъ. Но эти извилины не составляютъ уже нынѣ русла, по которому течетъ наша духовная жизнь». Это—отдѣльный, вполнѣ законченный афоризмъ («Menschliches, Allzumenschliches», I, афоризмъ 43). Ясно, что лучшихъ, сильныхъ надо нынѣ искать уже не между жестокими и злыми. Но между «добрыми» Ничше тоже не хочетъ ихъ искать, потому что «добрые» доведены процессомъ обобществленія до стадообразнаго состоянія съ полнымъ отсутствіемъ «паѳоса разстоянія» (Pathos der Distanz) между лучшими и худшими, высшими и низшими. Всѣ они находятся во власти «рабской» морали, которую Ничше склоненъ называть «моралью» вообще, вслѣдствіе чего съ неоправданною дерзостью охотно называетъ себя «имморалистомъ», отрицателемъ морали вообще. Это неоправданная дерзость, потому что въ дѣйствительности онъ страстно ищетъ именно и прежде всего морали, но такой, которая не походила бы на современную, «рабскую» и заслуживала бы названіе «господской».

Но опять-таки гдѣ же нынѣ «господа», настоящіе, имѣющіе нравственное право считаться таковыми? За современнымъ европейскимъ дворянствомъ Ничше отказывается признать это право, какъ потому, что и оно заражено рабскою моралью, такъ и потому, что вслѣдствіе смѣшенія расъ въ немъ уже ничего не осталось отъ крови «великолѣпнаго бѣлокураго животнаго» и утратилась былая физіологическая цѣнность. Господами поло-

женія въ Европѣ можно считать буржуа-капиталистовъ. Но что они не настоящіе господа, въ смыслѣ Ничше, не прирожденные повелители, это онъ заключаетъ уже изъ того, что они входятъ въ сдѣлки и переговоры съ рабочими (которыхъ «побралъ бы чортъ и статистика»), не умѣютъ и не могутъ внушить имъ «паѳосъ разстоянія». Въ современномъ обществѣ, по мнѣнію Ничше, только на войнѣ вырисовывается обликъ истинной морали, при которой повелители и повинующіеся знаютъ свое мѣсто. «Лучшихъ» надо искать на войнѣ и—между преступниками. Послѣднее для насъ особенно любопытно, такъ какъ сюда именно относится та ссылка на «Мертвый домъ» Достоевскаго («Götzen-Dämmerung», 120), о которой я говорилъ въ прошлый разъ. Но интересна, собственно, не сама ссылка, а то, что Ничше говоритъ въ связи съ нею (см. также «Die fröhliche Wissenschaft» § 4 и въ другихъ мѣстахъ) и что поразительно напоминаетъ разсужденія Раскольникова о преступникахъ и «необыкновенныхъ» людяхъ. Сходство доходитъ до частаго упоминанія именно Наполеона, который Ничше, какъ и Раскольникову, представляется — и по одинаковымъ соображеніямъ — типичнымъ представителемъ «необыкновеннаго» человѣка, правомѣрно «преступающаго» всякое право. При этомъ Ничше очень краснорѣчиво распространяется о чувствѣ «чандала» (низшая каста въ Индіи, собственно отбросы всѣхъ кастъ), обуревающемъ всякаго сильнаго человѣка, не нашедшаго себѣ мѣста въ современномъ «покорномъ, посредственномъ, кастрированномъ обществѣ.—Это— «чувство ненависти, мести и возстанія противъ всего существующаго».

Это чувство чандала, непристроеннаго сироты, несомнѣнно, руководитъ самимъ Ничше. Отсюда его проклятія всякому общежитію и его хвалебные гимны одиночеству. Личная его судьба не особенно интересна. Самъ онъ удовольствовался, бы повидимому, сравнительно весьма малымъ. Громя все существующее, онъ въ одномъ мѣстѣ, отчаявшись въ какихъ бы то ни было общепризнанныхъ идеалахъ, провозглашаетъ «моральное междуцарствіе» («Morgenröthe», § 453) и говоритъ: въ ожиданіи общаго признанія какихъ-нибудь, еще имѣющихся выработаться общепризнанныхъ идеаловъ, «будемъ, насколько возможно, собственными царями и будемъ основывать маленькія опытныя государства» (какъ основываются опытныя поля, фермы и проч.). Это предложеніе имѣетъ не только тотъ смыслъ, что, дескать, дозво-

лимъ себѣ все, не признавая надъ собой ничего высшаго, но, какъ это мы и у Раскольникова видѣли, чисто личный смыслъ: не признаю надъ собой ничего высшаго, но самъ желаю быть высшимъ. Въ той же «Morgenröthe» (стр. 199), Ничше рекомендуетъ «каждому», кто чувствуетъ себя тѣсно въ Европѣ, удалиться «въ дикія и свѣжія страны и стать тамъ господиномъ». Авторъ предисловія къ «Also sprach Zarathustra» полагаетъ, что Ничше «былъ аристократъ насквозь; родись онъ въ болѣе благопріятныя для настоящихъ господъ времена, онъ былъ бы тѣмъ, чѣмъ когда-то *хотѣлъ быть*: человѣкомъ дѣйствія, основателемъ ордена, колонизаторомъ». Изъ всего этого видно, что честолюбіе Ничше было бы насыщено, если бы ему удалось стать царькомъ какого нибудь дотолѣ необитаемаго острова или основателемъ секты въ родѣ ассассиновъ, гдѣ небольшая кучка людей оказывала бы ему безпрекословное повиновеніе. Это немного, конечно, для свободнаго мыслителя, вызывающаго на бой небо и землю. Но ему выпала на долю болѣе значительная роль: быть философскимъ выраженіемъ всего цивилизаціей непристроеннаго, оскорбленнаго, озлобленнаго, всѣхъ сиротъ и отбросовъ—чандала, хотя, конечно, не для всѣхъ сиротъ и отбросовъ обязательна та жажда власти, которою страдалъ самъ Ничше и которую онъ считалъ кореннымъ свойствомъ человѣческой природы вообще.

Что же касается «моральнаго междуцарствія» въ болѣе общемъ смыслѣ, то-есть въ смыслѣ предоставленія всѣмъ и каждому полной моральной разнузданности, то Ничше былъ на этотъ счетъ даже очень строгъ и только, собственно говоря, пугалъ своимъ «имморализмомъ». «Die fröhliche Wissenschaft» открывается разсужденіемъ о томъ, что всѣ люди всегда имѣли и имѣютъ одну задачу: поддержаніе человѣческаго рода. Не потому,—замѣчаетъ Ничше,—эта задача такъ обща, что человѣкъ пылаетъ любовью къ своей породѣ, а просто потому, что нѣтъ въ человѣкѣ ничего старше, крѣпче, непобѣдимѣе этого истинкта, составляющаго самую сущность нашего рода. Правда, люди разными путями, правильными и неправильными, стремятся къ осуществленію общей задачи, но всетаки она есть, по мнѣнію Ничше, а потому для «моральнаго междуцарствія», фактически несомнѣнно существующаго, въ высшемъ, теоретическомъ смыслѣ нѣтъ резоновъ. Моралистъ теоретикъ можетъ принять общую задачу за исходный пунктъ и затѣмъ произвести от

личныхъ человѣческихъ дѣйствій на основаніи степени ихъ приближенія къ осуществленію общей задачи. Ничше такъ и дѣлаетъ, съ тою, однако, разницей, что верховнымъ критеріемъ моральной оцѣнки у него является не простое поддержаніе человѣческаго рода, а его улучшеніе, что уже даже и не можетъ представить за себя гарантій всеобщности. Не смотря на существующее моральное междуцарствіе, не смотря, далѣе на всѣ свои гнѣвныя и саркастическія выходки противъ морали вообще, какъ оскорбительной и ненужной узды, Ничше считаетъ возможнымъ теперь же приглашать людей къ принятію весьма строгой морали. Онъ убѣждаетъ насъ признать высшею цѣлью своего существованія поднятіе человѣческаго типа, созданіе «сверхъ человѣка», каковая задача и составляетъ центръ его морали. Мораль эта во многихъ отношеніяхъ рѣзко отличается отъ принятыхъ нынѣ правилъ нравственности, но все же она есть мораль, и Ничше оказывается при этомъ самымъ крайнимъ идеалистомъ. Всѣ нынѣшнія разноименныя системы морали и всѣ побужденія и поступки, признаваемые нынѣ нравственными, Ничше объявляетъ результатами пагубной дрессировки, противоестественной, такъ какъ она подавляетъ инстинкты и самую жизнь, самую «волю къ жизни». Но вотъ конецъ той изъ рѣчей Заратустры, начало которой мы привели въ прошлый разъ:

«Выше любви къ ближнему—любовь къ дальнему и будущему; выше любви къ человѣку—любовь къ дѣламъ и призракамъ.

«Братъ мой, призракъ, витающій передъ тобою, прекраснѣе тебя; зачѣмъ же не отдаешь ты ему свою плоть и кровь? Но ты страшишься и бѣжишь къ своему ближнему.

«Вы не справляетесь сами съ собой и недостаточно себя любите; и вотъ вы хотите соблазнить своего ближняго на любовь и позолотить себя его заблужденіемъ...

«Вы приглашаете свидѣтеля, когда хотите хвалить себя, и когда вы соблазнили его хорошо о васъ думать, то сами начинаете думать о себѣ хорошо...

«Одинъ идетъ къ ближнему, потому что ищетъ себя, другой—потому что хотѣлъ бы потеряться. Ваша дурная любовь къ себѣ дѣлаетъ для васъ изъ одиночества тюрьму.

«Дальніе расплачиваются за вашу любовь къ ближнему, и когда вы только впятеромъ собрались, гдѣ нибудь долженъ умереть шестой...

«Пусть будущее и отдаленное будетъ причиной твоего сегодня. Сверхъ-человѣка долженъ ты любить, какъ свою причину.

«Братья мои, я не любовь къ ближнему совѣтую вамъ, я совѣтую вамъ любовь къ дальнему».

Загадочность языка Заратустры не мѣшаетъ, въ связи съ вышеизложеннымъ, усмотрѣть, по крайней мѣрѣ, двѣ стороны въ приведенномъ отрывкѣ. Ясно, во-первыхъ, что въ современной любви къ ближнему Ничше видитъ лицемѣріе или самообманъ, и онъ возстаетъ противъ нихъ. Ясно, далѣе, что онъ зоветъ насъ къ жертвамъ, зоветъ насъ отдать свою «плоть и кровь» «призраку», «сверхъ-человѣку». При чемъ же тутъ «имморализмъ»? Но этого мало. Самъ Заратустра, если не сверхъ-человѣкъ, то его предтеча, ни мало не похожъ ни на Цезаря Борджіа, ни на «великолѣпное бѣлокурое животное». Онъ называетъ себя «врагомъ добрыхъ и справедливыхъ», «другомъ злыхъ», вообще является на словахъ чѣмъ-то въ родѣ антихриста или божества зла, но въ дѣйствительности, это человѣкъ кроткій, мягкій и вдобавокъ ведущій аскетическій образъ жизни. Да и въ рѣчахъ его звучатъ такія, напримѣръ, ноты: «Вверхъ ведетъ нашъ путь, отъ рода къ сверхъ-роду. Но отвратительна для насъ вырождающаяся мысль, гласящая: «все для меня» (107); «любить и гибнуть—это отъ вѣка идетъ рядомъ; жажда любви есть и жажда смерти; такъ говорю я вамъ, малодушные!» (176); «гибнущихъ люблю я своею полною любовью, потому что они—поднимающіеся» (288) и т. п. Такимъ образомъ, найдя удовлетворяющій его идеалъ, Ничше требуетъ такого же къ нему отношенія, какъ и всякій другой моралистъ, онъ даже гораздо строже многихъ въ этомъ отношеніи, гораздо, напримѣръ, строже и требовательнѣе гр. Л. Н. Толстого. Но затѣмъ является вопросъ о самомъ этомъ идеалѣ, объ его содержаніи и о путяхъ, къ нему ведущихъ, помимо общихъ всякой морали требованій преданности извѣстному идеалу.

Сопоставляя отдѣльныя мѣста изъ сочиненій Ничше, Максъ Нордау уличаетъ его въ разныхъ противорѣчіяхъ и, между прочимъ, въ томъ, что онъ то отрицаетъ всякое общежитіе и восхваляетъ одиночество, какое-то странное вполнѣ изолированное положеніе, то, наоборотъ, говоритъ о благодѣяніяхъ общежитія. Противорѣчій у Ничше вообще не оберешься, а что касается общежитія и одиночества, то онъ договаривается въ одномъ мѣстѣ до «Einsamkeitslehre» (одиночествовѣдѣніе), которое онъ